464357
К

АБДИЖАМИЛ НУРПЕИСОВ

Долг

БИБЛИОТЕКА
"ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

АБДИЖАМИЛ НУРПЕИСОВ

Долг

РОМАН. ЭССЕ

Перевод с казахского

МОСКВА
"Известия"

1988

ББК 84 Каз. 7
Н 90

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета

Акрам Айлисли, Ануар Алимжанов,
Лев Аннинский, Альгимантас Бучис,
Василь Быков, Юрий Ефремов,
Игорь Захорошко, Наталья Иванова,
Анатолий Иващенко, Наталья Игрунова,
Юрий Калещук, Николай Карцов,
Алим Кешоков, Юрий Киршин,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Тимур Пулатов,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,
Константин Щербаков.

Нурпеисов А.

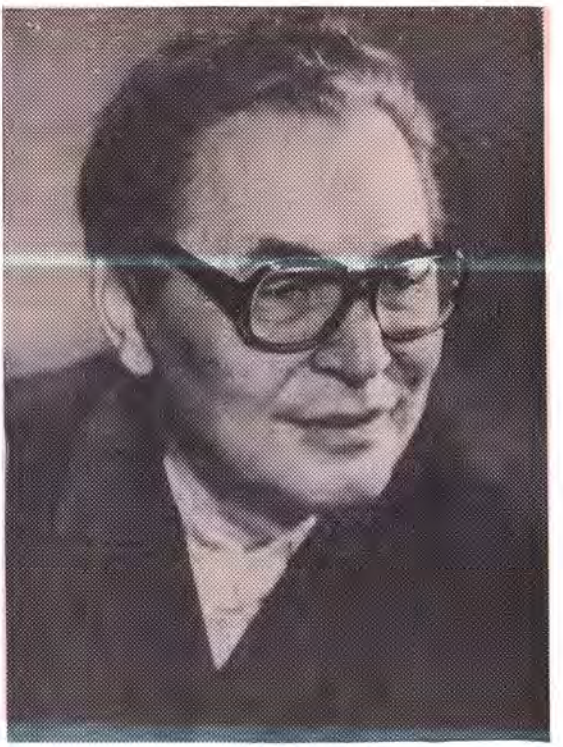
Н 90 Долг: Роман. Эссе. — М.: Известия, 1988. — 496 с., ил.

В книгу известного казахского писателя Абдижамила Нурпеисова входит роман «Долг» — о зависимости жителей небольшого рыбацкого поселка от судьбы Арала и — шире — о взаимодействии судеб человека и природы. Книга включает в себя также литературоведческие выступления, эссе по актуальным проблемам литературы.

Н $\frac{4702230000 — 063}{074(02)—88}$ — 58 — 88 подписное ББК 84 Каз. 7

© Оформление. Издательство «Известия», 1988

464357



Художник И. УРМАНЧЕ

ДОЛГ

Я не чинил людям зла...
Я не убивал...
Я не преграждал путь бегущей воде...

«Книга мертвых». Оправдательная речь умершего (Из древнего египетского папируса)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Темноликий высокий человек, сутулясь, смотрел на свои следы. Он смотрел долго и завороженно, силясь что-то понять и еще не сознавая, что вдруг зацепило его внимание. Просто оглянулся назад, туда, на кручу, где в зимней мгле темнел рыбачий аул, и взгляд его, скользнув привычно, споткнулся вдруг об эти следы на ранней пухлой пороше. Неровные, тяжелые следы усталого человека... Он сам не знал почему, но вызывали они тоску. Было в них что-то нескладное, не в ладу со всем, — что они напоминали, почему тревожили? Постой... да не всю ли жизнь твою?! Не эта разве нескладность твоя все тринадцать лет угнетала Бакизат? И вот чем все кончилось: одинокий, неприкаянный, с утра томишься ты на пустынном ледяном поле. Не зря кем-то сказано: «Жизнь на исходе лет — что лоскут изодранный». Должно быть, в минуту отчаяния обронил кто-то эти слова, исполненные безысходной печали, а вот сейчас они — кстати и некстати — вспомнились тебе, стали и твоими тоже. А ведь в душе ты давно предчувствовал, пусть смутно, но знал, что именно к этому, а не к чему-либо иному придет ваша супружеская жизнь. Но так уж создан человек: в счастливую пору он гонит мрачные предчувствия. А ты тогда был просто оглушен нежданно свалившимся, да нет — обрушившимся на тебя счастьем. После свадьбы ты, дипломированный специалист, точно в небо вознесся — и земли-то под собой не чуял. Почет и лесть аульчан, сбывшиеся мечты кружили голову, надежды пьянили. И все же в глубине души ты сознавал, что твоей заслуги в том немного. Сознавал, что кроме как на старую мать-пенсионерку да на собственные мосластые руки и ноги полагаться тебе не на кого и не на что. А чего достигнешь в этой жизни, уповая лишь на самого себя?

Но то было до женитьбы... О, как ты ликовал в тот

день, когда вручили вам дипломы! На радостях новоиспеченные специалисты всю ночь напролет пели, шумели, резвились, тревожа сны горожан, разве только не вламывались всей шумной ватагой в чужие квартиры... А наутро, подержав гудящую голову под струей из крана, ты поспешно собрался в дорогу. Подальше упрятав в карман плотные «корочки», ради которых пять долгих лет усердно протирал штаны, ты заспешил в родной аул, весело мыча под нос незатейливый мотивчик: «О Арал, мой Арал, синее раздолье...» Твоя невеста ненадолго задержалась в городе, ты же до ее приезда спешил устроиться на работу по специальности.

Провожала Бакизат не одна, с подругами. Перед самым отходом поезда девушки вдруг расшалились, пристали к жениху и невесте: «Поцелуйтесь!..» Ты, вообще-то, ничего не имел против, однако сам не решался и, робея, смущенно поглядывал на Бакизат. А она в ответ с едва уловимой досадой подмигнула: дескать, не обращай внимания, мало ли что взбредет в голову подружкам. Но проказницы не отставали, и, похихикивая, все подталкивали вас друг к другу. Бакизат казалась подавленной. На утомленном лице ее слабо мелькнула улыбка. Чтобы отвязаться от наседавших подруг, она поднесла к алевшим губам кончики пальцев, изобразила звучный поцелуй.

Поезд тихо тронулся. Ты несколькими прыжками настиг последний вагон, вскочил на подножку. И пока пассажирский состав медленно утягивался за поворот, ты, высунувшись из тамбура, во все глаза смотрел туда, на перрон, где оставалась твоя невеста в окружении подруг. Она помахала было рукой — и с внезапным озорством состроила вдруг плаксивую гримасу, дернула подбородком и смахнула пальчиком воображаемую слезу. Девушки умирали со смеху.

А поезд между тем набирал скорость. Мимо иных станций проносился ветром. Мелькали разъезды, саманные домишки с огородами... чья-то жизнь. Гурьевский прицепной с грохотом мотало из стороны в сторону, того и гляди, снесет на полном ходу с рельсов. Давно перевалило за полночь, близился рассвет, а сон все никак не шел к тебе. Вразнобой храпели пассажиры, сразу после ужина улегшиеся спать. Духота становилась невыносимой. За всю ночь ты так и не сомкнул глаз. Наконец забрезжило, слабый свет занимающегося дня проник в вагон.



Как мила и как непохожа была Бакизат, провожавшая тебя на перроне, на ту, которую ты знал все эти годы. А ведь ходили слухи, что она вот-вот выйдет замуж за Азима, и никто уже, и ты сам тоже, ничуть в этом не сомневался, — и вдруг ни с того ни с сего что-то между ними разладилось. Аральские ребята, обучавшиеся в столице, диву давались, при встречах недоуменно расспрашивали друг друга, но никто ничего толком объяснить не мог. А прошли какие-то дни, и твоих земляков ошарашила еще одна новость, на сей раз — о вашей скорой свадьбе... Это казалось им вовсе непостижимым, прямо-таки в голове не укладывалось. И только ты... один ты не чуял под собою ног. В те дни ты и по земле-то не ступал, все витал, птицей витал где-то в облаках. Там, внизу, на тесном и душном асфальте, суетились, спешили куда-то вечно озабоченные люди, а ты парил себе безмятежно в голубом пространстве между небом и землей, подставляя разгоряченную голову всем ветеркам. И лишь каждый раз при встрече с Бакизат розовый туман твоих восторгов мгновенно развеивался, истаивал, и ты вновь возвращался к тусклым житейским будням. После затяжного зимнего смога город у подножия сурово вздыбленных гор казался угрюмым, как невыспавшийся человек. Грязно-серыми были асфальт, дома. Серыми были улицы. Невзрачно серыми — люди. Разбрызгивая серую грязь, носились, мельтешили взад-вперед серые машины. И, как бы не желая выделяться в этом однообразном сером мире, твоя невеста тоже одевалась во все серенькое, и таким же грустным и серым было ее лицо. Ты, конечно, догадывался о причине ее грусти, отчего она ходит такой подавленной, и порой у тебя перехватывало дыхание, огнем ревности и стыда вспыхивали уши. И ты стоял перед ней, невольно опустив голову, не в силах вымолвить слово, и обреченно смотрел на носок своего обшарпанного ботинка...

Но как, однако, мотает на верхней полке прицепного вагона! А ты все думал о Бакизат и ее подругах — как они провожали, смеялись...

— Эй, парень! Подъезжаем к Аральску...

Ты вскочил. Быстро собрался. И, едва спрыгнув с поезда, тотчас тронувшегося, почувствовал, как жарко здесь. До самой осени нещадно палит раскаленное аральское небо и веет по степи ураганный ветер, испепеляя все вокруг. Особенно невыносимой становилась

жара в полдень, когда, казалось, даже сама тень плавилась, сжималась, стараясь упрятаться под чахлыми пыльными деревцами на узких и кривых улочках маленького городка, резко пахнущих солончаковой пылью, перекаленным саманом. И вот по этому городку бродил ты в поисках работы не один день. По распределению тебе следовало бы ехать на Балхаш, но тянуло в родной край. А здесь слонявшихся со свободными дипломами на руках по учреждениям оказалось немало. Куда бы ты ни приходил, тебя не ждали. Вначале это удивляло, и ты по простоте своей недоумевал, сетуя на невезение, пока не понял простой истины: в захолустном городке, где люди искони занимались одним только рыболовным промыслом, никакого другого, даже мало-мальски приличного ремесла не было. И поэтому местные кадры, как говорится, мертвой хваткой держались за свои кресла, будто наездник за гриву скакуна. Вскоре незадачливый долговязый молодой специалист всем намозолил глаза. Едва он, сутулясь, неловко протискивался в очередной кабинет, как обладатели заветных мест настораживались и зарывались носами в свои бумаги. В такие минуты ты готов был провалиться на месте. И впервые понял тогда, как нехорошо, стыдно даже быть никому не нужным.

Все это поросло быльем, старые страсти кажутся теперь мелкими, невсамделишными, но тогда... Тогда... Да, тот случай, и потом, с годами, нередко вспоминался тебе, всякий раз вызывал усмешку. Однажды кто-то надоумил тебя попытать счастья в тихом, на отшибе, учреждении. Когда ты пришел туда, там, в тесном и душном кабинете с окнами на юг, изнывал от жары тучный мужчина; продолжая обмахиваться газеткой и тяжело отдуваясь, он благодушно принял из твоих рук диплом. Едва взглянув в него, вскинул голову:

— А-а, молодой специалист, не так ли?

— Да, ага...

— Ну, молодой специалист, поди ко мне поближе. Ну, не робей, смелей! Смелей! Вот так. Ну теперь говори, как зовут тебя?

«Повезет...» — радостно мелькнуло в голове. Сердце лихорадочно забилось, от растерянности ты не успел произнести свое имя, а добродушный толстяк за маленьким, будто сундучок, столиком уже нетерпеливо заерзал.

— Имя... имя твое как, спрашиваю?!

— Жадигер...

— Жадигер, говоришь? Оу, мне знакомо это имя. Да, знавал я вроде некоего Жадигера...

— Может быть...

— Конечно, конечно... очень даже может быть...— Он вдруг радостно встрепенулся. И эта осенившая его внезапно радость, видно, была так велика и нежданна, что на мгновение он даже оторвался от стула, привстал, но тотчас вновь осел, будто обвалился всей тушей.— Вспомнил! В детстве приходилось мне читать разные хиссы, и героя одной из них, кажется, звали Жадигером... Подожди, подожди, милок! По-моему, он даже был батыром. Эй, да ты ведь тоже малость на батыра смахиваешь! Хоть и жидковат, зато долговяз...

Веселый толстяк откинулся жирным загривком на спинку скрипнувшего под ним стула, запрокинул голову и хрипло захохотал, заквохтал. Наконец он успокоился, вытер заслезившиеся глаза:

— Так вот, милок, был, значит, в старину такой Жадигер. И, если не подводит память, он... он... — толстяк, разинув рот, застыл в напряженном раздумье. В своем тесном кабинете он явно изнывал от скуки, и теперь доволен тем, что подвернулась какая-никакая забава. Твой небольшой опыт подсказывал, что иной добродушный человек перед тем, как облагодетельствовать кого-либо, испытывает порой потребность сначала покуражиться, как бы в кошки-мышки поиграть, насладиться своей властью.—Слушай... выходит, ты сын нашего достопочтенного рыбака Амиржана?

— Да, ага, я его сын.

— Да, говоришь... Значит, ты сын Амиржана, что жил на этом берегу, а не на том, так?

— Да, с этого берега.

— Надо же, а?! Если ты, черт долговязый, сын почтенного Амиржана, который жил на этом берегу, то... это тот самый Амиржан, что из рода Жакаим, да?

— Да, ага, из рода Жакаим...

— Ну и хорошо, хорошо... Только скажи-ка мне теперь, какой Жакаим? С верховья или низовья?

Ты замялся, не зная, что означают эти загадочные «верховья» и «низовья».

— Ну, говори, ты из каких жакаимцев — морских или сухопутных?

— Наверное, морской. Рыбаки мы...

— О, аллах, выходит, мы с тобой одного рода, и я, кажется, видел тебя у Амиржана? Ай, как мчится времечко-то, а?! Я ведь помню тебя еще сопливым чумазым мальцом... о-ха-ха-ха!..

Ты, весь в ожидании, покорно стоял, упершись взглядом в истертый носок парусиновой туфли. Тебе, конечно же, было приятно, что веселый толстяк оказался твоим сородичем. И не просто сородичем, а близким — из рода морских жакаимцев. Удача своенравна, и, случается, она идет тебе в руки. Сколько дней ты, как слепой котенок, понапрасну тыкался туда-сюда, и вдруг такая награда за все унижения и волнения: встретился человек, который знал и помнил отца твоего... Мало того, он еще и тебя самого помнил. Даже про нос твой сопливый не забыл, ну и пусть себе потешается, если это ему доставляет удовольствие. Если разобраться по совести—кто из нас в детстве не был сопливым? Помнится, мать, обремененная заботами многолюдного дома, с утра до вечера не вылезала из хлопот, и все же среди нескончаемых своих забот она нет-нет да и подойдет к тебе, чернявому карапузу, ползающему по полу, и вытрет, ласково приговаривая, подолом рубашонки вечно замызганный твой нос.

— Значит, выходит...

Ты поднял на толстяка глаза. Но, встретившись с острыми зрачками, в упор уставившимися на тебя, поспешил отвести взгляд. И улыбку воспоминания на губах погасил. Ты ничуть не сомневался, что сейчас услышишь наконец из уст этого добродушного веселого человека из одного с тобой рода-племени долгожданные слова о назначении на работу, которая станет смыслом всей твоей жизни. И тогда к приезду Бакизат все будет улажено, останется лишь отпраздновать вашу свадьбу. Нет, не зря, видно, сегодня с утра дергался у тебя правый глаз: это ведь, говорят, к добру, к радости. «Может, еще и к себе на работу возьмет?» — мелькнула робкая догадка. И в надежде услышать сейчас обо всем этом от сородича, ты несмело глянул на него. Поймав твой взгляд, дородный морской жакаимец тяжело качнулся на скрипучем стуле и вдруг хохотнул. Что-то, пока ему одному известное и забавное, снова его рассмешило:

— Слушай, милок, если ты из морских жакаимцев, то должен бы знать...

Ты не догадывался, о чем, собственно, собирается вести речь твой шутник сородич.

— Должен, думаю, знать припевку, помнишь, о нашем роде... о морских жакаимцах.

— При-пев-ка?

— Да. Забавная такая:

Недотепа — жакаим!
Велика ли слава:
Воды соленой нахлестался —
Аж трещат суставы...

Ну и как? Здорово, а?!

— Ой, ага... Да ведь это аульные остряки придумали, чтоб друг над другом подсмеиваться...

— Шутка, думаешь? Не-ет, дорогой, совсем не шутка. Суровая жизненная правда. Если хочешь знать, дорогой, у человека, постоянно пьющего соленую воду, откладывается соль в суставах. В медицине так и называется — отложение солей. И потому у него суставы трещат. Гены, понимаешь? А ну, давай-ка, пройди взад-вперед. И если ты истинный морской жакаимец, то, аллах свидетель, и у тебя при ходьбе должно стрелять в в пятках!..

И тут веселый толстяк всей своей кабаньей зашеиной опять отвалился на спинку стула и зашелся неудержимым стонущим хохотом. Хохотал так, что забулькало в брюхе, вылезшем из-за стола. Колыхался в спазмах смеха пухлый бабий подбородок. Колыхались, как студень, рябые жирные щеки, и запропали где-то в щелочках глазки. Только рот разевался, ловил воздух... И кто знает, сколько бы еще продолжалась вся эта мистерия смеха, не влети в это время в кабинет одуревшая от зноя крупная муха. Дородный морской жакаимец тотчас оборвал смех, неожиданно ловко вскочил. Мигом слетела с него и недавняя сонная одурь, навеянная было нещадным аральским зноем. Взял свернутую в трубку газетку и напряженно, на цыпочках, двинулся за возмутительницей спокойствия.

Вот этим мгновением ты и воспользовался. Схватил со стола раскрытые, словно просящие ладошки младенца, свои «корочки» и осторожно выбрался из кабинета. Едва выйдя, закрыл за собой дверь, привалился спиной к ней. Смех и слезы душили тебя. От зноя или от волнения кровь стучала в висках. И тут за дверью раздался резкий хлопок, от чего ты вздрогнул и пошел, потом побежал по гулкому коридору. И, уже больше никуда

не заглядывая, заспешил на станцию: в тот день приезжала из Алма-Аты Бакизат...

С тех пор прошло тринадцать лет. Веселого толстяка из рода морских жакаимцев ты больше не встречал. Впрочем, нет... Однажды, спустя многие годы, увидел его неожиданно в столице, в президиуме научного совещания. Он тебя не заметил, и ты тоже не подошел к нему. Но от тех слов толстяка сородича у тебя и сейчас еще, случается, горят уши. Все чудится, будто кто-то так и норовит тебя уязвить, обозвав сопливым мальцом. Мать Бакизат, богом данная тебе теща, например, и поныне не скрывает своей нелюбви к незадачливому зятю. Она никогда не считала тебя достойной парой для своей дочери: просто терпела, по-женски скумекала, что нельзя, не годится взрослой дочери всю жизнь одной томиться в постели. И своей нелюбви, неприязни к тебе никогда не пыталась скрывать: «Запомни, зятек, это мы, мы тебя в какие-никакие люди вывели!..» И ты терялся тогда и не знал, чем ответить ей, потому что в глубине души всегда сознавал некую правоту ее слов.

Да, влиятельные родичи жены имели широкие связи и в городе, и в аулах. И, надо отдать им должное, в первое время усердно принялись за тебя, с ходу подхватили, как подхватывает лодчонку бурное течение. Но в решительный момент ты всякий раз строптивился, точно верблюд у брода. И кто знает, что было бы без их хлопот и усердия, хоть ты десять вузов кончай и все карманы набей себе дипломами. Наверняка бы оказался первым с самого сотворения синего Арала дипломированным рыбаком в этом краю и хлюпал бы сапогами в соленой воде, тянул бы сети, и, может быть, тебя, как первого дипломированного из рода-племени казахов-рыбаков, время от времени выставляли бы, точно редкий экспонат в музее, напоказ во всяких там президиумах. Впрочем, теща твоя не перестает называть тебя «дипломированным рыбаком», при этом ехидно прихихикивая. Она никогда не упускала возможности уколоть тебя побольнее. Особенно если нужно сделать что-нибудь по дому, она, ухмыляясь, бросает дочери: «Так вон же сидит твой дипломированный рыбак... Попроси его хорошенько, поумоляй. Нынче ведь чабаны, хлеборобы, рыбаки там всякие в почете, к их голосу, говорят, даже и в верхах прислушиваются... Ха-ха-ха-а...»

Что ж, пусть смеется... коль случай подвернулся...

* * *

Глядя теперь на свои следы как бы со стороны, он видел и понимал в себе многое такое, что в обыденной жизни часто ускользало от его сознания. Как ему казалось, следы сейчас рассказывали ему о нем самом и даже о его мыслях. Особенно в том месте, где его как раз опять застиг прошедший уж было гнев: шаги там вышли неровные, размашистые и вели не разбирая дороги... Уж он-то знал причину яростной своей вспышки, знал, отчего горело сердце. Можно даже вообразить, какой у него был вид в то мгновение. Встопорщились, должно быть, густые заиндевелые брови, белыми стали, небось, от злости большие глаза, и был он, наверное, страшен, будто только что из пламени вырвался, сжимая отяжелевшие, словно литые из чугуна, кулаки...

Хорошо еще, что в эти минуты тебя не видела Бакизат... Увидела бы и ожгла исподлобья взглядом: «Ох уж и собачий твой характер!..» Слава всевышнему, надоумившему его вовремя уйти из аула, не то — кто знает, что бы он еще мог натворить в приступе бешенства. В тот момент он был, пожалуй, почти невменяем, горе и отчаяние совсем замутили ему рассудок. Новая беда, навалившаяся вдруг на него, верно, где-то подстерегала, поджидала его до поры до времени. Сколько лет он собирал, копил в себе эти разъедающие душу сомнения, досаду, скрытую даже ярость на себя, сколько ожесточался в этих сомнениях, травя обреченную на молчание свою душу... И вот надо же было так случиться, что последней каплей в чаше терпения стал Сары-Шая. Способный кого угодно вывести из терпения, он с таким видом ворвался в кабинет, будто наступил конец света, подскочил к нему, топоча ногами, завопил: «Ойбай, Ойбай! Лучше смерть, чем снести такой позор!»

Ты молчал, а Сары-Шая, будто подхлестнутый твоим молчанием, закричал, тряся воздетыми руками перед твоим лицом: «Если не дорога тебе твоя честь, так побереги хоть честь нашего славного рода Жакаим! Смотри вон, как попирают ее джигиты рода Тлеу-Кабак!..» Но ты и на сей раз смолчал. И тогда этот сморчок, задрожав от злобы, судорожно сорвал с головы мерлушковый борик: «Апырай, и ты молчишь?! Но где это видано, чтобы средь бела дня, при всем честном народе твою бабу прямо в постели... Какой позор, какой позор!»

«Ну вот что... Сгинь-ка с моих глаз!»

«А?»

«Сгинь, говорю!»

«Сгинь, говоришь! Это мне-то? Хе-х...»

Сары-Шая и не подумал сгинуть, напротив, уселся, устраиваясь поудобней. Закинул ногу на ногу. Немигающие кошачьи желтые глаза ехидно блеснули: «Ты, милок, это всерьез?»

«Скорпион ты, а не человек... Убирайся!»

«Вон оно как! Ну-ну!.. Народ прозвал меня Сары-Шая, но никак не Скорпионом. Ишь, придумал тоже... скор-пи-он... Ну, спасибо, милок, порадовал. Очень даже неплохо. Кхе-хе-хе...» — Сары-Шая был удивительно спокоен, даже вроде бы благодушен. Зато ты был готов взорваться гневом. Ты стиснул кулаки. В теле нарастала неодолимая дрожь, и ты знал, что за этим может последовать... Кажется, и Сары-Шая видел твое состояние. И, продолжая ухмыляться, краем немигающих глаз раза два покосился на твои чугунные, напряженно высовывающиеся из рукавов кулаки: «Милок, это же кувалды! Ей-богу, кувалды! — Он опять глянул на них, уже в открытую, и, взяв твой кулак в свою ладонь, восхищенно покачал его на весу.— Вот это да-а!.. Жаль только, милок, что не пользуешься ты ими по назначению...»

Ты торопливо вобрал кулак в рукав. И еще больше задрожал от негодования и собственного бессилия, видя ту же наглую ухмылку на спокойном лице родственничка. А он, бестия, между тем, убедившись в твоей беспомощности, ткнул пальцем в твой кулак: «Милок, убери-ка это... А если уж силы некуда девать, то мой тебе совет: докажи-ка лучше это жеребчику-побратиму своему столичному... хе-хе... Да, да, милок. Это будет честнее...»

«У, кр-е-тин!»

«А? Это я-то?! — удивленно переспросил Сары-Шая и медленно поднялся со стула. Злорадная искорка в желтых глазах потухла. Бледный и злобный, он взглядом смерил тебя с ног до головы.— Это ты, милок, кретин! Я бы даже сказал — кретинище, каких свет не видывал! Бабе твоей среди белого дня подол задирают. Мало того, с собой забирают. А ты...»

Что было дальше — ты плохо помнил. Черная, какой прежде не бывало у тебя, ярость помутила сознание. И тебя понесло, захлестнуло, и ты уж сам не помнишь,

что было потом. А от того, что помнишь, готов даже здесь, в безлюдье, от стыда сквозь лед провалиться. И бог бы с ним, что было — то сплыло... но как пережить то, что всю эту безобразную сцену видела кроткая, не смеющая перед тобой глаз поднять смуглая девушка-секретарша?.. Когда ты в слепой ярости сграбастал Сары-Шаю за грудки, она, такая робкая всегда и тихая, подлетела к тебе, повисла на твоей руке: «Агатай!.. Опомнитесь! Что вы делаете, агатай?!.» Только тут ты ее и увидел, но уже не владел собой, не слушая мольбы ее, не помня себя, с остервенением бил и бил, загнав в угол этого оборотня, подстрекателя и мучителя своего...

Мороз больно щипнул за щеку, точно ожег. Да, собачий характер... А разве не правда? Разве не он, этот твой собачий характер, выжил тебя сегодня из дома?

* * *

Наступили наконец морозы, и залив под кручей схватился молодым темным льдом. Резкие холода особенно прочно сковали побережье, а еще через несколько дней ледяная гладь протянулась едва ли не до горизонта. Покинув утром дом, одинокий человек побрел по упругому молодому льду и, почти дойдя до его опасной прогибающейся кромки, за которой дымилось открытое море, остановился. А теперь уже за полдень. Короткий зимний день идет на убыль. Но человек все на том же месте, даже и мысли его, не сходя, топчутся все там же. Уже стынь незаметно пробралась сквозь подошвы сапог, и холод одиночества достиг, кажется, сердца, но он все продолжал стоять. Возвращаться обратно по своим следам он сейчас не в силах. Но также не мог идти и вперед, как шел и шел без оглядки утром, потому что там, впереди, в каких-нибудь трех шагах, исходя белесым паром, дымится зимняя вода. Нет покоя сегодня морю. Оно грозно ревет, ворочается, и оттуда, из безбрежной дали, доносится нескончаемый утробный гул, летит сизая изморозь. А остальной мир будто объят печальной тишиной. Сегодня на рассвете хлопьями повалил снег и выбелил, высветил порошей все вокруг — и неприглядно черневшую сушу, и хмурое ледяное поле, ощутимо зыбившееся под ногами. Одни только волочащиеся за ним, будто плохо свитая веревка, собственные следы его, которые, дотащившись сюда, обессиленно обрываются у самых ног. А он... все давит их,

вдавливает в снег тяжелыми сапогами, будто боится, что, стоит ему сдвинуться с места, они, следы эти, оживут вдруг и, как бродячие собаки, разбегутся, затеряются в огромном мире и вместе с ними исчезнет и память о нем самом...

Чему ты усмехаешься? Следам своим? Нет, это просто в очередной раз обожгла сердце острая неприязнь к себе и к душе своей, будто затравленной псами. Тебя раздражает это нелепое сходство, претит одно напоминание о нем; однако разве неведомо тебе, что ни одному грешнику на земле, ни одному праведнику не удалось отречься от своих следов или от собственной тени? Нет, дружище, все твои неурядицы, невезения, нескладный твой характер — не камень, который, выйдя в море, можно незаметно сбросить в пучину. Нет, не затопчешь своих следов и кованым сапогом. Так до каких же пор ты собираешься торчать на одном месте, на открытом всем ветрам ледяном поле судьбы? Где ты был раньше, если хотел избавиться от всего, что самому казалось таким отвратительным и скверным в себе? Нет, раньше ты был другим. Поглощенный заботами, разве имел ты возможность рассматривать собственные следы — ты даже лишний раз оглянуться не мог. Совсем еще недавно и в тебе, и вокруг тебя все было подругому. Все в этом краю — и стар и млад — жили душа в душу, в полном согласии и стремились к чему-то общему, единому. А теперь?.. И теперь, понятно, небо не обрушилось, земля не разверзлась, все так же светит солнце. И люди пребывают вроде бы в здравии и достатке. Все так. Но только вот с тобой что-то случилось. Да и твоих земляков как подменили... Вспомни, разве в былые добрые времена, когда после затяжного осеннего ненастья вдруг неожиданно обрушивалась крепким морозцем зима и залив под кручей за одну ночь затягивало тонким льдом,— разве все мужчины прибрежных аулов не высыпали дружно на море?! Да и кого из сыновей потомственных рыбаков не охватывала радость при появлении первого берегового припая? Кого не тянуло первым выйти на молоденький упругий ледок, чтобы, весело рискуя, испытать его надежность и натыкать вдоль закраины полыньи караульных вышек? Да, ставить первую сеть под молодым льдом для рыбаков всегда столь же радостно и священно, как для дехканина по весне с молитвенными словами на устах бросить первую горсть семян в свежевспаханную землю...

464357

Но, опережая самых нетерпеливых в работе удальцов, раньше всех отправлялся в море все же ты, не раз вставал по ночам, чтобы не пропустить желанного часа,— и когда, наконец, накатившая с севера ночная стужа до звона натягивала небесный, с яркими колючими звездами купол, ты уже был на ногах. Первым делом отправлялся на конюшню. Широко распахивал забухшие, прихваченные морозцем-баловником ворота. Густой, устоявшийся запах зеленого курака с порога обдавал тебя, щекоча ноздри. А гнедой, со звездочкой во лбу жеребец чутко дремал в стойле, в дальнем темном углу конюшни. Почуяв хозяина, он негромко всхрапывал. Привычным движением ты, бывало, накидывал узду, с тихим лязгом вправлял железные удила, набрасывал на спину пропахшее потом седло, сильным рывком стягивал подпругу. А с коня еще не сошла сонная истома, и оттого он покладист и послушен. И когда рослый сутуловатый мужчина, едва коснувшись стремени, всей своей тяжестью вдруг ловко опускался в седло, жеребец на мгновение будто терялся, оседал, переступая ногами, но тотчас твердел телом, обретал устойчивость. В ночных, еще сумеречных глазах его под набрякшим надглазьем вспыхивал фиолетовый затаенный огонь, и, нервно косясь по сторонам, конь своевольно поворачивал на привычную тропу к знакомому лугу за аулом, где всласть нагулялся прошлым летом. Однако ты властным движением руки направлял его к прибережью. Раздосадованный жеребец мотал головой и, словно стреноженный, с нервной злостью мелко перебирал копытами по гулкой мерзлой земле. И тогда ты, злясь на его строптивость, крепко натягивал поводья и одновременно стискивал шенкеля так, что у жеребца, казалось, вот-вот затрещат ребра. И, почуяв силу ездока, жеребец поворачивал куда надо и через мгновение послушно нес тебя легкой широкой рысью.

А между тем занималось уже утро. Мороз поскрипывал, пощипывал. От ладной быстрой рыси задувал в лицо сиверко, и душа твоя словно обретала крылья. Внизу из-под копыт взлетали снежные ошметья, тотчас рассыпавшиеся в морозную пыль; а по всей степной шири причудливо горбатились, волна за волной уходили вдаль сугробы — уже слежавшиеся, охваченные за ночь плотной глянцевитой коркой, и еще рыхловатые, вздыбленные, будто волчий загривок; и жеребец легко, с глухим топотом и мерзлым визгом снега вспахивал сувои,

а в глубоких местах прокладывал себе путь чуть ли не грудью, не сбиваясь при этом с рыси и все более распаляясь; и неудержимо рвался вперед, одолевая перевал за перевалом, пока не достигал косогора, за которым во всем своем безбрежье открывалось вдруг, играя солнечными бликами, море. Здесь ты круто осаживал и, встав на стремена, вытягивался, вглядывался с орлиной выси в эту полную блеска и света даль, и каждый раз от восторга подкатывалось и замирало сердце. Море, не вмещавшееся в неоглядную поднебесную ширь, уходившее за горизонт, казалось тебе в эту минуту особенно могущественным. Еще вчера оно, занемогшее, стонало под кручей и с тупым размеренным ожесточением хлестало, било вспененными волнами в каменистый берег, угрюмо шалея от собственного смятения, — но вот за одну лишь ночь сковалось по берегу и заливам льдом и смиренно замерло, ослепительно сверкая под солнечными лучами ровной голубой гладью. Разве можно, глядя на него, удержаться рыбаку от счастливой улыбки? И нет под тобой ни коня, ни тверди — ты со своим рвущимся из груди сердцем весь там, в этом вечно манящем, вечно уходящем просторе.

Что говорить, и на твою долю выпадали прежде такие вот счастливые дни. Ты давно понял, что предкам твоим, бесхитростным скотоводам, было ведомо немало мудрых истин. Это они сокрушались: «Напрасно ты ищешь тень прошедшего дня». В самом деле, где они теперь, эти следы или тени прошлого, способные хотя бы на время утешить твою душу, когда, как сейчас, в минуту смятения оказываешься ты вдруг в тупике? И если счастье упорно отворачивается от тебя, как гуляющая жена от опостылевшей супружеской постели, то, считай, и дни, и месяцы, и годы твоей жизни предстают точь-в-точь в обличье лисы-плутовки, сбивая тебя же самого с пути своими прихотливыми следами. Не потому ли ты с утра томишься здесь на льду и тщетно пытаешься докопаться до сути всего того, что происходит с тобой? А вот попробуй представить свои следы в те благие времена, когда счастье, казалось, само шло в твои сети, — как, например, когда ты, взволнованный, бывало, круто осаживал гнедого над самым обрывом... Да-да, в самом деле, как же было дальше? И неужели человек, настигнутый несчастьем, порой устает не только телом, но и душой, памятью?.. Но нет, ты-то еще помнишь, как оно бывало. Дальше, осторожно спус-

тившись с конем по круче, ты стреноживал его в прибрежных, раздерганных вчерашним ветром зарослях и выходил на лед. Шел, шел... то быстро, то медленно, осторожно, часто останавливаясь, если лед казался тебе подозрительным, и следы твои выдавали только решительность твою или только осторожность, но рабом судьбы ты не бывал. Порою ты пробовал лед на прочность, с оттяжкой долбил кованым каблуком. Так ты все дальше и дальше уходил от берега, определяя, наконец, ту главную черту, до которой можно было ставить сети без опаски. Осмотрев еще раз лед и укрепив вдоль кромки надежного ледяного припая камышовые вешки, забавно походившие издали на закутанных детишек, ты, довольный, возвращался назад. Так бывало всегда. Так было и в прошлом. А сегодня?

Темноликий сутулый человек поднял голову, задумчиво оглянулся вокруг, как бы желая понять, чем же все-таки отличается сегодняшний день от множества других — прошедших — дней его жизни и почему вдруг сегодня стоит он один-одинешенек на безлюдном ледяном поле. Ледяном поле судьбы. Потом опять посмотрел на цепочку следов, обреченно обрывающихся у самых его ног. Глянь, они точно обессилели — кое-как дотащились до него, доползли и легли у его ног тихо и покорно. Дальше — тупик. Только кого винить? И без того в последнее время в его жизни не было ни склада ни лада, а после поездки к устью Сырдарьи все и вовсе расползлось по швам. О, как возмущалась Бакизат, привыкшая всегда и во всем настаивать на своем. В гневе и запальчивости каких только слов не обрушила она на него! «Несчастный, — сказала она, — посмотри хоть на себя. На кого ты стал похож!» И еще говорила: «В этой своей вечной погоне за рыбой ты и сам весь измотался, и семью извел. Хватит! Никуда не поедешь!»

На улице перед домом подвывал мотор видавшего виды колхозного грузовика. Шофер сигналил уже второй или третий раз.

— Сейчас! — с досадой крикнул ты в ответ.

Тебя раздражал еще и этот шофер. Порядочный-таки нахал с вечно тлеющей папироской в углу рта, в низко надвинутой на лоб замасленной кепке со сломанным козырьком. И машина эта такая же тарахтелка, как и он сам. Не сигналит — ревет по-дурному, как верблюдица к дойке.

— Ну пойми же, дорогая...— сказал ты, насколько возможно смягчив голос.

— Не поедешь — и все! И слышать не хочу.

— Батиш... ты же умница. Постарайся меня понять. Ну, просто нельзя мне не ехать.

— Это почему?

— Да ведь сама знаешь, там... там наши люди...

— Ничего я не знаю. Знаю только, что ради прихоти своей ты всем готов жертвовать.

— Ну, милая... что с тобой?

— А ничего. Ты разве не был там совсем недавно?

— Понимаешь, надо мне... надо! Сама посуди, все лето рыбаки пропадают там, на Сырдарье. Легко ли им? И у них тоже семья: жены, дети... Представь только: солнце, слепни и комары, улов ни к черту... Ну кто еще, как не я, обязан их проведать?

Бакизат молчала, стояла отвернувшись. Тебе казалось, она задумалась. Слава аллаху, подумал ты и несмело подошел к ней, встал рядом.

— Батиш... ну, умоляю тебя... в последний раз. Клянусь, съезжу только и вернусь.

— Сказала: не поедешь!..

— Батиш... Батиш-жан...

Ты шагнул было за ней, но тотчас остановился. Дверь громко захлопнулась перед самым твоим носом. Ты вздрогнул, не сразу убрал руку, нерешительно протянувшуюся за ней. И все стоял, пока не затих там стремительно удалявшийся сердитый перестук каблуков.

* * *

Шофер, едва покосившись на председателя, сразу смекнул, что шеф не на шутку чем-то подавлен, и потому не обмолвился ни словом. Записной балагур и ёрник, он держался с покладистым председателем на короткой ноге и вел себя, бывало, панибратски, будто с приятелем, с которым только что принял, как он выражается, «по стопарю». Но сейчас шефу было явно не по себе, и шофер, положив на руль заглохшей отчего-то машины тяжелые руки с никелевым колечком на мизинце, терпеливо ждал приказания.

— Поехали!

— Это мы сейчас...

— Газуй давай!

— Ма-а-мент!

Шофер поплевал на ладони. Перед тем как нажать

на стартер, наклонился к разболтанному щитку, пощупал-потрогал что-то под ногами. Машина, как обычно, сразу не завелась: мотор почихал, покашлял и, прогромыхнув, тотчас сорвался на предсмертный крик. Шофер загнул витиеватым матом, в сердцах дованул раза два на газ, после чего машина зашлась дрожью, заколотилась как в лихорадке и, проскрежетав еще чем-то, натужно, нехотя сдвинулась с места. Каждый раз одно и то же. Это был какой-то своеобразный ритуал, проходивший в более или менее строгой последовательности, и к нему в ауле давно привыкли. Все знали, что машина не тронется с места, пока шофер как следует не рассвирепеет, не разразится заковыристой руганью, не попинает железку под ногами, не откинет помятый капот и, поковырявшись там стебельком или спичкой, не поплюет на что-то ядовито шипящее. Рано или поздно все равно она заведется, все равно побежит, переваливаясь по рытвинам и ухабам родных мест. А потому пусть покапризничает, пусть хрипит и трясется; в сущности, она ведь безотказная. Да и куда ей деваться, единственной в рыбачьем колхозе тарахтелке? Послушная крутому нраву своего бессменного водителя, она никого не оставит на полпути, худо ли, бедно ли, а всех довезет-домчит куда надо.

Ну а если со стороны глянуть — так это была не машина, а гроб с музыкой. Посторонний человек ни за что бы не сказал, что эта расшатанная всевозможными передрягами и временем коробка может быть к чему-либо пригодной. Все железки ее давно изъедены ржой, все деревяшки пересохли и потрескались, гайки ослабли, шурупы выскочили, и если все это еще как-то держалось вместе, то лишь на честном слове и божьей милости. Запуская ее каждый раз непременно спереди, непременно с ручкой, шофер обычно предпочитал не выключать мотор, особенно на коротких остановках, оставлял тарахтеть на малых оборотах. Зато в дороге машина временами выказывала необыкновенную прыть: мчалась вовсю, споря и переругиваясь с ветром, и останавливалась лишь тогда, когда или кончалось горючее, или закипала вода в радиаторе, или вдруг на ходу отваливалась какая-нибудь ее многострадальная часть. «Может, и на этот раз не подведет», — надеялся про себя председатель. Если выдержит забитый накипью радиатор, не заглохнет мотор, склонный к перебоям, не взорвутся давно облысевшие шины, то до захода солн-

ца машина как-нибудь одолеет эти пятьсот пустынных километров.

Не успели еще порядком опомниться, как обогнули древний увал Бел-Аран, величественно вытянувшийся позади рыбачьего аула. За ним впереди открывался широкий, такой же древний кочевой простор — начиналась бесконечная дорога. С одной стороны раскинулось синее море, с другой — выгоревшая бурая всхолмленная степь. А между ними белела змейка проселочной дороги, по которой сейчас бойко катилась, подпрыгивая на ухабах и рытвинах и вздымая за собой клубы степной пыли, колхозная развалюха. Понемногу развеивались незаслуженная обида и боль, только помнились клятвенные слова, сказанные жене. Конечно же, что бы там ни случилось, слово свое он сдержит. Приедет к рыбакам, оглядится, потолкует о делах, заночует, а на следующий день, как обещал, спозаранку в обратный путь. Лишь бы тарахтелка не подвела, лишь бы сегодня вечером добраться до рыбачьего стана, до устья Сырдарьи.

— Жми! Жми-ка, браток!

— Ма-а-мент!

И опять, поплевав попеременно на ладони, услужливый нынче шофер пригнулся к баранке. Председатель покосился на него, усмехнулся. Отчаянный джигит. В здешних краях никто еще не видел, чтобы у его развалюхи светились одновременно обе фары. И в самую непроглядную ночь одноглазым дьяволом метался его драндулет по бездорожью, по дикой степи, где рыщет разве что одно зверье. Спутников охватывал ужас. Обычно он хмуро сидел за баранкой, молчал, по самые глаза надвинув промасленную кепку со сломанным козырьком, в углу рта неизменно дымилась папироска. Но стоило ему заложить хотя бы малость, часами мог молоть языком. Начинал пространно рассказывать, что видел, что подумал, где и что ел и пил. Или пересказывал то, что слышал, без конца озирался на сидевшего рядом спутника. И если тот, измученный ездой, слушал рассеянно или вдруг погружался в свои невеселые мысли, шофер, крутя баранку одной рукой, другой ревниво толкал спутника в бок. Завладев вниманием спутника, он с прежним жаром продолжал свою бесконечную, как сама ночная дорога, болтовню. Порой так увлекался, что и вовсе отпускал руль, и не дай бог в таких случаях ему сделать замечание, напомнить, чтобы

получше следил за дорогой. Тогда в нем взыгрывал бес упрямства. Машина будто сама собой начинала вдруг шарахаться из стороны в сторону, мотаться по дюнам, сломя голову нырять в густые заросли прибрежья или, вся скособочившись, мчаться по склонам холмов, — а шофер, вместо того чтобы смотреть вперед, распахивал дверцу и, привстав на подножке, орал что-то веселое и безалаберное онемевшим в кузове от страха и тряски пассажирам.

Куда как хорошо зная повадки своего шофера, председатель обыкновенно старался не перечить ему в пути. И на этот раз только выехали из аула, приник к боковому окошку и до самого Красного Яра рта не раскрыл, молча взирал на безбрежно раскинувшийся сразу за обочиной родимый Арал. Над головой синело прозрачное небо. Сбоку вставало, синело море, заполнив собой полмира. У горизонта синее небо и синее море сливались, соединялись в единое. И от этой сплошной сини уставали глаза, кружилась голова, синь зыбилась, и тогда он, ища опоры взгляду, смотрел то в степь, то на шофера, припавшего к рулю. Тот сумрачно молчал. По-шоферски отрешенно-внимательный взгляд его был устремлен вперед, кончик носа маслянисто поблескивал. Иногда, чтобы сократить дорогу, он резко сворачивал в сторону моря, пускал машину напрямик по ровной, как стол, поверхности высохшего, покрывшегося ломкой коростой бывшего лимана или заливчика. И тогда клубилась из-под колес густо-белесая, горькая от соли пыль... Да, обмелело море, далеко ушло от изначальных своих берегов, неприглядно обнажив дно заливов и бухт, где совсем еще недавно, бывало, стояли на якоре пароходы, баржи и шныряли юркие катера. Небольшие острова по эту сторону — Жаланаш, Буюргунды, а с ними и знаменитый Кок-Арал, оставшийся во-он за тем поворотом, за пологим песчаным увалом, — теперь сошлись, как старики на тризне, и слились с материком, тоскливо белея сплошными проплешинами. На этих островах жили некогда предки, промышляя в путину рыбу, обретали здесь богатые тони, а теперь он с трудом, лишь по памяти находил их, и картины прошлого, одна живее другой, вставали перед ним и невозвратностью своей бередили душу. Сердце больно сжалось при виде открывшейся вдруг впереди огромной и пустынной солончаковой впадины. Постой... Постой... Да-а это же... вроде Шомишколь?!! Мир тебе, бывшее приморское озе-

ро Шомишколь! Вот теперь каким ты стало... В горячую пору путины, бывало, мои родичи сетями и неводами черпали здесь неисчислимую рыбу, и оттого тебе и название пошло — Черпак-озеро. Мир тебе, дедовский славный край! Благодатная колыбель моих предков, пустынной травой-горечью ты поросла, горькой солью подернулась... И точно крупица соли этой угодила ему в глаза, горячо увлажненные веки невольно задергались. Несговорчивый ком любви и страдания ворочался в груди, подкатывал к горлу. Он с трудом сглотнул, унимая его, до боли закусил губу и замер в своих воспоминаниях.

Вот и Шомишколь проехали напрямик, по иссохшему, запавшему, как старческая щека, логу. А в послевоенные годы, помнится, верховой путник, направляясь в Аральск, полдня тратил лишь на то, чтобы обогнуть достославное это озеро. Тогда шумел вокруг него непролазный камыш, стоял крутой стеной, и путник, переведя, бывало, коня на шаг, настороженно ехал по узкой тропинке. В жутких этих зарослях даже испытанному джигиту становилось не по себе, и он поневоле оглядывался по сторонам, по-звериному чутко прислушиваясь к каждому неясному шороху. А в чащобе становилось все сумрачней, все глуше; толстый, словно бамбук, камыш тянулся ввысь, закрывая, до полоски сужая небо над головой, порой смыкаясь верхушками. Но вот проносился поверху ветерок, и все вокруг мгновенно менялось, наполнялось торопливым бегущим шорохом и шелестом — будто вмиг собрались и зашушукались здесь кумушки-сплетницы... Пышные шелковистые метелки наперебой шептали что-то, лепетали, кивая и склоняясь друг к другу, словно сбежавшиеся на некую новость аульные сношеньки-свояченицы в белых жаулыках, с чего-то горячо одобрявшие друг друга. И камышовое царство мгновенно сбрасывало с себя стоячую сонную одурь, все тревожно оживало, и молодой курак нашептывал свою не понятную никому бесконечную песню, и невидимые в густой чаще птахи заливались на все голоса. Совсем вроде недавно это было, совсем недавно... Стоило только перевалить седловину Бел-Арана, как вдоль всего побережья до самого Аральска потянулись один за другим густо населенные, памятные твоему сердцу острова и бухты — Колькора, Кокарал, Акбасты, Сарыбасат, Тастубек... Бок о бок соседствовали рыбачьи поселения, и в вечернем без-

ветрии явственно доносился от соседей лай их собак. А в весеннюю пору, когда неузнаваемо преображалось приморье, когда один за другим начинались многочисленные, исстари заведенные праздники, молодежь соседних аулов, принарядившись, наведывалась друг к дружке. Из аула в аул добирались и морем на лодках, и прибрежной степью на подводах, соединялись в ватажки, и веселье шумело днем и ночью; качались на высоких качелях, пели старинные отцовские песни, устраивали игры. Так было. И все это еще живо у многих в памяти, но ничего этого теперь не осталось; прошло, истаяло, как сладкий сон на заре. Теперь вдоль всего побережья ни людей, ни песен, ни былого разнотравья. И ничего нет на свете печальнее заброшенного человеческого становища. На месте рыбачьих аулов, где, бывало, не раз ты по пути в Аральск останавливался на ночевку, сейчас лежали лишь одни груды развалин, и только кое-где зияли уцелевшие стены домов проемами окон и дверей, древней копотью чернели очаги. Вокруг развалин разрослись зловеще-сизые колючие кусты, все остальное заполнил цепкий пустынник-репей. То здесь, то там качались над ним чахлые пучки чия, точно изжеванные прожорливыми верблюжатами конские хвосты. А ведь когда-то здесь, у самого порога, плескалось море. Теперь оно далеко ушло, — еле видать отсюда. Берег обнажился. Высохшая земля истрескалась такырами, проступила всюду вездесущая азиатская соль, и солончаковая сплошная плешь стала теперь как просоленная и затвердевшая верблюжья шкура. Знойными днями, когда с окрестных степей поднимался ветер, здесь крутились, вихрились одни пыльные бури. Едкая пыль эта проникала даже в закрытую кабину. На аральских берегах нет от нее спасения. Вскоре и путники покрылись ею с ног до головы. Брови, ресницы, щетина на лице — все словно мукой обсыпало. Пыль забила ноздри, лезла в глаза, скрипела на зубах. «Тьфу! Какая гадость!» — сплевывал шофер.

Машина наконец-то пересекла дно высохшего озера Шомишколь и с немалым трудом, поминутно буксуя в песке, надрываясь мотором и петляя между хлещущими по бортам кустами тамариска, выкарабкалась кое-как на бугор.

— Басеке, видишь вон тот красный яр? — спросил вдруг шофер, небрежным кивком показывая направо.

Да, справа от дороги грузно вставал красный ка-

менистый выщербленный временем крутояр, о который некогда, с гулом вздымая водяные брызги и пыль, бился морской прибой... Сердце твое ворохнулось, но ты не сразу догадался о причине этого волнения. И лишь при виде оплывшей груды развалин на месте дома рыбака, обитавшего здесь, на яру, в те благословенные времена, тобой овладело какое-то непонятное волнение. Машина вновь раскатилась, порушенный дом на вершине крутояра остался позади, а ты, растерянный, все оглядывался, озирался на него — да, и тут жизнь когда-то кипела...

Шофер, казалось, подозревал, что творилось в твоей душе.

— А ты помнишь, ведь когда-то мы в этом доме ночевали, — сказал он, отчего-то довольно посмеиваясь.

— О чем ты? — поморщился ты раздосадованно, смешок этот казался тебе неуместным.

— Как о чем? Заночевали, говорю, когда-то здесь. Неужто забыли?

Хорошенькое дело — «забыли»... В те годы, когда они повсюду здесь промышляли рыбу, где только не останавливались! У кого только не ночевали! И разве все упомнишь?

— Вот те раз! Море тогда еще только-только начало мелеть...

— Выходит, где-то в шестьдесят пятом, шестьдесят шестом году?

— Да вроде так... Ехали на этой вот самой колымаге. Правда, тогда новенькая была, еще краской блестела...

— Видно, в Аральск ездили...

— В Аральск ли, в Маральск — дело не в этом.

— А в чем, позволь спросить?

— Была там одна потеха — сейчас все вспомнишь. Вечер как раз надвигался. А кому, скажи, охота ночью баранку крутить, носом клевать? Покумекали мы тогда с тобой и решили остановиться тут на ночлег...

— Ну и что?

— А дальше — слушай. Хозяин оказался угрюмым молчуном. Весь вечер как истукан просидел, только бровищами лохматыми шевелил. Сидел, все на одно свое место, что ниже пупка, глядел... — Шофер крутнул рулем, объезжая выбоину, хохотнул. — Уставился и сидит, клянусь аллахом! Вижу, не по душе мы ему

пришлись. Бабу, должно быть, недавно в дом привел, постель, так сказать, обновил.

— Ну и что?

— Ничего. Ревнует к каждому встречному-поперечному. Вдобавок и скрягой оказался. Даже бутылек не выставил. Ох и разозлился я! Хорошо же, думаю!.. Вот уляжемся, лампу потушат — я тебе, жадюге, отомщу... Ну, теперь-то, небось, вспомнил?

— Н-нет...

— Да ты что? Неужто в твоей башке ничего не осталось, кроме забот-хлопот этого дохлого колхоза?!— шофер опять весело хохотнул, но тотчас оборвал смех. Покосился украдкой на хмурое лицо председателя.— Ну, а дальше — не стану тебе голову морочить — достала молодка из тюка два атласных одеяла. Сначала, разумеется, тебе подала. Потом, само собой, и мне. И хочешь верь, хочешь нет, подавая одеяло, она, знаешь, как вильнет упругим задом. Потом отнесла лампу к порогу и фитиль прикрутила. Хозяин мигом захрапел, не успел башкой подушки коснуться. Ну, тут вылез я из-под одеяла и пополз, значит, на четвереньках. А она, чертовка, патлы-то распустила по подушке, и пахнут они черт знает чем... Чем-то бабьим, неуловимым таким. И-эх, думаю!

— Ты короче давай! Ишь, слюни распустил...

— Можно и короче... Вытянул я шею, как гусь, всмотрелся получше — вот те раз!.. Лежит она себе в объятьях бровастого хрыча и посапывает. Ну сам представь, как подступиться?.. Наконец решился все-таки: подкатил этак сбоку, пристроился и осторо-о-жненько так дотронулся... Ну, теперь-то все, небось, вспомнил? Проснулась она тут да как завопит дурняком: «Прочь! Прочь! Чего захотел, а?!» Ну, конечно, и бровастый очнулся, голову поднял, озирается вокруг. А я, как заяц, юрк в свою постель...

На том все и кончилось. После его незадачливого ночного похождения никто в доме так порядком и не заснул. Помаявшись, ты встал тогда, не дождавшись рассвета, растолкал шофера и, стыдясь смотреть хозяину в глаза, поспешно уехал. Да и вообще, многие его выходки вызывали в тебе противление, а то и бессознательное раздражение. Однажды, возвращаясь из дальней поездки, ты случайно открыл «бардачок» в кабине и среди всякой всячины в нем обнаружил две книги. Одна была на русском, плотненькая такая, с изобра-

жением трехтонного грузовика на твердой обложке. Сразу было видно: книгу в руках-то не держал — новехонькая, нетронутая. Зато другая, лежавшая рядом, повидала виды. И было это не что иное, как Коран, написанный пророком Мухаммедом в назидание рабам божьим... Начальных страниц не было, одни какие-то замасленные обрывки. Красивая вязь арабских букв поистерлась, поблекла. Ты раскрыл истрепанную книжку с середины — и там тоже виднелись всюду отпечатки пальцев, жирные мазутные пятна.

— Слушай... а ты ведь, кажется, в комсомоле когда-то состоял?

— Да, было такое...

— А теперь?

— Теперь баранку кручу. Еще вот, видишь, немного божьим делом промышляю.

— Как это «промышляю»? Зачем?!

— Ясное дело — зачем. На одной зарплате нынче не больно разгуляешься. Приработок нужен.

Он сказал это без тени смущения на лице. С тех пор как море стало мелеть, лишая рыбачьи аулы их исконного дела, стали мельчать душой и люди. Как сорная трава на заброшенном поле, непостижимым образом оживали, всюду, где пока что живут люди, выползали на свет давно вроде отжившие родовые отношения, древние обряды, всякие там поверья. Собирались святошами по аулам какие-то бесконечные пожертвования. Случалось, ради оплакивания и многократных поминок иные днями не выходили на работу. Даже бывшие поборники всего нового, вчерашние активисты, любившие грозно обрушиться на всякого, кто не отрекся в свое время от бога, от религии, теперь вон сами благоговейно дремлют на религиозных трапезах рядом с доморощенными муллами в засаленных старых чалмах. Вот недавно и этот малый, вернувшись из дальней поездки, поспешно заглушил пропыленный грузовик у окон дома и, позабыв об усталости, побежал на чьи-то похороны, на ходу стряхивая с себя дорожную пыль. Обмотав голову полотенцем, протиснулся в ряд коленопреклоненных стариков в белых чалмах. От нового «коллеги» так разило бензином и табаком, что муллы всполошились, брезгливо заотряхивали полы чапанов, забормотали в негодовании, будто затесался к ним сам нечистый дух: «Изыди, сатана! Прочь! Сгинь! Сгинь, нечестивец!..» Шофер, однако, не смутился. Оттеснен-

ный старцами, он тем не менее никак не хотел отказаться от своего богоугодного дела. Принял покорную позу. Смиренно прикрыл веки. И нельзя было понять, то ли в самом деле он молился, каясь в своих прегрешениях перед всевышним, то ли матом крыл про себя усатого районного милиционера, который вчера оштрафовал его в городе на пять рублей за то, что не уступил дорогу школьникам. Как бы там ни было, этот негодник точь-в-точь повторял все, что делали аллаховы слуги в белых чалмах: прижимал ладони к груди, со вздохом опускал глаза, усердно шевелил губами... Напрочь, должно быть, забыл в эти минуты, что всю жизнь только и делал, что курил табак, хлестал водку, похаживал по бабенкам да еще изрыгал разные богомерзкие слова. Глядя на его благочинный отрешенный вид, можно было подумать, что он святее самого ишана, что неукоснительно соблюдает все посты, совершает пятикратный намаз и, как истый мусульманин, предпочитает земным утехам возвышенные беседы с аллахом. Но этого смирения хватило ему ненадолго. Едва только принесли муллам подношение, как бесцеремонно расталкивая локтями сердито бормочущих стариков, одним из первых заполучил свою долю и убрался восвояси, лихорадочно соображая, где бы купить водочки на свои, так сказать, нетрудовые доходы.

А чего он только не вытворяет в аулах! Ты, однако, притерпелся и на многие его выходки попросту смотришь сквозь пальцы. Что бы там ни было, а дело свое он знает. И если разбитый и искореженный на проселках грузовичок все еще исправно служит колхозу, то лишь благодаря ему. И еще есть в нем одно золотое для тебя качество — безотказность. Подними его в любое время дня и ночи, и он всегда готов к твоим услугам. Растолкай его на рассвете, даже после буйной какой-нибудь ночки,— и он промычит что-то спросонок, протрет глаза, головой помотает, пятерней расчешет жесткую, отродясь не видавшую гребешка спутанную гриву — и через минуту уже на дворе. Там он, долго позевывая, помочится непременно на пыльный скат грузовика, встряхнется по-собачьи и лишь потом лезет в кабину, плюхнется на продавленное сиденье. Скажешь только: «Жми!» — и он поплюет попеременно на ладони и с готовностью откликнется: «М-ма-мент!..» Как-то раз ты поинтересовался у него, что означает его магическое слово,— и, к своему удивлению, услышал, что он

и сам того не ведает... Сунул пальцы под свою мятую засаленную кепчонку, почесал затылок и хмыкнул неопределенно: «А хрен его знает! Ты говоришь: «Жми!» — а я, стало быть, отвечаю: «Пожалуйста, коли тебе охота...»

Зовут его Кожбан. Однако никто в этом краю не называет его по имени. И стар, и млад, и в глаза, и за глаза — все кличут его всегда «шофер-бала». И хотя шофер нынче более чем зрелый джигит, он ничуть не обижается на то, что называют его «бала» — мальчишкой. Пожалуй, даже наоборот; настолько сжился с этим прозвищем, которым его окрестили люди, настолько освоился с ролью расторопного, готового услужить всем паренька, что и старших, и тех, что моложе его в ауле, одинаково величает «ага», то есть «дядей». С такой же простоватой безотказностью, не глядя на старшинство, выполнит просьбу любого: только заикнись — и уже, смотришь, спешит к грузовичку, чтобы через мгновение мчаться как угорелый хоть на край света...

— Ну вот, басеке, и Аральск!— явно повеселел шофер, когда из-за черного увала запестрели крыши окраинных саманных домов.— А то едешь-едешь, а кругом одни развалины... Как на погосте, так твою!..

В прежние — совсем еще недавние — времена первыми бросились бы в глаза мачты кораблей в порту. Они были куда выше самых высоких зданий в городе. Но с тех пор как море начало уходить, судоходство на Арале прекратилось, и кое-какие оставшиеся суда, когда-то плававшие в Ургенч и Муйнак, чернели, гнили теперь там-сям на приколе, точно туши гигантских рыбин, выброшенных бурей на берега и мели.

— В город заедем, басеке?

— Зачем? Жми-ка лучше кольцевой дорогой прямо к Сырдарье.

— Конечно, можно... Но, басеке, не получится.

— Как? Почему?

— Бензин на исходе. Придется заехать.

— Тогда... что ж, ничего не попишешь. Только, айналайын, без задержки.

— Скажешь тоже, басеке! Меня, небось, теща у заправочной не ждет. И рюмашки никто не поднесет. Заправлюсь — и погоним...

— Вот-вот, дорогой. Нам ведь еще сотню отмахать надо.

Шофер согласно кивнул. Заправочная была на окраине города. Когда подъехали ближе — ужаснулись:

очередь машин из города и районов, из аулов и из столицы, стоящих впритык друг к другу, вытянулась в бесконечный, теряющийся где-то на шоссе хвост. Каких только марок не было здесь, на небольшом пятачке заправочной: махонькие «Запорожцы», тяжелые груженые МАЗы, КрАЗы и БелАЗы.

— Ну и влип, мать твою!..— зло ругнулся шофер.

— Да... проблемка,— озадаченно вздохнул ты.

— Э, басеке, где нынче нет этих браблем, будь они неладны. Шаг ступишь — и, божалыста, браблема. А ведь на каждом шагу твердим: мол, нефти у нас — море бездонное. А выходит, и она — как наше Аральское...

— Попридержи-ка язык!

— Нет, в самом деле: какую газету ни возьми, вплоть до наших «Аральских волн», только и твердят про...

— Замолчишь ты или нет?! Тоже мне, мыслитель...

— Ну ладно — молчу. Только от нашего молчания, знаешь...

Шофер еще что-то бормотнул уже невнятно. Опять, наверное, крыл кого-то в хвост и в гриву.

— Этак мы, дорогой, проторчим тут до ночи. Может, дотянем как-нибудь до Сырдарьи, а?

Шофер длинно присвистнул:

— Да ты что, басеке! Нас, сотворенных из кости и мяса, можно еще кое-как уговорить. А железо ведь твое «как-нибудь» не признает. Бензин кончится — и будем, как кол, торчать среди степи. Хоть ты тресни тогда.

— Апырай, ну сам подумай — разве тут дождешься?

— Зачем нам ждать?

— То есть?

— М-ма-мент!— шофер хитро подмигнул.

Не раз ты был свидетелем того, как при таинственном слове «м-ма-мент» у него запросто, как бы сами собой, решались порой самые сложные дела. Интересно, что же на этот раз придумал? Ты решил понаблюдать за ним. А он между тем надвинул сломанный козырек кепчонки на самые брови, припал телом к рулю, нажал газ. И не успела шоферня вокруг опомниться, как он, шустро лавируя между рядами скученных машин, неуследимо, точно ртуть, протиснулся вперед, к бензоколонкам. Шоферская братва всполошилась, загудела:

— Эй, эй, ты куда?

— Откуда этот хрен моржовый взялся?

— А ну, проваливай! В шею его, бл...! Шустрик нашелся!..

— Кто там поближе — не пускайте!

Но шофер-бала и бровью не повел. Спрыгнул с подножки, сплюнул и затоптал свою давно потухшую папироску. Нашарил под сиденьем связку воблы. Теперь-то тебе ясно стало, что именно последует за этим его, не раз выручавшим, «м-ма-ментом»... Сейчас он, конечно, нимало не мешкая, направится прямо к заправщику и, какого бы рода-племени тот ни был, поприветствует своим непринужденным «салут!» и бросит перед ним сухую связку воблы. И если растерявшийся при людях заправщик не сразу потянется к ней рукой — тогда шофер-бала пойдет напролом. «Ты, дорогой, что? — скажет. — Такую воблу нынче во всем Арале не найдешь, клянусь аллахом! Пальчики оближешь! Особенно с пивком, а?!» И отбросит связку в угол, отбрасывая этим и все сомнения малость озадаченного заправщика.

Как-то, помнится, Бакизат надо было срочно ехать в Алма-Ату. Билетов на поезд не было. Ты стоял в растерянности, а тут еще и теща не преминула попилить тебя при народе: «Ну, чего стоишь? Нынче разве скотоводы, рыбаки не в почете? Разве не возносят их на каждом собрании? Вот ты и покажи свои хваленые права... Ступай вон к той кассирше и объясни ей, что ты трудяга-рыбак. И не простой, а дипломированный!..» К счастью, выручил его тогда все тот же расторопный шофер-бала. Мигнул тебе, сказал: «М-ма-мент!»—и, выхватив из-под сиденья десяток сушеных чебачков, нанизанных на засаленную бечевку, направился к плотно закрытому окошку кассы. Не сразу оно отворилось; но уже вскоре оттуда послышался проникновенный голосок: «А вам в какой вагон, товарищ?»

Нет, с таким шофером не пропадешь. В ауле он и святошей прикинется: полотенце на голову намотает и вместе с муллами заупокойную молитву пробормочет, а в городе и за рубаху-парня сойдет, из самого, казалось бы, безнадежного положения вывернется, в игольное ушко пролезет!..

* * *

— Салам алейкум!

Никто не ответил. Что это с ними? Может, не расслышали? Задетый невниманием рыбаков, председатель

в нерешительности потоптался у порога, пригляделся, не проходя дальше. Густой мрак скрадывал дальние углы смрадной камышитовой лачуги. Тусклый свет керосиновой лампы у входа, мерцая, робко жался к подслеповатому, захватанному руками стеклу. То ли пар, то ли дым пеленой заволакивал глаза, и в первые мгновения ничего в этом чаду невозможно было различить. Растерянно помаргивая, он уставился на закоптелый ушастый казан посреди лачуги. Насквозь продрогшие за день на осенней стуже в открытом море рыбаки тесно уселись вокруг огня и все еще не могли отогреться. Кто-то, весь трясясь, сунув руки под мышки, лез чуть не в самый огонь, низко наклоняясь, яростно дул на него, а огонь то разгорался, то затухал, отсыревшие кривые сучья чадили, шипели, и едкий дым щипал глаза и перебивал дыхание.

— Вот проклятье! Да подуйте же кто-нибудь!

Несколько человек, нагнувшись, стали дуть со всех сторон. Из-под хвороста хлынул ядовито-бурый дым, стелясь, растекаясь, клубами понизу. Поняв, что сейчас им не до него, баскарма бросил у порога дорожный мешок и втиснулся в круг хмурых, безучастных ко всему рыбаков. Пламя, облизывая сырые черные сучья, нехотя взялось.

— Сушняку... сушняку подкинь! — раздался нетерпеливый голос, и чья-то неясная фигура замаячила в клубившемся паре за казаном.

Ловкий молодой джигит сгреб охапку хвороста у стены, но раздраженный сосед оттолкнул его:

— Да не весь, не весь хватай... торопыга! На растопку хоть оставь...

Стало ясно, что и здесь от рыбаков отвернулась удача. Обычно, когда возвращались они с путины с богатым уловом, ни холод, ни голод, ни тем более усталость не бывали помехой для забористой шутки и хриплого хохота. И куда как светлее становилась тогда их не топленная весь день хибарка, куда оживленней хлопотали они над казаном, заваривая густую рыбацкую уху. А у этих брови, видно, давно насуплены. Камнем лежит на их душах тяжесть неудач... Да, мелеющее море что выгоревшее пастбище. Если скудеют выпасы — хиреет скот; если поднимается в море соленость, исчезает рыба. Уходит, шарахается от гибельной соли заливов и мелководья, стремясь туда, где попреснее и поглубже вода. Она уже давно стала пугливой и строп-

тивой, точно одичавший скот в годину бескормицы. И вот за измученной, разбившейся на мелкие косяки ошалевшей рыбой эти люди все лето и осень, не зная ни сна, ни отдыха, гоняются вдали от родного очага, от жен и детей. Однако и здесь, на безлюдье, ни улова им опять, ни заработка. Заметно стало, как отяжелели, будто отупели, рыбаки от невылазной, почти бессмысленной работы. Удивило и то, что даже про жен, про детей не расспрашивают. Всех будто заворожил казан на треноге. Давно подбросили сушняку, и в нем уже закипала понемногу, бормоча и булькая, вода, из-под крышки валил парок, и первый сладкий запах свежей рыбы расходился по лачуге, щекоча ноздри.

Шофер, явно проголодавшийся за долгую дорогу, не выдержал первым.

— Эй, не камни ведь варите! Рыба, небось, давно уже приспела, — сказал он и вытянул шею к котлу. Черный, как головешка, старичок, распоряжавшийся сбоку, с поразительным проворством стукнул его половником по лбу:

— Сядь! Ишь, не терпится работничку...

Подгребая горячие угольки кочергой-косеу, председатель исподлобья покосился на старичка. Был он весьма известен прибрежным аулам. И хотя при рождении нарекли его именем Кошен, однако из-за вздорного характера еще с детства прозывали его в аулах то Зловредным Кошеном, то Неуживчивым Кошеном, а чаще — Упрямым Кошеном. Его упрямство дошло до того, что всю свою жизнь он поступал не иначе как всем назло, наперекор всему, даже здравому смыслу. Упрямый Кошен и сейчас сидел, точно баксы[1] для устрашения малышни: на плечах заскорузлый кожух, на лоб нахлобучена лохматая баранья шапка-борик. Не мигая, в упор смотрел на огонь, иногда косился на баскарму, и в его остекленевших глазах играли отблески пламени. Во всем его облике было что-то строптивое, задиристое, как у старого драчливого козла. Председатель, едва взглянув на него, отвел глаза. Он понял, что занозистому старику, неотступно и настороженно подстерегавшему сейчас каждое его движение, нужна лишь придирка, лишь зацепка... От этого стало как-то даже не по себе, и когда председатель опять потянулся кочергой к огню, рука его, видно, дрогнула, кольцо на черенке звякнуло

[1] Баксы — шаман.

тонко. Какая-то тягостная тишина повисла в хибарке.

— Холодновато тут у вас. Настоящая промозглая осень...— неуверенно заговорил он, когда молчание стало уже невыносимым. Никто, однако, разговора не поддержал. Хмурые люди безучастно уставились на крутобокий казан посередке. — Верно сказано: земля разнолика, тучи обманчивы. Даже на двух берегах одного моря погода разная. В той стороне, когда мы выезжали из дому, была теплынь. Жир, пожалуй, не застынет. А здесь у вас... ну прямо до костей пробирает.

Кошеи будто ждал этого.

— В той стороне? — хмыкнул он. — Это еще в какой такой стороне?!

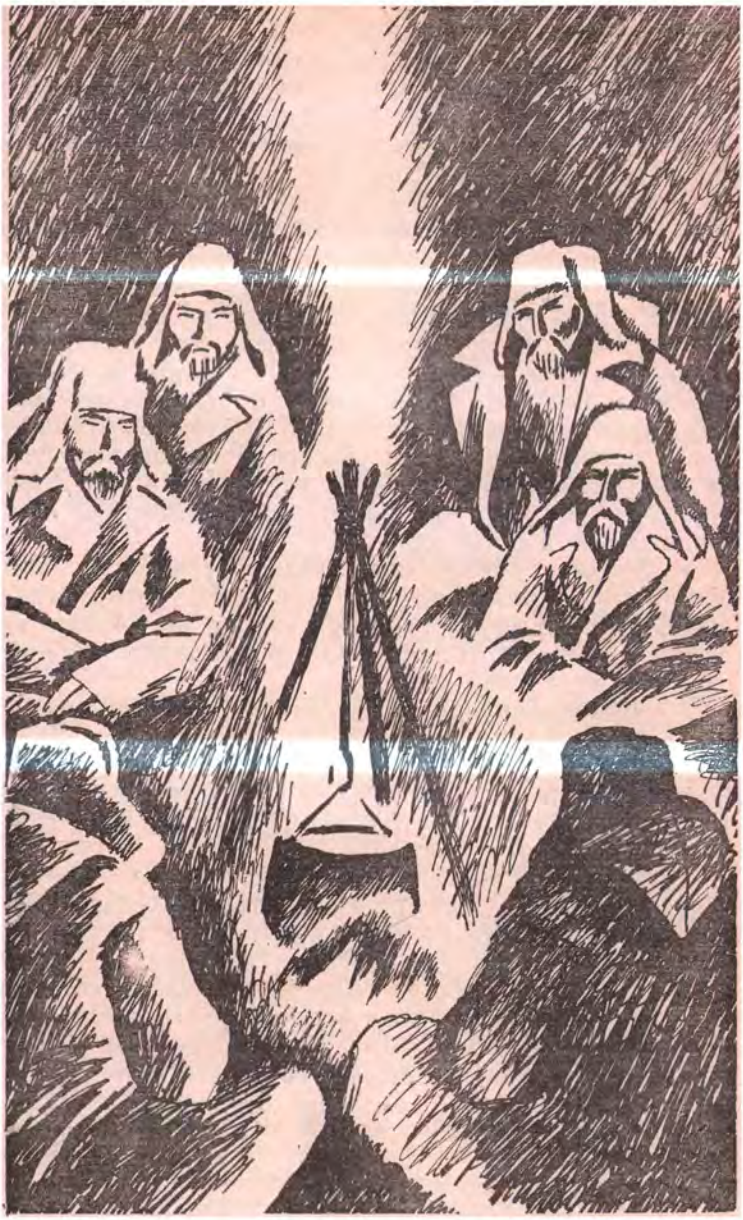
Жестяной голос его неприятно резанул слух. Председатель невольно скосил на него взгляд и не выдержал, отвернулся.

— Эй! А вы чего молчите?! — Тот уже подал свой хлесткий голос. — Приехал. Сел! Ну и сиди, помалкивай. А то долдонит о какой-то там стороне, где жир не застывает. Нам на этой стороне от этого станет легче? Или мы сами не знаем, что на той стороне тепло, жир не застывает? Или не знаем, что у каждого из нас семья на той стороне — и у меня, и у тебя, и у того, и у этого... теплый очаг? Объявись мы сейчас на той стороне, кому не кинется на шею голопузая малышня? У кого из нас не изболелась душа о своих сопливых мальцах? И кто, скажи, за шесть собачьих месяцев не истосковался по своей бабе? Да любому из нас своя задрипанная бабенка сейчас прямо райской девой покажется! А он... он тут нам, видите ли, про ту сторону расписывает... Да я и без тебя... сидя здесь в этой дыре, прекрасно знаю, что там хорошо! Но что нам в том, что у вас жир не застывает?!

Опять стало тихо в хибарке. Рыбаки угрюмо молчали, уставясь на огонь, и никак нельзя было определить, то ли поддерживают они сварливого старика, то ли наплевать им уже на все. Только в казане на треноге побулькивало, да кривые сучья под таганом шипели и потрескивали. Только дым ел глаза. Боже упаси задеть сейчас злоязычного упрямца, тем более возразить. Да ведь и он, бедолага, говорит правду, сущую правду. Ну что ж, пусть издевается, хоть душу отведет. Говорят же: в отчаянье и создателя проклянешь...

Старик зло фыркнул:

— На той стороне, значит, жир не застывает?



Председатель, не зная, куда девать руки, начал ковырять кочергой под казаном.

— Эй, люди, скажите на милость... этот что, к нам угли шуровать приехал, а?! — Старик обвел взглядом угрюмых рыбаков. — Вы что, языки проглотили? Скажите ему: угли шуровать мы сами умеем! Если хочет подсобить, пусть по-другому подсобляет. Скажите еще: не только одежда на вас в клочья изодралась, но и душа вся сплошь в прорехах. Эй! Эй! Чего вы все нос в пах уткнули?!

Кошен умолк, но пофыркивал зло, порывисто. И только теперь председатель в первый раз за все время прямо глянул на придирчивого соседа, так усердно ловившего его на каждом слове, на каждом движении. Плоскогрудый, как доска, тощий и сухой старикашка весь, казалось, пылал от гнева. Скулы обострились. Глаза остекленели. Голос срывался, звенел натянутой до предела струной. Да и во все времена так: стоит раззявить ему рот, как настырный, отрывистый голос лез, кажется, в самые уши.

— Всяких начальников видели-перевидели. Иные приезжали — хвост торчком. Можно подумать: посланник божий явился. А проку от них ни на ржавую копейку. Но те-то хоть, как-никак, о житье-бытье нашем спрашивали, а этот... этот...

— Чего спрашивать-то, аксакал? Сам ведь вижу.

— А-а... видишь, значит?! Ну, слава аллаху. И на том спасибо. А то поскольку всевидящий на небе нас не замечает, то уж я подумал, что и начальство на земле поослепло. Выходит, ты еще зрячий. Сам, значит, все видишь. Ну спасибо! Спасибо!..

Председатель сидел, понуро опустив голову, все терпеливо сносил, и, если бы этому старику сейчас вдруг вздумалось вырвать из его рук кочергу и трахнуть по голове, он и тогда бы, наверное, не издал ни звука.

— Жадигер... дорогой! Хорошо все-таки, что приехал...—Кто-то по-медвежьи неуклюже заворочался там, за клубящимся паром котла. И хотя сумрачно было в дымной лачуге, но по густому, из самого нутра идущему утробному голосу, медленно ронявшему слова, по нескладному очертанию сильных покатых плеч председатель узнал его. У этого казаха были на удивление светлые глаза и рыжие волосы, и потому называли его Рыжим Иваном. Приходился он председателю вроде как дальним родственником. Был скуп на слова, сдержан-

но добродушен, но если уж говорил, то всегда кстати и веско, не зря к нему так всегда прислушивались. Рыжий Иван замолчал, будто обдумывая все, что намерен сказать, и степенно, с растяжкой продолжал: — Не обижайся на нас. Тем более на старика. Сказать по правде, поклониться надо им всем. Где-где, а в работе себя не щадят. Но что поделаешь... и тут улов никудышний. Все без толку, и силы наши как дым в небо уходят, а неудачи что камень на шее. Тяжело. Случается, и поцапаемся тут между собою... как звери порой рычим друг на друга. Что таить, в гневе под горячую руку и тебе подчас перепадет. Хотя, конечно, понимаем: в нашей неудаче ничьей вины нет. Просто обидно бывает: вот, мол, и он про нас забыл.

— Эй! Эй! Эй, что ты тут мелешь, рыжий черт! Как это «никакой вины нет»?! Стольких мужиков на безлюдье забросил, а сам там, на той стороне, в тепле со своей бабой тешится!.. О нас и знать ничего не желает!.. Живой ты тут или подох — ему все равно!.. И он же, по-твоему, не виноват?! Дитя безгрешное?! Ангелочек небесный?! Святой?! У, пустомеля!..

— Дурень ты. Всю жизнь, как бешеный хорек, на всех кидаешься, за глотку хватаешь. Любого готов искусать, а толку?! Что, золотой гребешок на твоей башке пророс?

— Эй, рыжий пес! Хочешь знать, и ты не больно далеко ускакал, хоть и подстилкой под начальство стелешься! И твой калган не корова украшает. А я правду кому угодно в глаза скажу. Не утаю, не побоюсь! Надо будет — в рожу плюну. Даже в ханское, в царское время ослушнику голову рубили, а язык не трогали. С какой же такой стати мне свой язык жевать, в славное-то время большайбеков?! Все, что хочу, в глаза скажу своему председателю. Знай, я его выбирал. А будешь злить, я не то что баскарме — я и начальству его скажу! И даже начальству начальства скажу! И что ты мне сделаешь? Рот мне зажмешь? Глотку заткнешь? Или, когда я достиг возраста пророка, что... за ослушание мой дряблый отросток отрежешь? Ну, на, режь-режь!

Упрямца Кошена понесло... Дрожа от ярости, он вскочил. Показалось на миг, что в диком исступлении он и вправду встанет сейчас перед рыбаками, годящимися ему в сыновья, и начнет расстегивать свои заскорузлые штаны из овчины... Но дело до этого не дошло.

Рыжий Иван, весь помрачнев, набычившись, дернул его за полу — и этого было достаточно, чтобы старичок, взмахнув нелепо руками, повалился назад.

— Заткнись! Убью! — прогудел Рыжий Иван. Сказал негромко, но что-то такое послышалось в его обыденном голосе, что все поверили: выведи его из этого непоколебимого спокойствия, стронь с места — и убьет.

В хибаре все злее ощущался холод. Председатель, избегая смотреть на притихшего, ставшего враз каким-то несчастным старика, потянулся рукой к хворосту за спиной у соседа. Пощупал и вытащил из вороха разлапистый куст, обломал с хрустом, кинул в огонь. Пламя ярко взялось, мгновенно вырвав из сумрака чеканные загрубелые лица рыбаков. Только теперь он разглядел за котлом, исходившим стылым паром, своего дальнего родственника. Лицо Рыжего Ивана, обычно в светлых конопатинах, столь не свойственных соплеменникам, сейчас обрело цвет медного, с глубокими тенями чекана. Брови, ресницы, борода отливали бронзой.

— Жадигер, дорогой... ну, как там, у нас? Расскажи хоть.

— Везде одно и то же. Не ладится ничего. И там нет рыбы. Люди уезжают.

— Да, понимаем... А как не уезжать, если жить стало невмочь? На гиблом месте разве усидишь?

Рыжий Иван тяжело вздохнул, неторопливо запахнул полы чапана. Спокойный вид этого крепко сколоченного человека, сочувствие и раздумчивая печаль в ровном тихом голосе на время как будто сняли, развеяли напряженную тяжесть в хибаре. И ты, и все вокруг почувствовали некоторое облегчение. Ты еще мальчишкой помнил, как он после войны, тяжело раненный и контуженный, целый год провалялся в госпитале где-то на Дальнем Востоке и вернулся в аул на костылях. Однако через недельку после возвращения с утра приковылял к тогдашнему баскарме: «Голодные детишки, будто щенята, сосущие грудь матери, душу мою вымотали, дай мне, дорогой, работенку». Баскарма определил его ночным сторожем материального склада колхоза. Но Рыжий Иван вскоре вновь пришел к баскарме: «Не по мне эта работа. Всю ночь, не смыкая глаз, сидишь, душу изводишь, только и думаешь о том, что болит и ноет в искалеченном теле. Лучше уж потягаю, как прежде, привычные сети». Баскарма нехотя согласился, и с того дня Рыжий Иван, ковыляя на кос-

тылях, выходил вместе с рыбаками в море. В пору ледостава, когда под напором режущего ветра зябко топтались на берегу рыбаки, не зная, как ступить в студеную воду, Рыжий Иван, калачиком повиснув на своих деревяшках, преспокойно ковылял к лодке. Добравшись до кормы, переваливался через нее в лодку, потом втаскивал за собою костыли и прислонял их к борту. Затем хватался за весла и, не спеша, не суетясь, как другие, сильно и уверенно греб к сетям, расставленным далеко в море. Не спешил и вечером, когда возвращался домой. Как всегда, монотонно и заунывно скрипя одной уключиной, его плоскодонка ровно подплывала к крайним поплавкам, и Рыжий Иван все с той же сосредоточенной степенностью начинал проверять сети. А зимой понуро дремавшая возле человека с костылями гнедуха на обратном пути обычно встряхивалась, испытывая радостное оживление и бодрость. Тут уже не приходилось подогревать ее ни плеткой, ни вожжами, смирненькая нравом животина трусила бойчее и резвее, четко поцокивая всеми четырьмя копытами по гулкому льду. И каждый день, ко времени возвращения Рыжего Ивана, на берег выбегали такая же рыжая, сероглазая девчушка с двумя косичками и огромный мордастый черный пес. Иногда рыбак задерживался. Тогда они ждали долго, не шелохнувшись; пес, дойдя до кромки льда, лежал, одним ухом прижимаясь к земле, а большеглазая девчушка стояла, вглядываясь вдаль, вслушиваясь в каждый шорох. Черный пес первым улавливал знакомый стук. В те послевоенные годы орудий лова не хватало, не хватало и саней; один полоз старых саней Рыжего Ивана был подтреснут и при быстрой езде, царапая лед, взвизгивал. Черный пес по визгу безошибочно узнавал этот звук, вскакивал как подброшенный и бросался вперед. Рыжая девчонка бежала вслед за ним. Пес быстро исчезал в черноте зимней ночи, но снова появлялся, взлаивал, точно поторапливал и без того запыхавшуюся свою маленькую хозяйку: «Давай... давай скорее...»

Рыжий Иван кидал псу мерзлого чебака. Потом, улыбаясь до ушей, усаживал на сани рядом с собой добежавшую дочурку. Мордастый черный пес торопливо заглатывал чебака и, все еще не в силах унять ликующую радость, визжал, догоняя хозяина, и с ходу вскакивал в сани. Так они втроем на санях доезжали до дому. Рыжий Иван у порога стягивал с себя задубев-

шую на морозе зимнюю одежду и проходил вперед, устраивался у очага, прижимаясь к жарко натопленной печке. Насквозь продрогшее тело и после чая долго не согревалось. И весь вечер он, прижимая к груди рыжую дочурку с двумя торчащими на затылке косичками, приговаривал нараспев сиплым от простуды голосом: «Для мамы — Гульпатша, для папы — Айпатша».

Со временем Рыжий Иван оправился, бросил костыли. Еще под Сталинградом, в самый грозный час битвы, он вступил в партию. Став председателем колхоза, ты первым долгом предложил Рыжего Ивана секретарем парткома. Долгие годы, считай, до недавнего времени, когда море стало усыхать, а колхоз хиреть, вы работали рука об руку, деля поровну радости и горести. Что и говорить-то, работалось тебе с ним легко, ибо на этого всегда спокойного и надежного человека можно было положиться во всем.

Вот и сейчас ты чувствовал его молчаливую поддержку и в душе испытывал благодарность. Ты снова взял кочергу, потянулся к огню, пошуровал с краю, и тлеющие сучья радостно вспыхнули, ярко и с треском заговорили, посылая под закопченный потолок искры, и рыбаки, сидевшие у казана, невольно отшатнулись. Один лишь Кошен, упрямец, не шелохнулся. Как сидел, подставив плоскую волосатую грудь к близкому огню, так и остался. Пламя метнулось к нему, лизнуло, послышался сухой треск, и явно запахло паленой шерстью.

— Брось! Брось подкладывать! Ты что, всю рыбу хочешь разварить?!

Кочерга, задев ножку тагана, выпала из рук. Только сейчас ты почувствовал, как вымотался сегодня в дороге.

— Ну, баскарма... скажи, сколько здесь думаешь пробыть?

— Это... вы меня спрашиваете?

— Да, тебя! Сколько здесь намерен пробыть?

Все у очага умолкли, кто в упор, а кто незаметно следя из-под насупленных бровей за председателем, каждый из них как бы допытывался: «Ну, что скажешь?» В тебе вдруг проснулось подозрение: ведь устами этого несносного старика они прямо в глаза высказывают тебе все свои накопившиеся обиды и недовольства... И теперь их интересует твой ответ. А что, что ты можешь им ответить?! Тебя вдруг взяла злость на этих требующих неизвестно чего молчунов. Посмот-

рел на Рыжего Ивана, но и тот, гляди-ка, тоже молчит, глаза смиренно потупил... Совсем как старый, лукавый лис, никогда не позволяющий себе опрометчивого шага. Даже всем своим рыжим обликом смахивал на лиса-хитрована. Ах вы черти полосатые! Науськали, натравили вздорного старикашку, а сами, видишь, затаились, притихли за казаном, выжидают. Так и подмывало тебя вскочить, обрушиться на них. Злые слова вертелись на языке. Да пусть они хоть лопнут, треснут от злости, а ты возьмешь сейчас и выложишь им прямо: «Завтра же с восходом солнца уеду!» А как же, ты дал Бакизат слово не задерживаться. Слово свое сдержишь. Так ты им скажешь. И перво-наперво этому стеклоглазому злюке скажешь. Черт с ним, пусть побесится! Пусть сверлит своими гляделками сколько хочет, пусть себе хмыкает. Плевать ты хотел на него. «Заночую и уеду!» И ты уже собрался было это сказать... но не понял, почему вдруг запнулся, остановился. Отчего—будто мучаясь в дурном сне—ты не можешь пересилить себя, сказать, казалось бы, такие простые и убедительные слова, застрявшие комком в горле...

— Э-э... все ясно! — хмыкнул старик. — Эй, ребята, давай вытаскивай рыбу. Баскарма спешит. Недосуг ему. Пусть едет! Катится.

Ты сидел понуро, не зная, что ответить открытой издевке и как быть вообще.

— Езжай, езжай! Только не забудь передать от нас привет. Так и скажи: живы еще, не подохли. Семижильные, скажи, рыбку ищут, скажи! Так вот и передай!..

Ты рывком встал и, не глядя ни на кого, бросился на улицу, хлопнув ветхой дверью лачуги. Ночь была безлунная, черная, и ты едва сделал шаг навстречу густому мраку и тут же застыл, ударившись коленом о холодное железо. В первые мгновения сгоряча даже не ощутил эту тягу ледяного ветра с вздыбленного во тьме моря. «Бог ты мой, как быть? Что делать?» Вопрос был бессмысленный, ибо в глубине души ты прекрасно сознавал, как быть, и — спрашивая — уже знал, что делать. Ты не знал только одного: что тебя ожидает потом дома. Как будешь оправдываться перед Бакизат. Представив все это, бессильно приник лбом к машине, на которую наткнулся при выходе из лачуги. Остужал лоб, пытаясь взять себя в руки... Ладно! Черт с ним, с этим врединой Кошеном. Что с него взять! В гневе он еще и не так может ужалить. Ну а дру-

гие?.. С ними что случилось? Отчего они при виде тебя все съежились, как паленые шкурки? Допустим даже, что провинился ты перед создателем, но перед рыбаками ты вроде никак не виноват. Разве не ради них огорчил жену — ту, которой в жизни никогда и ни в чем перечить не смел?

Ты сделал шаг, потом другой и, скованный нерешительностью, медленно пошел к ревущему в ночи морю. На душе была сумятица. В тот вечер ты был особенно зол на себя. Ну, скажи-ка на милость, какого дьявола ты притащился сюда? В самом деле, не собачий ли твой характер всему виной? И вот потому, может, дома ты никак не угодишь жене, здесь — рыбакам? Добро бы ладил с начальством. Так нет же... Стоит только показаться в районе, как вечно недовольное начальство уже с порога встречает хмурым: «План... как план?» Да не только они, любой, дослужившийся до портфеля, перед тобой нос дерет. На собраниях, как будто во всем районе, ты один срываешь план добычи рыбы, все на тебя накидываются, клюют. Тесен и тревожен стал мир для тебя, вот потому и в родном ауле ты не знаешь покоя. Промелькнет ли вдали машина, прогрохочет ли в небе самолет, ты вздрагиваешь. Тебе чудится, что едет уполномоченный пыль из тебя выбивать. И даже ночью, во сне, подстерегают тебя одни неурядицы; какие-то тревожные думы неотступно мутят душу, едва коснешься головой подушки и закроешь глаза, чаще всего видишь себя затравленного, обливающегося потом на совещании районного актива в клубе «Маяк». И еще снится, будто ты, теряя силы, с трудом поднимаешься по ступенькам на второй этаж заметного здания в центре районной площади. И всякий раз застреваешь на полпути, на той лестнице. И что странно: сколько бы ты потом ни вспоминал свой сон, никогда не мог восстановить вторую половину пути: как ты, волоча ноги, несмело направлялся в кабинет Ягнячьего Брюшка под насмешливым взглядом секретарши в приемной. Просыпаясь, ты ломал себе голову: может, хотя бы во сне был приветлив с тобой хозяин кабинета. Или и во сне, как наяву, оставался непреклонным, брюзгливо-насупленным и, будто не замечая твоего появления, сидел, уткнув нос в бумаги? Нет, здесь в твоей памяти был какой-то темный, поглощающий все и вся провал. Помнился лишь просторный, хоть устраивай конные скачки, кабинет. И еще



ты во сне, как наяву, видел большую карту Аральского моря тех добрых старых времен, когда оно от наплыва весенних паводковых вод вспучивалось и вздувалось, выходило из своих берегов, грозно ворочалось под самым боком города, а белопенные волны, бывало, выплескивались за каменной дамбой, добегая чуть ли не до порогов прибрежных домишек. Эта памятная карта и во сне висела меж двух окон. Ты видел ее, едва входил в кабинет. А хозяина кабинета замечал лишь потом, и то когда оказывался вдруг у самого стола. Со своим давно уже наметившимся мягким «ягнячьим брюшком», с серым, ко всему безучастным лицом сидел он отрешенно, и нельзя было определить, дремлет ли он или бодрствует. И во сне, как и наяву, он не сразу поднимал голову, как бы с усилием размыкал припухшие веки, тупо направляя на тебя клейкий какой-то взор, и неизменно вопрошал: «Рыба... где рыба?» Мало того, что раскаленное аральское солнце нещадно припекало сквозь стекла. Еще и этот клейкоглазый, не обращая внимания на все твои доводы и оправдания, все гнул свое: «Ну а рыба? Где рыба?» Получалось, будто тупым пестом долбят тебя в темя. И от песта этого голова начинала пухнуть. Не зная, как избавиться от липкого взгляда, ты поневоле ерзаешь на стуле, озираешься по сторонам и обливаешься холодным потом. А клейкий взор не отпускает, щупает, обволакивает тебя. И уже сам воздух кабинета становится подобен расплавленному свинцу. Бессилие одолевает тебя еще и потому, что чувствуешь невозможность как-то доказать, объяснить этому клейкоглазому, куда подевалась рыба с тех пор, как море начало усыхать... И ты, пытаясь что-то сказать, кричишь, рвешься из чьих-то властных неумолимых рук и, каждый раз задыхаясь, со стоном просыпаешься все в том же бессилии, в ужасе, что не только один клейкоглазый, но и другие не поймут тебя. Да, странной стала твоя жизнь в последнее время, — с тех пор, как явь превратилась в дурной сон, а сам твой сон — в невесомую явь.

Где и как только не подводил тебя твой собачий характер... Будь на твоем месте кто-нибудь другой, побойчее, он, в лучшем случае, заночевал бы у рыбаков, поговорил бы, посмотрел на их житье-бытье, а с рассветом укатил бы обратно восвояси... И если бы ты сдержал свое слово и в обещанный час, возбужденный, радостный, заявился бы домой — да, вот тогда, может быть,

и забыла бы женушка твоя все и, может статься, приветливо вышла бы навстречу. Но ведь ты забыл свои обещания... впрочем, нет, не забыл, ни на одно мгновение не забывал. Какое уж тут «забыл», если в лачуге среди рыбаков неотступно стояла она перед твоими глазами — вся холодная, неуступчивая. Отвернулась от тебя, поджав пухлые губы. И еще ты видел себя как бы со стороны, растерянно застывшего после того, как она решительно выпалила: «Не поедешь!» и вышла из комнаты. И, до подробностей вспоминая все это, ты убеждал себя: надо возвращаться... Надо, если даже окончательно уронишь себя этим в глазах мрачно насупленных рыбаков. И пусть тогда презирают сколько угодно. Пусть сколько угодно изощряется в своих издевках злой, как затравленный хорек, старикашка Кошен. И велик был соблазн — махнуть на все и всех рукой и немедля укатить назад, в аул. Раз нет рыбы и удача отвернулась от вас, что можешь сделать ты? В воду, что ли, за ней нырять? Коли решился, так не мешкай, уезжай! И уже сознавая в глубине души, что никуда отсюда не уедешь, ты, однако, не переставал терзать себя, оттягивая решение. И наутро все еще продолжал испытывать терпение угрюмых рыбаков, настороженно ожидавших твоего решения, а потом как-то само собой вырвалось у тебя грубоватое:

— Бог даст, после первого подледного лова все вместе и вернемся домой...

И недовольство мгновенно растаяло. Даже зловредный старикашка, не прощавший обычно никому ни единой промашки, вдруг подобрел, просиял. Резкий, как у чайки, пронзительный голос его вдруг обрел непривычные для него благодушные нотки. И глазки-буравчики, в упор следившие за всеми и каждым, будто помягчели.

Проходил день за днем. Неделя за неделей. Осень понемногу уступала место суровому предзимью. Хлынул холодный ноябрьский ливень, напитал иссохшую с весны землю, и сырая стынь надолго поселилась в их камышовой хибарке. Потом ударил один морозец, за ним другой, укрепил расползавшиеся было под дождями берега, застеклил тонким льдом мелкие озерца. Сковалось, попряталось все, и только море ревело неистово, ворочалось, ворчало ветрами. Но привычные ко всему рыбаки не обращали на это внимания. Промозглый ветер гулял в трухлявой хижине, под утро инеем брались стены. Озябшие за ночь рыбаки просыпались, вста-

вали чуть свет; вылезая из-под одеяла, ежились вознобе, кряхтели, поспешно натягивали одежду, кое-как просохшую у очага. На ходу завтракали холодной рыбой, оставшейся с ужина, хватали под мышки весла и шест и гуськом спешили к морю, гулко топоча по мерзлой до звона земле. У берега сталкивали в воду лодки, привычно вскакивали в них и, яростно, до хруста в костях загребая против крутых волн, направлялись туда, где, по смутному их расчету, а может, по древним приметам, должен был пройти косяк рыбы, ставили сети. И так изо дня в день. Порой сети, поставленные накануне, сильным течением скручивало в веревки. В них безнадежно запутывались иногда коряги и водоросли, набивался донный ил, и тогда рыбаки, надрываясь, с великой мукой вытаскивали сети-неводы на берег и потом, насквозь промокшие, весь день распутывали их на ветру. Это была бесплодная, адская подчас работа. Вконец измученные, озябшие и голодные, тащились они вечером в остывшую за день хибарку. Заметно было, как исхудали все, особенно за последнее время. Обросли щетиной и грязью. На нескончаемом ветру и морозе лица задубели, потрескались, покрылись черными засохшими струпьями. Пальцы распухли, день ото дня становились непослушнее. Натруженные руки казались лопатами, от весел и рыбацкой бечевы наросли на них, затвердели панцирные мозоли. И оставалось только поражаться, как этими неуклюжими, точно совковые лопаты, заскорузлыми руками можно было еще что-то держать.

* * *

Взрыв хохота, будто порыв ветра, развеял его думы. Он резко поднял голову. Вначале ничего не понял. Будто очнувшись ото сна, недоуменно поозирался вокруг и уставился на залившихся безудержным, мальчишеским почти смехом рыбаков. И только сейчас обратил внимание на то, как от ярко разгоревшегося, мечущего искры в потолок огня в лачуге посветлело и повеселело. Еще ничего не соображая, он смотрел то на привычную обстановку, то на закопченный казан, в котором уже побулькивало, то на хохотавших до слез рыбаков...

Заинтригованный неожиданным их весельем, он обвел взглядом каждого. Можно подумать, что сегодня каждую ячею сетей рыбиной забило. Только и слышно:

«Ха-ха!.. Кхе-кхе-е!» А вон тот, посередке, вовсе разошелся. На голове баранья шапка, на плечи кожушок накинут, ишь, как он хахакает, выпятив плоскую грудь, задрав бороденку. «Да ну его, — визгливо хохочет, захлебывается, — не говорите мне о нем. Он же лихо красноглазое!»

Ничего не понятно... О каком красноглазом речь? С чего бы это им веселиться? День сегодня выдался особенно изнурительный. Встали, как всегда, спозаранок. Позевывая и сутулясь, выбрались из лачуги. Несколько дней подряд неутихающий степной ветер прямо-таки валил с ног. Рыбаки брели гуськом, отворачивались от встречного ветра, прятали в ворот лица.

— Морозец будь здоров! Может, море ледком схватило?— предположил кто-то.

— У, типун тебе на язык! Накличешь еще беду...— тут уже подал голос Қошен.

Рыбаки, выйдя к урезу моря, остолбенели: и вправду, все побережье за ночь схватилось льдом, а чуть подальше колыхалась сплошная белесо-иглистая шуга. Кто-то из рыбаков буркнул: «Хана теперь нашим сетям...»

Все хорошо знали, что через день-другой сети вмерзнут в лед, и тогда уже никакими усилиями их не спасешь.

— Ну что... будем толчиться?

— Не толчись! Нырни под лед! Или взлети в небо!

— Ладно! Чего лаетесь-то? — осадил их Рыжий Иван. — И без того тошно... Жадигер, дорогой, что делать будем?

Люди повернулись к председателю. Он сам еще не знал, что вообще тут можно предпринять, молча выбрался из круга, ступил на лед. Сделал несколько осторожных шагов, слегка притопнул каблуком. Избегал глаз рыбаков, посмотрел в сторону, вдаль, туда, где за горизонтом занимался мглистый, розоватым пятном отметивший себя рассвет. Казалось, мало-мальски вразумительного ответа он ждал лишь от восходящего солнца.

— Апырай! Мало было неудач, так еще... Стыда не оберешься.

— Да, сети надо достать, не то все пропало, — прогудел Рыжий Иван.

— А как достанешь? Под лед, что ли, нырнешь? Видишь, подступа никакого...

Эти слова точно подстегнули председателя.

— Была не была... Спускайте лодки на лед! — сказал он решительно.

Рыбаки мгновенно затихли. «Как?.. Как спускать?»— огрызался только Кошен. Ничего не объясняя, председатель повернулся и с отчаянной какой-то решимостью дергаными широкими шагами направился к лодкам, наполовину схваченным припаем. Послушно побрели за ним рыбаки. Вслед за председателем поочередно столкнули лодки на бугристый лед, шершаво и гулко проскорготавший о днища, и, не дожидаясь, пока они коснутся воды, ловко попрыгали в них по двое. Лодки, продавливая и обламывая закраины, на пределе риска кренясь, черпая носом тяжелую зимнюю воду, одна за одной соскальзывали со льда и тут же натыкались на упругие встречные волны и начинали беспомощно подпрыгивать и заваливаться на месте, пока рыбаки, сильно и слаженно загребая веслами, не направляли их вперед. И потом весь день на свирепом ветру в открытом море, борясь с волнами, тянули со стоном, вытаскивали из ледяной кипени полные тяжелой шуги и ила сети. Рыбы не было. Вернулись позднее обычного, вымотанные и промерзшие до костей. Внесли в лачугу по охапке отсыревшего хворосту, повалились на постель. Председатель, хмурый, прошел в угол и, не снимая с себя мокрой одежды, тоже растянулся на постели. Так он и лежал в сумрачной стылой хижине, погруженный в невеселые думы.

Скоро месяц, как он здесь, а за этот месяц еще ни одной рыбешки государству не сдали. Вся надежда теперь на сезонную рыбу, которая прежде всегда появлялась в раннюю пору ледостава. Но и она нынче — ох, чует сердце — может вовсе не прийти к берегам, и вообще, какой смысл гоняться за призраком? Вся тяжесть нынешнего дня будто перешла теперь в думы, сомнения, и он лежал в стороне от рыбаков, ничего не замечая вокруг, мучаясь и не зная, с какими глазами покажутся завтра в ауле, перед женами своими и детьми.

Снова раздался взрыв хохота, отчего встрепенулся ты, приподнялся, будто спросонья, недоуменно глянул на своих развеселившихся людей. Все-таки что стряслось с этими чудаками? Ведь сегодня даже на ужин ничего не наловили. И непонятно, что за варево кипит сейчас в котле. Особенно поразил тебя строптивый старик. Что-то не узнать его нынче. Вон колом сидит

посреди неудержимо хохочущих людей. Пылает перед ним, потрескивает жаркий огонь. Подбрасывая время от времени хворостину, что-то рассказывает увлеченно, отрывисто, по обыкновению пофыркивает: «Он ведь дьявол известный. Недаром у нечестивца глаза, как у шкодливого кота».

Ах, вон они о чем... Опять о незабвенном Сары-Шае.

— Кошеке, вы, говорят, когда-то крепко с ним схлестнулись и затеяли спор, кто кого переупрямит...

— Было, было... С ним сорок раз на дню я готов схлестнуться.

— Да, уж упрямец он известный.

— Не говори! Мое упрямство — детская забава по сравнению с ним. Эй, бала, подкинь-ка хворосту.

— Дальше, дальше, Кошеке... — подзадоривал старика шофер.

— У, тещу твою... Ты за огнем лучше поглядывай. Моими россказнями сыт не будешь...

Рыбаки разом притихли. Под нарочито суровым взглядом крикливого старика кто-то шмыгнул за дверь за хворостом, другой, опустившись на корточки, принялся усердно дуть на угасавшие в очаге угольки, третий подбросил валежник. Кошен некоторое время следил за действиями расторопных джигитов, а затем, удовлетворенно хмыкнув, продолжил:

— Так вот, было это после войны. Многие из вас в то время еще за материнский подол цеплялись... а то, пожалуй, и титьку сосали.

Рыбаки переглянулись незаметно, перемигнулись.

— Студеная, промозглая была пора — как вот сейчас, перед ледоставом. Ну, а Сары-Шая — попрошайка известный. Приплелся к тогдашнему баскарме, слезу пустил. Дескать, детишки с голоду пухнут. Младшенький, которому ты пуповину перерезал, должно быть, околеет, пока я до дому доберусь. И если ты, дорогой, отец родной... благодетель ты наш, да буду тебе жертвой... не выпишешь взаймы барашка из колхоза, то вся моя семья, как есть, еще сегодня отправится на тот свет. А буду, мол, жив — через месяц какой-нибудь барашка верну... Ей-богу, верну.

— Ну и как?.. Вернул?

— Вернет он... Уж если этот дьявол хайло разззявит — не то что барашка, верблюда проглотит. Ни следов, ни косточек не найдешь.

— Как же это... скот-то колхозный, — забасил Рыжий Иван. — Закон-то, небось, существует... А где закон, там, стало быть, и спрос...

— Так ведь он, прохвост, любой закон обойдет и тебя вокруг пальца обведет. Тогдашнего нашего бухгалтера Карагула, которому ногу на войне оторвало, тоже ведь надул...

Рыбаки, знавшие, чем кончилась та злополучная история, начали заранее посмеиваться. Случай этот с Сары-Шаей и тебе доводилось слышать. И ты прежде тоже хохотал. Вот и сейчас, глядя на развеселившихся рыбаков, ты улыбнулся. Надо же, а! Ведь сколько месяцев мучаются, бредут они вслед за скупым теперь на благо морем, не ведая о теплом очаге и чистой постели, вдали от тоскующих по ним родных и близких... Сколько раз приходилось им вытаскивать сети без единого тощего чебака в ячеях, чтобы на другой день, не предаваясь отчаянию, снова и снова пытать скудное и капризное рыбацкое счастье? Неужели эти люди, продубленные солеными ветрами, до струпьев обожженные стужей, и все же неунывающие, несмотря ни на что, наперекор всем своим бедам и лишениям, — неужто это твои рыбаки?! Просто диву даешься, глядя на них. Может, ты их с кем-то путаешь? Может, это и не они вовсе, а самые что ни на есть счастливчики, баловни судьбы: и родились-то в рубашке, и солнце им всегда исправно светит, и всюду и везде за ними следом, как нянька, ходит по пятам удача... На редкость везучие, должно быть, черти. Иначе с какой бы им стати смеяться до упаду в промозглой хибаре, у чадного очага?.. Надо же, радость так и распирает, так и лезет из них. Особенно распинается сухой черный старикашка. Куда подевалась его вечная желчность? Или, может быть, не столько они непонятны, сколько сам ты непонятлив? Ты знал, что вызвал тогда покойный Карагул, вечная ему память, Сары-Шаю в контору, положил перед собой папку и, хлопнув по ней, сказал: «Так вот, аксакал. За все есть спрос. Думаю, настала пора вернуть и вам должок колхозу, ту самую овцу, которую...» Бедный Карагул и договорить не успел, как Сары-Шая вскочил, точно ужаленный: «Что этот черт безногий мелет? Какой еще должок? Какая там, к шайтану, овца? Да лучше — о, кудай! — морду себе в кровь разбить, чем слушать такую напраслину!» — «Оставьте, аксакал. Тут, знаете, не до шуток!» — «Разве это шутка? Ты же на

меня клевещешь! Упечь в каталажку меня хочешь!.. Думаешь, если я из другого рода, так меня можно, как приблудную собаку, затравить, да?!»

Карагул, говорят, изумленно уставился в желтые, горящие кошачьим злым огнем немигающие глаза и только головой укоризненно покачал. Видя, что такого нахала никакими словами не проймешь, бухгалтер, говорят, раскрыл папку, без труда нашел нужную бумажку и ткнул в нее указательным пальцем: «Видите? Ваша расписка. Ваша подпись. Ну?..» Сары-Шая тут мигом сник, притих, смиренно присел и, не в силах смотреть на расписку, повинно опустил голову: «Ладно, Карагулжан. Ладно, дорогой. Так и быть — верну...» В это время из соседней комнаты Карагула позвал председатель колхоза: «Когда вернете, аксакал? Сегодня? Завтра?» — «Подумаю...» — «Ну, подумайте, пока я приду».

Грузный Карагул потянулся к костылям, прислоненным к стенке, привычно сунул их под мышки и двумя прыжками очутился за порогом. Едва захлопнулась за ним дверь, как Сары-Шая резко вскочил, вырвал из папки злосчастную расписку, с которой все это время не спускал своих кошачьих глаз, — и застыл, говорят, в растерянности, не зная, куда ее девать. Начнут обыскивать, найдут, и тогда этот пес, потерявший на войне ногу, церемониться не станет. Нервы расшатанные, кровь дурная, возьмет да шарахнет костылем по башке. Растерявшийся вначале Сары-Шая вдруг нашел выход, проворно сунул расписку в рот. И так и сяк жевал иссохшую пыльную бумажку, пролежавшую больше года в папке... И тут, как назло, громко и раздраженно постукивая костылями, приближался к двери чем-то сильно возбужденный Карагул. Сары-Шая сжевал расписку с трудом, едва не подавившись, проглотил бумажный ком... Из глаз брызнули слезы. Однако, пока хромой бухгалтер пробрался к своему месту и поставил в угол костыли, Сары-Шая успел прийти в себя. Облизнулся, готовый к схватке, самодовольная ехидная усмешка блуждала на губах...

Взрыв хохота содрогнул камышовые стены хибары. Даже пламя всколыхнулось, ярче взметнулось из-под котла. «Ха-ха-ха! Эх-хе-хе! Кхек-кхек-кхек!»

Настроение развеселившихся людей и тебя захватило. Тебе самому стало весело, ты тоже залился смехом. Распирала ни с того ни с сего нахлынувшая ра-

дость. Продолжая смеяться, ты вдруг поймал себя на том, что краем глаза поглядываешь на прислоненную к стене лачуги джидовую домбру и невольно думаешь, что хорошо бы сейчас поиграть на ней и спеть, выплеснуть песню — пусть немудреную — об этих не ведающих ни усталости, ни уныния, ни печали людях. «Милые вы мои! Хорошие!» — прошептал ты. Теперь ты уже не столько слушал, сколько с восхищением и умилением вглядывался в эти необыкновенные лица знакомых издавна рыбаков, будто пришедших из мира сказок и легенд. «Какие же вы все замечательные! Какие же вы чудесные, бог ты мой! Ведь никто вам цены не знает. И я не знаю. Но я вас люблю. Люблю!»— думал ты, забыв свои недавние горестные мысли, растроганно, с щемящим чувством.

* * *

Завалились спать еще в сумерках, решив подняться спозаранок. Вымотанные рыбаки, едва коснувшись головами подушек, крепко уснули, и теперь ветхая камышовая хибарка вздрагивала от их могучего храпа. Только одного председателя сон не брал; а тут еще, как назло, вредный старикашка пристроился под боком: ворочался во сне, бурчал что-то, зубами скрежетал, будто бодливый козел, мекал и брыкался. Видно, свою злость на баскарму не может унять даже во сне. Решив завтра прямо с утра попытать удачу в старице за Сырдарьей, председатель велел загодя сложить снасти в машину. Рыбаки не перечили, молча поднялись, молча подались к выходу. И только упрямец Кошен раскричался: «Вечная спешка! Вечная суета! Хоть бы на ночь душу не травил!»

— Аксакал, нам же самим удобней. Завтра с...

— Ты сначала доживи до утра. Об удобстве потом...

— Ладно, Кошеке, не ершись. Вставай...

— Встать? А вот возьму и не встану.

— Как?!

— А вот так! — и Кошен проворно сунулся в постель и плотно укрылся одеялом.

— Ну и бог с вами. Лежите! Укройтесь!

— И полежу! И укроюсь! И тебя не спрошу! — огрызнулся уже под одеялом старик, укутываясь плотнее.

— Лежите! — сказал ты сквозь зубы.

И тут старик вдруг вскинулся как ошпаренный, с гневом отшвырнул одеяло:

— Эй! Эй, ты!.. Зачем ты командуешь? Я что, по твоей воле лежать, по твоей воле вскакивать должен, да?

— Аксакал, сами же заявили: «Не встану!», вот я и сказал: «Лежите!..»

— А я вот расхотел лежать! Понимаешь — расхотел! И теперь возьму и встану. И что ты мне сделаешь? Отрежешь...

Упрямец Кошен, тряся бородкой, вскочил, пнул еще раз одеяло, оделся и обулся раньше всех. Раньше всех выскочил из хибары и с ходу принялся за дело как одержимый. Рыбаки, давясь от смеха, предпочитали помалкивать. А старик, изрыгая хулу и ругательства, первым подсеменил к неводу и лихо взвалил один конец себе на плечо. Рыбаки, пораженные таким усердием, все еще давясь от смеха, спешно кинулись на помощь и забросили невод в кузов. Потом неведомо для каких целей притащили по распоряжению председателя две длинные толстые лесины и с грохотом забросили их туда же. «Ну, все вроде... Давайте спать. Завтра чтоб чуть свет...» — сказал председатель.

До чего же длинна осенняя ночь! Ты понял, что нынче не уснуть, встал, вышел из хибары. Звезды, обычно всем скопом теснившиеся на черном южном небе, сегодня непривычно поредели. Но и те, что еще робко мерцали, будто испугавшись нежданно обрушившегося резкого холода, зябко дрожали в далекой, мрачной пучине, неверно отливая тусклым и неуютным блеском.

Ты шел и шел, осторожно вглядываясь в темень, нащупывая ночную, готовую вот-вот уйти из-под ног твердь; и не сразу заметил, что добрел до устья. Остановился на самом краю кручи, смутно различая, как что-то черное и жутковатое, извиваясь, ползло-струилось далеко внизу от твоих ног. Великая река, беря начало с вершин Алатау, катит свои мутные воды по земле трех народов-братьев: у истока — киргизы, посередине — узбеки, у устья — казахи. Кто как может, пользуется ее водой, черпает, да еще каждый норовит побольше, — вот и истощилась кормилица, и в иные засушливые годы мелеет так, что ее даже собака запросто вброд переходит. Но нынче осенью с гор вдруг ринулся живительный, полный сил поток, и река неожиданно ожила, заволновалась и заворочалась под берегами, вспучилась, как в прежнее время, грозно повеселев. Крутые волны омыли, наконец, иссохшие бере-

га, вода, кое-где выйдя из берегов, ринулась в широкую низинку за Сырдарьей, в старицу. А она с давних пор была знаменита заводями, протоками и озерами, до дна высохшими за последние годы... Полноводные потоки быстро заполнили бывшие озера, куда вместе с водой хлынула и рыба. А рыба в мелководных озерах — все равно что овцы в загоне, успевай только черпать. Тут уж не мешкай. Кто первый до озер доберется — тот и окажется с богатой добычей, тому и счастье само в руки. Вот примчался вчера на рассвете к устью реки председатель колхоза «Раим» со своими рыбаками на двух машинах. Ты знал его: лупоглазый, сверх меры прыткий, на редкость пробивной. На любом совещании непременно первым просил слова. Выступать рвался, точно призовой скакун к желанной черте. Стоило ему показаться на трибуне, гул и говорок в зале мгновенно прекращались. Однажды на таком совещании кто-то из сидящих рядом толкнул тебя в бок и с явным удовольствием кивнул в сторону без удержу тараторившего раимовского председателя: «Ох, ну и боек! Ну и прыток! Камень расплавит. Далеко пойдет!» Да, такой не хуже любого верхолаза возьмет не одну высоту. Ни одно собрание или совещание в районе без него не обходится. Первое слово после доклада непременно предоставляется ему. И зачитывать текст приветственного письма на общем собрании опять-таки поручается ему. Только торопится он, тарахтит, глядя куда-то поверх голов в зале. От чрезмерного напряжения или, может, от туго завязанного галстука щеки его, всегда круглые, сытенькие, становятся еще круглее, и тарахтит он даже там, где вроде можно было бы сказать спокойно, без надрыва. Ему же во что бы то ни стало надо взбудоражить и взвинтить сидящих в зале. От его трескучераскатистого деревянного голоса, режущего слух, тупеешь настолько, что вскоре совсем теряешь суть речи.

При встрече раимовский председатель обычно первым бросался к тебе и учтиво здоровался, как младший со старшим. На этот раз, однако, сторонится, явно избегает тебя: видно, не дает покоя рыба на той стороне. Все поглядывает на тот берег, в нетерпении то и дело выходит на лед. Один раз даже обвязался веревкой, оставив другой конец джигитам на берегу, и попытался пройти дальше, к середине, но не сделал и двух десятков осторожных шагов, как непрочный ледок стал

потрескивать под ногами, и он поспешно засеменил назад.

Да, слаб еще лед. Но расторопный малый никак не намерен упускать удачу. Обе машины, груженные снастями, держит на берегу, наготове. И все его рыбаки с машинами, в брезентовой палатке, второй день изнывают, ждут. Беспокойство охватило и твоих рыбаков: «Пока мы топчемся на месте, как брюхатая баба, раимовский растопи-камень в два счета обведет нас вокруг пальца». Ты тоже все чаще стал наведываться на берег. Обычно пресная вода замерзает скорее, чем солоноватая морская. Ледок вполне выдерживал человека. А к нынешнему вечеру мороз явно пожесточал, можно было ждать, что за ночь лед поднаберет силенок, нарастит толщу, и тогда... Тогда, бог даст, уже завтра с утра они со всеми снастями переберутся на тот берег. И если только повезет им в этом, если не ускользнет опять капризная удача — тогда отведут они рыбацкую душу, одним махом закроют план четвертого квартала и на собрании районного актива почувствуют себя наконец-то людьми. И кто знает, кому первому после основного доклада предоставили бы слово. Тогда бы, пожалуй, и ты, не чуя под собою ног, бегом вбежал на второй этаж большого здания на городской площади и, не робея, смело шагнул бы в кабинет Ягнячьего Брюшка. Интересно, как бы повел он себя при виде удачливого на сей раз председателя?.. Попроворнее, чем обычно, поднял бы голову? Соизволил, может, привстать в кресле, в котором сидит всегда как врытый, а то и пошел бы навстречу тебе. А потом обеими руками жал и тряс бы твою ладонь: «Маладес! Маладес! Доказал наконец, на что способен. Джигит!..»

Неожиданно раздался раскатистый звук, напоминающий выстрел. Должно быть, треснул где-то лед. Вот так обычно он стреляет, оседая под нарастающей собственной тяжестью. Ты замер, прислушался, вглядываясь в ночную тьму. Но треск не повторился, и тогда ты осторожно ступил на лед, пошел смелее и уже на порядочном расстоянии от берега приостановился, раздругой с силой топнул сапогом. Вот это да! Лед, точно дубовая доска, гулко гудел под ногами и упруго подрагивал, отдавал назад... А ночной мороз между тем пробирал до костей. Особенно доставалось щекам, драло их как наждаком. Ты сунул рукавицы под мышку и крепко растер жесткими ладонями лицо. Щеки загоре-

лись. Однако усталость сморила тебя. Думалось о постели, о сладком заревом сне. С трудом передвигая ставшие вдруг непослушными ноги, ты повернул назад, надеясь хоть немного прикорнуть до близкого уже рассвета. И вдруг... внезапный и резкий шорох рядом, в камышах, отчего ты замер. Змейкой пробежала по телу дрожь. Всмотрелся туда, откуда только что взметнулся торопливый шорох, но ничего было не разглядеть в аспидной тьме. А сердце — надо же! — все колотилось, и никак и ничем нельзя было его унять, и странная, неясная смута поднялась вдруг в тебе... Ты поначалу не мог понять, отчего так болезненно, так неожиданно смутилась душа. Постоял немного, вслушиваясь в глухую тишину, налегшую вновь на округу,— должно быть, какой-то встревоженный тобою ночной зверек опрометью метнулся в камыши... И ты пошел дальше, но эта непрошеная тревога все не покидала тебя. Что-то совсем уже давнее, забытое вроде бы вновь подкралось к сердцу, накатилось живой, неутешимой болью. Сонливости враз как не бывало. И напрасно ты пытался думать о чем-нибудь постороннем, что хоть на время отодвинуло бы все житейские и рыбацкие нелады. Нет, ни одна из этих постоянных забот, с головой поглощавших тебя в последнее время, не в состоянии была остановить мучительных усилий беспомощной памяти. Чем-то задело, разворошило ее до самых потаенных уголков. Но отчего так взбудоражил тебя этот случайный шорох камышовых зарослей? Постой... не тогда ли, когда ты только-только женился, и месяца еще не прошло, и дурман медовых услад еще окутывал тебя? Да, и тогда была такая же, как сейчас, непроглядная ночь. И мир полон был глухого покоя. И только не тебя, а твою возлюбленную жену так напугал тогда неожиданный шорох в камышовой чащобе... Когда неведомый зверек, встревоженный вашими шагами, порскнул вдруг, шурша сухими стеблями, в заросли, Бакизат от страха вскрикнула. Метнулась к тебе, прижала, не помня себя, лицо к твоей груди. Ты чувствовал, как ее легкое, маленькое тело дрожало в твоих объятиях, и как мог успокаивал, ласково приговаривая: «Ну, что ты... что ты, глупышка?.. Это же зверек какой-то, не бойся». Но юная твоя жена не скоро пришла в себя. До самого дома жалась к тебе, пугливо озираясь по сторонам.

О, что там говорить, дивное то было время! Не бы-

ло, наверное, тогда на земле человека более счастливого, чем ты. Каждое утро в свой час, из-за еле различимого в мареве окоема, где перед рыбачьим аулом бескрайнее море сливалось с голубым куполом неба, всплывал огненный диск солнца. В детстве тебе казалось, что солнце поднимается прямо из морских глубин. Казалось, что оно всходило, всегда сияя своей неизменной неземной улыбкой. Потому, должно быть, и ты в те дни всегда просыпался с улыбкой на лице. Едва проснувшись, тотчас вскакивал. А вскочив, испытывал во всем теле удивительную бодрость и легкость, будто и не было земли под ногами. Оттого, видимо, и ночью, и во сне, то птицей скользил в небе, то плавно и мощно мчался на крылатом коне. И коли уж ты ходил не по земле, как все смертные, а наяву витал в объятиях сладостных грез, на твоем лице в то время не было и тени грусти — ты блаженно улыбался себе и не замечал прохожих. Опьяненный счастьем, ты не чувствовал, что творилось в душе твоей юной, обожаемой жены. О, и как такое может быть, что, будучи вполне зрячим, не видишь ничего вокруг? Неужто счастье так слепо? Или счастливый — слеп? Или оно может по своему капризному хотению превратить кого угодно и в несмышленого юнца, и в прозорливого мудреца? Был ли ты в свою счастливую пору мудрым — трудно сказать. А то, что был мальчишкой, — это уж несомненно. Так же, как и то, что был слепцом. А коли мальчишество и мудрость с такой легкостью уживаются порой в одной счастливой душе, то совсем не мудрено, если в основе их лежит слепота. Иначе ведь должен был бы ты в то безмятежное время, когда и солнце для тебя всходило и заходило с ослепительной улыбкой, и, казалось, все живое на земле, глядя на тебя, тоже сияло неуемной радостью, — да, обязан же был ты заметить, как темное и неведомое что-то неотступно гнетет, терзает душу твоей жены?! Неужели так ничего ты и не замечал? Ведь замечал. Однако в том, что юная твоя жена изо дня в день таяла, меркла на глазах от непонятных тебе душевных мук, ты почему-то прежде всего обвинял себя. Да, только себя.

И в тот день, когда она, судя по всему, опять была в одном из самых тягостных своих состояний, ты чуть ли не силком вытащил ее из дома. Едва переступив порог, она остановилась рядом с медным самоваром, который бурлил, клокотал. Можно было подумать, будто

она очнулась ото сна и впервые за все это время увидела белый свет... Долго потрясенно глядела на багровое солнце, на вольно раскинувшийся в полнеба полыхающий закат, на безбрежную холмистую степь, начинавшуюся прямо от порога дома, на рослую лиловую полынь и верблюжью колючку, на молодую мураву — все отливало горячим кирпично-красным отсветом уходящего дня. А когда повернулась в другую сторону и увидела могучее море, сплошь в пурпурном отблеске, то в черных больших зрачках ее неожиданно вспыхнул живой огонек, и вдруг она точно стряхнула с себя безысходность тоски. Словно былая радость проснулась в ней на миг, всю ее всколыхнула, и в каком-то порыве она, схватив тебя за руку, побежала к морю. И тогда ты точно ожил, осмелел, тоже разулыбался, побежал за ней, норовя поймать ее, обнять на бегу. Но она все не давалась, каждый раз увертывалась, вырывалась и бежала, мчалась впереди на расстоянии вытянутых рук, и звонкий дразнящий смех ее колокольчиком катился к морю. Вдруг она оборачивалась на бегу, обжигала тебя тем давнишним, таким милым, лукавым взглядом, показывала по-девчоночьи язык, и ты, ошалев от радости, старался настичь ее. А волосы развевались за ее плечами, обнажая нежно-смуглую шею. У тебя отчего-то перехватывало дыхание, неистово колотилось, рвалось сердце... Ты бежал, задыхаясь, с упрямой решимостью догнать ее во что бы то ни стало, протянул обе руки вперед, а она резво неслась, летела, высоко вскидывая стройные упругие ноги, мелькая смуглыми икрами, заливаясь дразнящим счастливым смехом. Однако ты неотвратимо настигал ее и, казалось, вот-вот уже подхватишь на лету. И тут она неожиданно резко остановилась, пригнулась, и ты в запале, на всем бегу пронесся мимо, споткнулся, взметнув столб пыли, перевернулся через голову. Раздосадованный, вскочил на ноги, оглянулся на нее, а она, держась за живот и встряхивая волосами, хохотала до упаду...

— А ты, оказывается, шустрая...

— Со мной не шути. Я чемпионкой была в институте — по бегу на короткие дистанции.

— Вон ка-ак?! А вот и море!..

Ты не отдышался еще, обнял ее, но она отстранилась и направилась к морю. Ей показалось странным, как могла она все эти дни просидеть в четырех стенах, предавшись унынию. И вот теперь удивлялась то-

му, каким чудом этим тихим вечером проснулась в ней радость. Такая вдруг легкость появилась сразу в руках и ногах, что хотелось бежать и бежать вот так по теплому песку, бежать без оглядки, не чуя под собой ног, вдыхая свежий воздух, пахнущий степью и морем. И когда обогнула еще одну мохноглавую дюну, прямо перед нею открылось во всю ширь замершее в сумерках море. Бакизат, будто от неожиданности, застыла на мгновение. Море безмолвствовало, тишина звенела в ушах, и в этой тишине она услышала, как гулко колотится ее сердце, и побежала снова, а добежав до моря, на бегу скинула сначала одну туфлю, потом вторую, и, всплескивая воду, вприпрыжку продолжала бежать по ровной гладкой отмели.

Вслед за ней, бурно дыша, добежал и ты. Бакизат не повернулась к тебе, стояла по щиколотку в воде. «Бати-иш...» — ты подал голос. Но она не шелохнулась. Казалось, она так и будет стоять неподвижно — до тех пор, пока кто-нибудь не выведет ее за руку из воды. Ты весь подался вперед, силясь увидеть то, что заворожило ее внимание. И прислушивался напряженно, стараясь уловить скрытую тайну ночного безмолвия, но ничего не услышал. Вдруг догадка осенила тебя: ты ничего не видишь и не слышишь потому, что стоишь не в воде, как она, а на суше.

Да, Бакизат поразила тебя сегодня. Как преобразилась вся, расшалилась даже — не узнать. И к добру ли все это? Вон она застыла неподвижно. Со стороны посмотреть — тростиночка, вонзенная кем-то в песок. Может, в этой пронзительной вечерней тишине ее потряс во всем величии открывшийся ей наконец бесконечно огромный мир. И в самом деле оглянись-ка вокруг! Как хорошо, что шальной прибрежный ветер, весь день не дававший покоя, вдруг разом утих. А море?! Еще вчера грозное, натужно ворочалось и ревело оно перед аулом — теперь неожиданно стихло и покорно улеглось у ваших ног. И месяц круторогий припозднился, не скоро, видно, заявится, проложит по водам свою сверкающую дорожку. Зато, едва дождавшись сумерек, ярко и весело вызвездилось темное небо, пригоршнями высыпало серебристые блестки в море, и теперь, сорвавшись с высоты, они мерцали и переливались, перемигиваясь со своими небесными собратьями из зачарованных глубин воды. И вся эта неземная, абсолютно без шороха и дуновения тишина, весь этот мир, та-

инственный, замер в неизъяснимом восторге, весь этот рой мириад звезд, дрожащих в черном небе и черной воде, угасающих и тотчас вспыхивающих, излучающих свой зыбкий свет, — все это разом отозвалось в тебе, затаенным величавым гулом мироздания заполнило душу — заполнило и всколыхнуло... Почудилось вдруг, что и твой свет, свет твоей жизни, сливаясь со звездным, дрожит над пучиной... Твоя жизнь, как маленькая звездочка, трепетала над бездной, и это было чудом. Неспроста ведь есть поверье: счастлив тот, кто помечен звездой...

Ты так уверовал в это сейчас, что, казалось, видел в темноте сияние собственных глаз. Оно соединялось с тем, звездным, и соединялась, сливаясь с морем, твоя душа. Ты дышал ровно, глубоко, но сердце твое билось, трепетало радостно, как у ребенка в объятиях матери. Вот когда открылось тебе все, что раньше тебя поняла Бакизат. Ты вдруг прозрел, наконец-то тоже почувствовал, что таилось на самом донышке ее чуткого сердца. Все, что так поразило, взбудоражило твою юную жену-тростиночку, мгновенно передалось тебе: и сейчас ты видел и испытывал то же, что и она, и сердца ваши забились в лад. Впервые вспыхнуло в душах ликующее созвучие, они стали как единая трепетная душа, и это было непостижимо и прекрасно.

Как же ты был счастлив в ту ночь! Душа, охваченная восторгом необъятного, неизъяснимого открытия, порывалась излить все, что мириадами смутных предчувствий возникало в ней каждый миг. Душа рвалась, но ты не смел шелохнуться, ненароком задеть какой-нибудь жухлый кустик или гальку, чтобы не спугнуть торжественно звенящей тишины ночи, в которой неведомая тебе душа твоей женщины проникновенно соединялась с чудом, околдовавшим эту глухую южную ночь, раскинувшуюся в забытьи моря. И, замирая весь, еле сдерживая дыхание, как и Бакизат, глядел ты вдаль, в черное трепетное безмолвие. Ни звука, ни шороха. Молчала ночь, молчало море. Лишь чуть поодаль, в камышовых зарослях, временами безнадежно выкликала кого-то охрипшая птаха. И вдруг в нескольких шагах от берега раздался звонкий всплеск. Ты поневоле усмехнулся. Видно, не только на греховодной земле, но и в море наступил час влюбленных, наверное, и там, в кромешном подводном царстве, охваченные страстью, как и все живое на свете, мечутся неведомые сущест-



ва. Только и среди них наверняка тоже попадаются такие же вот нескладные, нетерпеливые, как ты. Вон погнался, должно быть, кто-то из их рода-племени за своей белой рыбкой, взметнулся над гладью моря и вновь плюхнулся, точь-в-точь как ты давеча в куст, и всплеснул, потревожил воду. И в том месте, где послышался всплеск, вдребезги разбилось отражение дрожащей звездочки, и точно искры брызнули во все стороны...

— Видел? — взволнованно сказала Бакизат. — Звездочка выпрыгнула...

Ты не расслышал за своими мыслями, и тогда она подбежала к тебе, потеребила за рукав:

— Видел, спрашиваю, как звездочка выпрыгнула?

— Откуда?

— Как откуда? Из моря!

Ты счастливо расхохотался. Она уставилась на тебя с удивлением. Потом нахмурилась. Лицо ее исказилось в болезненной гримасе. Резко отвернулась и пошла, не сказав ни слова. Ты не успел еще согнать с лица неуместную улыбку, а она уже удалялась по узкой полоске побережья, и под ногами ее сухо потрескивала иссохшая нынешним знойным, без единого дождя летом скудная приморская трава.

— Батиш... милая... ну, подожди...

Она не ответила. Только, услышав твои неровные шаги за спиной, сама прибавила шагу. Ты все же догнал, поравнялся, неуверенно взял ее за руку:

— Ну, прости...

Она с каменным лицом отстранилась.

— Ты ведь права. Звезды действительно выпрыгивали из воды. Я тоже видел.

— Да ну тебя!

— Честное слово, видел! Выпрыгнула, плеснула так...

— Ты... нет, ты в самом деле видел?

— Еще как! Вот этими глазами.

— А как звездочка разбилась, видел?

— Ну конечно! Вдребезги разлетелась.

— Даже искры посыпались, верно?

— Да! Серебристые такие... жгучие...

— А осколок тебя, случайно, не задел?

— Как не задел? Чуть глаз не выбил.

— Какой?

— А?

— Который глаз, говорю?

— Вот этот... нет-нет... этот!
— У-у, лгунишка!
— Нет, я серьезно... Вот сама смотри.

Бакизат рассмеялась. И у тебя отлегло от сердца; как у мальчишки, тотчас расплылись губы, и недавние тревоги и страх развеялись сами собой, в одно мгновение. И оба вы испытывали теперь детскую неподдельную радость оттого, что так скоро помирились, и, перебивая друг друга, восторженно говорили и говорили — о море, об озорной звездочке, о себе. Да, во всем безбрежном мире тогда существовали вы вдвоем... И тут в негустой камышовой заросли раздался рядом резкий треск, и невидимый зверек метнулся с испугу в сторону. Бакизат вскрикнула...

Будто вчера все это было. А прошло... страшно подумать, прошло уже тринадцать лет.

* * *

Он внезапно проснулся, подняв голову с подушки, в непонятном страхе заозирался, не соображая еще толком где находится. Мутными глазами оглядел лачугу. Ему казалось, что прилег он всего минуту назад. Вернувшись в полночь с берега Сырдарьи, он рухнул на постель, успев лишь скинуть сапоги, и прямо в верхней одежде залез под одеяло. Пальцы на ногах были как ледышки; он подтянул колени, свернулся, постепенно согреваясь и проваливаясь в сон. И теперь, проснувшись, как бы насильно вытянув себя из сна, он не представлял, сколько же прошло времени. Лишь заметил, что подслеповатая керосиновая лампа у входа уже чадила, угасая... Но что же такое страшное было во сне? Кажется, кто-то из рыбаков ворвался в лачугу и заорал ошалело: «Ойбай, беда-а! Вы тут дрыхнете, а Сивый Вол выхлестал все озеро...» И, припав на корточки у порога, со стоном стал бить себя по голове, качаясь, рыдая как по покойнику... Все представилось настолько отчетливо, что теперь он никак не мог сказать себе, во сне это было или наяву: да, черный вестник ворвался с воплями, с плачем... Был ли еще кто-нибудь рядом? В смутной душе еще не стих тот страх и не сошел озноб ужаса, которым он был охвачен, когда услышал жуткую весть. Он помнит, как рыбаки в панике бросились к выходу. Вместе с ними и он порывался вскочить, чтобы посмотреть на чудовищную скотину —

водохлеба Кок-Огуза. Он все пытался встать, даже, кажется, на ногах уже был — но на самом деле лишь беспомощно дергался, не имея никаких сил чуть приподняться, весь налитый непонятной, свинцовой почти тяжестью. И еще вроде хотел кому-то что-то сказать, крикнуть, но некая зыбучая неясность сбивала его, — главное, у него совершенно пропал голос. Это особенно пугало, и он потерянно и тревожно озирался по сторонам. Не мог бы он в эти мгновения объяснить, чем был вызван охвативший его ужас: то ли тем, что чудовищный водохлеб Кок-Огуз выпил все озеро вместе с рыбой, лишив рыбаков улова, или тем, что у него самого, беспомощно распластанного на постели, со страху онемел язык и отнялись руки-ноги. Одно было очевидным: его безмерный страх и лихорадочная дрожь...

И тогда черный вестник этот, все рыдавший у порога, вдруг вскочил как подброшенный, вскрикнул и захохотал в сумасшедшей радости, захлестал себя бешено по ляжкам, захлебываясь и вопя ему в лицо: «Обману-у-у-л!.. Эх и надул я вас тут всех... будете помнить!»— и пустился в безумный свой пляс...

Тут и проснулся ты в страхе. О, долго еще не отпускал тебя цепкий тот страх. И хотя ты сразу и со всей уже ясностью осознал тогда, что пережитое мгновение было не явью, но всего лишь дурным сном, тебя все не покидала, все колотила дрожь. Да, этот страх тайно, давно и прочно поселился в твоей душе; и это великое сивое чудовище что-то уж часто в последнее время снится тебе. И что там старица, что озеро — совсем недавно приснилось, как Сивый Вол вытянул в себя до донышка все Аральское море!.. Безобразно раздувшийся, огромный, едва вмещаясь меж небом и землей, он по-воловьи медлительно, вразвалку двинулся, тяжело отдуваясь, к перевалу и ушел в степь. Обезумевший народ бежал следом, люди кричали, сталкивались, как ледяное крошево в половодье, и среди толпы, беспомощный, оглушенный собственным воплем, спотыкаясь, бежал и ты... А когда проснулся, был мокрым от пота, тело ныло от усталости, горло саднило после судорожного крика. Ты хотел отмахнуться, забыть привидевшееся тебе в холодной хибарке виденье, однако тот смутный, полный неведомого облик черного вестника никак не выходил у тебя из головы. Вдруг вспомнилось, что был он будто небритым, каким-то мохнорылым, и ты даже невольно пробежал глазами по лицам своих

рыбаков, словно надеялся отыскать, поймать на чьем-нибудь лице то памятное тебе выражение зла и насмешки. И ты заметил за собой, что почему-то чаще всего твой взгляд останавливается на шофере, насмешливом и порой злобновато-упрямом...

Но и все другие были небриты, угрюмы. Как всегда, смолит шофер свою извечную папиросу, то и дело поддергивая спереди спадающие штаны. Он уже на ногах; ты смотришь, что-то все выискивая, на его обросшее многодневной щетиной лицо, на изжеванный «бычок» в углу рта, а он копается в карманах, потом идет к двери. Вот открыл ее, впустил утренний чистый свет, выглянул.

— Все, братцы, — проспали!..

Тебя буквально вынесло из лачуги. Да, уже рассвело, и неумолимое, никогда и никого не ждущее солнце скоро оторвется от горизонта, начиная новый день. «Ах, черт бы нас всех побрал!»

— Раимовский этот шустряк, небось, уже в обе руки рыбу в старице гребет! — бросил все тот же шофер.

— Не каркай! Заводи-ка лучше свой драндулет!

— М-ма-мент!

Непостижимо, но мотор завелся сразу. Рыбаки, наспех одеваясь, бросились наружу. Ты отводил от них глаза. Все это казалось тебе продолжением того самого дурного сна.

— Эй, эй, где наш председатель? Всю ночь шастал, спать не давал, а как до дела... Почему не разбудил нас?

И так на душе кошки скребут, так теперь еще и этот старикашка зловредный заклюет. Что же, пусть! Пусть, поделом.

— Поехали! — выдавил ты с трудом.

— Куда теперь торопиться?—хмыкнул Кошен.—Разве что чужой добыче завидовать? Остатки подбирать?.. Объедками чужими лакомиться?

Ты влез в кабину:

— Жми, давай!

— М-ма-мент!

Громыхая кузовом, дребезжа, неслась бездорожьем машина. Угрюмо уставясь в пустую даль, ты молчал. Что-то еще оставалось в тебе от ночного наваждения, и грызла тебя тоска, а может, к этому шла вся твоя жизнь? Неужто и тут права твоя всезнайка теща, неужто обладает даром предвиденья? Она ведь никогда

не упускала возможности напомнить злорадно зятю, что он попросту растяпа.

Даже предназначенную судьбой долю непременно отнимет у него кто-нибудь порасторопней да поудачливей. Выходит, права она. Да. Права. Права. Всю ночь промаялся, всю душу себе и другим взбаламутил, тешил себя надеждой, и вот в решительный момент проморгал ледостав, позорно проспал...

Уж этот счастливчик из Раима, должно быть, дорвался сейчас до вожделенной цели и вовсю гребет рыбу. Вздулось, небось, одутловатое лицо его пуще прежнего; небось, сильнее обычного выкатились в чрезмерном усердии выпуклые глаза; небось, и голос его, сорочий, резкий — словно кто-то изо всех сил колотит сухой деревяшкой по такой же сухой деревяшке — носится без умолку над озерами. И кому ж, как не ему, заливаться соловьем на трибуне? Вот увидишь, на предстоящей районной конференции он будет сидеть по правую руку Ягнячьего Брюшка.

Рыбаки там, в кузове, молчавшие всю дорогу, вдруг всполошились, загалдели:

— Братцы, да они все еще здесь толкутся!

— Интересно, почему на тот берег не перебрались? Где их заводила, растопи-камень этот?

— Надо же! Выходит, лед-то хреноватый?!

Многолюден был берег Сырдарьи. Всюду приткнулись машины, груженные снастями. Впереди всех, у самого льда, синели капотами два грузовика колхоза «Раим». Твои рыбаки, не дожидаясь остановки, один за другим прыгали из кузова старой машины.

— Здравствуй, Жадигер-ага! Что задержались?.. Или знали, что лед слабоват?

Ты сдержанно кивнул и прошел вперед. Над тем берегом реки стояло низкое еще, по-зимнему тусклое солнце. Река застыла во всю светлую ширь, до последнего вершка затянулась голубеющим стеклистым льдом. Пологие утренние лучи то робко просвечивали, то играли бликами на нем, вспыхивали и гасли, и опять возникали, слепя глаза. Ты ступил на лед. Миновал рыбаков, стоящих на берегу, которые мгновенно притихли. «Посмотрим, на что ты горазд...» Ты спиной чувствовал эти пытливые взгляды, и внутри от них что-то поневоле сжималось. Сделал еще несколько шагов и остановился, ибо еще толком не знал, что дальше делать. Постоял, оглядывая лед, словно примериваясь, и

вновь услышал за спиной все тот же напористый, стучащий в уши голос:

— Жадигер-ага, слаб лед. Человека-то с запасом выдерживает, а с машиной лучше не соваться. Боязно, признаться.

— Боязно, значит?

— Вода — вражина безмолвная... Подпорок-то под нею нет.

— Нету, значит, подпорок?

— Ясное дело, что нет! Провалишься — и, считай, концы... А вы что, по-другому думаете?

— Мы?.. Как думаем?.. Эй, парень, давай-ка пешню!

— М-ма-мент!

— Напрасно вы это... Тут и пробовать нечего. Мы перед вашим приездом весь лед пешнями прощупали — не тот лед. С рекой шутки плохи, с ней не поспоришь. Вода, знаете, вражина такая...

Ты не ответил, принял из рук шофера пешню и решительно пошел вперед. Дойдя почти до середины реки, ты, высоко размахнувшись, с силой вонзил ее. Брызнули во все стороны стеклистые осколки. Однако насквозь не пробил, пешня застряла, подрагивая, а из-под острия разбежались быстрые кривые трещины, проступила зимняя, темно-прозрачная на льду вода.

— Ну что, убедились? — торжествовал молодой председатель. — Говорят же вам: хрупкий лед, ненадежен... Может, ночью окрепнет. А сегодня тут с груженой машиной делать нечего.

Ты и сам видел: ненадежный лед, рановато. И знал: подпорок под ним нет. И все же раздумывал еще что-то, не отрывая взгляда от вонзившейся в лед пешни. Во все времена любили рыбаки молодой ледок, восхищались его гибкой упругостью, как он гнется весь, порой под тяжестью постанывает, но не ломается. Должно быть, за это и прозвали его искони «льдом-джигитом», или еще «молодеческим». Кто, однако, точно знает, как поведет себя этот «молодой-удалой» ледок-крепыш, когда его всерьез захочет испытать какой-нибудь отчаявшийся смельчак?

— Ну, убедились?! — над самым, казалось, ухом раздался отрывисто трескучий, неизвестно отчего торжествующий голос. — Кто как, а мы уезжаем. А уж до рыбы в старице, бог даст, завтра дорвемся. На сегодня никаких надежд, и мой вам совет: возвращайтесь...

Хорошо, хоть с глаз убрался... Ты, словно отяжелев телом, вернулся не спеша на берег, к своим.

— Так что будем делать, Жадигержан? — спросил Рыжий Иван.

Ты не взглянул на него. Носком сапога покатывал прибрежные камушки.

— Эй, эй, рыжий... ты кого спрашиваешь? Разве из этого молчуна путное слово выудишь?

Ворохнулось что-то неосознанное, неопределенное, чему и названья-то еще не было, все сплошь из нещадных и острых углов, и, тесня грудь, разбухало, набирало силу, разгоняя застоявшуюся кровь. И чем больше нетерпеливое и уже тоскующее по простору разрасталось в тебе, темня рассудок, тем ты внимательней, неотступней — будто со стороны — следил за ним.

— Что, так и будем торчать? — крикнул уже кто-то, не скрывая раздраженья.

— Давай, пошли! Лучше в хибаре скоротаем время.

— Кто это раскомандовался?! — повернулся ты к ним и весь будто даже потяжелел. Должно быть, ты сильно изменился в лице, если даже неукротимый Кошеп примолк, потом, после короткой паузы, едва слышно, в одну ноздрю, фыркнул: «Дело твое. Ты у нас и за правителя, и за вершителя».

Но ты ведь еще ничего не решил. Даже и не думал вроде сейчас ни о каком решении. Ты слушал себя и то, что нарастало, неотвратимо поднималось в тебе, тесня горло, — какая-то дикая упрямая сила, готовая вот-вот взорваться. И ты понял вдруг, что уже не в силах сладить с этим чем-то, помимо твоей воли нарастающим, диким и упрямым:

— Ну, что будем делать? — спросил кто-то.

— А что, джигиты, — рискнем?! — глухо, неожиданно вырвалось у тебя вдруг.

— Это как понять, дорогой Жадигер? — не поверил своим ушам Рыжий Иван.

— А так... по льду и на тот берег. Рискнем?

— Ай, не знаю... не знаю, родной. Надо ли...

Но уже ни его, ни других ты теперь не слышал. Кивнул четверым рыбакам, стоявшим поодаль, — дело, мол, есть... Все-таки привыкли они за долгие годы к своему немногословному председателю, понимали его по жесту, по выражению лица, без лишних вопросов. И на этот раз все четверо молча, как и ты, без суеты перелезли через борта. Как и ты, засучили рукава, попле-

вали на мозолистые ладони, кто спереди, а кто сзади встали возле толстых лесин, заброшенных в машину еще с вечера. Так же дружно и молча поднимали их и одну за другой сбрасывали за борт. Лесины гулко ударялись о мерзлую землю, подпрыгивали, катились. Потом, не сговариваясь, продели эти лесины под машиной — поперек одновременно спереди и сзади, прикрутили веревками покрепче к раме. Расчет был простой: не выдержит лед, проломится под колесами — и в критический момент концы лесин, метра на два высовывающиеся в обе стороны, лягут на лед, зацепятся и, может, выручат.

Кто взялся помогать, кто стоял еще, переглядывался. Не все успели опомниться, когда ты решительно кивнул шоферу:

— Поехали!

— Да вы что?.. Не выдержит, ухнем!

— Кто это тебе сказал?

— Так все говорят...

— Садись, я с тобой. Если под лед — то вместе!

И шофер, который в другое время не замедлил бы отозваться своим неизменным «м-ма-мент», на этот раз отвел глаза. И весь как-то сгорбился.

— Давай ключ!

— Понимаешь ты...

— Ключ, говорю!.. Ну-у!

Шофер отступил. Как бы прося помощи, он оглянулся на Кошена, но тот отчего-то не психанул по своему обыкновению.

Широкая ладонь с растопыренными пальцами, казалось, еще мгновение, и схватит за глотку шофера, сомнет, но ты силком вырвал из его рук ключ зажигания, и потом... Все остальное пошло потом так, словно кто-то другой, а не ты это все делал, будто какая-то неподвластная тебе самому иная сила, как вихрь, сошла сюда и распоряжалась теперь как хотела, никого не спрашивая и никому не давая пощады. В мгновение ока ты очутился в кабине. Мотор взревел. Грузовик дрогнул. Дернулся. Тронулся с места и, подвывая, поднатуживаясь, тихо съехал на лед.

Люди, столпившиеся на берегу, не успели что-либо сообразить. Только теперь увидели они снаряженную машину, скатывающуюся напрямик ко льду, увидели ужас друг у друга в глазах. И лишь когда передние колеса коснулись прибрежного припая и, переваливаясь,

стали одолевать первые мерзлые наросты его, к рыбакам вернулся наконец дар речи.

— Куда он прет? Эй, эй, остановись!

— Да ему что, жить надоело?!

— Стой!

— Стой!

Рыбаки вразброд, кто как, бросились вслед. Крик, вопли слились с гулким топотом сапог. И сквозь этот гул и топот прорвался вдруг все тот же молодой нахрапистый голос:

— Он что, спятил?! Утонет, дурак. Госимущество угробит!.. Остановите его-о...

Грузовик с трудом преодолевал сплошь покрытый торосами лед.

— Стой! Сто-о-ой! Госимущество угробишь...

Рядом раздался трескучий, в темя стучащий голос. Ты захлопнул дверцу кабины. А раимовский догнал, забегал то слева, то справа, что-то крича и в бессилии грозя кулаками, стуча по капоту машины... Ты знал, что не о госимуществе, не о твоей жизни он печется. Отчего-то вдруг стало злобно-весело на душе. И ты, наверное, рассмеялся бы — но в это время тот, обежав-таки, неожиданно встал перед машиной:

— Не пущу! Слышишь, не пущу! Только через мой труп.

И в самом деле, весь его безумный, отчаянный вид кричал об этом. И ты поначалу даже опешил, давануп на тормоза. Но тут же опомнился:

— У-у, мать твою... Уйди! Раздавлю, как бешеного пса раздавлю!.. Совсем уже не помня себя, с остервенением нажал ты на газ, и старый грузовик взревел, рванулся, будто разъяренный...

С тех пор минула какая-нибудь неделя, но сколько событий успело произойти за это время! Ты уже совсем вымотался, вконец одолели, допекли заботы-напасти всякие, а сегодня вот не вытерпел-таки, сбежал, как затравленный зверь, из дому и с утра томишься одинодинешенек на льдине перед аулом и до мелочей ясно вспоминаешь тот отчаянный свой бросок. Вспоминаешь и сам удивляешься: как это тебя, по природе тяжелого на подъем, угораздило решиться на такое? И что это было? Отчаянье? Или просто-напросто безумие, когда человек не ведает, что творит? Как бы там ни было, но в тот решительный момент тебя не могла остановить-удержать никакая на свете сила. Помнится:

темная кровь ударила в голову. Раздавил бы, кажется, раимовского растопи-камня. На мгновение показалось, что тот уже под колесами. Однако в последний момент все же дрогнул, сиганул в сторону.

— Эй!.. Да он пьян! Вдрызг пьян! Кого хочешь убьет!

Дальше ты не слышал. Только успел заметить, как тот, отскакивая, споткнулся и распластался по льду. Но и упав, продолжал еще что-то выкрикивать, грозить кулаком. Откуда-то подоспел Кошен. Развевая полы своей заскорузлой шубы, неуклюжей старческой трусцой семенил он сбоку кабины, но вот споткнулся, упал и снова вскочил, побежал, хрипло прокричал что-то, видно задохнувшись, тотчас отстал. Его обгоняли, подбегали другие рыбаки, кричали наперебой: «На-зад!», «Куда ты?!», «Подумай о себе!», «Черт с ней, с рыбой!»

Шофер, весь растрепанный, запаренный, с ходу прыгнул на ступеньку, рванул на себя дверцу; ты, не глянув на него, резко толкнул его в грудь. Тот разжал пальцы и упал. Стали отставать и другие... Грузовик наконец выбрался. Передние колеса его наехали на зеркальную гладь льда, потом и задние, и он легко заскользил, заносясь задом, точно лодка, которую столкнули на воду. Теперь впереди были видны только торосы у того берега. Руль не вырвался из рук, и первое напряжение исчезло. И, может, поэтому ты облегченно перевел дыхание, выпрямился, чтобы приготовиться к самому главному. Глянул вперед поверх капота и будто впервые увидел, понял все, что тебе предстоит... Гладкий, холодно блещущий лед под носом машины отливал жутковатой, бездонной чернотой. Река в этих местах особенно глубока; на миг ты представил себе всю эту глубину, и тебе стало страшно. Ты бросил взгляд на противоположный берег, такой еще далекий, желанный, но чернота льда притягивала глаза, и ты чувствовал дрожь в ноге, когда нажимал на газ. Машина, завывая мотором, еле ползла. Кажется, место, где из-под острия твоей пешни пробивалась вода, было еще впереди. Однако ты уже чувствовал, что лед слабеет и что машина тоже будто отяжелела, слышал, как впереди колес катилось, опережая, сначала почти неуловимое, а потом все более отчетливое потрескивание, подозрительный скрип, усиливая в тебе страх.

Ты на всякий случай приоткрыл дверцу. И сам ос-

торожно подвинулся на краешек сиденья. Ты не заметил, как губы твои зашептали — помимо воли — нечто похожее на молитву... «О, всевышний, — шептали губы, — всеблагий, или как тебя там, не знаю, есть ты или нет тебя, — помоги!.. Ну, до каких пор ты будешь преследовать неудачами грешников своих? Сжалься над ними, поддержи их дух!.. Милосерден будь. Хоть изредка милостью одари, хотя бы ради жен и деток невинных... Поддержи, не оставь, умоляю!.. Умоляю тебя...»

Скрип, разбегающийся во все стороны треск под колесами усиливался, наполняя собой кабину, сверля темя... Но и назад пути не было. Оставалось одно: довериться судьбе. Казалось, и старая машина понимала это. Она, бедная, точно ощущала всю зыбкость льда, всю бездонность пучины под ним и катилась, скользила неуверенно, на ощупь будто. С каждым новым протяжным, зловещим скрипом страх, казалось, все больше проникал и в ее железную душу, и все болты, железки, все сочленения в ее изработавшемся нутре тихо дребезжали, позвякивали тревожно. Человек и машина слились, стали единым в этом непрерывном тревожном ожидании — когда раздался тот роковой оглушительный треск и начало уходить, проваливаться под ними то, что казалось твердью... А лед, видно, и в самом деле прогибался под непосильной тяжестью, подавался под колесами, слабо пружинил, и машина, точно подбитая, двигалась рывками, заносясь и юзя колесами... «О, всевышний, всемилостивый, — шептали бессвязно твои губы, — не покидай... Не оставляй. — Ты лепетал эти жалкие слова, обращаясь к неведомому спасительному духу, что свойственно всем слабым существам на земле в момент гибельного страха... — О-о, тэнгри великий... боже!»

Что это такое?! Мотор вроде только что подвывал в покорном усердии, а теперь... неужто так и заглох он, захлебнулся в собственном вое? Ты прислушался. Сквозь треск и скрип льда отчетливо услышал глухие удары своего сердца и тогда в отчаянье нажал на газ. Мотор взревел. Ты вздрогнул. Отпустил педаль. Нет, старушка еще жива, еще боролась за жизнь, ползла вперед. Больше половины пути уже за спиной, и то *место,* где ты пешней опробовал лед, тоже вроде осталось позади. Пот заливал глаза. Мельком было подумал, что надо бы протереть их, но вцепившиеся в руль пальцы не разжимались, да и все мускулы твои напряглись и оне-

мели в этом нескончаемом напряжении. Ты не решался дышать в полную грудь, будто это могло стать лишней тяжестью, нагрузкой на слабый лед. И вдруг что-то треснуло... Ты замер. Ногу, которой давил на газ, будто судорогой свело, а взгляд блуждал по льду. Каждая жилочка твоя натянулась до предела, до звона, а в ушах скрипел, звенел все разраставшийся над рекой стон потревоженного льда, будто кто-то там вдребезги бил и крошил стекла... Что-то подсказало тебе, что зловещий треск вот-вот повторится. Что ж, пусть! Пусть все тогда провалится к черту! Чем в страхе ждать с минуты на минуту неизбежную гибель, не лучше ли прямо сейчас кануть в этот омут небытия... Коли тебе суждено погибнуть именно сейчас, то какой смысл стремиться на тот берег? Пусть до конца торжествует злой рок, преследующий тебя неотступно. Если уж смерть позарилась на твою жизнь, то пусть же не тянет, не откладывает на потом, а сейчас же, не мешкая, в это же мгновение обрушит на тебя свое темное небо. Поделом тебе! И так твоя жизнь стала подобна лоскутку шкурки, изодранной псами, — хватит! И всем этим обязан ты прежде всего своему беспощадному жребию, собачьему характеру своему. Эта жизнь, куцая, как козий хвост, промелькнет и исчезнет, как только ты с этим проклятым рыдваном провалишься в ледяную пучину. И потому ничего тебе сейчас не жаль. Ибо во всех неладах виноват ты сам, только ты, ты, ты. Виноват твой собачий характер. Из-за него на твою долю выпадает всегда самая тяжелая участь, самые трудные испытания. Так оно получилось и теперь. Опять тот везунчик из «Раима» оказался дальновиднее тебя. Он знал, что лед подпорок под собой не имеет. Уж как только не стремился он первым дорваться до богатых затонов на том берегу, но ведь не рискнул, проявил благоразумие, точно опытная лиса, всегда ловко обходящая капканы с приманкой. Но бог с ним, с этим раимовским, он ведь из тех, кто из снега шубу сошьет... Но даже Кошен, сам из бедолаг, останавливал тебя. И разве не хватался за руль шофер? Выходит, они-то заведомо знали, что тебя ждет? И только ты один этого не знал. Неужто не знал? Знал... И все же подвела тебя дьявольская метка судьбы. Не случайно, стало быть, приснился Кок-Огуз. Какая может быть тут, к чертям, случайность, если ненасытный Сивый Вол выхлебал всю воду затонов вместе с несметной рыбой, отняв тем

самым у тебя всю радость и смысл, все, что связывало тебя с этой жизнью... Должны же были бесконечные невезения, преследовавшие всю жизнь, подтолкнуть тебя когда-нибудь к самому краешку пропасти...

И вот роковой шаг твой настал. В-о-о-т о-н-о... оглушительно, будто гром в небе, треснуло, покатилось с перекатами вдоль по реке. На первом же торосе машину мотнуло, руль вырвался из рук. Ты поймал, вцепился в него, крутанул. Буксовавшие задние колеса успели еще за что-то зацепиться, толкнули машину вперед,— толкнули в тот самый момент, когда она, оседая всей громоздкой своей тяжестью, была уже готова провалиться куда-то насовсем... Зад ее занесло, она заюзила куда-то вбок, все продолжая цепляться и каким-то чудом еще двигаясь вперед, одолевая снежные мерзлые наледи. Вот опять шибануло на торосе, и ты, насмерть вцепившийся обеими руками в руль, в какое-то мгновение с ужасом заметил, что руль этот вдруг наваливается на тебя, а ты каким-то образом очутился внизу, почти под ним. Ты еще сообразить не успел, как могло случиться такое, когда последовал удар, еще удар, сотрясший кабину, в глазах все смешалось, завертелось, словно в вихре. А потом... сколько бы ты ни силился вспомнить, что было п-о-т-о-м, — представить не мог. Лишь какие-то обрывки, клочки лихорадочных видений наплывали и вспыхивали в сознании. Скрипел, трещал, обламывался и крошился лед. Моталась на ледяных застругах, заваливаясь, машина. Зловеще плескалось, взбулькивало под колесами. Резко брякали дверцы клонившейся попеременно то на один, то на другой бок кабины, и тебя трясло и швыряло так, что до сих пор ты удивляешься, как еще не вылетел тогда из нее. А глаза твои помнят только одно: как перед тобою что-то огромное, мутно-серое качнулось, махнуло в размашистом гибельном крене сначала в одну сторону, а потом пошло валиться в другую. Машину рвало из стороны в сторону, бросало вбок, с обвальным грохотом швыряло в кузове снасть, вот-вот, казалось, опрокинет, — но она, воя, рыча мотором, все еще тащилась, где боком, а где переваливалку, рывками, по каким-то мерзлым кочкам, чудом выползла из настигавшего ее сплошного скрежета льда. Непостижимым казалось упорство, настырность этой развалюхи, никак не присущая их железному роду... И уже вроде не ты, а она сама выбирала, тыкаясь вслепую, искала себе путь из всей этой безысходности. Ты

цеплялся за руль и еще как-то удерживал ногу на педали газа, срывался то и дело, но опять ловил ее ногой, давил. Ты потерял представление о времени, стало томить безразличие, бессилие, и все равно уже стало, что будет с тобою, с машиной, со всем миром, — но ты, не помня себя, все давил, давил...

Но всему наперекор надрывно, на всех оборотах стенает мотор, едва не захлебываясь, и хотя еще мотает тебя по всей кабине все та же вынимающая душу болтанка, бьет обо все жесткие углы, ты уже слышишь только ее, машину, и перекатывающийся стук снастей в кузове. Видишь совсем недалеко спасительный берег, сухой изреженный камыш, чахлые кусты. И чудится, что это не ты, а они, неприглядные такие и родные, на тонких слабых ножках спешат к тебе навстречу... Все явственней обретают свои извечные очертания берег, земля, ее заречные смутные дали. И небо — оно тоже на месте. Безбрежное, безмятежное, как со дня сотворения, раскинулось оно над головой. То самое, что качнулось в гибельном для тебя крене, оно сейчас и вправду успело затянуться мутно-серой предзимней наволочью, отягощенной снегом...

И понял ты, что выжил, что в отчаянной этой схватке с жестокосердной своей судьбой *хотя бы раз,* но удалось-таки тебе *достичь цели.* Невелика, может, *цель,* но *удалось.* И почему-то опять всплыл перед глазами раимовский председатель — как он метался, обезумевший, перед твоей машиной... Ты не знал, что делать,— плакать ли, смеяться... Совладав с собой, ты поднял слезящийся взор, уставился в небо. И оно, захватанное, как подол неряшливой бабы, тоже будто усмехнулось в ответ. Ты закрыл глаза — блажь, чушь, но как хорошо. Минуту назад верная твоя развалюха почти уже одолела торосы, почуяла под собой настоящую твердь, и тут ее неожиданно занесло, и не успел ты, еще весь в руках судьбы, уяснить, что это вдруг выросло на пути, как машина с ходу ткнулась носом в остроконечную серую глыбу льда, подпрыгнула задом и заглохла...

Сколько раз потом, во сне, повторялось это мгновение! И островерхие серые глыбы вот так же, будто из-под земли, вырастали каждый раз на твоем пути. И так же с ходу, хлябая кузовом, неслась на них твоя машина. И так же, как наяву, теснило тебе грудь и перехватывало напрочь дыхание. И тогда ты просыпался в страхе и сам еще слышал, как стонешь, и стон этот,

эхом отзываясь в тебе, до сих пор тенью влачился за тобой. Ты весь сжимался во сне, напрягался, ожидая неизбежного удара, и так же пот заливал глаза, и невозможно было оторвать от руля рук, чтобы смахнуть его. И каждый раз, еще не совсем очнувшись от кошмара, ты краешком одеяла вытирал разъедавший глаза пот и пытался вспомнить, что же случилось потом. И вспоминая, все поражался: как все-таки удалось тебе миновать тогда те роковые, гибельные места — и то, где пробовал лед пешней, и там, на торосах стрежня? И в который уже раз благодарил ты небо и молодой тот недюжинной силы ледок-джигит.

...Ты устало прикрыл глаза, отдыхал, а откуда-то донеслось слабое разноголосье. Прислушался. Звук нарастал, приближался, и уже вскоре ты расслышал топот множества ног, голоса. Топот волной докатился до грузовика, уткнувшегося носом в глыбу льда, и оборвался, точно отсеченный; и в этой разом обступившей тебя тишине вновь остро почувствовал все свое одиночество. Но длилось это всего лишь мгновение: кто-то осторожно подходил к кабине, а за ним, шурша льдышками, тронулись другие. Кто-то вытягивал шеи, заглядывал в кабину. Кто-то встал на приступку кабины, наклонился над тобой, и ты почувствовал на себе теплое чье-то дыхание. Кто-то тронул тебя за плечо, и ты тогда неохотно, насильно почти оторвал себя от руля, на котором лежал грудью, и откинулся на спинку сиденья.

— Эй! Он живой! Живой!

— Идите сюда!

— Жив, жив он... благодетель. Азамат наш!

Много ли путного в людской радости?.. Точно ошалев, полезли к кабине со всех сторон. Кто-то склонился над тобой. Кто-то вытер пот с лица. Другой в грубоватой ласке крепко хлопнул по плечу, сунул в руки фляжку с водкой.

Все это ты воспринимал как-то смутно, точно спросонок, но ты ясно видел неподдельную радость на грубых от мороза и ветра лицах рыбаков. Видел ликующий блеск в их глазах. Потрескавшиеся губы растягивались в улыбке. Ослепительно белые зубы обнажались в хриплом хохоте. Перебивали друг друга голоса. И вспомнилось тебе, что подобное, впрочем, нет, гораздо большее ликование, всеобщую радость людскую ты уже однажды видел, пережил. Ну да, тогда ты был совсем мальчишкой. То ли уже учился, то ли только собирался



в школу. Да, в том году мать выпросила для тебя у приехавшего из района уполномоченного железную ручку с двумя наконечниками, и ты даже спать укладывался тогда, крепко стиснув в руке гладкую ручку и замызганный растрепанный букварь. И еще в том году окончилась война. Возвращались в аулы опаленные войной мужчины. А на встречу своих славных батыров высыпали из домов, лачуг и юрт все, кто держался на ногах, старики, женщины, детишки... Набрасывались на солдата, висли на шее, обнимали, целовали его — и так же, как сейчас эти рыбаки, смущенно и счастливо смеялись, говорили что-то взахлеб, невпопад, сквозь слезы... И тогда кто-нибудь из почтенных стариков успокаивал толпу. Люди повиновались его воле, брали себя в руки, проглатывая слезы радости и горя. А безутешные вдовы и дети, не дождавшиеся кормильцев — мужей и отцов, сиротливо толпились в прихожей и, приникая к косяку, беззвучно плакали, зажимали ладонями рты...

— Айналайын!.. Азамат мой! Да буду тебе жертвой!..

Доносившийся сзади старческий, дребезжащий голос вывел тебя из оцепенения. Оттолкнув дверцу, ты с усилием высунул сначала одну ногу, потом вторую. Голос старика дрогнул от избытка чувства. Он обхватил тебе ноги:

— Опора наша! Азамат наш... Кормилец нашего рода... — завелся, чуть не рыдая, старик.

— Кошеке... Ну, успокойтесь. Встаньте!

— Встану, родной, встану, несравненный!.. Да как я, недостойный старикашка, на тебя голос повышал? Прости, заступник ты наш.

И долго еще не мог успокоиться Кошен, мелко тряслись его узкие плечи под заскорузлым кожухом.

* * *

Старая машина с помятым радиатором мчится по степи. Извилистая дорога, увлекая, вьется-стелется впереди, и потом вдруг, точно играя с шофером, нырнет в заросли будылистой высохшей полыни, пропадет из глаз, притаится — и тут же, как бы подразнивая, обнаружит себя, объявится узкой серой тесьмой по склону очередного перевала — вот она, мол, я... В такие минуты председателя охватывал задор, глаза его поблескивали:

— Жми, дорогой! Газуй! — трепал он по плечу шофера. — Можно, конечно... но, видишь...

— Ничего не вижу, кроме вот тебя, себя... и еще впереди нашего с тобой аула. Давай, газуй, брат!

— Можно, конечно... но дорога... разве по такой дороге разгонишься?!

— А ты не гляди на дорогу. Понимаешь? Не гляди, а просто жми вовсю!

— Х-ха, сказал! Драндулетина наша рассыплется! Костей не соберем.

— Ну и бог с ней! Спишем...

— Да?

— Конечно, спишем. Новую машину получим.

— Ну, вы... басеке, что-то сегодня...

Шофер кинул искоса шельмоватый взгляд. Нет, вроде не шутит. Нетерпеливо уставился вдаль — в бесконечную и выгоревшую степь. Где ее начало и где конец? И доберутся ли они сегодня до аула? Нетерпение председателя передавалось и шоферу, и он то и дело, подтянув козырек фуражки и покрепче стиснув руль, жал на газ до упора. В колхозе они работают примерно с одной поры. И с того времени, считай, неразлучны. Почти не обходятся друг без друга. Председатель ни себе, ни другим не дает передышки. Сколько раз они, бывало, неделями, а то и месяцами болтались бог знает где, вдали от семьи, от аула, и что-то не помнилось, чтобы председатель, возвращаясь в очередной раз домой, выказывал такое вот нетерпение, как сейчас: «Давай, жми. Газуй! Скорее! Спишем ее...» Ни черта он не спишет. Врет. Как наш колхоз, и эта развалюха машина, теперь с подбитым радиатором, живучая. Чудным оказался, однако, он...

Да, на этот раз баскарма удивил всех. Обошел, с носом оставил даже раимовского председателя, «растопи-камня»... Что там ни говори, а вся рыба в заречных озерах и старице досталась им одним. Выбравшись на тот берег, без устали черпали ее день и ночь. И лишь на третьи сутки вымотались вконец. Насквозь промокшие, продрогшие, голодные, они уже еле держались на ногах и думали только об одном — о каком-никаком тепле, о еде, о сне. Кое-как дотащились до заброшенной, бог весть кем и когда поставленной камышовой лачуги. Ввалились в нее гурьбой и опешили: от двери остались одни косяки, окна разбиты, про-

мозглый ветер гуляет, посвистывая в пустых проемах. Кто-то не удержался, крякнул с досады:

— Де-ла-а!

— Слава богу, хоть такая есть.

— Ну, что стоите? Дверь бы с окнами занавесить. Огонь бы развести!

— А ну-ка, давай, живо!

Слова эти, как обычно, адресовались одному человеку — шоферу. Он и помоложе других, пошустрее, попокладистее, и потому каждый, у кого на бороде пробивалась щетина, считал себя вправе обращаться с ним, как с мальчиком на побегушках. И безотказный шофер-бала не возражал, всегда и всем отзывался своим: «М-ма-мент». Однако на этот раз и он будто не слышал, отводил равнодушные глаза. А тут еще старик, худой и изможденный, едва войдя в лачугу, повис на нем, будто разомлевшая девка. Шофер было с досадой отстранил его, но старик привалился опять... В эти дни, дорвавшись до богатых тоней, старый Кошен раззадорился, никак не хотел отставать от молодых и вот так умаялся, что едва держался на ногах, засыпая на ходу, припав головой к первому попавшемуся чужому плечу. Шофер насмешливо скосился на старика и, неожиданно озоруя, будто в нем бес проснулся, подхватил его под руки:

— Знаете, что, старина, спляшем, что ли, в честь удачи, а?!

Старик, видно, не слышал. Шофер подмигнул рыбакам.

— А ну, давай! Ас-са!.. — как-то задорно и ловко исполнил выход, увлекая его в середину круга. Старик очнулся, растерянно захлопал глазами:

— Эй, эй. Рехнулся, что ли?..

— Нет, старина, голова на месте. Надо удачу отметить... Ну, давайте...

Что с людьми стало? Только что стояли с запавшими щеками, не в силах поднять угрюмые взгляды,— и вот вдруг губы растянулись в улыбке, хриплые глотки исторгали возгласы одобрения, молодо блеснули глаза... Отбил шофер-бала чечетку, прошелся по кругу, и будто поджег, подхватил всех страстный танец горцев — и тех, кто умел, и тех, кто в жизни не плясал, и уже столпились рыбаки в круг и азартно, в такт забухали в одеревенелые от мозолей и холода ладони. Кто должен завесить окна и дверь в этой заброшенной про-

мозглой развалюхе, кому собрать хворост и развести огонь — никто сейчас об этом не думал. Все отодвинулись к стенке, заколотили в ладони яростно, гулко, и шофер чертом пошел-пошел, закружился в дикой азартной пляске, по-прежнему крепко придерживая за пояс старика.

— Ну, старина... Давай, ас-са!

— Эй... эй... Что этот нечестивец делает? Пусти! Пусти, говорят!

И старик, растопырив заплетающиеся ноги, попытался было вырваться из цепких рук джигита. Но шофер силком увлекал его за собой, таскал по всему кругу. Рыбаки хохотали, показывая пальцами на них, радуясь неожиданно подвернувшейся потехе, подталкивали плечом, подзадоривали друг друга, хрипло выкрикивали: «Ас-са! Ас-са!.. Ай да молодец! Вот дает шофер-бала!»

Кто-то кого-то выталкивал в круг. Меж четырех стен лачуги стонал смех, от множества выкриков и голосов стало шумно и тесно. Эхо прокатывалось, разносилось ветром по пустынному побережью. Старик отчаянно отмахивался, заслонял лицо руками: «У, пес! Нашел с кем дурачиться!..»

Бессильные протесты старика еще сильнее потешали рыбаков, будили уснувшую радость. Кто-то завел-затянул песню, и все перестали дубасить в ладони и выкрикивать: «Ас-са!», закинули руки друг другу на плечи и, раскачиваясь, не очень слаженно, но с охотой подхватили сызмала знакомый мотив. И баскарму втянули в свое безоглядное веселье. В таких случаях чаще всего он оставался в стороне, только улыбался, глядя на них, редко когда подтянет, а сегодня и сам не заметил, как стал подпевать во весь голос:

О черноокая, ненаглядная ты моя.
Будь благословенна мать, родившая тебя...

Но эти проникновенные слова точно обожгли язык. Почему-то, совсем некстати, вспомнилась не по годам разнаряженная щеголиха теща с ехидной улыбкой на накрашенных губах: «Разошелся зятек мой, передовик производства. К добру ли?!» А рыбаки не обращали внимания на осекшегося вдруг баскарму, пели, старательно тянули, вкладывая всю душу в старинную, такую задушевную песню, воспевавшую возлюбленную и

благословлявшую ту женщину, которая ее родила. Шофер-бала, оставив наконец в покое старика, картинно опустился на колено в середине круга. В руках его незаметно как оказалась маленькая, выделанная из джиды домбра, которую рыбаки вместе со снастями всегда возили с собой. И теперь он яростно хлестал по струнам и горланил во всю мочь. Выходило не бог весть как складно, зато громко и разудало. Баскарма покосился на домбру и нахмурился, потемнел лицом. И эту домбру некогда отец смастерил. Дека ее потрескалась, гриф до черноты захватан руками. Бедную домбру терзал каждый, кому не лень. В непогодь рыбаки обычно не выходят в море. В ненастные дни они, забившись в камышовую лачугу, как придется коротают время, и тогда всяк тренькал на ней, не вытирая жирных или грязных рук, и валялась она всегда где попало. За свою жизнь покойный отец сколько таких домбр смастерил из неприхотливой джиды! Было время, когда на правобережье Арала в каждом порядочном доме висели на самом почетном месте отцовские домбры. И поныне земляки безошибочно определяют их, сделанные некогда руками мастера Амиржана. Это она, отцовская домбра... Сделай отец домбру не из джиды, из другого дерева, она в скитальческой жизни рыбаков давно бы пришла в негодность. В руках шофера звучала она сейчас глухо, не пела — простуженно гундосила.

— Дай-ка сюда!

Шофер посмотрел недоверчиво, будто ослышался.

— Дай, говорю!

Шофер, помедлив, все еще не веря, подал домбру. Баскарма осторожно дотронулся до струн, тихо отозвавшихся, слегка поправил нижние лады, подкрутил колки — и неожиданно мягко, как-то ласково, свесив голову на грудь, прошелся по струнам всей пятерней. И маленькая домбра под его большими узловатыми пальцами вздрогнула, очнулась, точно обрела голос. Все вокруг сразу притихли. А домбрист, смущенный тем, что неожиданно обратил на себя внимание, опустил глаза и не хлестал по струнам, а точно оглаживал их кончиками припухлых сильных пальцев, и домбра под ними млела вся, пела послушно, с легкой и печальной дрожью, будто рассказывала что. И лилась все дальше светло-грустная, как нескончаемый ручеек, мелодия, задевая своей дрожью сердца, размягчая лица тоской по родному, волнуя и завораживая рыбаков.

Бывало, искушенный домбрист, видя, как благоговейно его слушают, и сам весь встрепенется, подхваченный собственным вдохновением, и глазами начнет играть и ерзать. А этот вроде сам себя стеснялся, прятал глаза, склоняясь все ниже и ниже над маленькой, словно игрушечной, домброй, и странно было видеть сейчас рослого, крепко сколоченного детину скрюченным, согнутым в три погибели над какой-то своей, никому не ведомой темной печалью. Уж не плакал ли он вместе со своей неутешной домброй? Не звал ли невозвратного?.. А она все изливала чью-то скорбь, заходилась в неизбывной тоске, томила и бередила заунывными звуками душу; и когда, казалось, готова уже была надорваться сама и разорвать сердца, домбрист вдруг выпрямился, вскинул голову, ни на кого не глядя, и отрешенно уставился в потолок. И слушатели, перехватив этот взгляд, затаили дыхание и невидящими глазами посмотрели туда, на закопченный камышитовый потолок, на косо-криво, кое-как набросанные жерди. И корявые, как сучья, пальцы, больше привыкшие к веслам, к пешне, к багру, к снастям, несколько раз кряду сильно и нежно ударили по струнам, извлекая вдруг высокий и пронзительный звук, и враз застыли, замерли. И стало тихо-тихо...

— Ай, родной... Ай, молодец! Апырай... Выходит, ты и на такое способен?.. — растроганно пробормотал, опомнившись первым, старый Кошен.

— А ты разве что-нибудь вокруг замечаешь? Только и умеешь, как сорока у помойной ямы, над ухом трещать...

— Заткнись! Заткнись, негодник! Если я и ворчу, то как отец на своих детей. К чужим разве придираюсь?!

— Вон оно как! Значит, ты, что черный кобель, только своих щенков кусаешь?!

Упрямому Кошену это было явно не по душе, но он только досадливо отмахнулся от рыбака, осмелившегося ему дерзить:

— Что ты понимаешь... Но надо же, а? С душой человек! Сердце ты мне вынул, Жадигержан. Порадовал! Дай бог тебе здоровья и удачи!..

В хибаре, будто обретя дар речи, заговорили наперебой, шумно и восторженно, кто хвалил, кто благодарил баскарму. А он, еще больше смущаясь и оттого хмурясь, поспешно прислонил домбру к стенке, встал

и как-то неловко, боком, но стремительно подался к выходу. Рыбаки учтиво расступились, давая дорогу.

— Пошли, — кивнул он на ходу шоферу, а как только они вышли, коротко бросил: — Все, заводи машину! Поехали!

Старый грузовичок, однако, завелся не сразу. Баскарма, забравшись в кабину, нетерпеливо ждал. А рыбаки не догадывались, знать не знали о его внезапном отъезде, в камышовой хижине стоял всесветный гомон — все одобряли, кто-то даже по коленкам хлопнул:

— Вот это да! Удивил, дьявол!..

— Он ведь весь в отца, а у того под рукой любая деревяшка пела. Только не кичился божьим даром, все утаивал, не как другие. Молчуны они — что отец, что сын.

— Это так, тут ничего не скажешь. Нашел — молчит, и потерял — молчит...

Но вот мотор дернулся, взревел. И старая, с подбитым теперь носом машина тоже, как всегда, зашлась крупной дрожью. Тронулась, все еще чихая и кашляя, переваливаясь с боку на бок на колдобинах. И лишь когда выбрался на большак, грузовик разогрелся, побежал-помчался, лихо вздымая за собой и оставляя позади тучу рыжеватой степной пыли, медленно относимой ветром. И уже остались позади и устье Сырдарьи, и город Аральск, и прибрежное бурое плато Тастубек, и некогда славившееся богатыми уловами, а ныне высохшее озеро Шомишколь. Уже миновали развалины дома над крутояром, где в давнее доброе время безмятежно жили молчаливый рыбак с молодой женой. И уже, замирая, чуяло сердце сладкую горечь родимого очага — там, совсем недалеко, за какими-нибудь двумя-тремя перевалами впереди...

— Жми, дружище, жми!

— М-ма-мент!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Когда пыльный грузовик поравнялся с большим домом в центре аула, председатель, не дожидаясь, пока остановится машина, спрыгнул на ходу. Шофер, высунувшись из кабины, что-то прокричал было вдогонку, но он не расслышал, торопливо вбежал в дом. Переступая через порог, споткнулся. В прихожей было сумрачно. Замешкался, поморгал, привыкая к темноте, всей грудью вдыхая родной домашний запах, и тут увидел жену и дочку. Накатила радость, ласково стиснула сердце.

— Эй-эй... Куда, куда вы удалились? — брякнул дурашливо невесть откуда пришедшую вдруг на ум стихотворную строчку.

Бакизат продолжала одевать дочурку. А он топтался у порога, глядя на них, широко и, наверное, глупо улыбался, обнажая крупные зубы; потом сорвал с плеча, небрежно бросил в угол мешавший тощий дорожный мешок. Туда же швырнул ушанку.

— Эй, да что с вами? Не узнаете разве меня?

— Вижу: больно веселый...

— Да, Батиш, веселый... веселый я нынче!

Она взяла за руку прильнувшую к ней, во все глаза глядевшую на отца дочку и направилась к выходу.

— Да вы что?.. Куда вы?!

— Ребенок — на занятия, я — на работу.

— Не пущу!

— Свихнулся, что ли?

— Верно, свихнулся. Аллах свидетель, свихнулся! О-о-о... — он закатил глаза, сделал страшную рожу и поймал в объятия вмиг растерянно прижавшихся друг к дружке жену и дочку. От него, от всего его громоздкого тела и заскорузлой одежды шибал густой смешанный запах пота, рыбьей слизи, сопревших сетей, воды и земли, холодного осеннего солнца, незнакомых им трав. Батиш отшатнулась, больше всего опасаясь испачкаться, и брезгливо прикрыла нос, отводя голову то в одну, то в другую сторону. Опрятная, такая чис-

тенькая всегда дочка тоже сморщила носик, увернулась, выскользнула прямо из-под отцовских рук, присев на корточки и прижав портфель к груди.

— Не дури! Пусти ребенка,— глухо сказала Бакизат. Но он, с головой захлестнутый пьяной радостью встречи, не хотел слышать ее, мало того, даже не стал думать, и невдомек было ему сейчас, что там в его поступках выходит уместно или неуместно. И все еще порывался обнять, поцеловать жену.

— Оставь нас, ради бога. Перестань!

Ну ладно... Не буду, не буду... Только не уходите, прошу.

— Видно, загулял там.

— Да, Батиш, загулял. Ой, как загулял...

— Знаем... Сырдарьинцев хлебом не корми, дай только повеселиться.

— Да уж... от души навеселились. Каждый день пир, гульба, пьянка...— Жадигер осекся. Тут он заметил, как дочка, поджав губки, на цыпочках пробирается к выходу. Сделав еще шаг, она упорхнула бы птахой, но отец, подскочив, поймал ее у самой двери.

— Ну, па-ап... перестань баловаться. Пус-ти!

На том берегу Арала в рыбачьей хибаре истосковавшемуся отцу эта маленькая строгая дочка снилась часто. Не раз он во сне прижимал ее к груди. Но сейчас, при встрече, отчего-то не осмелился даже обнять, приласкать ее. Его поразило и то, что волосы крохотной девочки расчесаны точь-в-точь как у матери — аккуратно, гладко и отливали смоляным блеском. На головке ослепительно белел воздушный бантик. Поверх тщательно отглаженной школьной формы такой же белый и воздушный фартук. И вся она, опрятненькая и чистенькая, казалась легонькой, воздушной. Будто не девочка, не плоть от плоти его дитя, а снятая только что с витрины разряженная куколка. Постой!.. Точно такую куколку со вздернутым носиком, таким бантиком, фартуком он где-то видел. Только где?

— Ну, па-ап... Ну оставь меня!

— Родненькая моя. Доченька... Цыпленочок ты мой.

— Пусти, па-ап, опаздываю.

— Ах ты, ученица моя прилежная... Ладно-ладно, отпущу... не сердись, птенчик мой... Ты разве не в первую смену учишься?

— Это, папа, в прошлом году было, когда я в первом классе училась.

— Ах да... ведь нынче ты уже во втором.

— Конечно, во втором, а ты разве не знаешь?

— Что он, кроме рыбы, знает? Иди, доченька... Опаздываешь.

Дочка, повторяя мамину досаду, дернула острым плечиком, все еще норовя вырваться из рук отца.

— Ну, па-а-па... — взмолилась дочка. И недовольно отвернулась, съежилась, прижав к себе портфельчик. Отчего-то жалость пронзила сердце. Он сам распахнул перед дочкой дверь, вышел вместе. Обрадованная, она выпорхнула из рук, точно птенец из гнезда. Добежала до угла дома, на мгновение оглянулась назад, на него, застывшего у порога, сутулого, заросшего щетиной мужчину с грустными от усталости глазами. И он сразу рассиял лицом: «Птенчик мой! Доченька родненькая...» В глазах защипало, в горле застрял сладостный комок. Смущенный своим странным состоянием, сам не свой, побрел назад, в дом. Бакизат собиралась выходить. Он, раскинув руки, встал у двери, преградил ей путь.

— С тобой сегодня, гляжу, никакого сладу нет.

— Ни лада, ни склада от нас не жди. Как только еще не рехнулись там...

Она впервые оглядела мужа, запущенного, будто чем подавленного.

— Что же не остался там зимовать? Выходит, не совсем еще забыл дорогу к дому...

— Батиш, прости... Не мог бросить людей...

— А как нас оставлять, так душа не болит...

— Ну, дорогая, что с тобой? И так тошно, а ты еще...

— А нам, думаешь, легко?

— Знаю: нелегко. Зато знаешь, Батиш, с удачей на этот раз вернулись. Богатый был улов!

— Поздравляю! Рыба есть — зачем тебе жена, дети?!

Он потупился, потемнел лицом. Потом сказал осевшим голосом:

— Что ты, Батиш! Уж кто-кто, а ты-то должна бы знать участь рыбаков. Какая у них, бедолаг, сейчас жизнь?

— Сочувствую. Только я тут при чем?

— Конечно, ты ни при чем... Но хотя бы войди в их положение...

— Ну, хорошо. Допустим, вошла. Ну и что?

— Тогда и меня поймешь. И... простишь.

— Больше ничего не скажешь?

А что тут скажешь? Уж и так все выложил как есть, и только еще неизвестно, что из всего этого дошло, а что не дошло до нее.

— Бакизат, постой, пожалуйста. Что ты в самом деле... Куда спешишь?

— Дело, значит...

— Останься, Батиш, прошу...

— А работа? Что я скажу директору? Ученикам? Что муженек приподжаловал наконец?..

Держалась она спокойно, но по лицу было видно, что напряженно думала о чем-то совсем другом, и при этом то и дело нетерпеливо косилась на стенные часы в прихожей.

— Уезжать, наверное, никуда не собираешься? Может... попозже и поговорим?

Он пристально посмотрел на жену, старательно отводившую почему-то глаза.

— Сегодня у меня напряженный день. Поздно приду. А ты поставь себе чай. Сготовь там что-нибудь.

Бакизат, метнув взор в зеркало, мгновенно оглядела себя с ног до головы. Куда торопится? Может, она все это назло делает? Но ты ведь не чувствовал за собой вины; вины вроде нет, а ощущение виноватости все же есть. Тем более, коли за время супружеской жизни не приучил ее к повиновению, то повинуйся сам. Чего стал? Кайся, проси у нее прощения.

— Батиш, родная...

Бакизат опять посмотрела на часы. «Куда она все же спешит?» Ты несмело коснулся ее плеча. Она, вопреки ожиданию, не стряхнула с плеча твою руку. И даже, когда ты притянул ее к себе, она не сопротивлялась, наоборот, покорно прильнула к тебе, как бы отдаваясь воле мужа. Тут и к тебе вернулось спокойствие и уверенность. Что ж... все складывается как нельзя лучше. С дочкой свиделся. С женой поладил. Вот она, истосковавшаяся по мужчине в доме, наконец-то дождалась бродягу, скитальца-мужа, безропотно замерла, вся притихшая и покорная. И ты, неуклюже склоняясь над ней, дотянулся было до ее губ — и тут взгляд твой невзначай уткнулся в зеркало. И там кто-то грубый, обметанный щетиной, неуклюже склонился над молодой женщиной, бесстрастно и отчужденно

подставившей свое потухшее лицо, покорившейся супружеской доле... И, едва коснувшись губами ее губ, ты резко отстранился. Ты не знал, заметила это Бакизат или нет. Только видел, как она мгновенно взяла себя в руки. Затем слышал ее вроде бы обрадованные и поспешно брошенные слова: «Ну и хорошо... потом поговорим, ладно?» Еще слышал звук стремительно удаляющихся ее шагов. Очнулся лишь тогда, когда она, хлопнув дверью, вышла. И только теперь ощутил, как вымотался за эту поездку. Не проходя дальше, обессиленно опустился на что-то в прихожей и обеими руками обхватил голову. И зажмурился, застонал, как от боли, и стонал, поскуливая по-собачьи, не подавляя, не обрывая звука, рвавшегося из груди. В тихом, безлюдном доме этот стон был, наверное, диким. Ты чувствовал, как в тебе нарастает отчуждение, проскальзывает какой-то холодок к семье, к собственному очагу. Будь твоя воля, ты оставался бы там, среди рыбаков, разделял бы с ними все мытарства и невзгоды. Пусть им никогда не было сладко, зимой и летом мыкаются вдали от дома, от семьи, пусть нередко уезжают к дальним озерам Байтак, Балхаш и даже на Ала-Куль у самой границы с Китаем, и все же как бы там ни было — у них была работа. Пусть и там, в тех далеких озерах, куда забрасывала всегда их немилостивая судьба, не могли они похвалиться богатым уловом, удачей, крепкие, как на подбор, выносливые мужчины, вооружась неисчерпаемым терпением, неизбывной надеждой, вставали изо дня в день спозаранок, одевались на ходу, заморив второпях червячка, невзирая на все беды-напасти, не ропща на проклятую рыбацкую долю, с упорством вновь и вновь отправлялись в море. И ты тоже вместе с ними. Вместе с ними не оставлял надежды. Вместе с ними уповал на удачу. И это вроде бы придавало твоей жизни извечный, надежный смысл.

Вот, приехал в аул... но почему предчувствие желанной удачи и надежды — все, что стало смыслом твоей жизни,— тотчас меркнет, гаснет? Выйдешь на улицу — непременно сталкиваешься с молодыми парнями, которые, сомлев от безделья, слоняются как неприкаянные по аулу. Глядя на них, обливаешься ты внезапно краской стыда, будто не кто другой, а ты, председатель, виноват в этом их бессмысленном прозябанье.

Так и сидел ты с закрытыми глазами, покачиваясь из стороны в сторону, все сильнее стискивал руками раскалывающуюся голову. Упругими толчками пульсировала, билась, точно пойманная, жилка под пальцами. Вспомнил вдруг мать. Видно, нет ее в доме. Ах, как нестерпимо разболелась голова! Окажись ты сейчас там, на том стылом берегу моря, в той облупившейся рыбачьей хибаре,— рухнул бы, не раздумывая, прямо на пол, забылся бы в крепком сне. Живя у рыбаков, ты спал где придется, как придется, не заботясь о том, кто спит рядом, и не помнил, что совал под голову и чем укрывался. Вырабатывался так, что уже за ужином тебя неудержимо клонило в сон. И тогда, не дожидаясь, пока свернут дастархан, засыпал ты, бывало, прямо на месте. Недосуг было тебе думать о том, чтобы изголовье было высоким, подстилка мягкой, а одеяло теплым. Проведя, считай, половину отпущенного тебе зимнего срока среди рыбаков, и сам рыбак, привыкший к непритязательной скитальческой жизни вдали от семьи и дома, ты с удовольствием растянулся бы сейчас вот здесь, в прихожей на полу. Взгляд твой упал на гладкий, вылизанный и выдраенный пол, горькая усмешка невольно покривила твои губы.

— Эй, сын мой...

Дрожь пробежала по спине. Ты рванулся к сухонькой смуглой старушке, неслышно вошедшей в дом, старческими шажками приблизившейся к тебе, и обнял ее. И старая мать, точно старая верблюдица, истосковавшаяся по своему непутевому верблюжонку, на миг обмякла от нахлынувшей нежности:

— Когда приехал?

— Только что, апа...

— А я с утра в хлеву вожусь. Бурая верблюдица совсем от рук отбилась. Беда, сосцы затвердели. Коекак нацедила, чай забелить... Ну, рассказывай, все вернулись?

— Нет... я один, другие на днях вернутся.

— Как бездомные, бедняги. Одичали небось?.. Да и ты похож на чучело. Сегодня банный день. Сходи, отмойся.

— Апа-а...— невольно вырвалось у тебя, и ты порывисто, как в детстве, прижался к груди маленькой старушки. Но она сразу посуровела лицом, резко оттолкнула тебя:

— Не смей! Такой верзила, а льнешь к матери, как

сосунок. Или хочешь, чтобы вместе с тобой и я нюни распустила?!

— Ну, прости... апа.

— Прощаю, конечно. Ты у меня ведь один. Дал бы бог хотя бы двоих — я еще, может, выбрала бы лучшего.

Ты не стал ей перечить, только по-ребячьи радостно посмеивался.

— У, негодный! Надо же, весь в отца пошел. Бывало, чуть солнышко припечет, он тоже, бедняжка, все норовил спрятать голову в мою бабью тень...

В те тяжелые годы, когда мужчины, все как один встав под ружье, воевали там, на западе, не эта ли худенькая старушка взвалила на свои несильные женские плечи непомерную тяжесть военного тыла? Не она ли четыре долгих года рыбачила, вкалывала по-мужицки, мыкалась с одними бабами да детьми, зиму и лето напролет пропадая в море? Однажды, в лютую зиму сорок второго, ее даже унесло на льдине в открытое море. Тогда ты был еще сосунком, но помнишь, как люди всего правого побережья переживали и тревожились за нее, как утром следующего дня гонимая черной неистовой бурей Приаралья льдина прибилась наконец к острову Барса-Кельмес и ее нашли там всю обмороженную, едва живую... Ты знал еще много преданий и легенд о ее смелых предках. Если верить этим поныне ходящим из уст в уста преданиям, то некогда джигиты в роду матери — Тлеу-Кабак отличались редким бесстрашием, а девушки — особой гордостью степнячек. Говорят, они в боях не уступали в храбрости даже самым отчаянным джигитам. По преданию, прабабушка матери была будто наделена недюжинной силой. Ей будто ничего не стоило без чьей-либо помощи, половчее ухватившись за хвост или за ноги, вытащить какого-нибудь телка, упавшего в колодец. После того как она пала в бою, защищая кочевье, благодарные потомки сложили о ее подвиге немало песен и легенд. Мать в вечерних сумерках, когда в доме не было посторонних, бывало, сидя у жаркого очага, пела в полный голос о подвиге прабабушки. Ты в детстве знал наизусть этот сказ. Он начинался с того, что зима в том неладном году выпала суровая, скот отощал и обессилел, и тогда джигиты славного рода Тлеу-Кабак, пораньше сняв аул с зимовья, направили свой путь с голодного побережья на просторы

джайляу. Еще не совсем сошли снега. Еще притаились, по-зимнему белея в оврагах, осевшие холодные сугробы. И тяжело тащились верблюды, увязая в грязи, надсадно сопя, когда сбоку из засады с гиком наскочил подстерегающий их враг... Дальше песня гордо восхваляла прабабушку матери, расписывая ее богом данную красу, обаяние и храбрость; пусть имя ее и святая память о ней не потускнеют в жизни потомков! Она в тот роковой час будто ехала во главе кочевья на беломордой пышношерстной верблюдице и кормила грудью месячного младенца. Протяжно и скорбно лились горестные строки песни, чем дальше, тем больше щемя и раня сердца слушателей, будто камчой хлестали по самым уязвимым, незащищенным местам их сострадательных душ, не давая забыть о тернистых путях предков... И вот увидела прабабушка матери, что силы сражающихся неравны, что враг теснит и теснит застигнутую врасплох горсточку джигитов рыбачьего аула, и еще увидела она, как в этот бедственный час, наспех вооружившись чем попало, на подмогу братьям и мужьям бесстрашно ринулись в бой девушки и женщины славного рода Тлеу-Кабак. И тут прабабушка матери будто, отняв ребенка от груди, торопливо сунула его какой-то старушке. И быстро, кое-как уложив толстые косы, торопливо надев мужскую шапку, подпоясав веревкой чапан, она, как пелось, стремительно вскочила на неоседланного коня и, вырвав из рук какого-то мужчины, трусливо кинувшегося с поля боя, крепкий джидовый кол, неустрашимо вступила в бой. И в этой отчаянной схватке, где она билась разъяренной львицей, с каждым ее ударом валился с коня разбойник-удалец, с каждым ее ударом захлебывался кровью враг... Но вот в горячке схватки будто распустились и упали вдруг на плечи ее тяжелые косы, впопыхах спрятанные под поярковую шапку. И враги, говорят, чуть не задохнулись от злобы и срама, узнав в этом ладно скроенном и рослом светлолицем юном батыре с джидовым колом молодую женщину. И, взъярившись, два батыра-разбойника бросились, говорят, одновременно на нее. И два отточенных разбойничьих копья одновременно вонзились в материнскую кормящую грудь храброй воительницы, да будет священно ее имя во веки веков!.. Что ж, может, и в самом деле это правда. Наверняка правда. И эта согбенная немощная старушка, которая сейчас укоризнен-

но смотрит, недовольная своим единственным сыном, тоже немало ведь унаследовала от гордых девушек из ее храброго рода Тлеу-Кабак. Только бедняжка нынче уже не та, что прежде, и гордость ее состарилась, стала помягче, отходчивей.

— Ну, как ты тут, апа?

— Что я... Сижу вот в четырех стенах...

— Как твое здоровье?

— Видно, бог еще не сотворил такого недуга, чтобы твоя мать околела. Ты что, один дома? — старуха строго посмотрела на тебя. Ты смутился, не находя ответа, и мать, видимо, все поняла.— Вот до чего вознесло бабу. Ты что, не мог ей приказать?

— У нее там... в школе занятия.

— «Занати»! Слово-то какое! Занати женщины не там, а тут, у очага. Ее богом данная обязанность — ухаживать за мужем, ублажать его.

— Ну, апа... ладно...

— Сами виноваты. Бога отвергли. Священных духов забвению предали. Обычаи предков растоптали. Шумели-галдели на каждом углу: свободу женщине, равноправие... Вот и дождались: долгополое бабье мигом вам на шею село.

— Не видел я что-то, чтобы казашке худо было от равноправия.

— Молчи уж! Вот и сидишь тут из-за бабьего равноправия, как одинокий пень. Жди теперь, пока твоя равноправная вернется с ушетельского собрания.

С треском распахнулась дверь, и с улицы влетел, споткнувшись о порог, как всегда суетливый, чем-то возбужденный сын. Увидев отца, мальчик рассиял, запрыгал: «Папа!..» Бедное ущербное дитя с радостным визгом повисло у тебя на шее, задрыгало длинными ногами, что-то залопотало, отрывисто смеясь и целуя отца.

— Ах, птенчик ты мой!.. Сыночек! — дрогнувшим от жалости голосом проговорил ты, лаская голенастого, не по возрасту рослого сынишку, залившегося бессмысленным смехом в твоих объятиях. Каждый раз, даже невзначай коснувшись этого непоправимого родительского горя, душа ныла, как больной зуб, корчилась, вся сжималась от боли, от необъяснимой вины. И каждый раз чувствовал ты себя подбитым этой виной и бессильным что-либо поправить в жизни.

— Хватит, мой мальчик. Видишь, отец с дороги устал. Пусть отдохнет. Пойдем...

Пока мать готовила чай, ты сходил в баню. Помылся, нырнул разок в парную и почувствовал, как стало легко. Возвращаясь из бани, ты вдруг ни с того ни с сего вспомнил о неожиданной вести Сары-Шаи и застыл посреди улицы. Завывал ветер, мела по ногам пыльная поземка. Ты замер в неясной тревожной догадке, и губы сами пробормотали вслух: «Ну, пусть... Пусть приезжает!» Однако тотчас спохватился — не увидел ли тебя кто-нибудь в нелепом состоянии? Исподлобья, незаметно повел вокруг глазами. Рассеянный взгляд наткнулся на заброшенные, частью уже порушенные непогодой дома по обе стороны улицы. Поспешно опустил глаза, побрел, подавленный, домой. Каждый разрушенный или покинутый дом живо напоминал тебе бывших хозяев, бывшую жизнь. И ты, идя по улице, старался не глядеть по сторонам, не бередить зря душу. В тридцатые годы, когда тебя, будущего баскармы, еще и в помине не было, по всему побережью Арала спешно организовывались рыболовецкие колхозы. И тогда вот тут, у подножья Бел-Арана, впервые запестрели белые, точно чайки на берегу, аккуратные домики рыбачьего поселка. Тогда же построили школу, клуб, магазин, баню, правление. И в душах недавних кочевников поселились спокойствие и радость. А теперь... Взгляд опять упал на останки домов по ту сторону улицы. Ты точно знал, сколько их было: двадцать пять домов. Двадцать пять семей были потомками одного предка, и, когда на этом месте закладывали поселок, двадцать пять рыбаков-сородичей поставили свои дома один к одному, заняв почти половину улицы. Незадолго до этой твоей поездки к тоням Сырдарьи так же дружно, в один день, покинули они родной край. И не заколачивали, как другие, домов, а, собрав матицы, двери, рамы, косяки — все, что могло пригодиться в будущем на незнакомом новом месте, увозили с собой.

Ты шел, уже совсем не глядя, чуть не на ощупь. Зажмуриться бы так, чтобы вообще вокруг себя ничего не видеть. Только что из того, если проклятая память бодрствует помимо твоей воли? В тот день ни один рыбак не вышел в море. Дети не пошли в школу. Ни в одном доме не горел огонь в очаге. С раннего утра все высыпали на улицу. Женщины весь день бестол-

ково, потерянно суетились, столько лет жили бок о бок, делились всем, и вот пришла пора им расставаться. И они горестно глядели друг на дружку, не в силах вымолвить словечка, кто вздыхая, кто с трудом подавляя рыдания, прикладывая снова и снова к покрасневшим глазам кончики жаулыков. Остающаяся печальница подсаживалась к уезжающей горемыке — и сношеньки-подружки, прижавшись боком друг к другу, поминутно соприкасаясь белыми жаулыками, согласно заводили свои женские тревоги и печали. Среди суматохи сборов, забыв обо всем на свете, торопились высказать, что не успели, поминутно подталкивая друг друга: «Слышишь, девка», или: «А помнишь, молодуха!..» И продолжалась горестная беседа до тех пор, пока кончики их платков не становились мокрыми от слез. И неизвестно, сколько бы еще сидели так неразлучницы, если бы не выводил их из забытья чей-нибудь грубый мужской окрик. Тогда, спохватившись, вставали они суетливо, с трудом расправляя застуженную во время последних родов поясницу, семенили на помощь в общую сутолоку.

Зато для детей это если не праздник, то не испытанное еще развлечение. Всеобщая суматоха, суета, еще вчера до дна всколыхнувшая их аул, вся эта возня с отъездом и проводами воспринималась ими прежде всего как знак великих перемен, чего так жаждет всегда падкая на острые ощущения детская душа. Лишь потом, много-много лет спустя, будут они тосковать по синей прибрежной родине, по голоногим сверстникам, с которыми шумной ватагой носились по пыльным улицам рыбачьего аула, весь день пропадали на берегу моря, до одури барахтались в соленых волнах. Потом, уже с нежной грустью, будут вспоминать они черноглазую девчонку из соседнего двора, которую иной раз, бывало, доводили до слез, дергая за косички. Но это будет потом. А пока они, точно угорелые, с горящими от возбуждения глазами, снуют, шныряют в толпе, что-то кричат, резвятся попусту, им все это интересно, диковинно, до всего есть дело.

В эти дни и ты не знал покоя. Хлопоты предстоящего отъезда двадцати пяти семей и тебя захватили. В спешке и суете помогал, подсоблял им всем, чем только мог. Особенно последними днями, мотаясь на раздрызганном грузовике, как говорится, по верховьям и низовьям приморья. С превеликим трудом выпросил

у газовиков Бухары и у директора соседнего коневодческого совхоза двадцать пять машин. Вон они теперь стоят, готовые в путь, перед двадцатью пятью домами.

Ты знал, что в таких случаях как для уезжающих, так и для провожающих самый трудный и тягостный момент — момент расставания. Долгое расставание — лишние слезы, и потому в день отъезда из кожи вон лез, старался, хлопотал, бегал, вовлекая аульчан в дело, чтобы не растравлять их души. Помнится, в тот день встал спозаранок, собрал крепких мужчин аула, разделил их на две группы. Одна во главе с Упрямым Кошеном помогала укладывать вещи, упаковывать тюки, другая, руководимая Рыжим Иваном, — выносила на улицу домашний скарб и грузила в машины.

— Живей! Быстрей! — поторапливал ты всех, кто работал; то и дело, засучив рукава, помогал то одним, то другим при погрузке тяжелых тюков. В самом деле, аульчане, увлеченные спешным, горячим делом, не думали о горестях предстоящей разлуки. И тут вдруг за спиной раздался взрыв смеха, отчего ты вздрогнул. Оглянувшись, увидел проходившую мимо развязную ватагу аульных парней: «Ребята, он, оказывается, джигит. Ночку провел со своей... в капитанской каюте того старого катера, выброшенного на берег. Распечатал, значит, отъезжающую невесту. Ха-ха-ха!»

К твоему удивлению, у них на лицах не было ни тени смущения. Скорее, в веселом и дерзком поведении парней чувствовался вроде как вызов всему понурому, пришибленному, тому, что царило нынче с утра в ауле. Не обращая ни на кого внимания, парни прошли мимо вас, похохатывая, подтрунивая друг над другом:

— Небось, как верблюжонок, потрусишь теперь за ней, а?

Молодежь обступила младшего сынка старика адайца, а тот, такой же, как отец, крепко скроенный и добродушный увалень, в ответ ухмыльнулся:

— А что? Возьму да укачу. Чего я здесь не видел? И вам советую. Помните тех, кто с Сырдарьи уехал? Говорят, неплохо устроились...

Да, три года назад полсотни семей стронулись с отчего места, стронулись дружно, по уговору и согласию между собой, и обосновались целым аулом где-то под Алма-Атой, на берегу Или. Как-то, будучи в столице,

ты завернул посмотреть. Получив от государства ссуду, они по приезде построили себе дома, с отоплением и газом, с приусадебными участками. Предприимчивые поморы в приилийских озерах-старицах вовсю начали разводить рыбу и ловить ее, как и прежде у себя на Арале, все вроде у них сложилось крепко и ладно. Видел ты тогда же, как спешно строился рыбозавод с новым оборудованием.

— Жадигержан,— наклоняясь к твоему уху, сказал Рыжий Иван,— все готовы, можно трогаться!

Как бы тихо он ни сказал, а чей-то чуткий слух услышал и тут же шепотом передал кому-то, а там еще дальше. И этого было достаточно, чтобы люди вдруг всполошились. Какая-то пожилая баба кинулась обнимать первую попавшуюся из уезжающих.

— О-о... увидимся ли мы еще когда-нибудь?!

И другие женщины бросились друг к другу в объятия, запричитали в голос. Ты рванулся было к ним, чтобы унять, прекратить этот бабий вой, но Кошен схватил тебя за локоть:

— Ладно, пусть... От слез бабам легче станет.

Но вскоре ты пожалел, что послушался его. Плач усиливался. Тут еще вынырнул откуда-то Сары-Шая, пошатываясь как хмельной, принялся обнимать всех подряд, и женщин и мужчин, да еще при этом приговаривал: «Плачьте, люди, плачьте!» Ты скрипнул зубами. «Вот старец! Вот гад!» И детвора, только что бездумно резвившаяся, мигом притихла, недоуменно и растерянно оглядывала то причитающих матерей, то опустивших головы отцов, то тихо всхлипывающих старших сестер. Даже псы рыбачьего аула, отродясь не видавшие подобного, потерянно смотрели на людей преданными, полными муки глазами, жались к ногам своих хозяев, потом отползли в сторонку и, задрав морды, подвывали, поскуливали, усугубляли всеобщую суматоху и тоску.

— Прекратите! Перестаньте же вы! — заорал ты, не помня себя.

Но разошедшиеся уже женщины не унимались. С тех пор как начало мелеть море, уезжали из аула по одной, по две-три семьи, и все это проходило как-то незаметно. Сейчас, когда сразу снялись двадцать пять, покидая навеки родной край, стало всем не по себе. И ты тогда, видя, что не унять этого безумия, реши-

тельно пошел к шоферам, издалека гневно рявкнул:

— Чего стоите как истуканы?! А ну, заводи, трогай! Трогайте, вам говорю!.. Живей! Живей!

Один за другим взревели двадцать пять моторов. Первым двинулся грузовик, на котором посреди тюков отрешенно восседал белобородый старец. За ним, переваливаясь, выруливая на дорогу, медленно потянулись гуськом остальные. Люди, будто привязанные невидимыми нитями к этим машинам, бросились вдогонку. Первым поднявшись на выжженный солнцем бурый бугор за аулом, грузовик с белобородым стариком в кузове остановился. Остановились и остальные машины. И тут люди — провожающие и уезжающие — с воплями снова кинулись друг к другу, смешались. Унять, остановить их было невозможно. И в это время откуда-то сбоку взмыл к небу сильный женский голос... С тех пор без малого два месяца прошло, но тот пронзительный женский голос до сих пор звучит в ушах. И каждый раз живо вспоминается она, эта белоликая, еще не увядшая женщина. Помнится, ты на ее свадьбе всю ночь веселился вместе с аульной молодежью. Говорили, что один из ее предков был вдохновенным сказителем-жырау, прославившимся в приречье Сырдарьи. Однако, молодой снохой вступив в рыбачий аул, она держалась скромно, всецело предаваясь заботам семьи. И только день разлуки, видно, разбудил в ней в предзакатный час дух славного предка-песнопевца. Она стояла в кузове, вся обратившись лицом к оставшемуся позади рыбачьему поселку. Необыкновенной силы и звучности голос взвился над бурым бугром. Толпа вздрогнула и затихла. И ты замер. «Этого еще не хватало! — с возмущением подумал ты, злясь и досадуя на белоликую женщину.— Ах, дура! Вот дура! Зачем все это?!»

Та Белоликая, все оглядываясь тоскливыми глазами на оставшийся позади рыбачий поселок, завела речитативом: «В благословенный час прибыла я снохой в аул славных поморцев; как правоверная невестка, тогда правой ногой переступила порог священной обители свекра и свекрови. Разве не с добрыми пожеланиями на устах, не со светлой надеждой в душе приникла я в благословенную ночь к груди своего избранника? Разве не почитала старших, не уважала младших, не ублажала мужа, не радовалась детям, зачатым в любви? Так скажите, люди добрые, как

решилась я бросить с такой любовью ухоженный очаг семьи?»

Дыхание ее все ширилось, голос набирал силу. Пела она свободно, и ритуальные слова, выпетые ею в час разлуки, исторгались как бы сами собой, рождаясь где-то там, в глубине души, полные затаенного значения и силы. И, как некогда, должно быть, степнячки-прародительницы, она покачивалась в такт песне взад-вперед, будто преодолевая этим старинным ритуальным движением сдавившую ее грудь тоску, которая невольно передавалась и тем, кто внимал ей всем сердцем сейчас на прощальном бугре за аулом.

— Ну, как тебе бабий концерт?

Цыц, безбожники! Где видано, чтобы над слезами смеялись?

— Виноват, папаша! Ладно... пошли, ребята.

— Подожди! Послушаем народный талант.

— Ах, зубоскалы, охальники! Ни стыда ни совести.

Между тем нарядно одетая и видная собою белоликая женщина приосанилась, упираясь обеими руками в широкий, туго затянутый под самую грудь алый пояс поверх плюшевого камзола, обратилась к людям. Голос ее крепчал, становился теперь выше и властней, особенно тогда, в том месте, где сымпровизированная ею в традиционном народном духе песня-прощание перекликалась, как бы невзначай сливаясь, со старинной песней, воспевающей могущественный род поморцев. «О Тлеу Кабак мой, Тлеу-Кабак! Край, где радостной песни не спеть я не мог! Я о нем лишь пою, все ему отдаю, дай нам счастье, создатель, хотя б с ноготок!»

Люди, слушая ее, казалось, цепенели, лишь губы у них шептали: «Дай нам счастья, создатель, хотя б с ноготок! С ноготок!» У многих вздрагивали плечи. Как ты ни крепился, но от песни, восславляющей могучий род Тлеу-Кабак, перехватывало у тебя горло, будто в самом деле не хватало воздуха. Ты злился теперь не столько на ту женщину, сколько на самого себя и, резко шагнув, выкрикнул:

Довольно!.. Уймись же!..

Услышала белоликая твой окрик или нет, ты не знал, но только в одно мгновение она неожиданно и поразительно быстро преобразилась. Преобразился мгновенно и ее голос, став тягучим, уверенным, убежденным в какой-то только ей одной ведомой правоте. Она пела: «Вам, о родные места, говорю в этот миг: прощайте!

Море родное, чаек пронзительный крик, прощайте! Ветер в пойме зеленой, и ты, прозрачный родник, прощайте! Все, к чему взор с колыбели привык, прощайте!» И далее белоликая женщина, точно разом стряхнув с себя все горести-печали, распрямившись и рассияв лицом, звучным, сильным голосом запела о том, что нет, о нет, люди добрые, не на чужбину беспросветную они едут, не беде лихой, не горю горькому навстречу, а туда, где живут и трудятся такие же, как и они, люди, и там, в том новом краю, где обоснуются двадцать пять семей, отпрыски-отростки славного пращура Тлеу-Кабака, их ждут такая же земля, такие же солнце и небо, и звезды, и весны, такая же терпкая полынь в степи, и на той земле, дай срок, бабы народят детей, и капнет кровь от пуповины новых потомков, вырастет новое поколение, для которого не будет в подлунном мире более родного, дорогого и счастливого края...

Так пела белоликая женщина, пела гордо и свободно, упиваясь властью своего голоса и проникновенных слов, и песня ее приносила понурившимся людям утешение и внушала надежду. «Ай да сноха! Умница ты моя!» — растроганно подумал ты. И тебе стало сразу легче.

Да-а... почти два месяца прошло с тех пор. За время, что провел у рыбаков на присырдарьинских тонях, из поселка у побережья Бел-Арана уехали одна за другой еще пять семей. Всякий раз, возвращаясь в аул, ты недосчитывался нескольких семей. Вот и сегодня с утра в контору пришли сразу трое стариков — среди них и почтенный Адай. Все трое виновато и невпопад забубнили о том, что вот, мол, решили тоже уехать. А ведь только у одного почтенного Адая четверо взрослых сыновей-крепышей. И они все теперь стронутся с места, подадутся вслед за отцом, точно волчата за матерым волком.

Так уж, видно, угодно было матери-природе сотворить посреди пустынных степей синее-синее море, похожее на чашу с прозрачной водой. Две могучие реки, как две материнские груди, испокон веков щедро питали его. И теперь особенно жалко и больно смотреть на него, когда оно усохло, спало на четыре человеческих роста. За все долгое знойное лето иной раз бурдюка воды не перепадет ему от двух некогда полноводных, великих рек, и тогда оно, обреченное на мучительную жажду и агонию, уподоблялось вдруг в его



сознании доживающему последние сроки тяжелобольному. Как к изголовью безнадежного больного собираются, толпясь, разные знахари, бабки-гадальщицы, так и вокруг проблем погибающего моря суетятся какой уже год многочисленные провидцы-прорицатели. Только что один из них предсказал, что в ближайшие пять лет Аральское море разделится надвое, оставив на дне крепчайший рассол. Что ж, и на том спасибо. Ведь находились же пророки, которые с пеной у рта доказывали, что пройдет какой-нибудь десяток лет и от древнего моря едва ли достанется потомкам два ведра воды. А этот хоть как-то утешил, посулив вместо моря два озера. Хорошо, что не совсем исчезнет, что-то все же сохранится. Пусть жалкий и удручающий, а все-таки след древнего Арала как печальное воспоминание останется на земле. Но как глядеть себе в душу, чем успокоить совесть, если море, которое веками кормило и радовало поморцев, давало приют всем жаждущим из пустыни, разделится надвое, будто отсеченное мечом рока, на северный — Малый и южный — Большой Арал?

Машины, груженные скарбом двадцати пяти семей, поднимая пыль и набирая скорость, понеслись длинной колонной по выжженной степи в сторону заката. Вот и скрылись они за перевалом, даже след простыл, рассеялась пыль, а люди все стояли на буром холме, за аулом, все глядели вслед, зачарованные магической силой только что спетой белоликой женщиной прощальной песни. Сколько разговоров затевала Бакизат после того случая о том, что надо бы и им подумать, куда перебраться, как и где жить дальше, но ты уходил от ответа, молчал. Но именно с тех пор в душу твою закралась неосознанная, но постепенно дающая о себе знать тревога — будто поскуливал там неведомый щенок. И каждый раз, как кто-нибудь уезжает из аула, щенок этот скулит все явственнее, все безнадежнее. И в такие дни ты ходишь сам не свой, не зная, то ли и тебе сняться с родных мест, то ли тянуть до последнего, и будь там что будет. Да что Бакизат?.. Не на это ли откровенно намекала и старая мать в день твоего приезда с устья Сырдарьи, затеяв за чаепитием беседу, поначалу издалека, намеками? Тихо было в доме, мать разливала чай, а ты, по обыкновению, задумался о чем-то; и тут мать, смерив тебя пытливым взглядом, напрямую сказала те слова, которые никак

не выходят сейчас из головы. «Слушай, сын мой,— говорила она,— помнишь, еще до вчерашнего дня я всей душой была с теми, кто ни за что не желал покидать отчий край. А теперь меня здесь ничего уже не держит, знай это».

Слова матери как-то не сразу дошли до сознания. «К чему это она клонит?» — рассеянно подумал было ты. И тут же понял: мать-печальница смотрела дальше, заботилась, как могла, о том, чтобы любым способом сохранить семейный очаг, мир и лад в семье сына. И, значит, дала ясно понять, что никогда не станет помехой, не будет обузой своим детям, если они в поисках лучшей доли вдруг решат покинуть родные места. А ведь, по сути дела, тем же самым — прочностью связей между отцом и детьми, нерушимостью уз семьи — день и ночь озабочен и тот почтенный Адай, если уж он решился не пожалеть собственного сердца, прикипевшего к земле предков, оторвать, уехать с четырьмя взрослыми сыновьями, чтобы с немалым трудом и тоской обосноваться, пустить слабенькие на первых порах корешки бог весть в каком уголке необъятной степи. Но думал ли ты об этом? Заботился ли ты об этой самой прочности своего очага? Не знаю, не знаю!..

* * *

И ведь по пути в баню ничто тебя вроде не тревожило. Ты спокойно вошел в предбанник. Снял пальто, сапоги. Пока не спеша раздевался, продрог. Зябко ступая по холодному полу, направился к набухшей от сырости двери. Приоткрыл ее. И, не проходя дальше, остановился у порога, соображая, где бы пристроиться. Из волглого горячего сумрака доносились голоса, гремели тазы, плескалась вода, яростно шипел раскаленный зев заслонки. И тут кто-то тронул тебя за руку. Показалось даже, что по имени окликнули. Ты повернулся. И в первое мгновение подумал, что это какой-то мальчишка, пришедший в баню с отцом. Но, увидев лысую, с одним ухом голову, узнал своего родственничка.

— Благополучно, значит, вернулись? — спросил Сары-Шая.

В бане ты всегда стеснялся среди нагих людей, потому сторонился, подыскивал уголок поукромней. И сейчас, едва войдя в мыльню, ты растерянно оглядыва-

вался, стыдясь своей и чужой наготы и неловко прикрывая стыд то тазиком, то ладонью.

— Надеюсь, от богатого улова и нам кое-что перепадет. Но... речь, знаешь, не о том. Слушай, отойдем-ка в сторонку.

Ты отпрянул, но Сары-Шая ловко встал перед тобой:

— Постой! Дело есть...

— Да ты в своем уме?

Ты хотел было вырвать руку, но Сары-Шая, сунув тазик между коленями, обеими руками цепко ухватился за твою кисть.

Вокруг вас сквозь серый пар мелькали чьи-то голые тела. Кто-то поздоровался. Какой-то верзила, с головы до ног в мыльной пене, повернулся на ваши голоса, прислушался, но, ничего не разобрав, вновь с ожесточением зашоркал мочалкой. А за ним мылись двое стариков. Они с любопытством смотрели на вас, близоруко щурились. Один из них прыснул, толкнув другого в бок: «Глянь! Этого сморчка я сразу признал. А кто тот верзила рядом с ним... как верблюд на поводу у мальчишки?»

— Хватит, пусти!

— Дело есть.

— Что, горит?

— Да. Только не у меня — у тебя горит.

Эх, как подмывало тебя шарахнуть тазиком по голой, как задница, плешине. Но Сары-Шая, тот, как зверь, нутром учуял, что ты не посмеешь это сделать, и самодовольная ухмылка тронула его губы.

— Мне говорили, ты в бане. Вот и я присеменил сюда...

— Что случилось?

— Беда. Приезжает из столицы ихний предводитель.

— Чт-о?

— Сам знаешь, о ком говорю. Будь начеку. Не оплошай. Слышишь?

Ты толком ничего не слышал. Охваченный гневом и раздражением, разобрал из его путаной речи лишь одно слово: «ихний». И потому машинально сообразил, что уж коли речь зашла об *ихних,* то за этим непременно последует *наши. Ихние* — это значит Тлеу-Кабак, сильный многочисленный род, коренные жители этого края, а *наши* — значило пришлые, небольшой отросточек, всего в каких-нибудь двадцать-тридцать семей род Жакаим.

Сары-Шая не одобрял, что вместо того, чтобы с должным вниманием принять эту недобрую весть, ты, весь красный от смущения, больше озираешься по сторонам, точно заартачившийся верблюд у брода.

— Да ты пойми, послушай, дружок. Послушай, говорю...

Сары-Шая, как бы ни вытягивал шею, как бы даже ни привставал на цыпочки, чтобы завладеть твоим вниманием, однако еле-еле достигал до пояса рослого детины. А говорить громче он явно опасался. И тогда обозленный Сары-Шая мигом перевернул тазик вверх дном и ловко вскочил на него, как на трибуну. Так бывало всякий раз, когда ему предоставляли слово и надо было говорить.

Но из-за высокой трибуны виднелась одна лишь макушка с жидкими волосенками. Это всегда бесило его, он затравленно оглядывался вокруг, ища любую, какая ни попадется, подставку под ноги. И, не найдя ничего подходящего, бесцеремонно выхватывал стул из-под какого-нибудь местного ударника труда, любителя повосседать в президиуме собрания.

— Так вот, слушай, приезжает из столицы этот... ихняя опора.

— Опора-а?

— Да-да, опора. Академик.

— Ну и что?

— Как ты не понимаешь, мы ведь пришлые. Вроде как пасынки... Чужаки, понимаешь. А хозяева — они. Их много, нас мало. Так? А раз так, то, значит, вся сила в их руках. Так? Так или не так? — Он немигающими, по-кошачьи горящими, желтыми глазами впился в тебя. — Пойми: у кого сила, тот и верховодит. Так было раньше, так и теперь. А сейчас они вовсе хотят нас придушить, как одинокий стебелек ячменя посреди пшеничного поля. Да-да, дружок... не смейся. Они не хотят смириться с тем, что не они, а ты руководишь колхозом.

— Брось! Сами ведь на общем собрании выбирали, единогласно.

— Тогда они выбирали тебя в шуме да в суматохе, а теперь опомнились, спохватились. Теперь хотят прибрать власть к своим рукам.

— Брось...

— И бросать нечего! Полетишь вот вверх тормашками. Еще как полетишь. Запомни мои слова: вместо тебя поставят Заику! Дядю его!

— Ну, хватит... Вздор это!

— Ничего не хватит! Если у Заики такой всесильный племянник, такая длинная рука в столице, он что— паршивым колхозом здесь управлять не сможет?! Еще как сможет!

— Вздор! Люди ведь не игрушки, чтобы каждый...

— Люди, дорогой, ныне покладистые, приученные. Ими руководить — все равно что машиной управлять. Много ли ума надо, если машина исправна и заправлена: садись да крути-верти баранку, она и побежит — ой как послушно побежит, затарахтит даже под тобой...

Только что ты готов был взорваться от досады, от гневного раздражения — а тут невольно рассмеялся. Тебе вдруг явственно представился этот самый Заика-Быдык: горбоносый, чернолицый, всегда возбужденный, с каким-то звероватым оскалом — ни дать ни взять верблюд-самец, готовый в пору гона яростно стоптать любого... Как он может руководить колхозом, если даже его бригада из десяти человек стоном стонет и чуть не каждый божий день пишет жалобы, умоляя: «Ради бога, избавь нас от него. Замучил — сил нет...» Однажды, после очередной такой жалобы, пригласив его к себе, ты резко поговорил с ним с глазу на глаз: дескать, с людьми ты груб и жесток, не умеешь руководить, все у тебя ни шатко ни валко, тяп-ляп. Но не успел ты ему это выложить, как он вместе со стулом придвинулся к тебе вплотную и, брызгая слюной, заикаясь пуще прежнего, завелся с ходу: «Я... я, говорю, эт-то, говорю, от-тменно работаю, говорю. Т-только э-ти... говорю, п-п-почему-то всегда недо-до-довольны, говорю!..» Впрочем, что тут невозможного? Захотят — и Заика-Быдык в два счета баскармой заделается.

Из бани ты вышел распаренный, потный. Подняв воротник и на ходу застегиваясь, шел и ни о чем вроде не думал. Но ясно было, что какая-то тяжесть все же навалилась тебе на душу. И уже у самого порога, протягивая руку к двери, ты вдруг застыл в недоумении: «Интересно, какая, однако, забота пригнала его сюда?» Он и раньше приезжал, но всегда весной, когда степь полыхала красными маками, а терпкая горечь молодой полыни дурманила головы. Но что это вдруг ни с того ни с сего понадобилось ему в глухом ауле сейчас, в столь неуютную пору предзимья? Какая забота могла сорвать его с теплого места? Ка-ка-я?!

Ты не спешил в дом. Неожиданная и непонятная

весть, услышанная в бане, занозой застряла в сердце. Интересно все-таки, откуда узнал про это Сары-Шая? Носится, шныряет по всему аулу пронырливым псом, вынюхивает всякие слухи-сплетни... Вишь, как ему приспичило, как он прытко вскочил на перевернутый тазик. Собрания — вот истинная его страсть. Вот куда притащится он раньше всех. В прения всегда записывается первым. И по ходу собрания то и дело вскакивает по всякому поводу и без повода. Как бы там ни было, но каждый раз, когда он брал слово, зал оживлялся и по рядам проносился насмешливый говорок. Его отсутствие замечалось сразу. Людей обычно охватывали уныние и скука. Иные любители поразвлечься в нетерпении оглядывались по сторонам, заранее выискивая глазами по сонным рядам его плешивую, всегда дымящуюся паром потную макушку. Не было случая, чтобы он не нападал на председателя рабочкома, вечного козла отпущения; на последнем собрании он особенно кричал на рабочкома, будто бы тот прикарманил себе профсоюзные взносы, а путевки в санатории и дома отдыха распределяет между братьями и сватьями. «О, — вопил он, — в былые времена таких, как наш рабочком, без суда упек бы туда, где круглый год на собаках ездят...» Но тут Сары-Шая споткнулся, осененный еще одной мыслью, — перевел разговор на собак, особенно на бродячих. «Море усыхает, рыба погибает, прокормить детей и жен становится непосильной заботой, а аул превратился в псарню. Добро бы еще по одному псу, так нет, дошло до того, что каждый рыбак норовит нынче держать по нескольку волкодавов. И нечего ухмыляться. Это, если хотите, общественно-социальная проблема. Порядочному человеку в собственном ауле проходу нет. А посему предлагаю впредь осудить, наказать... сурово наказать всех, кто способствует приумножению собачьего поголовья в ауле. Запиши, запиши в протокол. Кто за мое предложение, товарищи, поднимите руки...»

Рыбаки расхохотались, махнули на него рукой... Много разных небылиц и кривотолков ходят о Сары-Шае. Одни предпочитают держаться от него подальше. Другие точат на него зуб и готовы живьем загнать в могилу. А иные, бывает, без него никак не обойдутся, ибо в рыбачьем ауле никто не может так ловко, как Сары-Шая, настрочить жалобы, прошения, акты, справки, свидетельства и прочие деловые бумажки. И еще Сары-Шая весьма изощрен и сведущ в разных законах и ко-

дексах и безошибочно определит, к какой статье относится то или иное нарушение. Рассказывают, как еще задолго до войны Сары-Шая назубок, словно Коран, вызубрил всю Конституцию Казахской ССР и никому не давал проходу, все порывался вести политучебу среди рыбаков. Они только диву давались: «Ох, и башковит, дьявол! — говорили. — На лету хватает все. Одним только создатель обидел: здравого смысла недодал...» Зато язык ловко подвешен. Здесь, во всем приморье, самый находчивый — он. Самый остроумный — он. Самый знающий — тоже он. Только никому не ведомо, где, когда и сколько он учился. Однажды на какой-то шумной сходке Сары-Шая, по обыкновению, без удержу говорил, рта никому не давал раскрыть. В былые времена на подобных многолюдных сборищах обычно похвалялись друг перед другом знатностью своего рода, заслугами предков, славой священных духов — аруахов. А их нынешние просвещенные потомки в стремлении перещеголять друг друга начинают выяснять, кто больше проучился и кто что закончил. Вот и на этот раз, когда совсем уже разошелся Сары-Шая, аульная молодежь затеяла спор о том, кто больше преуспел в науках. Оказалось: кто-то закончил КазГУ, другой—КарГУ, третий—САГУ[1], остальные СХИ[2]. И тут, язвительно захихикав, Сары-Шая заявил: «Ну, а я лично окончил КулНСШ...» Молодежь расхохоталась, уразумев, что КулНСШ не что иное, как Куландинская Неполная Средняя Школа, что находится отсюда на расстоянии ягнячьего перегона. А старики от удивления разинули рты:

— КулНСШ? Такого института мы и слыхом не слыхивали. Надо же, а? Видать, недаром все его акты, прошения промаху не дают, не в бровь, а в глаз начальству...

— Ойбай, не говори! И рука у него легкая, и перо бойкое. Недавно мне бумагу написал, и что же ты думаешь: сработала, наповал сразила, как стальной клинок...

— Да куда им, нашим патлатым юнцам, до него! Они горазды только отцовские деньги проматывать.

— А ну их! Кто нынче не кончает эти самые ГУ и ПИ? А вот чтобы КулНСШ... да-а, туда, видно, не всякий сунется...

И в самом деле, по части деловых бумаг Сары-Шая считался непревзойденным. За составление разных про-

---

[1] Среднеазиатский государственный университет.
[2] Сельскохозяйственный институт.



шений, заявлений, кассационных жалоб, встречных исков, актов он принимался охотно, в предвкушении любимого дела азартно засучив рукава. Глаза загорались знакомым кошачьим огнем, на кончике носа выступала испарина страсти — так бывало, когда Сары-Шая попивал, потягивал у огня душистый индийский чай, настоянный на гвоздике. Он тщательно, без помарок, выводил на белой бумаге аккуратненькие, кругленькие буковки и сам, отстраняясь, любовался ими: «Ну как, а?!», и проситель, и без того завороженный священнодействием Сары-Шаи, угодливо шептал: «О, аллах, поддержи нас, прояви к нам свою милость...»

Кто знает, правда или нет, люди поговаривают, что у Сары-Шаи железный сундук, куда он якобы прятал копии написанных им бумаг и при этом любил повторять: «Все это, братцы, история!» И еще говорят: ни одна отправленная им в высшие инстанции бумага не остается без ответа. Ибо строчить он будет до тех пор, пока не добьется своего, пока не доконает начальство, заваливая его ворохом всяких требующих, протестующих и обличающих бумаг. Да, крепко усвоил он нехитрый закон бумажной жизни.

* * *

— Слушай, сын мой...

А сын сидел в задумчивости, вертя в руках пиалу с давно остывшим чаем. Будто очнулся, оторвал взгляд от края пиалы, посмотрел туда, где сидела мать. Сначала увидел большой медный самовар, исходивший сухим домашним жаром, а потом уже рядом с самоваром в привычной позе — подобрав ногу и опустив на колено подбородок — маленькую иссохшую старушку.

— Слушаю, апа...

— Хоть ты и дитя мое, но нынче, дожив до дряхлости, я стала, как видишь, сама малым дитем, а ты — мой благодетель. Нет уже у старой твоей матери прежней прыти, чтобы поспевать за кочевьем молодых. И вот, пока я в здравом уме, надумала я, сынок, кое-что тебе сказать.

— Говори, апа...

— Чай, наверное, остыл. Подай свое кесе.

Передавая матери пиалу, он посмотрел на нее внимательно — и защемило вдруг сердце. Маленькая старушка неумолимо таяла и старела на его глазах, тускнея вместе с этим медным самоваром, некогда приобре-

тенным отцом на конградском базаре в обмен на верблюжью шерсть. В прежние времена, бывало, после богатого улова ты всегда радостно и шумно врывался в дом и прежде всего бросался обнимать стоявшую в стороне мать. Она была женщиной сдержанной, скупой на ласку. Но опьяненный удачей сын понимал, что сердце матери тоже ликовало от бурной, по-мужски грубоватой ласки его, однако на глазах невестки она не одобряла излишне бурного проявления чувств со стороны мужчины. И потому, напустив на лицо строгость, она в таких случаях всегда оставалась неприступной, отталкивала сына от себя: «Ты что, ополоумел? А ну, отстань! Уймись!» Сын, продолжая дурачиться, похохатывая, незаметно совал в карман ее безрукавки червонец-другой. Нынче, запутавшись в своих нескончаемых делах, терзаясь сомнениями и тревогами, оказывается, он и эту кроху внимания перестал проявлять.

— Апа, на этот раз мы с удачей вернулись. Вот, тебе... — Он, смущаясь, протянул матери несколько скомканных бумажек.

— Зачем мне это? Отдай жене.

— Нет, апа, оставь себе. Пригодятся, может.

— Я и те, что ты в прошлом году дал, не трогала. Две красненькие да три синенькие, сколько будет?

У него отлегло на душе, и он громко и весело расхохотался, как и в прежнее безмятежное время, когда под этой крышей еще царили согласие, уют и лад. Но мать, не терпевшая легкомыслия ни в чем, сурово сдвинула брови, и ты тотчас замолк.

— Нынче многое уму нашему недоступно. Не понимаю: то ли чрево у нынешних баб не то? Не говоря уже о чужих детях, от своих собственных пошло-расплодилось непонятное нам племя. До чего дожили: даже разговариваем с ними на разных языках.

Вроде он знал свою мать. Она не любила жаловаться. «Неужели кто из детей невзначай обидел?..» — с неосознанной тревогой подумал.

— То, что в наше время делал человек, теперь, в ваше время, делает железная машина. Ездите нынче на железе. Летаете на железе. Даже в доме все железное. Да что там... вон, тот ваш неумолчный говорун, что и в доме, и вне дома всякие сплетни со всех концов света вбивает в вашу башку, — и тот железный. Замечаю я, что вы, черти, и все тайные думки-то свои не бабам, как прежде, в постели доверяете, а опять-таки же-

лезке. Коли вы поклоняетесь железу и зависите кругом от железа, где уж там сыскать место для человеческого милосердия? А когда всю душу и тело сковали железом, горе тому, кто обделен железным норовом...

Старая мать оценивающе глянула на сына и усмехнулась. Намек был достаточно ясен, он понял родительскую горечь; когда бывают недовольны родным чадом? Но почему тогда она не говорит об этом прямо? Это ведь не в ее характере. Не раз сын видел, как она в те послевоенные годы, молодая еще, сверкая большими черными глазами, звучным голосом резко и прямо отчитывала кого угодно. Да-а, сдала бедная мать. Вон про железный век упомянула, на людское бездушие посетовала. И уже по тому, как в кои-то времена пожаловалась она на сухосердечное нынешнее поколение, было видно, что в его отсутствие все же кто-то в семье обидел старую мать. Но кто? Теща? Дочка? Или Бакизат?

— Апа, не скрывай... Говори, ради бога, кто... кто посмел тебя тронуть? — Сын даже дернулся помимо воли, привстав с места, словно тот неведомый обидчик матери стоял тут перед ним.

— Ладно, сядь!

— Ну, сел. Но ты все-таки должна сказать, кто тебя...

— Глупый, кто посмеет в этом доме обидеть меня? Жена твоя? Или теща? — Старуха хмыкнула. Выпрямилась, вскинув голову в высоком белом жаулыке. — Пока жива, сама как-нибудь за себя постою. И кто меня, кроме самого всевышнего, может обидеть? А если и обидит, то тебе все равно не пожалуюсь. Моя речь о другом.

— Слушаю, апа...

— Сын мой, негоже, когда мужчину заботы об очаге по рукам-ногам связывают. И потому боюсь, как бы святая привязанность твоя к отчему краю, к родной земле, где пуп твой был резан, не привела к тому, что останешься ты когда-нибудь один-одинешенек у покинутого кочевья сторожить могилы предков.

— О чем ты, апа? Ведь еще вчера мне твердила про отчий край, про...

— Верно. Говорила. Все мерещилось, что стоит нам только покинуть родной край, как бренные останки наши останутся непогребенными. Что ж, верно... без родимой сторонушки человек — тлен. Кто из нас даже при виде какой-нибудь безымянной могилы обитавшего

здесь некогда предка не чувствовал себя как в надежном обжитом доме? Это было утешением старой души. Но все на свете, оказывается, имеет смысл и значение лишь в счастье. А если его нет... Поверь: в этом краю уже ничто не прельщает меня.

Не зная еще, как отнестись к услышанному, ты сидел в тяжелом раздумье. Выходит, счастье, богатство и благоденствие отчего края всецело зависело лишь от благополучия синего моря, привычно шумевшего под боком? И теперь, когда оно неотвратимо высыхает на глазах, ничто другое уже не может удержать нас на этой скудеющей земле?

— Да, дорогой, не зря в старину горе рода каждый считал своим личным горем. Сказано же: «С родом своим и яд прими...» — Мать долго и пристально смотрела на сына, как бы желая убедиться в воздействии своих слов. — Раз уж твой род стронулся с места, утратив привязанность к отчему краю, и тебе не следует отсиживаться в сторонке. Будь вместе с теми, с кем ты в доброе время бороздил наше море. И не чурайся чужой земли. Не чужая она. Та же благословенная земля казахов, щедро политая кровью и потом таких же, как вы, сынов, единокровных братьев наших, — упокой их в своих садах, аллах. Так же освящена она добрыми духами-заступниками нашими. Поживи малость на новой земле, походи по ней, потрудись как следует, по́том своим окропи — и если только не очерствело, не ссохлось, как комок глины, твое сердце, то скоро и к ней привыкнешь, душа, как ивовая веточка на отмели, мигом корешки в нее пустит, и станет она для тебя и для детей твоих такой же милой и дорогой, обетованной, как и земля отцов. Наш кочевой народ, который с седлом до смерти не расставался, всегда умел найти себе пристанище, на много лет вперед умел обеспечить пастбищами и стойбищами и себя, и потомков своих. Найдете же и вы, не худого рода племени, а переезжать сейчас проще простого. И куда бы ни переехал, не оставляй свою старую мать. Вот и все. Других желаний у меня нет.

Сын понял: все, что сейчас так прямодушно высказала мать, плод се долгих раздумий, к этому решению, должно быть, она пришла не сразу; раздумывала со старческой обстоятельностью, взвешивая все до мелочей, и так, и эдак примериваясь, — когда сноха с дочкой уходили в школу, а она оставалась во всем доме

одна, пряла у окна на солнышке, и когда возилась на кухоньке, и когда, пристроившись сбоку к бурой верблюдице, подолгу выдаивала ее.

— Не только приморье оскудело, даже пастбища в степи — и те нынче солончаками покрылись. Ездила я как-то в аул верблюжатников, по дороге сама видела: еще июнь, а колодцы уже повысыхали, изъеденные солончаком травы повыгорели до черноты. Божья кара за наши прегрешения, не иначе.

Бог тут, апа, ни при чем.

— Тайт, негодник! Вы, безбожники, прогневили создателя! И зло на земле, и добро творится только по его воле.

— Ладно, пусть будет так. Но вот послушай, один крупный ученый недавно доказал, что уровень моря и подземных вод находится всегда в прямой зависимости между собой.

— Сказал! Это и мы, долгополые аульные бабы, знаем.

Он чуть не рассмеялся, но хмурый, даже суровый вид матери удержал его. Сегодня, приняв одно из самых важных решений в своей жизни, она будто воспряпула духом, была настроена необычно решительно и резко, как в лучшую свою пору, когда ни один мужчина в этом краю не осмеливался ей перечить. Высокий жаулык гордо украшал ее голову. И сама она уже не горбилась, по обыкновению, за самоваром, а строго выпрямила спину приосанилась и разговаривала с сыном уверенно, даже властно, сильный и зычный ее грудной голос, как в былые времена, не допускал возражений:

— Если они такие прозорливые, то почему не видят, как тут дети и бабы все лето, громыхая ведрами, носятся по степи в поисках воды для питья? На днях приезжала жена старика Адая...

— Они что, все еще на летовке?

— Не перебивай! Нашли, говорят, в верховье какое-то заброшенное становище, старики сами подладили малость, и вот теперь ютятся в нем три семьи. Хорошо, что семижильные. Все вынесут. Все стерпят. Жена Адая говорит: «Нам-то что, проживем остаток жизни как-нибудь, а каково взрослым детям без дела сидеть?» И то верно. Разве можно человеку без работы? Вот ты в городах бываешь, с начальством разным там встречаешься. Почему не говоришь им, умникам, какая тут пошла нескладная жизнь?

— О боже... И ты еще, апа?

Вспыхнув от досады и негодования, он ударил себя кулаком по колену... Не так давно вызвало его в район начальство, он не успел порога переступить, как всегда, Ягнячье Брюшко заладил свое привычное: «Рыба... где рыба? Где план?» И тогда председателя, обычно молча и тупо сносившего все укоры и упреки, неожиданно для самого себя прорвало: «На активе говорим о рыбе. На всех собраниях, совещаниях опять говорим о рыбе. На рыбе клином сошелся весь свет. А люди, а море? Почему о них не говорим?» Ягнячье Брюшко грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнула пепельница и рассыпались окурки. И сам вскочил, в клейких глазах вспыхнула несвойственная ему открытая злость: «Ты, товарищ, говори да не заговаривайся! За такие слова, знаешь ли, придется тебе кое-где ответ держать». «Да! И отвечу!» — «Ишь ты, он еще огрызается! Зубы показывает! По-твоему, что... ты один о народе печешься, а все мы кроме рыбы знать ничего не знаем? А верблюжью ферму кто создал?..» — «За ферму спасибо, но...» — «Ты сказал нам, что надо бы трудоустроить жен рыбаков?» — «Ну, сказал!» — «Мы разве не пошли навстречу твоей просьбе, не обратились в высшую инстанцию, не открыли для двадцати наших женщин швейную мастерскую... что, мало тебе этого?» Председатель усмехнулся, потому что сам лично ездил к руководителям области и выпросил для жен рыбаков работу по линии местной промышленности.

— Апа... Разве я не говорил?.. Не требую от них?..

— Представляю. Небось мямлишь перед ним, как баба, напуганная домовым.

— Что ж, апа... — попытался он отшутиться, — сама на себя пеняй, коль родила такого сына.

Мать смерила его строгим взглядом:

— Выходит, моя вина, произвела тебя таким? Ловко! Какой матери ведомо, кого она вынашивает в своем чреве. А я тебя родила лобастеньким, крепеньким. Откуда я могла знать, что ты вырастешь и пойдешь по стопам этих недотеп-жакаимцев, промышляющих рыбу в соленом озере? — Мать залилась смешком...

— Что поделаешь, апа... Хорош ли, плох ли, но по крайней мере сын твой поблажки себе не дает.

— Народ что малое дитя: он прежде всего в тебе опору ищет. Вот ты встрепенись. Укажи, куда идти, поведи!..

Мать, затронув наболевшее, говорила взволнованно

и резко. Но вдруг осеклась, прислушалась, выставив из-под жаулыка ухо. За домом послышался нарастающий цокот копыт о мерзлую землю, и ты в который раз подивился ее острому слуху. Путник резко осадил лошадь. Спешился. Распахнул дверь, неуклюже протиснулся, но, едва переступив порог, застыл в явном замешательстве.

— А-а, жезде... Проходите, — сказал ты.

Могучий, грузный человек, по-зимнему одетый, с места, однако, не сдвинулся. Стоял, сердито оглядываясь, чаще всего себе под ноги, на гладкий, лаком покрытый пол.

— Ну что же вы, почтенный жезде, застыли у порога? — скрывая усмешку, спросил ты. — Проходите!

Гость ухватился за косяк и лишь тогда оторвал завороженный взгляд от пола.

— Заладил: «проходи» да «проходи»... А как тут пройдешь? Добро бы под тобой привольная земля была, по которой ступай как хочешь. А ты тут, черт знает для чего, обшил пол обструганными досками да еще маслом каким-то помазал...

Ты, смеясь, подошел к гостю, взял под локоть, и только после этого старик перевел дух, выпрямился во весь свой богатырский рост и облегченно крякнул:

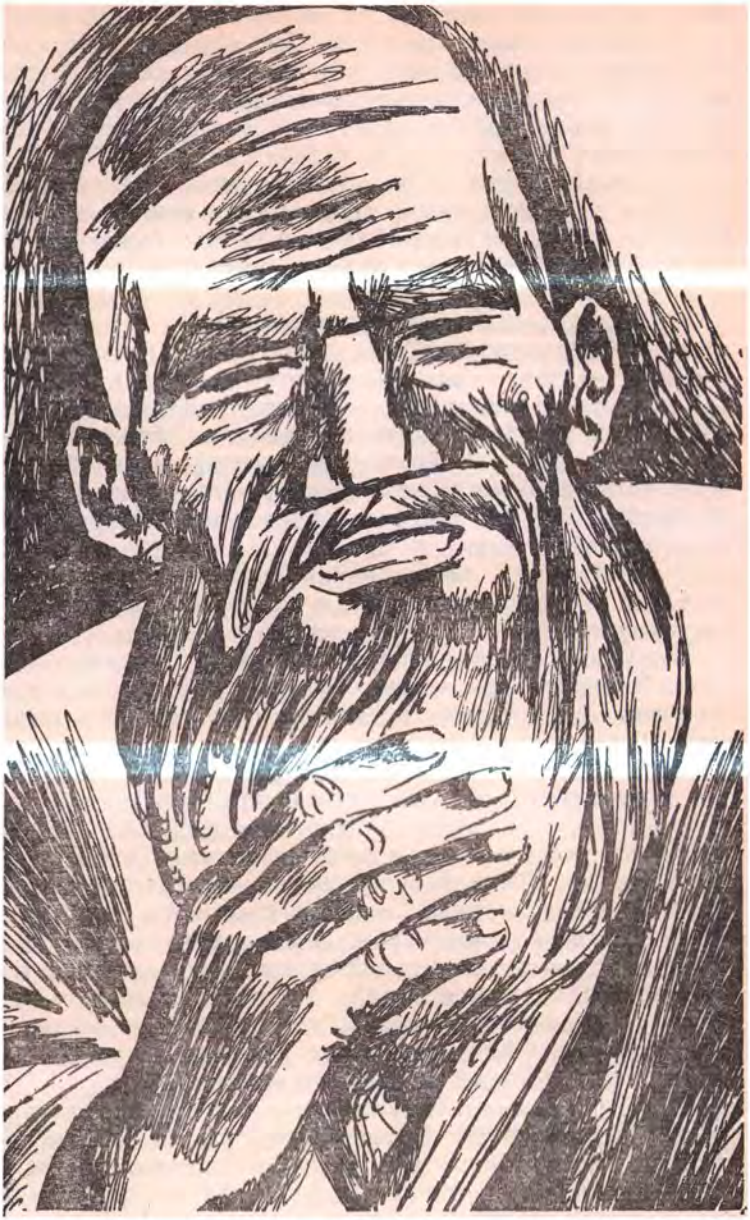
— Апырай!.. В этот дом впредь без подков, пожалуй, и не сунешься...

Каждый раз, наезжая сюда, старик проходил в комнаты лишь за кого-нибудь ухватившись и то с трудом, осторожно переставляя толстые, как бревна, ноги. Дети рыбачьего аула всегда радовались приезду добродушного, широколицего, по самые скулы заросшего густой сивой бородой старика. И всегда было потешно глядеть, как этот великан неуверенно, негодуя на хозяев, поругиваясь и качая головой, ступал по крашеному полу, будто верблюд по льду.

— Делать тебе, вижу, нечего. Вот потому ты с матерью с утра до вечера и вылизываешь этот пол.

Старика в рыбачьем ауле любовно и почтительно именовали «жезде», то есть зятем, потому что жена его была из местного рода, а сам он из пришлых, из воинственного, вечно мятежного племени адайцев, искони обитавшего на полуострове Мангышлак.

Старик прямо в верхней одежде пробрался на почетное место, заполнив собой все пространство комнаты. И только теперь, не торопясь и по-стариковски крях-



тя, стянул с себя толстый чапан на верблюжьей шерсти. Затем снял тяжелый треух. Потом уж разулся, стянул такие же громоздкие, как сам он, сапоги. А стянув, опять застыл в нерешительности, держа их на весу и не зная, куда бы пристроить в этом чистом, как вылизанном, доме.

— Давайте сюда, — с ласковой усмешкой сказал ты.

Гость небрежно сунул тебе сапоги, шумно перевел дыхание, повел вокруг взглядом и только будто теперь заметил за медным самоваром сгорбленную маленькую старушку в белом жаулыке.

— Как живется? В силе, в здравии?

— Не спрашивай. Наша жизнь теперь известная: и сидим — слава аллаху, и стоим — слава аллаху.

— Вроде не в духе? А?.. — Гость приставил козырьком ладонь ко лбу. — Дети, случайно, не обижают?

— Э, оставь их! Пусть только попробуют обидеть меня. Они разве могут кого обидеть? Что-то давно тебя не видать. Все ли благополучно в доме? Здорова ли наша девка?

— Состарилась ваша девка. Постель не греет. Теперь вот езжу, присматриваю в роду жакаимцев молодуху с зубами покрепче, да и рожей поглаже.

Гость, задрав сивую бороду, зашелся смехом.

— Блудливое вы племя, мужики. Смотришь, еле держится душа в теле, а глаза все по сторонам шныряют. Тьфу!

Двое соседских мальчишек, заскочивших вслед за ним в прихожую, все еще стояли, прижимаясь к косяку, и таращили на гостя любопытные глазенки. Их все восхищало в этом горою возлежавшем на подстилке госте: и то, как он говорил рокочущим утробным голосом, и то, как хохотал, трясясь могучими плечами, показывая крепкие, один к одному зубы. И уж совсем приводило в восторг, когда он, запуская пятерню в густые, от самых скул до горла заросли бороды на широком лице, чесал ее так, что она аж трещала под пальцами. «Гляди! Гляди!» — толкали друг друга ребятишки, давясь от смеха. Гость ловил их взгляд и тоже улыбался.

В этих краях он объявился еще в годы коллективизации. В молодости, поговаривали, был лихим конокрадом. Неделями с седла не слезал, потник под ним не просыхал. Один, точно матерый волк, по безлюдной степи рыскал. И вот однажды, рассказывают, ехал он, по обыкновению, один рысцой по пустынному плато

между Каспием и Аралом. И тут выскочил из-за бурого холма всадник. Почуяв, как под ним забеспокоилась лошадь, адаец, однако, не обернулся, лишь покосился и увидел верхового, громоздившегося на поджаром сильном коне. На всаднике был серый чекмень, из длинного рукава свисал доир — толстая разбойничья плеть со свинцовой прожилкой. Адаец невольно насторожился, подтянул в ладони рукоять своего доира, тоже запрятанного в рукаве. Черный, с изрытым оспой лицом всадник сидел в седле как влитой. Переводя коня на шаг, медленно подъезжал, приценивающе глядя в упор маленькими, точно буравчики, стылыми глазами, и адаец не дрогнул, выдержал этот сверлящий змеиный взгляд... Двое бесстрашных конокрадов, привыкших в своей жестокой жизни почитать лишь силу с удалью да быстрые ноги коня, перекинулись при той встрече всего лишь несколькими словами, но, говорят, этого было достаточно, чтобы расстаться по-братски, неведомо как успев проникнуться друг к другу добрым чувством. Прошли годы, и лихая беда вынудила отчаянного адайца покинуть родной край. Очутившись на чужбине, не зная, куда деть свою буйную головушку, вспомнил он рябого верзилу с холодно-змеиными глазами, с которым когда-то столкнула его судьба в безлюдной степи между Каспием и Аралом. Припомнил, как тот бросил на прощание: «Если понадоблюсь — найдешь меня на западном побережье Арала». Вспомнил, что звали змееногазого, кажется... Кален. И вот долго ли, коротко ли, но разыскал адаец Калена, а там и жену себе нашел из рода Жакаим, очаг свой заимел. Маленькая, чуть не по пояс ему, смуглянка нарожала адайцу целую кучу детей. Но выжило из них всего четверо. Потом, в годы коллективизации, адаец с Каленом, загоревшись надеждой, одними из первых вступили в колхоз. Первыми обзавелись лодками и рыболовными снастями. Зимой и летом пропадали неразлучные друзья на море в погоне за нелегкой добычей, и никто не мог — ни на этом, ни на том берегу огромного моря — тягаться с ними в умении рыбачить.

Да, прошли годы, и нет уже в живых удачливого на руку Калена. Состарился и адаец. Четверо сыновей, таких же рослых и крепких, как отец, давно повзрослели, трое даже обзавелись семьями. Ни один из них в свое время не проявил рвения в учебе; едва закончив семилетку, уходили со школьной скамьи в рыбаки, при-

нимая из рук состарившегося отца весла и сети. Но вот настигла беда, далеко ушло от берегов море, рыбы не стало, а другой работы, к которой бы четверо сильных джигитов могли приложить свои руки, в этом краю днем с огнем не сыщешь. Ради адайца и еще двух-трех почтенных стариков, которые когда-то организовали здесь колхоз, ты сумел создать верблюдоводческую ферму. С тех пор прошло два года. И ты при каждом удобном случае не забывал заезжать на их становище в степи, вовремя доставлял продукты. Не забывал о чае-сахаре. Растроганные вниманием баскармы, старики верблюжатники в нем души не чаяли. Особенно привязался к тебе сердцем старик адаец. Едва заслышав, как приближается, грохоча разболтанными железками и досками, старый грузовик, адаец бросался к юрте, окликал свою старушку: «Эй, где ты!.. Пошевеливайся, затопи очаг, мясо в котел положи! А ну, давай-давай! Слышишь, родич твой едет!» И сам суетился, бегал, доставал из тюка атласные подстилки и подушки. Обычно молчаливый, грузный, не склонный к шутке, старик при тебе оживлялся, становился разговорчивым, сам настраиваясь на развеселый лад: «Небось, я не единственный адаец, окрутивший девку из рода Жакаим. Надо полагать, и до меня наши деды с вашими бабками шуры-муры заводили!..» — и сам хохотал, колыхаясь всем грузным телом.

В прошлом году старики застряли на летовке до поздней осени. Ты был в отъезде. А когда вернулся, наступили холода, выпал первый снег. Ты заспешил к ним, зная, каково семьям верблюжатников на становище, под пронизывающим степным ветром. Перед ними тебе было трудно оправдываться, ты путался, не находил веских слов, и тогда старик адаец, добродушно хохотнув, спешил тебе на выручку: «Что ты, дорогой Жадигер! Ты приехал как раз вовремя. Еще не было случая, чтобы ваш жезде съезжал отсюда, пока его благоверная не подморозит разок-другой задницу». Рядом с ним, с его неистребимым жизнелюбием порой и ты забывал про всякие житейские неурядицы, чувствовал себя как-то свободнее, легче, будто часть твоих забот старик адаец брал на свои могучие плечи.

— Ну, рассказывайте, жезде, — приглашал ты старика к беседе, поглядывая на него потеплевшими глазами.

Но старик был сегодня явно не в духе. Сунув под

бок большую пуховую подушку, возлежал, громоздясь бугром на подстилке, молчал. Ты знал, что он приехал посоветоваться, дескать, о нас-то, стариках, ты позаботился, нашел для нас забаву, организовал ферму верблюдоводческую — ну а как, мол, быть с моими сыновьями?

Ты терпеливо поглядывал на старика. Но тот, насупленный, все чего-то тянул. И лишь когда мать расстелила перед ним дастархан, поднял голову.

— Главное угощение для тебя впереди. А пока довольствуйся тем, что сготовила сноха. Дети это любят. Называется то ли банта, то ли панта.

— Надо же, а?! — поразился старик, недоуменно подняв кустистые брови с торчащими из них в разные стороны толстыми, будто конскими, волосками. И чуть отогнул краешек дастархана, придвинулся к чаше. — Банта, говоришь? Выходит, это не наше блюдо?

— Нынче ведь все перемешалось — и еда, и нравы.

— Да, у казахов такого блюда вроде нет... — Старик все еще с недоверием разглядывал неведомое ему блюдо, которое смахивало на выловленных из воды серых мышек. Он проголодался с дороги, да и не в природе степняка церемониться за дастарханом, однако непривычное блюдо, вызывая подозрение, смущало гостя.

— Что-то в тесто завернутое, а? — обратился он к старухе. В глазах его сквозили любопытство и детское замешательство.

— Да так себе... на один зуб...

— Придумают же, а?! — покачал головой старик. — Я ведь тесто не жалую. Так как называется, говоришь?

— А бог знает! Дети вроде как банта называют.

— Нет, это не манты, а пельмени, с начинкой, с мясом.

Гость недоверчиво уставился на тебя.

— С мясом, говоришь?

— Да-да, жезде, начинка мясная. Очень вкусно. Пельменями называется.

— Билмен, значит?!.

Уговоры, видимо, подействовали, и старик несмело потянулся рукой к чаше. Большими негнущимися пальцами подцепил с краешка паром исходивший пельмень, так и сяк повертел-покатал его на ладонях, остужая, оттягивая момент, когда надо будет это есть. Видно, ему упорно мерещился мышонок, ошпаренный кипятком.

Чтобы отделаться от наваждения в брезгливости своей, он пальцем расковырял пельмень, выколупнул начинку и поднес к ноздрям, принюхался, желая удостовериться, что это именно мясо. И в запахе почудилось ему нечто подозрительное. «Апырай, а как бы не отравиться» — так, должно быть, подумал он про себя. И некоторое время сидел, озадаченный, и вдруг неожиданно сказал:

— Подай-ка миску!

— Зачем? Стоит же перед вами тарелка.

— Еще одна посудина нужна!

Ты достал из шкафа еще одну тарелку, размером побольше, и поставил перед гостем. «Интересно, что это он задумал?» — с недоуменной улыбкой переглянулись вы с матерью. Старик решительно подвернул рукав. Не было у него дела до хозяев, которые следили за каждым его движением. Спокойно набрал из большой чаши полную тарелку пельменей, придвинул к себе и начал сосредоточенно и не торопясь потрошить по одному исходившие паром пельмени, в одну тарелку складывая начинку, а в другую — тесто. И когда наконец на тарелке собралась порядочная-таки горка мясной начинки, старик шумно перевел дыхание и вытер тыльной стороной ладони пот со лба. Должно быть, таким утомительным делом ему еще никогда не приходилось заниматься. Сомнения, однако, и теперь не покинули его: он поднес тарелку попеременно к одной, к другой ноздре, втянув в себя сытный островатый дух прокрученного через мясорубку, приправленного луком и перцем мяса, — и потом принялся есть. Ел он вареные комочки фарша будто бесбармак: запускал всю пятерню в тарелку и отправлял в рот горсть за горстью. Казалось, он глотал курдючное сало молодого барашка. Огромный кадык ходил ходуном, и мясная фаршировка с глухим и каким-то жалобным даже звуком мигом исчезала, будто проваливалась где-то в бездонных закоулках его утробы.

Пока гость потрошил пельмени, ты, уронив голову на грудь, с трудом сдерживал распиравший тебя смех. А когда гость, хлюпая и чавкая, в обе щеки принялся уплетать фарш, ты сделал вид, будто закашлялся. Но старик, казалось, ничего вокруг не замечал. За едой он вообще не имел привычки оглядываться по сторонам и тем более прислушиваться к чьим-либо мнениям о себе или досужим разговорам. Лихо расправившись с

содержимым тарелки, разом выпил остаток бульона и со стуком отставил ее, утерся:

— Былмен, значит... И название-то потешное. Былмен... Ты что, мать заставляешь жевать, а сам только глотаешь? Зубы свои, что ли, бережешь? Тоже мне, придумал еду! Еще чем-нибудь угостишь?

— Чаем напоим.

— Спасибо! Если больше ничего не дашь, чай и дома попью. Ну, будь здоров!

— Как это, жезде?! Вы же, думаю, по делу зашли?

— Дело, конечно, есть. Но ты, вижу, и сам с дороги. Так что с делом приду к тебе попозже, в контору...— сказал старик, с опаской глядя на блестевший лаком пол.

Ты помог старику дойти до прихожей, обуть сапоги, надеть чапан; потом провел до лошади, посадил в седло.

Вернувшись, начал просматривать газеты, накопившиеся за месяц, скользя больше взглядом по заголовкам. Толком не вникал в то, что мелькало перед глазами, однако оставалось тебе очевидным одно: и за этот месяц, пока вы находились у устья Сырдарьи, мир не обрел покоя, напоминая очаг, лишенный совсем тепла и согласия. Одна страна, выхваляясь своим могуществом, куражилась над другой, а та в свой черед надувала третью. А вот еще одна мусульманская страна, пока ты на той стороне моря мыкался со своими рыбаками, подняла восстание, и разволоченный трон шаха полетел вверх тормашками. Бог весть сколько времени правили страной шахи, отныне ею решили править муллы. Но тебе-то хорошо известно, что, если уж в твоем ауле за дело берется мулла, добра и толку не жди... Неизвестно, сколько пролежал ты так на диване. Газета, вмещавшая на четырех страницах боли и тревоги четырех сторон белого света, вдруг будто отяжелела. Зарябило перед глазами, шрифт подернулся туманом, помутневший мир начал уплывать, удаляться куда-то, и газета, шурша, выпала из рук. И, уплывая, ты не заметил этого, только когда бессильно уронил руку, вздрогнул и открыл глаза. Почудился какой-то шорох. Кто-то вроде вошел в дом. Стараясь унять сердцебиение, ты вздохнул, поднял выроненную газету. Потом напряженно прислушался к примерещившемуся тебе в тишине шороху. Шорох из-за приоткрытой двери напомнил чьи-то легкие шаги, ты напряг слух, но он боль-

ше не повторился. И все же тебе чудилось, будто кто-то притаился за дверью и не осмеливается войти в комнату. Может, Бакизат... смущенная своим поздним возвращением, стоит за дверью? Ты подошел к двери. Никого... Пусто во всем доме. Но ты знал, что, кроме Бакизат, вся семья в сборе. Дочка давно пришла из школы. Дома и сын, и старуха мать. Будь его воля, сын давно бы с шумом и грохотом ворвался бы к тебе и повис на шее. Его бабушка сдерживает. А дочь... дочка... Ты невольно поднес руку к сердцу. Вот еще напасть. В последнее время стоило тебе чуть подрасстроиться, как сердце не замедляло напоминать о себе. Вот и сейчас ни с того ни с сего сдавило, точно тупым шилом кто пробует его. Растирая ладонью левую сторону груди, ты поморщился. Вот, все-таки странные отношения сложились у тебя с дочкой. Чем дальше, тем больше становилось ее жаль. Теща почти с пеленок взяла ее воспитание в свои руки. И она добилась своего: твое дитя вскоре стало походить не на тебя, не на Бакизат — на тещу, совсем как две капли воды. С присущей лишь детям восприимчивостью, с поразительным умением и прилежанием дочка на лету схватывала, точно копировала все повадки ее, вплоть до малейших, не заметных порой для постороннего глаза манер старой франтихи. Если та, преисполненная сознанием собственного достоинства, шла, как всегда, не суетясь, не оглядываясь по сторонам, по привычке далекой молодости вытянув шею, выпятив грудь, то, о боже, бедное твое дитя, мельком скосив на нее взгляд, мигом вздергивало и свой маленький подбородок. Смешно и грустно.

Как-то попытался поделиться своими опасениями с Бакизат, но та сразу вскинулась на дыбы: «Вечно моя мать тебе кажется исчадием ада. Все в ней тебе не по нутру. И сядет — плохо, и встанет — худо!..» «Скажешь тоже! Я просто... я о нашем ребенке. Ты ведь сама воспитатель...» — «По-твоему, моя мать, выходит, до сих пор не дочерей, а кукол воспитывала?!»

Вот-вот, теперь-то ты вспомнил. В тот день Ягнячье Брюшко вызвал тебя в район и, по обыкновению, дал очередной «профилактический» нагоняй. «План... где план?» — орал он. И тут ты сорвался и, глядя в упор, чувствуя, как набрякли злостью глаза, вспылил: «Неужто не знаете, что море усыхает... рыба вся гибнет... Вся земля прибрежья гибнет от солончака. Даже в колодцах в степи не стало воды... что люди уезжают?! Неу-

жели невдомек вам, что сама судьба края сейчас под вопросом... ведь не только о плане, о добыче рыбы мы думать должны — обо всем думать надо! Обеспечим людей работой, удержим, море отстоим — будет добыча и план будет. Вот так...» Ошеломленный твоим неожиданным взрывом и натиском, Ягнячье Брюшко молчал. Ты не попрощался, пулей вылетел из кабинета, бегом спустился по лестнице вниз. Удрученный и злой, брел ты по кривым пыльным улочкам Аральска. Подошел к торговому центру. И тут твое внимание привлекла нарядная куколка за стеклом магазина. До того поразительно похожа была эта кукла на твою дочку, ты даже застыл. На той такой же ослепительно белый, выглаженный фартучек. Такие же белые бантики. Черные волосы, расчесанные до блеска. Длинные ресницы, полувопросительно замершие. А губы-то, губки! Будто две застывшие сочные вишенки... Да, искусные руки старой щеголихи, безупречно владевшей магической тайной воспитания девочек-куколок, по всему видно, и на сей раз не дали промаху. И когда, в довершение всего, те же искушенные ловкие руки, приворажива́я, поглаживая со всех сторон, что-то еще там прицепили, прикололи и приладили — и даже ты, отец, не узнавал в этой расфуфыренной куколке собственную дочь...

Ведь неспроста, наверное, ты робеешь перед ней, порой даже не осмеливаясь в приливе нежности притянуть к себе, поцеловать ее.

— Вот-вот, дорогая... Дочка наша становится куклой.

— Не наговаривай! Скажи спасибо моей матери, что дочка растет воспитанной и благонравной. Да будет тебе известно: моя мать воспитала меня. Или ты хочешь сказать, что я тоже кукла?!

— Пока я этого не сказал.

— Не сказал, так думаешь! Впрочем, как хочешь, так и думай. Но согласись: моя мать не чета иным долгополым неряхам старухам этого аула. Если хочешь знать, они и ногтя ее не стоят!

— Во-он как! Это что ж... выходит, в числе тех долгополых нерях и моя мать?

— Ну и что! Бог ты мой, его мать!.. А ты на меня глазами не сверкай. Не испугаешь!

— У-у, га-ди-на!

Ты заорал не помня себя, потеряв самообладание, со сжатым кулаком угрожающе подлетел к ней, стояв-

шей перед тобой с нескрываемым вызовом. Потом, много позже, во всех подробностях вспоминая этот страшный миг, ты каждый раз с ужасом думал, что бы могло произойти, не скрипни в тот момент дверь у тебя за спиной. Услышав этот скрип, ты опомнился, поспешно разжал кулаки. Из-за медленно приоткрытой двери сначала показалась модная женская сумка. Владелицы редкой, из крокодиловой кожи сумки с серебряным ободком, со звонко щелкающим замочком еще не было видно, но ты уже весь сжался внутренне: «Тебя не хватало!»

Старая франтиха не спеша вошла, сделав один шаг, остановилась у порога. Глянула на раскрасневшуюся, возбужденную дочь, потом на хмурого зятя. Из-под жестких, как иглы, ресниц мелькнула злорадная усмешка:

— Почему так мрачен твой передовик труда?

— Видишь... храбрый стал... кулаками размахивает...

— О, ужас... ужас! Говорила тебе... от него все можно ожидать. Убьет когда-нибудь он тебя!

Что ответила ей Бакизат, ты не расслышал. Взбешенный, пнул дверь, выскочил из дома. В тот день вернулся ты поздно. А на утро следующего дня махнул на все рукой и уехал к устью Сырдарьи. И вот теперь, спустя месяц, вернулся оттуда исхудавший, обросший, истомившийся по жене и детям. Как торопился, на крыльях летел домой, вот и прилетел...

Ты горько усмехнулся. Все как в той песне: жизни конец — как старой шкурки лоскут, изгрызенной псами. Помнится, отец в час печали, задумчиво перебирая струны домбры, прижатой к груди, всегда в одном и том же месте негромко хмыкал, бывало, и еще тише, как бы про себя, все повторял эти грустные строки. Да, так уж устроен этот бренный мир, что все в нем имеет свой предопределенный конец... Всегда никчемный, жалкий и печальный конец. Еще недавно плескалось, ревело под боком безбрежное синее море — а что увидят твои потомки через одно-два поколения, если уже и тебе выпала скорбная участь видеть начало его агонии?

И опять ты поневоле усмехнулся. Вон у ног твоих покорно лежит твой последний след, неровной цепочкой протянувшийся по девственно чистому снегу. Да, твой последний шаг... точно загнанная лошадь, рухнувшая под путником. И только сейчас тебе вдруг по-

настоящему ясно открылось, что во всем последнем не было и нет будущего, а есть только прошлое, навеки минувшее, невозвратимое. Как одержимый метался ты всю свою жизнь зимой и летом по морю за рыбой, словно за необъезженным скакуном по степи. Обремененный заботами, невзгодами и нескончаемым человеческим долгом, ты, оказывается, до сих пор не имел возможности оглянуться по сторонам.

Все то, чем ты жил вчера, напрочь забывалось сегодня. И радости, и горести прожитых лет в суете и хлопотах будто исчезли, запропали неведомо куда, неведомо где, словно медяк в дырявом кармане нищего. И вот очутился наконец ты на открытом всем окаянным ветрам, скованном льдом и пустынном море перед рыбачьим аулом на круче — стоишь теперь один-одинешенек, точно отбившийся от косяка старый кулан. Стоишь, и в горестные минуты самобичевания и сожаления в голову тебе лезут покаянные мысли, одна докучливее другой. Все давным-давно прошедшее и позабытое сейчас вновь оживало длинной вереницей воспоминаний. Но, ожив, они, эти воспоминания, почему-то вместо радости причиняли тебе одни горести, печали, бередили, терзали твою душу, рвали, как голодные щенки рвут сосцы отощавшей суки... Нет, ты не стал отталкивать, отмахиваться от них. Наоборот, с каким-то необъяснимым мстительным чувством весь отдался им, как бы даже при этом злорадствуя: «Ешьте, рвите, терзайте! Не оставляйте на мне живого места!..» Отдался, испытывая болезненное и какое-то жутковатое наслаждение от невыносимой боли.

* * *

С улицы доносился топот копыт и скрип полозьев, ты поначалу прислушивался, потом неожиданная догадка точно подбросила тебя на диване, и ты торопливо приник к окну. За окном сгустел ранний зимний сумрак, и с трудом просматривался большой дом на той, противоположной стороне улицы. Там было оживленно: все четыре окна большого дома были ярко освещены, за легкими шторами то появлялись, то исчезали человеческие тени. Вот кто-то, спотыкаясь от чрезмерного усердия, бросился к воротам, распахнул их. Другой, суетясь и тоже отчего-то спотыкаясь, поспешно ввел под уздцы пару лошадей, запряженных в сани. Значит, приехал! Значит, Сары-Шая был прав! По-

добный переполох случается в соседнем доме лишь тогда, когда он приезжал. Только он приезжал раньше средь бела дня. Приезжал не один, а с большой свитой, с помпой. На сей раз не видно ни сопровождающих, ни легковых машин, которые прежде, бывало, лихо проносились по аулу, будоража земляков и резко тормозя перед этим большим домом по ту сторону улицы. Скромный приезд влиятельного родственника, видать, чем-то озадачил тут всех. Несколько сбиты с толку, смущены более чем скромным приездом своего именитого родственника.

Ты отошел от окна. Сутулясь от смутной тяжести в душе, сделал один шаг и остановился, увидев фотографию на стене. Не любил ты этой фотографии. На ней Бакизат перед Новым годом, должно быть где-то за городом, в горах. В горном чистом воздухе замерли в сугробах низкорослые раскидистые яблони. Ветки облеплены тяжелым снегом. Бакизат, тогда еще студентка, разгоряченная и счастливая, пригнувшись, чтобы нечаянно не задеть заснеженные ветки, забралась под дерево, плечом приникла к стволу. Большие влажные глаза блестят радостью и лукавством и поминутно беспокойно косятся в сторону, будто ища там кого-то... и в тот далекий миг кто-то там, подкравшись сзади, потряс дерево так сильно и неожиданно, что густой снег, сорвавшись с ветвей, обдал девушку. Но это, видно, ничуть не осердило ее, наоборот, доставило удовольствие, и вся она, сияющая и счастливая, заливалась смехом, обнажая ровный ряд белых зубов. Вот это мгновение поймал и запечатлел фотограф. Каждый раз, глядя на этот снимок, ты не обращал внимания, даже не задумывался о том, какое это было место в горах, на кого так задорно косилась Бакизат, — да, кто этот озорник, посмевший подкрасться к ней тайком и осыпать ее снежной пылью с раскидистой яблоньки?.. Однажды ты забежал домой на обед; в доме никого не было, мать шебуршила на кухне; ты от нечего делать остановился перед фотографией и, впервые взглянув на нее внимательно, разглядел, что за счастливой смеющейся Бакизат определенно кто-то стоит, — правда, самого-то его не видно, в кадр попала лишь кисть руки в замшевой перчатке... У тебя мгновенно вспыхнули уши. Все стало вдруг настолько ясно и явственно, что ты будто даже услышал знакомый тебе торжествующий смех счастливчика, довольного тем, как ловко

он перехитрил девушку. Со всей ясностью видел этих расшалившихся, опьяневших от близости рук и губ девушку и джигита, азартно игравших в снежки, счастливым смехом оглашавших солнечно-снежные предгорья... От этого видения тебя бросило в жар. Не помня себя, сорвал со стены фотографию, разорвал в клочья, выкинул в окно и уехал. Целую неделю пробыл у рыбаков, промышлявших у мыса Боз-Бие. А когда вернулся, увидел на стене в гостиной, на том же самом месте, точно такую же фотографию. И ты промолчал, лишь старался больше не смотреть туда. Теперь тебе опять неодолимо захотелось сорвать ее со стены, выкинуть... Но зная, что Бакизат... Да где же она? Почему ее долго нет? Или, может, зашла к матери? Хотя в душе этому сам не верил, но отчего-то желал, чтобы это было так. Хотел спросить у дочки. Ты видел, как она давеча пришла из школы. Верная усвоенным с пеленок правилам, как всегда, раздевалась в прихожей, сняла сапожки, надела тапочки, потом накинула поверх платья кокетливый халатик; проходя в свою комнату, на мгновение задержалась у зеркала, оглядела себя, как бабушка-франтиха, с ног до головы, поправила волосы на правом, потом на левом виске, после чего прошла к себе, плотно закрыв за собой дверь. Больше не показывалась. Ты был уверен, что эта крошка, исполненная собственного достоинства, сидит сейчас наверняка за своим крохотным письменным столиком у окна при свете крохотной настольной лампы и делает уроки. Не веришь — войди к ней. Она даже не обернется на скрип двери, подойдешь ближе — не шелохнется. Ты будешь говорить ей ласковые слова — она с недетской выдержкой упрется глазами в книжку и бровью не поведет. Вот-вот, не она к тебе, а ты к ней тянешься, ластишься, не зная, как подступиться. И всякий раз, осознав свое глупое положение, ты, смущенный и даже как будто пристыженный, убираешься поскорее восвояси. И уходя, осторожно прикрывая за собой дверь, еще раз оборачиваешься: не подкупленным столиком все в той же застывшей позе. И всем своим видом в который раз торжествует победу над посрамленным родителем, не сумевшим хоть сколько-нибудь поколебать ее крохотный гордый мирок...

С улицы доносились возбужденные голоса. Видно, аульчане только что узнали о приезде из столицы име-

нитого земляка и теперь стекались отовсюду. Ты все недоумевал, по какой такой причине решил он приехать без помпы, без сопровождающих, так тихо, скромно, под покровом ночи? Все это неспроста, есть тут свой секрет. Но ка-кой?

Неспокойно было на душе, и ты начал ходить по комнате, возбужденный и злой. Вспомнил опять Сары-Шаю. Вот уж если кто что и знает — так это он. В этом ты даже не сомневался. Обычно ты его из дому едва ли силком не спроваживал, а сегодня он, как назло, исчез... Где шляется?

На краю аула яростно залаяла собака. Вслед за ней всполошились другие, собачий лай нарастал, валом катился по улице. Лаяли с остервенением, злобно, будто преследовали ненароком забредшего в аул зверя. Вдруг послышался совсем рядом. Не успел ты оглянуться, как что-то грохнуло и дверь резко распахнулась. «Прочь! Прочь! Живодеры!..» — вопил Сары-Шая, вваливаясь в дом, все еще отбиваясь, отмахиваясь полами чапана, бледный, трясущийся от страха и злобы.

— Что стряслось?

— Это не аул, а псарня... расплодилось собак. Попомни мое слово, скоро вас всех живьем... сожрут! — Сары-Шая плюхнулся у двери. — Говорил же вам на... Предупреждал... Истреблять надо. Ну, теперь-то убедились, будете принимать решение правления?

Шаке, очень кстати пришли, — впервые за много лет искренне сказал ты.

Сары-Шая насторожился. Сделал к тебе шаг, потом еще шажок, даже будто на цыпочки привстал, вытянулся, уставился на тебя желтыми кошачьими глазами — и смотрел не мигая, в упор. И наконец отвел взгляд, видимо соображая про себя что-то, злорадно хмыкнул.— Ах, вон оно что, дружок!.. Ждал, значит!

— Сюда, Шаке, сюда... присаживайтесь...— ты учтиво поддерживал родича под руку.

Но Сары-Шая строптивился, упрямо тянул в другую сторону.

— Где моя белоликая женеше? — громко воззвал гость.

— Чего орешь, дурень... будто тонешь?! Ребенка разбудишь!

— Здесь, значит? Ты, конечно, женеше, без ласковых слов своего деверя не принимаешь?

— Да ну тебя, оборотень!

— А-а? Что?— Сары-Шая, ловко сложив ноги, плюхнулся рядом со старухой и, достав из-за пазухи какую-то блестящую штуковину на шнурке, поднес ее ко рту.

— О аллах, это еще что такое?

В последние годы Сары-Шая жаловался на тугоухость, и недавно съездил с попутчиками в город, обзавелся слуховым аппаратом. И с тех пор он один конец шнура втыкал в откушенное когда-то Кошеном ухо, а блестящую железку на другом конце, проворно извлеченную из-за пазухи, совал под нос каждому, кто ни говорил. Его неизменно поражало и забавляло, как это крохотная блестящая железка могла так усиливать человеческие голоса.

— Белоликая моя женеше... Что с тобой, вроде чем-то омрачена?

— Люди добрые ко сну отошли, а ты, бедная головушка, как неприкаянный по аулу шастаешь, собак баламутишь...

— Дела, милая женеше, дела-а... Как видишь, дела покоя ногам не дают.

— Добро бы начальником каким был, а то ведь бездельник известный... да и людей смущаешь.

Щелкнул аппарат. Слова старухи, едкие, как укус тарантула, мгновенно заглохли. Сары-Шая прижмурил глаза и будто отключился от всего на свете, став сразу глухим и немым. Потом, как бы очнувшись, обернулся к старухе:

— А что, сын твой в начальники меня произвел, а я не справляюсь?

— Вот чего захотел?

— А что я, хуже других? Ты только назначь — запросто справлюсь. Мало того, табунным жеребцом оберпусь, спереди подойдешь — загрызу, сзади подойдешь— лягну... Ты, женеше, лучше подскажи своему щенку, чтобы он меня, сородича, возле сердца своего держал. Я человек скромный, довольствовался бы пока местом продавца.

— Брось! Уж мы-то знаем, как ты разворачиваешься... — старуха, махнув рукой, засмеялась.

Помнится, как перед войной Сары-Шая целых три месяца был продавцом в магазине. Семья его вечно нищенствовала. Весь в прорехах и заплатах, его дом чуть ли не на следующий день после назначения всем на удив-

ление сразу засверкал, залоснился от богатства. Изменился и сам Сары-Шая. Разъезжая по аулам, он предпочитал останавливаться на ночлег только в тех домах, где постель была чиста, пища вкусна, а хозяйка смазлива. Люди приходили в замешательство: «Ойбай, жена, стели перину, взбивай подушки. А то этот шельма нынче, говорят, на простую подстилку и не сядет, стал разборчив». Днем аульные бабы шушукались и завистливо пялились на разнаряженную, павой прохаживающуюся по улицам жену продавца, а по ночам снились им ворсистые ковры на стенах, широкая никелированная кровать с пышными перинами. И вот вдруг весь рыбачий аул всполошился от недоброй вести: у продавца обнаружилась недостача. Мигом опустели дом и двор, словно после грабежа. По чужим рукам пошло богатство, по соседям да перекупщикам порасплылось добро, и если бы не помощь добрых аульчан — не выкрутиться бы самому Сары-Шае. Но вскоре он неведомо каким образом очухался, почистил перышки и опять вошел в тело. И снова в ауле на каждом углу шу-шушу да гу-гу; люди с завистью поговаривали о несметном богатстве продавца, о его разнаряженной супружнице, о еде-питье да житье-бытье и снова откуда ни возьмись ревизия. Растрата на этот раз оказалась и вовсе непостижимой... И опять уплыло добро по соседям, быстро по рукам пошло все его богатство. После всего этого стоило, бывало, Сары-Шае хоть малость обарахлиться, как рыбачий аул посещало опасение: «О, аллах, храни беднягу от напастей, как бы не загремел в каталажку...»

Старуху разбирал смех, никак она не могла его унять:

— Продавец нашелся!.. Так наторгуешь, что зад прикрыть будет нечем.

— Ну, тогда... пусть твой сын меня на первых порах рабочкомом поставит.

— Это еще что такое? Разве и там есть что хапнуть?

Сары-Шая, щелкнув, выключил аппарат и с отсутствующим видом воззрился на потолок.

— Ишь ты, захотел над народом покуражиться?!

— Ну и что, если покуражусь? Чем я хуже остальных? Разве только тем, что они везучие, а я нет? Или тем, что руку крепкую наверху имеют, а я нет? Или тем, что взятками подкупают, а я нет? Попомни, женеше, умишком-то своим я не скуднее их.

— О, бедный! Выходит, и у тебя горестей и печали хватает.

— Не говори, женеше. Как ни толкуй, а наверх нынче лезут не умом, а поддержкой, связями! Даже вон твой сын, скажи, чем он лучше меня. Растяпа, мямля, тюфяк, можно сказать, а смотри, — и тот благодаря связям сватов вылез, и теперь козлом бодливым по нашим головам ходит... — мстительным сухим смешком рассыпался Сары-Шая. Видно, нелицеприятные слова старухи больно задели его. Он поднялся с трудом, держась за поясницу. Шаркая ногами, весь сгорбленный, помятый какой-то, доплелся до следующей комнаты, где его нетерпеливо поджидал ты. Вздыхая, кряхтя, опустился на вдвое сложенное одеяло. Пришибленный, недовольный, он долго молчал, смежив равнодушно веки. Ты поглядывал на него, выжидая: может, сам скажет о припожаловавшем из столицы госте. Сары-Шая, однако, медлил, щупал редкие волосенки на подбородке, словно хотел удостовериться, на месте ли они. Ты стал выходить из себя и в нетерпении начал пальцами пощелкивать. Кажется, только тут он вспомнил о тебе и приоткрыл сперва один, потом другой глаз:

— Слышишь, у тебя суставы стреляют? Плохо... Ой, как плохо. От простуды это. Шутка ли, всю жизнь на воде!.. Летом непременно съезди на грязи.

Ты вскочил точно ужаленный. Но Сары-Шая тотчас поймал, дернул тебя за штанину — не ерепенься, мол, садись... И все же, как ни сдерживал ты себя, но гнев и досаду, объявшие тебя, скрыть не мог и проронил, скрипя зубами:

— Знаю и чую, не зря сюда притащился. Ну, давай, выкладывай...

Сары-Шая, не расставаясь с подушкой под мышкой, повернулся было на левый бок, но дернулся, будто в локоть вонзилась заноза, и снова растянулся на правом боку.

— Откуда мне знать, что тебя интересует?

— Не знаешь, значит? А приходишь в баню, будоражишь людей...

— Вот о чем ты?! — И понимающе захихикал. — В бане не хотел слушать меня. Но теперь убедился, какой он жук? Видишь, без свиты примчался, еще и под покровом ночи, как нечистая сила... — он все с той же подушкой под мышкой подъелозил ближе к тебе, потянулся к уху.

Ты поморщился, понимал, теперь он будет придвигаться все ближе, теснее, шептать все таинственнее и жарче, оглядываясь и приникая к самому твоему уху.

— Все это потому, что их здесь много, а нас мало. Смекнул теперь? Завтра на общем собрании колхоза прокатят тебя и поставят баскармой Заику-Бадыка. И, как говорится, тихо и мирно обтяпав со своими это дельце, он тотчас без шума уедет к себе. Ну скажи, сам-то что против них предпринимаешь?

Против кого?

— Не хитри. Знаю! и ты не сидишь сложа руки. Заслал своего лазутчика к ним и выжидаешь теперь у них под боком. Нет разве? — Сары-Шая, заговорщицки подмигнув, мелко захихикал.

В горле у тебя вдруг пересохло:

— Что ты мелешь? А ну, говори... какого там я лазутчика к ним заслал?

— Будто не понимаешь? Конечно, ты прав, благоразумнее держать язык за зубами. Лучше, ты тогда скажи...

— Нет, ты погоди... ты скажи мне...

Нет, ждать не буду,— вдруг взбунтовался Сары-Шая. — Оу, зачем я должен ждать? Не желаю! Нас, ойбай-ай, этот столичный хлыщ хочет среди бела дня лишить счастья-удачи, и я еще должен ждать чего-то?! Не сам ли господь бог говорил людям: «Эй, вы, рабы мои, хоть я и всемогущий, но и у меня этих благ не безграничный мешок. Я не столько даю, сколько перераспределяю между вами то, что имеете...» — когда он видел, что ему не внемлют и нечем пронять бестолкового слушателя, обращался либо к Корану, либо к кодексу. — Подожди, говорит!.. Оу, с какой такой стати я должен ждать?! Ты оглянись-ка вокруг. Кто не мечтает о власти?

— Так ведь на всех и власти не напасешься...

— То-то и оно! Потому-то и сыр-бор.

— А сыр-бор всегда кончается дракой — это не знаешь?

— Ну и что? За власть и подеремся! Схлестнемся! Надо будет, в кровь измордуем друг друга. Почему я, живой человек, должен без драки уступить долю? Ты, дружок, не думай, что сидишь невысоко. Жителям этого захолустья, знаешь, кресло баскармы ничуть не хуже царского трона. Да-да! И нечего рожу кривить. И не мотай головой. Хочешь знать, для нас ты — царь. За кресло баскармы мы должны как за трон держать-

ся. Держись руками и ногами... да и зубами тоже!

Ты уже злился на себя. Зачем искал встречи с ним?! Какого дьявола тянул на откровенность? Разве в доброе время в ауле кто-нибудь замечал его, а теперь, словно шишка на ровном месте, на каждом шагу мозолит глаза. Идешь в контору — он уже у двери, в щель нос сует. Приходишь домой — и он приплетается следом, рассядется, назойливой мухой в ухо жужжит. На собраниях опять-таки наперед всех руку тянет, на грибуну лезет. Должно быть, неспроста в народе поговаривают, будто Сары-Шая—отросток от корня, жившего некогда в этом краю баламута Судр-Ахмета. Может, и вправду приходится каким-нибудь внучатым племянником. Ты ничуть не удивишься, если даже скажут, что Сары-Шая не то что с Судр-Ахметом—с самой лисой состоит в родстве.

— ...Всевышний милостью своей тебя не обошел. Посуди сам, в нашем роду и стар и млад не смеют перечить тебе. Прикажешь: «Встань!» — любой встанет, скажешь: «Ложись!» — ляжет... Да чего там! Скажи: «Умри!» — и любой... из нас...

Тут Сары-Шая спохватился, подумав должно быть: «А не слишком ли я загнул?» —и озадаченно почесал редкую щетину на виске.

— Ну-ну... договаривай, братец! Выходит, если я скажу: «Умри», и что...

— Астафыралла!.. Помилуй аллах!—прошептал Сары-Шая, суеверно хватаясь за грудь, будто кто силком толкал его на смертный грех.

— Чего испугался? Сам ведь только что сказал...

— Да, сказал!.. И от слов своих не откажусь. Ради своего повелителя какой смертный не жертвовал головой?! И мы ради тебя готовы в огонь и в воду. Перед тем, как прийти сюда, я обошел всех наших людей. И всем сказал, всех наших братьев, сватов, близких и дальних родичей предупредил: «Пришла пора действовать. Будьте начеку. Без драки не обойтись!..» Вот так, дружок!..

Ты, багровея, медленно вставал. Торопливо поднялся и Сары-Шая:

— Только возглавь нас. Веди нас! Мы этих сукиных детей в порошок сотрем.

— Сотрем, значит!

— Да, сотрем. Еще как...

— Да ты... ты против кого задумал идти?!

— Как «против кого»? Разумеется, против них... Они,

понимаешь, до того обнаглели... бога забыли, хозяевами тут себя считают. С-суки!..

Тебя трясло. «О, безумец! О, ничтожество! Ну, скажи... скажи, паскуда, посеяв раздор между рыбаками, чего... какого ты своего высшего идеала достигнешь? Мало было разве и до тебя разных там безумцев и глупцов, которые не жалели сил, чтобы расчленить, как баранью тушку, и без того малочисленный народ, искони обитавший на этом суровом клочке земли? Неизвестно разве тебе, паскуда, что самые недальновидные наши предки из-за вечной вражды, бесчисленных междоусобиц, драк и дрязг поделили, казалось бы, неделимую казахскую степь на три жуза? А кое-кто из их процветающих ныне шустрых потомков — дай только им волю и власть в руки — не моргнув глазом отторгнули бы и теперь три жуза друг от друга. Не задумываясь, разместили бы их на трех разных континентах, чтобы потом сподручнее им было посылать оттуда друг другу отравленные стрелы».

— Значит, ты... ты... подня-л людей?

— Да, Жадигержан, готовы мы. Веди нас, возглавляй! Люди наши готовы на бой, на драку.

— Кровь пролить, да?

— И кровь прольем. Устроим им разгром. Понимаешь, эти сукины дети из рода Тлеу-Кабак возомнили себя хозяевами. Земля тут ихняя и море ихнее. Значит, и правда ихняя. Решили по нашим головам ходить. Растоптать, посрамить честь нашего славного рода Жакаим...

«О, гнида, мразь, тебе неизвестно, конечно, что когда наши отцы и деды в то крутое, перековавшее мир время пошли за храбрыми русскими сынами на смертельный бой за свободу, равенство и братство, они ведь выступали и против постыдного понятия жуза?» Велико, неодолимо было искушение двинуть кулаком по роже желтоглазой твари.

— О, нас-ку-да!..

— А?! Что ты сказал? Ну, милок... давай, давай, договаривай...

От обиды ляпнуть-то он ляпнул, но тут же осекся, перетрухнул, когда увидел надвигающегося на него чернее тучи детину, и невольно отшатнулся, отступил к двери. Но его сграбастали... «Эй, эй!.. ойбай, взбесился, пес!..» — заверещал насмерть перепуганный Сары-Шая. Между тем ты пнул дверь, выволок его на улицу.

— Да побойся бога... он хоть и пес, а родственник твой... Ведь твоему отцу двоюродный брат! Отпусти!— запричитала мать.

Ослепленный гневом, ты ничего не слышал, повернул Сары-Шаю лицом к его дому на краю аула, толкнул изо всех сил:

— Катись отсюда! Чтоб духу твоего не было!..

Заплетаясь ногами, покатился Сары-Шая:

— Ах, нечестивец... Ты еще попомнишь... попомнишь меня. Чтоб тебе на том и на этом свете. Прочь! Пшел, пшел! — и Сары-Шая начал руками и ногами отбиваться от своры собак, тут как тут появившейся откуда-то.

Тебя мгновенно как будто холодом обдало. Душа ныла, маялась. Долго не мог успокоиться, стоял, озираясь по сторонам на тусклые огни аула. В некоторых домах, потушив свет, легли спать. И школа давно погрузилась в темень. Только в соседнем доме напротив плескалась через край радость. И сам дом ходил ходуном. Во всех четырех окнах, обращенных на улицу, по-праздничному ярко горел свет. Людно, шумно было во дворе. Кто-то гремел у котла. Кто-то разжигал самовар. Кто-то с надсадным хаканьем колол дрова. Кто-то что-то волок, кряхтя и отдуваясь. Кто-то кричал на кого-то, отдавал распоряжения, посылал за чем-то, наставлял. Вдруг многоголосый шум и гам перекрыло болботанье косноязычного хозяина. «Я го-говорю... — поторапливайся, го-ворю... Скорей вари, го-говорю... А ты, го-говорю... б-бестолочь безмозглая, го-говорю. Ты не почешешься, говорю, пока... по-по-по...» Это и есть тот самый Заика-Быдык, о котором давеча говорил Сары-Шая. Интересно, как бы он руководил колхозом?

Направляясь в дом, ты все еще поглядывал на чужое веселье напротив, был доволен тем, что выгнал Сары-Шаю. Уже почувствовал было облегчение и даже душевное успокоение, как вдруг будто споткнулся обо что-то, застыл. Сердце екнуло, когда взгляд упал на крайнее освещенное окно, где в этот момент показалась молодая женщина с тяжелым узлом волос на затылке. Она появилась откуда-то из глубины комнаты. Ее четкая тень легла на белую шелковую штору, залитую светом люстры, как бы снисходительно позволяя полюбоваться своей изящной фигурой и тем, кто глазел на нее с улицы...

«Она!.. — Тебя кипятком ошпарила страшная догад-

ка. — Вот куда ты торопилась!» Будто ожидая уединения молодой женщины, тут же подошел к ней стройный мужчина. Казалось, и женщина ждала и была рада их интимному уединению, вся доверчиво подаваясь к нему...

Ты зажмурился, даже затряс, замотал головой, желая, чтобы сгинуло это кошмарное наваждение, а когда снова открыл глаза, то увидел на белом шелковом полотне, как, запрокинув вверх, к статному собеседнику лицо, женщина ласково дотронулась до его рук и что-то, должно быть, ему сказала... Явь или сон это? А может, всего лишь видение или плод больного воображения, навеянного намеками Сары-Шаи.

Только сейчас почувствовал, что ты весь в холодной испарине. Вытирая пот ладонью, ощутил, как мелко-мелко дрожат пальцы. И все твое тело колотило этой противной дрожью. «Неужто заболел?» — мелькнула недоуменная, беспомощная догадка.

— Не Азим ли приехал?.. Что-то больно шумно в том доме...

— Не знаю, апа... Может, и он. Все может быть...

— Если он, то сходи!

— Спала бы ты, апа.

— Сходи, сынок. Как-никак, друзья ведь, одногодки.

— Нечего об этом, апа. Легла бы... — ты начал раздражаться.

Старуха пристально посмотрела на сына. Пронзительные глаза старой женщины, казалось, в самую душу тебе заглянули. И даже после того как мать, ничего не сказав, вышла, ты не сразу пришел в себя. Тебе казалось, что проныра Сары-Шая все уже успел нашептать матери. Уже по тому, как он нахально ввалился сюда, как с порога завопил: «Белоликая моя женеше!..» — можно было предположить, что паскудник не зря пожаловал. И вполне возможно, что все сомнения и подозрения, голодным псом рвавшие душу твою, для него давно уже не тайна. Ну, конечно же, все успел пронюхать. Хоть и не говорил прямо, а кружил намеками, многозначительно ухмылялся, расспрашивая о некоем тайном соглядатае... Быть может, расспрашивал для отвода глаз, так себе, для насмешки... Да разве была случайной на его рыжем голом рыльце эта гаденькая улыбка, разве не смеялись над тобой эти кошачьи, подстерегающие каждое твое движение глаза... «Ах, оборотень! Да тебя бы не то что вышвырнуть... Надо было задушить, вырвать жало твое...»

* * *

И вот стоишь теперь столбом посреди комнаты. Тебя продолжает знобить, лоб и ладони покрылись липкой испариной. Всплыло давнее подозрение: «Может, болен?» Ты не придавал значения своим недомоганиям, а вот Бакизат с некоторых пор замечала в тебе некие странности. «Ты почему все время вбок косишься? Случайно, не болен?» — спрашивала она. Ты отмахивался: «Вздор, с чего ты взяла?!» Однажды ты отправился с ней в степь, в аул верблюжатников. Шофер-бала, на ходу обвязав голову полотенцем, перед этим улизнул на чьи-то поминки, и ты не стал ждать его, сам сел за руль. Всю дорогу ты был не в духе, подавлен: угнетал вид который уж год выгоревшей дотла, безжизненной степи. Озабоченный и удрученный увиденным, ты все время оглядывался на степь, совсем забыв про свою жену, которая сидела рядом и неотступно следила за тобой. Неизвестно, сколько прошло времени, ты вдруг почувствовал толчок в бок: «Эй, Жадигер... Почему ты все время влево косишься? Тебе что-то там мерещится? Может, какое видение преследует тебя там... слева? Вообще, ты не болен? Я забыла, как это называется, но, по-моему, это симптом какой-то психической болезни. Не мотай головой, я серьезно. Слушай, ты непременно должен показаться врачу...»

Тогда тебе все это показалось бабьей блажью, не больше, и потому ты добродушно рассмеялся. А сейчас вдруг подумал: может, и впрямь нездоров? Ведь уже до того дожился, что немудрено и свихнуться. Постой, постой... С какой стороны сейчас почудилось ему это видение в окне? В самом деле, справа или слева? Кажется, и на сей раз слева... Д-да, слева, это уж совершенно точно. Сон ли дурной, или явь... или, может, впрямь какая душевная хворь, червоточинка в тебе?!

Голова раскалывалась. В каком-то забытьи дотронулся ладонью до лба — да, испарина, жар... Горели то ли ладони, то ли лоб, не понять. «Выходит, болен. Говорят, когда человек *этим* заболевает, сам он того не замечает, не чувствует...» — буравила одна и та же мысль. Этого только не хватало. В следующую поездку в район ты обязательно... должен показаться знакомому врачу. Непременно.

* * *

Да, родились вы действительно в один год. В одном ауле. Росли вместе. Вместе и аульную десятилетку закончили. Вместе попытали счастья в институте, и оба провалились на первом же экзамене, вернулись домой. В тот же год забрали обоих в армию. Отслужили положенный срок, друзья опять, чуть не день в день, увидели небесно-синее море, веками дремлющий Бел-Аран, родной, пропахший рыбой и степью аул... И еще немалое потом время шли бок о бок по дорогам молодости, каждый по-своему, в меру своей прыти гоняясь за птицей счастья. Но не век же идти вместе, разошлись ваши жизненные дорожки. Азим, окончив институт, остался в столице, а его, Жадигера, судьба вернула назад, в аул. Тот с первых шагов начал делать головокружительную карьеру, в которой ты, впрочем, никогда не сомневался. Да, уже в те далекие послевоенные годы стройный, по-девичьи красивый мальчик заметно выделялся среди вас, дочерна загорелых, не больно уж смышленых, стеснительных. Еще со школьной скамьи все ему удавалось поразительно легко, хватал на лету и потому, уверенный в себе и своих способностях, особенно не корпел над учебниками, как другие. От природы независимый, он и на людях, везде, где только мог, становился заводилой, всюду бывал на виду, лез напролом, и на светлом, с горящими щеками лице его всегда дерзко, вызывающе поблескивали большие карие глаза. Где нужно было петь — он, не робея, распевал громче всех, а там, где по кругу ходила домбра, — опять-таки яростнее других хлестал-наяривал по струнам. А позднее, когда в ауле стали затеваться доселе неведомые в этих краях танцы и несмелые подростки робко жались друг к другу по углам, он первым безбоязненно выходил в круг. Если же случался ненароком конфуз — ну, скажем, сорвется вдруг голос и девицы прыснут, стыдливо пощипывая себя за вспыхнувшие вдруг щечки, — он и тогда ничуть не смущался, а наоборот, сверкнув глазами, бодро приговаривал: «Ничего-о... бывает. Зато в другой раз такое выдам — ахнете!» И действительно, в следующий раз он и пел, и наигрывал, и плясал так, что все только ахали. За все десять долгих лет учебы в школе никто из детей не помнил случая, чтобы он поддавался унынию или сомнениям. Азим неизменно верил в себя, в свою звезду. Был у них в школе, помнится, преподаватель истории, которого все

жутко боялись. Особенный страх наводил его правый, стеклянный глаз (свой он потерял на фронте); и вот этим неподвижно-упорным и, казалось, всевидящим оком он пронизывал насквозь, когда спрашивал урок. Когда, бывало, проходили Петра Великого, учитель истории приходил в класс в рыбацких, с длинными голенищами сапогах и, объясняя тему, ходил по классу на своих журавлиных ногах крупно и размашисто — точь-в-точь как царь-работяга на корабельной верфи... А когда приходила пора наполеоновским походом, этот странный человек надвигал на лоб неизвестно где добытую широкополую черную шляпу, надменно скрещивал на груди руки и так мрачно и сурово, исподлобья вперял стеклянный глаз в притаившихся за партами и без того не дышавших учеников, что, казалось, это сам французский император воскрес и объявился вдруг на захолустных берегах Арала, чтобы нагнать страху на тамошних сорванцов... Двойка по истории воспринималась тогда как величайшее несчастье. Но и получив «пару», юнец с горящими на светлом лице задорными карими глазами не шмыгал носом и не опускал голову, как все другие, а дерзко заявлял, что уж на следующий-то урок, когда будут проходить крестьянское восстание, он обязательно отхватит пятерку. И ведь отхватывал!

В те годы среди своих сверстников выделялся он не только сообразительностью и находчивостью, но и смелостью. Когда вместе с несколькими сверстниками ты после долгих колебаний отважился поехать в Алма-Ату, твой друг в одиночку отправился в Москву. А когда ты вернулся в аул, провалив первый же экзамен и спустив до копейки все деньги, которые кое-как наскребла тебе мать на дорогу, оказалось, что и Азим уже дома. Но был он, как всегда, бодр и весел, а карманы его набиты деньгами. И в том давнем году родители, распекая незадачливых детей, обычно ставили в пример смышленого и везучего Азима: «Посмотрите на вашего дружка. Он хоть и не поступил, зато денег нагреб, не упустил своего!» В те годы Азим был простодушным. А от тебя и вовсе ничего не таил. Посмеиваясь, рассказывал он о своих приключениях в Москве. Денег, что дал отец на дорогу, ему тоже ненадолго хватило. Даже на обратный путь ни копейки не осталось. Вначале было растерялся, но потом быстро сообразил, что люди нынче и в радости, и в горести неизменно обращаются с письмами к вождю. И он тоже решил попытать счастья. Но

недавний выпускник аульной школы так и не мог вспомнить, с одним или двумя «с» пишется слово «Виссарион». Спрашивать у кого-либо было стыдно. Сбегал в киоск, купил газету и без чьей-либо помощи мигом разрешил свои сомнения. Ответ на письмо пришел незамедлительно: Азиму вежливо посоветовали обратиться в постоянное представительство Казахстана. Он кинулся по указанному адресу. Поджарый, узколицый мужчина средних лет без лишних расспросов протянул указанную сумму. Радостный Азим, едва ступив на порог общежития, увидел: рыжий парень на соседней койке хлюпал носом... Бедняга не иначе как провалился на очередном экзамене. Азим принялся было утешать его, но тут выяснилось, что у того попросту вытащили деньги. Незадачливый парень, приехавший из какого-то богом забытого уголка Дальнего Востока, сегодня утром топтался у газетного киоска, все любовался портретом прославленного военачальника на глянцевитой обложке журнала, и тут... дальше парень рассказывать не мог, захлебнулся от обиды. Азим даже похолодел. Рука сама невольно потянулась к карману. Он ведь тоже, возвращаясь радостным из постпредства, был у того киоска, тоже стоял и любовался пестрыми, как платья аульных баб, обложками. Слава аллаху, деньги оказались на месте.

На следующее утро Азим, недолго думая, предварительно натер до красноты глаза и вновь отправился по знакомому адресу. Вскоре он стоял перед вчерашним узколицым сотрудником постпредства, потупив глаза, потерянно шмыгая носом. «Агай... вчера... когда от вас вышел... хотел газету купить, и там, у киоска...» — начал он, подергивая плечами точь-в-точь как тот конопатый ротозей с Дальнего Востока; и узколицый, сразу обо всем догадавшись, вздохнул: «Эх, одно горе мне с вами, аульными растяпами!» И дал такую же пачку денег, что и накануне, при этом еще сочувственно погладив Азима по голове...

Рассказывая от этом, Азим встряхивал курчавой головой и, довольный, посмеивался: «Вот так-то, дорогой, я и столичных жуков вокруг пальца обвел. Ха-ха».

Да, уже и тогда не вызывало ни у кого сомнения: стоит только захотеть — и Азим всем может стать, кем только пожелает. При желании из него получился бы большой артист. Но он стал большим ученым. Имя его не сходит со страниц газет. На разных совещаниях не-

пременно выступает он. На его авторитет ссылаются люди.

Мир, однако, переменчив. В разгар лета, когда ты со своими людьми днем и ночью черпал в низовьях Амударьи одуревшую беглую рыбу, какой-то ученый опубликовал, говорят, статью, посвященную проблемам защиты природы. Ты ее пока не читал, но аульчане шепотом передавали друг другу, как тот ученый не совсем почтительно отозвался об Азиме. Ты знал, что Азим был всегда разумен и трезв... Тем более тебе было непонятно, как мог он ратовать за скорую гибель Арала, за то, чтобы раз и навсегда лишить его веками питавших источников — Сырдарьи и Амударьи. После того как соорудят железобетонные дамбы в устье двух рек, по его расчетам, должен убыстриться процесс усыхания моря. И тогда оно, лишенное естественного притока, терзаемое двумя палачами — нещадно палящим солнцем с одной стороны и иссушающим ветром с другой, обнажит свое дно за каких-нибудь там двадцать лет. Огромное морское дно сольется с пустынной аральской степью, и вот на этом благодатном месте добьются люди желанного изобилия: будут выращивать хлопок, рис, кукурузу, строить белокаменные агрогорода с широкими улицами и проспектами, а на площадях и скверах забьют фонтаны... И нынешнее поколение непременно получит возможность жить в этом облагороженном человеческим гением благодатном крае...

Как-то раз, приехав в Алма-Ату, ты узнал, что идет дискуссия по проблемам Арала. Обычно тяжелый на подъем, ты, однако, охотно сорвался с места, едва заслышав слово «Арал». Огромный зал оказался набит битком. В самом центре президиума, по правую руку Азима, восседал тучный, с черным, как чугун, лицом человек... Ты его приметил еще давеча, когда с десятка два людей высыпали из глубины сцены в президиум. Словно раскормленный кот, он увалисто и мягко семенил за Азимом, возглавлявшим шествие именитых ученых. При виде его ты встрепенулся. Ни с того ни с сего всплыл в памяти тучный жакаимец, в тесном и душном кабинете которого ты побывал в те незабываемые дни юношеских надежд и отчаяний. Поговаривали, будто он потом успешно защитил кандидатскую, перебрался в столицу. В самом деле, с тех пор прошло тринадцать лет, и за это время сколько ни бывал в районе, ты, однако, его ни разу не встречал. И

все же... все же никак не укладывалось в голове, как из того разморенного жарой и бездельем толстяка жакаимца мог выйти кандидат даже каких-то там наук. И уж совершенно невозможно было предположить, что не кто-то иной, а именно он, очутившись по прихоти благосклонной судьбы в столице, вознесется настолько, что может позволить себе так запросто сидеть рядом с самим Азимом и, мало того, вместе с ним вести за собой, точно архар-вожак, всю эту свиту ученых... Нет, это все-таки непостижимо! Ты, сбитый с панталыку, дивился несообразности жизни, не зная, верить ли глазам своим.

Азим, председательствовавший на совещании, заканчивал свое вступительное слово. Между тем рядом с тобой присел некто вертлявый. Маленькие пуговки-глазки беспокойно шныряли по лицам собравшихся. Но любопытство подмывало, спросил его, кто этот черный, с чугунным лицом, который сидит рядом с Азимом. «Так это же Жаке!» — ответил тот, с явным неодобрением скосив на тебя пуговки-глаза, как бы этим говоря: «Откуда ты такой взялся, что даже самого Жаке не знаешь?!» Ты малость сконфузился своей темноты, но, посидев немного, не удержался, все же наклонился к другому соседу, что с левой стороны. На нем был помятый костюм и такая же помятая сорочка с расстегнутым воротом. Он еще в начале совещания как сел, отвалившись на спинку стула, вытянув перед собой ноги и скрестив руки на груди, так и сидел с какой-то насмешливой гримасой на лице. Когда ты спросил, кто этот толстяк в президиуме, странный сосед слева хмыкнул, а потом не то насмешливо, не то с подчеркнутым почтением указал перстом в потолок и загадочно протянул: «О-о, тот са-а-мый!..» Два невразумительных, но явно разноречивых ответа двух соседей оставили тебя еще в большем недоумении.

Одно было очевидным: проблема Арала здесь всех задевала за живое. Стоило лишь зайти речи о судьбе древнего моря, как огромный зал загудел, не оставалось равнодушных. Мнения сразу разделились: одни убежденно считали, что Арал надо спасать, другие не менее убежденно твердили, что спасать-то вовсе не надо, а даже наоборот, ратовали за его непременную и как можно более скорую гибель...

И ты догадывался, что этот разговор начался не сегодня. Должно быть, эти страсти бушевали и раньше,

и не раз на других совещаниях и в других залах. Нынешнюю дискуссию начали противники Арала. После доклада один за другим выступили двое из них. А защитники моря пока выжидали, держались в тени. Многие были хмуры, и только у некоторых на лицах застыла, как у твоего соседа слева, насмешливая гримаса. «Неужели не найдется ни одного заступника Арала?» — подумал ты. Неспокойно стало от этой мысли, и, не находя себе места, ты стал озираться по сторонам. В это время из передних рядов резко поднялся поджарый, приятный с виду молодой человек. Он рвался к трибуне, на ходу поднимая руки и требуя слова. Его решительность понравилась тебе. Как ты и ожидал, голос у него оказался зычным, тон сердитым, и слова отскакивали точно короткими очередями, сотрясая воздух и отдаваясь в самых дальних уголках зала. Но с первых же его слов тобой овладело разочарование: выступал он как-то неопределенно и двусмысленно, явно стремясь угодить и тем и другим. Слушая его, ты дивился тому, как таким резко-сердитым тоном можно было говорить самые безобидные и пустые слова. Однако примиренческая проповедь бойкого оратора никого не устраивала, наоборот, раздражала, и без того накаленный зал шумел, топал ногами и самым бесцеремонным образом вскоре согнал его с трибуны. «Ну, так кто хочет слова?» — спокойно обвел глазами зал Азим. И ты нетерпеливо оглянулся вокруг, с надеждой задерживая взгляд то на одном, то на другом, наконец, на соседе, что справа, с маленькими глазками-пуговками, но он, донельзя возбужденный, не в силах был скрыть своей радости, фыркал. Тогда ты осторожно посмотрел на соседа слева: тот сидел по-прежнему, скрестив руки на груди, с застывшей насмешливой гримасой на бледном лице.

Азим еще раз оглядел зал и, по обыкновению, не спеша, приятным бархатным басом сказал: «Что ж... если нет желающих...» — но, не дав ему договорить, в тот же самый момент поднялся кто-то старый и, видно, тоже ученый. На лысой его голове над самыми ушами потешно взъерошились, словно приклеенные, пучки сивых волос. Мелкими, заплетающимися шажками он направился к трибуне. Взобравшись на нее, окинул взглядом сидящих в зале. Начал говорить не спеша, натужно постанывая, будто старая овца, которая никак не может разродиться: «Я принадлежу к той группе

ученых, которые, знаете... м-м разделяют в этом вопросе точку зрения академика Азима Азаматовича. Я лично уверен и даже... да, скажу больше... убежден, что его точка зрения... м-м... сугубо научная, и потому, м-м... знаете, единственно верная и правильная. Осушить Аральское море для развития и расцвета народного хозяйства в данном регионе... э-э... гораздо выгоднее, чем, скажем, э-э-э... сохранить его. И тут... м-м... возникает вполне законный вопрос: почему? Да потому, товарищи, что осушением Арала из-под моря освободится... м-м... пло-до-род-ней-ша-я площадь, равная... м-м... четырем миллионам гектаров. Не смейтесь, не смейтесь, товарищи... Я, знаете, докажу. Научно обосную. Имейте только терпение...»

Терпение, однако, лопнуло. Уже больше половины зала гудело. В задних рядах затопали ногами. Только теперь, после выступления лысого старика со взъерошенным пучком над ушами решительно схлестнулись наконец, как вода и пламень, два начисто исключающих друг друга мнения. И те, что еще недавно безразлично-хмуро помалкивали, откинувшись на спинки кресел, теперь враз выпрямились. То здесь то там тянулись нетерпеливые руки рвущихся к трибуне. Схватка завязалась... И ты воспрял духом. Сторонники Азима, как было заметно, особенно оживлялись и возбуждались, когда слово брал сухощавый, высокого роста молодой ученый. В этот день он уже дважды поднимался на трибуну. В третий раз председательствующий хотел было не давать ему слова, но в зале поднялся такой возмущенный шум, что Азим поневоле стушевался. Оратор был молод, но не по возрасту сдержан и степенен. Поначалу, правда, запинался и подыскивал слова, но вскоре речь его наладилась и потекла свободно, ровно, будто пробившийся наконец из глубины сильный и чистый ключ. Не раз, видно, передуманные, наболевшие мысли облекались в точные, внятные слова, мало-помалу наполнялись силой и страстью, накаляли зал, да и сам оратор, чувствуя эту поддержку, говорил все напористей, резче и возбужденней. «Море содержит более одного миллиарда тонн соли. После усыхания неминуемо произойдет интенсивная кристаллизация соли и подует беспощадный суховей, и тогда и без того сильный аральский ветер ежегодно будет обрушивать до пятидесяти тонн соли на один квадратный километр... Жаль, что вы не побывали там, — он при-

стально, сурово глянул в сторону лысого ученого мужа, — а то бы воочию убедились, как уже сейчас начали интенсивно деградировать прежние зоны оазисов и тугайные биокомплексы...»

Речь его захватила и тебя, и ты только диву давался: да откуда же этому молодому человеку стали известны все твои помыслы и тревоги? И когда он бросил в зал слова: «Само существование человечества в будущем в прямой зависимости от того, быть или не быть природе...» — ты, уже обо всем на свете забыв, вскочил с места и вместе с другими что есть силы забухал в ладони. Мало того, еще и не удержался, крикнул восторженно: «Айналайын! Коп жаса! Вот кто сказал так сказал! В самую точку попал...» И тут только почувствовал на себе недобрый взгляд справа. Ты растерялся было, но тотчас взял себя в руки и, обернувшись, глянул на него в упор. И, должно быть, так полоснул его взглядом, что тот не выдержал, потупился, буркнул что-то вроде: «Подумаеш-шь! Еще и глазами сверкает...»

А молодой ученый между тем сошел с трибуны и направился к своему месту в заднем ряду. Ему на ходу пожимали руки, одобрительно хлопали по плечу. «Здоровья тебе... долгих лет жизни, дорогой! Да минуют тебя беды и не собьют с пути соблазны, брат наш! Нет, есть, оказывается, еще заступники, есть радетели у моря».

На душе стало светлее, легче. Ты несколько успокоился, посмотрел в президиум, сперва на Азима, потом — на толстяка с чугунным лицом. Надо же, а?! Точь-в-точь набитый шерстью куль, странно сосед слева называет его: «Он самый!..» Ну, допустим, так оно и есть, но кто он все-таки тогда, черт побери, этот «самый-самый»? Уж во всяком случае не тот же старый твой знакомый, толстяк жакаимец. Тот ведь даже в своем кабинетике не мог усидеть, вскочил тогда как угорелый, погнался за зеленой мухой. А этот... нет, этот вроде умеет сидеть, за все время долгой и жаркой дискуссии не шелохнулся, как прирос чугунным задом к стулу. И только если кто-либо из смутьянов невзначай задевал Азима, толстяк мгновенно терял выдержку и не находил себе места: начинал ерзать, будто это не шефу, а лично ему причиняли боль... Наоборот, Азим держался превосходно. Сидел на виду у всех прямо, спокойно, устремив взгляд куда-то поверх зала. Не те-

рял хладнокровия, даже когда кто-то его резко задевал. Невольно тебя удивлял и восхищал вид этого исполненного благородства вальяжного мужчины, и как-то трудно было представить, что когда-то был и он всего-навсего бесхитростным, с открытой мечтательной душой мальчишкой-непоседой, которого покойный отец, бывало, грубовато пожуривал: «У, щенок проказливый!..» Что значит пообтереться на высоких должностях! Говорит степенно. Даже головой кивает по-особому, не кивает, а слегка наклоняет, как бы делая одолжение. И уж невозможно определить по невозмутимому лицу его реакцию на выступления ораторов, заметить его раздражение как речами противников, так и сладкой лестью сторонников. До тебя теперь дошло, что, наверное, большим искусством является не столько умение красиво говорить с трибун, сколько безупречное ведение собрания. А Азим управлял им, как опытный наездник горячим скакуном. И если ты хотел определить отношение Азима к речам тех или иных ораторов, то куда проще было сделать это не по нему самому, а по реакции его соседа с чугунным лицом. Не в пример Азиму, тот не умел скрывать ни радости, ни огорчения. И потому уже скоро ты наловчился довольно безошибочно узнавать, кто сторонник их, кто противник. Вот кто-то сказал приятное в адрес Азима, и толстяку это будто током передается, и без того широкое его лицо тут же расплывалось в улыбке, он глядит в зал ликующими глазами, словно приглашает сидящих там порадоваться вместе с ним, и аплодирует он восторженно, открыто, с детской непосредственностью. Стоит же выступить кому-нибудь из недоброжелателей, и он тотчас настораживается. Ты не узнаешь теперь его. Все с той же детской непосредственностью, мигом мрачнея лицом, толстяк надувается и сопит. Весь зал, бывает, взрывается аплодисментами, а он через силу, как бы не по своей воле, едва-едва прикладывает ладонь к ладони... Сразу видно: в Азиме он души не чает, должно быть, судьба их крепко повязала одной веревкой.

Не дожидаясь окончания дискуссии, ты ушел с совещания. У выхода столкнулся с каким-то тощим бородачем, курившим длинную сигарету. Он почему-то показался тебе более приветливым, чем те твои соседи, и ты подошел к нему, спросил, кто, мол, этот толстый в президиуме... «Да это заместитель директора института по научной части», — последовал наконец-то вра-

зумительный ответ. «Как зовут, не подскажете?» — спросил ты. «Жаке», — ответил тот. Но тебе это все равно ни о чем не говорило. «Откуда он?» — спросил ты тогда. «Земляк директора. Из Аральска», — ответил тощий бородач с толстой сигарой. «Вот оно что-о!..» Ты затрясся, сдерживая смех. Бородач изумленно посмотрел на тебя, но ты, ни слова не сказав, поспешно выскочил. И лишь оказавшись на улице, дал волю распиравшему тебя смеху... Шел по тротуару — хохотал. Переходил какую-то улицу — хохотал. А когда малость успокоился, тебе стало вдруг грустно. «Апыр-ай, неужели нынче и наука так низко упала в цене?» Поразительно все-таки, как он мог высидеть в захолустье кандидатскую и каким образом изловчился пристроиться к Азиму? Неужели по той лишь причине, что приходится земляком? Неужели докатились теперь до того, что даже при подборе научных кадров исповедуют принцип: кто откуда. Значит, правы люди, пустившие злую шутку, что, мол, «хоть биография соответствует, да география подвела».

Мерно ходил по тихой комнате, поражаясь столь удачно сложившейся научной карьере тучного жакаимца. И вдруг ни с того ни с сего вновь вспыхнувшее подозрение точно хлестким ударом камчи ожгло твою душу, и ты замер от этой боли. Почему все-таки каждый раз, когда приезжает Азим, ты теряешь покой, смутная, глухая тревога овладевает тобою. Почему? Может, завидуешь удачливому другу детства? О, нет... нет. Ты давным-давно признал его неоспоримое превосходство. Да, он превосходил вас во всем. Еще с детских лет был во всех отношениях умнее, понятливее. И не удивительно, что позднее превзошел и в удаче. Как ты ни поклонялся ярко вспыхнувшей однажды на столичном небосклоне его звезде, даже ни на мизинец не позавидовал его взлетам и успехам. Было время, когда Азим над всеми детьми рыбачьего аула верховодил. Однако и тогда ты старался оправдать друга. «Раз уж он превосходит нас во всем, то пусть и верховодит». Детям рыбачьего аула не было еще ведомо, что каждый, кто приходит в этот мир, бывает наделен уже от рождения честолюбием, а честолюбию сопутствует, как тень, высокомерие. Кто из вас мог тогда понять, что не бывает подлинного равенства не только среди сверстников, но и даже среди самых близких, самых, казалось бы, верных друзей? И эту простую истину ты поймешь

потом, много лет спустя. Уж потом до тебя дойдет истинная причина того, отчего так прочна была ваша детская дружба с Азимом: оказывается, если в те годы один из вас был норовист, то другой покладист. Если ты не смеялся, то он, бывало, ликовал, сверкал остроумием и находчивостью, и чем ярче он становился, тем больше тускнел и делался скучным ты. Даже когда приходили вместе к девушкам, ты, бывало, всегда старался не переступить дорожку другу, хотя тебе стоило это немалого труда. Но разве ты посягал, разве втайне хотя бы рассчитывал когда-либо на благосклонность Бакизат? Да тебе такое и в голову не приходило. Ибо ты был совершенно убежден, что в какой бы компании ни оказались ты и твой бойкий друг с красиво вьющимися волосами, тебе нечего надеяться на внимание смазливых девчонок. И уж тем более на внимание и взаимность Бакизат...

Да, в тот самый год, отслужив в армии, вы опять решили попытать судьбу, поступить в институт. Оставшиеся до отъезда дни проводили вместе. Как-то раз пошли после обеда позагорать на пляж. Прекрасное то было время! Море, казалось, распирало от собственной неуемной мощи, и оно грозно ревело под боком аула, и этот рокот слышался от края до края. В тот день друзья долго сидели на берегу, грелись на солнце. Приморский полуденный ветер, прозванный рыбаками «шалопутным», то налетал резкими порывами и поднимал песчаный вихрь, все вокруг взбаламучивая, то так же неожиданно сникал, стихал. Но море неизменно ревело и волновалось. Угрожающе шипя и пенясь, налетали волны друг за другом на берег и тут же гасли, откатывались, растекаясь по мокрому песку. Иная отчаянная волна, набиравшая силу и разбег еще там, в просторе великого моря, рухнув на берег, из последних сил дотягивалась до самых их ног. При каждом обвальном грохоте волн друзья умолкали, оглядываясь на буйно ревущий простор. Увлеченные зрелищем родной стихии и разговором, они и не сразу заметили, как приблизилась незнакомая девушка, хотя могли и вовсе не заметить, если бы вдруг не заскрипел за спиной хрустящий прибрежный песок под чьими-то легкими сбивчивыми шагами. Они услышали одновременно. И одновременно обернулись на шаги...

«Боже!..» — первым пришел в себя Азим. Нервная бледность, однако, еще не сошла с его лица. «Бог ты

мой!» — одними губами, почти неслышно прошептал он, и не понять, чего больше было в этом — удивления или восхищения. И стиснул твою руку, ничего больше не сказав, будто тоже, как и ты, потерял дар речи, глядя во все глаза.

Девушка то ли не видела, то ли, скорее всего, сделала вид, что не заметила замешательства; но, поравнявшись с вами, еще не успевшими от изумления закрыть рты, чуть-чуть усмехнулась. Стройная, легкая, она прошла мимо, не удостоив вас даже взглядом.

— Бо-же! Во сне или наяву я вижу это диво?

— Да-а, хороша-а...

— Что?

— Прелесть, говорю!

— Вот именно, прелесть! Уж не русалка ли? Ты не заметил, она не с неба спустилась... или, может, из воды вышла?

— Не знаю... обалдеть!

— Что?.. Что, говоришь?

— Да нет... Это я так... про себя.

Азим быстро, как-то прицельно глянул на тебя:

— Чья она? Может, ты знаешь?

— Я?! Откуда?

— Конечно, откуда тебе знать... Тебе, дорогой, советую и не знать...

— Ладно... Как хочешь.

С моря налетел разбойничий ветер. Дохнул полуденным зноем. Должно быть, жадные взгляды двух юношей смутили девушку, и она, проходя мимо вас, заторопилась, сбилась с шага, и подхваченный ветром песок из-под босых ног попал тебе в глаз.

— Нечего глаза пялить! Так тебе и надо,— усмехнулся Азим.

У тебя огнем вспыхнуло лицо. Но, к счастью, насмешнику Азиму было сейчас не до тебя. Он все не мог прийти в себя, возбужденный, неизвестно для чего нашаривал вокруг себя камушки и швырял их в море. Швырял не глядя.

Казалось, он забыл даже о твоем присутствии. Пораженный, время от времени восхищенно качал головой: «Апырай, а! Чудо, чудо...» А незнакомка между тем, немного отойдя, повернулась к вам спиной, стала медленно раздеваться, не обращая больше на вас обоих внимания. А вы бесстыдно следили за ней, не упуская ни одного ее движения и думая, должно быть, об од-

ном и том же: залетная птаха, с явно городскими замашками.

— Слушай, а?! Давай познакомимся?!

— Что-о?!

— Пошли знакомиться, говорю!

— Как?!

— Да так. Просто. Подойдем и представимся.

— Нет-нет... меня уволь. Ты как-нибудь уж сам...

— Уволь, говоришь? — задумчиво повторил он.

И было непонятно, то ли тебя он уговаривал сейчас, то ли самого себя. Одно не вызывало сомнения: он все еще был в растерянности, в первом смятении и никак не мог решить для себя, что же все-таки сделать.

А девушка так и не взглянула в вашу сторону. Казалось, ей и дела не было до двух ротозеев, зачарованно пяливших на нее глаза. Стоя к вам спиной, она распрямила гибкий стан, встряхнула черными, как вороново крыло, волосами и направилась к морю. В тот же миг прохрипел репродуктор на столбе напротив клуба, взметнулся над полуденными окрестностями звонкий и молодой, будто зовущий куда голос. Порывами ветра приносило сюда легко узнаваемый игривый танцевальный ритм модной тогда песни. Азим, перестав швырять камушки, решительно вскочил. И от этой его решительности у тебя ни с того ни с сего вдруг тревожно оборвалось сердце. И еще больше заволновалось, отчего-то заныло оно, когда увидел, какой дерзостью вспыхнули темные зрачки друга...

— Эй, т-ты... ты что?

Но Азим, не спуская загоревшихся веселой решимостью глаз с девушки, нетерпеливо потер ладони.

— Ну, дружище... молись за меня. Я пошел.

Сейчас уже не помнишь, молился ты ли тогда за друга или нет. Зато навсегда осталось в твоей памяти, как юная купальщица, едва коснувшись пальцами прибрежной воды, на мгновение замерла и оглянулась на незнакомого парня. Без тени робости окинула с головы до ног его самим создателем безупречно скроенную стать и усмехнулась. Море, искони противоборствующее ветру и берегам, торжествующе шумело. По небу торопливо плыли белесые облака, и ветер то сбивал их в кучу, то вновь разрывал, гнал к югу, а внизу зыбкие тени их метались на вспененных валах, то гася полдневный дрожащий блеск моря, то вновь открывая его завороженному взору...

Но ты, кажется, не замечал тогда ни радостного в своем разгуле моря, ни кочующих в небе облаков. Во все глаза ты смотрел то на девушку, то на своего друга, и страх и надежда попеременно врывались в твое сердце, и тогда оно или замирало, или начинало бешено стучать. Было видно, как эта незнакомка завладела всеми помыслами Азима, и смелый и отчаянный парень решил добиться своего, но ты продолжал сомневаться, тебе не верилось. Каким бы ни слыл он отчаянным, но всему есть предел. И на сей раз, казалось, он непременно оробеет, струсит и свернет обратно, не подойдя к девушке, тем более ты знал слабость друга: любил он перед тобой покрасоваться, показать себя этаким разудалым джигитом. На этот раз ты готов был сам посмеяться над незадачливым дружком, если бы... Но ты глянь, глянь-ка на него! Глаза отказывались верить: вот шельмец, прет напропалую!.. Ты вскочил. Издавна это у тебя: стоит только заволноваться, как тут же вскакиваешь с места. И странное, еще не осознанное, не испытанное до сих пор чувство стеснило тебе грудь. Ты поневоле покачал головой, не спуская глаз с друга. А девушка будто приняла его вызов и, не оглядываясь, удалялась танцующей походкой. Казалось, ей сейчас дела не было до восторженного мужского взгляда. Ей все равно было, смотрят они или нет. Должно быть, подсознательно она чувствовала, что они рано или поздно обязательно обратят на нее свои взоры и будут ею любоваться... Поэтому, овеваемая бодрящим ветерком степного моря, легко подлаживаясь под немудреный мотив, доносившийся со стороны аула, чуть пританцовывая, она вошла в воду. И вот нагретая прибрежная вода скрыла ее коленки, потом бедра... А когда очередная волна захлестнула ее по грудь, она будто замешкалась, набрала пригоршню воды, плеснула себе на плечи, на грудь.

Азим почти настиг ее, но она, легонько оттолкнувшись, поплыла, быстро и энергично загребая руками. Синело небо. Синело море. Зыбился, дрожал между ними прозрачный лиловый воздух. И призывно мелькали в бирюзовых распадках, в брызгах волн белые, точно крылья чайки, руки девушки. Ни разу не оглянулась. Стремительно и легко удалялась от берега. Казалось, она поддразнивала парня: ну что ж, мол, храбрец... догоняй, посмотрим-ка на твою прыть. А море широко и вольно шумело. Встречные волны накатыва-

лись одна на другую, норовя поглотить, но в самый последний, казалось, момент она делала неуловимое движение телом и взлетала на гребень, заплывая все дальше и дальше; и время от времени, вся высветившись среди зелено-прозрачных вод, белой рыбкой мелькнув в лучах солнца, переворачивалась на спину, работая руками и ногами, скользила, светилась вся во власти моря и света той зазывной мелодией молодости...

Наконец Азим поравнялся с девушкой. Ты засмеялся, покачал головой. Глядел, щурясь, как поплыли они рядышком, то высоко взлетая, то почти исчезая во вскипающих волнах. Ты испытывал не ревность, нет,— восторг. Что и говорить, девушка — чудо. Но ведь и парень-то не промах! Еще тогда, при первом взгляде на нее, а потом на разгоревшегося дружка, мелькнула у тебя мысль: они созданы друг для друга... И сейчас, не спуская с них глаз, ты все еще дивился этому таинственному повороту, знаку жизни — да, они не могли не встретиться. Так угодно было самой судьбе. И ты, оставшись один на пустынном берегу, радовался так, будто не Азим, а ты сам плыл рядом с той девушкой-мечтой. Да, ты испытывал странное состояние: губы сами собой расплывались в улыбке, уши горели, пылали щеки, и сам еще толком не знал, оттого ли это, что грезил о девушке, отдаваясь весь воображению, или мечтательно восхищался смелостью отчаянного друга. Нет, ты ничуть не завидовал ему. Только очень уж захотелось тебе вдруг быть похожим сейчас на Азима. Быть бы тебе таким же ладным и красивым, как Азим! И таким же отчаянным... Вот ватагой ребятня высыпала на берег, распласталась на раскаленном песке... Нет, не так... Вот дует с моря, как сегодня, бодрящий, шальной ветерок, водяные брызги срывает, несет в лицо... И день тоже, как сегодня, несмотря на жару, на редкость свежий, синий, с облаками и солнцем. Скажем, ты задумался, сидишь на берегу, вытянув ноги на прохладном сыром песке, и трепетные волны подкатываются, подбираются под тебя, лижут босые пятки. И в этот момент... неизвестно, вышла ли она из морских глубин или спустилась с неба... Словом, нежданно-негаданно оказывается рядом с тобой таинственная и прекрасная незнакомка... Она проходит совсем-совсем рядышком, но, сконфуженная неизвестно отчего, сбивается. Подхваченная ветром песчинка из-под ее легких ног попадает тебе в глаз. Ты

инстинктивно прикрываешь глаза ладонью, девушка, замедлив шаг, останавливается... подходит... склоняется к тебе и спрашивает: «Что, песчинка попала?» Ты, конечно, смеешься: «Нет, ничего... пустяки...» А девушка не уходит: озабоченная, стоит над тобой... и вот нагибается, ближе, еще ближе, так близко, что ты уже ощущаешь на своем лице ее дыхание... и вспыхиваешь весь, до кончиков ушей. Подожди... Ведь у Азима вовсе нет привычки краснеть в подобных случаях. Он вообще никогда не краснеет. Да, да... и вот, когда ты уже ощущаешь на себе ее дыхание, в твоих глазах, точь-в-точь как у Азима, вспыхивают дерзкие искорки, и ты, схватив девушку за руку, говоришь уверенно, даже покровительственно: «Пошли лучше искупаемся!..» Девушка, конечно, смущается: не ожидала такого натиска, но ты, сжимая ее руку, увлекаешь за собой к морю. И вот уже вы плывете рядышком, смеетесь, качаетесь на волнах. Плывете долго, не чувствуя усталости. И как-то так, сами не замечая того, оказываетесь на другом берегу залива. И до самого вечера загораете там на жарком песке под лучами летнего солнышка. А когда, опомнившись, уже в поздние сумерки возвращаетесь домой, в рыбачьем ауле царит переполох. Женщины и дети плачут, рыбаки без толку бегают, шумят, поторапливая друг друга выйти в море на поиски пропавших. Кто-то столкнул лодку, кто-то хватается за весла.

Ты остановился. Впереди отчаянно галдели чайки, тебе в первое мгновение почудилось, будто там и впрямь шумят люди... Ты был настолько во власти своих грез, что и в самом деле хотел бы, чтобы не чайки суматошились там, а шумели встревоженные аульчане. И вновь побрел по намытому песчаному берегу, сам не зная, куда и зачем бредешь. Ты шел вдоль кромки моря, опьяненный грезами, не ощущая, как шлепали ласковые волны о твои босые ноги. В глазах все стояла далекая, как звезда, девушка.

Ты пошел быстрее, навстречу своему видению. В лицо дул мягкий морской ветерок, и, не умолкая, кричали чайки, за волной накатывала волна...

— Эй, Жадигер!

Ты остановился как вкопанный. Только теперь заметил Азима, с недоумением рассматривающего тебя. Тебе стало вдруг неловко, даже стыдно. Быстро сползла с губ улыбка.

— Что с тобой? Как лунатик. Ничего вокруг не видишь и не слышишь.

— Да-а, так...

Оглянувшись, ты увидел, что незнакомка и Азим успели уже обсохнуть и одеться. Помахивая шелковой косынкой в руке, девушка неторопливо шла вдоль бережка к аулу.

— Слушай... где ты пропадал?

— Да так... ходил... А ты?

— О!.. Я, брат, завел уже знакомство!

— Брось?!

— И бросать нечего. Она, оказывается, дочь нового колхозного бухгалтера. Переехали сюда только в прошлом году. А нынче вот окончила школу. Договорились ехать вместе в Алма-Ату...

Ты удивленно присвистнул и, не выдержав, разулыбался весь.

— А ты-то чему радуешься?

— Я?.. Просто так...

— Айда, догоним. Я вас познакомлю.

— Не-ет... Нет, потом как-нибудь.

— А знаешь, ее зовут Бакизат...

Ты несколько раз повторил про себя это имя. И каждый раз кончиком языка будто к раскаленному угольку прикасался. И вот теперь та девушка... твоя голубая мечта... Да, поистине неисповедимы пути...

* * *

Однажды он решил проведать Бакизат. Когда пришел в общежитие женского пединститута, маленькая комната была полна девушек, отчего ему стало не по себе. Бакизат, видно, никак не хотелось, чтобы подруги приняли этого неуверенно вошедшего долговязого малого за ее парня, и потому, едва он переступил порог, торопливо представила:

— Мой земляк. Из одного аула. Прошу любить и жаловать.

Одна из девушек, маленькая, шустрая стрекотуха, прыснула:

— Все джигиты почему-то всегда твои земляки...

Остальные девушки вроде как смутились, но на самом деле насмешка стрекотухи пришлась всем по душе. А Бакизат по обыкновению сделала вид, что ничего не заметила, и спокойно продолжала:

— Одну школу окончили.

Бойкая стрекотуха опять прыснула:

— Может, и за одной партой сидели?!

Промолчать бы тебе, да черт дернул за язык:

— Нет, мы с Азимом окончили школу на два года раньше.

Бойкая стрекотуха оглянулась на дверь и хмыкнула:

— О, легок на помине. Тут как тут, голубчик!

В самом деле, дверь распахнулась... и в комнату с привычной уверенностью вступил, широко улыбаясь, Азим. При виде друга ты вскочил, но тут же понял, что допустил оплошность и, сконфуженный, сел снова, заметив на себе лукавый взгляд маленькой стрекотухи, густо покраснел. Азим обошел всех девушек, здороваясь с каждой из них, притягивая к себе и поочередно обнимая, и когда наконец дошел до Бакизат, все та же стрекотуха, поджидавшая этот момент, бойко скомандовала:

— А ну, девоньки, закройте глаза!

Девушки, казалось, только этого и ждали, все как одна послушно и дружно прикрыли лица ладонями: и только ты один, не зная как быть, растерянно глядел. Вот тут стрекотуха, поймав твой взгляд, знаком показала: закрой глаза, живо! Ты, как послушный ученик, моментально покорился. Через мгновение она шепнула тебе на ухо:

— Все! Можешь открывать.

Девушки умирали со смеху, некоторые даже попадали на кровати, зарылись лицом в подушки. Азим отпустил невольно зардевшуюся Бакизат и, кажется, только теперь увидел тебя.

— Я его разыскиваю, с ног сбился... Впредь буду знать, где тебя искать...

Нет, ты не осуждал друга, когда он позволял себе лишнее в присутствии девушек. Тебе самому хотелось быть таким же, как он, насмешливым и веселым, посмеяться, подтрунить над кем-нибудь. О, если бы и ты только мог, находясь в веселом кругу очаровательных девушек, оставаться таким же, как Азим, раскованным, находчивым на язык, мог балагурить без умолку и нести с легким сердцем всякий там вздор, как это удается твоему дружку!

Но тесно, душно было тебе в комнате. И ты сидел подавленный, потный, чувствовал себя здесь лишним, проклинал за то, что пришел, и напряженно раздумы-

вал, как бы скорей, улучив момент, незаметно убраться отсюда. И в это время, как нарочно, насмешница стрекотуха принесла исходивший паром алюминиевый чайник. Азим подсовывал тебе чашку за чашкой крутого чаю, с преувеличенным усердием потчевал:

— Пей, дружище, пей!

И ты, обливаясь потом, только подносил чашки горячего чая к губам. Азим же, обращаясь к девушкам, сокрушенно вздыхал:

— Вы уж не обессудьте! У моего друга, пока не напьется чаю, голова болит. Что поделаешь, привычка.

Будь оно проклято! Дрожащими руками ты пошарил по карманам, но, как назло, платка при тебе не оказалось.

— Сейчас, дорогой,— сказал Азим, бросив взгляд на тебя, изнывающего от пота, и достал из кармана выглаженный, чистый платок. И нет чтобы дать его как-нибудь незаметно, наоборот, развернул, как бы приглашая посмотреть всех, какой он чистый и надушенный, лишь после этого сунул при всех в твою потную руку... взрыв хохота, и ты, не помня себя, сорвался с места, выбежал в коридор, а оттуда на улицу...

После этого случая ты обходил общежитие ЖенПИ за версту. И Азима не видел и не желал видеть. Хотя и сам еще толком не вник в то, что новое открылось тебе в твоем бывшем дружке. И почему-то не выходила из головы пущенная про него кем-то острота: «О, эта бестия, пока доберется к своей цели, попутно с десяток девиц перещупает...» В тот раз сам видел: покуда он добирался к Бакизат, как кот к салу, перечмокал всех девушек подряд. Ты клял себя, что не съездил тогда по его красивой физиономии.

Приплелся к себе в общежитие как побитый, плюхнулся на койку с продавленной сеткой, лежал долго, пусто уставившись в потолок. Не знал отчего, но был зол и на Бакизат. «Видеть тебя больше не хочу. Никогда... никогда к ней ногой... Не желаю!» Как заклинание, исступленно бормотал эти слова отчаяния и тоски.

Ты радовался, что наконец-то спала с глаз пелена. Был уверен, что отныне не потерпишь ни от кого ни насмешки, ни тем более превосходства. И потому ты каждый раз приходил в бешенство, вспоминая его во многом странную привычку наедине с тобой, с глазу на глаз, хвалить-расхваливать все в тебе, вплоть до

твоих ушей, носа и рта. А потом стоило вам оказаться в компании среди девушек, как он вдруг менялся, начинал с такой же легкостью высмеивать все те же твои, недавно расхваленные им самим уши, глаза, рот, будто говорить или шутить было больше не о чем... При этом сам явно получал удовольствие, от души хохотал. Ты был уверен, что отныне всему этому пришел конец. Да, конец! Конец! Но вот однажды... кажется, это было в воскресенье, нет, в субботу. Впрочем, неважно, кажется, ты выходил из студенческой столовой или, наоборот, входил — это тоже неважно; и вот кто-то у дверей резко схватил тебя за руку. Ты оглянулся. Азим стоял рядом с тобой, обнажив сахарные зубы, весело смеялся:

— Эй, батыр! Подожди...

Ты удивился: «батыр» — это что-то новое. Раньше он называл тебя обычно «парнем», а то и «мальцом». А тут вдруг — батыр... Ну, коли он теперь начал так, то недолго ждать и новой какой-нибудь изощренной клички, вроде Кобланды-батыра из рода Кара-Кипчак...

— Ну, батыр, где ты пропадаешь?

— Говорят, какой-то мудрец сказал: «Под небом аллаха много простора...»

— О-го!..

— Что еще скажешь?

— Не ерепенься. Пошли к девчатам.

Азим был уверен, что ты безотказно последуешь за ним, и потому пошел по многолюдной улице, что-то оживленно говоря. Воодушевившись, он даже размахивал руками и изредка похохатывал. Прохожие оглядывались на него, один даже испуганно шарахнулся в сторону. Азим, наконец заметив на себе странные взгляды людей, остановился, поискав тебя, и увидел, к своему удивлению, что рядом, оказывается, никого нет. Потом, спустя месяц, вы встретились, Азим несмело подошел к тебе и, поравнявшись, ткнул локтем в бок:

— Жадигер...

— Ну?!

— Ты вроде... что, обижаешься на меня, да?

— Как, по-твоему... мне есть за что на тебя обижаться?

— Бог его знает... Но в тот раз... помнишь, ни с того ни с сего ты вдруг надулся и пошел восвояси.

— А-а... тогда у меня дело было. Свое.

— Нет, не то. Что-то ты, батыр, переменился.

— Тоже не исключено,— сказал ты спокойно и даже с некоторым вызовом, впервые прямо глядя в глаза Азима. «А почему бы и нет? Меня, если хочешь знать, так и подмывает съездить разок-другой по твоей роже...» Слова эти просились у тебя с языка, и ты намеревался сказать их просто, без обиды и злобы. Разговор у вас так и не получился. Норовя разойтись поскорее, вы не столько говорили, сколько скучающе посматривали по сторонам. И после этого долго избегали друг друга. Только потом, через несколько месяцев, встретились вновь, дружба ваша как будто возобновилась, хотя и без прежнего с твоей стороны пыла и привязанности. Опять ходили вместе. Но с той поры живут в твоей душе неразлучно два разных Азима. Первый тот, с которым прошумело морем, пропахло степью детство, с которым делился горячими юношескими мечтами, надеждами... Второй — пренебрежительно сунувший в твои потные ладони свой надушенный платок.

Да, два разных Азима, попеременно одолевая друг друга, жили отныне в тебе. Но не в нем, не в Азиме, суть. В ту пору случилось с тобой такое, что и в самом причудливом сне не могло присниться. В тот день... Да, кстати, с чего тогда все началось? Ну да, приближался госэкзамен. Началась для студентов самая горячая пора. С учебниками ложились спать и просыпались с ними рано поутру. В тот день ты особенно устал. Гудела голова. Когда вышел на улицу, солнце перевалило зенит. Зажмурился, отвел было голову в сторону, и тут утомленный твой взгляд упал на одинокий тополь. Он был старым. Старее, пожалуй, самого здания общежития. От долго прожитых им годов в нелегкой борьбе с ветром и снегом весь могучий ствол его покрылся коростой, словно панцирем. За пять лет студенческой жизни сколько раз ты проходил мимо, не замечая его. А в тот день... При виде старого тополя, пораженный, даже остановился. Кто знает, может, это было предзнаменованием. Просто тебе на роду он, старый тополь, был написан как нечто неотвратимое, неизбежное. В самом деле, не обрати тогда на него внимания, быть может, по другой колее повлеклась бы медлительная арба твоей судьбы и не томился бы сегодня весь день на пустынной льдине. Потом, много лет спустя, сколько бы ты ни думал, сколько бы ни пытался разобраться в истоках вашей с Бакизат нелепой

жизни, мысль твоя неизменно возвращалась к тому тополю. Чем-то он тогда тебя поразил. Быть может, неистребимым жизнелюбием, как у того, *знаменитого* дуба... Еще только вчера в угнетенном долголетием старом тополе не было ничего, кроме брезгливого равнодушия ко всему: к весне, к миру. А теперь смотри — бунтующая сила весны оживила и его неподдающуюся каким-либо переменам дремучую душу, погнала живые соки, словно горячую кровь по телу. «Даруя щедрым благом божьим, вернулась к грешному весна!» Повторяя про себя невесть откуда пришедшие на память строчки, ты привалился спиной к толстому, в два обхвата стволу старого тополя. Тебе стало вдруг радостно от того, что весна вступила в силу и властно распоряжается всем и всюду. У подножия Бел-Арана наверняка тоже поднялась молодая полынь, оглушая окрестности своим терпким, пьянящим духом. Охваченный щемящим чувством тоски по родному аулу, ты смутно ощутил, как налетел с гор ветерок. И тут же снизу и доверху, ожив, зашуршали, затрепетали листочки. Запорхали с ветки на ветку воробьи. Ты еще не знал, с какой радости тянется, рвется твоя душа, но сердце трепетало и томилось в ожидании чего-то прекрасного, неизбежного. Стайка хлопотливых птах суетилась, все чирикая, носясь с ветки на ветку, порхая над тобой. Видать, весна принесла в их бесхитростную жизнь немалые заботы и волнения. Сами по себе совсем малые, о чем все-таки они щебечут? Может, среди суетных забот они делятся друг с другом теми крохотными радостями, которые им довелось испытать за день? Или просто радуются напоенному негой весеннему дню, своему гнезду? А ведь им, беднягам, так же как и людям, приходится метаться в бесконечных хлопотах о судьбе готового вот-вот появиться потомства. Может, об этом их озабоченное щебетанье сейчас?

Ты улыбнулся, не переставая удивляться столь страстному жизнелюбию крохотного божьего создания. Они перенесли нелегкую зиму, избежали сотни опасностей и вот теперь как ни в чем не бывало радуются благим переменам в жизни и с упоением, без оглядки предаются своим весенним трудам. Нет, это все-таки поразительно. И уж как понять, что они намного раньше и острее нас чувствуют любой знак, любые изменения природы, безошибочно определяя, каким будет год. Поглощенный лекциями, сессией, ты и не заметил,

как пришла весна. А они, должно быть, уже давно празднуют возвращение тепла и света. И их радостные хлопоты передались, взволновали тебя тоже. Не будь птах, ты бы, пожалуй, мог и проморгать весну. Ощущал бы тепло, видел бы распускающиеся почки, щурился от солнца, но по-настоящему весны не почувствовал бы. И потому по-детски обрадовался, что чудотворное время года, пробуждая и обновляя мир, не миновало тебя, своей будоражащей свежей струей влилось в твою грудь... Неизъяснимый восторг, охвативший и тебя, требовал сиюминутного ответного действия. Подхватил и помимо воли понес неизвестно куда. Ты испытывал радость и необыкновенную легкость. Тебя влекло в неведомое, манило, торопило, и ты, не чуя под собой ног, бежал, бежал без оглядки, точно ошалелый, и не было тебе дела ни до трамваев, грохочущих мимо, ни до шумной уличной толпы, бросавшей на тебя недоуменные взгляды. Ты пришел в себя, лишь очутившись перед трехэтажным светлым зданием, которое несколько месяцев так упорно обходил стороной. Ты стал как вкопанный, переводя дух. Да, тот день и в самом деле был роковым в твоей жизни... Но это узнать тебе было суждено много позже. А тогда будто некая таинственная сила на время лишила тебя воли, и все, что делал ты в тот день, происходило почти неосознанно, как в бреду, само собой, так по крайней мере, казалось тебе потом, когда ты пытался шаг за шагом восстановить свои действия. Ты и по улице-то бежал, ликуя так, будто воскрес твой родной отец, бог весть уже когда истлевший на кладбище за рыбачьим поселком... во весь рот улыбался, как блаженный, каждому встречному, как бы приглашая всех порадоваться вместе с тобой. Влетев в здание института, ты ошалело глядел вокруг и потом все с той же легкостью на душе и в теле бросился было по лестнице вверх, преодолевая одним махом по две-три ступеньки. И вдруг... будто уперся в невидимую стену, чувствуя, что покидают силы, схватился за перила: с верхнего этажа в окружении подруг спускалась тебе навстречу Бакизат... вот и она тебя заметила. И ты обратил внимание, как она изумилась... видимо, твоему, как всегда, неурочному появлению. Бойкий стук каблучков на мгновение будто запнулся, сбился со своего всегда уверенного ритма. Она дернула за рукав шедшую рядом стрекотуху и что-то шепнула ей на ушко. Сердце твое замерло; ка-

жется, ты догадался, что она сейчас скажет своей насмешливой подружке. Неужели опять о надушенном платке в потной ладони? Красивые, одна другой нарядней девушки показались тебе злыми фуриями, ты стоял как истукан, не осмеливаясь поднять на них глаз. Стоял в растерянности, не зная и не представляя себе, как быть, как поступить, когда эти насмешницы, готовые в любую минуту прыснуть, обжигая тебя огнем любопытных глаз, проплывут мимо. О твоем состоянии, должно быть, Бакизат первая догадалась. Пропустив вперед отчего-то загадочно потупившихся, посерьезневших сразу подруг, сама она чуть поотстала. Не знал ты ее намерений, но на всякий случай посторонился, прижимаясь к стенке так, будто хотел слиться с нею. Бакизат, сделав к тебе шаг-другой, молча взяла тебя за руку, слегка стиснула ее.

— Жадигер...— необычно мягко и ласково прозвучал ее голос. Ты, кажется, прежде ни разу еще не оставался с ней вот так, наедине. И не мог прийти в себя.— Где ты бываешь? Что-то совсем не показываешься...

— Времени, знаешь... Лекции...

— Понимаю, конечно, к госэкзамену готовишься?

— Да... к нему... к госу. А вы?

— Мы тоже. Как раз хотели сейчас в городскую читалку.

— Ну, тогда иди... догоняй. Я так просто... Проходил мимо...

— Хорошо, что ты пришел. А то бы еще немного, и я, наверное, сама...

«Неужели правда?» Горячая волна поднялась, прилила к сердцу, окатила измаявшуюся за эти бессчетные дни душу. А притихшая рядом с тобой Бакизат отчего-то посмотрела на тебя один, потом другой раз. И почему-то дольше обычного задержала взгляд черных глаз и вдруг, отчего-то смутившись, вся вспыхнула. Поспешно отвела вмиг наполнившиеся слезами глаза и, кусая губы, быстро-быстро заморгала длинными ресницами...

— Что с тобой?.. Ба-ки-зат...

— А, так... не надо... Не обращай внимания,— Бакизат отвернулась, сморгнула слезы, и через мгновение на лице ее появилась смущенная улыбка,— видно, устала... Нервы...

Ты и сам сейчас видел, как осунулась она, поблекла за те дни и недели, когда ты не видел ее. Черные

влажные глаза устало прятались за густыми ресницами.

— Что это ты испачкался? Повернись-ка немножко. Повернись!

Ты не сразу понял, что от тебя требуется, потому недоуменно посмотрел ей в глаза. Она молча улыбнулась, зная, что ты всегда готов беспрекословно исполнить любое ее желание или каприз. И, не дожидаясь, так же молча повернула тебя мягким движением и стала отряхивать со спины известку, в которой ты измазался, уступая давеча дорогу девушкам.

У тебя голова закружилась. Слабость ударила в ноги. «О боже... боже мой! Не во сне ли... все это?»

— Следил бы за собой,— участливо, как своему, сказала она, почти развеяв твои сомнения. Все не зная, верить или нет, ты во все глаза тревожно и радостно глянул на нее. Но как изменилась она! Раньше... при встречах, бывало, не прочь была и пошалить, с чисто девчоночьим удовольствием подтрунить над тобой. И каждый раз подворачивались ей на язык какие-то неожиданные, озорные слова. То, бывало, с усмешкой при всех спросит: «Не завел еще себе зазнобу?..» В другой раз вроде весело рассмеется: «Когда женишься? Хоть бы на свадьбе твоей погулять!»

А теперь... нет, ничего нельзя понять. И отчего-то вдруг закружилась голова. Прислониться, опереться бы обо что-нибудь. Может, это всего-навсего сон? Что ж, тогда, выходит, это во сне кружится голова? И вся твоя нежданная, еще не уверенная в себе радость, от которой так гулко колотится сердце и хочется куда-то бежать и бежать, это не явь вовсе, а все тот же сон, его продолжение? Да и впрямь, с какой бы стати обрушиться на тебя такому счастью? И потому, как во сне, перед твоими глазами дрожит, зыбится горячее марево со стучащей в висках кровью. И не знаешь, какому из навалившихся разом чувств поверить. Счастью или сомнению. Надежде или страху. Ты только бросаешь на Бакизат пытливо-робкие взгляды и тут же поспешно отводишь глаза. Потому что хочешь и в то же время не можешь задержать взгляд на непривычно тихой и усталой, чем-то подавленной девушке. Или ты ее, бледную, будто опавшую с лица,

тоже видишь во сне? Иначе куда подевалась ее прежняя девически горделивая осанка? Где ее озорство и лукавые искорки в черных глазах? Вот она стоит возле тебя вся поникшая и дрожащими пальцами беспрестанно и нервно теребит пуговицы на кофточке... Пос-той?..

И с болью вдруг вспомнил недавний разговор аральских ребят, которые говорили, что... что, мол, Азим затеял женитьбу на ней и, объявив даже день свадьбы, потом ни с того ни с сего вдруг сам ее расстроил. «Выходит, правда?! — тонким комариком в голове звенела назойливая мысль.— Выходит, правда и то, что Азим будто бы решил жениться на какой-то своей сокурснице». Так оно позже и случилось. Но в тот роковой день, когда ты стоял на лестнице ЖенПИ рядом с Бакизат, во все это еще не верилось. «Не может быть...» — думал ты тогда. Бакизат, видимо поняв, о чем ты подумал, перестала теребить пуговицу, и на ее лице промелькнула какая-то тень беспокойства.

— Как... из дома письма получаешь? — спросил ее.

Бакизат молча кивнула. Надо было отвлечь ее от грустных мыслей, рассказать что-нибудь смешное и веселое, не то, казалось, вот-вот она разревется. Но не знал, о чем говорить. О чем?.. А ведь когда валяешься на железной койке в общежитии, в голове роятся одни красивые слова и возвышенные мысли... Надо же, а... Сейчас, в нужный момент, все разлетелись, как вспугнутые невесть чем воробьи. В голове до жути было пусто, и в растерянности ты беспомощно озирался вокруг. Не рассказать ли ей о тех суетливых птахах на ветках старого тополя, об их удивительном жизнелюбии... Но тут Бакизат чуть приметно усмехнулась:

— Ты что... скучаешь, небось, по аулу? — Она посмотрела на тебя долгим изучающим взглядом.

— Не знаю, почему... не могу что-то привыкнуть к городской суете. Понимаешь, шум, грохот, суматоха. Все куда-то спешат, бегут, толкаются. Всюду машины несутся косяками... Знаешь, иной раз прямо заткнул бы уши да закрыл глаза...

Чем больше ты, увлекаясь ходом своей неожиданно подвернувшейся мысли, говорил, тем удивленней она смотрела на тебя, видимо стараясь понять, вникнуть в состояние твоей души, которое, к ее огорчению, не укладывалось в голове никак.

— В прошлом году мама приезжала, и знаешь...

— Вон как?! А я и не слышала.

— Да, я никому не стал говорить... Показал ей город. Вроде самые лучшие места, красивые дома. А она, знаешь, на третий день видеть больше ничего не хотела. Чудной народ, говорит, эти горожане. И не лень было чертям камни на камни громоздить...

Бакизат расхохоталась. И смеялась так долго, от души, что под конец то ли в самом деле обессилела, то ли с умыслом повисла на твоем плече. И опять тебе показалось, будто все это происходит с тобою во сне. Она с трудом уняла смех, щеки ее порозовели, заблестели глаза. И ты весь расцвел, повеселел:

— А знаешь, что сказала мать перед отъездом?

— Интересно, ну... расскажи.

— Сынок, говорит, разве люди в этом городе не работают? Что они каждый день от зари до ночи мечутся по улицам как угорелые?!

С тех пор по всякому поводу пересказывая друзьям слова матери, ты всегда с особым удовольствием сам начинал смеяться первым. Однако, к удивлению, Бакизат на этот раз не поддержала тебя. Вдруг она стала скучной, серой, собираясь уходить, приподняла сумку с книгами, прижала было ее к груди, но вновь отпустила. Ты бросился к сумке в руках Бакизат.

— Не надо. Значит... ты нынче заканчиваешь?

— Да, с божьей помощью...

— И, конечно, в аул подашься?

— Да, бог даст, в аул...

— Может, ты и женишься с божьей помощью?

— Ну, что ты...

— Почему же?! — Она взглянула на тебя открыто, и в глубине черных глаз появились столь знакомые тебе лукавые искорки. Тебе стало не по себе. Проклятие, уши, выдавая твое состояние, уже горели. Бакизат забавляло твое смущение.

— И маме твоей помощница нужна... Ведь так?

— Так-то оно так. Только...

— Ну, говори же? Что мешает тебе жениться?

Видно, так уж устроен мир, чтобы каждый перед кем-то непременно должен робеть. Сколько раз ты видел, как при встрече с Азимом дерзкая и самоуверенная с тобой Бакизат потерянно опускала глаза и начинала по-девчоночьи вертеть, ковырять носком туфли землю.

— Ничего... Тебя я сама оженю!

— К-ак?

— Очень просто.

— А... на ком? — невольно вырвалось у тебя. Голос прозвучал глухо, ты и сам себя едва расслышал.

— А разве мало девушек? — сказала она вроде бы игриво, но ты по голосу почувствовал, с каким трудом она совладала с внутренним своим волнением.— Ну, если... если уж...— она запнулась в смешке, посерьезнела, искоса глянула на тебя, помертвевшего, точно в ожидании приговора. И, толкнув тебя локтем, сказала совсем тихо: — Если нравлюсь... ну... ну женись на мне.

В ушах зашумело. И сердце запрыгало, забилось гулко, будто не в груди, а в голове, торопя кровь, оглушая.

— Жадигер... ты меня слышишь?

Да, слышал. Кивнул головой. Что-то грохнуло к ногам. Заныл в тесном ботинке большой палец, но ты уже не помнишь, почувствовал тогда боль или нет. Ты только увидел, что выпала сумка с книгами, которую перед этим взял из рук Бакизат. И, к твоему ужасу, все книги вывалились и покатились вниз по ступенькам. Но ты, ничего не предпринимая, к своему удивлению, был беспомощен и бессилен, как это бывает с человеком только во сне. Стоял, ждал, что будет дальше. Если Бакизат верна себе, то она выкинет еще какую-нибудь шутку. С нее станется. Раньше, как ни шутила и ни подтрунивала над тобой, однако такой бесцеремонной выходки она себе не позволяла. Видно, изобрела новый способ для своих насмешек. Не приведи аллах, взбредет в ее шальную голову какая-нибудь сумасбродная выходка... схватит озорства ради тебя за руку, не дав опомниться, хохоча, потащит за собой: «Ну что, миленок, может, сбегаем в загс?!» В ожидании очередного подвоха ты искоса бросил на нее взгляд. О боже, что с ней? Какая, однако, она бледная. И глаза из-под опущенных ресниц смотрят покорно и растерянно, будто вымаливая ответа на те слова, нарочно ли, невзначай ли сорвавшиеся с ее уст... Неужели так? Тогда как ты осмеливаешься так долго томить ее в ожидании ответа?! Ты был как невменяемый, толком не знал, не соображал, что делать, что говорить. Ты и позже мучился, вспоминая одни только свои неуклюжие и неуместные поступки, несуразные

слова, загораясь растянутым на многие и многие годы стыдом.

— Ты это... серьезно... серьезно говоришь?

На Бакизат будто безразличие напало. Казалось, она и сама теперь не знала, всерьез это было сказано или в шутку. И у тебя мгновенно все померкло внутри. «Ну, конечно, с чего бы это было всерьез? Так, шутки ради, девичий каприз...» У Бакизат вздрагивали тонкие ноздри, будто ей не хватало воздуха. Бледность залила щеки. Глаза наполнились слезами.

— Ба-ки-зат, дорогая...

— А-а, дорогой?..

Ты видел, как на ее бледном лице проступало выражение решимости. И в открытом, устремленном на тебя взгляде не было теперь и тени той недавней грусти, мольбы, а было лишь спокойное терпеливое ожидание судьбы. Ты все это видел. И сердцем понял, что это означает. Все еще никак не веря своему невероятному, обрушившемуся вдруг с небес счастью, ты шагнул к ней, стоявшей на ступеньку выше, и, задыхаясь, с усилием проталкивая застрявшие в горле слова, как-то судорожно спросил:

— Ты ведь это вправду говоришь? Это правда ведь, да?! Правда?

Точно в отчаянии, она вскрикнула:

— Да, да, да! Правда!.. Пра-вда!..

И, задыхаясь злыми слезами, вдруг кулачками заколотила по твоей груди. Мелко, некрасиво задрожал подбородок, скривились губы. И в словах, вырвавшихся с этим криком, была и горечь, и боль, и стыд, и какое-то смятенное бессилие перед жизнью — но ты этого не услышал тогда толком... А потом... потом будто какой вихрь захлестнул тебя. Неведомая, где-то в тайниках твоего существа свернутая до поры до времени в тугую пружину молодая бесшабашная сила прорвалась вдруг, подхватила, понесла. И уж не понять было, что к чему, и лишь потом, после женитьбы на ней, ты дивился тому, каким исступлением сердца и ума могут оборачиваться порой человеческие чувства... Если бы мог ты в тот момент видеть себя со стороны! Как нелепо, почти дико расхохотался ты, вконец потеряв от радости голову. Как в следующее мгновение сграбастал ее грубо и неловко, подхватил, словно ребенка, на руки. И как опешила она, вырываясь, колотя тебя бессильными кулачками в



грудь, в плечи, как умоляла: «Пусти! Пусти, сумасшедший! Увидят же!..» Но ты настолько ошалел от счастья, что не мог, да и не хотел сейчас ни слышать, ни видеть, ни тем более соображать... К добру ли было все это? Или к худу? Ты не уяснил себе толком. И уж никак не думалось об этом тогда. Ошеломленный, распираемый радостью, ты бросился, бессмысленно смеясь и все не отпуская ее, вверх по ступенькам, закружил ее на лестничной площадке, по-мальчишечьи затормошил... И здесь Бакизат вырвалась наконец из твоих объятий. Щеки ее разгорелись, запунцовели. Кое-как поправив прическу, оглянулась — не видел ли кто... Она не злилась. Не обижалась вовсе. Только с какой-то женской неуловимой, такой милой кокетливостью деланно нахмурилась и ладошкой мягко-мягко шлепнула по твоей руке. И было это, видно, божьим знаком, предопределившим и твою и ее судьбу...

Да, совместная ваша жизнь волею судеб началась, по существу, там, в том роковом весеннем дне, на середине лестницы, ведущей на второй этаж женского педагогического института, где вы, соприкасаясь руками, подбирали выпавшие из сумки учебники... С тех пор, сколько бы ты в поисках истока нынешних неурядиц ни перетряхивал свою незадавшуюся жизнь, тебе неизменно, со всеми наималейшими подробностями вспоминался именно этот день. И каждый раз с непроходящей горечью сознавал: всего, наверное, один лишь раз ты был желателен ей — той, которую сам любил всей своей неопытной, неловкой, но такой чистой и открытой душой. И было это именно тогда, именно там. И то лишь одно мгновение, будто между сном и явью, когда она ждала, сгорая от стыда, твоего ответа...

Потом было время, когда после тринадцатилетней супружеской жизни она время от времени силилась полюбить тебя, ворошила остывшую золу в своей душе, надеясь каждый раз найти и нежным дыханием раздуть ту трепетную, памятную вам обоим искорку желания. Ты видел ее непосильные потуги, и оттого, что видел, но ничем не мог и не умел помочь, тебе бывало невыносимо и больно. И еще было в этом что-то обидное для тебя: будто, желая поделиться крохами с бедным родственником, кто-то долго и старательно шарит в кармане и ничего там не находит, кроме позеленевшего пятака.

* * *

Место, где сегодня стоял он, погруженный в думы, называлось заливом Тущи-бас. По одной стороне его темнеют молчаливые мрачные скалы. Цепь их тянется далеко-далеко и где-то уже в открытом море обрывается крутым серым утесом — Кара-Тупом. Сегодня он едва проглядывает размытыми очертаниями в сумеречной дали. Позади в морозной дымке встает, будто нависает над всей заснеженной степью, суровый Бел-Аран. Не раз в минуты тоски и одиночества рыбаки, зимой и летом страждущие в открытом море, с надеждой оглядывались назад, туда, где остался родной дедовский берег. И первым, что они видели, возвращаясь или на долгие дни покидая очаг, был он, родимый Бел-Аран, немой свидетель бесконечной цепи человеческих судеб в этом краю. Неприступной преградой вставал седой увал на пути буранных набегов, оберегая могучим своим хребтом рыбачий поселок от напастей лютой степной зимы. Заслонив собой полгоризонта, расположился он искони, с сотворения мира, храня в своей молчаливой памяти причудливые деяния людей и природы, зорко и мудро следя за всеми потрясениями, выпадавшими на долю приморья и поморцев за тьму веков.

Все вокруг, кроме самого Бел-Арана, белым-бело. Куда ни посмотри — ни травинки, ни кустика, сплошная ледяная, придавленная низким серым небом пустыня. И ни одной живой души. Безмолвие наглухо, будто навсегда, сковало вселенную. Только издалека, со стороны открытого моря, где клубится и бесследно тает в серой мгле холодный морской туман, доносится глухой, ни днем ни ночью не утихающий протяжный рокот. Ты время от времени прислушиваешься к привычному с детства гулу; он слит со всем миром, и ты смотришь, не отрываясь, на свои следы. Они теряются где-то там, откуда ты пришел. Твое воображение то уносит тебя в далекую заснеженную степь, раскинувшуюся за рыбачьим аулом, то возвращает обратно. Чуть дальше, за белоголовыми дюнами, где ты оставил жеребца, возвышается во мгле, смутно темнеет крутояр. После Бел-Арана это наиболее приметное место во всей округе. В старину, рассказывают, на склоне этой кручи лепились одна к одной убогие землянки казахских рыбаков, нанимавшихся к предприимчивому купцу. И сейчас еще на местах их былой жизни зияют, точно обвалившиеся звериные норы, черные заплывшие ямины. Там и сям

бугрятся кучи сопревшего хлама. В сизой золе когда-то жарких очагов желтеют рыбьи кости. И над этим пепелищем равнодушно гуляет ветер. И теперь лишь старики рыбачьего поселка, невзначай проходя мимо печальных руин, могут еще сказать, где и кто когда-то жил тут: вот на этом месте землянка Калена, рядом с ним, кажется, Мунке, неподалеку — Доса, а во-о-он там, на самом обрыве крутояра, где почти совсем сровнялась с землей яма поменьше да помельче, находилась открытая всем ветрам лачужка несусветного баламута Судр-Ахмета. Почтенные старцы, ушедшие к предкам уже на твоей памяти, при жизни своей особо выделяли и точно святыню берегли останки жилья Еламана и Акбалы. Ребенком ты сам видел: уже находясь, как говорится, одной ногой в могиле, старики тащились на крутояр. И, с трудом добравшись до края какой-нибудь заветной ямы и обратясь лицом в сторону священной каабы, опускались на колени. Отложив в сторону старческие посохи, а с ними будто и свои житейские заботы и мирскую суету, закрыв глаза, что-то шептали, и не понять было, то ли благоговейно бормотали священную поминальную молитву, то ли изливали печаль по ушедшим за земные пределы родным людям, тем самым будто оставляя на родном пепелище всю накопившуюся за долгие годы боль верных любящих сердец. И перед тем как медленно распрямить затекшие старые ноги и встать, по обычаю правоверных предков проводили ладонями по лицу, и каждый раз их пальцы влажнели от слез. Да, тебе не однажды доводилось видеть, как эти старики, поднося ладони к лицу, тряслись плечами в беззвучном плаче. И не раз тебе приходилось поддерживать их под руку, помогать им подняться на дрожащие ноги... Помнится, как Азим, неизменный предводитель мальчишеской ватаги, то и дело затевал на том крутояре игры. Конечно, лучшего места для детских забав, чем руины и развалины старого аула, нельзя было и сыскать. Попрятавшись в разных там бугорках, канавах и ямах, «красные» и «белые» долго выслеживали друг друга, потом, размахивая деревянными саблями, с криком бросались в бой. Глядя на ваши жаркие схватки, старики сердились. Не понимали вы тогда, почему ревностно оберегали они от вас, неугомонных детишек, и от случайно забредшей туда скотины этот, казалось бы, никому не нужный, заброшенный и забытый пустырь на склоне крутояра. Только потом, много лет спустя вы поняли,

как не прошли даром старания старцев. Умирали одни, состаривались другие, приходили, обновляя жизнь, новые поколения, но и при них с тем же неизменным благоговением вспомнилось и продолжало посещаться пепелище предков на крутояре, и уж теперь иные старики иных времен с почтением называли обвалившиеся ямы именами тех, кто здесь когда-то жил и любил, превозмогая судьбу, ловил рыбу и растил для будущего детей... И уже новые поколения почтительно внимали их рассказам, и не кончалась, все продолжалась неистребимая и настырная, как сама степная неприхотливая трава, жизнь; тянулась через пропасти времен неразрывной цепью человеческих судеб, дел и деяний, и потому, видимо, имена давным-давно усопших предков продолжали звучать в устах живых, и не потому ли всегда казалось, что где-то рядом с нынешним новым аулом все тлеет, теплится негаснущим огнем в очагах тот скорбный, как все отошедшее, но осененный светлой памятью старый аул... И порой казалось, будто вместе с живыми каждый день выходят в море и его незримые обитатели. И вместе с живыми стойко переносят все метания и скитания, совместным пóтом орошая насущный свой хлеб. И вместе, бок о бок, ходят по многотрудной и родной приморской земле. И поныне, стоит показаться возле скорбного аула на крутояре вдруг случайному путнику или забредет туда скотина, взойдет над разливами солнце или всплывет луна, ни один старик не упустит случая напомнить лишний раз человеческому молодняку: «Вон, глядите, у землянки Еламана...», или: «Видишь, и там, где землянка Калена...», или: «А ту звезду небольшую видите — красноватую, как раз над землянкой Судр-Ахмета?..»

Да, жизнь мудра, и пока на земле остается хоть одна живая помнящая свое родство душа, светлое имя и добрые дела человека не исчезнут в ее благодарной памяти. Так есть ли смысл досадовать на то, что жизни человека изначально положен неумолимый предел? Что из того, что скряга-судьба не бог весть как щедро отмерила на долю человека и силы, и красоты, а еще меньше удачи и непрочного людского счастья?! Пусть на земле нет ничего неизменного, вечного; даже день и ночь, свет и мрак — ведь они тоже, чередуясь, сменяют друг друга. И пусть за большой ли, малой ли радостью, нет-нет да и выпадающей каждому в свой срок, неизменно следует по пятам, крадется, точно разбойник на боль-

шой дороге, печаль. Приходится мириться даже с тем, что роковая межа предопределена не только каждому отдельному человеку, — в равной степени она существует и для каждого поколения, для всех грядущих потомков, для всех мыслимых времен и эпох. Скупо или щедро, но все отмерено судьбой, все ограниченно, быстротечно; ограниченны и быстротечны в человеке и сила, и страсть, и красота. Ибо все вместе это лишь прекрасный, как обновление степи единственный раз в году, как мимолетная пора цветения тюльпанов, но временный дар своенравной природы. И потому все драгоценное, чем обладает человек, — всего лишь долг, должок, который следует в предписанный срок вернуть, или одолжение, за которое должно сполна воздать. Потому что за какой-то десяток-другой лет дряхлеет, изнашивается человеческая плоть. Увядает былая краса. Тускнеют недавно сиявшие счастьем глаза. Морщинками покрывается некогда нежное молодое лицо. Ибо все в жизни преходяще, временно. Одному только можно удивляться в этой скоротечной человеческой жизни — тому, какой неколебимой, верной в своем постоянстве остается в ней память однажды испытанного рокового чувства... Даже на склоне жизни, когда старческая тоскливая немощь неумолимо подтачивает самый стойкий дух, притупляет, как острый меч о камень, самый здравый ум, неизменным остается лишь однажды вспыхнувшее в душе, осветившее все твое существование чувство, а вернее — живая память о нем. Только она в состоянии противостоять безжалостному, всепоглощающему бегу времени. И даже в дряхлом, истомленном жизнью теле старца оно, чувство это, ухищряется быть таким трепетным и свежим, как будто все это произошло только вчера...

Одинокий человек очнулся, поднял голову. Тяжелые думы не отпускали его. И почему-то особенно жаль было предков. Бедные, как они старались возродить, омолодить своей кровью и пóтом родной край! Однако убавилось ли, меньше ли стало прорех и заплат в этом мире?

Человек вздохнул. Стараясь стряхнуть навалившееся с утра оцепенение, он оглянулся вокруг. Тускло-белая мгла все так же окутывала холодный мир. И не за что было уцепиться глазу на припорошенном снегом льду. И тогда он в какой уж раз глянул на цепочку своих следов. Странно, только что кроме его следов не было ничего. А теперь появились откуда-то тройчатые отпечат-

ки крошечной птичьей лапки. Они тянулись параллельно с его следом и, не доходя до него, вдруг обрывались. Куда могла подеваться птаха? Он огляделся, посмотрел на небо. Оказывается, поднялся ветер. В открытом море он особенно крепчал, набирал силу.

Дуло откуда-то из степей, преодолевая резко горбатившийся к середине хребет Бел-Арана. Мглистая изморозь совсем скрыла горизонт. И вместе с этим невесть откуда налетевшим ветром поднималась в душе тревога. Одинокий человек водил глазами по небу, искал бог знает как очутившуюся здесь птаху и вдруг услышал где-то совсем рядом писк. Боясь резким движением спугнуть ее, он скосил взгляд под ноги. В двух шагах — совсем озябшая пичуга. Это была обыкновенная камышовка. Непонятно, то ли голодная, то ли больная, пугливо поводя глазками-бусинками, она лежала, не шелохнувшись. Человек хотел сделать движение. Но, учуя это, пичуга забеспокоилась, что-то быстро, невнятно щебетнула на своем птичьем языке и подпрыгнула, точно выпавший из рук ребенка мячик. Потом подпрыгнула еще. «Видно, и эту беднягу какое-то горе гонит...» — думал он. И поймал себя на том, что и сейчас, следя за птахой, косится влево... И это насторожило его. Нет, не прошли, видно, даром назойливые напоминания жены о его психическом отклонении. Мало-помалу в самом деле его стали одолевать сомнения. «Может, и вправду, нездоров?» — думал он, и от этой мысли становилось невмоготу, и нелепые подозрения занозой впились в сердце. И росло это день ото дня... Однажды оно захлестнуло его в самом неподходящем месте, когда он выступал с трибуны перед колхозниками. Говорил привычно и поначалу не заметил за собой, что почему-то не глядит на сидящих перед собой людей... Блуждающий его взгляд то и дело возвращался, как привязанный, к потной блестящей макушке родственничка, сидящего со своим неизменным слуховым аппаратом на шнурке в первом ряду — слева!.. Опять слева! Панический страх пронзил его. О аллах... неужто болезнь?! И он не желает признать ее только из-за упрямства, из-за своего собачьего, как жена говорит, характера? С горем пополам сдерживая окатившее его вдруг волнение, он тогда с трудом закончил свою речь. И вот теперь опять... Весь день, считай, торчит на пустынном ледяном поле, о всякой всячине передумал, а сам тем временем, оказывается, помимо воли косится влево. Почему несчастная озяб-

шая камышовка появилась опять слева? Может, в обличье птахи ему примерещилось... что... что могло ему померещиться?

Он хмыкнул и оторвал взгляд от серенького на снегу комочка и снова посмотрел на неровную, будто спотыкавшуюся, цепочку своих следов. Неужели и впрямь существует некая фатальная связь между следами человека и его сущностью? Вот погляди-ка... Не видно разве, что брел рослый сутулый мужчина, брел, опустив голову, подавленный тяжкими думами. Руки, как плети, повисли вдоль тела. Шел, приволакивая ноги, будто к каждой по булыжнику привязано, шел вяло, оставляя на рыхлом молодом снегу след. И заметив, бывало, как он, вымотавшись за весь день на море, устало плетется под вечер к дому, Бакизат встречала его насмешкой: «Ах, это ты? А я думала, старик какой-нибудь тащится».

Что ж, он даже в детстве казался старше своих лет. С годами эта особенность его внешности усугубилась. И с этим пришлось волей-неволей мириться. Да, он смирился. Да, привык. Лишь иногда, попав с женой в какую-нибудь незнакомую компанию, он, случалось, испытывал неловкость. Особенно после одного досадного случая, когда во время зимних школьных каникул ездил с женой в Аральск. Пригласил их к себе знакомый врач. Всегда внимательная к своему наряду, Бакизат в тот день уж особенно усердствовала. Пока она гладила, причесывалась и напомаживалась, они порядком припоздали, и, когда пришли, гости уже были в сборе. В прихожей стояла молодежь. Заранее настроенный на веселье, на шутку, один среди них далеко уже не молодой, по всей видимости, местный шут-остряк бросился встречать вас:

— О, добро пожаловать! Милости просим... Разрешите поухаживать за милой женге?

Он был явно старше тебя, и оттого его выходка была особенно неприятна, покоробленный, ты покосился на жену. Она же, ничуть не робея под чужим и жадным мужским взглядом, с подчеркнутым ко всему безразличием и равнодушием смахивала кончиками пальцев снежные пушинки с отворота приталенного модного пальто. Тем временем из гостиной решительно направился к вам бородатый детина. Подойдя вплотную к Бакизат, он, картинно тряхнув гривой, уронил голову на грудь и тут же резко вскинул ее. Щелкнув каблука-

ми тупоносых, на толстой подошве туфель, учтиво прогундосил:

— Пардон, мадам!

И засопел как-то нехорошо, по-бычьи, будто в широкие ноздри его загнали пробки. Бесцеремонно взял руку Бакизат и, прикладываясь к ней губами, причмокивая, бросил исподлобья взгляд и на тебя:

— О, здравствуйте... Простите великодушно, ваша дочь, по всему видать, пошла в мать...

Бакизат вроде только теперь смутилась, попыталась было отдернуть руку. Но бородатый не отпустил, пока не расцеловал один за другим все пальцы. Ты не знал, чем ответить, повернулся к гостиной, где обособленной кучкой собралось районное начальство. Среди них стоял и сам Ягнячье Брюшко. Был он важен и напыщен. Руки покоились, как всегда, на накачанном благополучием животе, будто оберегая его от всяких посягательств, больше всего на свете боясь за его сохранность... Видно, он успел заметить все: как ты опоздал, как смущенно вошел, пропустив сперва жену, и как вас встретили насмешники.

Ты понял, что ничего хорошего этот вечер тебе не сулит. В таких случаях предчувствие тебя редко обманывало. И, едва успев войти, ты стал уже подумывать об уходе. Чтобы легче было незаметно улизнуть при удобном случае, ты намеревался сесть поближе к выходу. Но тот безбородый рыжий, будто угадав твое намерение, мелким бесом вертелся вокруг Бакизат и, учтиво поддерживая ее под руку и сладко воркуя: «Женеше! Женеше!», едва ли не силком усаживал рядом с самим Ягнячьим Брюшком. Ты растерялся. И пока раздумывал, решал, как теперь быть, гости, задвигав стульями, рассаживались по чину и по возрасту. Не успел и оглянуться, как все стулья оказались разобраны, и ты с ужасом понял, что вообще остался без места. Хозяин дома не заметил твоего замешательства. Он был настолько взволнован и возбужден, занят своими именитыми гостями, что стоило где скрипнуть стулу под особой, как он, не помня себя, бросался туда.

Уязвленный до глубины души, ты лихорадочно решал — как быть? Уходить или оставаться?

— Ой, Жаке!.. — наконец-то хозяин дома спохватился.

Не зная, куда усадить тебя, он засуетился. Теперь и гости обратили на тебя внимание. Пришлось кой-

кому, двигая стульями, потесниться. И ты, весь потный и красный, пристроился кое-как сбоку жены. С другой стороны от нее сидел Ягнячье Брюшко, все так же сцепив пальцы на животе. Глаза его, как всегда, блуждали в пространстве. Казалось, не замечал он сейчас не только яств на столе, не только притихших перед едой гостей, но и свою супругу по правую руку, а Бакизат — по левую. Он не сразу очнулся, а очнувшись, оглянулся вокруг и тут увидел Бакизат. Она сидела потупив взор и скромно сложив руки на коленях. Ягнячье Брюшко, скрипнув стулом, подвинулся ближе к ней и что-то сказал. Казалось, Бакизат не расслышала. Тем не менее, подчиняясь извечному такту, свойственному ее полу, сдержанно улыбнулась и кивнула головой. Ягнячье Брюшко снова что-то сказал и опять получил в ответ улыбку и кивок. Подбодренный Ягнячье Брюшко заговорил теперь живее, увлеченнее, и ты только диву давался: оказывается, могли еще его руки, всегда важно покоившиеся на животе, делать и какие-то движения, более того, жестикулировать, смотри, бог ты мой, он начал улыбаться, даже, тряся плечами, смеяться, роняя с губ не те неизменные, привычные «план», «обязательства», «рыба», которые уже много лет ты привык слышать постоянно от него, а обычные, человеческие слова. Поначалу ты заинтересовался, напряг слух, однако ничего толком не разобрал. Он говорил что-то вроде: «Что же вы ничего не берете?..» Потом спросил: «Может, прибор вам подвинуть?» Можно было подумать, что рот его искривится или рука отсохнет, если он подаст или придвинет что-либо на столе, не спрашивая... А Ягнячье Брюшко между тем совсем разговорился:

— По тому, как ваш муж скрывает такую фею, думаю, что он самый настоящий феодал... Да, дорогая, он феодал!

— Не исключено,— усмехнулась и Бакизат, по-прежнему не поднимая опущенных глаз.— Все мужчины скрытые феодалы...

Ягнячье Брюшко еще что-то сказал в этом роде, а ты все не переставал удивляться. Тебе и до этого вечера доводилось бывать вместе с Ягнячьим Брюшком в гостях. И всякий раз ты был свидетелем: чем больше его ублажали, улещивали за дастарханом, одному ему отдавая все внимание, тем он становился напыщеннее, важнее, хмурил брови, ни на ком не останавливал

своего рассеянно блуждающего взора. И, в свою очередь, чем больше напускал он на себя важности и спеси, тем угодливее расшибались все вокруг, угадывая малейшее его желание и капризы. И, казалось, весь вечер все глаза за столом видели его одного, все уши слышали его одного. И все тосты предназначались только ему. Все льстивые слова вращались также вокруг него. Хлопали ему, улыбались, внимали — тоже ему одному. И, видно, Ягнячьему Брюшку все это стало настолько привычным и обыденным, настолько он с этим свыкся, что даже и в мыслях не допускал, что могло быть как-то по-другому. И потому тебе не без основания казалось, что он уже не в силах, просто не в состоянии различить, где правда, а где ложь, где искренность, а где фальшь, в этом радужном фейерверке безудержно льстивых, угодливых слов. В прошлый раз в гостях, помнится, он был совсем другим, он не изволил даже пальцем на брюшке шевельнуть, пока кто-нибудь не подавал вилку, кто-то другой, угодливее — нож, а третий не пододвигал тарелку. А сегодня... Нет, сегодня его не узнать. Сегодня он весь вечер, можно сказать, был в ударе; то и дело наклонялся к красивой соседке, проявляя не свойственное ему усердие и расторопность, то пододвинет к ней тарелку, то пытается положить ей в тарелку закуски и подлить в фужер винца, и при этом каждый раз напоминает: «Даже красивый женский организм нуждается, понимаете ли, хе-хе, в калорийной пище...» А немного погодя ты с глухим раздражением заметил, как Ягнячье Брюшко еще ближе придвинулся к Бакизат и на его гладком, как отполированном, лике без морщин появилось нескрываемое желание, которое он тщетно старался прикрыть улыбкой.

— Ешьте, дорогая, вы можете не опасаться за свою фигуру. Уверяю, что уж кому-кому, а вам не грозит... По крайней мере до конца этой пятилетки, ха-ха-ха...

Супруга Ягнячьего Брюшка забеспокоилась, заерзала на стуле:

— Люди на тебя смотрят. Ешь, ешь сам, пока не остыло!

Хозяин дома поднялся, намереваясь произнести тост. По тому, как он разволновался, даже взмок весь, было ясно, что он старался сказать как можно лучше, изощренней всех. Но в ответственный момент язык, как назло, не повиновался, мысли смешались, спутались и

он сам не заметил, как нечаянно выпалил: «...нынешнему небывалому расцвету Арала мы всецело обязаны вам...» И, недосказав, неожиданно запнулся, заозирался по сторонам, должно быть, запоздало подумав: «Не слишком ли я загнул?..» И тут же торопливо поправился: «Главное, будьте здоровы. Давайте, товарищи, за... испытанного руководителя нашего района, за здоровье и успехи его выпьем... выпьем в едином порыве, стоя!..» Голос его преданно дрогнул, сорвался. Гости, грохоча стульями, как один вскочили.

Маладес! Маладес! Благодарю! — сказал Ягнячье Брюшко.

После двух-трех подобных тостов у молодежи развязались языки, и Ягнячье Брюшко тоже подобрел, повеселел и, усыпив парой фраз бдительность супруги, опять подался к Бакизат, расплываясь в улыбке. Что он сказал на этот раз, ты не расслышал, но зато заметил, что теперь Бакизат проявила повышенное внимание к его словам. Особенно тебя поразило то, что, когда сосед в очередной раз, наклонившись к ее уху, шепнул что-то, она вдруг быстро взглянула, точно полыхнула черным пламенем глаз, на него, отчего серое лицо Ягнячьего Брюшка заметно порозовело:

— Нет-нет, дорогая, уверяю вас. Такие педагоги, как вы, и городу нужны... Давайте переведем вас в город.

— Спасибо. Только вы при этом не учли положения женщины. Куда она поедет без мужа?

— Конечно, можно и мужа вашего перетащить. Только... знаете, у него вечно с планом нелады...

— Выходит, и тут оговорка есть,— рассмеялась Бакизат.

— Почему «оговорка»?.. Напрасно так думаете. Нам только захотеть, и мы вас вместе с мужем в город перетащим. Не так ли? — Ягнячье Брюшко обратился к сивоголовому мужчине, который сидел поодаль.

Тот что-то под нос промямлил: «Конечно, конечно... Достаточно одного вашего слова...»

Сивоголовый — один из крупных некогда руководителей в районе. Было время, когда он держался независимо, гордо. В те годы на заседаниях в райкоме или исполкоме люди побаивались этого крупноватого и резкого по характеру мужчину. Бывало, в самый напряженный, ответственный момент сивоголовый всегда порывисто вставал, энергично жестикулируя, напрягая и без того раскатистый голос, с ходу обрушивался

на своих оппонентов. Иногда в принципиальных вопросах, забыв всякую предосторожность, открыто возражал даже самому Ягнячьему Брюшку. Это было в прошлом. А теперь, дожив до пенсионного возраста, он будто сломался, стал оглядчивым и осторожным, предпочитал больше отмалчиваться.

— Да, дорогая, нам только захотеть, и мы вас с мужем...

— А, ну вас... Вы, начальники, обещать только горазды.

— Нет-нет... докажу! На деле докажу,— распалялся Ягнячье Брюшко.

Ты видел, как смелела Бакизат. Она глядела теперь на своего прилипчивого соседа озорно, черные глаза ее лукаво и весело заблестели, к твоему неодобрению, она своим оживлением все более привлекала к себе внимание столь охочей ко всяким сплетням компании. Раза два заикнулся было ты об уходе, но Бакизат, не дав тебе договорить, затеяла вдруг разговор с каким-то захмелевшим острячком с другого конца стола. Сидя как на привязи, ты все больше сознавал свое бессилие что-либо предпринять. К счастью, люди захмелели, никто не обращал на тебя внимания. Многие вообще забыли о твоем присутствии. А те, кто еще помнил, с явным неодобрением посматривали на тебя, весь вечер угрюмо промолчавшего под боком у такой прелестной женщины, непонятно как ставшей твоей женой. Должно быть, им казалось, что своим молчанием ты ставишь под сомнение искренность их собственного веселья и тем самым вносишь некую тоску и неуверенность во всю честную компанию. И потому, видимо, некоторым из них при первом же взгляде на тебя становилось как-то неловко за свое неестественное, будто предписанное кем-то извне, веселье, и они поспешно и хмуро отворачивались. Да, ты сейчас понимал, что своим молчаливым присутствием никому не доставляешь удовольствия, тем более Ягнячьему Брюшку. Неспроста он еще при твоем первом появлении в гостиной не удостоил тебя ответом на приветствие. Только буркнул: «А ты откуда взялся тут?»

«Да вот... по делам...»

«Какие еще дела?.. Как рыба?.. Как с планом, кстати?»

«Ну, план... что план... наше положение, сами знаете...»

«Видишь, ему дела нет до плана, до обязательств!..»

Ягнячье Брюшко обернулся на сивоголового и раздраженно развел руками. Сивоголовый промолчал. Зато другие поспешно закивали, поддакивали: «Вот уж у кого ни забот, ни хлопот, как говорится, ни горюшка!»

«Да-а... везет некоторым. Прямо райская жизнь!»

«Наскучит жизнь в ауле — в город помчится. В гости, понимаете ли... Ест мясо, арак пьет. Каждый день веселье, пир. А вот план...»

«А что ему план! План — не его забота. Это у вас из-за плана голова болит. А он... э-хе-хе...»

«Уйду!» — решил ты, но Бакизат слушать не хотела. Что-то происходило с ней. Черные глаза блестели. В гостях, в многолюдных компаниях, особенно под взглядами восторженных мужчин, она всегда неузнаваемо преображалась. В ней вдруг словно бесенок какой просыпался — таинственный, непонятный тебе, который одновременно и пугал, и притягивал. Ты давно знал, что ей доставляет неизъяснимое, чисто женское удовольствие испытывать власть своих чар. В такое время бесполезно пытаться увещевать.

От нечего делать ты сел в дальний угол зала и принялся рассматривать предложенный гостям семейный альбом. Но сосредоточиться не мог: перед глазами кружилась развеселившаяся Бакизат, бог знает в чьих там объятиях. Наконец музыка кончилась. Люди не спеша расходились по своим местам. И вдруг услышал за спиной легкий стук каблучков.

— Тебе не скучно? — спросила она, довольная и возбужденная.— Пойдем, потанцуем!

— Да я... Не надо. Я ведь ноги только отдавлю.

— Ничего, научишься. Пошли!

— Помилуйте, какая трогательная привязанность к мужу!

Ягнячье Брюшко, расплываясь в улыбке, подошел и уверенно вывел Бакизат в круг. Бакизат держала Ягнячье Брюшко на расстоянии от себя, но он норовил схватить ее; она смеялась, всякий раз ловко уходила, увертывалась, появляясь то с одной, то с другой стороны. Тебе казалось, что танцы длятся вечность. Стараясь быть равнодушным ко всему вокруг, ты переворачивал страницы семейного альбома, а глаза рассеянно скользили по лицам каких-то незнакомых и неинтересных тебе людей. Ни одно из них не задерживало внимания — они мелькали перед глазами, как

мелькает пестрая толпа на улицах незнакомого города.

— А это мы с женой в студенческие года...

Ты не заметил, как подошел хозяин дома. А заметив, не знал, о чем с ним говорить.

— Жадигер-ага, знаете, я тоже, как вы, не танцую. В гостях тоже всегда рассматриваю альбом.

Ты захлопнул альбом. Положил на место. Мельком покосившись на хозяина, решил про себя, что он, пожалуй, и в самом деле чем-то похож на тебя.

Бакизат танцевала долго и с увлечением. И всякий раз, как только музыка обрывалась, она ловко выскальзывала из объятий Ягнячьего Брюшка, подбегала к проигрывателю и ставила пластинку сначала. Один раз силком вытащила и тебя, но не сделала даже круга, вытолкнула с шутливой досадой: «Да ну тебя!»

Хозяину стоило немалых трудов усадить гостей за стол. Ягнячье Брюшко было не узнать, он весь цвел. На жену, которая, скорбно поджав губы, крепилась из последних сил, он даже не посмотрел. Всем его вниманием завладела Бакизат. Он без конца тянулся к ее уху, что-то говорил, шутил, довольно похохатывал. И, конечно, видел твое состояние, видел, как горели твои уши, но это его ничуть не смущало. Наоборот, кажется, это забавляло его, даже доставляло удовольствие.

— Аз-ага... Ну, вы его знаете... наш знаменитый земляк. Так вот он однажды сказал: «Я предпочтительнее отношусь к красоте не столько собственной жены, сколько жены соседа...»

Ты едва не поперхнулся. Схватился было за чашку с чаем, чтобы протолкнуть противный комок в горле, но нечаянно задел рукавом рюмку и опрокинул, раздался звон стекла.

— Ничего-о,— ухмыльнулся Ягнячье Брюшко.— К счастью!

— Золотое слово. Где пьют, там и льют,— согласно подхватил сивоголовый.

В гостиной стало душно. Ты понял уловку Ягнячьего Брюшка: он имел обыкновение передавать собственные мысли чьими-нибудь словами. Даже на собраниях он ухитрялся прикрыться чьими-либо именами. Даже тогда, когда хотел распечь кого-либо из неугодных ему подчиненных, он не лез напролом, в открытую, предпочитал науськивать кого-нибудь другого. Свою жертву он добивал чужими руками. Вот и здесь, в гостях, намереваясь ударить тебя как можно больнее, он снова

прибег к своему испытанному приему, что приводило тебя в бешенство.

— Чего ухмыляешься? — насторожился Ягнячье Брюшко. — Что тебя распирает?

Ты, кажется, и сам не заметил, как резко встал. Разговор за столом мгновенно смолк. Не глядя ни на кого, ты решительно подошел к Ягнячьему Брюшку. Краешком трезвого рассудка еще понимал, что ведешь себя, может быть, смешно, а то даже и неприлично, но уже не мог совладать с захлестнувшей тебя с головой яростью:

— Вы угадали... Да, рас-пирает... Одно очень важное дело. Только не знаю, с чего начать...

— И не говори, оставь свои дела при себе. Знаешь, твои дела мне и так поперек горла.

— А вы все же выслушайте.

— И слушать не желаю. Оставь меня в покое хотя бы в гостях.

— Я-то могу оставить. Да люди там, в аулах, без питьевой воды сидят...

— Ну и что? Хочешь решить проблему пресной воды во время горьких возлияний?!

И, довольный ответом, Ягнячье Брюшко засмеялся, обвел торжествующим взглядом сидевших за столом. И все тотчас поспешно засмеялись, загоготали, поддакивая и усердно кивая головами:

— Это вы наповал сразили!

Так ему и надо! Нашел где про дела говорить. Тоже мне, заступник народа.

— Да иди... иди ты. Не стой над душой, народный заступник! — смеялся Ягнячье Брюшко, слегка отталкивая тебя.

Бес упрямства и злости взыграл в тебе. Бледнея лицом, твердея духом, стоял перед Ягнячьим Брюшком. И когда заговорил, голос твой прозвучал глухо, грубо:

— Нам нужны бурильщики. Если в ближайшее время не найдем источник пресной воды — худо будет. Разбегутся люди.

— Не понимаю. Ведь сами недавно шумели, что нашли воду!

— Верно, тогда... нашли. На глубине пятисот семидесяти метров бурильщики наткнулись на воду. Обрадовались люди, старики молитву сотворили, барашка заклали.

— Безобразие! Тут, понимаешь, продовольственные проблемы решаем, мяса не хватает, а они там по всякому поводу и без повода скотину режут, пируют! Молитва. Заклание. Жертвоприношение. Черт знает что...

Кто-то услужливо поддакнул:

— Что верно, то верно... У них так заведено, что даже при обрезании запросто барашка в жертву приносят...

— Возмутительно! Не бурильщиков, а агитбригаду нужно к вам послать, вот что!

— Агитаторов у нас в избытке. Нам нужна действующая скважина, вода...

— Да зачем тебе бурильщики? Есть же у вас источник, даже молитвой освященный...

— Источник-то есть, да вот пресной воды нет.

— Как так?! Ты же сам только что сказал...

— Сами знаете: обмелением моря грунтовые воды прибрежья сильно засолены. А бурильщики, видно, напали на случайный слой. Дня три била из скважины пресная вода, мы обрадовались было, а потом глядим — соленая пошла... Я ведь говорил вам об этом.

— Значит, плохо ваши старики молились. Или мало было для заклания одного барашка. Что бы вам не попробовать еще одного, а?!

За столом дружно расхохотались. Ягнячье Брюшко, как бы приглашая соседку к общему веселью, повернулся к Бакизат. Но она молчала, глаза не подняла. Теперь-то, вспоминая тот день, ты понимаешь, что ей стоило немалых усилий сохранить спокойствие на побледневшем сразу лице после той, неприятной для нее шутки по поводу какой-то смазливой женщины, которую зачарованный Азим готов был якобы проглотить вместе с туфельками...

— Ну как... пришлете бурильщиков или нет?

— Что, требуешь?!

— Нет, прошу... умоляю. Дело не может ждать.

— В самом деле, положение у них незавидное. Я сам в том убедился,— хмуро буркнул молчавший до сих пор сивоголовый.

Ягнячье Брюшко недовольно скосился на него, но тот не обратил на это внимания.

— Я сам видел, как жены, дети рыбаков все лето ведрами громыхают, рыщут, воду ищут питьевую. Прямо беда... Джин-шайтан, черт знает что...

— Ладно... Посмотрим...

— Нет, вы уж... будьте уж добры, потрудитесь прислать. И прислать немедленно. Речь ведь не обо мне, а о них... о людях наших!

— О-ого! Ты смотри, как он заговорил!

— И оставьте ваши шутки! Заговоришь тут... и немой заговорит, и камень от боли взвоет...

— Ну, хватит! Уймись! То клещами из него слова не вытянешь, а то... ишь ты, какой Демосфен, понимаете, аральский объявился... Эй, тамада! Дай ему слово. Пусть лучше тост скажет.

— Хах-ха-ха! Правильно! Пусть скажет, аральский Демосфен.

— Хех-хе-хе! Ну-ка, Демосфен, толкни-ка речугу!

Гости успели наесться, напиться, а теперь не прочь были и позабавиться. Особенно развеселившейся молодежи предложение Ягнячьего Брюшка пришлось по душе.

— Давай, Жадигер-ага, толкни речугу.

— Тамада! Не томи, дай председателю слово.

Ты, не зная, что сказать, уставился на рюмку, которую держал в руке. За столом воцарилась тишина. Все, предвкушая потеху, с любопытством ждали, что скажет аральский Демосфен. Но ты все никак не мог начать, мысли скакали, путались, гости с нетерпением заерзали стульями. На красивом лице жены проступила краска смущения и досады.

— Что ж, скажу...

— Ну, давай, давай!

О начальстве сказали. Сказали, по-моему, достаточно. Я не хочу повторяться.

— Интересно... что он скажет, давай, послушаем!

— Я скажу об Арале. Да, друзья... пусть священный наш Арал... пусть он вновь войдет в силу, обретет былую свою мощь на радость и благо всем нам... всем людям. Давайте за это стоя выпьем.

Грянул хохот. Смеялись все. Смеялись от души. Ягнячье Брюшко заходился и трясся так, что, казалось, еще мгновение — и он попросту свалится со стула. «А-ай, маладес! Маладес! Сказал же я — Демосфен!..— стонал он, захлебываясь и похлопывая тебя по спине...— Ай, маладес! Тебе, небось, и во сне Арал снится? Ох, уморил!..»

Наутро вы самым ранним рейсом отправились домой. За всю дорогу рта не раскрыли, старались не смотреть друг на друга. Тебе то и дело вспоминалось застолье. Сытые гости шумно веселились, среди них

только ты сидел хмурый, угрюмый. И не сразу заметил, что за столом, напротив тебя, вот также весь вечер подавленно помалкивал еще один гость. Казалось, и он тоже не видел и не слышал, что творилось вокруг, сидел, задумавшись над чем-то, иногда рассеянно оглядывал застолье и опять опускал тяжелую сивую голову на грудь. И лишь к концу вечера, когда после твоего злополучного тоста все разразились хохотом, сивоголовый резко встал с места. Водка из наполненного фужера, который он стиснул в руке так, что тот, казалось, вот-вот хрупнет, плескалась на скатерть, на пиджак. Сивоголовый тяжелым взглядом обвел гостей и сквозь зубы процедил: «Чему смеетесь?! Что тут смешного?! Что же для вас свято, если не Арал?! Я спрашиваю вас?»

И, залпом выпив водку в фужере и не попрощавшись ни с кем, пошел своей грузной, но твердой походкой к выходу: «Джин-шайтан... нет, это черт знает что!..» Гости, переглядываясь, в недоумении пожимали плечами. Тогда-то, схватив Бакизат за руку, почти насильно увлекая ее за собой и не слушая уговоров хозяина, решительно ушел и ты. Наутро улетели на самолете домой. На полпути настиг вас шквальный ветер, дул он с моря, поднимая сильную пыльную бурю, ранее не наблюдавшуюся в Приаралье и участившуюся только в последнее время. Бедный «кукурузник» мотало в воздушных потоках, точно утлую лодчонку на крутых волнах. Измученные, будто побитые, шатаясь, еле добрались до дому. По приезде ты облачился в пропахшую рыбой и морем рыбацкую робу и, не мешкая, выехал к тоням по ту сторону моря.

* * *

После этого случая все пошло, как говорится, вкривь и вкось; мир и согласие, без того не баловавшие ваш дом, теперь и вовсе обходили стороной семью. В гости перестали ходить, придумывали всякие причины. Поскольку следовал отказ за отказом, вскоре приглашения становились все реже и реже. Но вот однажды пригласили вас в гости... да, кто же это был? Кажется, один из твоих рыбаков... Кажется, по случаю поступления сына в институт пригласил аульчан. Тебе захотелось пойти, но сперва хотел узнать намерение Бакизат и робко поглядывал в ее сторону. Она сидела безучастно рядом с матерью, которая, как всегда, некста-

ти пришла перед этим. «Не хочет он — иди сама. Чего тебе томиться в четырех стенах? Иди! Одна иди!..»

С того дня Бакизат стала ходить в гости одна. Ты не пытался выяснить, зачем она это делает. А она со своей стороны не стала объяснять, почему так поступает. Так и жили. Прошла мимолетная весна. Вступило в силу лето. В начальных классах кончились занятия, Бакизат уехала в отпуск. Между тем в Приаралье разыгрались неслыханные события. Да такого, пожалуй, еще никогда не было. Не только нынешнее поколение, но их отцы и даже деды и прадеды, искони кормившиеся морем, такого на своем веку не видывали. Во все времена бывало так: рыбак поставит на ночь сеть, а на следующий день рано поутру вытянет рыбки на худой конец на ушицу. А в тот день рыбаки Приаралья по заведенному исстари порядку, рано поутру проверяя сети, глазам своим не поверили: ни одной, даже самой распоследней, рыбешки не оказалось в ячеях... На другой день поднялись еще раньше. И опять, борясь с ветром и волнами, направили лодки в море. И снова, как вчера, с нетерпением и страхом проверили саженью за саженью все сети, расставленные от края и до края чуть ли не по всей северной части Арала... И опять пусто! Все еще уповая в рыбацком терпении на удачу, вышли в море и на третий день — опять то же самое... Убитые неслыханной бедой, в глубоком молчании стояли изможденные рыбаки на берегу. И на четвертый, и на пятый, и даже на шестой день не удалось выловить хотя бы чебачка. Извечный кормилец — старец Арал, видать, прогневался, отвернулся от своих детей. Такого ужаса рыбаки не испытывали еще ни разу — с той самой древней поры, когда впервые отважные сыны, взяв в руки парные весла, отправились на утлых лодках в неведомое море на поиски пропитания...

— Не к добру, видать... Не к добру.

— Не понимаю. Неужели оставило нас его благословенье?..

— Да, неспроста. Осердили мы кормильца, и вот, видно, снялась с места, ушла куда-то рыба...

— Ушла, говоришь?

— Да, видать, ушла, и не догонишь...

В тот день ты пришел домой поздно. Молчал. Еда в горло не лезла. И сон не шел, всю ночь ворочался с боку на бок. Как бы хотел ты забыться, не думать ни

о чем, но, как назло, не выходил из головы этот тревожный, с тоской в голосах, разговор рыбаков возле пустой сети. Что значит — «ушла рыба»? Как понимать — «снялась с места?» Куда могла податься? Бывало, конечно, люди, спасаясь от мора-голода, бросали веками обжитые места. Порою всем родом-племенем приходилось в панике бежать, скрываться от преследующего врага. В иные годы бескормицы в поисках пастбищ могла разбредаться скотина. Даже зверье, почуяв беду, разбегается. Но чтобы рыба, немая подводная тварь, подалась куда-то?.. Нет...

Прошло полгода. Да и с тех самых времен, как море стало мелеть и уходить от своих берегов, жителей приморья счастье стало упорно обходить стороной. Особенно тяжким выдался этот год... зима выпала бесснежная, лютовал мороз, пыльная поземка пуржила по всей степи. А лето, как назло, — без дождя. С ранней весны задул с юга знойный, все испепеляющий ветер, на корню выжег едва-едва пробившуюся травку. Земля, и без того истерзанная непроходящей жаждой, после нескольких подряд лет жестокой засухи вовсе иссохла, растрескалась сплошным такыром. В том году была еще весна на календаре, когда из степей вдруг неисчислимыми косяками пошли к морю дикие сайгаки. Шли сплошняком. Поначалу далеко за аулом появился клубок пыли. Не сразу обратили на него внимание. А те, кто обратил, недоумевали: «Что это могло быть?» Облако пыли по мере приближения разрасталось все выше да шире и шире, растекаясь по степи. Вскоре вся беспредельная рыжая степь за аулом была покрыта пылью, которая, будто живая, наползала, надвигалась, приближаясь все стремительней.

Люди выбегали на улицу. Недоумение росло. Забегали, засуетились в страхе женщины, окликая своих детишек. Не меньше людей встревоженные собаки, толком не разобравшись еще ни в чем, не знали, броситься им с лаем навстречу надвигающейся к аулу со степи жуткой пыли или лучше подождать, пока все прояснится. И в своем собачьем нетерпении, усерднее виляя хвостом, скуля, все поглядывали на хозяев, будто советуясь, как быть им?

Вскоре послышался слитный гул тысячи копыт. Потом стало доноситься фырканье каких-то животных. Сквозь пыль смутно завиднелась, мелькая спинами, огромная масса каких-то быстро движущихся животных.

Впереди шел, опустив до земли голову, сильный лунорогий козел. То ли увидел далеко впереди синевшее море, то ли звериным инстинктом почуял близость воды — вдруг вожак поднял на ходу голову и, задрав ее высоко, остановился как вкопанный, с сопением втянув в себя горький прибрежный воздух. Дрожь пробежала по его напряженному телу. Торжествующе оглянулся на стадо, которое, хлынув из пыли, стало напирать сзади, и, по-козлиному мекнув, с места сделал огромные прыжки, будто кто камчой его огрел. И понесся, полетел стрелой к морю. За ним бросилось окутанное пылью все стадо. Бурый холм за аулом точно проснулся, загудел под тысячами копыт. Из аула бросились навстречу собаки, но обезумевшие от жажды сайгаки не обращали ни на что внимания, неслись, как сель, как поток, с диким ревом. Собаки дрогнули, отскакивали в сторону, боясь быть смятыми, только волкодавы, разъяренные степным звериным духом, набросились и, легко настигая, растерзали несколько коз. Измученных от жажды и голода, обессиленных долгой дорогой сайгаков забавы ради ловила ребятня, забивали коромыслами женщины. А сайгаки все шли, шли потоками, поднимая пыль всего побережья, невзирая ни на страх, ни на смерть. Шедшие впереди, во главе с вожаком достигнув моря, с ходу бросились к воде, жадно припали. Но соленая морская вода после нескольких жадных глотков не лезла. Через день-другой обрушилась на них новая беда. Среди несчастных животных начался моровой понос. И вскоре, настигаемые черной напастью, они отощали, запали боками. Так и паслись они в прибрежных степях все лето, сбиваясь в большие и малые косяки. Куда бы они ни подавались, из-под копыт взбивалась пыль, поднималась до неба и с утра до вечера стояла серой мутной тучей, свисая над движущимися стадами. От пыли не было спасу. Ближе к морю земля, насквозь пропитанная и покрытая солончаком, вся белая, лезла в глаза, в ноздри, набивалась в уши, и сайгаки беспрестанно мотали головами, пофыркивали, почихивали. Зной стоял невыносимый. А южное солнце, особенно в разгар лета, казалось, неподвижно застревало в зените. Ископыченная за лето земля вскоре превратилась в горячую золу. Даже птицы не летали в зной, днем. Сайгаки, одурев, метались по степи в поисках тени, скрываясь в лощинах, оврагах, прибрежных чахлых зарослях. В их глазах застыла мука. Смерть на-

стигала их повсюду. Гонимое жарой, мучимое жаждой и бескормицей, это чуткое, всегда боязливое дикое животное в иные знойные дни шло к людям, пытаясь прятаться в тени подворий. Однажды перед обедом ты сидел дома, дожидаясь, когда спадет жара, было кругом тихо, и вдруг всполошилась, захлебываясь от лая, собака. Схватив палку, ты побежал туда, где собака разъяренно хрипела. Когда прибежал, черный пес, загнав в угол сайгу, начал уже рвать несчастную, а та только дрожала, дергалась, обезумев от боли и страха...

Не нами замечено: иной плачет, а иной, глядишь, от радости скачет. Так и Сары-Шая ног под собой не чуял от удачи... То, что мечтал обрести лишь на небе, он вдруг нашел на земле. В ту пору удача сама шла ему в руки. Ведь надо же, раньше, бывало, быстроногую вольную степную тварь и со сворой гончих не настигнешь, не затравишь, а теперь она сама повадилась к тебе в хлев, прямо во двор лезет, на нож вроде сама напрашивается, ну, мол, свежего мясца не хотите ли? Ну, скажи, какой глупец откажется от дармового?! И Сары-Шая не отказывался, от удачи и удовольствия потирая руки, похихикивал: «Верно говаривали предки: о живом сам создатель позаботится. Бог дал день, бог даст и пищу. А у него, у бога-то, добра, по-видимому, куда как хватает, при желании всех облагодетельствует. Вот видишь: ты всю жизнь выклянчивал, вымаливал у людей крохи, а бог, всемогущий и всемилостивый, взял да целый кус тебе отвалил. Вон сколько коз в твоем хлеву, и все — твои, только наточи нож. Бери да режь. Ешь — не хочу!..»

В диком азарте заблестели, забегали у Сары-Шаи глаза:

— Эй, жена, где ты там?! Чего расселась, как паруньи на яйцах! Давай разводи огонь, налей воды в котел, да поскорей! Поживей, говорю! А то все уши прожужжала: мясо да мясо... Вот мясо! Вот когда набью свежатиной твою утробу! Целую гору мяса навалю. От жирного куырдака морду воротить будешь! Рыгать начнешь. Давай, давай, пошевеливайся. Нож... где мой нож?!

И долго еще в те дни не расставался Сары-Шая с ножом. Забрызганный кровью, засучив рукава, ходил он по двору, будто заправский мясник. Не одной сайге перерезал горло, не одну дрожащую в смертной агонии ли-

шил жизни, придавливая коленом сайгачью голову к земле. Не с одного рогача содрал шкуру, обламывая рога. Но все они были тощие; ни пропарить, ни прожарить, одни кости, да жилы, да хрящи. Одно название, что мясо, настоящий тощак, жуешь и жуешь, а на зубах — тьфу!.. Не свежатиной лакомишься, а жуешь вроде бы голенище старых сапог.

Выплюнул Сары-Шая недожеванный кусок, со злостью ногой оттолкнул от себя миску: «Ну и дрянь же... С какой стати нам на божью милость надеяться? И вообще, когда это было, чтобы бог человеку задарма что-нибудь стоящего подкинул? Все надо добывать в поте лица. Ну, а если я не хочу в поте лица... что я тогда, с голоду должен подыхать?!.»

Сары-Шая так расстроился и рассвирепел, что выскочил из дома. Собаки, видимо, гонялись где-то за дикими козами, на сей раз даже не подавали голоса. Сары-Шая поспешил в контору правления, в жидкой тени которой стояла возбужденная чем-то молодежь. Когда подошел Сары-Шая, все с горящими глазами, перебивая друг друга, рассказывали об охоте последних дней. Сары-Шая вмиг забыл про свою досаду и, заражаясь рассказом молодежи, даже повеселел. Проворно извлек из кармана свой блестящий аппарат, с которым не расставался вовсе. И, поднося его то к одному, то к другому, немного послушав разгоряченных удачей джигитов, вдруг и сам не удержался, разговорился... Э, ребята, да что там говорить, он тоже только что лихо провернул одно дельце. Да, да, поверите ли — еле подмял под себя, до чего матерый был сайгак, одни рога чего стоят... Подмял, мигом перехватил ему горло, в два счета разделал и тут же в котел. Бабу и детей накормил свежатиной. Ох, благодать! Жир меж пальцев сочился!.. Тут Сары-Шая спохватился, сглотнул слюну, оглянулся вокруг опасливо, соображая: не сильно ли загнул? Но заметив, как увлекшаяся молодежь жадно облизнула губы и заблестела глазами, решил, что ничего, сойдет. И продолжал с жаром:

— Эй, ребятки... умные люди ведь давно предупреждали, на море не надейся. Море, знаете, что безмолвный враг. Вон оно, шесть дней подряд ни одной паршивой рыбешки в сети не попалось. Хорошо, что сам всевышний смилостивился и нам косяками нагнал сайгаков. Не ленись только, режь и ешь с утра до вечера. Вон все вокруг кровью провоняло. Псы и те рас-

толстели. А шкурки какие? Хочешь — штаны себе сшей. Хочешь — подстилкой под зад себе стели, на все сгодятся. А козлиные рога? О-о. Мы в них ни хрена не понимаем. Знающие люди поговаривают, что казна за рога золотом платит... Потому как из них очень важное лекарство делают, целебное, вроде мужчинам в постели с бабой силы дает. Да, да... я и сам только недавно об этом узнал. В журнале ученом читал.

Джигиты возбужденно переглянулись: а что, мол, если не врет старик?! Сары-Шая, размахивая зажатым в кулачке микрофончиком, стал с жаром рассказывать о том, как там, в состоятельных домах больших городов, стало нынче модой украшать стены рогами — козла, архара, оленя... Прибьют к стенке ветвистые рога и радуются. Такая вот мода. А падкие до всякой моды городские бабы ради нее ничего не пожалеют. Денег у них — навалом... Так вот, джигиты, если проявить кое-какую расторопность, то можно в два счета набить сколько хочешь этих козлов, шкуру и мясо себе, а рога обломать да продать городским щеголихам, пусть себе тешатся...

Джигиты примолкли, заманчивые планы роились в их горячих головах. От усохшего моря теперь добра ждать нечего, это точно — отвернулось оно от людей. И какой тогда, в самом деле, смысл сидеть сложа руки и у моря погоды ждать? Если не полениться, то за какую-то неделю-другую кучу денег можно нагрести, нахапать. Отвезти в город машину рогов — и тогда... Да, вскружил им головы Сары-Шая. Заворожил. Чудеса! И как только сами не догадались.

На другой день, будто по заказу, остановилась проездом в ауле геологическая партия, сплошь загорелые, обожженные на южном ветру и солнце парни. На огромных, с синими капотами грузовиках. И за вечерним чаем Сары-Шая, наливая им в стаканы водку, живо расписав все прелести ночной охоты и неслыханную выгоду от добычи, без особого труда уговорил охочих до развлечения парней съездить в степь. Выехали, лишь только стемнело, на нескольких машинах с зажженными фарами и уже за аулом под бугром наткнулись на большой косяк гуртившихся здесь сайгаков. Истощенные до предела животные не пытались бежать, спасаться. При виде огненноглазых чудищ, с ревом наползавших на них со всех сторон из тьмы, они оцепенели от ужаса. И, ослепленные, оглушенные, начали сби-

ваться, давя и налезая друг на друга, в одну сплошную обезумевшую и хрипящую массу. Грузовики с ревом наезжали — сначала один, потом другие... Налетев одновременно со всех сторон, грохочущие чудовища сбивали бамперами, бортами, давили колесами, с хрустом переезжали дрожавших сайгаков. На другой день, едва дождавшись сумерек, снова покатили на ревущих грузовиках в степь. То же самое и на третий. Сотни и сотни сайгаков, коз и косуль — изнуренных, с гноящимися от пыли, мутными от ужаса глазами — были забиты, загублены, задавлены ради рогов, кое-кто даже, нимало не смущаясь, говорил — «пантов»... Все только и повторяли, разносили слова Сары-Шая. «Добыча. Рога. Богатые городские бабы. Дармовые деньги. Много денег. Кипы, охапки денег. Как сено! Настигай! Хватай! Бей! Истребляй где можешь!» Многие, верно, и во сне видели горы козлиных рогов и охапки красно-пестрых купюр. Аул лихорадило.

Ты вызвал Сары-Шаю в контору. Вместе с Рыжим Иваном пытались говорить с ним по-хорошему, и так и сяк, пробовали постыдить, а потом, поняв, что все это бесполезно, решили припугнуть. И Сары-Шая вроде слушал вас снисходительно, внимал вашим увещеваниям, однако с лица его все не сходила загадочная, какая-то мечтательная ухмылка. Видно, он заново представлял себе и переживал тот неуемный, не сравнимый ни с чем охотничий азарт, ту вожделенную страсть, когда он, чуть не вываливаясь из кабины, гнался с ружьем в руках на бешеной скорости за стадом обреченных сайгаков: подбегает он, Сары-Шая: ба-бах... ба-бах! настигнутый пулей сайгак, не понимая еще, замирал в ужасе, только потом, сделав предсмертный прыжок, на лету замертво падал. Как хмельной, охваченный диким азартом, хватает тушину за ноги, бросает в кузов, потом все на той же бешеной скорости сшибает и крушит сайгачье стадо, с хрустом наезжая, давя колесами машины...

— Охота — вот истинное наслаждение! Вот где душе развернуться! Я-то испытал. Да вы сами попробуйте... Про рыболовство мигом забудете. Все у меня охотничками заделаетесь! — Сары-Шая от собственных слов пришел в возбуждение и восторг, лысое темя его порозовело, покрылось испариной. — Всю страну мясом завалим!

— Слушай ты, убивец! Стыда не боишься — хоть

бы бога побоялся, — сказал Рыжий Иван. — А то ведь и мы найдем на тебя управу. Закон применим.

— Закон... Бог... Нашел чем меня стращать! Все это я лучше тебя, праведника, знаю. Назови мне статью, запрещающую охотиться на сайгаков? Черта с два назовешь! А что касается бога, то разве не он ниспослал в такое тяжкое для нас время это благо в образе сайгаков, а? Разве не так?! Это и есть божья милость, если хочешь знать! Тоже мне умник нашелся!.. Законник!

И Сары-Шая, гордо хмыкнув, пошел было восвояси, но ты подскочил и настиг его у двери и бесцеремонно вкогтился всей пятерней в его плечо:

Слушай!.. Больно ты распоясался. Не забывай, я здесь власть. Надо будет — прокурора вызову. Да засажу тебя в каталажку.

— Ой, ой, ты что, айналайын...

— Никаких айналайын. Беззакония не допущу!

Однако слух о несметной добыче, о возможности быстро разбогатеть докатился и до соседних аулов, до отдаленных участков. То, что несколько дней подряд сети оказывались пустыми, потрясло, как-то надломило рыбаков. А тут, как назло, разбушевалось море. Волны нещадно швыряли лодки. Кое-как расставив сети, измотанные, в задубевших от соли робах, рыбаки понуро сидели в камышитовой лачуге. Кончились продукты, прихваченные из дома. Кто-то яростно грыз сухарь.

— Эй, Жадигер! — резко ударил тебя в уши злой, взвинченный голос, отчего ты вздрогнул, поднял голову. — Посмотри на людей! Не люди — мыши. Слышишь, как хрумкают? Видишь? Или ослеп?

— Вижу, Кошеке... Но что вы от меня-то хотите? Лично вы?

— Что я хочу? Ни хрена не хочу. Забери только сеть, два весла да лодку. И отпусти меня. В этом море не то что рыбы — лягушек не осталось.

Ну, Кошеке...

— Заладил — Кошеке, Кошеке... Меня прежде называли черным стариком, а теперь хотите, чтобы на старости лет прозвали черным сусликом? Чтоб я грыз, как вон тот?.. Не выйдет! Хватит с меня. Лучше пойду в напарники, попрошусь к Сары-Шаю. Лучше сусликов буду ловить. Или коз давить. Мясо буду жрать. Рога продавать. Деньги копить. Вот так!..

В тот же день, когда строптивый Кошен, несмотря на все уговоры, покинув бригаду, подался в аул, из Аральска прибыл сивоголовый. Как только начинал гореть план, Ягнячье Брюшко имел привычку насылать уполномоченных одного за другим. Чаще всего приезжал один, черный, как головешка. Был он официален и не в меру прыток. Как бы желая еще более подчеркнуть свою официальность, он и в нещадный зной Приаралья приезжал в застегнутом на все пуговицы черном костюме. А туго завязанный под самым подбородком черный галстук снимал разве только на ночь перед сном. Ты не успевал поздороваться, как он, наскакивая, вставал перед тобой грудь в грудь: «Ну, браток, где рыба? Рыба, говорю?..» На этот раз Ягнячье Брюшко прислал сивоголового, того самого, с которым вы были в гостях у главврача райбольницы. Мешковатый мужчина предпенсионного возраста запросто и грузно ввалился в лачугу, с порога прогудел приветствие. Потом, словно ища что-то, оглядел поочередно всех рыбаков. И, показалось, так и не нашел того, что искал. «Апыр-ай, а? Черт знает что», — сказал удивленно, непонятно для чего. Бросил у порога свой пузатый портфель, косолапо прошел вглубь и грузно сел рядом с тобой на пол:

— Апыр-ай, а? Столько сайгаков! Тьма-тьмущая! — сивоголовый вытер пот с широкого лица. Расстегнул пиджак, помахал его бортами. — Травы нет, воды нет. Все у вас сгорело дотла. Бедняжки не дотянут до зимы, перемрут зазря. Если бы ты видел, какая тоска, какая мука у них в глазах. Надо ж, а?! Нет, это черт знает что...

Ты помнил, что сивоголовый тогда в гостях у врача рисковал своим и без того непрочным положением, открыто заступившись за тебя.

— Ну, как... бурильщиков присылал?

— Обещает.

— Не отчаивайся. Надо просить и просить. Требовать надо! По приезде я тоже напомню начальству.

Сивоголовый посидел немного, мучимый жарой, обмахиваясь бортами пиджака, бурно дышал. Вдруг неожиданно хохотнул, трясясь всем телом:

— Теперешнее начальство, что старая дева, любит набивать себе цену. Да, да, дорогой мой, надо ходить по одному и тому же делу с нижайшим поклоном по сто раз, обивать пороги. Да-да, только так. И тогда

лишь оно, может, смилостивится, что-то сделает. Черт знает что...

Сивоголовый пробыл несколько дней. Вместе с рыбаками вставал спозаранок, вместе выходил в море. Каждый день поздно вечером возвращался с улова вместе с рыбаками и хмуро глядел на чадивший очаг, на булькающий котел на тагане и, время от времени недоуменно озираясь по сторонам, удивленно восклицал: «Апырай, куда подевалась рыба? Ни чебачка... Надо же! Нет, это черт знает что...»

* * *

Видимо, когда человек устает от сплошных неудач, он с какой-то особой тоской охотно вспоминает редкие счастливые минуты прошлого. Вот и ты, с утра томясь на ледяном поле, все пытаешься вспомнить какие-то крохи радости, которые хоть как-то утешили бы душу. Ты даже не заметил, как всплыл вдруг в памяти тот праздничный день, когда окончились занятия в начальной школе. Было это на следующий день после приезда сивоголового уполномоченного. В тот день ты решил съездить в аул за продуктами для рыбаков, заодно и побывать на торжественной линейке, порадоваться успехам дочурки. В тот день все жители аула с утра высыпали на улицы. Разнаряженные, все как один, стекались к клубу, где с утра не умолкал громкоговоритель, установленный на столбе перед клубом. Пришли туда женщины, ведя за руки малых детей. Пришли и парни, сунув за пазуху на всякий случай по «белоголовой». Много набежало дошкольной ребятни. Было по-праздничному торжественно, шумно, народ шутил, смеялся. Перед клубом под открытым небом сидел за столом сам директор, по правую руку от него — завуч, по левую — старшая пионервожатая. Директор школы объявлял итоги учебного года. Люди затаив дыхание ловили каждое его слово. Выслушав годовые оценки того или другого ученика, все разом гудели, шумно выражая свой восторг или досаду. То здесь, то там сыпались с огрубевших в нелегком труде ладоней неумелые хлопки. Стоило директору похвалить какого-нибудь ученика, как тут же все бросались поздравлять счастливого родителя: «Надо обмыть! Давай роскошеливайся!»

В тот день ты тоже был радостен и горд за свою дочурку, получавшую второй год подряд похвальную

грамоту. И на обратном пути из школы ты усадил ее на плечо: «Доченька, ты сегодня принцесса! Папина принцесса!» — счастливо бормотал ты и сиял от радости. А «принцесса» смущалась прохожих, прикрывала ладошкой папин рот и умоляла шепотом: «Ну не надо... Ну молчи!»

Теща встретила тебя у порога:

— Ну, зятек... правда то, что к нам уполномоченный прибыл?

— Да, пожаловал...

— Вот как?! И ты молчишь?.. Ну, зятек, когда думаешь его домой пригласить?

— Ему и в бригаде хорошо.

— Вот-те раз! Что, божьего гостя угостить жалко?

— Если охота — сама пригласи и угощай.

Теща даже задохнулась от возмущения и, всплеснув руками, не зная что сказать, вздохнула, потом повернулась к дочери:

— Видела? Слышала? Вот он, твой муженек, весь тут. — Тещу сорвало на крик. — Ну, скажи ты мне, разве нормальный человек так сделает когда?! Если уж хочешь с начальством в ладу быть, так не кочевряжься, живи по-людски, ищи сближения с ним, найди подходы и подступы к нему. Все порядочные люди нынче так поступают, все, кроме разве твоего муженька, на которого, надо же, моя дуреха дочь променяла по глупости своей целый косяк умных, удачливых да видных, как на подбор, джигитов... В кои-то годы приезжает из города сам уполномоченный, а он, видите ли, не в состоянии даже по-человечески встретить. Так скажи, как же ему после этого в люди-то выбиваться?! Как посадили тринадцать лет тому назад мы его в этот проклятый богом колхоз, так и сидит сиднем. Раньше говорили: скотина походит на своего хозяина. А теперь — о, боже праведный! — мы дожили до того, что уже хозяин стал походить на свою скотину. Ты посмотри, полюбуйся на своего ударника труда, разве он не похож на бурую верблюдицу нашей свахи? Верблюдица нашей свахи тоже ведь не ищет тучного выпаса где-нибудь в стороне, вдали от аула, а довольствуется ближними скудными травками возле дома, где все вытоптано до пыли. Не-ет, доченька, от муженька твоего проку столько же, сколько от бурой верблюдицы, у которой выдаиваешь молока лишь забеливать чай.

Ты увидел ее искаженное ненавистью лицо, горящие презрением глаза, и тебе поневоле захотелось зажмуриться, лишь бы не видеть и не слышать ее, но не смог. Хотел, хлопнув дверью, уйти куда глаза глядят, но и на это тоже отчего-то не хватило сил. Точно в дурном сне, почувствовал вдруг во всем теле немеющую тяжесть. Необоримое безразличие ко всему, что происходит вокруг, охватило тебя. Тебя не задевало даже тещино неистовство. Только слова ее, точно одурелые осенние мухи, еще бились в уши, доносились, будто издалека.

— Нет, это не человек — могильный камень. Истукан. Да какое там! И камень ведь может содрогнуться, а этот... твой муж, твой ударник труда, если хочешь знать, это... это старая лодка, выброшенная на берег! Да-да... старая, рассохшаяся, никому не нужная лодка! Лоханка! Вот так! Вот!..

И она подскочила, готовая, казалось, разорвать тебя на части, и в исступлении затопала ногами, невразумительно выкрикнула что-то. Ты недоумевал. Неужели она не нашла другого, более хлесткого выражения, если уж хочет как можно больнее ужалить тебя? А ведь раньше находила, изобретательнее была. Подумаешь, старая лодка-лоханка! Ты хмыкнул, потом неожиданно даже для себя разразился вдруг хохотом:

— Молодец, теща! Надо же, а? Лохан-ка, ха-ха-а!

А она, потрясенная, не в состоянии вымолвить ни слова, так и застыла. Злые слезы навернулись, задрожали на ресницах. И с безнадежным отчаянием махнула на тебя рукой, кинулась было к дочери. Но и та точно воды в рот набрала, даже не глянула на мать. Никогда еще твоя теща не попадала в такое нелепое положение. Даже растерялась, очутившись между двумя бесчувственными истуканами. В бессильной ярости простирая руки на запад, туда, где гаснет свет, откуда начинается ночь, вся злобно задрожав, хотела, видно, проклясть их, что-то сказать — и не смогла. Казалось, вот-вот хватит ее удар. Но тут, против твоего ожидания, будто что-то надломилось в ней, будто оборвалось внутри и в одно мгновение весь ее гнев, вся ярость, так неистово клокотавшие, сразу погасли, руки упали, взгляд потух, подернулся пеплом — словно ковш воды плеснули на раскаленные угольи... И на ее обмякшем, враз посеревшем лице вдруг явственно проступили так тщательно и искусно скрываемые до сих пор признаки неуловимого увядания. Даже надменная голова, которую

привыкла она всегда гордо и высоко носить на людях, сейчас упала на грудь. И оттого ли, что прежде тебе не доводилось видеть тещу в таком надломленном состоянии, ты невольно почувствовал к ней что-то вроде жалости. Она напоминала тебе старую змею, у которой вырвали жало и выдавили яд. И вот она — обезоруженная, беспомощная, не в состоянии даже шипеть. Не поднимая глаз ни на зятя, ни на дочь, молча взяла за руку внучку и, как побитая, тенью потащилась к выходу. Лишь когда закрылась за нею тихо дверь, Бакизат подняла голову. Она и сейчас не промолвила ни слова, только смерила тебя долгим взглядом. И столько холода было в этом взгляде, что ты, вроде бы не чувствуя за собой никакой особой вины, но тем не менее испытывая какую-то странную неловкость, поспешно убрался из дома и в тот же день отправился в бригаду, к рыбакам. Приехал к ним, когда в камышовой хибаре уже по-ночному сгустился сумрак. Баламутный приморский ветер перед закатом улегся, затих. Но море, уходя в ночь, по-прежнему тревожно ворочалось, и волны, не находя себе покоя, тяжело и монотонно ухали. Перед сном ты пододвинул свою постель ближе к стене, где расположился уполномоченный, и прилег; укладывались и другие, и уже вскоре в лачуге то тут, то там раздавался утомленный храп.

— Не спишь? — уполномоченный толкнул тебя в бок.

— Нет...

— Я так и думал... А меня тут, знаешь, бессонница доконала...

Сивоголовый поднялся, запалил папиросу и, раза два жадно затянувшись, зашелся в судорожном кашле. Пошарил в темноте, что-то ища, придвинулся к тебе. От едкого дыма долго не мог прийти в себя, все что-то возился там, стараясь унять кашель заядлого курильщика. Дышал сивоголовый трудно, надсадно, с присвистом, с каким-то хлюпаньем в груди, и нетрудно было догадаться, что он, по всему видать, страдает астмой.

— Слушай... а что ж не задержался дома?

В ответ ты что-то промямлил. Уполномоченный, видать, смекнул, что невзначай задел твое больное место, и потому не стал больше расспрашивать. Он все еще с надсадцей хватал, втягивал в себя воздух, растирал ладонью грудь. Зажатая в пальцах папироса по-

гасла, только чувствовался еще в темноте тяжелый запах табачного дыма.

— Джин-шайтан... черт знает что... — сказал по привычке уполномоченный, продолжая, видимо, думать и мучиться о чем-то неведомом для вас, постороннем. Ты повернулся к нему в надежде, что он скажет что-то еще, но тот лишь беспокойно возился, ерзал, кряхтел на постели. Видно, и этому бедолаге хватает собственного горюшка.

— Как здоровье?

— А, к черту его! К исходу жизни оно ведь у всех в прорехах...

— Дети есть?

— Слава богу, хватает. Жена у меня смазливенькая была. По молодости лет, понимаешь, когда еще постель грела, увлекались и сами не заметили, как высидели целый выводок... обоего пола птенцов полно. Уж на что другое, а на дочерей-то да на сыновей мы богаты.

— А взрослые есть?

— Есть. Сыновей оженили, дочек замуж выдали. Но, Жадигержан, ведь нынешние дети, сам знаешь: борода до пупка, а родителей все равно сосут, как прожорливый бычок свою мать...

— Да-а, такое уж поветрие пошло нынче. Хочешь не хочешь, а пока жив — и пенсию пополам делишь...

— Они ведь не виноваты. Надо было учиться — они учились, не лепились. Десять лет в школе. Пять лет — в институте. Иные потом еще три года в аспирантуре пыхтят. Считай, полжизни ухлопали ради достижения цели. А толку?

Некоторое время молчали, вслушиваясь в ночной рокот моря за окном и в нестройный храп измотавшихся за день рыбаков. Кто-то в углу во сне стонал, задыхался, потом вроде совсем перестал дышать, и ты уж стал не на шутку беспокоиться, и тогда он вскрикнул, проснулся, вскинулся было с испугу... «Шофера, видно, черти дерут? — невесело усмехнулся ты про себя. — Да-а, у всех свои заботы... каждого своя ржа точит».

— Вот так-то, дорогой Жадигер. У бездетного — одно горе, у многодетного их — тысяча...

Уполномоченный прилег в постель, по обыкновению пробормотал неопределенно: «Апырай, а... Куда подевалась рыба?» Ты понял, что тебе сейчас не уснуть, накинул на плечи пиджак, вышел. Ходил долго, сперва

по берегу, потом пошел в сторону степи, все больше удаляясь от рыбацкой лачуги. Ночь была темная. Не видно было ни черного крутояра, ни тем более далекого Бел-Арана. Вроде бы ты пошел в сторону степи, а в самом деле ноги сами собой привели тебя к берегу. Приаральский баламутный ветер, не унимавшийся несколько дней подряд, вчера еще к вечеру резко стих. И белогривые волны тоже унялись, будто кто властной рукой накинул на них невидимую узду, укротил, взнуздал их всегда бешеный нрав. Под низким, обложенным тучами небом мрачно темнело, отсвечивало иногда неведомым светом море. В лачугу возвращаться не хотелось. Там, небось, мечутся в тяжелом сне рыбаки, ворочается в постели измученный бессонницей сивоголовый, все никак не находя ответа на свой, одному лишь ему ведомый вопрос, все недоумевает: «Апырай, а? Черт знает что такое...» Должно быть, в душе этого придавленного семейными и служебными заботами простодушного по натуре дородного степняка немало скрытых от глаз закоулков, о которых не всегда догадываются даже те, кто ходит рядом с ним по одной земле. И наверняка в одном из этих скрытых тайников души хоронится неотступная забота о детях. «Бывало время, когда взрослые дети кормили стареющих родителей. А нынче мало что растишь этих чертей, отрывая от себя последнее, хуже всего, когда они, окончив не один вуз и обзаведясь семьей, продолжают все равно кормиться, пастись на твоем дастархане всем своим выводком», — сказал он однажды вроде бы в шутку, но в этих словах ты чувствовал неподдельную родительскую горечь.

Остаток ночи ты прокоротал в лодке на берегу. Ближе к рассвету ненадолго задремал. Проснулся, когда уже занималась заря. Решив все-таки пригласить сивоголового в гости, ты отправился пораньше домой; по всему видать, Бакизат с нетерпением ждала тебя.

— Вот хорошо, что ты приехал! — бросилась она навстречу, не успев даже застегнуть на груди шелковый халатик, — есть неотложный разговор.

Взгляд твой как-то сам собою застрял, завороженный атласной белизной ее пышной красивой груди. Ты смутился, поспешно отвел в сторону глаза.

— Ну, слушаю...

У Бакизат дернулись в усмешке губы. Странно было ей видеть, как этот сорокалетний дюжий мужчина

не перестает смущаться перед, казалось бы, невинной наготой собственной жены. За тринадцать лет супружеской жизни она сама давно утратила девичий трепет, научилась смирять душевное волнение.

— Ну, ладно. Успокойся. — Бакизат быстро запахнулась халатом. Она продолжала испытывать досаду от твоего нелепого смущения. — Дело вот какое... Слышишь?

Ты все еще не поднимал на нее глаз. Тебе всегда было неприятно видеть на жене что-нибудь вызывающе яркое, броское, дорогое, хотя об этом ты в открытую никогда ей не говорил.

Она догадалась о причине твоего недовольства. Метнула на тебя быстрый взгляд. Должно быть, собиралась сказать что-то резкое, но раздумала, увидев, что сорочка твоя, как всегда, небрежно сидит на тебе и две верхние пуговицы расстегнуты. Бакизат достала иголку с ниткой и не спеша принялась пришивать пуговицы, одновременно и как бы между прочим выкладывая, почему он вдруг ей понадобился: каждое лето она отдыхала на море — непременно на кавказском или крымском побережье. И всякий раз отдыхала одна, потому что отпуск ее всегда приходился на разгар путины. Теперь вдруг взялась уговаривать мужа провести отпуск вместе, в Алма-Ате:

— Поедем, а? С сокурсниками встретимся. Знаешь как интересно будет...

— Понимаю, очень хотел бы, но... Нет уж, поезжай лучше одна.

— А ты? Как же ты?

— Да какой мне отдых? План горит. А тут еще навалилась на нас беда. Рыба отчего-то ушла...

— Ды ну ее, бог с ней! И план пусть горит синим пламенем! Подумаешь!.. Море усыхает, рыба гибнет — ты-то тут при чем? Значит, решили?

— А что начальство скажет? Ему хоть в воду ныряй, а план давай.

— Подожди... это тот, что с ягнячьим брюшком... что тогда со мной танцевал?

— Он самый.

Бакизат рассмеялась, покачала головой:

— Он такой грозный, да? Ну, тогда ладно... Раз не можешь — оставайся.

— Хорошо, Батиш, ты же у меня умница...

— Ты не обидишься?

— Нет, конечно. С какой стати!

— Тогда буду собираться.

— Да-да... собирайся. Поезжай, отдыхай!

Самолет прилетал сюда раз в неделю. В другие дни он курсировал между городом и поселком на той стороне залива Туши-бас. В том поселке раньше находился рыбзавод, и вот уже пять... нет, уже целых семь лет, как его закрыли, за это время жители в поиске работы наполовину поразъехались. Тем не менее рейсовый самолет все еще ходил туда по некогда заведенному порядку, ежедневно. А вылетал рано утром. Ты отвез ее на старом грузовике к самолету.

Когда вернулся, возле конторы толпился народ. Ты еще издали заметил, что там же находился одноухий Сары-Шая, явно чем-то озабоченный, совал всем под нос слуховой аппарат. Подъезжая ближе, еще заметил, как он вдруг встрепенулся и, приставив ладонь ко лбу, вгляделся вдаль. Раньше других он заметил: там, вдали, заклубилась пыль. «Кто же это может быть?» Недолго пришлось им ждать, как тут из густой, рыжей пыли вынырнул грузовик. Не успели еще люди и опомниться, как он резко затормозил перед конторой правления. Из кабины не спеша вылез грузный рябой мужчина в засаленной тюбетейке на самой макушке. Нижняя толстая губа, отягощенная насыбаем, выпятилась, что придавало его крупному мясистому лицу брезгливое выражение. Едва ступив на землю, он обеими руками поддернул спереди мешковатые брюки, потом, задрав голову, хозяйски глянул на кузов. Там, опустившись на колени, громоздилась одногорбая красная верблюдица; вытянув длинную шею, не обращая внимания ни на что кругом, она тоскливо смотрела за горизонт.

Сары-Шая хмыкнул:

— Кто этот в тюбетейке? Вместо того чтобы с людьми поздороваться, он верблюдице своей, как святому, поклоны кладет...

Рябой мужчина не торопясь отряхнул с себя пыль. Потом так же не спеша поправил сползшую во время дорожной тряски на затылок тюбетейку. От чесотки ли, от парши или еще бог весть от какой давно прошедшей болезни вся голова рябого, кроме макушки, пестрела бурыми пятнами, поросла островками белых волос.

Выходка странного путника больше всех задела Сары Шаю:

— Нет, вы только поглядите на него. В упор никого не видит! Он, наверное, такой же толстокожий, как и его верблюдица, — опять поддел он, вызывая на ответ незнакомца, и, как бы ища поддержки, оглянулся на аульчан.

Рябой все медлил, посасывал насыбай. Лишь только выплюнув его под ноги, он наконец повернулся к собравшимся, но и повернувшись, не стал здороваться со всеми за руку, а по странному, не принятому здесь обычаю приложил правую руку к сердцу, сдержанно, но учтиво поклонился. Сары-Шая понял, что ему не удастся вывести незнакомца из равновесия. Однако и молчать было не в его праве. Посмотрев на красную верблюдицу в кузове громадного грузовика, он усмехнулся:

— Ах, ах... как важно восседает скотина, будто на троне сидит!

Верблюдица скорбно смотрела туда, откуда ее везли, и жалобно постанывала.

— Да будет удачлив путь! — сказал кто-то, приглашая незнакомца на разговор.

— Спасибо! Да сбудутся твои слова, — откликнулся рябой. — Из Кунграда вчера выехал. Хвалили, что добрая порода. И потому купил у знакомого каракалпака. Тоскует животина по родному краю. Всю дорогу стонет...

— Да-а... верблюд, он пуще человека привязывается к родной земле.

— А я слышал, что эта порода откуда угодно возвращается к привычным пастбищам, водопоям. Смотри, как бы не убежала. Надо бы на дорогу глаза ей черной тряпкой завязать.

— Я и сам было об этом подумал, но уже поздно. Сплоховал!

— Верблюдица хо-ро-шая!

— Купил ее ради молока. Жена у меня плодовитая. Детишек народила кучу. А летом что им в зубы сунешь? На зелень разную наш край не богат.

— Конечно, понимаю...

— Нам бы чаю напиться да по холодку опять в путь. Ну, братья, признавайтесь, чья жена проворней? — Незнакомец насмешливо посмотрел на Сары-Шаю. — К тебе, карнаухий, даже не обращусь. Уж больно на язык горазд. У пустомели, известное дело, котел всегда пустой.

Рыбаки дружно расхохотались, Рябой пришелся им по душе. А Сары-Шая от неожиданности даже было покраснел, чего с ним никогда не бывало, но тотчас нашелся:

— Кто осмелится божьего гостя пригласить к себе в дом, когда среди нас находится сам баскарма?!

— Добрая должна быть верблюдица. Пусть оправдает твои надежды и хлопоты. Пусть принесет в дом радость! — сказал Рыжий Иван.

— Аминь! Да исполнятся ваши пожелания!

— Ну, дорогой гость, а как житье-бытье в тамошнем крае?

— Слава аллаху, живут пока люди в здравии и достатке. Только Амударья нынче что-то не того...

— А что? Что, бушует? Разлилась?

— Ой, не говори! Жуть! Как ее ни старались взнуздать, она, строптивица, такой тарарам устроила!

— Да, с Амударьей в половодье шутки плохи... Бед не наделала?

— Смертей вроде нет. А дома, сказывают, затопила. И скот, говорят, кое-где унесла.

— Вот это да-а! Амударья страшна в гневе! Еще хорошо, что повернули ее в Каракумы. А то бы с ней вообще сладу не было.

— Брось! Напрасно загнали ее в пески... Кому-кому, а нам эта затея боком вышла.

— Не говори! Тогда бы наш Арал не постигла бы беда... Ну, как Амударья, бушует?

— Днем и ночью грохочет. Вся желтая, глинистая, без удержу в море несет.

— Апырай, а? Черт знает что...

— А как там с рыбой... случайно, не слыхали? — поинтересовался Рыжий Иван.

— Слыхал. Говорят — непостижимо! Сама из воды прет. Каракалпаки не успевают вычерпывать.

— Апырай, а! Черт побери... Ну, председатель, понял теперь, куда подалась твоя рыба?

— Выходит, почуяла, бедная, приток пресной воды и снялась, шарахнулась вся на юг, — оживился вдруг и Рыжий Иван. — Ну, что будем делать? Решай!

— Решение одно. Догонять рыбу надо. А ну-ка, давай, собирайтесь! Живо! И сегодня же в путь!

Да, рыбак всегда остается рыбаком: скажи ему, что рыба ушла на край света, — он и туда за ней отпра-

вится... Тут же рыбаки побежали. Быстро погрузили на катер рыболовные снасти.

Рябой мужчина, напившись чаю и передохнув, с вечерней прохладой тоже тронулся в путь. Караванная дорога, некогда проложенная при купце Тентек Шодыре, затем — Темирке, начиналась отсюда. Перемахнув через хребет Бел-Арана, она сразу уходила по двум направлениям: одна — на Челкар, другая — на Арал. Ты проводил гостя за аул и показал парнишке-шоферу дорогу. Шофер без особой пока нужды включил мощные фары и газанул так, что грузовик дернулся, взревел и неукротимо, точно зверь, вырвавшийся на волю, понесся по ровной полынной степи. Пока работает мотор и крутятся колеса, не страшны ему никакие расстояния. В мгновение ока вымахнул он на черный холм, оттуда рванулся, срезая поворот, налево, потом направо — и, выбравшись на большак, с ровным мощным гулом устремился на закат. Ты стоял, все глядя вслед, пока могучий грузовик не скрылся из виду. Над высокими бортами еще долго видна была голова верблюдицы. Чрезмерно вытянутая, словно застыла она в своей неутешной, древней, как этот мир, скорби. Ничто в этот час не привлекало, не утешало верблюдицу — ни бурая степь, ни посвежевшее к ночи дыхание моря, ни полная луна, начищенным медным подносом всплывавшая на небосклоне. Она глядела туда, где осталась родина, где остались родные холмы и долины, привольные пастбища. И все это еще долго будет ей сниться, будет смущать ее покой, тревожить тоскующую душу. И ничего ей не будет мило в чужом краю. И в предчувствии своей тяжкой отныне, своей вечно томимой тоской разлуки судьбы смотрит верблюдица влажными черными глазами, смотрит не отрываясь, вытянув некогда гордую шею, туда, где осталась навсегда родимая земля, откуда увозит ее это с несусветной скоростью несущееся чудовище. Прощальный рев-стон бессловесной животины резанул тебя по сердцу. Ты, конечно, понимал, допускал в своих мыслях, что всемогущее время технического века перевернет по-своему многое, но почему-то предположить не мог, что это так скоро коснется и древнейшего, благороднейшего животного пустыни и степи. Почему-то всегда хотелось верить, что если что и может остаться в нынешнем переменчивом мире без изменения, так это именно оно и все, что извечно связано с ним: неторопливость, покладистость и выносли-

вость... Но неукротимое и безжалостное время не смилостивилось и над этой нерасторопной животиной, ее оторвало от земли, подхватило и понесло неизвестно куда. Кто скажет теперь, как сложится ее судьба потом, в будущем, как сможет она угнаться за стремительной поступью времени? А пока ее, послушную и тоскующую, увозят в кузове захлебывающегося железным ревом грузовика.

О славная, древняя животина, сколько же груза ты перевезла безропотно на своем горбу, сколько исходила от края и до края эту суровую землю за тьму-темь веков, — а вот теперь, смотри, и сама превратилась в груз, в поклажу, и мчит тебя, безответную, на четырех колесах по некогда вдоль и поперек исхоженной тобой пустынной степи...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Ты ошалело вскинул голову с подушки, сел. В ушах все еще звучал тот пронзительный крик ребенка, от него-то, точно ужаленный змеей, ты и проснулся. Открыв глаза, тревожно заозирался вокруг. Взгляд уперся в сплошную тьму ночи. Спросонок или со страху безлунная ночь на море померещилась тебе той черной провальной пучиной, в глубине которой, борясь со встречным течением, только что пронесся плотный косяк рыбы. И резкая свежесть морского ветерка, дохнувшая в лицо в то самое мгновение, когда ты очнулся, показалась тебе вовсе не ветерком, а жутким прикосновением могильно-холодных глубин. Весь еще во власти страшного сна, ты затравленно оглянулся по сторонам, будто опасаясь, что из пучины снова вот-вот вынырнет и бросится чудовище, подстерегавшее все время косяк. Но не было ни чудища, ни несущегося над бездной рыбьего косяка. Вместо всего этого мелькали вокруг какие-то расплывчатые тени и еще рядом на палубе что-то смутно темнело. «Что за чертовщина? Что со мной?..» Стряхивая остатки дурного сна, ты всмотрелся попристальней. Ах вон оно что!.. Это ведь твои рыбаки. В каюте еще с вечера было так душно и тесно, что они, помаявшись, один за другим поднялись на палубу, разлеглись где и как попало. Измученные духотой трюма, они теперь спали, наслаждаясь ночной прохладой под открытым небом. Кажется, по одну сторону бок о бок с тобой устроился упрямый Кошен, в темноте ты не сразу различил его. Да и трудно было поверить, что это он: больно уж спокойно спал. Может, кто-то другой? Но не успел ты так подумать, как сосед замекал и задрыгал ногами, потом угрожающе дернул головой, точно изготовившийся к нападению бодливый козел...

После такого дурного сна вряд ли теперь удастся заснуть. Катер с дюжиной груженных рыболовными снастями лодок на буксире отошел от пристани еще с

вечера и теперь деловито постукивал мотором, размеренно покачивался в темноте ночного моря. Даже сомнение взяло: а движемся ли?.. Желая в том удостовериться, ты спустился в машинное отделение. Огромный, с колесо одноосной кокандской арбы, мотор грохотал равномерно и усердно. Двое мотористов стояли по обе стороны двигателя. Оба хмурые и черные от мазута на потных лицах. Они бросили сонный взгляд на тебя и, не проронив ни слова, снова занялись своим делом. В сплошном грохоте, в масляном чаду мотористы работали привычно, зорко следя за своим железным подопечным. Чумазый парень с масляным факелом в руке склонился к приборам. Но стоило ему прикоснуться к какой-то снующей взад-вперед шустрой железке, та тотчас зло зашипела, будто хорек, попавший в капкан, и посыпались искры. Ты недолго пробыл в машинном отделении. Зазвенело в ушах, потому поспешно поднялся на палубу, прошел к носу суденышка. Катер держал курс на ярко мерцавшую в аспидной черноте неба звезду на восточном небосклоне. Если будет такой же штиль, если не подведет мотор, то к следующему вечеру они, пожалуй, доберутся и до устья Амударьи. Ты прислонился к мачте, на вершине которой покачивался блеклый фонарь. Как бы ни старался сейчас не думать ни о чем, из головы упорно не шел недавний жуткий сон, а в ушах вновь и вновь всплескивался тот отчаянный вскрик ребенка... И совсем непосильно было тебе представить, в каком обличье ты себя чувствовал там, в глубине желтой мути, — в обличье человека или рыбы? Если человека, то непонятно, почему же вместе со всем косяком плыл куда-то, выбиваясь из последних сил, плыл навстречу взбаламученному супротивному потоку... А то, что плыли вы, сносимые течением, несколько дней кряду, это ты помнил отчетливо. Косяк был такой огромный и шел так плотно, что взволновал полморя, поднимая со дна всю муть. Дышать было нечем, жабры забились грязью. Те, что послабее, истощенные, особенно перестарки, задыхались, отставали от косяка и, обессилев, влекомые назад течением, пропадали где-то сзади. А впереди косяка плыли бок о бок Серый Ярый и Белорыбица. Тело Белорыбицы гибкое, упругое, точно из серебра литое. Плавники под брюшком огненно-алые, глаза угольно-черные. И даже сейчас, в этой сплошной мутной пелене, все еще сверкает она своей ослепительной чешуей. А вожак Серый Ярый,

что рядом с ней, понимает, как тяжело всем плыть навстречу взбаламученной воде, и все чаще оглядывается, упруго изгибаясь, на косяк и шлет призыв за призывом: «Не жмитесь друг к другу, не толчитесь! Смелее, братья!..» Ты слышишь, он говорит на человеческом языке! И диву даешься, недоумеваешь, ведь несомненно же у рыб свой язык, а рыбий язык если и понимает кто, то разве лишь лягушки, да и те, небось, чуть-чуть. Так почему же тебе, человеку, так внятен призыв Серого Ярого? Почему ты слышишь терпеливый подбадривающий голос его — голос измученного, но не сломленного долгой и трудной дорогой вожака? Но никто не внимает его терпеливым мудрым советам. Отощавшая рыба в отчаянии так же бестолкова и упряма, как отощавшая за зиму скотина. Рыбы не только не слушаются своего вожака, а, наоборот, будто назло ему, жмутся, сбиваются еще плотнее, плывут уже так тесно, что, касаясь боками, отдирают друг у друга чешую. Вода становится грязнее, мутнее, плыть приходится все время против течения. Прошли половину ли мучительного пути, две ли трети, или, может, всего лишь треть — никто не знает, но все чаще и чаще попадаются на дороге отбившиеся от своих косяков разноплеменные бедолаги. Ошалев от радости, бросаются навстречу, восторженно взбивают воду хвостами, машут плавниками — совсем как люди...

Море становилось глубже. И мутный поток, затруднявший дыхание, посветлел. Зато участились утягивающие в глубину коварные водовороты. И опять Серый Ярый, обеспокоенный, пропустив Белорыбицу вперед, чуть приотстал и обернулся к косяку: «Будьте бдительней! Не смотрите вниз. Держитесь плотней! Не отставайте!..» А море становилось все глубже, темнее, вода холоднее, течение — круче и сильнее. И тут случилось непредвиденное. Охваченная ребячливым порывом Белая Рыбка вдруг вырвалась из-под брюха матери-Белорыбицы, метнулась в вольную воду, поднырнула, и тут что-то потащило ее вглубь, а навстречу ей оттуда, из черной бездны, серой тенью стремительно поднялось и накинулось, разинув пасть, мерзкое страшилище. Острые, как копья, зубы хищно щелкнули. Белая Рыбка успела только вскрикнуть. И от этого ее совсем детского крика, тоской наполнившего всего тебя, ты и проснулся.

Какой, однако ж, зловещий сон. И это теперь, когда

только было затеплилась надежда в сердцах рыбаков... «Ах, надо же... надо же, а? Не будет, видно, нам удачи и в устье Амударьи», — сокрушался ты. Э-э, ладно, подумал потом, уже успокаивая себя, сказано ведь: сон — это бред души. Так чего ее, душу-то, понапрасну травить?

* * *

Эх, какие славные были деньки! Столько лет косячками шли в их сети одни лишь неудачи, проваливали планы, и районное руководство махнуло было на них рукой — и вдруг такая улыбка судьбы... Богатая путина в устье Амударьи враз подняла их на вершину славы. Но все на свете преходяще: и эта радость в мгновение ока растаяла как дым.

Не зря, видно, говорили предки: от суеты прошедших дней не найти потом следа. Пройдет время, много ли, мало ли, и все пережитое тобой покажется лишь давним сном — и то, что было, и то, чего не было и в помине, что намечтал в азарте суеты. Но какой смертный в тоске по прошлым счастливым дням не ворошит памяти? Подобно малому дитю, сосущему пальчик вместо материнской груди, кто из нас не ищет себе в этом утешения? Вот и ты стоишь на заснеженной льдине, стараешься оживить в памяти мгновения тех радостно-суматошных дней.

Да, после того дурного сна тебе совсем расхотелось спать. Остаток ночи провел на носу катера, глядел в ночное море, на звезды. Рыбачий катер, постукивая, шел вперед. А к вечеру следующего дня достиг он устья Амударьи. Слова рябого казаха, который вез свою верблюдицу, оказались сущей правдой. В пору весеннего половодья Амударья вышла из берегов и уже который день с ревом, грохотом сбрасывала свои грязные потоки в Арал. И к простору синего моря клином уходила от устья мутно-желтая полоса, резко очерчивая границу между пресной и соленой водой. И можно было только диву даваться, как это рыбье племя, задыхавшееся какой уж год в непомерно соленой воде, почуяло за тридевять земель эту преснину. А почуяв, сорвалось с места. И со всех уголков огромного моря ринулось косяк за косяком, стая за стаей в далекий путь, на юг, к устью разбушевавшейся реки. Так покидают родные места люди, спасаясь от вражеского нашествия или мора. И ничто не в силах было удержать

рыбу: ни дальний путь, ни коварные течения, ни пучины, ни разбойничьи набеги притаившихся в темных глубинах хищников, ни рыбацкие сети, расставленные на пути. Повинуясь зову, обещанию жизни, отраде, которую сулила впереди спасительная пресная вода, рыбьи косяки неостановимо шли и шли к устью Амударьи; а там их днем и ночью черпали в обе руки, шалея от невиданной удачи, каракалпакские и узбекские рыбаки. Теперь к ним присоединились рыбаки-казахи с севера. Вслед за твоей бригадой примчались люди из колхоза «Раим» во главе со своим растопи-камень председателем. Потом подоспело еще несколько бригад. От лодок и катеров на реке в те дни рябило в глазах. Это была настоящая путина! Да, это была битва. Побоище. Вот когда наконец измученные неудачами рыбаки трех народов, не зная ни сна ни отдыха, обуянные азартом добычи, едва успевая, таскали тяжелые неводы и сети. В те дни, помнится, резко шибал в нос ни с чем не сравнимый рыбий дух, а берега реки стали скользкими от рыбьей крови и чешуи. Вдоль берега под открытым небом устанавливали весы. Чуть поодаль громоздились сваленные в кучу бочки и чаны, рядом тускло отливала на солнце соль. И тут же бабы да наспех собранные на помощь студенты, сверкая ножами, разделывали рыбу. Здесь же солили, упаковывали, грузили на катера и машины бочки, отправляли по воде, по суше в разные края. Трудно было понять что-то в этой суматохе. Добыча все росла. Люди валились с ног. На помощь стекались жители из прибрежных аулов, спешно организованные приемные пункты задыхались, не успевали обрабатывать нараставший вал свежего улова.

В те дни всех охватила лихорадка. И, несмотря на усталость, было удивительное настроение. Особенно радовался ты: шутка ли — месячный план выполнил всего за пять дней... Районная газета напечатала на первой странице репортаж о трудовой вахте рыбаков. Газета с твоей фотографией переходила из рук в руки: ты стоял счастливый, с улыбкой до ушей и держал на вытянутых руках большого, как полено, судака. В те дни среди рыбаков в кои-то веки появилась стайка фотокорреспондентов и, видно, какой-то из них сумел незаметно поймать тебя в кадр. Вскоре пришла радиограмма от самого Ягнячьего Брюшка: он поздравлял коллектив с рекордным уловом. Это были, пожалуй,

первые теплые слова за многие годы. Телеграмму ты носил в кармане и чувствовал себя именинником. В те дни, помнится, ты даже во сне был счастливым.

Совсем некстати расхворался накануне сивоголовый уполномоченный, потому в то утро ты малость задержался у его постели. И то он без конца теребил тебя: «Оставь меня... Врач при мне. Лекарства принимаю горстями. Быстро оклемаюсь. Иди к рыбакам. Нельзя упускать такой момент». На приемный пункт пришел, когда солнце уже оторвалось от горизонта. Запах рыбы бил в нос, перехватывал дыхание. На берегу черным-черно было от скопления людей, лодок. Путина все разгоралась. Истосковавшиеся по настоящей работе рыбаки старались не проворонить удачу. Суматоха стояла, как на хирмане в пору страды. По пестрым тюбетейкам, высоким лохматым бараньим шапкам, по туго повязанным на головах платкам еще издалека можно было определить, что здесь, на пятачке удачи, сошлись сыновья трех народов — узбеков, каракалпаков и казахов. Засучены в азарте рукава. Закатаны штанины. А кто и вовсе по пояс обнажился. К берегу одна за другой прибывали груженые лодки. Запаренные люди, приседая под тяжестью носилок, толкая вперед тачки по узким дощатым настилам, непрерывно сновали взад-вперед.

Вдруг ты даже остановился. До пояса голые студенты, завязав нос платком, сбрасывали в яму лопатами огромную кучу тухлой рыбы и быстро засыпали песком. Ты и до этого не раз видел, как залежавшаяся рыба тухла, гнила и закапывалась. Шел бы мимо расставленных весов. Возле каждых уже выстроились длинные очереди. Ты шел, озираясь по сторонам. Интересно, а где же твои? Может, вон тот, что трусит с тачкой... Нет, не наш... Куда ни глянь, везде горой лежит рыба. Даже неопытному человеку было ясно: стоит только чуть подняться южному солнцу, припечь — и не миновать беды. Рыба моментально портится, вздуваясь животом, теряя чешую. Ты куда как хорошо знал, что гибельная жаркая погода на руку приемщикам: если даже и примут рыбу, то только по низшему сорту. Поэтому каждый норовит сдать улов пораньше, по холодку, пока солнце не сведет на нет все твои старания и усилия. Потому-то у весов столпотворение, потому стоит тут нестерпимый, как на птичьем базаре, шум и галдеж. Лезут, напирают, сталкиваются плечами, сшибаются



тачками, оттирают, в хвост и гриву костерят друг друга...

— Мой черед, дорогой мой!

— Эй, уртак[1], а ты куда прешь?

— Да брось ты... Это тебе не зеленной базар!

Нетерпенье и злость людей, соперничающих у заляпанных рыбьей кровью и слизью весов, переключаются, как всегда, и на приемщика.

— Эй, чего он там, как мышь в бумаге, копошится?! Пошевеливайся давай!

— Бумага не убежит, а рыба протухнет.

— Давай-давай! Ну, кому говорят?! Скорей-ка там!— надрывают луженые глотки степняки.

— Яшули... почтенный... и про нас не забывай,— вежливо напоминают бараньи шапки.

Солнце между тем вскатилось еще выше и, застыв в зените, палило немилосердно. Не найдя своих рыбаков и здесь, ты, пробиваясь сквозь сутолоку и поминутно оглядываясь по сторонам, пошел дальше. Через каждый шаг натыкался на приемные пункты. И тут оказалось еще многолюднее и шумнее. Потные, запаренные рыбаки катили тачки, сновали с носилками взад-вперед. Несмотря на полуденную жару, никто не думал об отдыхе. Причаливали, как и везде, налитые живым серебром по самые борта лодки. Полуголые, загорелые до черноты мужчины, надсадно кряхтя, подтягивали их ближе к берегу и торопливо разгружали, а там, сзади, напирали уже другие, тяжко осевшие под живой, плотной, сверкающей на солнце добычей.

— Эй, давай, давай! Не ленись!

— Скорей, скорей!

И тут разгоряченные рыбаки насели на приемщика:

— Ты что, сукин сын, не видишь — рыба пропадает?! Совесть у тебя есть?

— А ну, шевелись!

— В самом деле, что он топчется, как брюхатая баба?

— Аксакал, не распускай язык!

— А я возьму и распущу! Ну, что ты мне сделаешь? Отрежешь отросток мой? На... на, режь!..

Знакомый сварливый голос сразу сориентировал тебя в этой толчее, и ты без труда нашел своих рыбаков. Вон задира Кошен. Рядом горою высится Рыжий Иван.

[1] Уртак — товарищ *(узб.)*



А этот... ну ты посмотри-ка, и этот баламут Сары-Шая здесь. Странно, откуда он взялся? Вроде бы со вчерашнего дня катера с родной стороны не было. Выходит, почуяв удачу, примчался на первой попавшейся попутке. Ну и нюх у шайтана!

— Джигиты, давайте живее! — гудел Рыжий Иван.

Он тоже засучил рукава, закатал до самых бедер замызганные рыбьей слизью мокрые штаны. Обычно неторопливый, степенный, он сейчас расторопнее и сноровистее всех катил тяжело груженную тачку по узкому дощатому настилу от берега до приемного пункта и покрикивал, поторапливал людей.

Раимовские рыбаки нынче тоже упарились. Желая во что бы то ни стало сдать улов вовремя, они работали из последних сил, трусцой катили тачки, чуть не бегом таскали носилки. Направляясь к своим, ты вдруг увидел смуглую молодку. Чем-то она показалась тебе знакомой. Ну да, та самая... ты, кажется, ее видел возле устья Сырдарьи, среди раимовских рыбаков. Небольшого роста, но крепкая, туго сбитая. И кожей нежносмуглая, прямо таволожья ветка в пору цветения. Голова туго обвязана ситцевым платком. Ситцевое платье на ней под цвет платку. Она, должно быть, еще не заметила взгляда постороннего мужчины, откровенно любопытного; да и, судя по всему, давно притерпелась, привыкла к вспышкам нечистых взглядов мужчин, которые даже и в этой суматохе успевали, проходя мимо, как бы нечаянно жадно разглядывать ее. Она, скорее всего, просто перестала замечать их. Разве чуть наклонит голову в ситцевом платке да дрогнет в уголках губ снисходительная усмешка всепонимания. Легко носила вместе со своим напарником носилки. Легко, задорно ступала по усеянному чешуей берегу, как бы дразня мужчин, поигрывая сильными бедрами. И, видно, только теперь почувствовала чужой взгляд: подобралась вся, нахмурилась, блеснула на тебя искоса посуровевшими глазами. «Что, и ты как все?» — почудился немой укор. Но как ни старалась не подать виду, а все же смутилась, сбилась с ровного и уверенного своего шага. Опустив у весов носилки, она привычным женским движением торопливо одернула подол платья, опять покосилась.

Никогда, пожалуй, ни на одну женщину, кроме Бакизат, ты не смотрел такими глазами. И это тебя самого удивило. Но про себя понимал, если ты со сво-

ей стороны в решительный момент не дрогнешь, то эта дышащая здоровьем и молодостью смуглянка и подавно не оробеет. Нет, бог свидетель, не оробеет.

И, весь вспыхнув от этой затаенной дерзкой догадки, ты торопливо отвел глаза. Но все-таки не удержался, и, удаляясь, еще раз незаметно скосил взгляд в ее сторону. Она вытерла одним концом ситцевого платка пот со лба, затем взяла алюминиевую кружку, наклонилась к бочке под тентом с питьевой водой. Перехватив чужой взгляд, она, в отличие от тебя, глянула прямо, смело, и в ее черных глазах мелькнула снисходительно-лукавая, вмиг задевшая твое сердце усмешка.

Жара, кажется, не столько мешала, сколько подхлестывала рыбаков. Верховодил среди них Рыжий Иван. Тут же под ногами путался, развевая полы чапана, и Сары-Шая. Он тоже весь взмок. Голос охрип и часто срывался на визг. В этой людской суматохе, где все работали споро и сосредоточенно, он один шумел, суетился, подбегал то к одному, то к другому, приставал, кричал-подгонял: «Давай-давай!», «Скорей!», «Живей!», «Пошевеливайся!», «Делай, как я! Вот так!» Заметив тебя, Сары-Шая раззадорился пуще прежнего, подскочил к приемщику, заорал ни с того ни с сего:

— Эй! Эй, ты! Пропусти наших! Не видишь разве — рыба прет?!

Приемщик устало махнул рукой:

— Отстань! Брысь!

— Эй, эй! Ты кому это говоришь?! Ты на кого голос повышаешь, а? Знаешь, что рыба...

— Знаю.

— Нет, не знаешь. Рыба — достояние государства.

— Знаю... Знаю! Отстань!

— Нет, ты не знаешь! В городе люди от одного рыбьего запаха одуреют. Увидишь, как побегут за тобой, задрав подолы, бабы с сумками. За тройную цену с руками-ногами оторвут. Так что осторожнее, дорогой товарищ! И если ты загубишь достояние народа, то... то...

— Вот еще зануда! Ты понимаешь слово «отстань»?! Или объяснить?

— Не понимаю, так научи! Если рыба протухнет, предупреждаю, загремишь по статье уголовного кодекса...

— Чем языком трепать, пошел бы лучше рыбу таскать.

Сары-Шая вроде поперхнулся, молча отошел, взялся за один конец носилок, осмотрелся по сторонам в поисках напарника. Взгляд его упал на Кошена, стоящего поодаль:

— Эй, Кошен, иди сюда, — позвал он.

— Почему это я должен идти! Сам иди!

— Ну иди, подсоби!

— А вот и не подсоблю! И не пойду!

— Не упрямься, давай помоги!..

— Не помогу. И не подумаю даже, что мне тогда сделаешь?

Сары-Шая задумался, почесал затылок, запустив пальцы под соломенную шляпу, и, что-то, видно, сообразив, ухмыльнулся. Нарочно посуровев лицом, махнул рукой на старикашку, так и застывшего в непримиримой стойке бодливого козла перед собакой.

— Да на кой хрен ты мне сдался! Я и не хочу вовсе, чтобы ты мне подсоблял...

— Как это — не хочешь?! — подпрыгнул, словно ужаленный, вздорный старик. — Как это так?

— А вот так! Не позволю — весь тут сказ! Больно нужен...

— Да я и спрашивать не стану!

— А я даже к носилкам тебя не подпущу.

— Как?! Попробуй!.. — Вздорный Кошен мелкой трусцой подбежал к носилкам с рыбой, отпихнул поклажего было наперерез Сары-Шаю и ухватился за ручки.

Ты усмехнулся, глядя на них. «Ох, дурачье! Чисто дети», — подумал про себя. И им, случается, еще доверяют серьезные дела. В прошлом году, как и нынче, все лето улов был никудышным, и в рыбацких семьях нужда все ощутимее давала о себе знать. А когда стало совсем уж неважно, ты, чтобы выручить хоть какие-то деньжонки, хотя бы на чай-сахар, решил собрать с каждого двора по одной-другой овце и погнать их на ближайший городской базар. В погонщики определил Сары-Шаю с Упрямым Кошеном. Каждому из них дал по быстроногому верблюду. Отару в семьдесят-восемьдесят голов крепко-накрепко приказал через всю степь гнать не торопясь, по холодку, с остановками на водопоях, чтобы скотина не потеряла в весе. А сам ты выехал на своем стареньком грузовике заблаговременно в Челкар и должен был ждать их там. Зная, с каким вожделением накинутся на аульный

скот пронырливые городские перекупщики, ты на всякий случай прихватил с собой налогового агента. Немало надежд возлагал и на своего шофера, который сам скорее обведет вокруг пальца какого хочешь городского пройдоху, чем попадется на их удочку. И, ничуть не сомневаясь в благополучном исходе задуманного дела, ты поджидал своих погонщиков накануне базарного дня. Однако отары так и не дождался. На следующее утро спозаранок начался базар. А погонщиков все не было. Оказывается, они там... О, это целый сказ. Сары-Шая с Упрямым Кошеном, как и было им наказано, два дня гнали овец не спеша, по холодку, с частыми остановками на водопоях и травянистых пастбищах. На третий день благополучно достигли они наконец песков Улы-Кума. Начинались великие барханы с дюнами, густо заросшими травами. Погонщики помнили строгий наказ председателя: в песках Улы-Кума надо глядеть за отарой в оба. Неровен час, разбредется скотина по дюнам. Сары-Шая и Упрямый Кошен, подгоняя под собой быстроногих верблюдов, зорко следили за овцами с разных сторон. Отара, согнанная в тесную гурьбу, трусила впереди, потряхивая курдюками. Овечки, как только вошли в барханы, жадно набросились на тучный травостой, с наслаждением срывая на ходу верхушки лиловой полыни, красной изени, сочного пырея. Так они шли, не поднимая головы, смачно хрупая и перхая, преодолевая дюну за дюной, то карабкаясь по крутым склонам, то спускаясь с пологих, нагретых солнцем боков. И когда наконец взобрались на вершину огромной беломакушечной дюны, погонщики на поджарых длинноногих атанах увидели далеко подпирающую небо красную водокачку города Челкара. Казалось, и она со своей высоты с изумлением уставилась на запыленных гостей из степи, как бы спрашивая: «Ах, так это вы, что ли?!» И погонщики с высоты оседланных верблюдов поневоле подались вперед, как бы откликаясь с готовностью: «Да-да, это мы... мы самые...» С давних времен ведет челкарская водокачка эту безмолвную перекличку со всеми уставшими, измаянными солнцем, пылью и миражами путниками большой степи. Погонщики мигом повеселели:

— Эй, ты... видишь вон ту красную штуковину?

— А как же! Не слепой ведь.

— Здорово, а?! Смотри, чуть не со всей степи видна!

— А знаешь, она, говорят, воду качает...

— Ай, сомневаюсь... По-моему, ее поставили, чтобы такие, как мы, путники, с дороги не сбились. Как минарет, понимаешь?

— Может быть... Видишь, издали манит, будто знак подает, мол, здесь я, здесь...

— Да-а... русские — большие выдумщики. Черт-те что напридумают. Говорят, эту башню построили не наши, не нынешние урусы, а еще те, во времена царя Меколая.

— Значит, так оно и есть... Этот народ из камня что хочешь построит. Не то что мы, казахи...

— И хватает же у них терпения!

Так они переговаривались, точнее — перекликались с вершин двух соседних дюн, сидя на рослых поджарых атанах. Разговор, однако, на этом иссяк, и оба еще долго потрясенно всматривались в неясные очертания приземистого степного городка. Сары-Шая, запустив по обыкновению пальцы под выгоревшую соломенную шляпу, озабоченно почесал испятнанное лишаями темя. «Вот ведь оно как, черт побери, а! — вдруг подумалось ему. — Ведь завтра всех этих овечек в два счета расхватают, — сообразил Сары-Шая, — охочие до дармовщины, прожорливые горожане». В душе Сары-Шаи вдруг вспыхнула открытая неприязнь к горожанам. В самом деле, какие-то неведомые ему люди завтра же растащут этих овечек по своим узким дворам. Бог весть кто, облизываясь в предвкушении сытной еды, сверкая ножом, перехватит бедняжкам горло, ловко освежует и разделает тушки. А еще какой-нибудь проныра, способный даже из пыли выколачивать деньгу, продаст мясо втридорога на базаре. Потом это мясо окажется бог знает в чьем казане. Потом оно сварится, исходя соком. И опять кто-то неведомый тебе, маслено поблескивая от удовольствия глазами, съест все это за милую душу и жирные пальцы оближет. И получится, что эти милые овечки, которых он, Сары-Шая, столько дней обихаживал, поил и пас, от солнца берег, от волков стерег, — эти милые создания окажутся завтра в ненасытных утробах прожорливых горожан, которых ты и знать не знаешь, и видеть не видел. Так за каким дьяволом тогда стараться? Чего радеть за дело, от которого нет тебе пользы ни на ржавую копейку? Не лучше ли тебе позабавиться? «А как?.. — подумал, почесывая свою голову, про себя Сары-Шая.— Ну, хотя бы над напарником, что ли, потешить свою душу?

Да, хотел бы я знать, чего этот старый дуралей так кичится своей славой упрямца? Ты посмотри, посмотри-ка, как он голову задрал. Можно подумать, не на верблюде, а на троне сидит. Ишь ты, как он, однако, за овечками следит. Что с ними может случиться? Пусть бедняжки попасутся. Все равно завтра превратятся в шашлык или куырдак. А до города и так уже рукой подать. Немного погодя, по вечерней прохладе, чуть прибавим шагу, погоним порезвей; барашки копытцами цок-цок, мы на верблюдах трюх-трех, и не успеет наш баскарма к ужину приступить, как и мы тут как тут будем...»

— Эй, Кошен!

— Что орешь? Заблудился, что ли?

— Скажи, почему народ прозвал тебя Упрямым, а?

— Я упрямый. Вот и прозвали.

— Во-н как... А известно ли тебе, что и во мне упрямства хоть отбавляй?

— А почему тогда не называют тебя упрямым?

— А хочешь, испытаем, кто из нас упрямее?

— Давай! — мгновенно оживился Кошен. — Попробуем, кто кого переупрямит!..

Их разделяла глубокая, поросшая тамариском лощина между двух белоголовых дюн, и потому во время разговора им приходилось волей-неволей покрикивать. Решив потягаться упрямством, они одновременно повернули верблюдов, ударили их конопляными плетками и размашистой рысью понеслись навстречу друг другу. Атаны, шумно раздувая ноздри, сошлись, чуть не сшибаясь грудью. Оба упрямца были исполнены решимости во что бы то ни стало одолеть друг друга в этом единоборстве. Оба восседали в высоких седлах, пыжась придать себе воинственный вид. И у обоих непримиримо загорелись глаза: у одного желтые, немигающие, у другого — крохотные, пронизывающие.

— Ну, давай! Давай, если ты такой храбрый!

— Давай так давай! Только... как упрямиться-то будем?

— А как хочешь! Я буду стоять на своем. Не родился еще тот казах в степи, кто меня, Упрямого Кошена, переупрямит!

Сары-Шая лишь краем глаза глянул на разбредавшихся во все стороны среди барханов овец. Потом насмешливо скосил взгляд на вздорного, обо всем на свете позабывшего старика, уже изготовившегося к схват-

ке на своем длинноногом, шумно дышавшем поджаром атане. Маленькие, глубоко посаженные черные глазки соперника метали яростные искры. Нечесаная, словно свалявшаяся шерсть, борода была задиристо вздернута. От всей воинственной позы старика веяло непреклонностью. Даже Сары-Шаю на миг взяло сомнение: «О аллах, такого разве переупрямишь!..»

Должно быть, в этом ничуть не сомневался и сам Кошен. Вдвое сложив конопляную плетку, он резко взмахнул ею в небо:

— Эй, хмырь! Сгоняй-ка овец, да живо!

Сары-Шая не то что не сдвинулся с места, даже не изволил посмотреть на отару, вольно разбредшуюся среди зарослей и барханов. Он только обрадовался, что повод потягаться со своим строптивым напарником подвернулся так скоро.

— Сам сгоняй! — вскрикнул он тотчас с вызовом, гордо выпрямившись в седле, давая понять, что уступки от него не дождешься.

При этом Сары-Шая сильно дернул повод, продетый через ноздри своего черного атана. Верблюд взревел от боли и поневоле попятился. Но Упрямый Кошен, искренне поразившись, что все-таки нашелся вдруг в степи человек, решившийся переупрямить его, так же искренне возмутился этой дерзкой наглостью.

— Нет... ты, ты сгоняй!—взвизгнул он, приняв вызов, и тоже с силой рванул повод. Тугогорбый мосластый атан, привыкший в эти дни рысью кружить вокруг отары овец, от неожиданности и протеста громко рявкнул и тоже отступил на два шага.

— Почему я? Ты сгоняй!

— Нет, ты!

— Нет, ты! Ты!

— И не подумаю даже!

— А я заставлю!

— Кто... т-ты?!

Срываясь на крик, уже теряя голову в азарте схватки, Сары-Шая с такой силой рванул повод, что из ноздрей голенастого статного атана брызнула и потекла кровь, и бедное животное, взревев, снова попятилось, приседая на задние ноги...

Овцы замерли, подняли головы. В их глазах застыло недоумение. От удивления даже жевать перестали, и кто как был, с пучками травы в зубах, обернулись на двух столь спокойных было в эти дни погонщиков, как

бы спрашивая: «Эй, почтенные! Что меж вами стряслось?!» Было от чего прийти в недоумение бедным овцам: погонщики, попеременно грозно вскидывая плетьми, отрывисто кричали друг на друга, заставляли ошалевших верблюдов идти не вперед, а пятиться и приседать назад... И, таким образом, в канун базарного дня, в священный предзакатный час, когда порядочные правоверные обращают лик свой в сторону благословенной Мекки, творя молитвы во имя удачного торга и благополучного возвращения домой, двое почтенных стариков затеяли в безлюдной степи состязание: любой ценой, во что бы то ни стало друг друга переупрямить. Отступая шаг за шагом, они и сами не заметили, как опустились сумерки. В азарте спора прошла короткая летняя ночь. Об овцах, оставшихся без присмотра в барханах, тот и другой думать забыли. Наступил, послал свои первые лучи рассвет. Потом день, мало-помалу разгуливаясь, приблизился к обеду. Уже и солнце палило, повиснув в зените, в самые их затылки, а обессиленные, напрочь охрипшие и оглохшие ратоборцы все еще покрикивали, что-то сипели друг другу яростно, и каждый из них все еще не имел ни малейшего желания замолчать первым. Наверное, и в самом деле не было сейчас в мире никого упрямее их.

А между тем в городе базарный люд уже начал расходиться. Баскарма не находил себе места. На душе становилось тревожно: как бы чего не случилось с бедными погонщиками... Выпросив у знакомого человека коня, он поспешно отправился на поиски. Нещадно поддавая шенкелей коняшке, доскакал до барханов Улы-Кума. Конь уже запыхался, по самые щетки увязал в песке. А баскарма все подшуровывал его пятками, летел и всю дорогу нетерпеливо озирался вокруг. И вдруг оторопел, резко натянул повод. Сердце, и без того неспокойное от навалившихся предчувствий, екнуло. По следам врассыпную бежавших по барханам овец он догадался — волки!.. И тут же заметил в двух-трех местах кровь, а чуть подальше — черную вздувшуюся тушку. В ярости он хлестнул одра под собой. Конь дернулся, с испугу роняя хлопья пены. Взметнувшись на вершину следующего бархана, он глянул вперед — и обомлел: повсюду, как после побоища, валялись разодранные волками овцы... По всему видать: на отару в песках напала волчья семья с выводком, и ошалевшие от неожиданной удачи хищники, разъярясь от крови,

рвали и резали всех подряд, кто попадался на пути. «Вот оно, божье наказание! Хоть бы погонщики, бедолаги, в живых остались...» Нахлестывая измученного коня, он поскакал по овечьим следам. Скакал долго. Повсюду простирались безмолвные пески. И тут из-за огромной дюны послышалось сиплое рявканье верблюда. Он, готовый сейчас ко всему, рывком привстал на стременах, весь подался вперед, прислушиваясь. Опять донесся будто предсмертный стон бедного животного. И вслед за ним послышался чей-то слабый, хриплый голос. Будто там кто-то кого-то схватил за горло, душил, а тот вырывался. По спине пробежали мурашки. И забыв о том, что у него в руках нет ничего, кроме камчи, он ударил коня и во весь мах выскочил на бархан. То, что он увидел... о аллах, чего только не приходилось видеть на этом свете! Вот они, его погонщики... Глаза ввалились. Щеки запали. Голоса совсем сели, охрипли. Они не сразу заметили председателя, птицей летевшего к ним со склона. И были так распалены и возбуждены, что даже теперь, на вторые сутки спора, не могли сразу остановиться:

— Тебе, тебе, вонючий хорек, сгонять овец!

— А я говорю... ты... ты, дикая кошка...

Верблюды были измучены. У одного вся морда в черной корке запекшейся крови, у другого ноздри тоже порваны и изувечены. Вначале мелькнуло: может, рехнулись они тут, в глухой безлюдной степи? Осадив коня, баскарма с недоумением, со все возрастающей тревогой смотрел то на одного, то на другого. Сары-Шая перехватил его взгляд и даже попытался было объяснить, что ж тут стряслось с ними... но из горла его вырывалось одно лишь невнятное шипенье. Тыча в воздух конопляной плетью, он прохрипел:

— Я ему вчера еще говорю... ты, говорю... ты верни овец. А он... старый хорек...

И тут Кошен, угрожающе наезжая верблюдом, замахнувшись на своего супротивника из последних сил, тоже прошипел:

— А я говорю... почему это я должен сгонять овец... ты, говорю, дикая кошка, сгоняй... Ведь не тебя народ назвал Упрямым... меня... меня назвал Упрямым...

Баскарма ни слова не сказал, не мог сказать, — повернул коня и затрусил обратно. Было горько, обидно. О кретины, о бестолочи! Дожили до седин, почтенные отцы семейств — и вдруг на тебе... в пустынной

степи, бросив на произвол судьбы доверенный им аульчанами скот, додумались состязаться в упрямстве! Выяснять, кто кого переупрямит! Ах, остолопы! Ах, кретины ничтожные!

На обратном пути баскарма нашел несколько полуживых овец. Потом наткнулся еще на пяток каким-то чудом спасшихся среди барханов бедняжек. За день еле-еле пригнал их в город.

Вскоре притащились за ним и те двое. Председатель не то что разговаривать, даже видеть их не желал. После чая и сытной еды Сары-Шая с Кошеном насилу пришли в себя. Кошен был зол на самого себя, но, не желая признавать ни перед кем своей вины, колом сидел за дастарханом, как суслик у норки. А Сары-Шая подсел поближе к своему мрачно насупленному родичу, робко поглядел, покашлял, поерзал, потом тихо начал: «Нас, двух старых придурков, Жадигержан, дорогой, можешь ругать, сколько хочешь. Хочешь, казни! Воля твоя. Только, айналайин, сперва выслушай меня... — он осторожно бросил на Жадигера взгляд, но, видя, что тот молчит, осмелел, опять забалабонил: — Оу, да разве в старину не говаривали: «Тот, кто прогонит сто коров без брани сто верст, попадет на том свете в рай»? Если бы ты знал: эти окаянные овцы, сказать, ойбай, хуже даже коров. Ей-богу...»

Терпение председателя лопнуло. Он молча встал, будто собираясь выйти на улицу. Кто-то даже посторонился, уступая ему дорогу. Но вопреки ожиданию он одним прыжком оказался возле двух стариков и, не дав им опомниться, молниеносно схватил, сгреб обоих за шкирку и, не обращая внимания на их вопли и сопротивление, выволок на улицу: «Если вам еще не надоело жить... убирайтесь отсюда! Сгиньте оба с моих глаз!» И резким, сильным толчком отшвырнул прочь от себя. Сел в грузовик-развалюху и на ночь глядя отправился домой. Сары-Шая и упрямец Кошен, оставшись одни в пустом дворе друг против друга, стояли, как бы соображая, что случилось с ними, почему и из-за чего, собственно говоря, так бесцеремонно вытолкнули их на улицу. А когда все это дошло до их сознания, они сразу ощетинились. Вмиг рассвирепев, накинулись друг на друга: «О мразь, ты во всем виноват!» «Нет, не я... ты, ты, пес паршивый! У, у, вот я тебе!..» И сцепились в неистовой драке, поровня изо всех сил наддать друг другу.

Сбежавшиеся на крик люди не думали разнимать их. Просто ради любопытства глядели с усмешкой, как смотрят обычно от нечего делать на драку собаки с кошкой. Старики уже катались по земле, попеременно одолевая один другого. Под конец всем показалось, что Сары-Шая взял верх над Упрямым Кошеном и навалился на него всей тяжестью. И вдруг не Кошен, а он, Сары-Шая, завизжал как резаный. Обозленный тем, что в драке тот оказался ловчее, сноровистее и теперь совсем уже его одолевает, Кошен от обиды и позора готов был задохнуться. Очутившись под Сары-Шаей, изо всех силенок тоже бил, царапал, щелкал зубами, примериваясь к его носу. Но Сары-Шая, будто угадав злое намерение упрямца, все отворачивал лицо, и тогда рассвирепевший вздорный старик, изловчившись, ртом поймал ухо Сары-Шаи и по-звериному вонзил в него острые зубы. Брызнула кровь. Завизжал, скрутившись, Сары-Шая. А Кошен выплюнул оказавшееся вдруг у него во рту ухо ненавистного ему человека, не уступавшего в упрямстве даже ему.

Кто-то подбежал к Сары-Шае: «Ойбай, несчастный, хватай откушенное ухо, беги в больницу. Пока кровь не остыла, хирурги мигом пришьют на место, может, заживет». «Э, нет, как-нибудь проживу и с одним ухом. А это... — Сары-Шая немигающими желтыми глазами глядел на свое окровавленное ухо, которое валялось на земле. — На суде знаешь какой это факт. Неопровержимое доказательство. Вещественный материал. Тут... этой бешеной собаке не отвертеться. Теперь ему в тюрьме сгнить. Хе-хе-е...»

И он поднял кровавое ухо с земли, завернул аккуратно в платок и сунул за пазуху...

Самое неожиданное во всей этой истории было то, что, когда баскарма с поникшей головой вернулся из города, в ауле уже все знали, и не только знали, не только пересказывали на все лады случившееся, но и хохотали до слез... Где бы ни собирались аульчане — главный разговор был о двух погонщиках. Какой-то стихоплет умудрился даже сказ сложить. В этом сказе Сары-Шая и Упрямый Кошен воспевались ни много ни мало как древние батыры из эпических поэм, а их верблюды, самые заурядные чернорабочие атаны, сравнивались со сказочным арабским боевым верблюдом — желмая... И когда сказитель доходил до того места, где рисовалось состязание двух несравненных упрямцев, ка-

ких не видывал свет, схлестнувшихся в яростной битве среди песков Улы-Кума, как они, достойные друг друга, забыв обо всем на свете, с суровой молитвой обращались к всевышнему, к святым аруахам, к памяти родовых духовников за поддержкой их слабеющему духу в борьбе за праведное дело, — тогда слушатели хватались за животы и катались по полу от смеха. В устах аульных остряков Сары-Шая отныне стал батыром Карпаухим, не прекратившим единоборства и после того, как старый злюка батыр Кошен откусил ему ухо. Со временем стал посмеиваться и баскарма, но не сразу. Та давняя горечь, больше того — злость на глупость человеческую долго не оставляла его.

И вот теперь опять сошлись-встретились эти двое... Сары Шая, хитрюга, себе на уме, своего вроде ни за что не уступит. Этим дьяволом всегда руководит тайный расчет — пусть порой и глупый, но все-таки расчет. Но чего хорохорится и добивается другой старый дурень, лишь одному аллаху ведомо. Он радуется тому, что прославился среди народа своим прозвищем — Упрямый Кошен. О дети, зачатые глупостью!..

* * *

И сегодня, как вчера, как все предыдущие дни, лезла в сети больше всего низкосортная хищная рыба. К тому же тощая — глядеть страшно.

С засолением моря всякая рыба норовила уйти в глубину. Хищная рыба оказалась наиболее выносливой и подвижной. Особенно судак, щука легче других приспосабливались к суровым условиям оскудевшего моря. Однако с чрезмерным засолением воды и им с каждым днем становилось все труднее прокормить себя. Да, мало осталось в умирающем море доброй рыбы, а та, что выжила, давно ушла по глубинам в тщетных поисках прокорма и спасительной преснины. Попробуй найди ее, догони, схвати. Вот и для них, хищников, настала нелегкая волчья жизнь — день и ночь мечутся, рыщут они по всему морю. Поневоле тут отощаешь. Особенно костистыми стали головы: сухие, зубастые, с голодными злыми глазами.

Раньше куда как благодатно им было. Что ни залив, то зимовка и летовка. Вдоль берегов тянулись камышовые заросли, вечнозеленая куга, водоросли. Бывало, разбушуется, заштормит море, а там, в тихих и сонных заливах, стоит покой и уют, где жировала сильная,

укрывалась слабая рыба. В густых водорослях был настоящий рыбий рай, и сюда неисчислимыми косяками собиралось отовсюду, кишмя-кишело, метало икру, размножалось славное аральское рыбонаселение. Через месяц-другой рябило в глазах от разноплеменных мальков, бычков, головастиков и всякой подводной твари. Шустрая глупая молодь сама лезла в глотку. Затаись только да разинь пасть пошире — и будешь сыт, как на званом тое... Теперь уж не вернется та безмятежная пора, когда можно было в какой-нибудь засаде в считанные минуты проглотить пару-другую зазевавшихся рыбешек и понежиться в благодатной дремоте где-нибудь на теплой воде. Нынче даже самая благодушная и смиренная рыбка превратилась в прыткую тварь, за которой нужно, вытянув морду, гоняться по всему морю. Тяжкие, трудные настали времена...

Но какими бы выносливыми ни были судак и щука в соленой воде, на суше, в отличие от другой рыбы, вмиг подыхают. Вон лежат они на берегу под солнцем, ощерив зубастую пасть, — точь-в-точь поленья, заготовленные на топку.

Чей-то грозный голос вывел тебя из раздумья. Незнакомый, черный, как чугун, рыбак, сверкнув налитыми кровью глазами, кинулся на приемщика: «Из-за тебя, с-сука, добыча моя пропала! Может, последний это улов в моей жизни — а ты!.. Ну, я тебя, стерву, достану сейчас...»

Разъяренного рыбака схватили за руки, остановили. Долго успокаивали. Тут еще затеяли свой невообразимый гвалт прожорливые чайки, хлопали крыльями над головой, дрались, кидались на добычу, роняли помет.

— А ну-ка, уймитесь! Чего на приемщиков орать?— подал ты голос. — У них тоже, как-никак, работы хватает...

— Тут рыба пропадает, а он все на счетах щелкает да в бумагах копошится...

— Ладно, давай-ка лучше за дело примемся... А ну, где тут свободная тачка? — обратился ты к рыбакам, засучив рукава. Чего только не приходилось тебе делать в эти дни. Выходил с рыбаками в море, возвратившись с уловом на берег, брался за тачку. И сейчас, увлекая и подбадривая своих людей, бодро катал до обеда тачку, нагруженную рыбой. «Давай, ребята! Веселее!» — подстегивал то одного, то другого, на ходу вытирая пот с лица. И в это время взгляд твой невзна-

чай упал на лежавшую чуть в стороне белую рыбу... Всю жизнь свою провел ты в море, но такой красивой, ослепительно белой еще не видел никогда. Ты не мог оторвать от нее завороженных глаз. Она была куда крупнее других рыб, с розовыми плавниками, черными глазами, вся с головы до хвоста словно отлитая из серебра, а в каждой чешуйке ее играло, переливалось маленькое солнышко. Но она уже была мертва. И умирала, видно, тяжело, в муках, в агонии: черные круглые глаза выкатились, сильное тело выгнулось. Да, вначале тебя поразила необычайная красота этой белой рыбы, но вот, завороженно разглядывая ее, ты вдруг поймал себя на мысли, что однажды уже где-то видел ее. Уж не та ли самая Белорыбица, которая привиделась тебе во сне? А вот и Белая Рыбка, та самая Белая Рыбка, крохотная, будто игрушечная, прижалась к брюху матери, словно прося защиты. Ты даже застыл в растерянности, в недоумении — где же та столь явная всегда для человека грань между сном и явью? Или в самом деле обладаешь ты даром предвидения и тебе уже начинают сниться вещие сны? Разве мог ты предположить, что спустя всего полмесяца воочию увидишь гордую Белорыбицу, приснившуюся тебе ночью на катере? Увидишь ее мертвой? И пусть это вовсе не Белорыбица, явившаяся тебе в том странном и жутком сне. Но все равно, и эта в поисках лучшей доли сорвалась с насиженного места, поднялась и увлекла за собой свое племя и через все море пустилась с севера на юг, преодолевая расстояния и опасности, — чтобы здесь, достигнув желанной цели, хоть раз напиться пресной воды. Случайно она попала в сети? А может, запуталась, спасая кровинку свою, дитя? Или даже, видя, что оно в неотвратимой беде, сама в отчаянии добровольно пошла на гибель? Как бы там ни было, а билась, видать, славная белая рыба за жизнь и за дитя до последнего... Гляди, как глубоко, под самое горло, врезалась в нее капроновая нить. И еще сочившаяся из раны под горлом алая кровь капля за каплей стекала по нежному белому брюху. А когда одна капля, скользнув, попала прямо на головку маленькой белой рыбке, та, будто очнувшись, вытянув маленькие губы, точно у ребенка, сосущего грудь, судорожно стала глотать воздух.

И ты почему-то очень обрадовался, заметив признаки еще не погасшей жизни в крохотном тельце.

И бросился было к ней, чтобы отпустить в море, но в это время наперерез тебе шел упрямый старикашка.

— Подожди, Кошеке... Стой! — вскрикнул ты невольно, вытянув вперед руку.— Стой же!

Упрямый Кошен не сразу взял в толк, отчего это обычно такой спокойный, такой медлительный всегда председатель вдруг так всполошился. Единственное, что успел он сообразить, — кто-то пытается ему преградить дорогу, остановить его... Да и с какой это стати он должен останавливаться?!

— А вот и не встану! Что мне сделаешь, а?!

И злобный старик, резко оттолкнув твою протянутую было руку, шагнул намеренно один раз, другой — и всей тяжестью наступил резиновым, изгвазданным кровавой слизью сапогом прямо на белую рыбку, только что трепыхавшуюся...

— Вот и не встал... Ну и что?!

Ты даже зажмурился. Отчего-то в глазах потемнело. И то ли какая слабость хлынула в ноги, то ли, может, схватил солнечный удар, только ты даже покачнулся и, будто боясь упасть, ухватился рукой за сивоголового, тоже не утерпевшего, пришедшего глянуть на улов и оказавшегося сейчас рядом.

— Жадигер... Жадигержан, что с тобой? Не перегрелся?

Ты покачал головой. Но открывать глаза не решался. Уполномоченный, испугавшись, крепко держал тебя под руку. В висках у тебя больно билась-стучала кровь.

— Надо же!.. Черт знает что!.. Может, врача позвать?

— Нет-нет... Пройдет, не надо.

И больше не сказав ни слова, ты направился на стан. И в тот же день, прихватив с собой вещмешок, попутным катером подался в аул. Даже не со всеми рыбаками, оставшимися в устье Амударьи, попрощался — все равно они должны были через несколько дней вернуться. В открытом море катер, которым ты плыл, настиг шторм. Море бушевало весь следующий день и всю ночь. Волны нещадно хлестали суденышко, мотали и швыряли его, как щепку. От жестокой качки тебя подташнивало, кружилась голова. Пошатываясь, заплетаясь ногами, как пьяный, с трудом добрел ты тогда до дома. Первыми, кого увидел, были дети. Потом

увидел Бакизат. Оказалось, что она всего лишь днем раньше возвратилась из Алма-Аты.

— Ну, как провела отпуск?

— Хорошо. Много знакомых встретила.

— Рад, я рад за тебя.

— Спасибо. А как вы сами... с удачей?

Невзначай глянув в зеркало, ты даже испугался, схватился за подбородок. Исхудал, почернел, оброс весь. «Да, с удачей...» — усмехнулся про себя.

Бакизат рассеянно разглядывала свои покрытые лаком, заботливо отращенные за время отпуска ногти и, не получив ответа, подняла глаза и как-то удивленно и долго посмотрела на тебя, потом, ни слова не сказав, снова занялась ногтями.

* * *

Ты пребывал в зыбком и странном состоянии, между сном и явью, грозящим потерять хрупкое равновесие. Вначале было лишь томительное ожидание, ощущение чего-то грозного. Потом послышалась чья-то тяжелая поступь, откуда-то издалека, глухо, точно из-под земли: хруп-хруп... туп-туп... Приближался некто медленно, но неумолимо, пожирая гигантскими шагами раскаленную ярость песков, угрюмо сгорбленных увалов, выгоревших долин. Неопределенное время ты вслушивался в эти монотонные, гулкие шаги и чувствовал, как в унисон им что-то тревожное забилось и в тебе самом; вскоре нарастающий звук этого зловещего, неотвратимого «хруп-хруп... туп-туп» слился со стуком твоего сердца, и все сразу смешалось. Ты ощущал лишь жуткую, давящую тесноту в груди, напрочь перехватившую твое дыхание. И тут вдали, у самого горизонта, с каждым шагом все более заполняя собой видимое пространство, показался гигантский Сивый Вол — Кок-Огуз. Неуклюжей трусцой надвигался он всей своей непомерной тушей, и выжженная палящим солнцем солончаковая земля приморья стонала и вздрагивала под его чугунными копытами...

Ты открыл глаза. В комнате стояла сутемень, зыбко растекался тусклый свет луны. Опять он, Кок-Огуз... Нет-нет, не надо думать об этом зловещем, обрывочном, без начала и конца кошмаре... Не сон — наваждение какое-то... Душевный сумбур последних лет теперь не покидал тебя даже во сне, не давал передохнуть, настойчиво лез своими омерзительными видениями в са-

мые безмятежные и редкие минуты покоя. Весь внутренне сжавшись, ты покосился на соседнюю кровать. Пуста. У изголовья на пышном шелковом покрывале белым призрачным холмом возвышалась несмятая пуховая подушка... Дети давно уснули. Только из дома напротив, то затихая на минуту, то с новой силой всплескиваясь, продолжалось как ни в чем не бывало шумное веселье. Вот кто-то хрипло запел, другой загоготал вдруг, а этот не в меру разошелся, и над всем этим нестройным хмельным гулом то и дело взмывал чей-то бездумно счастливый смех. Ты заворочался, раздражаясь и завидуя чужому веселью: вот уж у кого ни горюшка, ни заботы... Видит бог, когда затихнет их полночный пир, ни один из этих счастливчиков не станет, как ты, ворочаться в постели, а уснет, едва коснувшись головой подушки. И уж никому из них ничего такого не приснится.

Ты лежал долго и неподвижно. Сон не шел. Тогда ты с головой укрылся одеялом, укладываясь поудобней, но забвение не приходило. Вспомнил совет врача из районной железнодорожной больницы: сосчитать про себя несколько раз до ста и обратно... И только было с горем пополам погрузился в тягостно-неспокойную дрему, как опять послышалось это зловещее — «хрупхруп... туп-туп-туп...» Ты поспешно оторвал голову от подушки. Отшвырнув одеяло к ногам, сел. «Тьфу, дьявольщина! Как может присниться такое, о чем даже и не подумаешь?» Тот зловеще размеренный, нарастающий топот во сне, от которого ты проснулся, все еще стоял в ушах. Ты потер уши. Если и снились иной раз подобные сны, то все-таки ты к ним успел привыкнуть, притерпелся. Но нынешний сон — это что-то иное... Он будто бы продолжался и сейчас, наяву. Ты совершенно четко видел, что под ногами была вроде все та же твердь, все тот же над нею голубой небосвод. И хотя этот небосвод вроде оставался голубым, но вот что страшно: утратив свою былую воздушность и прозрачность, стал вдруг громоздким, будто обшитым синей жестью. И гигантский Кок-Огуз, прежде неизменно появлявшийся из-за выжженных холмов, теперь почему-то спускался с западного ската неба, спускался тяжелой трусцой, с самой зловещей черной тучи, нижней частью свисавшей до потемневшего моря. Свиреп и мрачен Кок-Огуз. Глаза налиты кровью. Низко опущена голова. Могучее дыхание его горячим вихрем нес-

лось далеко вперед, поднимая смятенные волны, вздымая пыль, — и в одно мгновение затмила белый свет черная буря. Сивый Вол неукротимо несся по гулкому жестяному небосводу, оглушая мир гремящей дробью чугунных копыт, — все ближе и ближе к морю... Жестяной лязг и грохот, раскалывая небо, раскатывался всесветным этим: «Данг-гурр, данг-гурр...» И когда ты в ужасе очнулся, грохот этот, раскатисто обвалившийся с высоты, еще долго звучал в ушах. Сердце бешено стучало, и казалось, вся стеклянная посуда, какая была в доме, еще тонко позванивала, дребезжала...

Ты ладонью прижал сердце, стараясь смирить его беспорядочные толчки. Медленно повел вокруг глазами, глядя с сомнением, будто все это было тебе чужим, подозрительным, словно явилось сюда из какого-то другого мира. И снова рухнул на постель, зарылся лицом в подушку. Временами тебе удавалось забыться, но тотчас била внезапная нервная судорога, и ты снова просыпался, измученный, и затравленно озирался вокруг...

Нет, видно, не суждено тебе сегодня уснуть. Лучше уж просидеть остаток ночи в постели с открытыми глазами. По крайней мере хоть избавишься от этой чертовщины. Голова раскалывалась. В глазах стояла резь. Да, что-то творится с тобою в последнее время. И эти сны еще... Смешно сказать, начальство тоже не оставляет тебя без попечения. Оно и наяву-то к тебе не очень мирволило, а уж во сне и того хуже — стекленеет глазами, точно козел при виде пса. Особенно взъелись двое: прыткий, не в меру черный, как головешка, уполномоченный и, конечно же, Ягнячье Брюшко. Вот уж от кого пощады не жди. Точно клещи впиваются. Стоишь перед ними, виновато понурясь, и молчишь. А на тебя с обеих сторон попеременно набрасываются то сам Ягнячье Брюшко, то его черный, как головешка, уполномоченный и твердят как заведенные одно и то же: «Рыба... Где рыба?!» Ты растерянно разводишь руками: «Да что вы?! Невдомек вам, что ли, что море гибнет?..» Так тебе хочется крикнуть, чтобы услышали наконец, но язык почему-то не повинуется. И тут, разъярившись, Ягнячье Брюшко грохает кулаком по столу: «Почему до срока уехал с Амударьи? Дезертир! Ответишь за свое самовольство...»

Ты лежал, уставясь открытыми глазами в лунную сутемь. Руководителям района стало известно, что ты

уехал с Амударьи, не дождавшись конца путины, раньше других. Однако, вопреки твоим ожиданиям, на этот раз они не сделали тебе никакого внушения. Можно сказать, на беде Арала нажились. А особенно раимовский глава. Он прямо-таки ликовал. Был ли случай, чтобы этот рыцарь удачи упустил свою долю? Ни разу, если не считать прошлой осени, когда ты, рискуя всем, перемахнул на машине через Сырдарью. Зато на этот раз он одним махом перевыполнил годовой план. И сейчас его имя гремит на всех собраниях. К награде представили. И еще ходят слухи, что скоро в должности повысят. Что ж... видимо, так и будет всегда. На совещаниях передовиков он теперь одним из первых прет на трибуну, и по залу долго разносится его резкий, отрывистый сорочий стрекот. Ничего не скажешь, далеко он пойдет. Ну что ж, коли заслужил... пусть растет.

А тем временем веселье в доме напротив разгоралось... Раза два ты начал было задремывать, но тут же просыпался: первый раз от чьего-то хохота, будто ворона над самым ухом каркнула, в другой раз очнулся от разудалого пения. Хотел было пойти в другую комнату, куда не доносились звуки с улицы, но побоялся тревожить мать. Между тем перевалило за полночь. Бакизат теперь вряд ли придет. Да ты уже не ждал ее. «Если даже и заявится — не пущу. Пусть идет себе куда хочет», — решил. После этого не вспоминал о ней, точно изгнал из души навсегда. Но то было наяву... А во сне... Во сне душа слабеет. И едва смежил веки, как снова наплыли видения. Иные, правда, мирные. Главное, ты отчетливо понимал, что все это пустой сон, не больше... Только что вроде бы соседняя кровать пустовала, теперь на ней уже спал кто-то. По очертаниям фигуры ты догадался, что под атласным одеялом лежит женщина. При этом не вообще женщина, а твоя жена, которую ты прождал всю ночь. На ней была ночная рубашка, и тонкая, вздымающаяся при лунном свете ткань выказывала ровное дыхание молодой женщины. Видно, она, всю ночь напролет веселясь, притомилась, ты знал, что в том доме она танцевала только с гостем из столицы, но не испытывал ревности. Лишь одно закравшееся подозрение не давало покоя, и ты, чтобы разувериться в нем, мучительно вглядывался в спящую рядом женщину, стараясь увидеть, как уложены ее волосы на затылке. Однако,

сколько бы ни всматривался, взгляд твой снова и снова упирался в бледный лучик луны, скользнувший сейчас ниже ее округлого мягкого подбородка. Взгляд твой последовал за ним. А трепещущий лунный зайчик, исполненный трогательного ночного таинства, смятенно замер на шее, будто не желая сдвинуться с места, ниже, на высокие холмики грудей, укрытых легким атласным одеялом. Ты почувствовал, как кругом пошла голова от этого лунного света, как накатил томящий зов желания. Хотелось вскочить, подойти... нет, ороситься к ней, позабыв обо всем, слепо, безумно отдать себя всего, схватить и прильнуть, но ты почему-то не в силах был даже шелохнуться, будто весь накрепко привязан к кровати. Бессилие это пугало, ты стал вырываться из этих невидимых пут — но тщетно... Тогда хотел было позвать ее, но не мог издать звука, потому что голос напрочь отказал тебе... Но она, услыша немой призыв твоей души, тотчас приподняла голову и виновато произнесла: «Бакизат еще не вернулась». И в это мгновение взгляд твой упал на ее лицо. Что за диво! Женщина, к которой тебя так страстно влекло, оказалась вовсе не Бакизат... Нет, не Бакизат, а та самая девушка, которая в своем неизменном красном платочке сидит у тебя в приемной. И это ее черные глаза мягко и призывно светят тебе сейчас... Ты проснулся и долго не мог прийти в себя. Ум, чувство отказывались понять, каким это образом такая, казалось, явственная, близкая, соблазнительная Бакизат обернулась вдруг девчушкой из приемной. Приснится же такое. И что это могло значить?

Глаза вроде смыкались, но уснуть ты уже не мог. Интересно, скоро ли утро?.. Если близко, то надо бы встать и отправиться в контору: должно быть, всяких бумаг накопилось немало.

Ладно, о сне думать уже не приходится. Да и какой может быть сон, если постоянно мерещится черт-те что? То, что приснилось напоследок, и вовсе непонятно. Такое и проницательный толкователь снов не разгадает. Правда, даже после тринадцати лет супружеской жизни ты не можешь утверждать, что достаточно понял свою жену наяву, что уж говорить о снах... Она и в жизни, и в этом сне, находясь возле тебя на супружеском ложе в зыбком мерцающем свете луны, одинаково не давалась, словно ускользала куда-то, оставаясь неуловимой, непонятной. Но тебя особенно по-

разила девушка-секретарша. Какую-то притягательную силу обрела она, всегда такая скромная, робеющая перед всеми... Как вдруг преобразилась в том сне, как осмелела в своем призыве к тебе...

Она родилась в этом ауле. Только в прошлом году окончила школу. Отец пил, мать совсем опустила руки, и, чтобы хоть как-то помочь многодетной семье, ты взял эту девушку к себе на работу, в контору. Ей, до болезненности стеснительной, пугливой, мучительно было даже заходить в твой кабинет. Каждый раз, едва переступив порог, она вспыхивала, застывала, обмирая. И ты, видя это, щадя ее, старался пореже поднимать на нее глаза. Сосредоточенно потупясь, подписывал бумаги, а потом, когда она забирала их, ты видел ее тоненькую, как у ребенка, руку, и каждый раз твое сердце сжималось от сострадания к этому робкому трепетному существу. И вдруг такой призывный, по-женски смелый свет этих глаз... ты лежал не шелохнувшись, в странном забытьи. И тут что-то скрипнуло, отчего ты насторожился, затаил дыхание. Однако скрип, сколько потом ни вслушивался, не повторился. Ты поднял голову: дверь в комнату была приоткрыта... Неужто она оставалась открытой? Или заходил кто? Или, может, кто-то притаился за дверью? В твоем ауле вряд ли найдешь таких, кто не осмелился бы запросто заявиться в дом председателя. Как завороженный смотрел ты на дверь. Смотрел долго и напряженно, не мигая, словно боясь упустить что-то очень для себя важное. Вдруг подумал, что это может быть Зауре. Ты знал, что для нее переступить твой порог была бы мука мученическая. Представил, как до дверей она добралась бы на цыпочках, больно закусив нижнюю губу, едва уняв дрожь, потянула бы за ручку, когда дверь, подавшись, скрипнула, она отпрянула бы в испуге назад, приложив руки к груди и замерев. И если сам ее не окликнешь, убежит, уйдет... «Подожди!» — чуть не вырвалось у тебя...

Ты откинулся на подушку. Что только не лезет бессонными ночами в голову! С чего, спрашивается, так размечтался о бедной девушке? И почему тебе доставляет какое-то странное, неизъяснимое удовольствие думать о ней? Даже глаз не хочется отрывать от двери, даже зажмурить их боязно — вдруг исчезнет, улетучится очарование самой мысли о ней... Что это? Уж не сон ли виноват в том, как неудержимо влекло тебя к ней?

Или все еще не прошла та полная всяких соблазнов пора и прав баловень-поэт, сказавший некогда: «Под боком спит законная жена, а мысль уводят жаркие красотки»?.. Положим, та пылкая пора у одного мужчины проходит раньше, у другого — позже. Но ты-то разве относишься к тем, у кого седина в бороду, а бес в ребро?.. И прежде ты так же, бывало, глаз не смыкал, лежа рядом с безмятежно спавшей женой. Только причина тех бессонниц была в другом. Ты думал о мелеющем из года в год море, о разбредшемся наполовину луле и снова о рыбе, о проклятом плане, но уж никак не о плотских утехах, воспетых любвеобильным поэтом. Тогда что ж, выходит, вместо прежнего, угасающего чувства нарождается какое-то неведомое, неосознанное еще новое чувство, так, что ли? Неужели то неотвратимо меркнущее в положенный срок чувство сейчас, еще не успев отмереть былыми корнями, уже распускает новые, юные побеги? Неужто так бывает?.. «Видно, бывает, — подумал ты. — Бывает. Ну так пусть будет! И уж если не миновать этой поры и тебе, то пусть будет так, как грезилось некогда на постылом супружеском ложе тому баловню-поэту».

Где-то в глубине души немало удивляясь таким неожиданным и новым для себя мыслям, ты скосил взгляд на пустующую кровать. Призрачный лунный зайчик куда-то запропал. Ты невольно поискал его глазами и, найдя, почему-то обрадовался: он уже сполз с кровати и смутно распластался теперь по полу, в дальнем углу просторной спальни. Нет, это не был просто осколок мертвого лунного света — он казался тебе живым, одухотворенным, как чья-то близкая трепетная душа, в тягостный час он мог согреть и разделить стылое человеческое одиночество. Он с тобою, подсвечивающий, как серебряная чаша, сквозь туман, он полон таинственной силы своей матери-луны и неземного какого-то сочувствия или сожаления...

Ты лежал не шелохнувшись, сон твой давно прошел. Не мигая, все следил за тем же лунным зайчиком, который незаметно для глаз все ближе и ближе подбирался к стене, высвечивая половицы... Ты задумался о чем-то, и, когда взглянул другой раз, лунный с расплывшимися краями зайчик был уже на стене. Он взбирался все выше, к какой-то ему одному известной цели — и потом, взобравшись наконец на потолок, будто замер; некоторое время вы смотрели друг на друга,

смотрели долго, внимательно и сочувственно, замерев перед какой-то большой тайной... Но вот круглая серебряная чаша его, будто обламываясь по краям, становилась все меньше и меньше, таяла, меркла на глазах. Пройдет еще какой-то миг — и туманное пятнышко лунного света, оставив тебя одного в объятиях ночи, наедине со своей растравленной душой, покинет тебя навсегда. И ты как никогда остро и горько почувствовал вдруг это надвигавшееся одиночество в пустой и душной, погруженной в предутренний мрак супружеской спальне...

Встал ты, немного погодя, совершенно разбитым. Пока вместе с матерью в тягостном молчании пил чай, в окне серел долгий зимний рассвет.

* * *

Из дома Быдыка ты вышел в этот день с тяжелым чувством. Знаменитый земляк проводил тебя до порога, подал на прощание руку, и, пожимая ее, ты нашел в себе силы вежливо улыбнуться, хотя, правду сказать, на душе было тошно. Отойдя подальше, криво усмехнулся, качнул головой. Выходит, и ты способен притворяться, делать хорошую мину при плохой игре...

Вообще-то у тебя и в мыслях не было заходить сюда. Жена, не повидавшись с тобой, ушла на работу. Настояла мать: «Ну как же так? Вместе росли. Неразлучными были, как ягнята-близнецы. По доброму нашему обычаю, к приехавшему издалека, будь он даже мальчишкой, все на поклон спешат. Так что не упрямься, сынок, загляни, отдай салем, с тебя не убудет...» Послушался, пошел, а что из этого получилось? Ну, поговорили. С ходу сцепились. И окончательно выяснилось: совершенно чужие... Взаимная неприязнь в душах отнюдь не развеялась. Наоборот, сердца ожесточились. И, главное, все по-прежнему неясно...

Когда ты вошел, совиноглазый дядюшка Азима копошился в прихожей — прибирал обувь. Должно быть, твоего прихода здесь никак не ожидали.

Из глубины комнаты донесся знакомый тебе, сытый, с барственной ленцой баритон. Ты вслед за суетливо заспешившим совиноглазым пошел туда, на голос. Гость, видно, только что побрился и теперь, стоя перед круглым зеркалом на стене, протирал огуречным лосьоном гладкое лицо. Увидев тебя в зеркало, протянул: «А-а-а... дружище!» — и не спеша пошел навстре-

чу, протягивая обе руки, словно намереваясь, как в былые времена, заключить тебя в объятия. Однако, подойдя вплотную, отчего-то раздумал, лишь слегка пожал кончики твоих пальцев и тут же отпустил.

— С приездом, значит?

— Аминь, дорогой, — ответил за племянника совиноглазый. — Наш Азимжан, говорю, родной свой аул не забывает, говорю. На этот раз вовсе, говорю, нежданно-негаданно на-нагрянул, говорю.

— Хорошо, что сейчас приехал. А то через год-другой здесь одни пустые дома застал бы...

— Ой, беда, говорю, беда... Что с народом делается — не пойму, говорю. Дай аллах, говорю, чтобы добром все кончилось, говорю...

Азим держался равнодушно, будто разговор не имел к нему никакого отношения. Ты помимо своей воли покосился на белые шелковые занавески на окнах гостиной...

— Азимжан говорит, когда море высохнет, говорит, со временем, говорит, большие города построят. Благо наступит, говорит.

— Насчет блага сомневаюсь. А вот боюсь, лишимся и того, что имеем.

— Ой, не говори, доброе слово — половина блага, говорят.

— Ну, что же... если утешение в словах, то не лучше ли послушать нашего гостя?

Совиноглазый спохватился, поспешно поставил в углу стул и, подобрав полы чапана, сел, приготовясь слушать своего племянника. Сидел — точь-в-точь сова в зоопарке, что слепо уставилась при дневном свете в пустое пространство.

— Земляки твои, знаешь, в отчаянии... родные места покидают, — начал ты, все более раздражаясь от этих белых шелковых занавесок, лезущих в глаза,— ну, на это что скажешь?

— Вижу, нервы у тебя сдают. Ты-то, дорогой, чем раздражен?

— Поживи среди нас — посмотрю я на тебя, — досадуя на свою горячность, примирительно сказал ты.

— Это-то верно... Трудно стало, говорю. Все рушится к шайтану, говорю.

— Ну, как живешь? — неожиданно спокойно спросил Азим. И лицо его стало приветливым, добрым. — Давай садись. — Он указал на стул. Видя, однако, что

ты заупрямился, он рассмеялся, взял тебя под руку, сам усадил. Потом пододвинул другой стул, сел рядом, положив руку на твое плечо. Ты отстранился было, но Азим, как это бывало в ваши молодые годы, по-свойски, уверенно увлек тебя и покровительственно притянул к себе. — Ф-фу ты, черт... тебя и не обхватишь.

И этот дружеский жест напомнил тебе то далекое и невозвратное, отчего у тебя на мгновение даже сердце дрогнуло.

— Да-а... и ты, брат, стареешь, — вздохнул Азим, коснувшись кончиками пальцев твоего виска.

Между тем ты все взглядывал на окна, на эти назойливые, лезущие в глаза треклятые шелковые занавески. Может, то была теща? Ведь она никак не может смириться с неумолимо надвигающейся старостью и все продолжает с некоей претензией тщательно укладывать свои крашеные лохмы на затылке. От этой мысли ты почувствовал вдруг облегчение, будто камень с души сняли... И даже повеселел.

— Слушай, Жадигер, помнишь голодные послевоенные? Как ты — не знаю, а по мне, будто вчера все было...

— А прошло немало лет...

— Слушай, а помнишь, как впервые отправились в школу? Одеты черт знает во что. В животе урчит.

— Ой, те годы ужасные были, говорю. Лучше и не вспоминать, говорю.

— И каждый день по дороге в школу мы, помнишь, к пекарне сворачивали... стояли с подветренной стороны и с такой жадностью вдыхали запах печеного хлеба.

— А пока топтались там, опаздывали на первый урок... — С улыбкой вспоминая голодное детство, ты и сам не заметил, как на глазах твоих навернулись слезы. — А все равно славное было время? Ох, славное! Лучшей поры и не припомню.

— Да ну его... Если уж честно, то ничего такого славного и не было...

Ты недоуменно глянул на друга. Размягченный воспоминаниями далеких дней, не заметил, оказывается, что Азим давно уже убрал руку с твоего плеча и — пока ты предавался таким далеким, таким нереальным теперь воспоминаниям детства — успел уже взять себя в руки, на его лице появилось безразличие. А когда ты посмотрел на него, он уже сидел вальяжно, откинувшись на спинку стула.

— Как мать? Бодра?

— Слава богу...

— Сколько раз она меня угощала! Жаль: очень спешу. Но все равно забегу на минутку, проведаю.

— Пошли тогда сейчас.

— Нет... Позже зайду... как-нибудь...

— Дай только заранее знать. Барашка в твою честь зарежем.

Азим как-то отрывисто, будто стараясь, чтобы на ухоженном лице не обозначилось ни морщинки, засмеялся:

— Ах, ровесничек ты мой простодушный! Сколько бы ни учило тебя государство, а степные твои привычки выбить никак не может. Казах из тебя так и прет. Тебе, верно, и невдомек, что в наше время европейцы, к примеру, встречают гостя чашкой кофе или там бокалом аперитива... А ты — барашка!..

Ты не знал, что ответить: удивили не сами слова, не тон, каким были они сказаны, а тот быстрый, откровенно унизительный взгляд, брошенный на тебя сбоку, как бы вскользь... В этом взгляде почудилось что-то знакомое. Точно такой взгляд ты где-то видел, но где? И кто был тот человек, который имел обыкновение как бы пригвождать таким вот холодно-надменным взглядом незадачливого собеседника?

— У каждого народа свои обычаи, — недовольно буркнул ты.

— Сказал! Много ли нынешним казахам проку от дедовских чапанов и лошадок?

— Не знаю, как насчет чапанов, но что касается лошадок, то ведь нынче ты сам, кажется, приехал на них.

Что ни говори, этот дьявол умеет прикрыться личиной холодного безразличия. Видишь, как он, избегая ответа, снова напустил на себя отсутствующий вид, отвернулся и уставился в страницы какой-то раскрытой книжки на столе.

Пауза неприлично затягивалась. Азим перевернул страницу, потом другую. Может, пора встать и удалиться? Но вместо этого ты неожиданно для себя сказал:

— А статью твою прочел, как же...

Азим все еще не отрывал взгляда от книги. Совиноглазый заерзал на стуле. Казалось, будто филин перед взлетом встрепенулся, раза два дернул крыльями:

— Ойбай, не говори... си-сильная была статья! И

стар и млад, говорю, из рук в руки ее передавали, говорю.

— Верно. У нас ее все читали...

— Наш Азимжан хочет победить природу. Как не радоваться, говорю. Только народу все мало, говорю. Ему хочется, чтобы сладкий жир сам в рот тек, говорю... Вот такой у нас нынче народ, говорю!

— Твой дядя прав, землякам твоим, к слову, статья не понравилась.

— Во-н как! А тебе?

— Что я? Мое мнение вряд ли тебе интересно. А вот к людям прислушаться бы надо, — попытался ты втянуть гостя в разговор.

Между тем Азим опять замкнулся, скрылся под непроницаемо холодной маской. Здесь, среди земляков, он обычно об Арале и не заикался. Зато там, в столице, выступая каждый раз с трибуны или со статьей, цепкими руками хватал за горло умирающий Арал. «Мы не рабы природы, а ее хозяева, — писал он в статье, которая появилась, когда вы промышляли в устье Сырдарьи. — Мы, советские ученые, не против природы, но оцениваем ее трезво по конкретному значению ее для развитого, многоотраслевого народного хозяйства страны. В старину наши предки природу обожествляли, восторгались ее красотой. Поэты и влюбленные восхищались звонким ручьем, прозрачной гладью озера, шорохом листьев, любовались луной, звездами, сочиняли сладкозвучные стихи. Те времена канули в вечность. С простодушными и сентиментальными старичками той эпохи мы простились, как говорится, смеясь. Ныне наступила эпоха дела. Мы, реалисты, должны прежде всего думать и заботиться о том, что способствует дальнейшему росту и интенсификации нашей процветающей экономики, народному благосостоянию и всеобщему подъему потенциальной мощи во всех сферах жизни. С этой точки зрения нам, несомненно, выгодно, чтобы бесперспективный и обреченный на неминуемую гибель старый Арал скорее обнажил свое благодатное плодородное дно — тысячи и тысячи гектаров пахотной земли, на которых мы в скором будущем вырастим сказочные урожаи хлопка».

Газета с той статьей переходила из рук в руки. Рыбаки тогда до хрипоты надрывали глотки, спорили. Ты тоже прочел ее, но молчал: «Врешь, братец...» С тех пор как немало расплодилось ретивых преобразовате-

лей природы, ее, бедную, постигла печальная участь: у семи нянек она оказалась без глазу. Совсем недавно довелось тебе прочитать о том, как некие преобразователи решили спрямить где-то речку. И, выпросив у государства не один миллион, прорыли каналы, спрямили, как хотели, загубив при этом сотни гектаров пойменных лугов, превратив за пару лет поречье в солончаковую пустыню, — а теперь они же требуют у государства миллиончик-другой на восстановление прежнего русла...

Прочитав статью именитого земляка, ты тогда никак не мог уснуть. Стояли промозглые предзимние холода. По хибаре гулял ветер. В своей постели ты скоро озяб, бочком полез под одеяло соседа — о чем вскоре пожалел. Сосед оказался неизменным участником всех состязаний борцов-палуанов на майских и октябрьских праздниках. Видно, спросонок вспомнилась этому здоровенному черту жена: едва почуяв под боком тепло чужого тела, вдруг заскрипел зубами, бурно задышал, точно верблюд-самец в весеннюю пору гона, и закинул на тебя волосатую, в бугристых мышцах ногу... Обычно ты спал рядом с Упрямым Кошеном, который в тот вечер отчего-то взъерепенился, и, схватив свою постель, перебрался на другое место. И смех и грех: несколько раз приходилось тебе сбрасывать с себя нетерпеливую ногу этого чертяки, все пытавшегося, сопя носом, непристойно прижаться к тебе, и, наконец, не выдержав, ты встал и вышел из лачуги. Холодный осенний ветер сумбурными порывами налетал со степи. Рядом штормило море. Как бы опять не спутало сети. И тут ни с того ни с сего пришла на ум статья Азима. Непостижимо! Ему не должна быть безразличной гибель колыбели его, отчего Арала. Тут наверняка кроется какая-то неведомая тебе тайная причина...

В ту ночь ты так и не вернулся в хибару. «Вот, скажем, — думал ты, — появляется человек на свет божий; появившись, всю жизнь копошится, копошится из века в век, из поколения в поколение: сеет, жнет, строит дома, громоздит города, чего только не добывает, не извлекает из недр земли, не чувствуя, не понимая до поры до времени, что уподобляется при этом некоему прожорливому, расползшемуся по лику земли чудовищу, которое, как по всему видно, не успокоится до тех пор, пока не изничтожит дотла ту самую обитель, на которой живет... И если все это ему, человеку, невдомек,

то чем он, этот хваленый венец природы, собственно, отличается от обыкновенного червяка, неумолимо, неустанно выгрызающего созревший на дереве дивный плод? Оглянитесь, осталось ли где живое место на этом маленьком, в сущности, голубом шарике, именуемом Землей? В него вгрызается бур за буром, его рвут стальными клыками, взрывают динамитом, долбят денно и нощно, хищно вспарывают, разворачивают, раскурочивают страдающую живую плоть. И если этот ненасытный червь, забравшийся в самую податливую мякоть плода, сам не угомонится, пока не высосет, не выжмет все соки земли и не превратит ее в гнилую труху — кто тогда остановит это прожорливое бездумное людское племя? Кто?

— А знаешь, в прошлом году, когда я бывал в Алма-Ате, как-то случайно попал на одно ваше собрание. Крепко, однако, вы там схлестнулись. Смотрел и думал: вот-вот друг друга за глотки схватите... Ты, наверное, меня не заметил. Я сидел сзади, у выхода...

— Почему? Видел. Думал: подойдешь после собрания...

Не хотел беспокоить. У тебя и без меня хлопот хватало.

— Чудак ты!

— Может быть... Так на той вашей дискуссии раза три поднимался на трибуну какой-то молодой ученый...

— Да, есть один такой горлодер... Мы накануне завалили на ученом совете его докторскую диссертацию. Ну он, естественно, и взъярился... Тебе, надо полагать, его выступление понравилось?

— Да-а, видно, бог дал ему светлую голову и горячее сердце. А ты — «горлодер»... Помнишь, как он хорошо сказал: «Быть или не быть человеку на земле, зависит от того, будет или не будет природа...»

— Ну-ну... можно подумать, кто-то посягает на природу! Ведь покушаться на природу — все равно что поднять руку на мать... На это и не всякий злодей решится.

— А тем не менее, дорогой академик, такие безумцы существуют...

Азим и сейчас, не меняя позы, бросил на тебя испытующий взгляд. На лице его застыло плохо скрытое удивление.

— Случается, и мы иногда кое-что почитываем...



Ученые раньше, помнится, все друг другу подпевали: «Исправим ошибки природы! Обуздаем! Покорим!» Сейчас по-другому начали петь. Вроде как: «Надо приспособить природу к возросшим требованиям экономического прогресса». Только суть-то одна.

— Это, наверное, уже обо мне...

— Не исключено, — ответил ты и с удовольствием заметил, что, кажется, удалось тебе задеть бывшего дружка за живое.

— Однако не мешало бы тебе зарубить на носу: природа не музейный экспонат. Она должна служить повседневным потребностям народного хозяйства, и еще... — начал было Азим, но ты, не дав договорить, быстро перебил его:

— «Повседневным!..» Такие люди, как ты, если только искренне хотите добра народу, обязаны больше о завтрашнем дне заботиться — понимаешь?! — о будущем, а не об этом повседневном, подножном. Нужно и нынешнее, я понимаю. Но нельзя же, в самом деле, мерить всю большую жизнь одними этими... как их... меркантильными задачами, лишь сегодняшним днем жить! Не так разве?!

«Нет, ты глянь-ка, как он разошелся, а?!» — подумалось, верно, в эту минуту Азиму. Но он уже, видно, подобрался весь, и лицо его сохраняло свое обычное спокойствие.

— Ты, милейший, видно, засиделся в этой дыре...

Азим, должно быть, сам почувствовал, что слова его прозвучали неубедительно, блекло, и он начал шарить в карманах брюк, потом в боковом кармане пиджака, висевшего на спинке стула. Движения его стали медлительными. Хотя он видел, с каким нетерпением ты ждешь ответа, но нарочито не торопился. Достал наконец изящную вересковую трубку, потом все так же не торопясь извлек красивую табакерку, открыв ее, стал не спеша набивать душистым гаванским табаком трубку.

Однажды Азим, помнится, точно таким же манером вывел-таки тебя из себя. Было это прошлым летом. Азим по пути из Москвы приезжал к дяде всего на два дня. Когда ты зашел к нему, окна большого дома были плотно занавешены. Дни стояли знойные, солнце палило, не к добру разошедшийся южный суховей мел по улице пыльной поземкой. А в доме было прохладно. И пока ты раздумывал, в какую из комнат свернуть,

из глубины раздался протяжный, бархатный голос: «Заходи...»

Все еще не приглядевшись к полумраку, ты осторожно направился к спальне и сразу же, переступив ее порог, увидел пышную кровать с тускло мерцающими никелированными шариками в изголовье. Азим лежал на ней, закинув ногу на ногу. Намереваясь поздороваться, ты подошел к нему, хотел протянуть руки, но раздумал, осененный недоброй догадкой, повернулся и, не сказав ни слова, вышел.

— Эй, сто-ой!..

Но ты уже хлопнул дверью... Шел, крупно шагая, налегая грудью на остервенелый встречный ветер. В голову лезли злые беспорядочные мысли, обрывки каких-то обидных воспоминаний. Вспомнился вдруг предок в седьмом поколении Кыдырбай. В то давнее время мужчины кочевых племен, гонимые вековечной нуждой, не слезали с коней. И вот в такой же, должно быть, знойный день, когда мела по выжженной земле такая же пыльная поземка, твой предок в седьмом колене ехал верхом на коне. Тебе, потомку его, нетрудно представить, как измучился под ним конь и как терзала одинокого путника жажда. И вдруг увидел он овраг, по дну которого бежал ручеек, а склоны задыхались от разнотравья, сохранившего на все лето весеннюю свежесть и прохладу. В пышной зелени белело сорок шатров. И только один — сорок первый — был голубой и стоял особняком. У сорока шатров томились сорок заседланных коней, а рядом—в грозных боевых доспехах сорок нукеров. На дне оврага дремали сорок опущенных на колени дромадеров. Возле них валялись тяжелые тюки. Твой предок знал, что такое пышное великолепие позволяли себе только ханские отпрыски — бекзады. Вероятно, сам правитель Арыстан возвращался со сборов ежегодных податей. Когда твой предок вошел в голубой шатер отдать салем, правитель возлежал на пуховых подушках, закинув ногу на ногу. Кыдырбай учтиво протянул обе руки, но правитель, говорят, сунул ему сопревшую потную ногу, сказав: «Все части человеческого тела обладают одинаковыми достоинствами...»

Что почувствовал тогда твой гордый предок? Обиду? Унижение? Оскорбление? Возмущение? Неукротимую ярость?.. Сказывают, от гнева глаза твоего предка налились кровью, и он, начисто забыв, кому принадле-

жит эта наглая вонючая нога — «черной» или «белой» кости, в бешенстве отхлестал плетью возомнившую о себе аллахову тварь. На крик ханского отпрыска сбежалась стража, выволокла Кыдырбая из шатра и прямо у двери, швырнув ничком на землю, избила до полусмерти... Да, то был твой гордый предок, не посрамивший своей чести. А ты? Почему ты не даешь воли праведному гневу? Да будь он хоть трижды академик, хоть сыном самого пророка, — до каких пор ты будешь молча сносить всю его спесь?! Разве не видел ты, как он вчера уединялся с твоей женой — вот здесь, у окна?! Ты видел, видел... И напрасно теперь пытаешься обмануть себя...

Знакомый голос вывел тебя из оцепенения:

— Ты, милейший, видно, засиделся в этой дыре, дальше собственного носа ничего не видишь... живешь лишь одними заботами своего рыбацкого дня. Разумеется, служить следует и завтрашнему дню, н-но...

Нажимая на это «н-но», Азим сделал паузу и заметил, как потемнело и ожесточилось твое лицо, как вспыхнули в твоих глазах гнев и раздражение. Даже, может быть, догадался о причине. И, вполне вероятно, подумал про себя: «Неужели этот остолоп что-то пронюхал?.. Или в самом деле считает, что в обмелении моря виноват я?..» Губы Азима дернулись, поплыли в ухмылке.

— ...н-но, дорогой, нельзя ни на минуту забывать и о том поколении, которое придет в этот мир после нас. И уверяю тебя, будущие поколения не захотят жить по старинке. Не пожелают, как мы, день-деньской тянуть сети и гоняться за своими чебачками. Им подавай что-то посерьезней, посущественней. Другая у них будет жизнь, совсем другая. И им, хочешь ты или не хочешь, будут чужды такие понятия, как отчий промысел, дедовские обычаи и тому подобные сантименты... для них все это будет тяжкими путами на ногах, не больше.

— Ой, Азимжан... айналайн, говорю. Лучше не скажешь, говорю.

— Мужик ты честный, добрый. И душа у тебя чистая. Сердцем болеешь за свой народ. Все это хорошо...

— Я то же самое говорю... как не болеть, говорю...

— И беда твоя только в том, что, окончив институт, ты засиделся в этом богом забытом ауле, и кругозор твой, знаешь...

— При чем тут кругозор?!

— Прости, если сказал резко. Но, сам знаешь, друг скажет правду, даже если она горька.

— Да, скитаясь по морю, я, естественно, поотстал от нашей науки... — Ты невольно запнулся, почувствовав, как странная дрожь, идущая откуда-то изнутри, передалась и твоему голосу. Чуть помедлив и этим смирив ее, продолжал: — Но что я... что обо мне говорить? Вот ты — другое дело. Тобою гордятся земляки. Как же — известный ученый, большой человек. Уж не знаю, какое место тебе отводят в иерархии ученых мужей, но слава твоя громкая. При одном только твоем имени здесь восторженно бросают в воздух шапки...

— И ты тоже?

— Я уже сказал: не обо мне речь...

— Так-так... Что же, я думаю, для гордости есть основания. Разве не великий Абай говорил: «Гордись, коль сын достоин гордости»?

Дядя Азима, неподвижно сидевший все это время в углу, точно филин на суку, при этих словах снова заерзал, в радостном возбуждении встрепенулся весь, будто собрался взлететь со стула:

— Верно, говорю. Истинная правда, говорю... В старое время, говорю, имя Азимжана могло бы по-по-послужить боевым кличем для целого рода... да-да, говорю!

Ты еще не разобрался, да и не мог и не хотел разбираться в том, что происходило в тебе сейчас, отчего так сперло в груди, перехватило дыхание... Но что-то властно забирало тебя — что-то неведомое, необузданное. И единственное, понял ты, что надо над собой сделать — во что бы то ни стало удержать, не дать воли этому слепому безрассудству.

— Мой дядя, вообще-то, прав, — протянул снисходительно Азим. — Достойные джигиты в старину и соперников батырами почитали, а недостойные друг друга бабами обзывали...

— Ну, уж похвал-то, я думаю, ты на своем веку наслушался вдосталь.

— Допустим, так... Что же еще скажешь?

Но ты с ответом не спешил. На Азима, который стоял перед тобой, смотрел теперь без удивления. Ибо на памяти твоей, как он, в юношеские годы прославший шебутным малым, едва приехав в столицу, с недостижимой для вас легкостью поразительно быстро преобразился: первым делом приоделся. Обрел манеру гово-

рить врастяжку, как бы нехотя, ступать степенно, будто вслушиваясь в скрип своих модных лакированных туфель. И рядом с ним вы, вчерашние его закадычные друзья, испытывали некую скованность, неловкость.

— Ты, дружище, говоришь так, будто я тебя в чем-то ущемил или чем-то обязан. Коли обязан — могу вернуть долг. Даже с лихвой.

— Никто из нас друг другу ничем не обязан.

— Если так, попридержи язык. Уж больно что-то разошелся... Тебе не кажется?

— Могу, конечно, и промолчать...

— И это было бы самое разумное.

— Ну нет. Молчанием правду не скроешь. Сколько можно таиться? Лучше уж я воспользуюсь случаем, да, воспользуюсь и выплесну все, что есть на душе. Занимая в обществе такое положение, ты мог бы стать оскудевшему нынче краю опорой и защитой... А ты... вместо этого... покушаешься на самое что ни на есть святое — на заветы предков, на скудное благо потомков!

— Эй, эй... не болтай, говорю... Ты это оставь, говорю! Азимжан, говорю, со временем весь наш народ ос... осчастливит, говорю.

— Аксакал, прошу — не вмешивайтесь!

— Я... я, говорю... Не болтай, говорю. Смотри, говорю!..

— Да, дядя, подожди. У него и вправду, вижу, накипело, ему высказаться надо. Пусть говорит.

— И скажу. Человек, если он искренен, обязан в одинаковой мере думать и о будущем, и о настоящем... — Ты все больше распалялся, глазам стало горячо, во рту пересохло. Зато Азим и его совиноглазый дядя были явно удивлены, даже поражены тем, что ты, всегда такой вроде покладистый, вдруг переменился на их глазах и не только не пасовал перед именитостью одного и старшинством другого, но и напористо нападал. Племянник с дядей с хмурым любопытством поглядывали на тебя. А ты, возбужденный, вскочил с места, встал перед Азимом. Лицо твое горело, в виске бешено билась какая-то жилка. — И твои действия по отношению к Аралу, к земле нашей иначе как кощунством, более того — святотатством не назовешь. Тебе этого не простят ни твои земляки, ни потомки. И если и впрямь существует тот одряхлевший старик на небе-

сах... если у природы вообще существует покровитель — Дух... по тебе еще отольются соленые слезы старого Арала... да-да, вот увидишь, дождешься, расплата еще будет, грянет!

Но вместо того чтобы ужаснуться или хотя бы разозлиться, Азим вдруг расхохотался... Да, этот холеный, моложавый мужчина, обладавший таинственным, непостижимым для тебя даром взвешивать каждое свое слово, каждый жест и поступок, — этот человек, неожиданно изменив своей второй натуре, расхохотался вдруг так, что даже слеза его прошибла. И все еще, не уняв до конца смеха, покачивал головой.

— Ох и рассмешил, брат! Ладно... Ты, главное, не петушись, не распинайся почем зря. А если вам сейчас и недоступны мои мысли об Арале, то позже, когда-нибудь, вы все равно убедитесь в моей правоте. Попомни эти слова: придет время, когда мои земляки, во главе с тобой, поставят мне в здешнем обновленном краю памятник... да-да, мраморный памятник!

Теперь уже зло рассмеялся и ты:

— Тебе?.. Памятник?.. Из мрамора?! Вот уж загнул! От скромности, видно, не умрешь. Ха-ха, па-мятник...

Азим не сказал ни слова.

— Значит, захотелось тебе на дне высохшего моря памятник свой увидеть? Да еще из мрамора? А за какие такие, позволь спросить, заслуги? Чем ты, собственно, заслужил нашу благодарную память? За свою корысть, что ли? За зуд величия? Или, может, за то, что в твоем лице объявился новоявленный Кейкуат?

— Кто-кто?.. — не выдержал он.

— Ну как же ты мог забыть хиссу о батыре Алпамысе?! Есть там такой, по имени Кейкуат. Так вот, этот самый Кейкуат, став ханом, изгалялся над народом...

— А-а, вон оно что... Ты что же, намекаешь на этого казахского калифа на час?

— Да, именно на него, печально известного...

Совиноглазый, до сих пор молчавший в своем углу, при последних словах твоих вдруг весь встопорщился и с перекошенным лицом угрожающе подскочил к тебе вплотную, будто собрался ударить:

— Эй, слушай!.. Ты, говорю, язык-то свой н-не распускай, говорю! Азимжан тебе н-н-не вонючий рыбак, говорю, го-го... государственный человек. Хочешь знать, директор института. Хочешь знать, член... как ее... ка-

лягии... этого Министерства, которое водного хозяйства, говорю. За такие слова, говорю, тебе п-придется отвечать... ответишь, говорю!..

Ты посмотрел в рассвирепевшее крючконосое лицо, усмехнулся — что и говорить, страшен во гневе... В самом деле, почему не стать ему председателем? Что для него какой-то захудалый, на отшибе колхоз, когда ему подобные нынче ворочают и не такими хозяйствами. Главное, чтоб была наверху волосатая рука. И эта волосатая рука помогла взобраться в кресло. А как только усядется покрепче да поудобней... Бедный люд все стерпит: малость поворчит-побурчит поначалу, а потом, по обыкновению, смирится, попривыкнув, подчинится безоговорочно. Усади в любое кресло такого, у которого какой-нибудь кочан на плечах, и этого вполне достаточно будет, чтобы такой вот руководитель, нагнав на лицо подобающую сану суровость и внушительность перед подчиненными и усвоив с десяток безотказно действующих слов, начал бы покрикивать: «Исполни!», «Доложи!», «План! План!», «Рыба, где рыба?» И больше ничего не надо. Да, поставь этого филина председателем колхоза — и, небось, тоже не оплошает. Соберет колхозников в клуб да как начнет бушевать, слюной брызгать: «Вы, говорю, совсем от рук отбились, говорю! Бога не боитесь, говорю. Там, говорю... начальство меня за глотку хватает, говорю... План... план давайте, го-говорю!.. Рыба... где рыба, говорю!» — то будьте уверены: самые что ни на есть строптивые рыбаки — и те мигом у него шелковыми станут...

— Эй... эй, баскарма... ты, говорю, чего лыбишься, говорю?

Твои слова, видно, задели Азима за живое. На тебя он так и не посмотрел. Медленно поднялся.

— Кажется, ты все высказал, не так ли? Теперь, небось, доволен?

— Нет. Я еще не все сказал. — Как бы ни хотел ты смотреть прямо в лицо Азима, но он продолжал стоять, повернувшись к тебе спиной. Тебе непонятно было: он скрывает от тебя лицо или это его обычное пренебрежение, выказываемое своим недоброжелателям. Казалось, что все эти повадки и манеры его тебе знакомы, раньше у кого-то встречал. Кажется, и тот вот так же медленно поднимался с места, степенно ступал. Смотрел на собеседника свысока, как-то искоса, слова ронял скупо. Даже и голос у того, помнится, был

точь-в-точь такой же, как у этого, бархатно тягучий, протяжный, полный сановного достоинства. Казалось, не говорил, а делал одолжение, даже постанывал от утомления, глаза прикрывал, точно овца, собирающаяся разродиться двойней. Вот и этот сейчас обронил наконец:

— Что ж... Продолжай.

Говорить в спину было тебе неловко, непривычно, и ты, не долго думая — была не была! — зашел ему спереди, глянул в глаза:

— Всю эту недостойную возню затеял Жабасов...

— Кто?

— Академик Жабасов. По-моему, твой глубокопочитаемый наставник.

— Ха-ха! Скорее, я сам таким академикам гожусь в наставники...

— Извини, не знал. Но одно определенно знаю, что вы оба нож приставили к горлу бедного Арала...

— Ну, что дальше? Судя по твоим словам, дело попахивает закланием невинной жертвы, не так ли?

— Не скрою, ваших ученых словечек не знаю...

— Вот-вот, подбираешься к истине. Для науки, дорогой, все эти аульные обычаи — благословение, заклание, поминовение, жертвоприношение... и как там их еще? Ты ведь мастак по этой части...

— Каждый говорит что знает и как понимает, и дело тут вовсе не в ученых словечках. Но мне одно определенно понятно, что академик Жабасов хочет Арал принести в жертву ради ничтожной корысти локального значения.

С лица Азима не сходила все та же язвительная ухмылка, хотя глаза оставались холодными:

— Нет, в самом деле! Я был уверен, что ты тут читаешь одни только священные книги... а оказывается, верно говорят, что ты в последнее время ученые труды из рук не выпускаешь...

«Кто мог ему это сказать?» — пронзила тебя вдруг догадка. И лицо твое, уши мгновенно схватились жаром. Женщина, да, только женщина, та, что прошлой ночью уединялась с гостем у окна. В это мгновение ты понял, что уже не в силах больше сдерживать то дикое, необузданное, еще немного, казалось, и оно, это яростное, клокочущее, сорвется, круша жалкие остатки трезвомыслия... Азим с опаской посмотрел на твое вдруг исказившееся лицо.

— Спокойно, батыр, спокойно... Ну, не кипятись...— Азим не без робости дотронулся до тебя, пытаясь усадить на стул, но ты оттолкнул его руку:

— Ты все еще изволишь играть с мной. Но то было давно, и времена те прошли... да-да, учти это, усвой накрепко. Я намеревался поговорить с тобой всерьез...

— Выходит, о земляках печешься только ты? Так ведь пойми, весь сыр-бор как раз и загорелся именно из-за того, что мы, ученые, озабочены судьбой народа. И мы точно подсчитали, что выгоднее народу: рис, хлопок или твоя рыба. И, подсчитав, действуем соответственно, по-научному...

— Болтовня все это! Пустая болтовня. Кроме риса, хлопка и рыбы есть нечто большее...

— Не-т, дорогой, у нас самая большая проблема — материальная. У замкнутого моря, каким является Арал, нет будущего. Ради сохранения бесполезного водоема посреди пустыни мы, пойми, не можем лишать воды двух рек жителей пяти... понимаешь, целых пяти республик. И всем им вода нужна позарез. А море — это слишком большая роскошь. Мы не можем... Да ты сядь, сядь...

— Ну, положим, сел...

— Так-то, дорогой, лучше.

— Значит, для того, чтобы облагодетельствовать, осчастливить до конца людей, нужно, по-вашему, непременно уничтожить море?

— Такова логика развития. Пойми: численность населения на земле растет бурно. Демографы подсказывают, что в ближайшие годы население увеличится... как его... в два, в три раза. Соответственно растут потребности. И всем ныне ясно, что такое количество народа мы просто не прокормим дедовским способом хозяйствования. Нужны кардинальные меры. Даже в лучшие времена Аральское море не давало более шестисот тысяч центнеров рыбы. А что это для населения, которое имеет реальные шансы уже завтра увеличиться в два, а то и в три раза? Сам подумай! И дело даже не в том, как прокормить людей, но еще и в том, как их всех трудоустроить. Вот почему мы предлагаем самый эффективный и прогрессивный выход: выращивать на освобожденной от моря плодородной земле хлопок, рис и другие передовые, выгодные культуры!

— Кто вам сказал, что плодородная?! Это же бу-

дет хуже, чем сам солончак! Вы там будете добывать соль, понимаешь, соль, а не хлопок растить!..

— Ну, мы полагаем...

— Так вот, — перебил его ты, — ваш прогрессивный метод довел сейчас наших земляков до отчаяния. Ты бы видел, как недавно из твоего родного аула уезжало сразу двадцать пять семей... земля вопила!

— Знаю. Слышал. Это временные трудности. Наш народ прошел и не через такие испытания...

— Э, оставь! Не будем говорить о прошлых испытаниях. Не прикрывайся выносливостью народа. В одном я убежден: если бы вы с Жабасовым и в самом деле заботились о народе, о потомках, беспокоились о будущем, вы бы не стали замахиваться на его настоящее. Вы за природу взялись, а народ — это ведь часть природы. Так кого вы уничтожаете?..

Азим побледнел. Как будто все сговорились против него. Уже и тут, в забытой богом глуши, видите ли, заговорили о природе... Будто мало было ему отбивать там, у себя, наскоки того молодого бледнолицего упрямца, чью докторскую диссертацию удалось-таки завалить на большом ученом совете. После этого провала он, казалось, еще больше ожесточился, махнув вообще рукой на защиту, а продолжал лишь отстаивать свою научную точку зрения. В этой настойчивой, даже неравной борьбе напоминал он молодой гибкий тальник у реки, что и в бурю, оставаясь под напором бурлящего потока, гнется, по земле стелется, а не ломается. А тут еще вот недотепа этот, как попугай, слово в слово за ним повторяет...

— Море — святыня наша.

— Понимаю...

— Ты должен еще понимать, что нам предки не оставили ни золота, ни городов. Нам оставили только предания, заветы свои да море. А мы с тобой что оставим после себя нашим потомкам? Что?! Огромную котловину, над которой днем и ночью будет дуть суховей да соленые бури бесноваться?

Нет, ты, я вижу, ни черта не понимаешь.

Мы тоже кое-что понимаем. Понимаем, что значит в степи вода! В ней все находило пристанище: и люди, и звери, и мы с тобой! Ну, ладно, оставим после себя выжженную дотла солончаковую пустыню, где птицам крылья опаляет, а зверю ноги жжет... где даже верблюжья колючка от избытка соли расти не будет, —

дальше что? Что скажут потомки, глядя на эту мертвую соль?! И после этого ты хочешь, чтобы они благодарили нас да еще ставили памятники?! Ну не-ет, дорогой, не обольщайся. Да они скорее проклянут нас! И если проклятия впрямь доходят до мертвых, наши с тобой бренные останки вздрогнут и рассыплются там, под землей, в прах...

— Ох и мастер ты нагнетать страсти! Прямо-таки конец света изобразил... Какая мертвая земля? По нашим предположениям, соль не должна... Нет, все богатства Арала мы одним махом окупим неслыханным урожаем по хлопку за один-единственный год... или за два-три. На Аральской низменности, как она будет называться, наподобие Туранской, наши потомки добьются мировых рекордов по урожайности хлопка — вот так!

— Подожди! А воду откуда на такую площадь возьмете? И вообще, когда все это наступит? В какой, хотя бы примерно, срок вы намерены, как это... облагодетельствовать народ?

— Точно определить невозможно...

— Ну, а если не точно? Пять, восемь, ну пятнадцать, наконец, лет?

— Если сказать приблизительно, то эдак... лет через двадцать... Это реальней.

— Надо же, а? Все высчитали. И, говоришь, реально?

— Абсолютно! Могу хоть поклясться! — с нажимом, стараясь придать побольше убедительности своим словам, проговорил Азим. Однако глаза его были неспокойны и явно избегали твоего взгляда.

— Ах, бессмертный Ходжа Насреддин! Ах, мудрый Ходжа! — расхохотался ты.

— Прекрати! Сейчас же прекрати!..

— Помнишь случай с Ходжой Насреддином?

Азим подобрался весь, настороженно-неприязненный.

— Хан от скуки позвал к себе Ходжу Насреддина и спросил: «Мог бы ты обучить моего ишака грамоте?» Ходжа, не задумываясь, ответил: «Конечно, могу, мой повелитель...» — Знаешь эту историю?

— Ну, допустим, знаю. Так что из этого?

— А ничего. Говорят, хан грозно предупредил: «Если не сумеешь обучить моего ишака грамоте, велю отрубить тебе голову». Ходжа сложил руки на груди, поклонился: «Воля твоя, мой повелитель. Только дай мне сроку двадцать лет...» И хан согласился.

Друзья Ходжи, узнав об этом, всполошились и в

страхе прибежали к нему: «Ты что, Ходжеке, спятил? Где это видано, чтобы ишака грамоте учили? Безумец, ты же головы лишишься!» А Ходжа Насреддин тогда вешул и преспокойно ответил: «Не волнуйтесь, друзья. Через двадцать лет или хан умрет, или я умру, или ишак подохнет...» Каково, а?!. Как тут не рассмеяться было?

— Да, смешно, говорю... Ходжа Насреддин — хитрый, говорю. Ох и хитрец был, говорю...

И дядя, выпучив свои круглые и без ресниц, как у совы, глаза, зашелся было в беззвучном смехе, трясясь всем телом, сползая на стуле.

— Хватит! Перестань! — Азим, весь перекошенный, бледный, люто глянул на него. Тот поперхнулся смехом и затих. Азим все-таки не терял спасительного хладнокровия, искоса бросив на тебя взгляд, выдавил на холодном лице ехидную усмешку: — Понял я твой намек... Понял! Ну, бывай здоров...

Будто между вами ничего не произошло, он взял тебя под руку, проводил до двери и там, еще раз оценивающе глянув на тебя, простился. Холодный ветер прохватил тебя сразу. Ты направился в контору, вспомнив про всякие неотложные бумаги, которые следовало подписать. Из головы не выходил Азим. И в течение всего разговора с ним ты не раз ловил себя на том, что нет-нет глянешь на него и недоумеваешь: интересно, у кого мог ты подсмотреть эти чертовски знакомые барские замашки? Как бы то ни было, но совершенно очевидно, что где-то ты все это уже видел, тебе знакома была и запомнилась точно такая же чья-то горделивая спесь. И, будто находясь под недремлющим и строгим оком некоего незримого внутреннего стража, Азим с поразительной восприимчивостью точь-в-точь повторял все манеры и повадки того человека, кого ты сейчас никак не можешь вспомнить, повторял во всем, вплоть до того, как он на людях ходит, говорит, смеется, будто невзначай, ненароком скосив холодный взгляд, смотрит с нескрываемой иронией, с ухмылкой. И, пораженный, ты несколько раз задерживал на нем свой взгляд. И говорил он, как тот: растягивая слова, с ленцой, роняя их неохотно. Да и вообще стал держать себя со всеми, в том числе и с вчерашними друзьями, сдержанно, с отстраняющим холодком, везде и всюду проводя невидимую, но ощущаемую границу между собой и всеми остальными. Даже дома, в кругу родных, подчинял и

себя и других воле того же недремлющего внутреннего стража. А незримый страж будто бы следил за ним всюду, приструнивал, наставлял: сейчас вскинь бровь, глянь свысока, а вот теперь нахмурься, а сейчас можно и усмехнуться снисходительно, краешком губ, не теряя хладнокровия.

«Где-то я видел точно такого человека? Но где?» — подумал ты и резко остановился. Оглянулся вокруг. Вот те раз... Оказывается, давно прошел мимо конторы и теперь стоял в поле, рядом с верблюдом, укрытым попоной. Увидев долговязого человека, растерянно озиравшегося по сторонам, верблюд обернулся к нему и в недоумении перестал жевать только что сорванный пучок промерзшей сухой травы...

Ты пошел по своим следам назад. Во всем теле была разбитость. Вошел в контору. Тяжело опустился в кресло и... вдруг вспомнил... да, вспомнил того, кому так ловко и безукоризненно подражал твой приятель. Вспомнил и, стукнув кулаком по столу, рассмеялся:

— Ах, дьявол! Надо же!

Все пять лет учебы в институте Азим жил у своего дяди, начальника крупного строительного треста. Именитый был человек! Каких только правительственных наград не имел при жизни! Каких только почетных званий у него не было! Многие экстравагантные здания, ныне украшающие столицу, воздвигнуты им. Будучи студентом, ты как-то раза два заходил с Азимом в этот дом. Вот тогда-то ты и увидел знаменитого строителя. Помнится, когда впервые вслед за Азимом ты вошел в комнату, дядя его читал в кресле газету. Он отнюдь не спешил замечать твое присутствие. Прошло какое-то время, прежде чем медленно, поверх газеты он скосил ленивый взгляд на долговязого незнакомого парня. И сразу стало вдруг не по себе, когда взгляд прославленного строителя, не соизволив хоть бегло скользнуть для начала по лицу, почему-то остановился на торчащих из куцых штанов голенастых твоих ногах... Помнится, говорил он врастяжку, постанывая, будто с усилием выдавливая из себя слова, и смеялся скупо, бесстрастно, лишь по крайней необходимости, роняя отрывистые «кха-ха-ха», не смеясь даже, а сыто отпыхиваясь... И в этом знающем себе цену самоуверенном человеке ты ощутил тогда незыблемую тяжесть холодно-иронической, расчетливой мысли, отчего весь он с головы до пят был словно налит свин-

цом. «Бо-ольшой же ты артист, братец Азим! Ох, большой! Только мало кто об этом догадывается...»—усмехнулся ты и тут же снова подумал о его неожиданном приезде, озадачившем многих в ауле. Ну, допустим, опасения Сары-Шаи — сущий бред, и тогда с какой стати понадобилось ему ни с того ни сего примчаться в аул, в канун Нового года, в самую стужу? Тут, конечно, есть какая-то тайна. И до этого Азим приезжал в родные места, но это бывало всегда весной или летом, когда вся степь Приаралья благоухала, и к тому же он всегда заблаговременно предупреждал о своем приезде район, а район со своей стороны не замедлял передать кому следует весть о дне и часе прибытия знаменитого земляка. И в ауле в день приезда царило необычайное оживление. И стар и млад с утра не находили себе места. Захваченная радостью взрослых, беспокойством ожидания, подстегивая себя прутиками, резвой шумной ватагой носилась по аулу ребятня. Иные часами не слезали с крыш домов — едва мелькнет что-то вдали или взвихрится бродячий столб пыли, как срывались они и, не разобравшись толком, мчались к совиноглазому дяде. Если гость прибывал особым рейсом по воздуху, то за ним по суше по-над берегом следовал эскорт легковых машин.

Однажды произошло и вовсе невероятное: к великой радости аульчан, в их залив вошел красивый белый пароход и все три дня, пока Азим гостил у земляков, простоял на «рейде» аула на якоре. Старики, гордые и восхищенные, качали головами: «Пай-пай! Да не угаснут его слава и могущество!..»

Так что же теперь стало с ним? Ты в недоумении встал, зашагал по нетопленому кабинету — и вдруг замер на середине, под лампочкой на потолке, будто споткнулся. Нет-нет... неспроста все это, что-то кроется за этим. Ты вспомнил, что прежде его неизменно расхваливали на все лады, и только с недавних пор в адрес преобразователей Арала в печати появилась некая, хоть и смутная, критика, и она, к удивлению аульчан, прошлась и по Азиму. Еще стали до вас доходить слухи, что в институте, возглавляемом Азимом, не все спокойно. В этом ты сам убедился, случайно оказавшись в тот раз на дискуссии. Тот самый молодой худощавый мужчина, не переставая учтиво называть руководителя своего «Аз-ага», выдал ему, что называется, по первое число. Другой, скорее всего, такого наскока не

потерпел, схлестнулся бы насмерть, но Азим... Вот бестия! Председательствуя, имея, казалось бы, все возможности укротить соперника, он тем не менее держался с таким достоинством и невозмутимостью, что даже у тебя вызвал невольное восхищение.

* * *

Как-то, будучи в Кзыл-Орде на каком-то совещании, ты попросился на прием к руководителю области. Сюда он прибыл сравнительно недавно из Алма-Аты, где, говорят, занимал высокий пост и обратил на себя внимание деловитостью.

Ты, кажется, удивиться как следует не успел, как уже входил к нему. Руководитель области, заметив неуверенно переступавшего порог рослого детину, неторопливо встал, вышел из-за стола и с едва заметной улыбкой в пытливо прищуренных карих глазах пошел навстречу. Крепко пожал руку. Предложил сесть. А усаживаясь рядом, искоса взглянул на тебя и, видимо догадавшись, что посетитель не из разговорчивых, сам стал расспрашивать о том о сем: где и как остановился, как прошло совещание и не было ли каких накладок, в чем он видит практический смысл этого совещания... Потом, попеременно поглаживая не поддающиеся расческе, густые и жесткие на висках волосы, завел разговор о делах, о жизни рыбаков — но только завел: спросил и выжидающе, будто подбадривая глазами, замолчал. Как-то само собою вышло, что ты разговорился.

Вначале, соблюдая сдержанность и приличие перед уважаемым человеком, говорил осторожно, подбирая слова, потом, как это с тобой бывает, увлекся, поведал обо всем, — о том, как с обмелением моря жизнь на прибрежье становится с каждым годом все труднее и сложнее, что худо стало особенно в последние два года, и не то что досадно, а просто тягостно, порой невыносимо бывает видеть, как здоровые, сильные мужчины вынуждены слоняться без дела — так оскудело работой Приаралье. Если и дальше так пойдет, то годы, а то и дни рыболовецких хозяйств на Арале сочтены. Рассказывая обо всем, что накипело на душе, ты не сразу заметил, как раскраснелся, возбужденно привстал с места, чугунной ладонью своей пристукнул по столу.

— Извините, пожалуйста.

— Ничего... продолжайте.

— Продолжать-то, конечно, можно... Но мы ведь из глубинки. Вероятно, многого не понимаем...

— Ничего, рассказывайте.

— Что ж... спасибо. Ну, вот, например... в Средней Азии и в южных областях Казахстана издавна трудятся дехкане. Сотни лет возделывают землю, ведь и до нас пользовались водой двух великих рек. Не так ли?

— Конечно, так. Признаться, Арал — наша общая боль...

— Ну, если так... вы же знаете, земледельческая культура здесь высока была с незапамятных времен. Дехкане всегда знали цену земле и воде, берегли то и другое... Так?

— Допустим. Хотя для того, чтобы взять, нужна сила. А ее у дехкан было немного.

— Так-то оно так. Но ведь брали. И брали немало. И все же тогда воды хватало. А теперь куда она вдруг подевалась? Вот уже сколько лет морю ни капли не перепадает. И это нас волнует.

Руководитель области слушал внимательно, задумчиво кивал головой и время от времени поддакивал: «Верно, верно», однако ты не мог не заметить, что одновременно он обдумывал, взвешивал про себя что-то. Едва ты закончил, как он вместо ответа потянулся к телефону, позвонил одному, потом другому. Первому сказал: «Сейчас к тебе зайдет один товарищ. Организуй командировку. Да, да... Объясню». Второму тоже кратко приказал: «Приготовь машину для дальнего пути. Куда — скажут!» После чего он повернулся к тебе и, заметив недоумение в твоих глазах, мягко усмехнулся.

— Слухами земля полнится. Вот и до нас дошло, будто вы совсем про отдых забыли. Устали, должно быть?

«К чему он это? Так принято у начальства, когда намекают на уход с работы». Ну что ж... Ты и сам об этом уже не однажды всерьез подумывал, особенно в последнее время, когда Ягнячье Брюшко после каждого срыва плана распекал тебя угрозами.

Да, устал.

Тогда все в порядке. Думаю, договоримся. Есть у меня к вам одно предложение.

— Согласен на все. Куда пошлете — пойду. Хоть чернорабочим...

— Не-ет... Не о том речь. От меня зайдите прямо в бухгалтерию. Вам выдадут командировочные. Потом идите в гараж. Там вас будет ждать машина.

— Не понимаю. Зачем?..

— Немного поразвейтесь. Поезжайте вверх по Сырдарье. Посмотрите на людей, на поля. Только не спешите. Осмотрите всю долину между Сырдарьей и Амударьей. Аулы посетите, кишлаки. Потом, по возвращении, если захотите услышать что-то еще в ответ на свой вопрос — зайдите ко мне, а если нет... что ж, поезжайте домой.

Вот так неожиданно выпала тебе дорога. Незнакомый шофер, едва ты уселся рядом с ним, лихо взял с места, понесся. Он не спрашивал куда ехать, не посчитал даже нужным объяснить, куда везет. Ты только и успевал замечать, что за ветровым стеклом мелькают уже городские окраины. Вскоре юркая машина выехала на тракт и понеслась резво на восток. Проехав уже изрядно, вы оба не промолвили ни слова. Но все время молчать в дороге становилось тягостно, к тому же непринужденная добрая беседа сокращает путь, и ты, приглашая шофера к разговору, что-то спросил раз, другой. Но тот отделывался односложными ответами. А потом, как бы вовсе желая отгородиться от тебя и от твоих назойливых вопросов, водрузил на нос огромные очки, прикрыв темными стеклами почти половину своего светлого узкого лица. И, кажется, совсем перестал замечать своего спутника, громоздившегося рядом. Сидел легко и прямо, устремив вперед взгляд. Ты раза два покосился на него, сбоку оглядел с ног до головы. Он был еще молод, опрятен и скорее походил больше на студента, нежели на водителя. Руки с редкими рыжеватыми щетинками с небрежной уверенностью покоились на баранке. Держался с достоинством, независимо и спокойно. Скуп на слова. И ты вспомнил водителя вашего старого колхозного грузовичка и невольно усмехнулся. Немудрено, что все машины ты привык уже воспринимать как нечто раздрызганное, что никакими силами не стронешь с места, а если уж стронешь, то никак потом не остановишь, и мчится она, поднимая всесветную пыль, несется по степным дорогам, дребезжа и громыхая так, что, верно, и чертям тошно... Поэтому и все шоферы для тебя не иначе как расхристанные удальцы, которые хлещут водку, курят самосад, а при случае не гнушаются подрабатывать и божьим промыслом, запросто

мешая священные слова корана с замысловатым матом.

А этот парень... Ты еще раз незаметно скосил на него взгляд. На нем по-спортивному ладно сидит белая тенниска. Весь отглажен. Чист. И побрился, должно быть, перед самой дорогой, одеколоном тянет по кабине. На руке часы. На носу очки. Щеголеватый и, по всему видать, вышколенный парень. На остановках не лез под сиденье, где у твоего шофера колхоза была припрятана обычно всякая всячина — от связок сушеной воблы до захватанного полотенца, употребляемого как чалма, а каждый раз доставал из «бардачка» книгу и, присаживаясь у обочины, погружался в чтение. Тогда разговор и вовсе становился неуместным. Удивляясь и незлобиво подтрунивая про себя над серьезным не по возрасту, немногословным парнем, ты окрестил его мысленно «Кулмесханом» — «Хан Молчун».

— Зовут-то как?

— Фридрих.

— Что-о? Из немцев, что ли?

— Само собой...

— Хм-м... А шпаришь по-казахски...

— Здешние почти все по-казахски говорят.

— Вон как! Давно, выходит, здесь живете?

— Давно... С войны.

— Вон оно что...

— Родители здесь Голодную Степь осваивали. Я тут родился.

— Да, забросило вас... И много в этих краях твоих сородичей?

— Много. Считай, в каждом селе, в каждом совхозе.

Да, так вот судьба распоряжается людьми. И ты тоже ни сном ни духом не ведал, что окажешься ныне в этих краях. Все решилось на сей раз по воле энергичного руководителя. Сказал: «Поезжай», и ты согласился. Нет, поначалу ты недоумевал, не смекнув сразу, что к чему, но он, с подобревшей улыбкой, будто вы давно уже знакомы, взглянул на тебя, протянул руку: «Счастливого пути!» Ты был сбит с толку, неохотно повернулся, пошел, но все же у самой двери обернулся и даже открыл было рот, намереваясь отказаться от поездки, как он, вновь опережая тебя, решительно сказал: «Поезжайте, поезжайте! Уверен, не пожалеете».

Но и теперь, находясь уже давно в пути, ты не испытывал особой радости от этой поездки. Да и к чему все это? До путешествий ли сейчас, когда там, в колхозе, дел невпроворот? Тем временем проехали уже немало. Вокруг тянулись незнакомые места. Ты смотрел на них во все глаза и с грустью вдруг подумал, что, дожив до заметной уже седины в волосах, ты ничего, оказывается, кроме родного Арала, еще не видел. Правда, пять быстрых, неуследимых по молодости лет проучился в Алма-Ате. Несколько раз довелось побывать в Кзыл-Орде. Но знал ли даже свою область, кроме Приаралья? Даже рис ты видел только очищенным, тот, что продается в магазине. А как растет он, каким бывает на корню — о том ведать не ведал. С памятных послевоенных лет слышал только, что в том огромном краю потомственных дехкан междуречья что ни год осуществляются дерзкие замыслы — то создают плещущие синью рукотворные моря, то прокладывают каналы, а то и сооружают одну за другой плотины, за пядью пядь осваивают пустыню. И еще слышал, как создаются там, в безлюдной некогда Голодной Степи и в безжизненных песках Мырзачуля, новые области, вырастают поселки, целые города. И теперь понаслышке знал: в той самой пустыне, которая испокон веков томилась неизбывной жаждой, создана одна из самых мощных ирригационных систем на земле, и во всю свою необъятную ширь простираются заботливо ухоженные рисовые и хлопковые поля. А вспомни: разве в то памятное время люди, просыпаясь рано поутру, не настораживались каждый раз, готовясь узнать про новые, один дерзновеннее другого подвиги человеческого труда, который только и укрепляет человека на земле. Правда, вы тогда были совсем еще малыми детьми, и все это доходило тогда до вас, как эхо, как отголосок легендарных уже при жизни деяний...

В дороге человек не только созерцает, познает мир, но и вспоминает. И тебе вспомнилось, как в те годы рыбаки, ездившие по набору строить Кзыл-Ординскую, потом Казалинскую плотины, по возвращении сочувственно рассказывали, что там, на Сырдарье, люди живут куда беднее нашего, еще даже из землянух не все выбрались. И вот прошло с тех пор каких-нибудь два-три десятка лет. Но смотри, как изменилась, как выросла здесь жизнь. По дороге, сколько бы вы ни ехали, ты видел одни богатые усадьбы рисоводов, кото-

рые в основном расположились по обе стороны Сырдарьи, прижимаясь как можно ближе к реке. Чем дальше вы отъезжали, тем чаще стали попадаться эти усадьбы, одна за другой мелькая из-за тенистых фруктовых садов белыми уютными домами. А за ними начинались и уходили вдаль иссиня-лиловые рисовые поля, курившиеся синей дымкой-маревом испарений. Ты ехал и день и другой, вверх по реке, все время по шоссе, и вдоль приречной земли от горизонта до горизонта простирались сплошные рисовые плантации. Вот сейчас впервые за свою жизнь ты видел живой, как он есть, рис и поначалу даже не знал, верить или не верить своим глазам. А особенно когда задыхавшийся от собственной чрезмерной густоты зеленый массив, уже почти созревший для косовицы, временами добегал с двух сторон до шоссе и стоял нерушимой стеной, покачиваясь верхушками под жарким ветерком юга, шурша, дремотно шелестя переплетенными стеблями. Человеку, родившемуся у моря и кормившемуся всю жизнь морем и кроме моря ничего не видевшему, этот зеленый массив все чудился не тронутым никем прибрежным дремучим камышом. И ты, донельзя изумленный, все озирался по сторонам и как-то даже, не удержавшись, раза два толкнул в бок «Хана Молчуна»:

— Слушай... да неужели это все рис?

И «Хан Молчун» только усмехнулся. Видать, он насмотрелся на все это и теперь лишь молча и сосредоточенно глядел на дорогу перед собой.

— Нет, не понимаю! Поверь мне, айналайын Фридрих, кто прежде его не видел, тот примет это за камыш. Знаешь, ведь когда-то вокруг Арала и рос такой камыш... непроломный, заплутать можно!

Шофер не спросил, лишь ухмылялся, удивляясь, должно быть, про себя тому, как это взрослый человек, такой детина с виду, может так по-детски восхищаться обыкновенным рисом... По взаимному молчаливому, как-то само собой сложившемуся в пути согласию, в обеденный час вы свернули к поселку рисоводов, в тень его тутовых и фруктовых деревьев. Как и повсюду, где вы бывали в эти дни, чувствовалось, что до горячей уборочной страды здесь остаются считанные часы. Подготовительная суета захватила всех. Люди здоровались и разговаривали на ходу. Ели тоже на ходу, в спешке. И спали, видно, урывками. В этой суматохе никому до вас не было дела. Вы тоже старались нико-

му не мешать. Подкрепились в придорожной чайхане из двух спаренных юрт и, переждав в тени парка полуденную жару, вновь отправились в дорогу. Ехали все выше и выше по Сырдарье, приближаясь к ее истоку, все через те же необозримые лиловые поля, на которых тяжело колыхался рис. В воздухе уже и сейчас ощутимо витал хлебный дух страды, а над сплошным непролазным рисовым полем, во всем беспредельном пространстве между землею и небом, струился, дрожал, нежась в жарких благодатных лучах южного солнца, прозрачный голубой дымок. И это зыбкое полуденное марево, эта всеохватная, всепронизывающая голубизна окрасила собою все живое и неживое вокруг, во все вдохнула движение и жизнь, и отблеск бездонной этой синевы плеснул, казалось, в самые зрачки твоих глаз. И потому, должно быть, все, что видели сейчас твои глаза, все, что охватывалось и обозревалось твоим поневоле восторженным взглядом, чудилось не иначе как голубым — и небо над тобой, и земля вокруг, и редкие кусты по обочине дороги, и даже асфальт, такой обычно серый и пыльный, стлался вдали, отливая чем-то воздушно-синеватым, будто какая-то невидимая рука только что подсинила его небесной синькой. И в этой голубой выси, над лилово-голубыми рисовыми полями, в истомленных струящихся волнах марева даже серый жаворонок, который уж день всю дорогу неотступно сопровождавший вас, — и тот, казалось, превратился сейчас в крохотную ликующую голубую точку. Видно, некая радость, сродни человеческой, раздувала горлышко и этой крохотной птахи, и она, сердечная, с раннего утра без умолку заливается, трепещет, посылая с неба в безмятежный голубой мир свою переливчатую трель...

Вдруг ты встрепенулся, пригляделся.

— Слушай, а что это?

— Где?

— Во-он смотри! Да разве здесь есть море?

И когда машина стремительно вынеслась на вершину рыжего увала, который давно уже маячил впереди, твоему изумленному взору открылось голубое, в синей ряби водное пространство, простиравшееся до самого горизонта.

— Чардара, — промолвил шофер.

— Ка-ак? Это — Чардара?

— Она самая.

— Вот те раз! А я-то думал...

И опять ты вспомнил то памятное послевоенное время, когда ваши отцы, одержимые идеями, одна другой заманчивее, многим теперь, может, непонятными, всколыхнули всю страну великими стройками. Тогда сам воздух, казалось, был пропитан дерзкими лозунгами, вроде как: «Создадим рукотворное море!», «Прорoем каналы!», «Воздвигнем плотины!». И этот всенародный порыв был подхвачен и рыбаками далекого приморского захолустья. И ты, и твои сверстники помните, как ваши отцы, не отогрев еще от окопной сырости костей у родных очагов, куда-то вновь торопливо собирались с тощими мешочками за спиной, в истоптанных кирзовых сапогах, в старых грязных телогрейках, побывавших за минувшую войну, быть может, и не на одних плечах трудармейцев. Потом, многие месяцы спустя, они возвращались, уже поодиночке, появляясь всегда неожиданно. И когда на краю аула показывался бредущий путник, весь обросший, исхудавший, в истрепанной одежде, его не узнавала не только вездесущая детвора, всегда первой замечавшая все, но, бывало, и родная жена, проглядевшая, проплакавшая все глаза в ожидании кормильца. И лишь протерев кончиком платка глаза и вглядевшись попристальнее, потрясенно восклицала иная баба: «О аллах, да это ж хозяин нашего дома!..»

Голодные дети тех лет помнят, как их матери суетились вокруг возвратившихся отцов, обхаживая их, как малых детей, пока те не поправлялись, не вставали на ноги, как им в рот совали лучший кусок, отрывая его нередко от себя и от детей. Не-ет, видно, детскому сознанию не всегда доступны заботы взрослых. Вот ты стоишь сейчас на берегу одного из этих рукотворных морей, созданных в те годы трудом ваших отцов. Огромное море под огромным миром поднебесья тихо плещется у твоих ног. Немного в стороне, вон за тем заливом, утопает в зелени город, построенный опять-таки неуемным поколением ваших отцов. Если ты раньше чувствовал все это нутром, то теперь стоишь и воочию видишь все то, чем полно было твое голодное и оборванное детство, во имя чего неистово трудились и деды...

Кричат, вьются над морем чайки. В необозримом голубом просторе медленно плывет пароход, направляясь к противоположному, еле отсюда угадываемо-

му берегу. Всюду снуют лодки отдыхающих. А вон те, должно быть, рыбаки. Осмотрев уже расставленные на ночь сети, мчатся на моторных лодках к берегу. Загорелые, крепкие мужчины, напомнившие вдруг аральских рыбаков недавних счастливых времен, стали сдавать улов — желтобрюхих сазанов. Охваченный застарелым рыбацким азартом, ты чуть не бегом направился к крайней лодке. Поддел со дна под жабры самого крупного сазана, поднял его над головой и залюбовался его упругой силой, золотым отсветом сытого брюха на солнце.

— Ах, красавец! Вот где ты, аральский сазан, теперь обитаешь! А мы-то ищем тебя, мотаемся... Ведь именно такие некогда водились на Арале.

— Ну и человек же вы, Жадигер-ага! Все хорошее на свете измеряете только былым аральским...

Лишь теперь ты заметил шофера, который тихо подошел сзади. Вежливая, мягкая усмешка играла в его голубых, глядящих на все бестрепетно глазах.

— Да как же иначе, браток... Если б ты только знал, каким был некогда наш Арал! Чудом был, отцом родным...

— По-вашему, что ж, вот это, — шофер кивком показал на Чардару, — плохое все? Чужое?

«Вот это?» — эхом отозвалось в твоей душе. И, не отвечая, задумчиво смотрел, прищурив глаза, на Чарларинское море. Оно было необъятно велико, почти как Арал в ту лучшую свою пору, и таким же почти влажным был бодрый ветерок, наносимый оттуда, с синей глади, от которой ширилась грудь, бодрее становилась душа, и чайки выкликали полузабытые имена твоих предков, рыбаков... О нет, не чужое все это... Не чужое... Именно здесь, где стоишь ты сейчас, где ныне мирно плещется рукотворное море, бились они, дети разных наций, съехавшись сюда со всех концов, бились так же, как и в минувшую войну, выполняя свято и упорно свое назначение, свой долг на земле. В самом деле, шутка ли, когда пятую часть всего риса в стране выращивают вот эти присырдарьинские дехкане?! Постой-ка, разве не это все имел в виду ваш чудодей академик Азим, когда будто перстом грозился: «Мы заставим природу служить нам» или еще: «Природа — не музейный экспонат, и в эпоху всесильной НТР мы вправе подчинить ее экономическим потребностям и повседневным задачам прогресса»? Что ж, выходит,



правда на его стороне? По-стой! Ну, постой... По его правде — старый Арал должен быть обречен, а здесь, в безжизненной некогда пустыне, ему на смену будут жить и процветать новые моря? А братья узбеки, говорят, даже и превзошли казахов, сотворив по реке Сырдарье одно за другим Ташкентское и Кайрак-Кумское водохранилища... О, тебе прекрасно известно: у сторонников Азима всегда готов довод в оправдание своей теории. Ты сам видел, с какой гордостью, заранее торжествуя свою победу, объявил на том диспуте по проблемам Арала старый ученый как еще один убийственный довод тот очевидный всем факт, что дехкане Узбекистана за один лишь год выращивают столько хлопка, сколько их предки не собирали и за полвека.

Да, похоже, легче тебе от этой поездки не стало. Возвращался ты в глубоком душевном раздвоении. Все, что ты видел своими глазами в эти дни, безусловно, давало ответ на мучившие тебя до сих пор вопросы. Вода, которую отбирали у Арала, вызвала расцвет безводного, полупустынного прежде края. О да, она пошла на благо людям. Но, когда ты видел воочию счастье и радость людей, живущих в тех краях, страдания твоих земляков еще острей предстали твоему бессонному внутреннему оку. И вечная твоя печаль, отравляющая любые радости, похоже, стала еще ядовитее. Всю дорогу на обратном пути ты молчал. Был хмур и подавлен. На станции Яны-Курган, остановив машину, сдержанно попрощался со своим молчаливым спутником:

— Ну, бывай, друг...

— Как? Разве в Кзыл-Орду не заедете?

— Нет.

— А к начальству?

— Нет, браток. Был у нас свой уговор. Ну, прощай! Всего доброго.

Шофер поехал дальше. Ты сел на поезд. В купе заходить не стал, там было накурено, стоял резкий сивушный дух, и какие-то заметно захмелевшие развязные молодые парни в джинсах, неряшливо обросшие бородами, горланили на весь вагон. Вместо того чтобы потесниться, дать место новому пассажиру, бесцеремонно подсунули почти ко рту стакан с водкой: «Отец, на, выпей с нами. Ну, давай, давай!» — ты, отодвинув щедрый их дар, удалился от греха. Всю дорогу так и простоял в коридоре, глядя в окно. Был молчалив и мра-

чен. Это пьяно бесшабашное безмыслие раздражало тебя не меньше твоей застарелой болячки. Разве сытость дает человеку права жить бездумно? Что вообще человек без печали? Вроде бы повод утешиться дал тебе обновленный край двуречья, край, некогда воспетый в сказках. Вот уж поистине край чудес, сотворенный руками великого труженика пахаря. А как щедро воздала земля, политая потом.

— Закрывай окно! Чего стоишь? — раздраженный голос проводницы раздался над самым ухом.

Ураганный порыв ветра, поднявший так неожиданно за окном белую пыльную бурю, ворвался вдруг в вагон. Затрепыхалась вот-вот готовая сорваться с натянутого шнурка шелковая занавеска на окне. Едкая мучнистая пыль, влетевшая вместе с ветром, лезла в рот, в глаза, и ты бросился к окну, с трудом справляясь с ним. Лишь сейчас увидел, что за окном творится что-то невероятное. Выл, неистовствовал налетевший внезапно с моря шквальный неукротимый ветер. Он взвивал вокруг себя тучи пыли, поднимая их до самого неба сплошной непроглядной завесой. В последнее время это было нередкое явление: достаточно проснуться ветерку, как тут же столбом вставала и клубилась мучнистая пыль, насквозь пропитавшая всю землю приморской степи, в мгновение ока превращаясь в пыльную бурю. И сейчас все поглотила белая мгла. Вокруг не было видно ни зги, только вперед мчался поезд, развивая скорость, грохоча по стальным рельсам, врезаясь в эту непроницаемую белую-белую тьму солончаковой пурги.

Пассажиры высыпали в коридор и, толкаясь, прильнули к окнам.

— Ужасно! Неужели и тут люди живут?

— Да, барышня, разумеется, живут. Это знаменитое некогда приаральское побережье. Совсем недалеко отсюда было море.

— Фф-и! Хоть золотом меня осыпь, ни за что бы здесь не жила.

Поезд остановился не доезжая до Аральска. По крыше вагона дробно застучали редкие капли. Потом дождь усилился. Люди только теперь заметили, что поезд стоит в пустынной степи, напротив одинокого кирпичного дома, с подветренной стороны которого, прижимаясь к стене, съежилась промокшая коза. Поезд стоял долго, поджидая, видимо, встречный. Кое-где стали

открываться наглухо закрытые двери вагонов. Вот выглянула молодая проводница, тут же вслед за ней, толкаясь в узком проходе, подходили пассажиры, проводница, высунув голову, повернулась вначале к голове состава, затем взглянула на одинокий дом, на небо, обложенное низкими тучами, разорванными кое-где ветром. По лицу ей хлестал дождь, но она, балуясь, ртом поймала несколько дождинок, почмокала, наморщилась, подставила ладонь под струи, набрав пригоршню воды, поднесла ее ко рту, и тут же, словно отраву какую, выплюнула:

— Вот это да. Соленый дождь!

— Не может быть.

— Не веришь, а ну, сам выйди и попробуй!

Вызвался какой-то бородатый малый, с веселым задором, хохоча, схватил оказавшуюся под рукой посудину, выпрыгнул из вагона и, смеясь и дурачась под дождем, набрал воды. До нитки промокший, но счастливый, прошмыгнул обратно в вагон и с ходу попробовал, приложился:

— Ба, впрямь соленый! Нате, попробуйте!

Нашлись несколько любопытных. Набрали в рот той воды, но глотнуть ее не смогли. Морщась, с отвращением выплюнули тут же обратно, вытирая губы.

— Тьфу, гадость!

Ты не подходил к ним, стоял в стороне, молчал. Каких только напастей не водится теперь в природе. Всего можно было ждать. Но пока что тебе не доводилось ни видеть, ни слышать о соленом дожде. Лишь тогда на дискуссии, полемизируя со сторонниками Азима, молодой ученый говорил об этих самых мощных солепылевых бурях, насыщенных ядохимикатами, пагубными как для растений, так и для животных. С тех пор эти слова никак не выходят у тебя из головы. Только во время поездки по Сырдарье, восхищаясь умиротворяющей благодатью цветущего края, казалось, ты отвлекся от своих неусыпных горестей и тревог. И вот, едва ступив на землю бедствующего Арала, был вышиблен из сладкого забытья. Вновь предстал глазам твоим удручающий вид иссолоневшей земли, усыхающего вон там моря, и вот эта последняя капля — соленый дождь—вмиг развеяла твою непрочную радость. Опять помимо воли сомнение закралось: а не было ль сном все вчерашнее, что раем земным тебе показалось, всего лишь отрадным сном измученной душе в утеше-

ние? И где гарантия, что, если в самом деле то было явью, прекрасной этой яви не грозит участь Приаралья? Пойдет, наверняка пойдет эта зараза гулять все дальше, пожирая, испепеляя пядь за пядью все новые земли. Неужто окажется прав тот молодой ученый? Со временем, когда не станет совсем Арала и нещадный суховей, не стихая ни днем ни ночью, вызовет такую же страшную соленую пургу, не обрушится ли она на цветущие нивы, на хлопковые поля меж двух древних рек, опустошая их так же свирепо? Ведь молодой тот ученый, ссылаясь тогда на данные космонавтов, говорил же и об этих пылевых выносах, и о сопровождающих сильных бурях. Уже и сейчас, сказал он, до семидесяти пяти миллионов тонн пыли поднимается каждый год с северо-востока Арала, разносится вокруг чудовищный мор, наступает разгул белой гибельной стихии.

Да, богата природа, щедра, но ведь богатство и щедрость ее не беспредельны. Как говорит Сары-Шая, даже и всемогущий бог, видно, лишнего не сотворил, потому и не столько дает от себя, сколько перераспределяет блага между людьми на земле. Теперь-то ты воочию убедился, что процветание бывших степей и пустынь междуречья оплачено, выходит, непомерной и непоправимой жертвой древнего Арала. Видно, так оно и есть. Но неужели с этим придется смириться? Неужели такие жертвы неизбежны?

С тех пор прошло уже немало времени. И ты вновь, как и прежде, остался со своими заботами, горестями, неусыпными тревогами. И каждый раз при виде тяжко, в муках истощения умирающего отца — кормильца Арала убеждался, что понять все то, что ты увидел тогда, сердцем куда труднее, чем разумом...

* * *

Вот и встретился ты с другом детства. Ты совсем не предполагал, что увидишь его на родине в эту печальную пору, когда на дворе уже зима, когда выпал ее снег-первенец и начало замерзать все еще непокорное море. Встретились, вроде как поговорили, поспорили. А сумели ли переубедить друг друга? Кто из вас прав? И в чем она, правда? В чем?

* * *

В этот вечер ты допоздна оставался в своем кабинете, не шел домой. О том, что прошлую ночь Баки-

зат с матерью провели в доме совиноглазого заики, ты знал уже. Весть эту, видимо, кое-как пересилив обиду на тебя, выложил прибежавший, еще более переполошенный Сары-Шая. Как ни больно и ни неприятно было слышать это, но ты выдержал, не отозвался на смутно ожидаемую тобой весть. Сары-Шая с угрюмым укором поглядел на тебя, после непродолжительной паузы опять повернул разговор на свое:

— А эти паскуды, знаешь... затаились. Ни сегодня, ни завтра, как мы предполагали, общего собрания колхозников не проведут... Хи-хи. Видно, не так-то просто спихнуть заслуженного баскарму. И лезть в открытую в скандальное дело на виду у всех явно побаиваются. А может... кто знает, выжидают чего. Или из района кого ждут. — Сары-Шая испытующе посмотрел на председателя, мрачно громоздившегося в глубине нетопленного промозглого кабинета. В его кошачьих немигающих желтых глазах застыл все тот же нетерпеливый вопрос: «Ну что на это скажешь?» Поняв, однако, что от тебя ничего путного сейчас не добиться, Сары-Шая сам себе со вздохом ответил:

— Что ж, поживем — увидим.

Ты ждал, что теперь-то он сгинет с глаз, уберется отсюда. И действительно, Сары-Шая встал, вроде даже собрался уходить, но что-то засуетился малость и снова сел, нерешительно помял свою шапку-борик: «Знаешь... только что я, хи-хи-и, это-го... встретил».

— Ко-го?

— Азима. Поздоровался... Как я понял, он к тебе домой направился. Хочет засвидетельствовать свое почтение моей белоликой женеше, хи-хи...

Ты будто очнулся. Отложив все, пошел домой, лихорадочно пытаясь что-то обдумать по дороге. Рванул дверь. Решительно переступил порог, но тут же остановился. Ничего не понимая, глядел попеременно то на жену, то на гостя, уединившихся в сумеречной комнате. Они сидели за журнальным столиком и тихо о чем-то говорили... Бакизат, казалось, не заметила внезапного появления мужа. Продолжала сидеть не меняя позы. Лишь Азим не спеша, медленно повернул голову к вошедшему.

— А-а-а... Жадиге-ер, — увидев хозяина дома, без тени смущения, как ни в чем не бывало, лениво, врастяжку проговорил он, удивив тебя своим невозмутимым хладнокровием. — Ну, проходи, дорогой, проходи.

Матери вроде не было. И детей что-то не видно. Отчего-то тебе становилось неловко, ты перевел взгляд с Азима на жену и только тут заметил аккуратно уложенный тяжелый узел волос на ее затылке. И сам почувствовал, как переменился в лице. Все это время не спускавший с тебя глаз Азим понимающе сощурился:

— Ну, что ты застрял в дверях? Проходи!

Ты кое-как взял себя в руки, с усилием изобразил на лице неуместную сейчас усмешку:

— Зачем мне-то проходить? В этом доме не я, а ты ведь божий гость.

Азим то ли не расслышал, то ли, как всегда при упоминании бога, счел нужным пропустить твою насмешку мимо ушей. Приподнял бровь, чуть помедлив, с той же невозмутимостью сказал:

— Нам с Бакизат надо было поговорить...

— Выходит.... я вам помешал?

— Ничуть. Мы уже успели обсудить. Не так ли, Батиш?!

— Значит... без меня все решили?

— Угадал. Позже, вероятно, и ты понадобишься... Эй, Жадигер!.. Да ты куда?!

Выбежал из дома, но, сделав лишь шаг, остановился. «Не глупо ли, что ухожу вот так... Глупо, ой как глупо! Почему это я удираю из собственного дома?» Пошарил взглядом вокруг, словно ожидая увидеть в морозной пыльной поземке улицы своего вездесущего родича — черт бы его побрал!.. Идти было некуда... Пришел снова в контору. Не глядя на секретаршу, быстро прошел в свой кабинет. Плотно закрыл за собой дверь, опустился в кресло. Сидел долго. Неподвижно. Кончался рабочий день. Все уже вроде ушли по домам. И вдруг дверь скрипнула, чуть приоткрылась, и кто-то робкий, нерешительный застыл на пороге. Чтобы не смутить невзначай стеснительную девушку, уткнулся в бумаги, уже мало что различая в них. Девушка, неслышно ступая, вошла в кабинет. Приостановилась на расстоянии, словно боясь, как всегда, помешать, подошла поближе. Вот протянула тонкие, как у ребенка, ручонки. Вот положила на стол пузатую желтую папку и тотчас отступила на шаг, замерла. До недавних пор ты как-то не замечал это тоненькое, кроткое, постоянно заливавшееся краской смущения живое существо. Но теперь ты видел, многое видел... Ты стал чувствовать, когда она рядом или где-то неподалеку, хоть за той же

дверью кабинета. И сейчас знал, будет стоять, трепетно ждать и не сдвинется с места, пока ты ей что-нибудь не скажешь. Потом, безошибочно знал ты, ее хрупкая фигурка чуть встрепенется, длинные чуткие ресницы вздрогнут, по-детски невинные доверчивые глаза вопросительно-боязливо устремятся на тебя, хмурого председателя, уткнувшегося в бумаги. Беспричинно вспыхнув смуглым личиком, она будет бороться со своим собственным, совсем недавно еще непонятным тебе волнением...

Уже полгода работает она секретаршей в правлении колхоза. Однако до сих пор, кажется, не привыкла к новому месту. Как у степной косули, было в ней что-то от природы пугливое, трепетное, чуждающееся всего нового и незнакомого. Не то что холод или хмурь лица, а даже и немногое, всегда для нее неожиданное проявление твоего внимания или сочувствия вызывало в ней почти испуг, настороженность.

— Зауре...

— Да... аг-а-и?

— Н-нет, я это так. Имя, говорю, хорошее... ласковое.

Она смятенно молчала, и бог знает, что творилось в ее душе. Тебе очень хотелось взглянуть сейчас на нее, посмотреть, как она встретила твою неумелую, невесть как сорвавшуюся с языка лесть, но, подняв голову, ты глаз поднять не осмелился. Все казалось, стоит встретиться вам взглядами, она, залившись стыдливым румянцем, пряча лицо в ладошках, метнется к двери, оставив опять одного...

— Как родители, Зауре?

Девушка опять не ответила, и ты представлял себе, как мгновенно вспыхнуло в ее глазах черное пламя, пламя недоумения и боли, как поспешно притушила она его густыми ресницами и, вся растерянная, сжалась, будто от удара. И тут же ругнул себя за дурацкий, неуместный вопрос. Нашел тоже, о ком спрашивать...

Девушка вышла. И от ее лучистых, жарко-стыдливых глаз остались будто в сумрачном нетопленом кабинете два неярких теплых уголька — оставались, грели... Какой, однако, сквозняк у тебя на душе! И, может быть, одно только отвлекало тебя сегодня, хоть ненадолго вырывало из тоски — ее едва уловимое, но близкое где-то присутствие. Ты помнил о ней, возясь с бумагами, помнил, разговаривая с пришедшими к тебе,

ловил себя на том, что прислушиваешься иногда к каждому шороху, движению в приемной. Ты и в ней видел перемены — еще не вполне внятные тебе, но чем-то трогающие тебя, греющие. Да, с того вчерашнего, такого уже далекого дня, когда ты вернулся с побережья Сырдарьи, она стала чаще обычного входить к тебе. Сам не зная как, но ты чувствовал, что тянет, влечет ее зайти еще раз, еще раз увидеть тебя... И каждый раз, неслышно переступив порог, прижав к груди какую-нибудь папку, она, несмело и в то же время с детским ожиданием распахнув глаза, взглядывала быстро и чутко туда, где в глубине кабинета за столом сутулился, сведя брови над усталыми глазами и положив на бумаги большие руки, он, мужчина. В этом хрупком, таком неприспособленном, казалось, для равнодушно-грубой жизни существе ты необъяснимо ощутил сочувствие, недетскую готовность понять, помочь, если надо — взвалить на себя тяготы и несуразности твоего существования, какие не знал и не встречал прежде никогда, ни в одном человеке, в женщине тем более. И что тебе в ней, как быть? «Не знаю, — честно ответил ты себе,— ничего не знаю... Только храни аллах ее кроткую, так мало знакомую с жизнью душу, не дай невзначай обнажить, обнаружить это первое трепетное, ею самой, видно, еще не осознанное чувство перед каким-нибудь равнодушно-циничным взором...»

Рабочий день уже кончился. Вместе с двумя-тремя работниками конторы ушла домой и она. В окно ты увидел, как мелькнул в уличной поземке ее красный, както мило повязанный платок. В углах огромного кабинета густел, серым осадком копился сумрак. И стены будто сдвигались, глухие, темные, и впервые ты вдруг почувствовал их нежилую стынь, сгорбился неприкаянно, сжался в своем углу, подобрав руки-ноги. Утром, после того нечаянно откровенного разговора с гостем из столицы, у тебя, наверное, был неважный вид, и когда ты вышел за чем-то в приемную, то сразу же поймал встревоженно-распахнутый взгляд своей секретарши, по обыкновению вскочившей тебе навстречу. И весь день потом этот взгляд, полный доверчивости и беспокойства, был с тобой. Да, вот то новое, что появилось в ней, — доверчивость! И ты, вдруг потрясенный, понял впервые, что, значит, и по тебе в этом несуразном мире тоскует теперь чья-то душа, и к тебе кто-то всем сердцем тянется, думает и не забывает никогда... И ты, зрелый

сильный мужчина, изрядно битый жизнью и вроде притерпевшийся к ней, как никогда, может, нуждаешься сейчас в сочувствии, в сострадании и помощи этой почти еще девочки и, сам того не сознавая, тоже тянешься отогреть свою озябшую душу у ее бесхитростного, единственного для тебя на всем белом свете, чистого огня.

Скрипнула дверь. Кто это еще может быть? Не меняя позы, не поднимая даже головы, ты прислушался к шагам в приемной. Кто-то уверенно простучал точеными каблучками, дошел до двери кабинета, остановился... Да, кто-то стоит там за дверью. То ли не решается, то ли уже раздумал входить. Но кому в столь поздний час понадобилось прийти в контору? Неужели Зауре? Может, что забыла?

Кто-то решительно дернул дверь. Это было так неожиданно, что ты глазам не поверил, застыл. Четко отбивая дробь каблуками импортных сапожек, Бакизат подошла близко и прямо взглянула тебе в глаза...

— Жадигер!..

Голос ее дрогнул, и вид, несмотря на решительность движений, поразил тебя, настолько она была растерянной, подавленной, взывающей к немедленной помощи, словно хотела и не могла сказать: «Если ты не поможешь мне преодолеть эту разверзшуюся между нами пропасть, то я, как видишь, не в силах...» И ты вскочил, бросился на ее немой зов, на бессильную мольбу, схватив ее руки, почувствовал дрожь, но не понял в тот миг, чьи руки сильнее дрожали — ее или твои.

— Бати-иш... — прохрипел ты, не справляясь с голосом. — Как хорошо, что ты пришла! А то я и не знал... не знаю, как мне быть...

Бакизат высвободила руки, и только тут ты увидел, как она по-прежнему холодна. Она уже переборола минутную слабость, лицо ее обрело привычную холодность, взгляд потвердел. Слишком хорошо было знакомо тебе это выражение лица за тринадцать лет супружеской жизни.

— Батиш, милая... давай забудем все недоразумения. Не будем больше терзать друг друга, мучить. Провались оно все!.. Знаешь, устал я. Хочется пожить... понимаешь, по-людски пожить...

— Раньше надо было об этом думать.

— И теперь не поздно, Батиш...

— Поздно!

— Как это... поздно?

— А вот так! Я все обдумала... и приняла твердое решение... Я ухожу от тебя.

Ты никак не мог вникнуть в смысл ее слов. Они не укладывались в голове.

Только почему-то воротничок рубашки вдруг стальным обручем схватил горло, и ты, совсем задыхаясь, рванул ворот, сорвал пуговицы.

— Это... серьезно?

— Ты сам во всем виноват.

Молча стоял ты посреди кабинета, неловкий, большой, свесив ненужные руки, смотрел неуверенно, словно не узнавал ее. Бакизат занервничала. Дернулась было уйти, но какая-то сила сдержала, остановила ее. И она, поняв, что ничего не дождется от тебя, вспылила:

— Ох уж и собачий твой характер!..

Она будто даже растерялась, и ей ничего не оставалось, как обвинять тебя. Что ж, обвиняй давай, обрушивай... Если нет в доме лада — виновен ты. Если в жизни вашей супружеской не было огня—виновен ты. Во всех неурядицах, обидах, горестях опять-таки виновен ты. Да, только ты. Ты. Твой несносный собачий характер.

— Чего молчишь?

— Да так. Будь счастлива.

— Это что, насмешка?!

— Нет, зачем... Мое пожелание.

— Сам виноват!

— Ну да, конечно... Только, знаешь... Да, впрочем, к чему теперь все эти...

— Нет, говори!

— К чему теперь упрекать нам друг друга?

— Нет, уж ты говори.

— Я к тому, что... у безмена, знаешь, два конца. Если один конец я, то...

Бакизат досадливо дернула плечом:

— Без-мен?!

— Ну да... Обыкновенный безмен.

Она уже не могла скрыть своего раздражения:

— При чем тут твой дурацкий безмен?!

— При том, что... знаешь, если одна сторона безмена потянет вниз, другая должна подняться вверх. Этому еще в школе учат.

— То, чему учат в школе, не всегда годится в жизни. У каждой семьи свои законы.

— И я о том же. С первого дня нашей совместной жизни... все, что бы мы ни делали, все наши радости и горести, недоразумения и обиды — это все, как говорится, перед людьми и богом, на весах...

— То весы, то безмен, а проще не можешь?

— Ладно! Хватит...

— Так ты что ж — оправдываешь себя?

— Зачем? Считай, я один виноват во всем.

— Ну, слава богу, сам наконец понял! — мстительно сузив глаза, усмехнулась она.

Ты вдруг поймал себя на том, что с каким-то болезненным вниманием разглядываешь эту женщину, только что объявившую о своем уходе из дому. Любила она тебя хоть немного когда-нибудь или нет — это теперь ничего не значило; но получилось так, что лучшие свои годы, самые молодые и жаркие, она провела с тобой, в твоих ведь объятиях, и вот теперь ты глядел на нее с неодолимым и каким-то странным любопытством, будто хотел понять наконец, что же осталось в ней от той легкой, насмешливо-гордой девчонки, которая пропасть лет тому назад на зачарованных ваших с Азимом глазах шла вдоль кромки моря, пританцовывая от избытка юных сил под бойкий мотивчик, доносившийся из аула, из репродуктора на столбе. Или женская душа, утратившая юный трепет, и впрямь, как разоренный дом, пустотой зияет? И неужто все равно, кто после заполнит эту пустоту?

— Если бы не твой несносный характер...

— Да-да, — перебил ты ее, закивал, — конечно... мы бы жили тогда, как голубки, воркуя и деля вдвоем одно зернышко.

Бакизат с удивлением глянула на тебя, морща лобик, тщетно силясь вникнуть в смысл твоих слов.

— Только не раз видел я, как эти самые милые голубки заклевывают друг друга в кровь, не поделив зернышка... Наверное, и среди них попадаются такие... с несносным характером...

Бакизат все равно не понимала, к чему ты клонишь. И потому, как всегда бывало, когда что-либо не понимала, резко перебила, не дослушав:

— Да будь ты нормальным человеком, мы могли бы давным-давно...

— О да — жить, как порядочные люди, в столице.

— А что, разве не так?

— Так.

— А как бедная моя мать старалась вывести тебя в люди...

— ...но дворняжка упорно забивалась в свою конуру. Хватит! Не надо!

На этот раз, видно, что-то дошло до нее. Бескровное лицо пошло пятнами. Полоснув тебя открыто враждебным взглядом, она решительно повернулась, резко застучала каблучками к двери. Нет, она никогда не отличалась отходчивостью. И все же не оборвалась еще в тебе какая-то тоненькая ниточка... ниточка надежды. И пусть эта женщина, так стремительно уходящая, почти убегающая от тебя, вне себя сейчас, до злости раздражена — но у двери, у двери-то она обернется?! Непременно должна обернуться... конечно, не сразу. Она остановится сначала как бы через силу, надует губы, брови нахмурит, повернется нехотя и, повернувшись, все равно не глянет на тебя, а, потупив взор, будет еще смотреть из-под густо опушенных ресниц на острые носки своих модельных сапожек. И если хватит у тебя при этом выдержки не сразу броситься к ней обнять, то, чтобы протянуть время, удержать тающую, как дым, обиду, она еще пуще прежнего надуется, нагоняя на лицо все свои женские недовольства, — и, не дождавшись, истощив недолгое терпение и переборов упрямство, сделает шаг-другой к тебе... Еще не зная, каким образом примириться, она остановится перед тобой, нетерпеливо глянет — ну, что же, мол, ты!.. — и сквозь слезы улыбнется. Тогда и ты оттаешь сердцем, но сдержишься. В одно мгновение, как не раз бывало, забудешь про все на свете, рассмеешься от души, притянешь, прижмешь жену к груди, и не будет в эти минуты более счастливого человека на земле...

Нет, ничего этого не было. Бакизат дошла до двери и, не обернувшись, хлопнула ею, вмиг оборвав тоненькую, на чем-то еще державшуюся ниточку надежды. Ты повернулся, потащился к столу, бессильно сел.

Но тут опять распахнулась дверь. И на пороге вновь показалась Бакизат. Ты вскочил и бросился к ней. Тебя поразила, испугала смертельная бледность ее враз осунувшегося лица. Она не поднимала глаз. Что-то приготовилась сказать, но не могла: то ли слова подбирала, то ли просто силы покинули ее.

— Жадигер... — остановила она тебя срывающимся голосом.

Ты с внезапной жалостью схватил было ее за руку, но она снова остановила тебя.

— Жадигер, нам надо бы решить...

— Решить?! Что еще?..

— Сам знаешь... Это касается не только нас двоих. У нас ведь...

Только теперь сквозь муку подняла она на тебя взгляд, и озноб охватил тебя: глаза ее точно пеплом взялись, застыли, в них была вся боль, вся тоска матери перед лицом судьбы. И ты понял ее, все понял.

— Дочка останется у моей мамы. Она ведь с пеленок с ней. А вот...

— Ты о сыне?

— Да...

— Можешь не беспокоиться. Ему от нас с тобой проку куда меньше, чем от бабушки. Ну, прощай!

— Прости меня...

Она стояла, будто ногами приросла к полу. С усилием наконец повернулась, сделала несколько шагов и остановилась. Постояла, как бы собираясь с силами,— говорить больше было не о чем. Наконец пошла. Пошла решительно. Без оглядки. Ты не шелохнулся. Почувствовал вдруг страшное желание закурить, затянуться, захлебнуться горьким, дерущим глаза и горло дымом. Ты не испытывал сейчас ни обиды, ни злобы. Только сжималась от жалости к ней грудь. Да, ты жалел ее. Вон ведь, дожила до зрелых бабьих лет и пустилась теперь в погоню за зыбким, во все времена неверным счастьем, словно несмышленое дитя за миражом. Да и где оно, счастье? И может ли оно быть вообще, и найдешь ли его, утешишь когда-нибудь душу, если так изболелась она и остались на ней незаживающие неизбывные, горестные зарубки?..

* * *

Вот и короткий зимний день клонился к вечеру. С неба, какой уже день хмурившегося, скупо падал редкий снежок. Все настойчивей напоминал о себе голод. Он вообще не мог сейчас припомнить, когда ел, где и что ел с тех пор, как вернулся с рыбаками с того берега моря. И вчера вернулся домой поздно, когда все спали. Без скрипа открыл дверь, снял верхнюю одежду и на цыпочках неслышно пробрался в детскую. Прилег на кроватку дочери. И вроде бы удалось на миг забыться сном. Только неудобно, неуютно было на крохотной

кроватке; и, когда очнулся, голова раскалывалась и была тяжела. В сознании сразу всплыли вчерашние слова жены: «Ухожу от тебя!..» Сон как рукой сняло. Он быстро подобрал ноги под одеяло, по-детски свернулся. Но и под одеялом чувствовал холод нетопленой, брошеной комнаты и поспешно встал, зашарил руками по стене. В какую бы сторону ни протягивал руки, они ударялись обо что-то угловатое, жесткое, и он раздвинул шторы. За двойными рамами только-только обозначился чахлый зимний рассвет. По привычке он начал было торопливо одеваться: надел рубаху, натянул брюки — и тут осекся. Куда, собственно, спешить-то? Сел на кровать. Взгляд бесцельно блуждал по открывшейся в сером утреннем свете комнате. Еще вчера здесь, у окна, стоял крохотный письменный стол. По вечерам за столом готовила уроки его крохотная дочурка. А вот тут стоял крохотный ее шкафчик. А на стене над крохотной кроваткой висел крохотный коврик. До ниточки обобрала теща не только дочкину комнату — весь дом, все забрала, перевезла заблаговременно к себе. На голой стене теперь безобразно торчали одни ржавые гвозди.

По слухам, Бакизат и Азим уезжают сегодня. Его бывший дружок, оказывается, очень спешит. Все уже будто бы расписано по минутам... Сегодня намерены они добраться в поселок по ту сторону залива, где до недавнего времени был рыбозавод, заночевав там, на следующий день ранним рейсом должны вылететь в Аральск. Что же, пусть убираются восвояси. И поскорее!.. Нет у него никакого желания их видеть. Домой он пришел постольку поскольку — деваться больше некуда. И живет в полном неведении, не зная и не представляя, что творится дома, что, собственно, происходит за этими глухими стенами? И в каком состоянии сейчас его бедная мать? Гордая, независимая, так много на своем веку повидавшая женщина, должно быть, помертвела, когда узнала про намерение снохи покинуть дом...

Одинокий человек не заметил, как вздохнул. «С чего же все началось?» — стучал в голове назойливый вопрос. Отчего рушился очаг? Бакизат убеждена, что во всех своих несчастьях виноват он. И теща об этом неустанно твердит: «Удача человека, как и скакуна, испытывается в байге...» А он не переваривал состязаний. И был уверен, что жизнь человеческая уж никак не схожа со спортивной гонкой. Еще в то доброе время, когда

море было в могуществе и силе и кишело рыбой, любой намек на соревнование с соседним колхозом его злил. Он думал совсем иначе: если работать не надрываясь, не ввязываясь в ненужный азарт, а с умом и сердцем принимая во внимание местные условия и реальные ресурсы, то вполне можно идти в ногу со временем. Да, ты был уверен в этом, а сейчас стал сомневаться во всех своих прежних убеждениях, делах и поступках. Проснуться на кроватке дочери в покинутом женой доме вдруг оказалось столь невыносимо, что ты, наспех одевшись, быстрее выбрался на улицу. Ночью, оказывается, выпал снег и земля, вся запорошенная, промерзла до звона. Побелели во дворах крыши домов и сараев. Рыбаков, как и охотников, кормит утро. Случись это лет десять-пятнадцать назад, разве усидели бы сейчас они дома. О, нет, увидев, что выпал снег и окреп мороз, поднялись бы чуть свет, высыпали на улицу. Из конюшни вывели бы коней и запрягли в сани. Поскрипывая в раннем морозе полозьями, сани понеслись бы вовсю, обгоняя друг друга, к морю, предвкушая желанную добычу первого подледного лова. Куда только делось все это? Куда запропало... куда?!

Перед тем как войти в контору, ты еще раз окинул взглядом погруженный в сон аул. Где-то неподалеку подала голос собака и тут же умолкла. Снова воцарилась тишина. Зауре, видно, только что пришла. Наспех поправила на голове красный, с тонкими кистями платок, стала разглядывать в круглом, умещавшемся в ладошке зеркальце пунцовые с мороза щеки. Не сразу она заметила тебя, а заметив, торопливо вскочила и глянула впервые, будто распахнулась глазами тебе навстречу. Ты кивнул головой, поспешно прошел к себе. Торопливо прикрыл дверь, прошел к столу. Не зная, чем заняться, как унять сосущую тоску, посидел, навалившись грудью на стол, пустыми глазами оглядывая сумрачные стены.

Как, однако, быстро все переменилось... Совсем еще недавно в кабинете председателя колхоза с раннего утра бывало шумно, многолюдно. Рыбаки один за другим вваливались к тебе, толпились возле стола, хрипло и громко требовали что-то от молодого председателя. Иные горячие головы в возбуждении не стеснялись стучать по столу кулаками. И тогда ты больше всего опасался, что и без того расшатанный старый стол не выдержит их рыбацкого натиска, развалится к чертовой матери, и

лишь просил: «Потише, братцы. Ну, пожалуйста, потише!..» Куда подевался тот беспокойный, охочий до работы люд? Куда?! Впору надрывным криком кричать: «Ау-у! Где вы, люди?» Кровь ударила в голову, и ты торопливо стиснул обеими руками виски... Никого, ни живой души. Зашла бы хоть она сейчас. Зашла бы, несмело прижимая к груди набитую бумагами желтую папку, глянула бы...

Рука твоя потянулась к кнопке. Не сразу ты нащупал ее, а когда наконец нашел, то от досады и раздражения нажал сильнее обычного, раза два-три кряду. И кто знает, что там испытала за дверью робкая девчонка, но ты сам вздрогнул от резкого звонка, тут же раздавшегося в приемной. И не успел исподлобья глянуть на дверь, как она уже выросла на пороге, поблескивая испуганными глазами на смуглом личике.

— Принеси, пожалуйста, эти... ну, что там есть,— тихо проронил ты.

Зауре понимающе кивнула. И через мгновение снова вошла, прижав к груди папку.

— Извини, Зауре... милая...

Она смешалась, не ответила. И только при выходе на мгновение замешкалась и с непосредственным, по-детски открытым удивлением и любопытством посмотрела на дюжего мужчину, вдруг заерзавшего, не зная куда себя деть от смущения. И то ли почудилось тебе, то ли в самом деле было так — но чему-то чуть усмехнулась... Оставшись один и все еще ежась от своей неловкости, ты начал было просматривать бумаги. Большая часть из них оказалась заявлениями рыбаков об увольнении с работы в связи с переездом. Многие из них были твоими сверстниками, с которыми рос с детства, играл, мечтал... Несколько заявлений было от почтенных стариков, которые еще вместе с твоим отцом выходили в одной лодке в море. Отъезд тех двадцати пяти семей стал чем-то вроде первой подвижки льда — теперь вот стронулись, сдвинулись с насиженного места и остальные. Ты не осмеливался задерживать или отговаривать кого-то, не хватало сил.

Открылась дверь, и вошли какие-то люди в зимней толстой одежде. Ты не поднимал глаз, сидел понуро и видел перед собой лишь три пары ног, обутых в истоптанные, с высокими голенищами рыбацкие сапоги. По обуви ты узнал человека, который стоял в середине, явно выделяясь среди двух напарников своими непомер-

но большими, обтерханными об лед и снег сапогами.

— Ну, слушаю!

— Жадигержан, заботы покоя не дают. Вот пришли.

— Говори, жезде. Слушаю.

— Тебя застать непросто. Тоже все где-то мотаешься...

— Садитесь, поговорим.

— Спасибо, дорогой. Только чего рассиживаться-то? Вот пришли к тебе с бумажками.

— Ясно-о...

Знакомая нога, так всегда напоминающая бревно, сделала шаг вперед. И, будто боясь отстать от нее, соседние с ней ноги тоже шагнули, и одновременно протянулись три руки и сронили из негнущихся толстых пальцев на стол раз за разом три измятых листка, вырванных из ученических тетрадей. Ты даже не дотронулся до них, ибо наперед знал, что там написано. Эти трое к тебе и раньше приходили. В первый раз ты старался их утешить россказнями, в которые, кажется, и сам плохо верил. «Потерпите, аксакалы, — говорил ты им тогда. — Может, все еще переменится. Наш кормилец Арал, говорят, мелел будто и до нас, во времена предков. Мелел, но вновь становился полноводным. Будем надеяться, что и на этот раз все образуется». Старики расчувствовались, обрадовались: «Да сбудутся твои слова, дорогой! Доброе слово — половина удачи...» Потом, когда они пришли во второй раз, ты опять кое-как нашел слова утешения: «Поговаривают, будто к нам собираются повернуть сибирские реки». Теперь же старики пришли в третий раз. И по тому, как они, молчаливые и суровые, стояли перед тобой, не захотев даже присесть, ты почувствовал их мрачную решимость. Ну, что на этот раз им скажешь? Остались ли еще какие-нибудь слова утешения?

— Жадигержан, вот в этих бумажках — наша просьба. Дальше решай сам.

Решай сам... Легко сказать. Знал, как было трудно кочевникам во времена коллективизации. Как у истинных детей привольной степи, вся их жизнь проходила в седле да на горбах верблюда, объединялись они ненадолго лишь в ратном поле, в тяжкий час испытаний. И вот перенять вдруг неведомое им, чуждое, осесть насовсем на землю, организовать какие-то коллективные, всем будто одинаково принадлежащие хозяйства... Охваченный паникой народ вот-вот готов был разбе-

жаться. И тогда-то, в самый что ни на есть критический час не кто другой, как эти трое, понуро стоящие сейчас перед тобой, во главе с покойным Каленом объединились в артель. И ты думал: если уж покинут эти трое насиженные дедовские места, то край родной наверняка лишится последней своей опоры.

— Ладно, жезде, рассмотрим на правлении ваши заявления. Подумаем.

— Хорошо, родной. Подумай. И дай нам ответ.

— Постараюсь не затягивать.

— Ладно, Жадигержан... Будь здоров... Да минуют тебя напасти!

Старики ушли. Словно только и ждал их ухода, пронырнул в кабинет Сары-Шая. Потный, заполошенный, озираясь по сторонам, он посеменил к столу.

— Жадигержан, родной... зрачок ты мой! — почему-то с дрожью в голосе, запинаясь и бегая глазами, начал Сары-Шая... «Что же еще случилось?!» — не успел подумать ты, как Сары-Шая сам заговорил: — В этот тяжкий, решительный час нет для тебя во всем мире никого ближе и родней меня. Если уж на то пошло, я для тебя теперь и дядя, и старший брат, и даже... даже родной отец. Да-да, милый!..

Что ж, разве ты когда-нибудь оспаривал ваше близкое родство? Но чего добивается он, всякий раз об одном и том же твердя, будто опасаясь, что ты в недостаточной мере это осознал?

— ...Да только ты, негодник, разве внимал когда-нибудь моим словам?! Разве поймешь глубину моих истинных к тебе чувств?! Ты и слушаешь-то меня вполуха. А я ведь тебе говорил... Ох, сколько раз предупреждал! И ведь чуяло мое сердце... Разве не говаривали наши предки: «Воды опасайся, а бабе — не верь»?! Баба — наш заклятый враг. Не оспариваю — она тебя ласкает в постели, греет, а отвернешься — тебе же пакость творит. Да-да, милок. Погибель батыра испокон веков от бабы. Вот и твоя... ойбай, ойбай, горе мне горе!..

И Сары-Шая запричитал, завыл вдруг, заколотил себя кулаками по потной голове, раскачиваясь и приставляя, да так, что и тебе самому стало на миг не по себе... Вроде бы куда как хорошо известно, чего добивается старый баламут... Эта шельма думает, что точно рассчитал, что наступил для него самый удобный момент поиграть на твоем и без того уязвленном самолюбии. И тогда ты, может, поплетешься, как баран, на по-

водке его советов по старой дорожке племенных распрей и инстинктов...

— А ты помнишь, как древние говорили: «Не беда, что дерьмо, важно — что много...» Вот и эти паскуды распоясались, зная, что их много! И хотят затоптать нас, задушить, будто одинокий колосок ячменя посреди пшеничного поля. Неужто ты позволишь нам провалиться в пучину? Где ж твоя честь мужчины? Видно, тебе на нее наплевать, но неужто для нас, сирых, не встрепенется твоя душа? Неужели не заступишься за честь нашего рода Жакаим? Неужто снесешь такой позор молча?! Очнись, я говорю! Едва продрав глаза, спозаранок обегал я весь аул, собрал всех наших, верных... Вон они, за дверью стоят. Выйди, возглавь нас! Увидишь, как постоим мы за честь рода!..

Мало когда придавал ты словам родственничка значение, чаще пропускал их мимо ушей. Вот и сейчас не столько слушал, досадуя, сколько смотрел на его жабий рот, беспрестанно извергающий слова. Видел мелькающий, как жало, язык. Видел гнилые зубы. Видел глаза, немигающие, желтые, все лютевшие, разгоравшиеся. Видел, наконец, дряблое, как старая сыромятина, лицо — голым-голо, ни бороды, ни усов. Вместо них шевелились, топорщились какие-то случайные, ни то ни се волосенки, словно пытавшиеся нагнать на кого-то страху. И на миг тебе показалось: перед тобой и вправду не человек, а налившееся яростью и злобой то самое мерзкое существо, прозванное некогда великим поэтом тварью с лицом человека, но с повадками скорпиона...

— Ну, вот что...

— Что, дорогой?

— Сгинь-ка с моих глаз! — грозно встал ты.

— А?

— Сгинь, говорю! Чтоб глаза мои тебя не видели!

— Чтоб глаза не видели, говоришь? Это меня-то?! Хе-хе...

Сары-Шая и не подумал сгинуть, напротив, уселся, устраиваясь поудобней, закинул ногу на ногу. Немигающие кошачьи желтые глаза ехидно блеснули. — Ты, милок, это всерьез?

— Скорпион ты, а не человек... Убирайся!

— Вот оно как! Ну-ну!.. Народ прозвал меня Сары-Шая, но никак не Скорпионом. Ишь, придумал тоже... скор-пи-он... Ну спасибо, милок, порадовал. Очень даже неплохо. Кхе-хе-хе... — Сары-Шая был удивительно

спокоен, даже вроде бы благодушен. Зато ты был готов взорваться гневом. Ярость захлестнула тебя. Ты стиснул кулаки. В теле нарастала неодолимая дрожь, и ты знал, что за этим может последовать... Кажется, Сары-Шая видел твое состояние. И, продолжая ухмыляться, краем немигающих глаз мельком покосился на твои чугунные, напряженно высовывающиеся из рукавов кулаки. — Милок, это же кувалды! Ей-богу, кувалды!— Он опять глянул на них уже в открытую и, взяв твой кулак в свою ладонь, восхищенно покачал его на весу. — Вот это да-а!.. Жаль только, милок, что не пользуешься ты ими по назначению...

Ты торопливо подобрал кулак в рукав. И еще больше задрожал от негодования и собственного бессилия, видя все ту же наглую ухмылку на спокойном лице родственничка. А он, бестия, между тем, убедившись в твоей беспомощности, ткнул пальцем в твой кулак:

— Милок, убери-ка это... убери! А уж если силы девать некуда, мой тебе совет: докажи-ка лучше это столичному... хе-хе... жеребчику, побратиму своему. Да, да, милок. Этак будет честнее...

— У, кретин!

— А?.. Это я-то?! — удивленно переспросил Сары-Шая и медленно поднялся со стула. Злорадная искорка в желтых глазах потухла. Бледный и злобный, он смерил тебя с ног до головы. — Это ты, милок, кретин! Я бы даже сказал — кре-ти-нище, каких свет не видывал! Бабе твоей средь бела дня подол задирают, так мало, еще и с собой забирают, а ты... вялый хрен, еще и...

Что было дальше — ты плохо помнил. Черная, небывалая еще ярость помутила сознание. Если ты и думал о чем, то лишь о том, наверное, что этот злобно трясущийся перед тобой плюгавенький, поганый человечишка — вовсе не человек, а воплощение и средоточие всех людских зол, бед и мерзостей... Это он баламутит рыбачий аул, вдохновляет глупцов. Это он стравливает людей, разжигает-распаляет родовые страсти, наушничает, сеет смуту и злобу там, где и без того сейчас несладко... Ты, огибая стол, пошел на него...

— Эй, эй... ты что... ты что, пес бешеный?! На родственника руку подымать... негодник!.. ой-ба-а-а-а-ай!..

А ты уже не обращал внимания на дикие крики, словно драли старого кота. Вся ярость, весь гнев, что

годами копились в тебе, переполнили наконец чашу терпения, и тяжесть их будто сейчас переливалась в кулаки. Ты ударил раз, другой, заколотил по чему-то мягкому, податливому, визжащему... В какой-то момент мельком углядел кровь. Сары-Шая вдруг замолк сразу, на миг даже вырываться перестал и неуловимо быстро, как-то ловко мазнул ладонью, размазав кровь по всему лицу... И это на миг удивило, но ты уже не мог остановиться и все бил, загнав в угол, без пощады бил по этой гнусной роже со страшно округлившимися желтыми глазами, с крепко сжатым, не издававшим теперь ни звука ртом... И тут кто-то вбежал, повис у тебя на руке, закричал. Этот умоляющий, насмерть перепуганный голосок будто издалека откуда-то взывал, едва доходил до тебя и не мог уже остановить... О чем он умолял, тот девичий голосок? «Агатый... миленький! Что вы делаете? Нельзя! Стыдно!.. Стыдно!..» Но отчего стыдно? Почему? Ты не разобрал, кто умолял тебя о пощаде, кому принадлежал этот голосок, полный отчаяния и страха... Но что страх был за тебя, это почему-то понял. И если в тот момент ты вообще соображал что-либо и чувствовал, то лишь одно: некое омерзение, брезгливость, охватившие тебя, и еще смутную досаду оттого, что кто-то упорно мешал тебе, цеплялся за руки, путался под ногами. И, не помня себя от злости, ты отпихнул того, кто назойливо хватал тебя за руки и бессильно тряс... И тут же отчего-то спохватился — может, оттого, что только что просивший о пощаде, отчаянно кричавший о стыде тонкий голосок умолк, словно провалился в окружавшую тебя глухоту, и никто уже не хватал за руки, не тряс за плечи, не путался в ногах, и от этого удивления ты, должно быть, отрезвел и лихорадочно заозирался вокруг. И увидел Зауре, отвернувшуюся от тебя, сжавшуюся, как обиженное дитя, спрятавшую лицо в ладони... Увидел, как вздрагивают худые, точно у подростка, плечи, услышал еле сдерживаемое рыдание, и пальцы твои сами разжались, отпустили загривок мешком обвисшего Сары-Шаи. Оттолкнув его со всей силой, ты бросился к выходу. В дверях грудью налетел на кого-то, чуть не сбив с ног, дико глянул, не узнавая парторга.

— Баскарма, да ты... — сдавленно проговорил, схватив тебя за плечо, тот. — Да ты что? В уме ли? Как это понимать? Избивать члена колхоза... да ты знаешь, что это такое?!



— Пусти!

— Не могу! Ты что... хочу бью, хочу милую — так, что ли?! Не-ет, так не пойдет. Это же хулиганский поступок, ты понимаешь...

— Ну и к...

Ты, кажется, вовремя спохватился, прикусил язык. И парторг тоже сразу замолк, как бы предоставляя тебе возможность договорить, сполна высказаться. Но, увидя, что из тебя теперь слова клещами не вытащишь, невольно бросил:

— Ну и натворил, баскарма... А что это за люди? Зачем ты их собрал?

— Какие люди?.. Где?

— А ты не знаешь, да?! Хе!..

Сердце твое чуяло недоброе. Опережая парторга, вымахнул коридором на улицу. Да что ж это такое?.. Срам! Срам какой! Большая толпа — одни твои сородичи и сочувствующие — стояла мрачнее тучи перед конторой. И лица у всех хмурые, решительные. Кое-кто даже с плетками, веслами и баграми. Постарался, старый дьявол...

— Что... вам тут надо?!

Вперед вышел Упрямый Кошен.

— Жадигер... родной наш... Что бы там ни случилось, знай: верные люди ради тебя... ради твоего... Мы с тобой, ты знай!..

— Ради меня? Зачем?

— Да, мы за тебя. Только скажи, и мы... — сказал было Кошен.

— О, дурачье! А ну, по домам! Живо! Кому говорю!..

И опять кровь ударила тебе в голову, бешенство ослепило. Только и помнишь, как сбежал с приступка правления прямо в толпу, как вырвал у кого-то из рук плеть, хлестнул одного, другого.

— По домам! По домам! Прочь! Проваливайте! Чтоб духу вашего... Ах, дурачье! Кого послушались?! Кого, а?! Прочь! Прочь!

С перекошенным лицом, с белыми, выкатившимися от злости глазами, ты и впрямь, наверное, был страшен, и толпа подалась, заволновалась, ропот недоумения прокатился по ней, точно ветер по степной сухой траве:

— Никак рехнулся, бедняга!

— Допекла, стало быть, баба...

— Видишь, лица на нем нет.

Ойбай, от греха подальше. Еще покалечит, дьявол!

— Ну, что ж... уйдем. Не надо так не надо. Ну его к аллаху!

Толпа дрогнула, стала на глазах распадаться. Упрямый Кошен тоже отступил, оглядываясь назад: нет, непривычно было видеть обычно покладистого, спокойного баскарму таким... И лишь один шофер-бала не тронулся с места. В его руке была монтировка. Видно было, он только что подъехал сюда, выскочил из машины: помятый, чумазый, взгляд твердый, жесткий. Смотрит прямо. Кепка со сломанным козырьком против обыкновения сдвинута на затылок.

— А ты что тут!.. Прочь с моих глаз! Н-ну!..

Плеть со свистом полоснула шофера по ногам, обвилась... Но тот не сдвинулся, лишь покачнулся, и тогда ты снова вскинул камчу, рявкнул:

— Сгинь, говорю!.. Уходи! Все уходите к... Ну-у...

В глазах шофера сверкнули слезы. Рука твоя с плетью на миг повисла в воздухе и бессильно упала. Ты с досадой отшвырнул плеть. И с ходу взлетел на гнедого со звездочкой на лбу, которого, похоже, только что поставил у коновязи напротив конторы парторг.

— Эй, баскарма, куда-а?! Постой, разговор есть...

Подобрав повод и заворачивая коня, ты на миг в упор глянул на него. Меньше всего тебе сейчас хотелось говорить с человеком, считавшим своим непременным долгом всех поучать и наставлять.

— Подождешь... К морю съезжу, посмотрю,— буркнул ты, ударив гнедого каблуками, не глядя на расходившуюся толпу.

— Слаб лед, уже глядели. Ни сегодня, ни завтра не сунуться. Прошу, не задерживайся. Мы вдвоем с предместкома ждать будем! — прокричал парторг.

Ты понимал, что не скоро вернешься. Конь галопом вынес тебя за аул, в побелевшую прибрежную степь, и лишь там ты попридержал его. Спустился тропинкой по крутояру к берегу, у крайней дюны спешился. Отпустил, стреножив, гнедого, а сам раздраженно, широко, теперь не сдерживаясь, зашагал к морю. Рассыпчатый нетронутый снег, слегка приморожепный, хрустел, взвизгивал под сапогами. Но и здесь Сары-Шая не выходил из головы, будто преследовал по пятам и в этой безмолвной снежной пустыне, путался под ногами, визжал и кричал. Гнев снова обуял тебя и теперь точно гнал

куда-то, и ты шагал все быстрей, беспорядочней, вспахивая громоздкими спотыкающимися сапогами эту холодную, равнодушную ко всему белизну. Шел долго, пока не почувствовал, что лед будто подаваться стал, пока не услышал слабый, множащийся треск. Думал о Сары-Шае. И тут, осененный неожиданной догадкой, резко остановился. Постой, постой... Почему этот желтоглазый сморчок, завизжавший было, вдруг разом затих, едва лишь из носа пошла кровь? В самом деле, даже рукой ни разу не махнул, не уклонился, не пытался отворачиваться... Почему он, словно готовый умереть в твоих руках, сам лез под кулак, поочередно подставляя то нос, то глаза, то лицо? Неужели ж так ошеломило, подбило его горе, так унизило бесчестье, что ему все равно? Или это было очередной безумной вспышкой упрямства? Да постой... погоди! Если, скажем, подбит глаз, сворочены скулы, нос в кровь разбит, то ведь лучших улик в тяжбе не сыскать... А для улик, естественно, нужны факты. А коли есть факты, то нетрудно состряпать какой угодно акт. Вот оно что, оказывается... вот к чему рвался, стремился желтоглазый интриган... Ничего не скажешь, ловок. Ах, стервец! Ах, скорпион... в черной своей злобе сам себя жалить готов! Теперь уж набьет карман актами — и помчится в район. Интересно, как поведет себя Ягнячье Брюшко, когда увидит на столе компрометирующие тебя бумаги? Неужели и здесь в своей любимой позе, сцепив пальцы на животе и прищурив глаза в сладостной улыбке, скажет торжествующему Сары-Шае: «Маладес! Маладес!» Впрочем, об этом ничего определенного ты сейчас сказать не мог, но зато повадки дорогого родственничка хорошо знал. Если даже ничего он в районе не добьется, навряд ли на этом остановится. Пойдет дальше и выше. Не выйдет в области — отправится в столицу. Кто-кто, а он-то для достижения своей цели не пожалеет ни времени, ни себя. И уж будьте уверены, непременно найдет управу на зарвавшегося, прибегнувшего к рукоприкладству председателишку какого-то рыболовецкого колхоза. И тогда уж вволю потешится родич твой, заклеймит, разоблачит на весь белый свет, осрамит, испоганит и тебя, и твою честь...

Зимний день стремительно скатывался в сумерки. А он как утром пришел сюда, так и остался на размеренно вздыхающем под ним шатком льду. Позади простиралась заснеженная приаральская степь. Впереди



маялось, мятежно ревело, обламывая непрочную кромку льда, открытое море. Мороз бессилен был сковать его. До рези в глазах всматривался он в этот огромный, казавшийся беспредельным под небесным сводом мир, который сузился теперь для него до крохотного, в девственном снегу вытоптанного пятачка у его ног. Почему-то казалось, что вместе с устало павшими прямо у его ног следами обрывается, кончается и его путь. Ну, скажи, куда теперь идти? К кому? И не всерьез ли кажется тебе, что вот за этим мятежно и скорбно стонущим морем обрывается, кончается и земля, и небо, и людская обитель? Было время, когда твои предки-рыбаки мало знали, ничего не ведали почти о большом мире, простирающемся где-то за их извечными, сызмала привычными степями и морем. Не предполагали даже, что их красивые мечты где-то отчасти давным-давно уже осуществлены предприимчивыми сынами других племен, других народов. И блаженные в неведенье твои предки не пытались искать ответа всему непонятному, непостижимому, не утруждали себя объяснениями, а с какой-то детской непосредственностью приписывали все грозное, могущественное богу на небе, а все священное — его пророку на земле. В то время старцам рыбачьего аула казалось, что, захоти, положим, пророк и владыка морей Сулеймен[1], — нипочем ему отправиться в любой конец света, шагая по воде, как по суше... Владеть бы и тебе сейчас тем чудодейственным даром пророка Сулеймена, и ты, верно, тоже, не задумываясь, зашагал бы по волнам ревущего под тобой старого Арала, пошел бы куда глаза глядят, постукивая по гребням чудо-посохом, и шел бы, шел, не останавливаясь, в неведомые края... Но — увы! — нет у тебя такого волшебного посоха, да и сам ты никакой не морской владыка Сулеймен. Правда, доживает в рыбачьем поселке последние дни седобородый старичок по имени Сулеймен. С утра выползает на улицу, кряхтит, греет на солнышке старые кости, не расставаясь с зажатым между коленями посохом. Он тоже всю жизнь провел на море, однако так и не сподобился познать тайну священнодействия пророка. Если он, аульный старичок Сулеймен, и достиг чего к концу своей жизни, то разве что пенсионных грошей, которые более-менее аккуратно получает раз в месяц из рук мальчишки-почталь-

[1] Соломон.

она. Когда-то, сказывают, и этот старик ходил в море, ставил сети вместе с твоим отцом. Теперь же подойдешь к нему, поздороваешься — и он, стосковавшись по людям, поспешно зажав посох между трясущимися коленями, вцепится обеими руками в твою руку и долго не отпускает ее, попеременно подставляя тебе то одно, то другое ухо, прося: «Что-о?.. Говори громче!»

Бедный род людской! Как бы ни просил, ни вымаливал ты у жизни продлить твои годы, как бы ни бился за нее, терпя нужду и лишения, обиды и унижения, но если уж к концу твоему она облагодетельствует и вознаградит грешника своего лишь таким образом, то, видит бог, не так уж прекрасен и велик ее смысл, чтобы цепляться за нее с таким упорством...

Одинокий человек вздохнул. Отравленные мысли, ожившие вдруг, точно свора голодных волчат, накинулись со всех сторон на него посреди пустынного, заснеженного поля и нещадно рвали его когтями и терзали, терзали, терзали...

Поднялся ветер. Погода Приаралья издревле своенравна, переменчива. Он огляделся: все вокруг неожиданно потемнело, насупилось; и без того сумрачное небо плотно обложило зловещими черными тучами. Пошел, закрутил по всему огромному пространству залива снег...

Да, надо бы возвращаться. Мороз уже драл щеки, и он раз-другой растер лицо ладонями. С тягучей неохотой подумал: должно быть, они уже уехали. Если бы они отправились напрямик, по-над берегом моря, то наверняка попались бы ему на глаза. И раз уж он их не видел, то, значит, поехали по степной дороге. Да... так, наверное, и сделали. Что ж... их дело...

А тебе пора домой... домой... к матери.

* * *

Снова и снова устремляя взгляд вперед, на окутанный мраком берег, налегая грудью на упругий ветер, он шел домой. Резко похолодало. Ветер гудел, привывал над его головой. Берег то показывался на миг, то вновь исчезал в круговерти снега. Председатель был не так далеко от берега, когда впереди, на откосе круч, что-то вроде мелькнуло. Может, скотина какая или человек? Или конь его забрел?.. Снег слепил глаза, бил в лицо. Втянув голову в плечи, изредка поглядывая

вперед, он шел уже боком. Только что мелькнувшая было впереди черная точка скрылась — быть может, за дюной...

Он спешил, хотелось скорее увидеть мать, прижаться к ней, она бы, конечно, не оттолкнула его, наоборот, как прежде, в далеком детстве, молча погладила бы по голове. Да, к матери, к сыну, все остальное к черту! К черту! Желая еще до полной темноты добраться до стреноженного в камышах жеребца, шагал крупно, и погода ему не нравилась: не дай бог, закрутит сильнее — не найдешь. Встречный береговой ветер, однако, сбивал дыхание, снегу под ногами прибавилось, пошли сувои, перемежаемые наледью. Иногда тебе казалось, что лед будто вздымается, вспучивается под твоими ногами, дышит. Возможно, там, в глубине, начиналось сильное течение. Молодой гибкий лед явственно проседал, прогибался от подледной волны, поскрипывал. Ты-то знал, что налетевший со степи шквальный ветер и сильные подводные течения нередко отрывают и уносят береговые льдины в открытое море. И страх закрался в душу. Низовая поземка уже мало-помалу переходила в пургу, снег сыпал и крутился все гуще. Ветер на какое-то мгновение притихал, падал, чтобы с еще большей разъяренностью налететь, ошеломить. Ты шел вперед, по-прежнему пригнув голову, а он бесновался над открытым полем, выл, посвистывал, рвал одежду, снова и снова норовя влезть за пазуху, за ворот. Но почему не видно берега?

А снег, сухой и колючий, все сыпал, все хлестал с невидимого уже неба, сек и обжигал лицо, выбивал слезы из глаз. Когда становилось невмоготу, ты поворачивался и, переводя дыхание, давая лицу и глазам отдохнуть, шел спиною вперед. Дело шло к приаральской неукротимой черной буре. Надеясь все-таки увидеть берег, лишь бы проступил он хоть на секунду, ты остановился спиной к ветру, вытер иссеченное снежной крупкой лицо, глаза, готовясь глянуть, определиться на месте. И тут сквозь косые белые струи пурги что-то мелькнуло и пропало у твоих ног. Вот опять показался этот комочек, покатился, несомый ветром, трепыхнулся, свалился в затишек бархана — камышовка!.. Да, да... еще днем прилетевшая к тебе бог знает откуда. И в этой бесновавшейся белой мгле крохотная птаха тоже боролась за жизнь, тоже рвалась за тобой, с великим трудом преодолевая снежный ветер, перепархи-

вая и падая, катясь назад, цепляясь, на что-то надеясь.

Ты подошел к птахе поближе, протянул руку. Та не шелохнулась. Только беспомощно, как-то обреченно смотрела на тебя. Ты взял птаху, дохнул, дунул ей под крылышки, сбивая снег, бережно сунул за пазуху. Оказавшись в тепле, она трепыхнулась, уцепившись за что-то коготками, ворохнулась разок-другой, будто устраиваясь, и затихла.

А берега все не было видно. Ты боялся, что молодой еще лед не выдержит долгого напора ветра и течения, опасался, как бы не надломило, не оторвало его от материкового припая, не погнало в штормящее море... Ты уже брел вслепую, наугад, падая грудью на ревущий плотный ветер. И вдруг... что это засерело, затемнело сбоку — берег? Ты двинулся, потом побежал туда — лошадь! Трусит под ветер, запряженная в сани... И вот вскинулась, завидев человека, неожиданно вынырнувшего из пурги, попятилась, фыркнула. В санях, натянув вожжи, поднялся кто-то в волчьей шубе на плечах... И, выбравшись, протянул руку своей спутнице, закутанной в белую пуховую шаль.

— Видишь? Его там всем аулом ищут, с ног сбились, а он, оказывается, вон где... — крикнул сквозь ветер мужчина.

Он не спешил повернуться к тебе. Женщина неохотно слезла с санок, застеленных ковриком, и ей, видно, сразу сделалось неуютно; ни на кого не глядя, сделав один лишь шаг, остановилась, пугливо заозиралась по сторонам, в белый крутящийся мрак пурги. Мужчина в шубе, желая взять ее под руку, сделал шаг к женщине, но то ли от ветра, то ли по другой какой причине, пошатнулся...

— Азим... да поедем же скорей!

— Что, милая?

— Умоляю, поедем!

— Ну, как же... сама ведь искала, поговорить, мол, надо...

— Прости... Поедем, Азим. Видишь, забуранило как...

— Испугалась, что ли? Че-пу-ха! Обычный аральский буран. А знаешь, мне, наоборот, такая погода по душе. — Азим рассмеялся. Ты понял, что он малость на взводе, принял, должно быть, «на посошок»... — Ну, дружище... — Покачиваясь, он подошел к тебе. — Как видишь, мы едем. Да, едем!..

Почему-то тебе не стало хватать воздуха, и ты пригнулся, будто от ветра, судорожно ловил его ртом, точно рыба, выброшенная на сушу. И Азим, видно, что-то заметил, потому как, заслоняясь рукой от ветра, искоса и пристально посмотрел на тебя.

— Как бы там ни было, а мы с тобой относимся к цивилизованным людям. Для меня лично ревность — дикость. К черту ревнивцев! Не понимаю и понимать не хочу всех этих... кто убивается по юбке! Мужчина, знаешь, должен быть свободен...

А с тобой что-то происходило. Опять перехватило дыхание, и ты ничего не смог, не сумел ему сказать.

— Вины за собой не чувствую. И потому никакого прощения не прошу. Я перед тобой не в долгу... да, не должник. Хочешь знать, я вернул себе лишь то, что по глупости когда-то уступил тебе. И весь тут сказ! Как видишь, для мировой скорби причин нет... Ну, бывай!

Азим резко повернулся и пошел к лошади. Она, казалось, с трудом выдерживала порывы ветра, отворачивала морду, нервно перебирала ногами. Азим едва успел сделать шаг, как вдруг гулко охнул с перекатами оглушительной силы треск, покатился по льду куда-то вдаль, в пургу. Азим, будто споткнувшись, замер. Бакизат зажала уши и тут же бросилась к нему, схватила за руку, приникла, оглядываясь...

В первое мгновение ты ничего не понял. И лишь когда опять чуть не под ногами затрещало и змейкой поползло что-то, взгляд твой метнулся туда, на звук, и ты обомлел... Под брюхом лошади чуть наискосок уже чернела и стремительно расширялась, выплескивала дымящуюся воду трещина. Лошадь, вся напрягшись и дрожа закуржавевшим крупом, какой-то миг стояла, потом вдруг рванулась, задрав оглобли и беспорядочно волоча за собой сани, шарахнулась и, обламывая кромку льда, круша ее, саданув разок-другой копытами по передку саней, стала заваливаться, дергаясь в гибельных путах постромков, взбивая воду, в полынью.

— Ой-ба-а-а-а-ай!..

Отчаянный вопль пронзил тебя. С треском, с перекатывающимся грохотом продолжал разламываться под ярым натиском ветра и течений на всю ширину залива лед. И, лишая воли стремительностью своею, росла, ширилась черная, исходящая паром трещина-полынья...

«Все, теперь... поздно... поздно...» — вертелось лихорадочно в голове. Как парализованный, глядел ты на



эту расширяющуюся неостановимо, невозвратно полосу зимней темной воды, всходившую мелкими бестолковыми волнами, водоворотинами... В те немногие секунды, когда ты пытался сообразить что-то, лошадь, вздыбившись и рванувшись несколько раз, бороздя срывающимися копытами льдину, неловко как-то завалилась и, утягиваемая санями, с громким плеском скрылась под снежно-ледяным дымящимся крошевом. Ты подумал было, что все... конец ей, но нет, вот всплыла, показалась сбившаяся дуга и вынырнула из черной купели голова ее, мокро-атласная, какая-то жуткая... Вынырнула и отчаянно рванулась — но не к береговой, а к вашей, уплывающей льдине. Фыркая и дергаясь изо всех сил, она достигла наконец, оперлась мордой о лед — и такое мучение, такую тоску увидел ты мгновенно в ее расширившемся от страха глазе, что кинулся, ничего не соображая, схватился за недоуздок, рванул было. И несчастное животное напряженно вытянуло, точно под нож, шею и забило ногами в воде, все подалось к тебе в тщетной потуге вырваться, выбраться... Ты что есть силы, оскальзываясь и чуть не падая, тянул недоуздок, а она билась и дергалась, задыхалась, обреченно выкатив глаза и всхрапывая...

— К чему это... оставь!

Мокрый недоуздок выскользнул из твоих рук. Отделившийся от ледяного поля большой обломок, медленно разворачиваемый бурлящим в полынье течением, надвинулся сначала на всплывшие как-то наперекосяк сани, ударил и притопил их, между тем как другой, ближний его конец неотвратимо накатывался на беднягу... Вот уже достиг конского крупа, толкнул, наполз, подминая, и в последнем рывке животина в тоске прощания с этой сумеречно-тусклой, завывающей угрюмым ветром жизнью вскинулась, тонко, жалобно заржала и тотчас, будто утянутая вниз, плеснув, скрылась и больше не появилась...

Ты стоял, оцепенелый, пошатываясь под порывами разнузданного ветра, стоял и смотрел туда, в черную пляшущую воду.

— Как... как же это? Как теперь быть? — растерянно бормотал, топтался позади тебя Азим. Ты обернулся. Вот он стоит, мигом протрезвевший, потерянно озираясь по сторонам, все еще, видно, не понимая, во сне или наяву происходит все это, весь этот разом обрушившийся на него ужас — стонущая, воющая по всему огромному

пространству Арала буря, смерть, зловеще махнувшая крылом перед самым лицом, уносимая ветром льдина, жуткая неизвестность впереди... — Как же это так, а?..

— А вот так. Жизнь изменчива: то так, то эдак...

— Что? Что ты сказал?!

— В песне, говорю, так поется... — почти огрызнулся, бросил ты в непонятной самому себе злобе.

— Тьфу ты... ч-черт! Какая еще песня?! Но как же так, кто бы мог подумать?..

— Хватит. Теперь одно думай: как шкуру спасти...

— Шкуру?!.

— Да, шкуру. Подумай об этом лучше.

— А как?..

— Где шуба?

— Шуба, говоришь?

— Ну да. Твоя. Волчья. Вот пойди и надень.

Но тот, видно, совсем потерял голову. Побежал вдруг к Бакизат, до глаз закутавшейся в пуховый платок, но все еще в ужасе застывшей там, куда отскочила, отпрянула она — подальше от разверзнувшейся почти под ногами пучины... Потоптался возле нее, что-то ей сказал или спросил и все той же трусцой вернулся назад, к тебе, норовя и на этот раз стать с подветренной стороны.

— Слушай, дружище... ты что-то сейчас сказал, да?

— Ничего я такого не сказал.

— Ну, как же... ты вроде сказал, что какой-то выход...

— Выход?.. Какой тут, к черту, выход... Я сказал: шубу надень, а то околеешь.

— Шубу?.. А куда я ее задевал, а? Ведь на мне ж она была... ведь вот только что... ч-черт, шуба... да где же, где она?..

Ты отвернулся. Черная буря гнала, уносила льдину в открытое море. Кругом, куда ни глянь, крутил и бесновался серый мрак. Не проглядывало ни аульного огонька, ни берега, ни насупленных склонов Бел-Арана. Ожесточенно стегал и сек с темного неведомого неба мелкий злой снег, все больше стервенели волны, тяжело накатывались на непадежную льдину, далеко растекаясь, шипя и угасая на снегу. И одинокие на этой льдине, отрезанные от всего мира, стояли трое. Ты, вобрав голову в плечи, нахохлившись, повернулся спиной к ветру. Стоял, чего-то ждал от неба и судьбы. И вдруг вспомнил про свои следы. Вспомнил и невольно-

но глянул под ноги... Но очередной шквал ветра, шатнув, бросил тебе в лицо горсть колючего снега, забил глаза и рот, гулом всесветного ненастья наполнил голову. И только теперь тебе стала ясна вся бессмысленность твоего желания — увидеть их, эти следы... И затрясся весь от безумного мстительно-злорадного смеха, согнулся, перхая и мотая головой... О безумец, безумец!.. Какие могут быть следы в этой дикой, ожесточившейся на все живое круговерти, где с неба валит снег, землю заволокла, забила пурга, и воет, стонет, беснуется ураганный ветер Приаралья? Не то что какие-то следы — в этой дьявольской мешанине невозможно, немыслимо даже представить, где сейчас земля и где небо, где восток и где запад, — все сошлось и смешалось... Да и разве не смешна, не безумна ли сама попытка искать в этом первородном смешении земного и небесного какие бы то ни было следы на земле, той земле, которая с самого сотворения своего была, подобно гулящей бабе, лишь ветром непостоянства и лжи, — искать да еще стараться при этом увидеть в них, мнимых следах твоих, некий спасительный здравый смысл? Не смешно, не горько ли?! О человек, человек... скорбна твоя мысль, длинны раздумья, но недолог путь. О глупец! Глупец!

Авторизованный перевод с казахского Герольда Бельгера и Петра Краснова.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

I

Писать об Ауэзове нелегко. Его книги издавались на тридцати языках народов мира, в том числе в таких странах, как ГДР, Болгария, Польша, Франция. О нем писали люди с *мировым* именем, есть много научных трактатов и серьезных исследований ученых-литературоведов, посвященных его творчеству. При жизни писателя устами таких литературных авторитетов, как Андре Стиль, Всеволод Иванов, Фаиз Ахмад Фаиз, прочно утвердилось за ним в наш скупой на похвалы практический век высокое определение — великий. Итак, что можно сказать еще о нем, как о ЧЕЛОВЕКЕ, тем более как о ПИСАТЕЛЕ?

Писать о нем вообще дело нелегкое. Не говоря уже о подвижнической его роли в развитии родной литературы, об оригинальном его таланте и поражавшей всех нас широкой эрудиции, даже в чисто человеческом облике Мухтара Ауэзова было столько необычного, яркого, порою противоречивого, что, кажется, ни одно из привычных слов не подходит для рассказа о нем. Он и внешне выделялся чем-то незаурядным, своим, ауэзовским. Необычайно широкий лоб ученого, спокойный и испытующий взгляд слегка прищуренных карих глаз, благородная осанка. И еще, у каждого из тех, кто знал и общался с ним, — свой Ауэзов. У меня тоже.

Хорошо помню: после войны в литературу шла совсем еще зеленая, безусая молодежь в пропахших пороховым дымом потертых шинелях. Все мы безумно были влюблены в Ауэзова. К обаятельному образу писателя, годами сложившемуся в народе, примешивалось, видимо, и наше пылкое юношеское воображение. Наряду с любовью к нему я еще испытывал какой-то необъяснимый, едва ли не священный страх молодого альпиниста перед величием горы.

Много воды утекло с тех пор. Люди — недолгие гости на земле; волна за волной приходили и уходили они, сменяя друг друга, встречаясь и тут же расста-

ваясь, промелькнув где-нибудь на перекрестке жизни. Ушли дорогие нам Каныш Сатпаев, Куляш Байсеитова, ушел и Мухтар Ауэзов. Среди нас уже нет его. И мы начинаем острее понимать, как нужен он нам. Он был признанным и испытанным авторитетом, при нем как-то спокойнее было за судьбу казахской литературы. Нас особенно восхищало в Ауэзове то, что он питал к молодежи чувство заботливой любви. Был он задушевен, искренен и прост. Как, бывало, он сиял, когда входил в его дом кто-нибудь из молодых. И какими щедрыми ауэзовскими эпитетами он только не одаривал их, сравнивая то с «молодой порослью», то с «дуновением свежего горного ветерка». Общение с литературной сменой, с людьми, которые собираются посвятить свою жизнь труднейшему из призваний — искусству слова, было для него частью его писательского труда. И мы, незаметно пригреваясь у тепла ауэзовского сердца, все больше и больше приобщались к его мудрости.

Мухтар Ауэзов пристально следил за творчеством молодых, он умел как никто другой опекать и оберегать их от гибельного и ложного пути в искусстве. Был он особенно чутким к первым произведениям начинающих. И мне вполне понятны причины, вызывающие дрожь в руках маститого писателя, когда он брал рукопись начинающего собрата. Он испытывал ощущение, подобное тому, какое испытывает отец, когда принимает новорожденного, еще совсем розовенького ребенка, завернутого в пеленки. Хотел он, видимо, быстрее узнать, каким будет «племя младое, незнакомое», которое создаст искусство завтрашнего дня, и какой мир идей, чувств, красок, форм, новых слов принесет оно людям, грядущему. Когда вспоминаешь о его чуткости, отзывчивости к творчеству молодых, с чувством гордости и благодарности отмечаешь широту натуры писателя. Он был наделен чутьем истинного, большого художника, не меньше болеющего за будущее родной литературы, чем за ее настоящее. Он верно и раньше других угадывал появление нового таланта. Раз угадав, уже не мог оставаться безразличным, а тем более безучастным к судьбе молодых. Так он поступил, написав напутствие Чингизу Айтматову — в тот самый момент, когда первые успехи совсем молодого киргизского писателя насторожили кое-кого из литераторов.

Мухтар Ауэзов хорошо понимал трудный рост на-

чинающих писателей, хотя у него самого не было так называемого «ученического периода». Вступил он в литературу на редкость сложившимся писателем. Один из самых ранних его рассказов «Сиротская доля» глубиной и широтой охвата явлений жизни и художественными достоинствами уже тогда достиг уровня европейской новеллистики.

В своем раннем периоде казахская художественная проза находилась под сильным влиянием народной поэзии, и особенно народных эпических поэм — дастанов. Явление это было, конечно, закономерным и вполне объяснимым. В течение нескольких веков наша литература развивалась в сугубо одностороннем направлении: в ней господствовали поэтические традиции. В начале двадцатых годов нашего века казахская проза только-только зарождалась, делала первые робкие шаги и, естественно, культуре построения сюжета и композиции, развитию действия она училась главным образом у народного эпоса. Мотивы народного эпоса накладывали глубокий отпечаток не только на архитектонику и композицию произведений, но и на лепку характера, на манеру повествования и даже на способы создания пейзажа и портрета. Языковая структура произведений этого периода отличалась, как правило, обилием высокопарных, традиционно пышных сравнений. Известно, что у литературы раннего периода бывают свои наивные прелести и красоты, как у детей, мило искажающих, казалось бы, самые простые слова. Подобные искажения, как бы грубы они ни были, не вызывают раздражения, наоборот, в определенной мере поэтизируют незрелую младенческую пору. Но если потом, повзрослев, литература продолжает все так же коверкать и искажать, то такое искажение может вызвать обратную реакцию. Милые детские недостатки к лицу только незрелому детскому периоду.

Творчество писателя нельзя отделить от родной почвы и рассматривать обособленно. Ибо творчество любого писателя мужает вместе с общенациональной литературой. Поэтому в творческом облике писателя отчетливо отражаются все достоинства и недостатки национальной литературы, столь характерные для ее роста. Окидывая мысленным взором творческий путь Ауэзова, мы, однако, убеждаемся, что он в этом вопросе является исключением. Молодой Ауэзов в двадцатых годах в условиях зарождающейся национальной литературы был

явлением необычным, ни на что не похожим, ставшим как бы качественным скачком и уже первым произведением, вырвавшимся на недосягаемое расстояние. Видимо, поэтому некоторое время его новаторские произведения остались непонятными не только широкому кругу читателей, но и самим литераторам. И пьеса «Енлик — Кебек», написанная двадцатилетним драматургом, тоже была новаторской. Она была впервые поставлена в ауле Абая, в двух спаренных юртах (одна из них служила сценой, другая как бы зрительным залом) у подножия Чингистау. Так зародился, по существу, первый казахский театр. И с него начинается национальная профессиональная театральная культура казахов.

В двадцатые — тридцатые годы молодым Ауэзовым написаны многочисленные рассказы, повести и драматические произведения. Ауэзов еще тогда не усложнял сюжетных линий, стремился к той простоте и ясности, которые впоследствии были неизменными спутниками его таланта.

В «Сиротской доле» развертываются события одной ночи, разыгравшиеся в одиноком, скорбящем о смерти кормильца доме, затерявшемся в степи на безлюдной дороге между городом и аулом. В образе волостного Ахана, мелкого и ничтожного распутника, обесчестившего беззащитную девушку, автор показал всю пошлость и мерзость, всю степень падения уродливого патриархального мира. В этом рассказе Ауэзов выступает не только обличителем темных, низменных сторон прошлого, но и глубоким гуманистом, понимающим нежность, хрупкость человеческого счастья, утверждающим, что посягательство на честь, на счастье человека равно посягательству на его жизнь, что унижение личности есть величайшее зло.

Умение находить в национальном общечеловеческое, общечеловеческое — в истории своего народа, на почве национальной среды, явилось характерной особенностью всего многогранного творчества писателя и в дальнейшем. Не случайно существуют различные мнения и некоторые относят ранние рассказы Ауэзова к произведениям критического реализма. Это вполне понятно. Литературная деятельность писателя началась на изломе старого и нового, на стыке двух взаимоотрицающих миров. На казахскую степь падали и тускнеющие лучи заходящего солнца, и молодой яркий свет утренней зари, и поэтому социальные противоре-

чия, раздирающие аул, проявились в эти годы особенно резко и обнаженно. Показывать, изображать изнутри, находить самое главное, осмысливать эти противоречия, борьбу между отживающим и нарождающимся, между дряхлым и молодым — прямая обязанность реалистической литературы.

Рожденная в бурное время революционных преобразований казахская проза с первых же своих шагов придерживалась этой тенденции. И одним из наиболее последовательных проводников этого направления был молодой Мухтар. И не случайно ранняя новеллистика Ауэзова живо перекликалась с творчеством его современников Ширван-заде, Садриддина Айни и Андрея Упита.

Суровый реализм оказал свою добрую услугу в становлении Ауэзова как художника. В жизни народа, сделавшего гигантский скачок от патриархально-общинного строя к социалистической формации, сложнейших проблем — социальных, общественных, этических и моральных — было более чем достаточно. Показать, отобразить эти бесчисленные проблемы и выпало на долю первому поколению казахских советских литераторов. Это явление было типичным не только для нас, но и для многих литератур Закавказья и Средней Азии, общественное развитие которых также происходило скачкообразно.

Творчество Ауэзова этих лет не определяется лишь критическим отображением действительности. Писатель глубоко вникает в самую суть сложных общественно-социальных перипетий, стремится осмыслить всю сложность эпохи, оценить по достоинству уходящее, передовое и отсталое, умирающее и зарождающееся. Не одни трагические мотивы определяют раннюю новеллистику Ауэзова. С завидным оптимизмом воспевает он силу народа, который не могли сломить вековые раздоры, угнетение, рабство; пытливый художник сумел подметить и показать неистребимое стремление народа к свободе, к знаниям и культуре. Со светлым лиризмом освещает он жизнестойкость и крепость духа народа. Воспевает и поэтизирует одно из самых благородных человеческих качеств — стремление к свободе. Гордое свободолюбие воспето им в аллегорическом рассказе «Серый Лютый». В нем писатель повествует о волчонке, попавшем в неволю к человеку, как он вырвался из неволи и предпочел сытому, рабскому плену голод-

ную, но гордую смерть на свободе. Рассказ этот созвучен со стихами венгерского поэта Шандора Петефи о волке и собаке. И у Петефи и у Ауэзова волк — голодный, бездомный, всеми травимый, но сильный своей свободой зверь — выступает как символ свободолюбия, а собака — как прямой пример унижения, трусости и жалкого прозябания. «Серого Лютого» по художественной силе и колориту можно сравнить с «Белым клыком» Джека Лондона. Написанный вдохновенной рукой мастера-ювелира, этот рассказ является в казахской новеллистике пока никем еще не достигнутой счастливой вершиной.

В своих рассказах Мухтар Ауэзов не только воспевал вольнолюбивый дух и извечное стремление казахов к свободе. Он был первым писателем-реалистом, глубоко проникшим в многовековую историю борьбы народа за национальную независимость.

В рассказах, написанных Ауэзовым в двадцатые — тридцатые годы, с исторической достоверностью показан процесс классового расслоения в степи и пути пробуждения и роста самосознания скотовода-бедняка.

Ауэзов не упрощает сложного процесса духовного пробуждения народа. В этом смысле особенно показательна его повесть «Караш-Караш». В ней писатель как вдумчивый психолог и опытный социолог последовательно проследил рост духовного самосознания и показал долгий и сложный путь прозрения еще вчера безропотного батрака, который настойчиво ищет свое место в жизни. Каждая ступень, каждый шаг пробуждения степняка показан убедительно.

Тема духовного пробуждения народа была главной в ауэзовских рассказах двадцатых — тридцатых годов. В них показана панорамная картина, полная гражданского пафоса и затрагивающая крупные социальные проблемы. Они явились как бы зачином, прелюдией к будущему широкому полотну, по праву ставшему энциклопедией народной жизни. Каждый рассказ писателя, взятый в отдельности, освещал ту или иную конкретную сторону многогранной казахской действительности, открывал сочные и яркие образы в соответствии с общественно-социальной правдой, с правдой характеров, показывал человеческое счастье и горе, радость и беду, любовь и ненависть, взлеты и падения. Взятые все вместе, эти рассказы открыли совершенно новый, неизведанный, не тронутый никем до

Ауэзова мир. Творчество Ауэзова явилось гражданским подвигом. И если казахский народ, пятьдесят лет назад не имевший своей письменной литературы, может нынче по праву гордиться литературой развитой и многожанровой, то этому взлету он в большой степени обязан таланту Мухтара Ауэзова. Свидетельством тому — монументальное творение писателя «Путь Абая», но о нем позже.

II

За последние полвека в литературе Казахстана зародились новые, обновились и обогатились старые жанры. И эти живительные процессы, которые происходят в организме нашей литературы, говорят, по-моему, о весьма внушительном сдвиге в духовной жизни нации. В этом благородном деле немалая заслуга принадлежит Мухтару Ауэзову. В этой связи позволю себе сказать, что в истории каждого народа есть личности, биографии которых отражают целые этапы развития и совершенствования национальной культуры. К числу таких людей у нас относятся в первую очередь Махамбет, Чокан, Ибрай, Абай и Ауэзов. Для нас, казахских писателей, независимо от возраста, степени таланта и популярности, благотворной почвой была и остается и поныне поэзия Махамбета и Абая, проза Ауэзова.

Сила Махамбета прежде всего в том, что даже после поражения народно-освободительного движения, в самый нравственно трудный период жизни нации в нем буйствовал неукротимый дух свободы, дух непокорности, непоколебимости в борьбе против царского и ханского произвола. И он в своей поэзии не переставал призывать соотечественников ломать, переделывать все косное, обветшалое, опротивевшее в укладе, поступках и нравах народа. И он был трибуном народного восстания и поэтом-бунтарем.

Потом, уже на стыке двух веков — минувшего и нашего, аналитический ум Абая указал соотечественникам, как преобразовать и, самое главное, — что преобразовать. После Абая, в советскую эпоху, появился молодой Ауэзов, и он вырос, воспитывался, мужал в этой двуединой колыбели своих великих предшественников. Ауэзова выковали они, и, в сущности, все его творчество стало высоким выражением духовных возможностей казахской нации.

Ауэзов был на голову выше всех, кого приходилось мне лично знать. Щедрый дар природы сделал его талант разносторонним: выдающийся писатель, пытливый ученый, блестящий оратор. Глядя на него, мы, бывало, поражались тому, как могло совмещаться столько редких качеств в одном человеке. И тогда нам казалось, что этот в меру солидный смуглый человек порою сам устает, находясь под грузом своего разностороннего таланта. Но у Ауэзова не было и тени душевной сытости и неподвижности, высмеянной еще Владимиром Маяковским. Вообще он, насколько мне помнится, никогда не бывал равнодушным и пассивным к происходящим событиям в этом отдающем пороховой гарью огромном, неспокойном мире. Начиная от погоды, от программы передач телестудии и радио, от первых стихов начинающего поэта, от манеры произношения слов и интонации какого-нибудь актера, вплоть до жилища чабанов на отдаленном пастбище — все, без исключения все интересовало, увлекало, волновало его, заставляя при этом постоянно бодрствовать и интенсивно работать его ум, фантазию и воображение.

Был однажды такой случай. Во время перерыва между лекциями в университете он вдруг глянул на портрет Абая, который бог весть сколько висел на стене кафедры казахской литературы, и люди как-то к нему привыкли, а он нет, с явным неодобрением заметил: «Да ведь настоящий Абай не такой. А этот больше походит на Калибека Куанышбаева»[1].

И его талант неусыпно бодрствовал, работал, вдохновение и порыв не покидали его, и он помимо своих романов и повестей всю жизнь не переставал восхищать нас, неожиданно блеснув то теоретической статьей о литературе, то чисто лингвистическим трактатом, то проблемным очерком о труде и быте чабанов. Несмотря на его кажущуюся внешнюю грузность, он в жизни был на редкость подтянутым и собранным. Особенно он преображался, когда работал. И не потому ли все созданное им — начиная от очерков до романов — отмечено блеском таланта, свежестью и оригинальностью мысли и способно захватить читателя, заставляя перенестись в мир его образов и мыслей.

Мне не раз приходилось слушать его лекции в

[1] Калибек Куанышбаев — народный артист СССР, исполнитель роли Абая в пьесе М. Ауэзова и Л. Соболева «Абай».

КазГУ, в МГУ, бывать на его встречах с молодежью и на литературных диспутах. И всякий раз я поражался, как много вкладывает он в каждое импровизированное выступление. Был он блестящим оратором. Умел говорить мудро. У него это получалось естественно, просто. Трудно было только вначале. Вначале он чувствовал себя неуютно, словно смущался людей в зале, притихших в ожидании чего-то необыкновенного в его речи. Иногда он мучился, кашлял беспрестанно. И долго собирался с мыслями, которые, видимо, как начало многоводной горной реки, теснились, бурлили со всех сторон, а он стремился совладать с ними и до времени сдерживал их.

Когда же наконец он начинал говорить, то речь его лилась в зал щедрым потоком. Люди слушали его затаив дыхание, настороженные, и свойственное его творчеству высокое вдохновение и здесь открывалось во всей полноте. Казалось, когда он говорит, в словах его нет ни одного упущения, ни одной недосказанной мысли и отклонения от темы. Каждый раз чудилось, будто он обладает какой-то сверхъестественной магической силой.

Однажды мне довелось видеть, как он работал. Последние три книги «Пути Абая» он диктовал. Так уж получилось, что, когда я вошел в его дом, дверь кабинета оказалась приоткрытой.

«Кони становились теперь силой разрушительной, подобной степному пожару, урагану или наводнению. Сплошной массой, покрывавшей целое поле, табун двигался в ночи, как некий тысяченогий и многозубый ненасытный разрушитель, и в голове этого гигантского чудовища, как одинокий драконий глаз, светлела лысина темно-рыжего такежановского жеребца. Он шел все вперед и вперед, фыркая, увлекая, ведя за собой табун», — диктовал он свою третью книгу, названную вначале «Акын-ага».

Я на какое-то мгновение забыл о цели своего визита, забыл, что невольно присутствую при рождении новых страниц ауэзовской эпопеи. Мое восхищенное воображение неслось вслед за этим диким, всепожирающим табуном, за «темной массой», как предельно точно назвал автор. За высокой приоткрытой дверью мне рисовался другой мир. Я не побоюсь назвать его *богатырским*. Там мерно вышагивал по комнате грузный человек с сократовским лбом, глубоко запустив в карманы крепко сжатые кулаки, напряженно вгляды-

ваясь куда-то в неведомый, только ему видимый и подвластный мир жарких человеческих страстей. В напряженный момент творческого вдохновения он был сосредоточенным, собранным; и он, мобилизовав свой могучий талант, безбрежные свои знания, свою неисчерпаемую память, диктовал, диктовал своим по-ауэзовски льющимся грудным голосом, не останавливаясь, не запинаясь даже случайно. Иногда он слегка покашливал, словно сдерживая поток мыслей, чувств и переживаний, нахлынувших вдруг в момент творческого вдохновения. И тогда за яростной дробью машинки слышался мне поток тысячекопытной лавы, бешено несущийся по выжженной солнцем сухой ковыльной степи. А все это вместе было неодолимой силой, неудержимым потоком, и руководить им мог только один человек.

— Все мы с детства знаем из географии: слияние многих ручейков образует реку. Иначе говоря, большое начинается с малого. Истина довольно простая. И вот совсем недавно я как-то глянул на географическую карту и неожиданно для себя открыл то, что меня поразило своей алогичностью, что ли, или парадоксальностью. Оказалось, что такие многоводные реки, как Ангара, например, или река св. Лаврентия, берут свое начало прямо из озер, первая из Байкала, а вторая — из американского Онтарио. Этим рекам незнакомо высыхание, обмеление и немощь обычных рек, они изначально полноводны: начиная свой путь из великого, неисчерпаемого, они несут свои воды к великому простору океана. Думая как-то об Ауэзове, о его могучем таланте, я неожиданно вспомнил о своем «открытии» — об этих реках и, пораженный, чуть ли не вслух произнес: «Так вот каков он!»

Но не следует, однако, думать, что Ауэзову была неведома так называемая «обратная сторона творчества», что ему никогда не было трудно, что он не испытывал столь известных миру творческих мук и создавал все свои произведения легко и просто. Наоборот, он часто бывал недоволен собой, хмур, иногда сердит, жаловался друзьям, что где-то, на каком-то проклятом месте, застрял; в такие дни у него появлялась особая, сердитая интонация, известная всем его многочисленным друзьям и знакомым. Даже разговаривая с ним по телефону, за тысячи километров, бывало, улавливаешь, как досадливо морщится его лоб, как

трудно ему вести беседу. Другой бы давно бросил трубку телефона, а его сдерживает с детства выработанная воспитанность, я бы сказал, природный такт. Временами он бывал холоден, сдержан, но всегда корректен со всеми. Такое происходило, когда его одолевали творческие муки, бессилие, или «невезение», как он сам называл. И этот волшебник, обладающий сверхъестественной силой, каким он показался мне, когда диктовал третью книгу «Абая», выглядел тогда изнуренным, несчастным, как бывает несчастен старый полководец, неспособный увлечь на штурм свое прежде испытанное войско. И наконец он, не выдержав колоссального напряжения, с горечью говорил машинистке извиняющимся голосом:

— Уж очень трудно начать эту проклятую. Извини, дорогая, приходи завтра!

А ведь мы знали, что Ауэзов, прежде чем диктовать, вначале долго вынашивал, набросывал на бумаге тщательно продуманные планы, знали, что он до романа много времени посвятил всестороннему и углубленному изучению истории и эпохи великого поэта.

Абай умер на стыке двух веков, когда уже довольно ясно обнажались противоречия нового со старым. Ауэзову в это время было семь лет, и он только-только начал всматриваться в окружающий мир. Будущий писатель успел увидеть Абая, начинавшего гаснуть под тяжестью тоски и горя. Потом Ауэзов жил среди многочисленных друзей, врагов, родичей и сверстников Абая, с которыми поэт сталкивался в самых разных жизненных ситуациях: присутствовал на острой полемике биев[1], где помимо прочего воздавалась хвала искусству красноречия, находчивости и остроумию того или иного оратора и решали большие дела двух или трех враждовавших между собой родов; ездил по аулам, устраивал разные дела, бывал на соколиной охоте, где веселилась, легко воспламеняясь, поэтическая натура неотразимым охотничьим азартом. Помните, как у автора: «Скакал с развевающимися полами чапана и что-то кричал, увлекаясь охотой, показалось, будто селезень сам упал на сокола и повис в его когтях».

Словом, Мухтар Ауэзов жил среди людей, которые знали и охотно передавали свои впечатления об Абае, о его делах, поступках, привычках, характере, с годами ставшими в сознании народа живой легендой и пре-

[1] Бий — судья.

данием, и, самое главное, будущий писатель воспитывался и рос под благотворным влиянием песен, стихов и философских назиданий Абая, в том самом ауле, недалеко от Чингистау, где веками не утихали поистине шекспировские страсти, где враждовали племена, не прекращались ночные набеги, взаимная барымта и угон табунов, умыкание девушек. В этой степи жили грозные Кенгирбай, Ускенбай, Кунанбай. У них были свои законы, свои правды, свои истины и нормы поведения — для женщин, для мужчин, для старых и молодых, — и попробуй осмелься не повиноваться или случайно отступить от коварной черты, установившейся веками незыблемым религиозным этикетом патриархально-родового аула. Отступника ждала жестокая расправа. Особо жестокая участь постигала молодых влюбленных, без благословения родовых старейшин пожелавших соединить свои судьбы. Так поступили аксакалы с Қалкаманом и Мамыр, с Енлик и Кебеком, потом, уже при жизни Абая, с Камкой и Кодаром. Чтобы устрашить молодое поколение, которое не боится божьей кары и все меньше почитает непререкаемый авторитет старших, старейшины родов прибегали к самым страшным казням: Қалкамана и Мамыр привязали к хвосту дикого коня, которого пустили вскачь по степи; Енлик и Кебека, связанных одним арканом, сразили стрелой, а их невинное дитя, как незаконнорожденное, предали неслыханной по жестокости смерти — оставили в безлюдной степи под палящим солнцем. Что касается Кодара и Камки, волей ага-султана[1] Кунанбая их убили на глазах старейшин сорока родов, повесив на горбах верблюда.

Шли годы, сменялись зима и лето, весна и осень, цвели и отцветали не однажды тюльпаны в степи, молодые старели, а старики умирали, распрощавшись и с многочисленными друзьями, и с врагами — со всеми, с кем за короткую жизнь свела их лукавая судьба; умирали и уходили они в небытие, оставив новому поколению дом свой, свои табуны, просторы джайляу, свои воспоминания, словом, все, что они за свою жизнь нажили, и только, казалось, уносили с собой зло века. Но зло не так-то легко уходило, изживалось со света, оно цепко держалось за жизнь, накапливалось, набухало в чреве дряхлеющего патриархально-феодального

[1] Ага-султан — старший султан.

строя; шли годы, одно поколение сменялось другим, но жестокие законы жестоких правителей степи старательно наследовались от отца сыном, от поколения поколением.

III

А Абай с юных лет видел произвол и беззаконие, творимые Кунанбаем. Легкоранимая душа его глубоко страдала каждый раз, сталкиваясь с многоликим коварством родного отца. В пору зрелости Абай искал поддержки у молодежи, делился с ней, надеясь, что молодежь поймет его, рассказывал о злодеянии, совершенном сто лет назад. И нынче сильные опять чинят насилие над беззащитными. Какими законами, какими обычаями оправдать произвол, не меняющийся на протяжении ста лет? Переменились только имена хищников (одного звали Кенгирбаем, другого Кунанбаем, а нынешнего Азимбаем) да изменились способы насилия: раньше убивали камнями, а теперь нищетой и голодом,— сокрушался Абай, чувствуя свое одиночество и бессилие.

В минуты отчаяния все говорило ему «об утраченной силе и минувшем счастье, о бессилии угасающей жизни». Абай внезапно чувствовал себя «осиротевшим, одиноким и усталым». Но он никогда не отказывался от борьбы, не сдавался без боя, всегда, когда бывало трудно, находил в себе силу и надежду. «Его сила — это поэзия, его надежда — народ. Но эта надежда еще в беспробудном сне. А сила его, не останется ли она непонятой, неузнанной? Хватит ли у него терпения, хватит ли воли,— воли стойкости в одиночестве?» — думал Абай. Сейчас, конечно, нам легко говорить о том, что сомнения поэта в минуты его душевной слабости были необоснованными, ибо каждый из нас знает сегодня, как поняло, полюбило, оценило по достоинству благородное отечество «скорбный труд» поэта. После Чокана Валиханова в то далекое время в степи никто так крепко, как Абай, не связывал свою судьбу с судьбой народа. Всю жизнь поэт носил в себе боль своего народа и унес ее с собой. Эта боль вызывала сочувствие и сострадание, воплощалась в стихи, в философские размышления — гаклии, придавала элегическую мягкую грусть его песням.

Изучая жизнь и творчество поэта, молодой Ауэзов

как бы сам пережил, переосмыслил заново всю эту тяжкую скорбь ушедшей эпохи. И недаром мы легко находим в Ауэзове роднящие его с великим поэтом схожие напевы не только в обобщении и осмыслении событий, но и в общности эмоциональной окраски. Но, воспитанный на лучших образцах русской и мировой классической литературы, Мухтар Ауэзов в начале двадцатых годов смотрел на казахскую действительность с принципиально новых позиций. Он считал, что молодая проза, развивающаяся в новых социальных условиях, должна стать наследницей и закономерным продолжением реалистической, демократической поэзии великого поэта, и недаром во всех произведениях Ауэзова отчетливо слышны мотивы абаевской поэзии, особенно заметно влияние его общественных, философских, эстетических взглядов. Вполне закономерно, что еще в ранних рассказах писателя мы часто встречаем картины, явления, противоречия старого патриархального аула, которые в свое время волновали поэта. Но если Абай, рисуя живые картины быта и нравов аула, был склонен к философским обобщениям, то в ранней прозе Ауэзова мы находим обстоятельный реалистический анализ этих же явлений.

Возьмите пьесу «Енлик—Кебек», одно из первых произведений Ауэзова, в котором так отчетливо определились его мировоззрение и идейная сущность его разностороннего дарования. Ауэзов вложил в пьесу весь сгусток боли, обид, укора и проклятия, не до конца высказанных великим предшественником скорбных дум. И начиная с этого спектакля, сыгранного в юрте задолго до открытия первого национального театра, писатель находит свою золотую жилу в нетронутых недрах народной жизни. И он был верен своей золотоносной жиле, работать всю жизнь, устремляясь как можно глубже в ее недра, в пласты истории народа, с такой же своеобразной сложной судьбой, как и судьба самого писателя. В каждой своей книге, независимо от жанра, от духовного ее настроя, он настойчиво интерпретировал историю народа. Вслед за «Енлик—Кебеком» появились «Қараш-Қараш», «Лихая година», «Зарницы», «Дос—Бедел дос» — и произведения, созданные в разные годы, в разных жанрах (многие из них в нескольких вариантах), едины и цельны в самом главном: в своей предельной национальности.

Ауэзов, как и его предшественники, с юных лет ор-

ганически сочетал в себе сострадание к страждущим и любовь к жизни и благодаря этим качествам он сумел ощутить чаяния народа как свои собственные. Он в одинаковой мере хорошо знал психологию простого пастуха и натуру степных властителей с их восьмистворчатой белой юртой, с двумя-тремя женами, табуном, пастбищем, колодцами. Его художественное чутье постигало все тайны жизни обширной казахской степи — быта, обрядов, ритуалов, психики и привычек народа, сердец влюбленных, горя и печали рано овдовевших женщин. Он восхищался высоким искусством степных бардов и рапсодов, понимал нужду бедноты, видел насилие сильных, бессилие слабых.

Среди казахских писателей до и после Ауэзова трудно найти другого, кто бы так тонко и верно улавливал запахи благоухающей степи, всевозможные звуки и краски, которые в его книге органически сливались с настроением и психологией человека. Вообще богатый, разнообразный ауэзовский пейзаж, красочно расцвечивая страницы книг, создавая настроение, дает объемность изображаемому предмету, оттеняет и делает его едва ли не осязаемым.

Позволю себе привести небольшой отрывок из его книги: «У самого подножия холма путников настиг ливень с порывами ветра. Но ветер скоро затих, ливень перешел в теплый дождь. Склоны Орды волновались бледно-зеленой порослью низкого ковыля и полыни. Молодой весенний дождь шумел веселым потоком. В лицо путникам, ехавшим по каменистой дороге, непрерывной волной лился запах полыни. Дождь пошел сильнее, тучи заволокли небо, совсем скрыв солнце, лишь над самым горизонтом повисла желтоватая мгла. Был ли это отблеск вечерней зари, или отражались в тучах солнечные лучи — последние лучи, потухающие, как слабеющая надежда? Еще немного — этот бледный отблеск света поблек. Туманное его зарево на миг сгустилось в темно-багровую завесу лишь для того, чтобы, утеряв последние краски, уступить на печальном бесцветном небе место ночной тьме.

Кони путников с громким топотом взлетели на небольшой холмик, и где-то впереди залаяли собаки. В сгущающихся сумерках замелькали то там, то здесь вечерние огоньки. Невдалеке, на берегу ручейка, возникли смутные очертания семи-восьми юрт небольшого аула. Крошечное стадо овец, несколько коров и верб-

людов залегли в укрытых от дождя местах, неженки козы молча прижались к подветренной стороне юрт».

После алых губ и черных глаз женщины вечерний закат издревле излюбленный поэтический предмет художников слова. О нем так много написано поэтами и писателями всех времен, что в наши дни возможности изображения заката вроде исчерпались, иссякли совсем. Писатели (а поэты тем более) стали невольно «перепевать» друг друга. В силу всеобщего пристрастия к вечерним закатам и зорям после русских писателей XIX века, особенно после Тургенева и Тютчева, и читатели, утратив в какой-то мере интерес, начали привыкать к обыденным старым понятиям, сравнениям, эпитетам о заходящем солнце, сложившимся в мировой литературе бог знает с каких еще времен. И недаром сейчас русские писатели весьма редко «любуются» закатом. Ауэзов, видимо, тоже опасаясь невольных повторов, осторожно, с чувством меры обращался к описанию столь заманчивого явления природы. В обширной своей эпопее он только вот тут обстоятельно рисует его, и под волшебным пером художника вечерний закат вдруг с новой силой оживает, переливаясь радужными красками весенней молодой травы, теплого дождя и наполняясь жгучими запахами полыни; при этом писатель щедро открывает нам ранее не подмеченные тайны в движении природы, порою поднимается до символики, как бы обобщая философский смысл происходящего. Видимо, есть доля правды, когда говорят, что книга богаче, чем жизнь в своих иных проявлениях. Познавая мир через хорошую книгу, человек гораздо полнее и глубже постигает его секреты.

Ауэзовские вещи настолько глубоки и серьезны, что они непременно требуют уединения, чтобы одному, в тишине, целиком покориться их величию, поразмыслить, помечтать. Ауэзова недостаточно уметь читать, уметь волноваться и восторгаться им; чтобы глубже понять его, надо погрузиться в ауэзовский сложный, как сама жизнь, мир.

Ауэзов был влюблен в свой народ, в степь, в стихию природы. Его поражали жизнелюбие и нравственное величие, щедрость духа, стойкость, терпеливость, выносливость родного народа — с одной стороны, и губительное влияние царской колониальной политики, всячески поощрявшей самые отрицательные черты патриархально-родового строя — взаимно непрекращавшиеся

ссоры многочисленных племен, барымту, взяточничество,— с другой. Это видение противоречивых сторон национальной жизни, пожалуй, и определило наиболее характерные для Ауэзова узловые средоточия конфликтов. Безусловно, все то, что было начато, прощупано, угадано в ранних произведениях молодого Ауэзова, потом найдет свою монументальную, скульптурную законченность в главном его произведении — в эпопее «Путь Абая».

Абай — лицо историческое. За исключением немногих, все основные герои книг — Ербол, Жиренше, Байсал, Байдалы, Божей, Такежан, Суюндик, Айгерим, Улжан — одни в большей, другие в меньшей степени представленные — исторически достоверные личности, жившие под одним небом с Абаем. И в силу этого все события, развертывающиеся в романе, почти не выдуманы. К тому же любая настоящая книга, как бы ни довлели над ней домысел и личная биография писателя, так или иначе несет в себе основную правду своей эпохи. Чем произведение правдивее и искреннее, тем оно историчнее. В этой связи нельзя не согласиться с оригинальным высказыванием русского историка В. О. Ключевского, когда он говорит, что в «Капитанской дочке» Пушкина больше истории, чем в «Истории пугачевского бунта». Когда мы говорим о реалистическом отображении действительности, наши выводы сводятся к одной очевидной истине. Мы имеем в виду правду событий и достоверность конкретных исторических фактов, не подозревая, что за этим может стоять более сложная и важная правда для писателя — «закоулки души человека». Основная правда таится в психологии персонажей романа, с жизнью которых оборвались, скрывшись за далью времени, и их индивидуальные черты. Без постижения психологии каждого из них невозможно индивидуализировать их потом в книге и воссоздавать образ того или другого героя. Помимо этих и прочих общеизвестных трудностей, в одинаковой мере испытываемых всеми писателями во время работы над произведением, Ауэзов, который обратился к истории народа, столкнулся с еще немаловажной трудностью, специфической только для казахского писателя.

Казахи до нашествия монголов считались народом с древней культурой, имевшим довольно широко известные в Европе города, такие, как Отрар и Тараз. И особенно Отрар — цветущий культурный центр казахов

(в истории известных под названием кипчаки), со своей обсерваторией, библиотеками, медресе и караван-сараем, принимавшим богатых купцов неведомых дальних стран. И тот город в степи первым оказал сопротивление черной туче, наползавшей с востока на запад,— войскам Чингисхана и был сметен ими с лица земли. После этого поражения казахи, как народ, занимавшийся в основном экстенсивным методом хозяйствования, скотоводством, рассеялись по степи, по горестному выражению самого Ауэзова, «словно жалкая горсть баурсаков, высыпанная скупой рукой хозяйки на широкую скатерть...». С тех пор «измучен и несчастен казахский народ, чья родина — широкая безлюдная степь. Его одинокие аулы затеряны в громадной пустыне. И так везде, где живут казахи... Безлюдье вокруг. Нет постоянного обжитого места. Нет кипящих жизнью городов!». И в силу этого для писателей, обратившихся к далекому прошлому своего народа, первой трудностью было полное отсутствие каких-либо исторических документов и летописей, так как кочевой народ не имел после Отрара ни библиотек, ни музеев, ни архивов, откуда бы извлек он себе письменные сведения о былой жизни народа.

Писатель терпеливо и настойчиво шел в потемках истории по следам своих предшественников, все дальше углубляясь, искал, собирал по крупицам факты в основном из уст стариков-сказителей, иногда случайно находил какие-то еле уцелевшие в памяти народа осколки той далекой, неведомой жизни. Большую правду о своем народе, столь редкой трагической судьбы, он слагал из крупиц, по капельке, подобно великой труженице пчеле.

«С этими воспоминаниями приходилось обращаться бережно и осторожно,— признавался сам Аэузов,— так запоздалый путник, отыскав в пепле костра, оставленного давно ушедшим караваном, тлеющий уголек, бережно и осторожно раздувает его, вызывая своим дыханием огонь. Восстанавливать по этим рассказам давно ушедшую жизнь было так же трудно, как по облику шестидесятилетней Айгерим представить себе всю прелесть ее девичьей красоты, пленившей когда-то Абая».

Ауэзов всю жизнь изучал Абая. И не только как будущего литературного героя своих романов, пьес, либретто. Немало положил он труда и усилий чисто исследовательского свойства — об Абае им написан ряд

научных исследований и монографий. Мало того, он ввел в программу университета специальный курс изучения творчества Абая. Ко всему этому следует еще добавить редкое сочетание его стоического терпения с высокой культурой писателя, с его собранностью и организованностью, что стало в конечном счете одним из главных залогов его несомненного успеха и победы в создании целой галереи образов.

Я допускаю мысль, что Ауэзов с первых рассказов, незаметно прошедших в Казахстане, знал (знал наверняка!) о своем великом призвании и верил в свою литературную звезду, которая засияет потом для духовного расцвета нации. Ауэзов, как никто другой, верил в себя, в свои силы, но он не был самоуверенным. Трезвость ума способствовала подспудно выработке еще одного, столь необходимого как для писателя, так и для полководца качества — осторожности. Не опасливость и оглядка, а трезвая оценка возможностей нужна им для того, чтобы сдерживать себя от соблазна легких побед.

Ауэзов был писателем в высшей степени требовательным к самому себе. Он взялся за эпопею только лишь после того, как стал человеком, наиболее глубоко посвященным в творчество и жизнь Абая. И лишь тогда он отважился взяться за одиссею казахской степи. За несколько лет перед тем как основательно сесть за роман «Путь Абая», он, как бы еще раз пробуя свои силы, накануне столетия со дня смерти Пушкина написал одну главу из конца второй книги эпопеи, получившую потом название: «Как запела Татьяна в степи». Итак, он своим многолетним трудом создал абаевско-ауэзовский мир. Соприкасаясь с его эпопеей, читатели с удивлением и восторгом открывают для себя этот большой и волшебный мир — мир бессмертных, истинно народных характеров и образов, глубоких жизненных ситуаций, широких, потрясающе ярких картин жизни — высокие образцы подлинного мастерства.

Мысленно прослеживая мучительные пути создания первой казахской эпопеи, легко убедиться в том, что писатель брался за перо лишь тогда, когда он «достигал полного духовного слияния с каждым из основных действующих лиц, с каждым из наиболее типичных персонажей» (Ромен Роллан). Без такого полного и проникновенного постижения внутренней сущности героев, без фактического слияния с их мироощущением невозможно вообще постичь во всей глубине самую суть

эпохи — духовную, нравственную, философскую и социальную сущность нации — в один из наиболее противоречивых моментов в ее истории.

Непреходящая заслуга Ауэзова не исчерпывается лишь созданием классических образов. Он воскресил для нас целую эпоху в нелегкой жизни народа как реалист, строго соблюдая при этом правду. Благодаря его эпопее сызнова ожили в нашей памяти все картины абаевской эпохи, начавшие уже тускнеть и забываться. Вот почему народ благодарен писателю, воссоздавшему, кроме всего, широкую панораму, где охвачены все аспекты жизни с ее всевозможными обрядами, обычаями, нравы, религия, судопроизводство. И поэтому прав был академик Сатпаев, когда характеризовал этот роман «как подлинную энциклопедию всех многогранных сторон жизни и быта казахского народа во второй половине XIX столетия», и поэтому многочисленные читатели полюбившегося им романа дружно согласились с определением ученого. И действительно, эпопея Ауэзова помимо своих несомненных литературных достоинств представляет еще и научную ценность. А это одинаково важно и для читателя, и для ученого, занимающегося историей, экономикой, этнографией и юриспруденцией казахского народа середины XIX века. Ибо, перефразируя высказывание Ключевского, можно уверенно сказать об эпопее «Путь Абая», что в ней больше истории, чем в истории самого Абая.

IV

Талант нуждается не столько в похвале, сколько в справедливости. Талант, как прекрасный дар природы, принадлежит народу, той нации, которой обязан писатель своим призванием и жизнью. Ибо талант — проявление лучшего качества народа. Недаром талант испокон веков считался самым лучшим достоянием и бесценным богатством нации.

В оценке творчества талантливых сынов казахские литераторы должны прежде всего учиться великодушию и справедливости у русских. И тогда мы сумели бы у себя пересмотреть с современной позиции творчество некоторых несомненно одаренных писателей и поэтов и по-новому осмыслить и оценить их произведения. Не говоря о других, по неведению и невежеству некоторых литераторов долгое время приписывались

Ауэзову какие-то грехи в идеализации прошлого. Говорить сейчас об этом излишне. В оценке литературы и искусства сейчас мы стали несравненно объективнее, честнее и историчнее. В своем мировоззрении и творчестве Ауэзов был гуманистом и интернационалистом. В своих лучших произведениях он неизменно воспевал дружбу народов.

Вообще все наиболее талантливые и образованные сыны нашего народа — и Чокан, и Ибрай, и Абай — проповедовали идею дружбы народов. Еще в начале XIX столетия они видели невозможность приобщить свой народ к европейской культуре без подлинной дружбы с русским народом.

Духовное тяготение к свету и знанию наблюдалось и среди простого народа. Если присмотреться внимательнее, то нетрудно увидеть, что дружба двух наших народов уходит своими корнями в далекое прошлое, хотя в те времена обширная земля казахов, по образному выражению казахского поэта Олжаса Сулейменова, «огромной каторгой плавала на маленькой карте». Передовые люди русской интеллигенции тогда еще проложили первые тропинки дружбы в нашу степь. Они не знали казахского, а казахи — русского языка. Но общечеловеческий гуманизм быстро находит дорогу в сердца простых людей. С ссыльным Достоевским дружил и переписывался Чокан Валиханов, которому великий русский писатель советовал быть «просвещенным ходатаем своего народа». Двадцатишестилетний Чокан, блестящий офицер, был членом Императорского Русского Географического Общества. Что касается Михаэлиса, сосланного в степь по мотивам неблагонадежности политических взглядов, то он дружил с Абаем, не раз бывал, гостил в его ауле. Долголетняя дружба двух передовых людей своего времени не могла не оставить своих следов в истории казахского народа. Михаэлис приобщил казахского поэта к передовой русской культуре и литературе. По совету своего русского друга Абай постоянно читал журнал «Современник» и увлекался трудами философов и классиков русской, европейской литературы. Известный американский путешественник и журналист Джордж Кеннан писал об Абае этого периода с восхищением: «Мне рассказали об одном пожилом казахе Ибрагиме Конобае[1], частом

[1] Ибрагим Конобай — Ибрагим (Абай) Кунанбаев.

посетителе библиотеки и читающем Милля, Бокля, Дрэпера и других. При первой же встрече он удивил меня просьбой рассказать об индукции и дедукции. Он, оказывается, сильно заинтересовался английским и западноевропейскими философами. Когда мы дважды говорили о книге Дрэпера «Из истории общественной мысли в Европе», он обнаружил большое знание предмета»[1].

Абай блестяще переводит стихи Пушкина, Лермонтова, Крылова, Гете, сочиняет музыку на стихи Гете «Горные вершины» и на письмо Татьяны к Онегину. Благодарный Абай всю жизнь хранил тепло в своем сердце к русскому другу — Михаэлису, который как бы взял казахского поэта «за руку, повел на какую-то вершину, показал оттуда стоянки всех народов всех времен и объяснил: что все люди — сородичи, пусть хоть дальние». Потом с вершины просвещенного своего ума поэт мог заявить о себе в полный голос: «Мне радостно, что я не только сын казаха, но и сын всего человечества».

Спустя полвека, когда Ауэзов приступил к своей главной книге, он выбрал одной из главных тем эпопеи именно дружбу Абая с Михайловым, прототипом которого был Михаэлис; не думаю, что это было случайно. Гуманист Ауэзов прекрасно понимал духовную значимость интернационального единения людей благородных помыслов.

Ауэзов был одной из самых колоритных и сверкающих новизной страниц многонациональной советской литературы. Он этой страницей и остается. Для нас, казахов, он больше чем писатель, ибо так велико его место в нашем национальном самосознании и в духовном возрождении, что творчество его выходит за пределы его огромной чисто литературной деятельности.

И сейчас, когда черта смерти отделила от нас этого поистине великого художника, точное и объективное определение его места в нашей литературе, в нашей нравственной жизни — задача далеко не из легких. Видимо, это даже не потому, что еще не исчезли и не так скоро исчезнут те сложные оттенки наших с ним человеческих взаимоотношений, что он еще слишком жив в нас, идет в общем строю, поддерживая и радуя одних, как в былые времена, и, может быть, даже в комто вызывая досаду. Мы все еще живем под его боль-

[1] Джордж Кеннан: Сибирь и ссылка. СПб, 1906, с. 123—124.

шим личным обаянием и стараемся смотреть на мир его глазами. Поэтому сказать окончательное слово о нем и подытожить все им написанное, мне кажется, пока невозможно.

Разве можно подытожить, окончательно определить то явление, которое еще не окончено и продолжает свою тенденцию? С этим явлением — имя которому Мухтар Ауэзов — от начала своего до современного уровня связана наша письменная литература. Казахские писатели не могли миновать этого огромного художественного опыта. И каждый по-своему учился у него. А те, которые начинали с ним вместе или раньше, при всем своеобразии их таланта, самобытности и несхожести творческого почерка не могли не присматриваться и не сверять своего пути, хотя бы с дистанции, по этому яркому художественному ориентиру в молодой литературе.

Очень долго и трудно вынашивал его наш народ. Оторванный от мировой цивилизации, в темноте, в тисках двойного гнета, народ веками взвешивал и углублял свою мудрость, оттачивал свой язык, собирал, копил и откладывал, как крупицу золота, бессмертные слова-сокровища. И через несколько веков — в советскую эпоху — щедрыми руками своего просвещенного сына выплеснул все это богатство, немало удивив гордый цивилизованный мир.

Именно об Ауэзове мы можем сказать, что он преобразил нашу художественную мысль. Он поднял ее на самый высокий современный уровень. Удержать теперь казахскую литературу на том уровне, на который поднял ее Мухтар Ауэзов, — вот самое тяжелое, но самое главное дело чести и совести каждого писателя. Сейчас, как никогда, его творчество, его труды и раздумья свято чтит народ, для возвышения которого он сделал, несомненно, больше, чем кто-либо из живших на земле казахов. Каждый, кто берет на себя смелость называться учеником Ауэзова, должен проникнуться сознанием ответственности перед памятью художника и перед своим временем. Чтобы идти дальше, сделать больше, нам необходимо прежде всего вобрать в себя ту беспредельную любовь, которой он был наделен, его культуру, язык, выработать, наконец, у себя те редкие качества, которые отличали этого человека во все дни его насыщенной жизни.

Ауэзов не искал легких путей в творчестве. Он поставил перед собой сложную задачу. Он учил и писал,

что человек во всей объемности его психики еще слабо сегодня показан литературой. Сетовал на то, что литература отстает от жизни. Ему казалось, что писатели «работают, словно скупясь, вполсилы». Не удовлетворяли его и образы современников, выведенные в казахской прозе. Он хотел показать современного человека во всей многогранности его гражданского, нравственного, психологического, интеллектуального облика в труде, в быту, в горении и сложных взаимоотношениях с окружающим миром. Создание образа подлинного героя, глубоко и ответственно мыслящего о своем времени, стало смыслом творческой деятельности писателя. И после завершения «Пути Абая» он сразу взялся за работу над новым романом, последним произведением своей жизни. Работал напряженно. Обуреваемый новой идеей, сделался еще более беспокойным, страстно ищущим, любознательным ко всему, что касалось жизни современников.

Несмотря на свои немолодые уже годы, он часто ездил по аулам чабанов Южного Казахстана. Видя недостатки, говорил о них резко, остро, по существу. Злило его равнодушие, леность, беззаботная сытость духа некоторых местных руководителей. «Нестерпимы условия, в которых живут и трудятся чабаны и их семьи на отгонных пастбищах. У нас в республике часто проходят совещания по животноводству, разгораются страстные споры о том, как увеличить поголовье скота. А вот подумать о чабанах, о ликвидации диких азиатских уголков — без школ, книг и газет, без магазинов, бань и больниц, без сколько-нибудь терпимых жилищ — об этом мы подумать никак не соберемся», — выступил он однажды со свойственной ему прямотой в центральной печати. Оставалось ему жить-то мало, какие-нибудь считанные дни. Может быть, он чувствовал это. В эти дни он жил очень наполненно и активно, старался, насколько позволяло пошатнувшееся здоровье, побывать везде и всюду, видеть глазами будущего героя своей книги, видеть как можно больше, объемно, вникать и осмысливать все аспекты жизни. И он ездил по аулам, бывал в самых отдаленных уголках на юге. Помнится, как он, превозмогая боль, с карандашом и записной книжкой в руке слушал людей. Иногда, неожиданно встрепенувшись, он оживлялся ненадолго, вступал с кем-нибудь в спор, соглашался или отрицал...

Однажды он встретился с чабанами крупного кол-

кони. Встреча состоялась за аулом на бугре, где сидели чабаны, ожидая любимого писателя. Не заставляя долго ждать, появился и он. Шел он радостный, с сияющей улыбкой на усталом лице, наклонами головы он отвечал на приветствия собравшихся. Прошел на середину, на ковер и сел по-восточному, поджав под себя ноги. Обвел взглядом притихших людей и, как всегда слегка покашливая, заговорил:

— О люди! Может быть, отличает меня от вас лысина ученого мужа, а во всем остальном — в думах и помыслах своих — я вместе с вами!

И действительно, тут он был другим человеком, не похожим на изысканно интеллигентного писателя. Теперь он скорее всего походил на древнего и мудрого старца Востока, проведшего всю свою жизнь в этой степи, среди вот этих простых и честных людей.

На долю его выпала нелегкая судьба. Чего скрывать, бывали годы в жизни писателя, когда он оставался в плотном кольце одиночества. Единственным спасением было для него то, что в трудные минуты он неизменно выбирал себе трех верных спутников: *труд, терпение и упорство.*

Человечество помнит немало подвигов, заслуживших благоговение потомков и ставших для них примером подражания. Могут исчезнуть цветущие города под копытами коней завоевателей, могут исчезнуть языки под прессом каких-то безжалостных социальных ситуаций, бесследно кануть в прошлое, раствориться в бездонной пучине другого языка, языка более могущественного народа. Все это может случиться, но благородные подвиги человеческого гения не померкнут никогда в сознании людей и, как Млечный Путь в истории человечества, будут сиять из глубины далеких веков. Когда Магеллан открывал новые земли, а старец Галилей упрямо повторял даже под страхом пыток свое ясновидящее «а все-таки она вертится»,— бесспорно то, что с ними были эти великие спутники истинных мужей науки и литературы — *труд, терпение и упорство.*

Когда писатель идет трудной дорогой, выбирает себе трудную судьбу, он должен быть сильным и мужественным. И он непременно добьется победы. Этому учил нас Мухтар Ауэзов, учил тех, кто избрал судьбу писателя и идет писательской тропой, взвалив на плечи всю *боль, гнев, радость, страсть, порыв, дерзания и мечту человечества.*

ОЩУЩЕНИЕ БЛИЗОСТИ

Говорить о писателе всегда представлялось мне трудным. Еще куда ни шло, когда это твой товарищ по перу, зачастую просто друг, с которым связывает тебя общность творческих забот и мыслей. А когда, к ужасу твоему, оказывается вдруг перед тобой великан с нахмуренными бровями, с острым, насквозь пронизывающим взглядом, и к тому же смотрит он со своей пугающей высоты на тебя сверху вниз, смотрит с явным неодобрением, будто угадав твое намерение... Вот тогда поневоле теряешься. Ты уже знаешь безумие своего поступка, ты осознал всю нелепость своего положения, готов отступить. Теперь у тебя остается одно скромное желание: поделиться с людьми своим потрясением, вызванным соприкосновением с великим писателем русской и мировой литературы. И смысл всего твоего путаного объяснения может свестись, в сущности, к повторению лишь одной бесхитростной истины: нельзя объять необъятное.

Но при этом невольно убеждаешься в том, что никаким способом не можешь заставить себя забыть о нем. В самом деле, возможно ли вообще забыть о таком не вмещающемся в воображении, неохватном явлении природы, наподобие, скажем, горы, возвышающейся над миром, с любого конца земли напоминая о себе? В силу своей необъятности она всюду оказывается на твоем пути и призвана будоражить умы, волновать чувства.

И поэтому все наши помыслы обращены к нему, и все мы думали и думаем о нем. Думали и думаем, в частности, о том, что в истории человечества он был одним из немногих людей, духовную власть которых не перестаем ощущать мы всегда и всюду. Вряд ли отыщется сейчас такой уголок на земле, где люди в своих лучших устремлениях и начинаниях не испытали бы его благотворного воздействия на формирование своих воззрений и нравственных принципов. И нет, пожалуй, человека, душа которого, будучи открыта прекрасному, в своем благородном порыве прямо или косвенно не ощущала бы духовной связи и общности миропонимания с ним. Не будет преувеличением, если скажу, что в творчестве Толстого кроется нечто роднящее его с небесным светилом — некая животворящая сила, сквозь толщу слоев атмосферной массы проникающая во все уголки

планеты. В такой же мере произведения Толстого, преодолев языковые, социальные и иные барьеры, еще при жизни писателя завоевали малые и великие народы независимо от уровня их развития, неся с собой самую благотворную, гуманистическую идею. И сами люди, влекомые неудержимым ответным стремлением, тянулись к нему, к словам, мыслям и чувствам, так же как к нравоучениям великого правдоискателя земли русской. По мере роста его всемирного авторитета росли и ряды поклонников писателя, охватывая народы, страны и континенты.

В этой связи невозможно обойти вниманием один поразительный случай, имевший место в истории моего народа еще на стыке двух веков — минувшего и настоящего. Этот случай-феномен вдвойне трогателен и значителен, если учесть, что произошел он в самом отдаленном уголке отсталого феодального Казахстана.

Бережливая память народа, донесшая до нас бесценные устные сокровища предков, сохранила наравне с преданиями и легендами и рассказ о том, как после смерти великого Абая один из его талантливых учеников, в свое время блестяще осуществивший перевод «Дубровского» Пушкина, не переставал заявлять и устно и печатно, что он является учеником Толстого. И он посвятил стихотворение великому русскому писателю, где не побоялся гордо и дерзко заявить всему старому исламскому востоку: «Один Толстой праведнее тысячи суфиев», и, движимый чувством любви и признательности к гению человечества, послал к нему специального нарочного с приглашением в далекий Чингистау. Великий писатель ответил трогательным письмом, утерянным, к сожалению, сейчас, что он стар и расстояние для его возраста слишком велико.

Как видим, семя, брошенное заботливой рукой Абая на самую, казалось бы, бесплодную почву азиатского Востока, не замедлило, однако, дать ростки, пускай еще слабые, одинокие, но жизнелюбивые побеги. И что примечательно, этот росток средь тьмы невежества, не оставлявшей, казалось бы, малейшей надежды на жизнь, пробив глухую немоту, потянулся к свету, к знанию, искал, жаждал его живительной силы. Таким образом, в далеком ауле, в урочище Чингистау, жил талантливый человек — Абай, родоначальник казахской письменной литературы, тянувшийся к свету поэзии Пушкина, ощутивший жизненную необходимость и духовную потреб-

ность приобщения к передовой русской культуре. Почти в одно время с ним жил на другом конце степи еще один просвещенный сын казахского народа, причисливший себя к ученикам Толстого. Это был первый казахский просветитель Ибрай Алтынсарин. Подхватив благородный почин великого русского писателя, он открывает в Тургае на свои средства первую школу для казахских мальчишек. И по образцу яснополянского букваря составляет, впервые прибегая к столь удобной и простой кириллице, казахскую хрестоматию для своих питомцев. Для них же он переводит на казахский язык короткие детские рассказы Толстого. Вот так, благодаря усилиям названных мною великих сынов нашего народа, еще в начале нынешнего века два гиганта русской литературы — Пушкин и Толстой одновременно вступили в степь кочевников.

С тех пор прошло около века. Пройдет еще не один век, а такая естественная, сердечная тяга народа к свету и знаниям не иссякнет никогда. Не одному поколению в будущем придется обратиться к светлой памяти великого писателя, с годами не тускнеющей в сознании потомков, к его бессмертным трудам, благородством души отмеченным делам, в надежде получить ответ на вопросы, мучающие людей.

СЛОВО О ДОСТОЕВСКОМ

I

Не будет, пожалуй, плодом поэтического воображения, если скажу, что сегодня витает над миром бессмертный дух Достоевского, которого, как вы знаете, человечество вот уже более ста лет называет *великим страдальцем*. Не помню я, кого народы мира, какого пророка, святого, мыслителя еще называли в истории человечества с таким чувством любви, жалости, уважения, как его, Достоевского. А называли его так не потому ли, что сам он всю жизнь относился к народу не иначе как с болезненным состраданием, понимал с раннего, юношеского еще возраста нужду и горе обездоленного люда с окраины большого города, улицы Божедомки, прозванной так, видимо, не без иронии на несправедливость судьбы к бедному люду.

Вслед за Пушкиным и Гоголем пришел он в литературу. Благодаря титаническим усилиям названных двух гениев русская литература вдруг резко поднялась и вышла из привычных берегов. Благодаря Пушкину и Гоголю русская литература обрела поистине гражданскую смелость, превратилась в грозную социальную силу, в трибуну, с которой «глаголом жгли сердца людей». Как и его великие предшественники, Достоевский тоже с первого же литературного шага смело взошел на эту трибуну чести и совести. И он готов был посвятить бедным людям самые горячие порывы большого сердца. И он, как никто другой, имел на это полное право. Ибо нервно впечатлительный, тихий и робкий мальчик со дна Божедомки, с раннего детства видевший, наблюдавший жизнь людей бедных, он лучше и глубже других понимал думы, чаяния и стремления людей из низов, сочувствовал им, страдал, служил им, пусть по-своему, с мрачной преданностью, но служил, служил до конца жизни, до последней капли, отдавая всего себя, все то, что было ценное и святое в его так щедро одаренной могучим талантом натуре, названной впоследствии «необъятной вселенной».

Величие нации не определяется ни количеством населения, ни непомерной громадностью территории, которую она занимает, ни шумными городами, ни заводами. Видимо, тут надобно применять другую мерку и нужна другая статистика. Величие нации, скорее всего, измеряется великими подвигами ее сынов. Лавровый венок, венчающий голову героя, прежде всего украшает чело отечества, духовно возвышая перед миром. Одним из таких избранных сынов, которому суждено было умножить славу России, поднять ее и возвысить, и был Достоевский.

Бывают личности, дела и заслуги которых перед человечеством и историей настолько огромны, в них, как в недрах самой природы, бывает столько неожиданных тайн и загадок, что перед любопытным взором каждого нового поколения неизменно появляются какие-то сюрпризы, прямо-таки ускользающие и не поддающиеся осмыслению, обобщению и окончательной оценке. К одной из таких вечных загадок века относится прежде всего творчество Достоевского.

Бывают поэты одного поколения, даже одного сезона. Поэт, еще не так давно вызывавший шумный восторг, рукоплескания, скажем, у своих современников,

нередко, когда терпит неудачу, теряет прежний лоск и блеск, едва переступив порог другого поколения. И вчерашний кумир публики, вдруг смутившись своего неожиданно наступившего неловкого состояния, подобно освистанному актеру, уходит со сцены, никем не замеченный, и растворяется в безымянной толпе. Достоевский же умел видеть и понимать проблемы не только одного своего века. Поднятые им проблемы продолжают и поныне волновать умы и сердца людей.

Помимо России, и во всей континентальной Европе непререкаемое и всеобщее признание прочно утвердилось еще при жизни писателя, а после смерти незамедлительно пришла к нему подлинная мировая слава. С тех пор власть его духа растет, становится реальной силой в мире. И вот уже больше ста лет этот печальный друг человечества, точно такой, как при жизни, угрюмый, нахмуренный и с неоттаиваемой грустью на бледном лице, уверенно стоит во главе несметного количества своих героев — людей бедных, обиженных и оскорбленных,— которым дал он жизнь, дал бессмертие, и совершает триумфальное шествие, все более проникая в самые отдаленные уголки земного шара, настойчиво и упорно расширяя сферу своего духовного влияния.

II

Мы довольно часто говорим, что природа, тысячелетиями пестуя свое подопечное дитя, придает в конечном счете его облику удивительную схожесть с собой. Но, однако, это не дает основания считать с виду молчаливо-суровых людей северной страны в глубине души скованными холодом. Для них плотно сжатые тонкие губы, холодный взгляд из-под сдвинутых бровей и способность при любых жизненных ситуациях сохранять невозмутимое, ровное состояние — просто защитное средство, маска, которая призвана оберегать, скрывать горячие порывы. Если этот человек — художник и он к тому же еще гениален, то его внешняя суровость, доходящая, быть может, до мрачности, как нельзя к лицу. Но хмурое состояние не всегда является непременным условием, могущим вызвать гром и молнию. Чуткая душа художника подобна струне настроенного музыкального инструмента. Стоит слегка коснуться ее, как она заговорит сразу, запоет, а если уж задеть больно, то и зверем завоет.

Видимо, не случайно, что два великих сына самой суровой страны — Григ и Ибсен сумели, на мой взгляд, лучше других воспеть божественно нежно, казалось бы, самые неуловимые оттенки тончайших человеческих чувств. Суровые условия — природные или общественные — закаляют человека, делают выносливым. В жестокой борьбе куется твердость духа и несгибаемая сила воли, характер борца.

Достоевский среди великих русских художников слова был одним из тех, кого будто сама природа нарочно хотела со дня его рождения испытать на прочность. С раннего детства Достоевский был физически слабым, впечатлительным ребенком. Конечно, при нормальных условиях жизни человек с такими неуемными задатками силы воли, как у него, быстро сумел бы восстановить здоровье. Но Достоевскому изначально была уготована другая судьба. Великомученическая жизнь его изо дня в день подвергалась несчастьям и потрясениям все более тяжким и трудным. И он, как мужественный солдат в бою, всю жизнь вел борьбу с неравными по силе противниками, истекая кровью, падал, но всегда вставал, наперекор своей злой судьбе, шел вперед к заветной цели. Иной раз казалось, что последние силы покидают слабое тело писателя, но он, как чудо-герой из любимой сказки народа, и тогда жил, продолжал борьбу, всегда на последнем дыхании. Мысленно прослеживая жизнь писателя, приходишь к убеждению: был он рожден для борьбы. Еще в начале жизненного пути Достоевский тщетно боролся с отцом-деспотом за свое будущее. Проиграв первый поединок, он становится юнкером военно-инженерного училища. Вскоре состоялось знакомство его с членами тайного кружка петрашевцев. Затем — разгром кружка, расправа, кандалы, острог, трибунал. Проходит несколько томительных тяжких дней и ночей в ожидании исполнения неумолимого приговора — казни. После жуткой церемонии состоявшейся духовной казни автор «Бедных людей» от ужаса, испытанного в течение нескольких минут на эшафоте, не мог долгое время опомниться и прийти в себя. Ему показалось, что молодость и надежду вырвали из его сердца и навсегда похоронили в снегах Сибири. «Та голова,— писал он брату,— которая создана и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Но, к счастью, мрачная мысль недолго преследовала писателя. Уже

по приезде в Сибирь близко знавшие писателя в те дни люди с радостью заметили его чрезвычайное спокойствие. Когда только первое знакомство с мертвым домом, этим «кладбищем живых», приводило в ужас и отчаяние даже самых здоровых, сильных людей, он, нервный, больной, был спокоен. Читая жизнеописание Достоевского, люди по сей день не перестают восхищаться проявленным им стоическим терпением и мужеством в дни неимоверных лишений и страданий. Даже свободный от суеверия человек предполагает тут в кумире своем какую-то таинственную мифическую силу, будто приходившую ему на помощь в трудный час. Ибо рассудок не способен понимать столь неисчерпаемую энергию в физически слабом теле. Да, безусловно, была у него и другая сила. Она, эта сила,— страстная любовь к жизни и желание служить своему народу и отдать людям священный огонь божьего дара, который он бережно носил в своем сердце. «Человек есть тайна! Ее надо разгадать»,— записывал он, будучи еще юнкером военного училища. Эти слова не случайно были написаны в блокноте рукой юноши, это было уже боевым призывом и программой, предопределявшей мировоззрение, стиль, философскую концепцию будущего большого писателя. Он верил в себя, в свою силу, в свой талант, знал также, на что способна величайшая сфера его духа. Жажда жизни придавала писателю неистребимую силу и энергию. Ибо, как известно, равнодушие — родное дитя бездушия. Благодаря жажде жизни он один из немногих счастливых, которые выжили и покинули Омский мертвый дом живыми. Отбыв срок наказания, он с новой энергией борется за восстановление человеческих прав и за право писать, печататься. Он теперь в Казахстане, в Семипалатинске. Он теперь солдат. И тут впервые в жизни влюбляется. И с этого дня он с удвоенной энергией ведет борьбу, теперь еще и за любимую женщину, за семью, за счастье — при этом обнаруживает неподозреваемые раньше страстность, горячность и настойчивость в достижении высокой цели. Бывают мимолетные улыбки истории. Но она подобна улыбке капризной красавицы, которая только усиливает в сознании человека огорчения. Женитьба, семья, супружеская жизнь не облегчили тяжелую участь писателя. Исаева вскоре скончалась, так и не успев согреть озябшую душу писателя теплом своего женского сердца. После потери горячо любимой женщи-

ная трагедия личной жизни Достоевского усилилась.

Вот краткий перечень событий, происшедших в жизни писателя. Она, эта жизнь, — целая драматическая летопись одной из могучих скорбных личностей мира.

III

Нельзя забывать, что в то далекое время жестокая колониальная политика царя превратила веками безмолвствовавшую обширную землю казахов по существу во второй после Сибири мрачный угол. Действительно, если в это время «на диком бреге Иртыша» молча переносил все обиды и унижения солдат 7-го линейного батальона Достоевский, то где-то на юге, на знойном берегу Аральского моря, томился в безысходной черной тоске другой каторжный солдат Тарас Шевченко. Пройдут еще десятки лет, и вслед за петрашевцами, народовольцами и просто террористами-одиночками потекут из опальной России, гремя тяжкими кандалами, в глубину неведомой земли кочевников другие узники произвола, на этот раз марксисты, обросшие, оборванные, обессиленные жаждой и голодом.

Достоевский был одним из первых политзаключенных, вступивших на землю казахов. Коренное население, кочевники, находились в абсолютном неведении относительно политики большого мира. Нам известны только два просвещенных казаха того времени. Одному из них, Абаю, сыну грозного степного феодала, в тот памятный год было четырнадцать лет, и учился он в медресе Ахмеда-Рза. Другой, Чокан Валиханов, потомок могущественного ханского рода, блистательный офицер русской армии, бывший адъютант Омского генерал-губернатора, будущий действительный член Императорского Русского Географического Общества, за свою до обидного короткую жизнь оставивший, однако, потомкам пять томов первоклассных научных трудов по истории, этнографии, географии, фольклору казахов, киргизов, кашгарцев. Как вы знаете, еще в Омске встречается Достоевский с Чоканом, там состоится их первое знакомство. Затем узы их долголетней, искренней дружбы прочно завязываются уже в Семипалатинске. Обычно сумрачный, скрытный, скупой в выражениях своих чувств Достоевский перед Чоканом щедро раскрывает свою душу и пишет ему: «...а я вам объявляю бесцеремонно, что я в вас влюбился. Я никогда и

ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к вам, и бог знает, как это сделалось».

Быть может, ошибаюсь, но тут, особенно в последней фразе, нетрудно заметить легкое, вообще-то не свойственное характеру Достоевского, кокетство перед молодым другом. Ибо кто-кто, а уж он, великий психолог, наверняка знал причину своего столь страстного расположения к Чокану. О, да, этот человек «с острыми, как у зверя, глазами» видел насквозь все закоулки человеческих душ. В революционном порыве вольнодумствовавшего Чокана он, конечно, прежде всего узнавал, видел самого себя, молодого тогда, пылкого, целеустремленного, отличавшегося в суждениях категоричностью и непримиримостью убеждений.

Нам известно, что после всех пережитых страшных мук и потрясений, в ссылке в Семипалатинске, к нему в иные томительные бессонные ночи нет-нет да и подкрадывается позднее раскаяние, отказ от своих былых юношеских воззрений. Однако то не было решительным отмежеванием от прежней мечты и раздумий, а скорее всего лишь мимолетным колебанием очень уж истерзанной, измученной души. Ибо в последующие годы жизни писателя нетрудно найти моменты, когда он был гораздо искренней и справедливей к себе, говорил, что он «больше дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и до гробовой крышки». Не поразительна разве столь железная стойкость и последовательность в своих гражданских убеждениях этого человека! В мятежной его голове, в той самой, которая, казалось, была раз и навсегда срезана с его плеч мечом палача, после долгих лет испытаний и мытарств все еще роятся сомнения и неверие в житие наше.

И зная его беспощадный, непокорный дух, я допускаю такую вольную мысль: в период пребывания писателя на земле казахов в скромном доме уездного почтмейстера великий писатель наедине со своим оригинальным другом, Чоканом Чингизовичем, наверняка вел разговор о тяжелой участи колониальной окраины России, о кочевниках с их веками устоявшимися феодально-родовыми предрассудками и неустроенным бытом, об их вечных скитаниях в поисках пастбищ и воды, о степняках, гонимых судьбой, как перекати-поле злым ветром. Он, определенно, вел разговор об их бесправии, угнетенности, темноте. Надо полагать, и — уверен — это не

будет большой ошибкой, что беседа эта была отнюдь не скучной, вялой, под стать полусонной жизни степи в тоскливые дни изгнания. Достоевский со свойственным ему нервно повышенным темпераментом и с горячей участливостью к судьбам обиженных, думается мне, не просто вел беседу, а говорил бурно, резко, то и дело вскакивая с места, крупно шагая по скрипучему полу, жестикулируя на ходу, приводя свои и без того веские доводы, каждый раз искренне убеждая своего молодого друга «быть просвещенным ходатаем своего народа перед Россией».

Если бы суждено было случиться встрече Достоевского с Абаем, с этим могучим скорбным певцом степи, то я абсолютно уверен — они бы глубоко поняли друг друга. В своей жизни Абай, так же как и Достоевский, перенес немало тяжких ударов и суровых испытаний. Это было время, когда самые мрачные, низменные инстинкты проявлялись во всем своем уродстве, когда жестокость и подлость разгулялись вовсю, поощряемые и вдохновляемые властью. И Абай, видя вокруг разгул невежества и дикости, изболев душой и сердцем, впал в глубокую тоску. К концу жизни остается он в одиночестве среди тупых, сытых, самодовольных и самонадеянных невежд и, не находя в себе больше сил, не видя смысла бороться против них, нравственно страдает. Этот гигант, «боровшийся один с тысячью», в безмолвной глухой степи медленно угасал. Все творчество писателя, с исстрадавшейся душой горестно взирающего на мир, бесправие и нищету родного края, пронизывает острая печаль; мотивы боли, безысходности, печали, душевной муки отчетливо слышатся и в его стихах, и в его философских эссе — словах назидания, и в его томительно мелодичных проникновенных напевах. А нравственные, душевные страдания любимых героев Достоевского — людей бедных, униженных и оскорбленных,— разве не близки, не характерны, не созвучны они творчеству Абая?

Хотя Достоевский и Абай не виделись, быть может, даже не знали друг о друге, но в силу того, что они являлись гениальными детьми одного века, одной эпохи и жили под одним небом противоречивого Востока, у них поразительно много общего в настроении, видении, эмоциональной окраске чувств. И тот и другой всю жизнь стремились постичь и познать объективные причины человеческих пороков.

* * *

До последнего мгновения жизни сильные мира сего не переставали играть судьбами Достоевского. Но, как часто бывает в подобных случаях, когда в игру вступает гений, в жизненной борьбе инициативу непременно вырывает он. Желают того или не желают, он диктует свою волю всему ходу событий, и конечный итог морально-этического результата, который принято считать историей человечества, всегда решается в его пользу.

Правда, из борьбы этой Достоевский вышел в сплошных ранах, которые кровоточили и отдавались болью до конца жизни. И даже когда наконец писатель добился своего, обрел желаемую свободу, и тогда никто, ни царь, ни сам бог, не посулил ему безмятежной жизни. По-прежнему не выпускает его из рук жестокая нужда, назойливые кредиторы, душат бесчисленные долги, а он, вопреки ожиданиям, не сдавался, жил, боролся и работал.

По утверждению самого Достоевского, долгие годы, проведенные на каторге, а затем в ссылке, не прошли для него бесследно. Он был поглощен всецело «вечным сосредоточением в самом себе», которое принесло потом в русскую литературу щедрые плоды. Все его произведения создавались на высшем накале творческого и нервного напряжения. Мы знаем, что Достоевский был социальным писателем, волновал умы самых широких, самых разнообразных слоев общества. Также известно, что его философской концепции присущи и кричащие противоречия.

По свидетельству В. Д. Бонч-Бруевича, Ленин учил видеть сильные и слабые стороны творчества писателя, учитывая то, как его судьба была изломана царизмом.

IV

Существует мнение, что Достоевский якобы усилил в человеке чувство разочарования. А разочарование, по утверждению Ключевского, не больше и не меньше, как «утрата веры в свой идеал». Правильно и справедливо ли будет такое безапелляционное утверждение в оценке общечеловеческого значения творчества одного из любимейших писателей мира? Стоит только согласиться с вышеупомянутым мнением, как чувствуешь раздвоение совести и душевное разногласие. Почему то-

гда, спрашиваешь себя, вот уже более века люди разной веры и идеологии не перестают интересоваться и увлекаться творчеством этого писателя? Лишь для того только, чтобы усилить разочарование в человеке? А ведь испокон веков известно, что в этом мире нет надобности тратить сколько-нибудь усилий на то, чтобы человек разочаровался в своих идеалах, в убеждениях.

В те времена человеку жилось неспокойно в этом огромном неуютном мире. В жизни много огорчающих, ненормальных явлений. Сколько примеров, когда человек ищет разочарование со стороны, накликает на себя беду извне, тогда когда и то и другое рядом с ним, мир заражен ими, прямо на глазах размножается разномастная мерзкая подлость. Да, да, так было, особенно в те далекие времена.

Не говоря о других, даже с головы до ног начиненных оптимизмом, человек, бывало, в то время сколько раз в жизни, перетерпев незаслуженные обиды, оскорбления, огорчения, рано или поздно разочаровывался, утратив, таким образом, веру в свой идеал. Разочарований не стало меньше в мире с усовершенствованием общежития. Если так, тогда возникает вполне законный вопрос: почему приписывают Достоевскому усиление в человеке чувства разочарования? По существу, Достоевский не усилил ни на йоту это трагическое чувство в человеке, а только срывал покровы, обнажая его до отвращения. Народ изнывал от произвола своего коронованного тирана. Когда от нестерпимых условий жизни крик души народа, готовый сорваться, замирал где-то в глотке, только у Достоевского вырывался он из глубины души. Да, недаром принято считать Достоевского воплощенным упреком или укором совести. На мир взирал он сквозь свою надломленную, мрачную душу. Из-под демонической силы пера великого писателя выходят один за другим мрачные образы Раскольникова, Смердякова, Карамазовых, по силе воздействия на психику людей не имеющих себе равных и, по определению Томаса Манна, «жутких и влекущих».

Каждый раз, когда читаешь произведения Достоевского, создается впечатление, что он сознательно экспериментировал на психологии человека. Как будто он задался целью и хотел узнать, убедиться лично, насколько вообще выдерживают нервы человека страдания и муки. Ведь недаром почти во всех произведениях писателя создается точно такая ситуация, какая бывает

с тяжелобольным. Совершают его герои жестокие поступки, потом, будто опомнившись от содеянного ими самими ужаса, быстро принимают меры, чтобы снять эту боль. С той только разницей, что после обезболивающего укола у больного, пусть на короткое время, утихает, снимается боль, а у Достоевского же в обоих случаях бывает мучительно больно.

Было время, когда вокруг имени великого писателя не утихал спор и считали его чуть ли не реакционным писателем, мистиком, святым, больным, а в углубленном его исследовании человеческих душ усматривалась какая-то нечистая сатанинская глубина, коварный психологизм, словом, в оценке его творчества и мировоззрения было решительно все, только не было духовной смерти. В этом его сила, в этом его счастье.

Благоразумие и риск — разные вещи. Одно исключает другое. Среди детей моря встречаются иногда благоразумные, которые никогда не позволяют себе рисковать своим сытым благополучием и выходить в открытое море. Живя вблизи моря, они не испытывают радости мужества, не слышат рева неистового шквала, наоборот, безропотно подчиняясь с детства хорошо усвоенному житейскому правилу, они стараются как можно ближе держаться к берегу, таким образом, всю жизнь прозябают со своими лодчонками с заплесневелыми килями где-то в тихом заливе умеренной судьбы обывателя. А что касается Достоевского, то ни при жизни, ни после смерти на его долю не выпадало ни одного дня штиля, тихого заливчика, безопасного берега. Видно, и вправду «судьба любит облекать в трагические формы именно жизнь великих людей. На самых могучих пробует она самые могучие свои силы... Она играет с ними, но это возвышенная игра».

Мир давно уже удостоверился, что лишь труды и дела гениев человечества неподвластны смерти. Пусть отмеренная земная жизнь завершает свой короткий путь, пусть свершится неумолимый акт смерти, но для гениальных сынов отечества за этой роковой чертой наступает подлинная их жизнь — бессмертие. Покуда жив народ, жива человеческая речь, они будут сиять на небосклоне человеческого разума, как яркая звезда.

СЛОВО О ТУРГЕНЕВЕ

Этот человек посвятил свой могучий талант русскому народу. Несмотря на свое безукоризненное европейское воспитание и образование, на открытый его европеизм, за что немало было упреков в адрес писателя, и, наконец, несмотря на то, что владел в совершенстве основными языками Европы, он, как бы подчеркивая свою национальную принадлежность, создавал свои произведения лишь на русском языке. Я думаю, что благодарные потомки не могут не оценить по достоинству не ослабевший с годами в старом писателе патриотизм за время его долгого пребывания на чужбине, вдали от родины. Следует учесть еще и то, что он попадал в другие национальные стихии и сливался с ними, общаясь изо дня в день, из года в год с литературно-общественной жизнью европейских народов, но и при этом русская его душа не зачерствела, не растворилась в холодном эгоизме бездушного космополитизма.

Благодаря глубоко заложенной в нем русской натуре и сыновней любви к своему народу, его культуре и языку, сумел он сохранить свой самобытный поэтический талант в первозданной чистоте.

Обосновавшись в Париже, он легко, без особого усилия добился расположения широкой публики к своему таланту, публики, я бы сказал, избалованной прекрасными творениями эпохи Возрождения и титанов XIX века. По свидетельству современников, этот высокого роста, статный, выразительной внешности русский человек сделался всеобщим кумиром и желанным гостем даже самых изысканных литературных салонов Парижа. Он, в поразительно короткий срок добившись шумного успеха, наравне со Стендалем, Флобером, братьями Гонкур, Мериме и Доде стал признанным литературным авторитетом в Европе. Несколько позже, входя в высшую элиту знаменитой *пятерки* в Париже и как бы отныне безраздельно принадлежа всему просвещенному человечеству, он и при этом оставался русским писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым.

Если родина нужна человеку лишь для удобства в жизни, то, как видите, Тургенева почти вся Европа, гордая и цивилизованная, принимала с распростертыми объятиями. Влияние его творчества на литературный мир

было огромно. Каждый его новый рассказ вызывал горячие споры как в печати, так и в литературных салонах, увеличивая число поклонников знаменитого русского писателя. Можно сказать, что нетерпеливая и пылкая молодежь благоговела перед шедеврами писателя, поражаясь его умению лепить характеры, строить сюжеты, исследовать тончайшие оттенки и нюансы человеческой психологии.

Как вы знаете, в то время честь России редко удостаивалась похвалы самовлюбленной Европы. Поэтому особенно приятно было слышать русским людям столь единодушные и восторженные отзывы о творчестве Тургенева таких великих писателей Франции, как Флобер, Мопассан, Золя. Также известно пылкое признание Жорж Санд. Прочитав рассказ «Живые мощи», она писала Тургеневу: «Мы все должны пойти в учение к вам». Это не лесть друга по перу. Вдумчивому читателю не трудно было заметить в творчестве европейских писателей минувшего столетия характерные для его таланта акварельные краски, интонации и мягкий лиризм, искусно передающие тончайшие движения человеческой души.

Но, как видно, для Тургенева родина имела другое значение и иной смысл. И он, как бы мысленно отвечая на этот вопрос, писал: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее обойтись не может. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится».

Так мог говорить только истинный патриот, влюбленный в свой народ. Кому сейчас не известно, что русская духовная культура, как бы она ни была богата и разнообразна, без Тургенева выглядела бы несравненно бледней и бедней. Среди чистого золота, годами накопленного по крупицам великими сынами русской литературы, тургеневский слиток светит по-своему, особо.

В этом его величие и в этом его писательское счастье. Счастье бывает разное. Я не собираюсь заниматься его классификацией. Но я в одном, несомненно, уверен, что счастье великих людей бывает особого рода. Величие и счастье их, видимо, в том, что они, оставаясь сынами своей нации, умеют в одинаковой мере принадлежать и всему человечеству. Тургенев — сын всего человечества.

Срок, который отделяет нас от Тургенева, немалый. За это время менялась жизнь на земле, обновлялось общество, и, разумеется, литература не находилась в стороне, не жила она обособленно, как бы ни хотели некоторые горячие сторонники чистого искусства увести ее от дел и дум народных. Литература издревле, с колыбели своей, была летописью правдивой и последовательно отражавшей весь пройденный путь народов, полный нелегкой борьбы, побед, поражений, поисков. Но народ никогда не уставал надеяться и мечтать. В этом его сила и мудрость. Даже в самые безысходные мрачные дни поражения он жил верой в будущее.

Следует сказать, что особенно суровое испытание выпало на долю русского крестьянства. Россия еще в первой половине XIX века была единственной во всем мире великой державой, несшей на себе позорное клеймо крепостного права, тогда как события, происходившие в стране, как никогда, располагали к изменениям в укладе общества. Народ победил Наполеона, очистил свою родину и освободил Европу от тирании необузданного и грозного завоевателя. Солдаты, сыны в основном крепостных крестьян, преследуя наполеоновское войско по пятам, дошли до Парижа — колыбели первой в мире революции.

Но молодой русский царь, опьяненный великой победой, не думал разрешать наболевшие вопросы эпохи, так остро занимавшие умы всех прогрессивных людей. Властолюбивый и честолюбивый, Александр I действовал наперекор зреющей внутри страны объективной социальной силе. После победного возвращения из Европы он своим наглым хладнокровием твердолобого политика еще больше обнажил и без того зияющую пропасть, разделявшую народ и аристократию.

Но никакая жестокость не могла сломить волю народа. Наоборот, в известной мере закалила характер крестьян, научив в нужные моменты обретать душевные силы.

Итак, крепостное право не могло убить волю в человеке, но в известной мере задерживало развитие общества, льдом сковывало духовную жизнь обширнейшей страны. Однако там, подо льдом, медленно, но упорно накапливалась сила, зрела, готовая взорваться вулканом. Нужно было только ждать. А когда настало время, эта сила, бившая из недр народа, взорвалась, с треском раскалывая вековой лед. И благодаря такому

мощному внутреннему взрыву и появлению великой плеяды русских писателей и мыслителей некогда отсталая крепостная Россия смело выдвинулась в первые ряды европейских стран. Этих людей называли в истории с особенным уважением «людьми шестидесятых годов». Благодаря их усилиям за удивительно короткий срок сформировалось и воспиталось самосознание русского общества. И, по существу, они подготовили и были духовными отцами молодой поросли — разночинцев. Среди прогрессивных людей в шестидесятые годы особо выделяется фигура Тургенева.

Нам известно из воспоминаний современников писателя, что он был в личной жизни аристократичен, высокомерен, с ярко выраженными барскими чертами характера, идущими от происхождения. Существует мнение в русском литературоведении о его артистическо-художественной натуре, единодушно описанной современниками, особенно прекрасным мемуаристом Анненковым. Пусть будет так. Пусть даже была присуща ему раздвоенность, то есть политическая бесхарактерность, упорно приписываемая современниками. Допустим, все это было у него, но разве внешний артистизм господина Тургенева мешал сколько-нибудь писателю Тургеневу в более принципиальном и важном вопросе — в творчестве — оставаться безукоризненно честным, смелым, постоянным и неизменно верным высокому идеалу человечества.

Когда Тургенев ушел из жизни, произведения, созданные великим писателем, продолжали жить, воспитывая и облагораживая умы, чувства вот уже скольких поколений. Если хотите, созданные писателем сильные и героические характеры его социально-психологических романов были гораздо ближе передовой части русской интеллигенции, чем, скажем, сам писатель. Нам известно, что революционно настроенная молодежь России не всегда была в ладу и согласии со знаменитым писателем. Чаще расходились их взгляды, чем сходились. Молодежь не пошла за ним, но это ничуть не мешало молодежи увлекаться его произведениями, его идеями, проблемами общественного звучания.

Во второй половине XIX века, на подступах к отмене крепостного права, в духовной жизни России произошло чудо. Революционная мысль из Европы перенеслась в Россию, и та после долгой спячки была разбужена. Передовые люди жили благородной идеей поднять народ на решительный бой.

Сознавал или не сознавал это Тургенев, трудно сказать, но факты доказывают, что он, безусловно, находился под влиянием нового веяния эпохи. Тургенев был наделен исключительным самообладанием. Внешне оставался он как будто лояльным к правительству, сохраняя свое невозмутимое барское спокойствие, что, однако, не мешало писателю проявлять полную свободу, вольнодумство в уединении, в кабинете. Писатель исключительно много знал о своей родине. Ведь недаром неусыпный «бдительный дух» его всю жизнь зорко всматривался из своего европейского далека в стихию, в хаос человеческих чувств, происходивших у него на родине. Тонкая интуиция и богатое воображение писателя никогда не обманывали его. Не будет преувеличением, если скажу, что Тургенев был одним из немногих русских писателей, которые безошибочно предугадывали настроение народа и назревающую социальную ситуацию в недрах общества. Его писательское чутье улавливало по каким-то еле заметным приметам верное направление. Что характерно — чутье Тургенева не раз опережало на несколько лет самых прозорливых и дальновидных социологов, политиков и психологов своего времени. Тут, видимо, сказывается особенность его таланта и склад ума. Прозорливость, честность — вот счастливая особенность его таланта. Ведь недаром Луначарский особо подчеркивал его неподкупную «честность социального наблюдателя». И не приходится удивляться воздействию каждой его книги на умы и волю людей.

Нелегкие идейные искания привели писателя к созданию таких социально-психологических романов, как «Рудин», «Новь», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» и «Накануне». В этих книгах выведены социально-психологические характеры — Базаров, Инсаров, Рудин, Елена — сильные духом, цельные героические натуры.

В те далекие времена Россия, отсталая и бесправная, нуждалась в таких вот сильных, мыслящих и целеустремленных людях. Среди вышеназванных книг по содержанию своему, по глубине поднятых в них вопросов и важности поставленных перед поколением новых задач роман «Отцы и дети» стоит в творчестве Тургенева, пожалуй, особняком. В лице представителей двух поколений в романе как бы сталкиваются сегодняшние и будущие интересы страны. Когда сталкиваются в

принципиальных вопросах века отцы и дети, явная симпатия автора на стороне молодого поколения. Писатель блестяще показал в этом романе, какими должны быть дети и какими не должны быть отцы. Спрашивается, что это — мораль? Да, мораль! Но прошу учесть, что мораль морали рознь! Хотя в известной степени все писатели бывают моралистами. Но, к сожалению, не все способны сознавать, что на это имеют права. Открытая мораль на людей, на просвещенный ум тем более, никогда не оказывала сколько-нибудь положительного воздействия. Выгодное преимущество Тургенева в том, что говорил он всегда красками. За что бы ни брался, все вдруг несказанно оживлялось, расцвечивалось, переливаясь всеми цветами радуги, будто коснулась его какая-то сила волшебства. Конечно, нет слов, такая мораль, как исцелитель, становится необходимой потребностью человеческой жизни, и она нужна народу, нации, поколению. Такая мораль неоспоримо способствует формированию нравственной чистоты нации, возвышая ее духовно перед остальными.

Влияние Тургенева на литературные умы со временем не ослабевает. Наоборот, появившийся после Тургенева чуть ли не каждый серьезный писатель в значительной степени перенимает его литературный опыт. Особенно велико сейчас влияние Тургенева на молодых писателей, как у нас, так и на Западе успешно развивающих добрую традицию лирической прозы. А отцом, давшим жизнь лирической прозе, был Тургенев.

Лирика и мастерство — понятия неотделимые друг от друга. Писатель, каким бы он ни был виртуозным мастером и какого бы ни достигал высокого совершенства в своем творчестве, не владея в одинаковой мере как чувством, так и рассудком, не может быть значительным. Сила Тургенева в том, что он так непринужденно, просто и естественно сочетал ум и чувство в своем творчестве... Его колоссальное наследие, вошедшее в золотой фонд мировой литературы, — романы, повести, поэмы, рассказы, многочисленные статьи и эпистолярные произведения — пронизаны поэзией и мыслью. Что касается тургеневского языка — этого главного строительного материала в мире эстетики — то о нем следует говорить особо. Ибо язык — его стихия. В этой связи хочу сослаться на высказывание Горького. Когда Горький давал характеристику деятелям литературы и искусства, общеизвестны щедрость его души и проро-

ческая верность оценки этого ясновидящего человека. Не потому ли, что сила его высказываний таится в искренности и убежденности большого мыслителя, легко постигающего любую глубину человеческой души, и благодаря верности наблюдений все его высказывания сделались впоследствии истиной и превратились в крылатые цитаты.

Итак, по утверждению Горького, русский язык создан Пушкиным, Тургеневым и Чеховым. И в самом деле, наравне с Пушкиным Тургенев щедро и свободно распоряжался русским языком. Чтобы ощутить мощь тургеневского языка, нужно совсем немного. Стоит вам прочитать несколько его страниц, и вы сразу ощутите силу созданного, скорее всего, сотканного им из тончайшей нити — слова. И независимо от вашего собственного настроения мир вдруг становится таким широким, светлым, многоголосым, а лазурное небо над головой высоким и чистым. Величие художника и сила его неотразимого таланта заключается в том, что, какого бы человеческого материала ни коснулась его рука, этот материал вдруг несказанно оживлялся, начинало биться в нем сердце, пульсировала жизнь, и в обширном литературном мире появлялся еще один прекрасный цветущий оазис.

Тургеневский оазис в контингенте мировой литературы — его новеллы и знаменитые «Записки охотника», в первой шеренге которой, благоухая запахами дикорастущих трав, стоит его «Бежин луг». Перечитывая «Записки охотника», каждый раз убеждаешься, какую абсолютную власть над природой имел этот волшебник слова. Перед его талантом немая тайна природы охотно заговорила, щедро рассказывая о неистощимости своей красоты. В *«Записках»* художник нарисовал с необыкновенной силой воздействия картины нравов крепостного права, которые он сам воочию видел и которые всю жизнь страшной болью отдавались в его сердце.

Творчество Тургенева связано с бытом и нравами, беспечной тихой жизнью русской помещичьей усадьбы, метко названной писателем «дворянским гнездом». В этих тихих с виду дворянских гнездах на фоне спокойной и мирной беседы сытой семьи помещиков за столом с обильной едой совершались своенравие, жестокость, самодурство. Тургенев хорошо знал жизнь старинных «дедовских гнезд», и не мог он «дышать одним возду-

хом и оставаться рядом с тем, что возненавидел». Быть может, он по этой причине оставил горячо любимую родину и переселился в Европу. Переселился туда затем, признавался писатель, чтобы удалиться от своего врага и из своей дали сильнее напасть на него. А врагом ненавистным его было крепостное право.

Да, прав был Проспер Мериме. По его справедливому утверждению, в русской литературе определилась с самого начала, с ее истоков трезвая тенденция прежде всего искать и *находить правду, а красота,* как необходимое ее звено, являлась потом, сама собой. Истина, не требующая доказательств. При всей высокохудожественности и умении нанизывать в живые ткани произведения тонкую и сложную человеческую психологию, для могучей плеяды русских писателей XIX века неприукрашенная действительность была основным и главным кредо, от которого они отталкивались во всех своих произведениях. Окиньте мысленным взором русскую литературу, и вы легко убедитесь, что устами критического реализма говорила только «непримиримая правда», объективный смысл которой неизменно сводился к идеалам русских революционеров-разночинцев. Следует учесть, что эта непримиримая и вещая правда, сказанная ими, доставалась нелегко и Пушкину, и Достоевскому, и Писемскому, и Гоголю, и Чехову, и Тургеневу.

Усилились в стране репрессии. Росло подозрение на передовых писателей. Везде и всюду шныряли сыщики. Из-под бдительного взгляда цензуры не ускользала малейшая вольность мысли. Чтобы как-нибудь скрыть столь неоправданную жестокость и, самое главное, удержаться на уходящей из-под ног зыбкой почве, правительство Александра I, а потом, спустя несколько лет, Александра II наводнило бюрократический аппарат преданными себе людьми. За внешним блеском и парадностью царского двора проницательные глаза писателей насквозь видели всю фальшь светской жизни, принимавшую самые уродливые и омерзительные формы институтов интриг, обмана, шантажа, подкупа, карьеризма. А карьеризм, как болезнь, убивал все живое и святое в человеке, отнимал волю, иссушал мысль. Подлинный карьеризм воспитывал безропотно покорных подлецов, лжецов, подхалимов разной масти. Таков был стиль времени!

Было поистине трудное время. Перед каждым че-

ловеком, вступившим в неведомую область жизни, лежали, как в сказке, две дороги: одна из них легкая, но дорога — подлости и измены, вторая — трудная, но дорога — правды. Тургеневу приходилось работать именно в такие «печальные времена, когда честности надо возвыситься до героизма, когда слабости легко погрязнуть в преступлениях». Но великий русский писатель выбрал себе дорогу потруднее и шел, не колеблясь, на зов идей, подсказанных временем. Ибо тонкий знаток человеческой психологии прекрасно понимал духовную нищету и убожество этих так называемых «высокопоставленных» людей, Тургенев также прекрасно понимал, что власть возвышает любого политического карлика, как мираж кустарник, что власть, доверенная ханже, особенно опасна.

Чтобы не унизить себя перед грубой силой власти, Тургенев держался на расстоянии. И здесь сказалась нравственная чистота писателя.

Истинно большой художник, как никто другой, вбирает в себя все характерные черты народа и эпохи, в которую он жил, думал, дерзал и творил. Мир художника — необъятен. Чтобы понять писателя, полюбить его, следует обращаться только к его произведениям. Душеприказчик писателя — книга его, он свои думы доверяет только ей. Чтобы понять Тургенева, разобраться в мучивших и волновавших его вопросах, надо перечитывать, еще и еще раз перечитывать его произведения.

СЛОВО О ГОРЬКОМ

I

Бывают личности, которые с той самой минуты, как появятся на свет, становятся загадкой эпохи. И нередки случаи, когда после завершения ими земной жизни еще долгое время будут требовать они напряжения умов в постижении всего того огромного, порой противоречивого и таинственного мира, созданного их воображением. Одной из таких личностей и поныне является Федор Михайлович Достоевский.

Что касается Горького, то он с первого дня появления

на арене русской литературы, со своей отпугивающей кличкой «Босяк», не совсем пристойной высокому сану российского литератора, был на удивление всем предельно ясен и доступен самому широкому кругу простолюдинов. Даже тем, кто совсем не мог читать его творений и, как говорится, постичь их своим умом и сердцем, он входит в душу, обрастая легендой и молвой по мере того, как передавались и переходили они из уст в уста, как обычно это случается с героями из мира народной сказки.

Не знаю, насколько я правильно понимаю и разбираюсь в этом — от моего поколения отдаленном теперь во времени — обстоятельстве, но мне кажется, что еще при жизни великого писателя усиленно создавался его образ в двух направлениях. Создавали с особым усердием и старанием те, кто его лично знал и общался с ним, и те, кто знал его только по рассказам, понаслышке. В порыве подобного всеобщего энтузиазма не обходилось, разумеется, без перехлеста и без определенного крена от истины. Имело, конечно, место среди простого народа желание, явно пристрастное, подсказанное горделивым стремлением, — превозносить и без того громкую славу своего кумира. Но мы знаем, как бы ни старался простой люд опоэтизировать выношенный в душе любимый образ, пусть даже на манер былинного героя, и тогда он, что удивительно, оказывался не так уж далек от истины. Видимо, уже изначально с подлинно былинным размахом скроенная богатырская натура была наделена таким мощным даром, что как бы ни старался народ обряжать его во все великое, однако одежда великана и тогда приходилась ему впору. Мы очевидцы того, как вот уже более полувека усилиями передовых деятелей литературы и искусства всего цивилизованного мира не прекращается кропотливая работа по воссозданию этого образа. Для уточнения каких-то психологических деталей и достоверных черт вдохновенными руками мастеров наносятся, быть может, последние мазки, штрихи к портрету, но, по существу, человечество уже давно на стыке двух исторических эпох — ушедшего XIX и наступившего XX — имело героический образ нового пророка. Да, да, пророка нарождающегося революционного класса, который, ощутив властную потребность в своем глашатае, вызвал его к жизни.

И люди всего мира, благодаря коллективным усилиям, в одинаковой мере с русскими знали писателя не

только по его произведениям, но были вполне посвящены во все подробности его воистину фантастической судьбы, знали, что он, как никто другой, познал дно жизни, что выкарабкался собственными силами со дна на божий свет, мало того, узнавали люди из тысячного говора характерную окающую его речь, глуховатый низкий голос, узнавали, пожалуй, и среди многотысячной толпы столь приметную сутуловатую долговязую фигуру. Таким образом, по мере того, как каждое новое поколение дописывало этот портрет, внося свою долю пусть по капле, по росинке, на глазах всего народа все вырастал, обретая мощь, этот исполинский образ.

И когда, казалось, он уже создан, Леонид Леонов не так давно блистательно и неожиданно дополнил его новыми, философски осмысленными и поэтически взволнованными размышлениями, которые, несомненно, обогатили дорогой для человечества образ.

Моему поколению, которому выпала честь родиться и воспитываться уже в новом, социалистическом обществе, казалось, что к писателю Максиму Горькому, при всей его близости и доступности нам, все же нельзя применять обычную человеческую мерку. Вполне возможно, я ошибаюсь, но по тогдашней провинциальной наивности, нам, детям тех лет, живущим на пустынных берегах далекого Аральского моря, рисовался его образ, окрашенный бесхитростным детским воображением. Его мы узнавали по портретам, висевшим в клубах и классах, и еще в учебниках по литературе, где он непременно изображался на фоне слишком уж сердитого белопенного моря, а над ним, надрываясь, метались крикливые чайки, а чуть позади ревел прибой. И мы, босоногие интернатовцы, смутно чувствовали, что во всем его облике есть что-то непохожее на других писателей, что в его человеческой и писательской судьбе, не в пример другим, есть нечто возвышенное, что самой судьбой своей он изначально и неразрывно связан с мятежным, как он сам, этим морем, бурей, с птицей-буревестником, со штормовым ветром и шквалом волн.

Так или примерно так складывался в нашем отроческом воображении облик этого писателя. Все же самый совершенный его портрет будет создан позже, намного позже, грядущими поколениями. Любознательные потомки, проникая лучом разума в недра ушедшей эпохи, вероятно, высветят, помимо внешнего его облика, еще и его внутреннюю духовную суть.

Работа над портретом Максима Горького продолжается во всех уголках нашей многоязычной планеты. Кому выпадет счастье внести наибольшую лепту в воссоздание одной из сложных натур нашего века — как писателя, человека и гражданина, не нам судить. Но одно определенно ясно: в этом коллективном усилии самых передовых и талантливых умов прозреваются не столько литературно-исследовательские устремления, сколько неподкупная любовь, признательность и восхищение человечества своим гением, который, если воспользоваться выражением Карамзина, «платя дань веку, творил для вечности».

II

А сам он входил в наши души разными путями. Незнакомый ранее удивительный мир во всей своей сказочности и необъятности раскрывался перед нашим жадным детским взором. Еще живы в памяти простые, безграмотные казашки, иронии ради некогда прозванные длиннополыми, горькая участь которых усугублялась многоженством, калымом, умыканием. И вот вдруг, благодаря щедрой душе Горького, открывалась нам не менее горемычная судьба русской матери, которая, к общей радости, не в пример нашим матерям, не смирилась со своей беспросветной женской долей и социальной несправедливостью и, что удивительно, находила в себе силу и мужество поднять своих обездоленных сыновей на борьбу против мрака и насилия. В этом, на мой взгляд, жизнеутверждающая, по-матерински зовущая к великой справедливости на земле сила знаменитых горьковских женщин.

Меня буквально потрясло, когда современный, сравнительно молодой русский писатель, подхватив оборвавшийся голос своего великого предшественника во славу матери, с не меньшим гражданским пафосом, без патетики, надрыва и искусственного нагнетания чувств, также целомудренно воспел бессмертие матери. Матерь человеческую, поразительно мудро и психологически достоверно доказав, вослед своему учителю, но по-своему, ту непреложную истину, что благодаря матери и только ей мир никогда не скудеет без людей и не стареет без детей.

III

Как дитя бывает похоже на своего родителя, так и характер эпохи неизбежно отражается как море в капле воды в духовном облике самой литературы, ибо литература, как принято считать, родное дитя своей эпохи. Грохочущая техника наших дней не могла, думаю, не повлиять на сущность современной литературы. Не кажется ли нам порою, что в нынешних литературных произведениях слышен явственный грохот эпохи научно-технического прогресса, слышен не только между строками, но и в интонациях и ритме, не говоря уже о воодушевляющем пафосе самого творения.

Я не категоричен в своем суждении, но мне думается, грохочущая индустриальная пора человечества, нарушая где-то извечно установившийся мир чувств, душевный покой, скажем прямо, бесцеремонно вторгающаяся в нашу каждодневную жизнь, не может, видимо, не пугать, не настораживать ныне слабонервные и нежные души. Социальные проблемы не всегда и не везде решаются спокойно, согласованно, ибо идет борьба обоюдоострая, непримиримая, где жизненные интересы противоборствующих сторон, сталкиваясь на узкой тропинке судьбы, доводят классовые страсти до критической точки, за которой всегда стоял сакраментальный вопрос: быть или не быть. В этой борьбе обездоленный люд не однажды воодушевляли на подвиги известные слова Ленина, ставшие теперь крылатыми: права не дают, их берут. И неудивительно, что в этой схлестнувшейся схватке, где в муках решались сложные проблемы, происходило крушение класса и общества и всколыхнувшейся массе из низов бывало, скажем, не до утонченного обхождения недавних салонных шаркунов и, быть может, не всегда удавалось бывать в ладу с лирическими струнами человеческой души. Класс-победитель в нахлынувшем вдруг порыве нередко нарушал привычную гармонию, требуя немедленного разрушения, и непременно «до основания», как всего отжившего общественного уклада, так и извечных норм устоявшейся человеческой психологии; жизнь показала: ломали старые, чтобы создавать новые.

Кто теперь не знает, что все новое приходит в жизнь через крушение старого и утверждается на обломках старого. Биологическое разложение тоже есть естест-

венная необходимость, а любая естественная необходимость исторична.

Однако каким бы талантом ни был наделен художник, и он далеко не всегда понимает или не хочет понять необходимость такого качественно нового изменения в бытие нашем. Встречаются человеческие натуры, которых больше всего устраивает незыблемость привычного уклада жизни. Старый уклад что старая одежда, доставшаяся с плеча отца, со своим, видите ли, родным запахом, обжитостью, бывает в любом возрасте в одинаковой мере удобной в повседневной носке. Боже упаси, чтобы этого старого уклада невзначай коснулся шальной ветерок нового, чтобы не выветрил затхлый, но привычно-родной запах старины. И тогда начинает казаться, что произошел какой-то катаклизм, что рушится извечный покой и святые основы привычного, а это, разумеется, незамедлительно вызывает как ответное эхо разного рода вздохи, сокрушения и сожаления, теряется равновесие в жизни, а вместе с ним и равновесие самого поэта. Конечно, все это не могло не вызвать скорбь в иных душах. Если сродная Бунину изначальная тоска по идиллической дворянской Руси, к счастью для русской литературы, впоследствии не стала усиливаться и развиваться в его творчестве, хотя на то были большие основания, во время его пожизненного заточения там, в эмиграции, в безысходную, душепомрачающую скорбь, то, вероятно, потому, что он был наделен натурой особой породы. К тому же его чрезмерная гордыня, подобно вожжам во властной руке кучера, всю жизнь повелевала им, не позволяя выдавать истинного душевного состояния, особенно там, вдали от родины. Обычно так податливые к грустным настроениям нежные струнки поэта вот тут-то не поддавались гложущей тоске эмиграции.

Но не все поэты обладают буниной твердостью души и не всякий совладает со своим душевным состоянием. В дореволюционной казахской литературе немало было так называемых поэтов «зарзамана» — скорбных поэтов, косность и консерватизм которых не давали им уживаться со всякого рода новизной. Не могли они смириться с появлением в быту феодально-родового строя даже, казалось бы, безобидного самовара, завезенного откуда-то из неведомого края, и они с нескрываемой враждебностью высмеивали меднопузого пришельца, окрестив его с презрением машиной с кра-

ном, открывающимся в угоду человеку и закрывающимся в угоду человеку.

Сих скорбящих по старине поэтов было немало на заре промышленного века, особенно после победы Октябрьской революции.

Среди этих смятенных и колеблющихся, пожалуй, один Максим Горький не потерял самообладания, наоборот, неудержимо вторгнувшаяся в жизнь новая социальная буря вызвала в нем ответный восторг Буревестника. И он, к тому времени самый популярный писатель в России, успевший создать свои лучшие произведения еще до Октября, еще тогда, когда в многотрудной жизни народа соседствовали, как близнецы-сироты, горе и надежда, был, по его же словам, «охвачен юным геркулесовым желанием очистить «авгиевы конюшни» жизни». Многие писатели тогда еще по какому-то наитию, чутьем каким-то только-только улавливали слабый пульс грядущего, он же один задолго до грозовых десяти дней Октября, которые потрясли мир, еще в 1905 году верно определил, как провидец, вызревающую силу, таящуюся в недрах народа. Он также понимал: без очищения общества нет очищения эстетического. Ибо давно замечено: покуда не меняется нравственный облик общества, не изменится нравственная суть самого человека. Сама эпоха требовала революцию. А революция во все времена не была делом людей робких, живущих с оглядкой и опаской, по принципу душевно убогих обывателей: «Как бы чего не вышло». В революцию шли, как правило, люди смелые, сильные духом. В ту пору в России, и не только в России, революционный темперамент черпали у Горького, в его призывно-приподнятых, «полных волнующих предчувствий» произведениях. Не мне судить о художественной ценности и значимости «Матери» Горького, но могу определенно сказать, что она была своего рода мобилизующим народ манифестом дооктябрьской революционной литературы России.

Думая о Горьком, я вспомнил высказывание Стефана Цвейга. Он говорил: «Воля к величию — секрет достижения величия». И дальше я подумал: наш народ самой судьбой своей стремился во всю свою историю к величию. А величие, равно как великие поступки и дела как целого народа, так и отдельных личностей, заранее подсудно подготавливается, вызревает в родной почве. Величие духа рождает великие идеалы и замыслы, ко-

торые потом получают свое реальное воплощение в жизни.

Опыт истории не перестает учить нас: для того, чтобы понять и постичь деяния народа, надобно, прежде всего, знать душу народа. Ибо в душе заключены достоинства. Герберт Уэллс, этот подлинный сын Альбиона, будучи человеком честным и объективным, как ни пытался понять думы вождя того народа, который совершил революцию, изменив весь нравственно-политический и общественно-экономический облик самого закостеневшего монархического строя, многое так и не смог понять. Не мог он понять такого небывалого масштаба замыслов и взлет мысли голодавшего тогда народа, которые не увязывались с реальной возможностью страны, терзаемой разрухой, нищетой, голодом, все это не согласовывалось никак с воображением великого фантаста. И он не поверил, уехал, так ни в чем и не разобравшись — ни в делах, ни в думах, ни в помыслах русского народа, не увидев ничего, кроме окутавшей его в ту хмурую послевоенную осень мглы. Не только чужестранец, удостоивший нас, любопытства ради, коротким своим посещением, тогда многими соотечественниками из числа даже сочувствующих не принималось всерьез ни одно начинание несуразно великой страны, населенной эдакими захваченными оптимизмом странными людьми со своим еще более странным вождем-мечтателем в Кремле.

Счастье же Горького, писателя и человека, в том, что он понял душу своего народа, его незыблемую устремленность к будущему, верил в маленьких людей, возлагал на них большие надежды. С появлением торгово-промышленного капитализма начали вторгаться в некогда размеренную жизнь новые общественные отношения, не ведающие жалости ни к человеческим мукам, ни к страданиям. Тогда-то и стали зарождаться большие трагедии маленьких людей. Их стали вытеснять, выживать, и без того жалкая участь в обществе становилась теперь унизительной. Жалость и сочувствие к судьбам этих безропотных людей побудили целую плеяду русских литераторов к созданию образов униженных и оскорбленных. Маленькие люди, пришедшие в русскую литературу с Гоголем и Достоевским, казалось, обрели на заре нового века завершение своего земного пути у Чехова. Выведенные волшебной рукой вышеназванных великих писателей маленькие люди в своей общественной и нравственной деградации скатывались до уровня безли-

кого существа и, казалось, в своей кроткой покорности погибали на глазах всего общества, так и проглотив невысказанную обиду свою. Сила художественного воздействия этих типов третьего сословия настолько велика, что вызывала у читателей какое-то неопределенное, смешанное чувство—не то жалости, не то сострадания, не то обиды за них. Они не просто жертва беззакония, смиренно следовавшая на поводу своей участи, по существу, они были покорными рабами социального угнетения, они не находили, скорее всего, не искали выхода из создавшегося положения. Этим маленьким людям Горький противопоставил человека, осознавшего себя как личность, обретшего свое достоинство и — одновременно — выступившего с эпическим размахом фольклорного героя. Воодушевленные героическими порывами горьковских больших людей, казалось, эти маленькие люди обрели высшее достоинство.

Горький усмотрел в них высокое и гордое призвание Человека, ощутил, пусть смутно, на ощупь, но все же ощутил мятежный дух и социальный наказ нового времени. Опьяненный вдруг обретенным достоинством, которым щедро наделил некогда безымянное племя пролетарский писатель, созрев наконец, по выражению Алексея Толстого, для высшего восторга стать человеком, распрямился теперь во весь могучий свой рост возвеличенный народ, еще недавно заклейменный и задавленный, поднялся уже не рабом, как прежде, а человеком, который вдруг в сознании у всех зазвучал гордо!

Как никто другой, Горький сумел уловить подземные толчки истории, которая выдвигает вчерашнего эпизодического героя старых романов и драм — слугу и лакея — в главные герои социальной эпопеи века. Итак, Горький вывел своих геров на авансцену большой литературы в качестве ведущих.

В истории России маленькие люди, благодаря великому умению Максима Горького возвышать смысл человеческого бытия, получили другой, качественно новый духовный облик. В этой связи должен сказать, что постыдно-позорное положение в обществе становится непредотвратимым уделом человека в том случае, если своевременно не противопоставить ему уважение своего собственного достоинства. Возвышенное чувство, утраченное было маленькими людьми, благодаря Горькому ожило с новой силой, возвышая человека прежде

всего в глазах самого себя и окружающих, а отсюда уже появилось стремление познать окружающий мир, найти свое место в нем, постичь смысл и назначение собственного существования на земле. В этом обретении людьми большого гражданского достоинства одна из заслуг Горького.

Итак, перед нами дилемма: с одной стороны, жизнь маленького человека, к которой постоянно обращалась русская классическая литература, а с другой — концепция человека, предложенная Горьким, который всей своей жизнью, всем творчеством утверждал, что Человек велик.

Своим колоссальным авторитетом он убеждал людей, что человечество представляет и украшает не маленький человек со своей несчастной долей и убогим мирком, а Человек с «солнцем в крови», гордый и активный. На мой взгляд, вся советская литература может быть рассмотрена с этой точки зрения, как литература, продолжающая, прежде всего, традиции классической литературы.

На опыте творчества Горького мы имеем право не согласиться с утверждениями, прорывающимися время от времени у некоторых эстетствующих европейских писателей, что литература вроде бы «лживая роскошь». Серьезная литература человечеству никогда не лгала. Если она, проявив где-то слабость, и лгала, то она переставала называться литературой. Ложь и искусство — понятия несовместимые. Ибо чувство, заключенное в сердце гения, как только ложится на белые листы бумаги, становится достоянием всего человечества.

IV

Если в отношении к творчеству того или иного писателя и ощущается порою определенный спад былого поклонения, то, грешным делом, я думаю, не повинны ли в этом отчасти критика совместно с литературоведением, которые просто насильно втаскивают непомерно огромное творчество любого гиганта в тесные, не по росту ему разработанные схемы и каноны. Или, быть может, повинны в том наши неудержимые рвения, диктуемые пусть даже благородными побуждениями, когда мы, стараясь отдать дань уважения литературному авторитету, прибегаем к неудержимому восхвалению, снабжая одними громкими, как на подбор, эпитетами.

В подобного рода чрезмерном усердии мы часто не замечаем, как из любимца народа делаем просто-напросто благообразную икону. Однако подлинная любовь к таланту не выражается стоя на коленях, как в молельне.

Вряд ли есть нужда в том, чтобы накладывать на суровый скуластый лик творца излишне густой хрестоматийный глянец, ибо под ним неизбежно блекнет первозданный, земной, здоровый дух.

Каждый из нас, литераторов, с детских своих лет не только воспитывал свой художественно-эстетический вкус под непосредственным воздействием огромного литературного наследия великих русских писателей, но и старался смотреть на мир всевидящим оком гениев. Творчество их не перестает поражать наше воображение, и оно представляется нам, как само мироздание, необъятным и великим.

На мой взгляд, в этом заключается во все века непреходящая актуальность их произведений и перспективность художественных традиций. Кто верит в человека, тот не сомневается в жизнестойкости светоносной музы гениев. По мере приближения человеческого общества к его социальному идеалу, исторически обусловленному и закономерному крушению отживающего эксплуататорского строя, нравственная и социальная переориентация приобретут особую остроту. И этот процесс нравственного самопознания и социального самоопределения, приобретающий все более глобальный характер, укрепляет позиции горьковской школы, всегда отличавшейся, на мой взгляд, своей особой чуткостью к внутренней жизни человека, бескорыстной честной службой, направленной на его духовное возвышение.

И эти душеформирующие и нравоукрепляющие начала горьковской прозы и драматургии становятся цементирующим направлением мирового литературного процесса. Я верю, что каждый честный художник свои творческие устремления подчиняет этой благородной миссии современного художественного процесса. Ибо жизнестойкое, облагораживающее души людские гуманистическое наследие Максима Горького является вечным и животворным источником, к которому обращались, обращаются и будут обращаться и впредь все, в ком жива неистребимая вера в Добро, Надежду, Труд и Человека.

«В НАЗИДАНЬЕ ЧУТКИМ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ»

Некогда великий Абай, определяя свое поэтическое кредо, сказал: «Не для забавы я слагаю стих, а в назиданье чутким сердцем и душой». И он, как мы убеждаемся, в самом деле не писал ни одной строки лишь забавы ради, лишь для ублажения души. Подобно всем прочим почитателям таланта Леонида Леонова, думая о его творчестве, о природе его таланта и о нем самом, не раз ловил я себя на мысли, что уж кто-кто, а он, перед тем как браться за перо и писать неторопливой рукой новое произведение, наверняка также обращается только к тем читателям, кто чуток сердцем и душою зорок.

Все, кто знаком с творчеством Леонова, думаю, единодушны в том, что он из тех немногих, совсем немногих писателей, которые стремятся показывать жизнь, человеческие судьбы с присущей им сложностью, порою в трагических, запутанных сплетениях, и потому, читая его произведения, вновь и вновь убеждаешься в том, что он всю свою немалую жизнь, изо дня в день, кропотливо и настойчиво воздвигал эти суровые эпические громады из отборных, высокой пробы леоновских слов, чувств и мыслей. И в этом сложном сплаве, в этом двуединстве мыслей и чувств он всегда добивался от своих читателей того же напряжения сердца и ума, какое вкладывал сам в свои творения.

Впрочем, скажу здесь вскользь, мое признание, признание читателя и почитателя его редчайшего таланта,— вовсе не научный, не исследовательский труд, а скорее всего то, что появляется у нас в печати под достаточно неопределенным названием «слова». Но одно определенно известно: никто никогда не позволял себе просто так подойти и брать, как говорится, голыми руками леоновские вещи. Не могу представить, что кому-то безнаказанно сошла бы попытка взять с ходу, с этакой благодушной рассеянностью даже самую малую вещь, вышедшую из-под пера писателя. Должен сознаться, что сам я, читая Леонова, никогда не испытывал одно лишь легкое удовольствие, а всегда уставал, ибо тоже работал, много умственных и физических сил вкладывал в это необычное чтение. При этом неизбывно ощущение: мы имеем дело не просто с истинно русским писателем, а прежде всего с истинно русским человеком. Его любя-

щая сыновняя душа постигла — еще задолго до современного уровня проникновенного осмысления и душевного переживания — всю меру остроты проблем русской природы, русского леса, в особенности всего того, что ныне мы называем всеобъемлющим тревожным понятием «окружающая среда». И в этом вопросе, казавшемся многим праздным, а ныне, как видим, ставшем глобальным, общепланетарным, Леонов еще тогда, опережая даже саму науку, предостерегал от безумных порывов не в меру азартных, так называемых ревностных преобразователей природы. Он художественно-прозорливо, с подлинно набатной силой показал, как оскудение природы неминуемо приведет к нравственным потерям и оскудению человеческой души. Таким образом, роман «Русский лес», перерастая значение чисто художественного произведения, что, казалось бы, невозможно, вот уже который год звучит серьезным и строгим предупреждением будущим поколениям, предупреждением одного из самых авторитетных деятелей культуры нашего цивилизованного века.

Мы знаем: щедрая русская земля не однажды одаривала мир сынами, по мощи духа подобными себе. Очевидно, в литературном мире, как и в самой природе, бывают личности — громады, которым как бы самой судьбой суждено потрясать человеческое воображение.

«ДОРОГОЙ ЮРИЙ...»

Когда я думаю о Казакове, мне всегда вспоминается самое тяжелое время моей жизни. Это было через год после окончания Литературного института. Стояла осень, слякотная, капризная; все время моросил дождь. В один из таких по-осеннему сырых дней, помню, я пришел в наше алма-атинское издательство. Тогда оно размещалось в небольшом саманном домике неподалеку от базара. Во всем доме была одна-единственная большая комната, где и находилась вся редакция. Когда бы вы туда ни зашли, возле каждого из редакторских столиков кто-нибудь стоял, тихо, шепотом разговаривал, шелестели бумаги, скрипели перья. На этот раз, когда я пришел в издательство, у двери, прижимаясь к косяку, сидел Алексей Брагин, писатель, журналист. Он читал жур-

нал, кажется, «Москва», кажется, восьмой номер. По натуре мягкий и учтивый, он в тот раз был настолько увлечен чтением, что не сразу заметил меня, а заметив, лишь кивнул в ответ на мое приветствие. Я поинтересовался, что он читает. Какой-то рассказ, «Арктур — гончий пес», какого-то неизвестного Ю. Казакова.

С тех пор много воды утекло. Не говоря уж о больших событиях и переменах в мире и в нашей жизни — если в то время мое поколение было молодо, мы едва успели выпустить по одной книжке, то сейчас мы поотмечали уже свои шестидесятилетия, кое-кто, не дойдя и до этого рубежа человеческой жизни, обрел вечный покой. Ушел из жизни и Юрий Павлович Казаков. Долгие годы я с ним общался, был почитателем его таланта. Его преждевременная кончина явилась для меня особенно болезненным ударом; ему как переводчику я обязан блистательным вторым рождением моих книг, которым он отдал много лет труда. На своем веку немало занимаясь помимо писательства еще и переводом, я вынес твердое убеждение: успех произведения на родном языке зависит от достоинства оригинала, а на любом другом языке — во многом от мастерства перевода.

Я вижу, что мои чувства, опережая естественный ход событий, забежали вперед. Да, с тех пор прошло много времени. Нет силы, которая могла бы возвратить ушедшую в небытие жизнь, но память о ней при надобности можно всегда оживить и воскресить. Вот и я, обращаясь к далекому уже времени молодости нашей, сижу, напрягая память и оживляя день за днем минувшее, стараясь восстановить первое мое прикосновение к творческому духу Казакова...

«Арктур — гончий пес» потряс меня, это было какое-то редко выпадающее на долю современного читателя чудесное мгновение. Я почувствовал, что Юрий Казаков вошел в мою жизнь. Я стал наводить о нем справки, оказалось, что мало кто его знает! Никто, например, не знал, есть ли у него вообще, кроме «Арктура», еще что-нибудь. Но потом через нашего литконсультанта в Москве я все-таки раздобыл о нем скудные сведения, вроде того, что он молодой, что заканчивает Литературный институт, живет в Москве. Через того же литконсультанта я тогда же обратился к Юрию Казакову с предложением перевести мой роман, в душе

не особенно надеясь на положительный ответ. В том году преследовали меня неудачи, было действительно трудно. Я только что кончил институт. Была семья, но не было крыши над головой. Не было денег. Никак не мог приступить к задуманной еще в стенах института новой книге. Помимо всего прочего, было и еще одно осложнявшее жизнь обстоятельство: из Москвы приехал ко мне довольно крупный писатель и привез перевод моей книги (книга стояла в планах московского «Воспиздата» и нашего издательства, перевод уже был чуть ли не одобрен). Однако мне перевод не понравился, и я его отверг, нажив репутацию человека зазнавшегося и капризного. В это-то время и попался мне «Арктур — гончий пес»...

У меня вещь по объему большая, а Казаков — автор небольших рассказов... и тем не менее мне показалось, что роднит нас какая-то интонационная близость. Я твердо решил, что, если Юрий Казаков согласится, отдам только ему, в противном случае не буду вовсе переводиться. Сказав о своем решении жене и друзьям, стал с трепетом ждать письма от Казакова. Прибывшая наконец весточка с его согласием была для меня настоящим праздником.

С конца 1957 года я ждал Казакова, и, наконец ровно через семь лет, к моей горячей радости, он приехал в Алма-Ату. За это время он стал признанным писателем. Сам довольно много писал, и о нем много и охотно писали. Стали даже появляться у него поклонники и подражатели. Как бы ни была богата и разнообразна талантами русская литература, кто из нас не понимал тогда особой свежести, самобытности и удивительной неповторимости творчества молодого Казакова! После памятного периода «лакировки» действительности мы не могли не испытывать глубокой благодарности к молодому писателю за его необычно искренние и поэтичные рассказы.

Мне не приходилось быть свидетелем того, как он пишет, и сам он никогда не касался этой тайны. Не знаю, что обычно служило ему первоначальным толчком. Но, как почитатель его, пристрастный и постоянный, я скорее интуитивно догадывался, чем знал, что первоосновой этих удивительных рассказов служило обычно не событие, не реальное происшествие, не какой-нибудь подмеченный оригинальный человеческий характер, а, скорее, поэтический заряд, внутренний ли-

рический настрой, интонация и ритм души самого автора. Вот что было тут истоком. Казаков должен был работать, как Бунин, всегда мучительно искавший прежде всего звук, мелодию рассказа, тональность. Казаков, казалось, настраивал себя заранее на лирический лад, чтобы острым и чутким слухом уловить звук, и этот звук предопределял в дальнейшем весь поэтичный строй будущего произведения, а остальные компоненты, скажем, сюжет, фабула, композиция, отыскивались уже по ходу работы.

Настойчиво обращаясь в своих рассказах к чувствам и мыслям современников, Юрий Казаков в немалой степени способствовал возрождению великой традиции русской лирической прозы во всем ее былом великолепии, он в этом благородном деле много преуспел, казаковская лирическая проза стала украшением советской литературы шестидесятых годов. Он принадлежал к тем немногим писателям, что отмечены редкостной искренностью таланта. Это качество выделяло среди сверстников его и без того самобытную и крупную фигуру.

И вот он приехал к нам сложившимся писателем, с именем, со славой. Я, понятно, робел. В этом человеке все оказалось крупно и неожиданно внушительно, начиная с роговых очков с толстыми стеклами: огромный лысеющий череп, сильный рот с надменно оттопыренной нижней губой, крупный нос с горбинкой. И характер у него оказался крутой и резкий. Я почувствовал, что нелегко будет нам сладиться. А ведь предстояла совместная работа, где надо не только обсуждать и обговаривать, но и отстаивать свою точку зрения, не всегда соглашаясь с замечаниями партнера, особенно (как потом это и случилось) когда он после прочтения подстрочника стал ловить в моем тексте, в диалогах героев, как он выражался, а л я п о в а т о с т и. Он терпеть не мог фальши, самой ничтожной неточности, злился, например, когда какой-нибудь мой рыбак или пастух говорил умно и красноречиво. Относил он все это на счет моей писательской незрелости.

Со своей стороны, я старался объяснить своему несговорчивому переводчику, что-де в силу сложившихся объективных исторических обстоятельств всякий кочевник независимо от социального положения все свои природные способности, какими он был наделен от рождения, вкладывал в искусство речи, оттачивал его всю

жизнь, ибо человеческое достоинство степняков не всегда и не везде оценивалось по богатству или по знатности рода, а больше по искусству красноречия. Поэтому до недавнего еще времени устная народная поэзия процветала у казахов наряду с профессиональной письменной литературой, а юриспруденцию в патриархально-родовой степи заменяли словопрения биев-ораторов. От частной ссоры до тяжбы между родами — все решалось в публичных состязаниях этих же биев, где верх брала искусная, блестящая речь, где ценились находчивость и гибкость ума. И поныне в степи сохраняется культ красноречия, и поныне гостя принимают и провожают не по одежде, а по уму, по умению говорить. Степняка, когда он в пути, когда разъезжает из аула в аул, кормит в основном его язык.

Я говорил обо всем этом, Казаков курил, слушал внимательно, не обнаруживая, однако, своего отношения. Потом мы вышли на улицу, молча пошли по берегу горной речушки; мне показалось, что он забыл о том, что я говорил перед этим; он начал раскуривать вторую или третью папиросу, и, когда я, наконец, потерял всякую надежду услышать что-либо, он, слегка заикаясь, заговорил:

— Е-если да-же заведено было у вас та-ак, как ты говор-и-шь... ты же после выхода своей к-ни-иги на русском я-языке не-е мо-жешь подойти к ка-каждому русскому чи-та-телю и объя-яснять это. Поэтому диалоги простых людей, н-ну... ск-ажем, рыбаков, пастухов, упростим, а ба-ям и м-мур-зам оставим красноречие, как оно есть в тексте.

Так и порешили.

Я был уверен, что он прежде не занимался переводами, а это искусство сложное, имеющее своеобразную специфику, тем более в случае с казахским языком, который имеет иную, чем русский, структуру. Я же заметил его нелюбовь, невосприимчивость к замечаниям вообще и поэтому в деликатной форме спросил его об этом, ссылаясь предусмотрительно на нашу поговорку: «Если вначале будете требовательнее друг к другу, то в конце — согласнее».

Юрий Павлович редко смотрел на собеседника, казалось, ему достаточно короткого взгляда сквозь толстые стекла роговых очков, чтобы увидеть тебя насквозь. Он понял мое опасение и успокаивающе сказал:

— Старик, не беспокойся. Все будет хорошо. Я не

новичок в этом деле. Переводил повесть якутского писателя.

Я живо заинтересовался, хотел посмотреть его перевод, но Казаков поморщился, недовольно буркнул:

— По-моему, она нигде не печаталась, я не получил за нее гонорара.

Над переводом второй книги моей трилогии Юрий Павлович работал в Переделкине, и по его просьбе я находился рядом с ним. Он жил в коттедже, а я в основном корпусе. Дней десять он не работал, искал отговорки: то мешали ему какие-то там «прохиндеи», «хмыри», то начало моей книги не нравилось, казалось мрачным, безысходным... Однажды после ужина мы пошли прогуляться. Под ногами скрипел только что выпавший снег. Казаков снова заговорил о книге, бурча под нос:

— Конечно, жизнь тогда была тяжелая, но и в трудной жизни бывают свои радости и праздники.

Он, наверное, заговаривал об этом за эти дни раз десять. Мне надоело слушать одно и то же.

— Слушай, Юра, — сказал я, — вспомни свои рассказы и повести, разве они такие уж светлые?

Замечание мое ему не понравилось, он сразу потвердел лицом, злые искорки сыпанули сквозь стекла очков.

— Как х-хочешь! Мое дело п-переводить, отвечать придется тебе с-самому...

И повернулся, пошел к себе в коттедж, а я после долго ходил один и, помню, в тот день не сразу заснул. Когда проснулся, в комнате было еще темно. Я вспомнил сразу одно конкретное замечание Казакова, которое много дней занозой сидело в душе. Лежал и думал, мучался, чувствовал свое бессилие что-либо выправить в разонравившейся книге. Не знаю, сколько минуло времени, как вдруг пришла мне в голову какая-то шальная фраза, затем другая, третья... Я вскочил, сел за стол, быстро записал фразы, откуда-то всплывшие, ощущая, однако, в душе своей смутное приближение чего-то еще не осознанного, не осмысленного в полной мере. Мне кажется, что писал я словно под чью-то диктовку, писал два или три часа подряд, все еще не зная, что будет дальше и чем все это кончится. Вдруг стук в дверь — Юрий Павлович зовет завтракать. Я не пошел. Я работал два дня, не выходя на улицу, и не встал, пока не закончил большую главу,

которую назвал для себя «Луч света в темном царстве». Это была светлая, лиричная сцена, данная через восприятие старухи матери Тулсу и Калау после их приезда из степи в прибрежье, в аул рыбаков.

По приезде в Алма-Ату я быстро заказал подстрочник и отправил Казакову по почте. 2 февраля 1967 года он написал мне в письме, подчеркнув: «Глава твоя о старухе мне понравилась, я ее перевел с удовольствием».

Работа с Юрием Казаковым была для меня серьезной школой. Смею сказать, что я сам люблю работать над словом. Я убежден, что именно обликом слова определяется облик произведения. Но, признаться, кропотливая работа Юрия Казакова над словом меня просто восхищала.

Прежде чем написать эти воспоминания, я трижды перечитал огромную кипу писем Казакова ко мне[1]. За эти дни я не только заново пережил невозвратно далекую и милую пору нашей молодости, полную светлых надежд и мечтаний, но еще раз поразился беззаветному отношению Юрия Павловича к творчеству. Он мог бесконечно работать над словом. Перевод первой книги трилогии «Кровь и пот» шел в печать вначале отрывками в газетах и в журнале «Простор», потом полностью он появился в «Дружбе народов», затем в «Роман-газете», в издательствах «Молодая гвардия» и «Жазушы». Просматривая письма Казакова, я убедился в том, что он, оказывается, во всех этих изданиях требовал корректуры, что-то исправлял, все время находил какие-то огрехи, ошибки, злился, ругался, бушевал из-за халатности и безответственности корректоров, редакторов. 5 октября 1965 года он пишет: «В «Просторе» я нашел много огрехов, и мне даже стыдно стало. Я очень тужил, что не дали мне на корректуру верстки, это никуда не годится. Телеграфируй немедленно, чтобы мне выслали верстку из «Дружбы». В следующем письме, 21 ноября, он жалуется: «...мне нужно вовремя сверять текст по оригиналу... Ты знаешь, я халтуры не люблю, так там и скажи в издательстве».

---

[1] В письмах Ю. Казакова упоминаются руководители и работники журнала «Дружба народов» С. Баруздин, А. Салахян и В. Лукашевич, руководители алма-атинских издательств Д. Джангильдин и М. Симашко, работник издательства «Молодая гвардия» З. Яхонтова, писатели Э. Шим и Г. Семенов. *(Прим. ред.)*

Заодно с издателями мне тоже от него попадало, в основном, за мои неуместные попытки что-то исправить в его тексте. «Скажи, пожалуйста, — возмущался он 10 января 1966 года, — зачем тебе понадобилось трогать текст и вместо хороших и точных слов вставлять неточные? Разве для того только, чтобы я тут корпел над алма-атинской версткой и без конца исправлял и приводил все снова в божеский вид?.. Ты обращаешься к моей помощи потому, что не знаешь русского языка. Если бы ты его знал, как я, ты бы не стал обращаться к помощи переводчика, а переводил бы сам, не правда ли? Ты можешь сколько угодно переписывать и изменять казахский текст, но русский текст ты не должен трогать — мало того! — ты должен препятствовать этому в том случае, если вздумает править какой-нибудь редактор. Я тебе напоминаю наш разговор прошлой зимой... Не ссорься со мной, ибо это не в твоих интересах. А писать плохо, писать кое-как, даже переводя, в свою очередь, не в моих интересах».

Совместная работа сближала нас, давая узнать друг друга с разных сторон. Как все степняки, я люблю живой огонь, люблю погреться у очага. Юрий Павлович знал и понимал мою эту слабость, не поддающуюся ни современному быту, ни достижениям цивилизованной жизни. Приезжал я иногда к нему на дачу в Абрамцево, зимой или осенью. И бывало как-то приятно и тепло на душе, когда этот вроде независимый, никогда и ни к кому не снисходивший человек начинал вдруг проявлять неподдельную чуткость к моим прихотям, таскал наколотые дрова из сеней и кричал Тамаре или Устинье Андреевне: «Топи камин, будем пить чай у огня».

На рубеже семидесятых годов, когда я попал в больницу, он писал мне письма, полные дружеской заботы и внимания. 2 апреля 1970 года: «Лежание в больнице, как правило, порождает всякие мрачные мысли и мнительность... Не хандри, старик, не кликай смерть, она и так, стерва, у нас с тобой не за горами, не искушай судьбу. Поправляйся скорее и приезжай, дабы я мог тебя облобызать. В моих чувствах к тебе можешь не сомневаться».

Через некоторое время: «Получил твое письмо — очень грустно, что ты находишься в такой прострации. Все-таки несчастный мы народ, писатели, нет нам дома жизни, сколько комнат ни займей и сколько дач ни

построй. Один, значит, выход: время от времени удирать от семьи и в тиши и одиночестве работать... Так что давай-ка подумай серьезно о себе, дело идет не к молодости, творческие силы убывают...»

В этих старых письмах снова воскресает для меня нежная, поразительно распахнутая к человеку душа моего ушедшего друга, особый талант щедрости, изящество в одаривании тебя расположением, любовью. Перечитывая слова, обращенные ко мне много лет назад, я заново ощущаю тонкую, почти детскую восприимчивость и артистизм этого взрослого, сильного мужчины и с болью думаю, что эта драгоценная особенность его натуры тоже, видимо, как-то сказалась в том, что жизнь его вышла не совсем складной.

Я знавал и другого Казакова. Древняя мудрость требует говорить об умерших хорошо или молчать о них. Да, я думал и думаю о своем друге и любимом писателе с благодарностью и нежностью, но в то же время осознаю, что куда важнее показать его таким, каким был он в реальности, а был он сложным, колким человеком, и незачем наводить глянец на его посмертный лик. Ни я, никто другой из его друзей не стал бы сегодня утверждать, что он был ангелом. В его характере и поступках была невероятная противоречивость, и к ней поначалу трудно было привыкнуть. В нем, как ни в ком другом, уживались чрезвычайная доброта и непостижимые уму капризы, мгновенно переходящие в резкость. Он мог широко, без оглядки одарить, осыпать тебя любовью, заботой, вниманием, но мог иногда, к несчастью, бывать мелочным и неуживчивым. Любя его как человека, в общем-то, доброго и заботливого, восхищаясь его уникальным талантом, я знавал его всяким и, случалось, решительно отказывался понимать.

Как я уже говорил, работа с Юрием Казаковым была для меня школой. Когда дело касалось творчества, для него не бывало ничего второстепенного. Касалось ли это отдельного слова или детали, он ни в коем случае сам не допускал и никому не прощал неточности, приблизительности. Любая фальшь легко выводила его из равновесия.

Однажды в Переделкине был такой случай: после завтрака мы разошлись — я пошел к себе в корпус, а он в коттедж работать. Только я сел за стол, чтобы внести кое-какие исправления в свой текст по его за-

мечаниям, как он прибежал, и вид у него был такой всполошенный, что я растерялся. Я не успел спросить его, не случилось ли чего-нибудь, — он, сильно заикаясь от волнения, выпалил:

— С-слушай, я т-там у тебя в те-кс-те нашел крупную ошибку.

— Да? Какая это ошибка?

— У тебя там написано: из т-т-трубы валит г-густой дым. А т-ты знаешь, з-зимой в морозный де-день д-дым бывает жидкий и свет-лый!

В моих глазах Юрий Казаков был и остается олицетворением незапятнанной совести русской советской литературы.

ЮРИЙ КАЗАКОВ.
Письма к Абдижамилу Нурпеисову

11 мая 1965 года:

«Дорогой Абе!

Сообщаю тебе новости, которые не очень-то хороши. Дело в том, что в начале апреля мама сломала ногу в Тарусе и весь апрель у меня, естественно, пропал. Привез я ее в Москву, положил в больницу, и каждый день у нее бывал, все ей доставал, покупал и т. д. Работать, конечно, не работал и почти никакими делами не занимался. Потом достал две путевки в Малеевку, привез ее сюда, нога у нее еще в гипсе, ну мы с ней тут и коротаем время. Первые дни выпивал, ибо праздники, а теперь бросил и постепенно вхожу в колею, начинаю отвечать на письма и работать. В Тарусе я с того самого злополучного дня не был, письма от тебя не получал и не знаю, как обстоят дела у тебя.

У меня дела обстоят так. Одна машинистка перепечатала роман, я его сдал Салахяну и второй экземпляр дня два-три назад послал тебе. Письмо это ты получишь раньше романа или одновременно, потому что роман послал я простой бандеролью. Кроме того, все главы о Судр Ахмете и одну главу о Елмане я послал в журнал «Сельская молодежь». Через недельку я поеду в Москву и узнаю, взяли они что-нибудь или нет.

В журнале (...) дела неважны (...) Ко мне (...) претензий нет, а претензии к тебе: а) ввести еще одного положительного героя (?); б) подробнее, шире показать причины восстания и самое восстание. Кроме то-

го, они ждут от Джангильдина поручительства, что роман не выйдет в Алма-Ате раньше, чем у них.

А как следствие всего этого — договора со мной не заключают и аванса не дают ни хрена. А я проелся вконец, на мать ухлопал уйму денег, себе пальто купил, потом две путевки по 150, и придется, видимо, еще две покупать на июнь.

Через недельку поеду в Москву, возьму роман у другой машинистки и сдам его в издательство «Молодая гвардия». С «Молодой гвардией» у нас будет все в порядке (...)

Мама, м. б., на август махнет опять в Алма-Ату, в санаторий, ты ее тогда там устрой, пожалуйста.

Напиши мне, что и как у тебя в Алма-Ате, и еще вот что, т. к. у меня нет денег совсем, то давай поторопи издательство с заключением со мной договора на второй роман и чтобы аванс слали!

Будь здоров, обнимаю, привет большой Ажар, детям и тете.

Адрес мой на это время: Московская обл., Рузский р-н, п/о Малеевка, Дом творчества им. Серафимовича (...)

Здесь отдыхает Лукашевич. Он советует скорее прислать гарантию, что у вас роман не будет напечатан раньше «Дружбы». Но в «Простор» ты его отдавай, пусть печатают в е с ь и поскорее!

Пиши!»

9 января 1966 года:

«Абе, здравствуй!

Пишу тебе зеленой твоей ручкой, ибо настроение у меня после твоей телеграммы исправилось.

Новости такие.

Получил дня три назад верстку романа из «Молодой гвардии». Они молодцы, ничего не тронули, и впредь давай условимся с тобой считать это издание к а н о н и ч е с к и м и при переизданиях (если таковые нам пошлет аллах вместе с Иссой) пользоваться этим изданием. Я уже верстку просмотрел всю, поправил, где можно было, и в понедельник (10/1) сдаю.

В понедельник же будет верстка «Роман-газеты». Я ее трогать не буду, т. к. (...) возиться мне неохота, да и не дадут мне делать большую правку. Так что я, наверное, и брать ее домой не буду, а прямо подпишу, пусть в «Ром.-газ.» идет ж у р н а л ь н ы й текст.

Теперь. Семенов мне говорил, что Шим не хочет переводить очерк, который ему прислали из «Сельской молодежи». Придется, видно, мне этим делом заняться, если не возражаешь.

И, наконец, г л а в н о е.

П р и с ы л а й, п о ж а л у й с т а, п о с к о р е е в т о р у ю к н и г у р о м а н а, я, н е о т к л а д ы в а я, з а й м у с ь е ю и, м. б., к апрелю сделаю весь перевод. Не знаешь, напечатала что-нибудь «Сельская жизнь», как они тебе обещали? Я как-то не видел этой газеты и телефон потерял.

А что еще?

Больше ничего.

Да! Завтра займусь алма-атинской версткой, сделаю ее дня в три и вышлю тебе авиапочтой, и ты смотри сам. Я ее пошлю на твой адрес, ты никуда не уедешь? Побудь пока в Алма-Ате, чтобы не было разных неприятных неожиданностей. Я же здесь насяду на «Молодую гвардию», думаю, что к концу января будет уже сигнал.

Привет от Тамары.

А от меня привет всему дому и всем друзьям.

Обнимаю.

Ю. Казаков».

14 января 1967 года:

«Дорогой Абе!

Посылаю тебе вырезку из французской газеты, в которой издательство «Галлимар» — самое крупное и знаменитое издательство Франции — анонсирует наряду с Паустовским и со мной также и тебя. Французы, как видишь, прибавили тебе еще одну букву и ты теперь — «Нурпеиссов»!

Ты почему-то оставил у меня первый экземпляр первой части, тогда как ты хотел его взять для «Простора». И, кроме того, он не полный, обрывается на 92 странице, а последних 30 страниц нет.

Как дела? Удалось ли тебе что-нибудь где-нибудь устроить? И почему не пишешь ничего?

Будь здоров, скоро я тебя призову в Москву, друг любезный, чтобы ты ходил по издательствам и редакциям со своим романом под мышкой.

Всего наилучшего.

Ю. Казаков».

2 февраля 1967 года:

«Дорогой Абе!

Вот посылаю тебе первую часть. Тебе нужно будет и дальше перенумеровать страницы после 109 и соответственно переписать главы. Очень грязная рукопись вышла, чертова машинистка, сколько ошибок наляпала.

Только обязательно нужно сделать сноску, что роман целиком будет напечатан в «Дружбе народов».

Я сижу в Москве последние дни. Буду стараться за это время как можно больше сделать тебя. Если даст бог, через неделю или поболе того уезжаю в Париж. Пока на 15 дней, а там посмотрим. Ибо, пока оформлялся я по одному приглашению, на меня пришло еще одно приглашение, так что, может быть, мне посчастливится пожить в Париже целый месяц. Не сердись, милый, что я оставляю твой роман недоделанным. Вернусь — быстро доделаю. Баруздину я уже сказал. Он не в восторге от моей поездки, т. к. ему главнее роман, но все же и не сердился особенно.

Глава твоя о старухе мне понравилась, я ее перевел с удовольствием. Если бы все главы были такие, то и роман бы пошел быстрее, а то я часто застреваю. Ну ничего, главнее всего все-таки качество, а не быстрота перевода.

Будь здоров, дорогой! Распространяй по Казахстану свой роман. Деньги нам нужны. А как только кончу (в марте), я тебя вызову в Москву, и ты займешься этим же делом здесь. Первую часть я уже сдал на перепечатку. Не сегодня-завтра сдам вторую.

Целую, привет Ажар. Я тебе, м. б., еще напишу.

Юра».

3 июня 1967 года:

«Ну, старичок, Еламан твой прикатил в аул, вместе с ним прикатил туда и я, и как-то мне полегче стало, запахло морем, опять замаячил на горизонте Мурза, пришли Дос и Мунке, — а то, признаться, стало мне без них скучно.

А главное, старичок, главное — замаячил впереди конец! Я уж и не верю такому счастью. Завозился я что-то, прямо нужно сказать, завозился. Но, как гово-

рят у нас, сколько веревочке ни виться, а кончику быть.

Вот и отшумел в Москве съезд[1], отговорили все, отполучали командировочные и суточные, отпили, отъели, подались по домам, выбрали руководящие органы, и я теперь уже не кто-нибудь, а «ревизионист»! Понял? То-то. Приеду вот в Алма-Ату ревизовать вас всех и наводить порядки.

Письмо Шамкенову я написал.

Как там всем вам отдыхается? У нас погода что-то захолодала, северные ветры...

Хочется в Болгарию, там потеплее, но пока ответа нет, да и все равно до конца романа я не стронусь с места. А то опять отложится все бог знает на сколько времени.

Когда попадешь в Гагры, съезди обязательно в Пицунду, погляди, как там идет строительство. И вообрази, как я там прекрасно жил, когда не было там ни одного дома, а только сосны. А на озеро Рицу не езди, по дороге туда очень часто случаются катастрофы, автобусы кувыркаются в пропасти, очень там опасная дорога. А Рица ничуть не лучше вашего Иссыка, когда он еще не выплеснулся.

Пиши мне! Будь здоров, отдыхай и набирайся сил. Привет всем твоим! Кланяются вам также мама и Тамара».

6 января 1968 года:

«Дорогой Абе!

12-й номер «Дружбы» уже вышел, в понедельник (8 января), наверное, поступит в печать.

Про книгу я ничего не знаю, но, наверное, ее выход не за горами, м. б., в январе и выйдет.

Тебе не мешало бы подумать и о «Роман-газете». Как тебе поступить — приехать ли в Москву для личных переговоров с редакцией «Роман-газеты» или вести эти переговоры из прекрасного далека — решай сам.

Во втором номере «Работницы» пойдет отрывок из романа.

Вот, кажется, и все, что у нас в Москве с тобой делается. Теперь об Алма-Ате.

---

[1] Четвертый съезд писателей СССР.

Обязательно проследи, чтобы «Мытарства» в Алма-Ате печатались по моему первоначальному тексту без всяких сокращений и изменений. На этом я настаиваю.

Второе: «Сумерки» должны перепечатываться с московского издания в «Молодой гвардии» и ни в коем случае не с алма-атинской книги. Это нужно, чтобы текст был идентичен переводу, сделанному мной, а он в «Сумерках» наиболее сохранен в молодогвардейском издательстве.

Я пишу Симашко особо, но ты, пожалуйста, ему напомни, чтобы в корректуре моего сборника были вычеркнуты слова, предпосланные мной очерку «в мае в счастливую пору»: «Всего вам доброго и никаких толчков. Ю. Казаков. Таруса. 66 г.». Эта фраза предназначалась журналу «Звезда Востока», и в сборнике она ни к чему.

Как твои дела? Удалось ли тебе уединиться в горах? Работаешь ли?

У меня прежние неурядицы с жильем, живу на кухне, и работать, конечно, не приходится.

Да! Изругай ты (...) сценариста, который нарушил все сроки и ничего мне не пишет и не дает вообще о себе знать. Это несколько и неуважительно по отношению ко мне.

И пиши вообще почаще, ладно? (...)»

25 апреля 1971 года:

«Дорогой Абе!

Каюсь — только теперь начал работать, хотя уже неделю чувствую себя в форме, а задержка вызвана тем, что я внимательно проштудировал твою третью часть и она меня не убедила и даже смутила. Я говорю о начале, о первой половине. Конец, вернее, вторая половина, очень хорош, очень! А в первой меня смутили некоторые вещи, как, например:

1. Как белые, имея аэропланы, не знали численности и расположения красных под Аральском? (Во время первой империалистической войны и гражданской войны авиация в тех частях, где она была, активно использовалась для разведки.)

2. Почему Ознобина допрашивает Федоров — квартирмейстер по должности? Этими делами всегда занимались офицеры разведки и контрразведки, а эти от-

делы не могли не существовать в штабе такого крупного соединения, как армия Белова[1].

3. Относится к пункту 2. Почему Белов обращается с просьбой раздобыть «языка» вообще ко всем офицерам, присутствующим в его палате, тогда как по этому вопросу он должен был говорить именно с разведкой и контрразведкой?

4. Наконец, почему Белов — опытнейший генерал — начал наступление без артподготовки, не использовал танки и авиацию? (Танки появляются потом, когда уже отбито 2—3 атаки, артиллерия и авиация не участвуют вовсе.) Все это поистине странно и необъяснимо... Я начал уже работать и буду, конечно, переводить все как есть, а пишу тебе это затем, чтобы ты, м. б., потом как-то хоть чуть-чуть поправил дело, ибо вовсе неинтересно будет, если такими же вопросами потом задастся какой-нибудь дотошный критик, понимаешь?

Ну и об отступлении белых в пустыне, и о мыслях Танибергена я уже сказал — очень все хорошо, умно, печально и поэтично! Поздравляю тебя с таким концом (...)»

29 мая 1971 года:

«Милый друг!

Винюсь перед тобой — затянул я перевод. Увы мне, увы! Ойбай-ау, как любил говаривать несравненной памяти Судр Ахмет, что делать, дружок, тут не резиденция, отец вывихнул спину, мать ничего не может, и приходится ковыряться на огороде мне — весна ждать не будет, и так мы запаздываем с посадками. Но — терпение, терпение!

Страшно рад за тебя, что тебе удалось всюду побывать и повидать любезные твоему сердцу места. Как бы я хотел совершить с тобой подобный вояж!

А теперь просьбы (...)

Спроси у директора или главреда издательства «Жазушы», не сочтет ли издательство возможным заключить со мной договор на издание трилогии (ведь они будут так или иначе ее издавать в 72 году)? А если они договор заключить могут, то не выплатят ли мне 25 процентов аванса? Грустно признаться, но дом пожирает все деньги. Договорился я, например, об окрас-

---

[1] В окончательном варианте — Чернов.

ке большого дома — знаешь за сколько? За 600 руб. (...)

Очень сожалею, что ты застал меня в мои дурные дни, так мне хотелось с тобой погулять и поговорить о многом. Ну — до следующего раза.

Целую тебя, пиши мне. Поцелуй Ажар. Мама и папа кланяются. Когда поедете в отпуск в Европейскую СССР, заезжайте обязательно, я специально для вас баню истоплю.

Ю. Казаков (...)»

ВСЕ В НЕМ ПЕЛО

В дни, когда республика чествовала стодвадцатипятилетие со дня рождения дедушки казахской поэзии, я находился в больнице. Лежа в палате один, все больше предаваясь унынию, представлял себе, как там веселились люди, празднуя эту славную дату. Конечно, мне было обидно.

В узкой и длинной комнате с единственным окном, выходившим во двор, днем всегда тихо. Такая тишина обычно бывает на море, когда нет ветра, когда невыносимый южный зной морит кругом все живое и неживое. И только под лучами солнца блестит море, ослепляя глаза. Сколько раз, приезжая в родной край, приходилось мне погружаться вот в эту тишину и видеть пустынную белую гладь моря. Я знал, что мои переживания не принесут мне облегчения. И поэтому старался не думать о юбилее, о приятной встрече с гостями. Иногда это мне удавалось. Смирившись на какое-то время со своим положением, я смотрел в окно. И каждый раз над окном третьего этажа я видел узкую полосу синего неба. Только что оно, это небо, было вроде ясно, а теперь с верхней кромки окна все ниже и ниже сползало белое-белое, с дымной подпалиной облако. И как всегда, когда смотришь на кочующее в небе облако, обязательно увидишь что-то знакомое. И сейчас из этих причудливых облаков вдруг начала вырисовываться человеческая голова в мерлушковой шапке, под шапкой будто угадываю очертания облика: вот веки, вот глаза, слегка прикрытые в задумчивости. Ниже — обвислые усы, еще ниже — белая борода. Лицо тоже белое, задумчивое, старое. Вроде я его знаю. Знаю

давно, с детских лет своих, из учебников литературы. Да-а, это он...

Я улыбнулся. Чего только не бывает с человеком, когда он болеет! Ему тяжело. У него температура. А он продолжает жить думами о близком и дорогом человеке. Да и как не думать о нем! Он жил долго, жил без каких-то шести месяцев сто лет. Начал он свою жизнь с нашими далекими предками. Будучи тогда юношей, разделял он с ними невзгоды неведомой нам эпохи. Был он сверстником наших отцов и дедов. И успел еще пожить и при нас. Потому-то мы знаем и помним одного из великих долгожителей планеты, помним его в старческие годы, под тяжестью своего возраста согнувшегося, сгорбленного, седобородого, словом, точно такого, каким он был запечатлен в учебниках и каким теперь вырисовывался из этого белого облака, подплывавшего откуда-то к моему окну. А ведь он был еще и другим. Сильным, молодым. Оживи наши предки, я уверен, они бы его не узнали. Ибо они видели его в молодые годы.

В то далекое время, когда он был молодым и сильным, жизнь была другой и люди были другими, со странностями, на наш теперешний просвещенный взгляд. В то время люди боялись всего на свете: боялись злых людей, боялись злых духов, созданных воображением беспомощных и малодушных. Не все было тогда изучено и угадано человеком в покрытом тайной царстве природы. Природа оставалась беспредельной, и человек перед ней, как перед океаном в бурю, трепетал и в каждом ее проявлении усматривал нечто грозное, таинственное и жуткое. Человек, как истинное дитя природы, тогда был или очень самоуверенным, или очень трусливым. Скажем, скотовода зимой пугали ветер, пурга, осенью — непомерно обильный дождь или, наоборот, засуха — летом; пугала и темная ночь, под покровом которой рыскали волки или подкрадывались воры, совершались набеги, творились насилия. Словом, тень ужаса и страха стояла тогда за спиной каждого кочевника.

Жил в то время среди наших далеких предков один простой с виду человек. И роста небольшого. В нем не было ничего броского, присущего степным бардам и поэтам-импровизаторам, но зато дерзости — хоть отбавляй. Скуластого и поджарого поэта, желая унизить и уязвить всячески, наделяли нелестными эпитетами его

противники. Однажды даже назвали его «тайпак кара» — плосколицым черномазым. Это было во время знаменитого поэтического состязания с грозным акыном Кулмамбетом, который, к его великой чести, не ведал на своем веку поражений, за что был прозван в народе кулан-аяком, что означает буквально «быстрый, как кулан».

Мы мало знали начало жизни этого человека. Поэтому он то напоминал старую книгу, начальные страницы которой утеряны, то являлся к нам в образе былинного героя из глубин прошлого века, одинокий, седобородый и легендарный.

Если мы что-нибудь и знаем о его прошлой жизни, то знания эти обрывочны. Например, нам известно, что его предки были батырами. Сам он стал вопреки воле акыном. Нам известно, что отцы и деды его родились и жили в предгорьях Алатау, а он родился в предгорьях Джамбула, куда в панике бежал его аул, преследуемый отрядом жестокого кокандского хана Кудеяра.

Когда народ метался в панике и страхе
и бедное кочевье гнал буран,
пришел в этот хмурый, лютый мир Джамбул...

(Подстрочный перевод)

Все это известно, но нам неизвестны его детские и юношеские годы, первая вспышка его поэтического таланта и формирование его мировоззрения. Но зато мы знаем, что его малочисленный бедный аул Екей был богат акынами. Об этом и в песне пелось:

В славном роду Екей
Сотня акынов, полсотни баксы,
Едва лишь заходит солнце,
Запевают, как одержимые, на все лады.

(Подстрочный перевод)

В этом ауле и по сей день сохраняют традиции своих предков: не пропустят случая вступить в поэтическую схватку, будь то женщины, старики или молодежь. Далее мы знаем, что он был ровесником великого Абая. Абай рано ушел из жизни, а он, Джамбул, и после него жил долго, почти полвека, своей поэзией прославляя Страну Советов, обессмертив и свое имя. Он был безграмотным, а Абай был приобщен к передовой русской культуре. Один из постоянных посетителей краеведческой библиотеки в Семипалатинске, этот медлительный в движениях степной аристократ, вызывав-

ший немалое удивление и, быть может, даже смех какой-нибудь городской барышни, читал едва ли не первым лучшие произведения русских писателей XIX века, публиковавшиеся тогда в «Современнике». И, к великому счастью казахской литературы, его мировоззрение как поэта и гражданина формировалось под воздействием ссыльных русских революционеров-демократов. Казахская письменная литература, с первых же своих шагов отличавшаяся удивительной профессиональной зрелостью, обязана своей счастливой судьбой только гению Абая. Ибо наша литература брала свое начало от этой гордо возвышавшейся одинокой, сиротливой горной вершины. Рядом с чистым родником поэзии Абая бурлила необузданной силой устная поэзия. Нам неведомо, откуда она брала свое полноводное начало, за какой далью времен, но зато мы знаем: в то время, когда ручеек письменной литературы только-только зарождался на национальной почве, устная поэзия уже переживала свой бурный расцвет и широко, уверенно несла свое изначально могучее течение. И во главе ее стоял великан народной поэзии Джамбул. Как яркий представитель устного народного творчества, он, подобно дереву платану, тысячелетиями вбирающему сок из недр земли, возвышаясь своим непререкаемым поэтическим авторитетом, возглавлял до конца своей жизни могущественный клан народных акынов.

По словам самого Джамбула, у него за всю его жизнь было гораздо больше «песенных» слов, нежели «простых». Иначе говоря, ему приходилось куда больше импровизировать, слагать стихи и петь, нежели говорить. Как на беспристрастное подтверждение этого поистине уникального факта хочу сослаться на авторитет Ильи Эренбурга, который писал в книге «Люди. Годы. Жизнь»: «В Москву я возвращался с писателями. Меня позвал в свое купе Джамбул. С ним ехал его ученик и переводчик. Джамбул рассказывал, как сорок лет назад на свадьбе бая он победил всех акынов. Принесли кипяток и заварили чай. Джамбул взял свою домбру и начал что-то монотонно напевать. Ученик объяснил, что Джамбул сочиняет стихи. Я попросил перевести. Оказалось, что акын просто радовался предстоящему чаепитию. Потом он подошел к окну и снова запел, на этот раз переводчик сказал строки, которые меня тронули: «Вот рельсы, они прямо летят в чужие края, так летит и моя песня». Кожа на лице Джамбула напоми-

нала древний пергамент, а глаза были живыми, то лукавыми, то печальными. Ему тогда было девяносто два года».

Можно себе представить, какое это было бы огромное наследие, если бы удалось собрать все его песенные слова! Песенные слова столетнего старца равносильны столетней летописи народной жизни, сотканной изо дня в день кропотливо и неутомимо великим мастером устного творчества. Все творения устной поэзии, рождаясь мгновенно, подобно вольнокрылой птице, так же мгновенно разлетались по всей степи. К сожалению, не все вспорхнувшие однажды птицы вновь возвращаются на родные ветви. Например, знаменитое толгау («Раздумье») Джамбула нам известно только в девятнадцати строках, тогда так, по свидетельству Кенена Азербаева, очевидца и участника узунагачского айтыса, в тот день старый акын прискакал злой, обиженный невниманием организаторов и, не слезая с коня, взволнованный и яростный, пел свой толгау с утра до обеда, пел как бы на едином дыхании, не запинаясь и не останавливаясь. Далее его популярная «Устепке» («Выставка») до нас дошла всего в семнадцати строках, а, по рассказам очевидцев, Джамбул ее пел тоже долго. Так называемая выставка была организована местными властями осенью 1913 года в честь трехсотлетнего юбилея династии Романовых. Собрав всех акынов Семиречья, поставили множество юрт в том самом месте, где сейчас находится парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. И по наущению местных властей акыны взахлеб восхваляли могущественную династию Романовых и их отпрыска-царя; только один Джамбул со свойственной ему прямотой и дерзостью пел долго и гневно, особенно обрушиваясь на льстивых собратьев-акынов. В этих дошедших до нас немногих строках виден весь Джамбул, его неукротимый бунтарский дух, открытый полемический задор. Зная глубину его переживаний и взволнованность, можно легко представить, как немолодой уже акын говорил с огромной душевной болью и тоской о горькой участи своего народа. Перебирая теперь в памяти своей его большую жизнь, за далью времен мы постоянно испытываем затруднения. Ибо наши сведения о нем не полны. Между разрозненными сведениями остаются провалы, обрывается целая полоса еще мало изученных отрезков долгой жизни. О нем вот уже более сорока лет пишутся статьи, делают-

ся доклады, защищаются диссертации, он давно вошел в учебники и изучается в вузах, открыт отдел Джамбула при Институте литературы имени Ауэзова, но тем не менее до сих пор собрано далеко не все, что проливает свет на его раннюю биографию, его духовный рост и формирование, он все еще недостаточно изучен, и прежде всего как крупная фигура в устном народном творчестве, как акын-импровизатор. Мы знаем, что он во всех айтысах выступал как непримиримый изобличитель пороков своей эпохи. В своей жизни он не раз вступал в поэтическое единоборство с лучшими акынами Сары-Арки и Джетысу. Среди них наиболее известны нам его состязания с поэтессой Айкумис, с девушкой Нурилой и еще с такими знаменитыми акынами, как Бактыбай, Сарыбас, Шашубай, Досмагамбет. Таков далеко не полный перечень.

Когда было угодно состязаться, как говаривали прежде, языком, он был непобедим. Многое он познал в жизни, но только не горечь поражения. Рассказывают, что сражал он одним ударом, одним, по-джамбуловски острым и точным, выпадом. После чего противники его, словно парализованные, лишались дара речи. Под одобрительный гул в честь победителя почти все они уходили красные от стыда, жалкие и пришибленные. Ни разу великий акын не уклонялся от схватки, вступал в бой открыто и яростно, шел на абордаж и потопил в пучине забвения не один гордый корабль, бороздивший безбрежный океан устной народной поэзии. Народ помнит своего непобедимого поэта, помнит почти все его знаменитые поединки и победы, но не все подробности сохранились в памяти.

Из айтыса в айтыс рос его авторитет. Особенно возвысил его как поэта и гражданина знаменитый айтыс на летнем джайляу у подножия Алатау, с тем самым Кулмамбетом, который прослыл куланом быстрым. По существу, это было вершиной импровизированного айтыса. Конечно, он был наслышан о непревзойденном акыне Кулмамбете, хотя и не доводилось еще с ним встречаться. Рассказывали, что Кулмамбет только что победил одного за другим девять известных акынов. И он был горд, окрыленный столь редко выпадающей на долю поэта-импровизатора удачей. И, окруженный льстивой, шумной толпой, чувствовал себя старый акын на гребне вдохновения, упивался собственным величием и только искал повода для новой схватки.

У порога сидели, понуро свесив головы, девять акынов, побежденные им, точно воины, только что проигравшие битву, а рядом лежали онемевшие их домбры. И тут вошел неприметный, неказистый поэт из бедного рода Екей. Кулмамбет сразу обрушился на него: «Не на погибель ли свою собрался, юнец? Нарвешься небось на острый мой меч!»

В поэтическом состязании, как в любой схватке, психологическое значение имеет первый удар, неожиданный, резкий выпад, ошеломляющий противника. Опытный Кулмамбет не преминул воспользоваться этим испытанным приемом. Но все же пришлось тем не менее и ему, первому акыну Джетысу, признать свое поражение.

Конечно, Джамбул обладал несравненно более широким поэтическим диапазоном, чем Кулмамбет, который был все же акыном старой закалки. В пылу полемики он старался прежде всего задеть достоинство своего противника, унизить его род, ловко играя на темных родовых инстинктах и распрях, восхваляя при этом «своих» баев, биев, батыров. Джамбул принял его вызов и говорил от имени бесправного степного люда.

Еще один примечательный факт: в степи со стародавних времен существовала своеобразная демократическая традиция айтыса — обе стороны устами своих акынов высказывались предельно откровенно. И поэтому айтысы зачастую превращались в арену открытой классовой борьбы. Начинаясь, как правило, с каких-нибудь безобидных придирок или взаимных упреков и уколов под взыскательным взором собравшегося народа, акыны иной раз поддразнивали, поддевали друг друга колкими и едкими словами, все это даже входило в ритуал и норму айтыса. Тем самым опытные акыны старались не только вызвать друг у друга гнев, задеть за живое, но и пробудить полемический задор. Айтыс накалялся быстро, нарастали его темп и острота в полемике. Этому немало способствовал и народ, который слушал затаив дыхание, чутко реагировал на все удачные находки, остроты, то и дело взрываясь вдруг поистине гомерическим хохотом. По мере того как накалялась атмосфера, словесные стычки начинали выплескиваться из частного, личного в интересы рода, племени, и, в конечном счете, уже когда айтыс достигал своего апогея, скрещивались обнаженные шпаги противоборствующих классов. Там, где не удавалось отомстить

насильникам за свои безмерные страдания и унижения острием меча и копья, бывало, народ прибегал к устам своего отважного акына, карая обидчика публично.

Как и все большие и малые произведения устного народного творчества, творения Джамбула дошли до нас благодаря народной памяти. А ведь хрупкая память кочевого народа, не имевшего своей письменности, перенесшего на своем веку постоянные гонения и притеснения то кокандского хана, то царского правительства, в борьбе и бедствиях не все, видимо, сумела удержать; я уверен, что многие творения акына, которому был семьдесят один год, когда свершилась революция, забылись или затерялись в изломках судьбы народа. Старый акын, выходец из народа и разделивший его участь в своем творчестве, протяженность которого была почти равна одному веку, отражал последовательно, шаг за шагом и историю его, и судьбы, печали, радости, подъемы и падения, тревоги и торжество, поиски и заблуждения.

У нас еще в памяти, как к концу жизни его имя стало чуть ли не знаменем советской поэзии, и его нередко называли великаном. Мы не знаем, как он сам, человек правдивый и прямолинейный, на это реагировал, соглашался или нет. Но нам известно другое: он знал силу своего таланта. И как человек, не умевший кривить душой ни перед кем, он за свою жизнь как-то раза два или три доверительно поделился с самыми близкими друзьями, сказав, что его оберегает его тигр. Да, будучи суеверным человеком, воспитывавшимся с колыбели на традициях фольклора, он, видимо, верил в это мифическое чудо. Особенно в знаменитых айтысах, в кульминационный момент искрометного состязания, когда та или другая противоборствующая сторона под одобрительный гул своих сторонников впадала в экстаз, видимо, муза вдохновения являлась к нему грозной, нападающей силой, и не иначе как в образе тигра. Кстати, незадолго до кончины тяжелобольного старца посетила группа писателей во главе с Сабитом Мукановым и Абдильдой Тажибаевым. И, как принято в таких случаях, они старались утешить его: «Ничего, Жаке, бог даст, еще поправитесь». В ответ он лишь покачал головой и тихо сказал: «Нет, детки мои. Перед вашим приходом ушел от меня мой тигр. Я хотел воротить его, но он не обернулся. Скрылся за холмом. Зна-

чит, я умру». Итак, тигр его ушел — ушла и его поэзия. Свою жизнь он без поэзии не мыслил.

По рассказам близко знавших его людей, старый акын любил жизнь, душа его тянулась к молодости. Видимо, странно было наблюдать современникам, как вдруг оживлялся этот не в меру капризный, дерзкий старец при виде красивых женщин. Он, как истинный поэт, увлекался легко, поразительно пылко воспламенялся, забывая себя и свои годы. Видно, вечно юное сердце акына было непокорно и неподвластно ему. Поэтому он до глубокой старости не переставал влюбляться во все прекрасное, молодое, будь то неизменно притягательная красота женщины или буйное цветение весенней природы. В этом отношении он был сродни великому Гете с его неиссякаемой жаждой любви.

Во время айтыса с прекрасной девушкой Айкумис акыну она напоминала дикий цветок степи. Душа старого акына переполняется ее неотразимым очарованием. И он мгновенно зажигается трепетным юношеским порывом, о чем со свойственной ему прямотой заявляет ей довольно откровенно:

Несчастны в этом мире девушка и джигит,
Что не могут друг друга открыто любить.
Вечная необузданная, нетленная страсть
При виде тебя просыпается во мне опять.
(Подстрочный перевод)

Вдохновенный поэт в каждый свой айтыс вкладывал всего себя. И поэтому после айтыса он обычно угасал так внезапно, точно потухал, как потухает покинутый путником очаг в степи. Я думаю, в такие минуты он наверняка уходил в себя, искал уединения, молчал, подолгу слушал беседы земляков, слушал и песню, щебетанье птиц, шелест листьев, ночные таинственные звуки в степи или суровое молчание гор. В такое время он, наверное, бывал нелюдимым, хмурым, но менее капризным, словно долго восстанавливал растраченные поэтические силы.

Он еще любил ездить. Ездил из аула в аул. Нетрудно представить себе, как он садился на какую-нибудь клячу, положив домбру, неизменную спутницу, поперек седла, и отправлялся в дальний путь.

Не помню, у кого читал, что одинокий и вдумчивый путник испытывает особую пьянящую радость от единения с миром. И я полагаю, что акын, как все истинные степняки, неузнаваемо преображался в пути. Ехал

ли он на восток или на запад, не имело, собственно, значения, но самое главное то, что он был один на один с природой благословенного края Джетысу. Позади громоздились горы Алатау. А впереди открывалась великая равнина. Над головой сияло солнце. И пустынная ширь казахской степи, покрытая зеленым плюшем молодой полыни, кое-где серебрилась ковыльной волной. И со всех сторон доносился одинокому путнику дикий неистребимый запах полыни.

Я уверен, что в такие благословенные минуты, когда природа открывалась так просто и естественно, сходила с лица и привычная капризная гримаса, и он с сияющим взором широко открытых глаз смотрел зачарованно на этот одухотворенный божий мир. В нем все пело. Он не притрагивался к домбре; самая лучшая домбра, из которой можно извлечь самую нежную мелодию, — это душа поэта.

В окружении безмолвной первозданной природы он незаметно для себя сливался с нею. И ее дивная красота пленяла его, возвышая его поэтическую натуру, и тогда он забывал свою бедность и невзгоды. И он пел о природе, пел о простых и прекрасных, как она сама, людях. Он был голосом степи. Он все постигал, постигал просто, естественно и без особого усилия, в основном чутьем и сердцем. В такие минуты, видимо, он уподоблялся Гомеру, ибо его поэтическая мощь была поистине неистощима. Я знаю, что не все наделенные мощным талантом имеют право быть сравнимы с древним старцем мировой поэзии. Такое сравнение ничего не прибавило бы ни к его чести, ни к его поэзии. Только тот достоин, кто из глубины веков сумел донести душу своего народа.

Я до сих пор сознательно не останавливался на его творчестве последних десяти лет. Ибо каждая его песня тех лет доходила до самых отдаленных окраин. И все они рождались на виду у всех. И поэтому так популярна его поэзия, созданная после тридцатых годов, в которой ярко и объемно отразился пафос воодушевленного народа незабываемых лет.

По словам самого поэта, девяностолетний старец в это время словно родился заново к жизни и, окрыленный всеобщим энтузиазмом, воспрянул помолодевшей душой. Поразительно то, что самый старый человек в Стране Советов глядел на рождающийся новый мир глазами удивленного младенца.

Полусонная, дремотная жизнь в степи укачивалась на горбах верблюда, во всех своих проявлениях текла медленно, не спеша, не погоняя и не подхлестывая ни в одном из уголков всей ее монотонной шири; так это было и раньше, при предках, продолжалось это и позже, после них, и когда этот дремотный покой показался акыну незыблемым, вечным уделом ленивой, феодально-родовой степи, вдруг, после Октябрьской революции, в одночасье пришла она во всеобщее движение, набирая с ходу бешеный скачущий темп. И, подхваченный всеобщим движением народа, старый акын в порыве нахлынувшего вдруг самого неподдельного, искреннего чувства, пел, слагая стихи обо всем увиденном, прочувствованном и продуманном теперь уже в новой эпохе. На его глазах сбывалась сказка, возрождалась та самая обетованная земля, о которой говорилось в древних дастанах и киссах, им же самим поэтически пересказанных не однажды. Страна из сказок и легенд превращалась в реальную действительность. И, видимо, было жаль, что воспетые им народные заступники—Утеген-батыр, Суранши-батыр — не увидели желанного жер-уюка, которого всю жизнь искали на взмыленных конях, не ведая ни сна, ни покоя. И сожаление о печальной памяти героев, видимо, еще более усилило потребность старого акына воспеть батыров новой эпохи в назидание грядущим потомкам. И он воспел во весь свой голос по-юношески пламенно, вдохновенно вождя, руководителей партии и правительства, непобедимую Красную Армию и ее полководца «Клима-батыра», словом, всех тех, чьи деяния по-настоящему волновали его и приводили в трепетное чувство.

Советский народ хорошо помнит его исключительные заслуги в годы войны. Тогда воодушевляло не столько незримое присутствие старого акына в строю сражающегося народа, сколько целеустремленный и целенаправленный мощный дух его призывной поэзии, как необходимый воспитательно-психологический фактор, неотразимо воздействовавший на патриотическое чувство каждого из нас, нравственно возвышая и вдохновляя на подвиги.

Кого не восхищал тогда пылкий патриотизм почти столетнего старца! Его могучий дух и талант, презрев годы и старческие недуги, в суровый час испытания продолжали бодрствовать, служить, как и прежде, людям, всеобщему благородному делу, и в устах его не-

изменно звучал боевой клич, обращенный к своим сыновьям и дочерям разных национальностей, сражавшимся там, на переднем крае, с фашизмом. Ему удавалось всегда находить самые нужные и необходимые, доходящие до сердца слова, слова то меткие, как пуля, разящая наповал, то мягкие и нежные, как добрая дедовская ладонь; и с каждым новым стихотворением его приглушенный старческий голос доходил до каждого солдата сквозь гром орудий. Вспомним потрясшее каждого из нас до глубины души знаменитое «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!» В те трудные годы войны, пожалуй, во всей нашей стране он один, облеченный столь огромным моральным правом своего возраста и поэзии, мог так по-отечески проникновенно, с состраданием и болью в сердце обращаться к жителям героического города на Неве.

Все это мы знаем. Все это мы помним. Все это, без исключения, в памяти благодарного народа. Но, к сожалению, мы до сих пор мало знаем Джамбула раннего, каждодневно, неутомимо создававшего семьдесят шесть лет подряд подлинно народную поэзию. И еще ту его жизнь, когда он был сказителем, живым кладезем богатейшего фольклора. После первой Декады казахского искусства в Москве он, радостный и вдохновенный, шесть дней подряд напевал Кенену Азербаеву свой, видимо, джамбуловский вариант знаменитого дастана «Кер-оглы».

Он был еще композитором, сочинял в молодые годы множество кюев, и нам приходится теперь с сожалением признаваться в том, что и они еще не собраны. Признаться, мне стало неловко, как-то неуютно сразу, когда об этом впервые узнал случайно из статьи простого энтузиаста, редактора районной газеты, по собственной инициативе занимающегося творчеством раннего Джамбула. И по сей день этот факт не оставляет меня в покое, нет-нет да и вспомнится вдруг, что мы, потомки его, в неоплатном долгу перед его памятью.

В этой статье я старался говорить в основном о том малоизученном и, следовательно, малоизвестном народу периоде, о том самом периоде, в котором он создавал, безусловно, гораздо больше. И это малоисследованное его творчество, подобно погруженной в глубине океана части айсберга, спрятано от наших глаз.

А ведь у кого не бывает желания взглянуть на скрытую подводную часть громады! Пусть даже в смут-

ной надежде через раннее творчество великана народной поэзии, этого поистине Сыпра-жырау, пролить свет на не прочитанную еще страницу истории жизни казахов.

1976 г.

ГОРЕНИЕ

У нас в республике много талантливых людей. Один из них Ахмет Жубанов. Мы любим его, дорожим и гордимся им. Нам доставляет большое удовольствие общаться с ним, быть в близких дружеских отношениях. Хорошо и приятно от одного сознания, что есть на свете такой высокоодаренный человек, что он живет с нами, живет и работает на древней земле казахов.

Конечно, он не всем известен, но я уверен, что многие знают его в нашей стране. Он никогда не служил в армии. Тем не менее в его выправке, в его худой и стройной фигуре есть что-то от закалки кадрового солдата. Как много перенесший, но не сломленный трудностями бывалый солдат, он всегда подтянут, собран. Вы никогда не застанете его врасплох. С виду он строг и ровен. Он никогда не повышает своего доверительного спокойного голоса. Даже в нередкие минуты повседневной житейской суматохи он не спешит, не суетится, всегда остается спокойным и мудрым. Такое завидное спокойствие можно понять. Сила придает человеку уверенность. Истинный талант всегда верит в себя и в свои силы, верит так, как дирижер у пульта верит в магическое действие своей палочки на сложный организм оркестра.

Я говорю о композиторе Ахмете Жубанове, о нашем Аха, как мы любовно называем его. Мы прежде всего влюблены в его произведения. Вот уж много лет его кюи, песни, оперы стали составной частью нашей жизни. Меня лично данное призвание нисколько не смущает — как-то трудно представить свою жизнь без его музыки. Он проник в душу слушателя так же свободно и вольно, согревает ее так же тепло и радостно, как, например, благодатные лучи весны.

Ахмета Жубанова недостаточно назвать просто талантливым композитором, отождествив мощь и глубину

его натуры с одной, пусть наиважнейшей, областью нашей национальной культуры. На мой взгляд, у него уникальный талант — Жубанов энциклопедически талантлив.

Известно, что таланты энциклопедического настроя всегда появлялись в период наиболее бурного развития духовной культуры народа. Были они и в Европе, и в России, и у нас в республике. Они были как бы симптомом или признаком, а если точнее выразиться, доказательством мужания нации.

Покойный Мухтар Омарханович Ауэзов является ярким примером именно такого редчайшего и щедрого дара природы, в его лице сочетались три могучих таланта: великий писатель, проникновенный ученый, блестящий оратор. Я думаю, достаточно было бы только одного из этих трех талантов, чтобы украсить имя любого человека. Но на примере Ауэзова мы сталкиваемся с органической концентрацией этих природных даров в одном человеке. По сей день его могучая фигура невольно возвышается, как возвышается гора среди бугорков и холмиков.

Многогранностью своего таланта Ахмет Жубанов напоминает мне Мухтара Ауэзова. Я больше чем уверен, что никто не будет оспаривать этого мнения.

Может создаться впечатление, что Ахмет Жубанов по натуре своей человек увлекающийся, и только этим можно объяснить недюжинность его свершений. Да, он увлекающийся человек. Вообще удел таланта — увлечение и вдохновение. Только увлечение, переходящее во влюбленность, в дерзание, в беспрерывное творческое горение. Этим определяется суть истинного таланта настоящего художника-гражданина.

Творчество Ахмета Жубанова для нас — не прошлое, не история, а сегодняшнее лицо казахской культуры.

Мы сталкиваемся иногда с обстоятельством более чем странным. Кто из нас, например, не знает и не восхищается оркестром имени Курмангазы? Кто не слушал виртуозного исполнения оркестром самых сложных произведений мировой классики? Но далеко не все из нас знают, сколько поистине титанического труда вложил Ахмет Куанович в его создание, какой сложный и трудный путь прошел вместе с оркестром. Мы знаем, как он собирал лучших музыкантов-казахов со всех

уголков нашей республики, которые тогда не только не умели читать нот, а были даже неграмотными.

Мы умеем ценить талант, умеем гордиться им и восхищаться. Некоторые таланты мы замечаем сразу и носим таких людей всю жизнь чуть ли не на руках. Что же касается Жубанова, то, признаться, он не был чрезмерно избалован вниманием. Наоборот, он всю свою жизнь испытывал трудности.

Было время, когда по прихоти его недоброжелателей композитору жилось несладко. Они мешали ему, брали под сомнение почти все лучшие его произведения, которые были бесспорными достижениями всей казахской музыкальной культуры. К счастью, Ахмет Жубанов не робкого десятка, он не сдавался. Он, как солдат, всю свою жизнь ежедневно шел в бой, наступал, штурмовал, брал «крепости» никем еще не изведанных, не тронутых залежей человеческих чувств, мыслей и дарил народу все новые и новые произведения, облагораживал, очаровывал его. Своим упорством и исключительным трудолюбием Ахмет Куанович напоминает мне благородную труженицу-пчелу, которая неутомимо собирает нектар цветов и дарит людям мед. Классическая опера «Абай» создавалась именно так. Каждый раз, прослушав музыку Жубанова, мы становимся как-то лучше и чище, благороднее, возвышеннее. Настоящее произведение искусства облагораживает человека.

Ахмет Жубанов первый доктор искусствоведения в республике, академик, профессор, народный артист Казахской ССР.

Чем больше совершенствуется мастерство художника, тем требовательнее и строже относится он к своему произведению. Ахмет Куанович из числа самых взыскательных и требовательных, я бы сказал, беспощадных к себе художников.

Жубанов, как передовой и талантливейший представитель своего времени, всегда впереди. Но он никогда не находился на гребне волн, он сам был волной.

Я знаю Ахмета Жубанова давно. Бывал у него в доме, ходили вместе в театр, слушали вместе музыку, ездили по республике... Одним словом, времени было достаточно, чтобы узнать его. Но, как ни странно, я и по сей день не уверен, что знаю его хорошо. И это вполне естественно, чем больше общаешься с такими людьми, тем меньше их знаешь, подобно тому, как жители горных районов мало знают свои самые высокие

вершины, хотя с детства живут рядом, видят их каждый день. Вершины же гор и глубины морей всегда скрывают и держат сокровенное в тайне от людских глаз.

1966 г.

О ПРИРОДЕ ТАЛАНТА

Он был поэтом, прозаиком, драматургом, публицистом, критиком, исследователем литературы, написавшим учебники и научные трактаты. Он был и академиком Академии наук Казахской ССР. Он был еще и блистательным полемистом. Все, кто знал Сабита Муканова при его жизни, помнят его как полемиста, обладавшего бойцовским характером. Кто однажды побывал в те годы в Союзе писателей Казахстана, тот, думаю, наверняка запомнил на всю жизнь, как разгорались большие страсти в маленьком деревянном домике по улице Пролетарской, одиннадцать. Лишь бы был повод, а страсти вроде сами вспыхивали, возгораясь от малейшей искорки. В наэлектризованной атмосфере немногочисленный тогда еще отряд писателей казался подключенным к постоянному току высокого напряжения. И среди именитых писателей выделялся один, в неизменной своей плюшевой тюбетейке, рано поседевший и пополневший, веселый и простой в обращении со всеми, но грозный и непримиримый в полемике; казалось, что он сам, как заряженный аккумулятор, вырабатывал ток, накаляя атмосферу. В его присутствии любое обсуждение, в узком ли кругу, на секциях ли, вызывало гром и молнии. И этот накал, и это напряжение не могли в конечном счете не отразиться на духе произведений, созданных писателем. Видимо, хмель полемики не рассеивался и ни на йоту не спадал даже и тогда, когда он творил. А работал он в основном ночью. Многодетная семья обычно со второй половины ночи, унявшись, наконец-то погружалась в сон, и седовласый писатель, воспользовавшись представившимся случаем уединения, садился за письменный стол, оставаясь один на один с белым листом бумаги. Но и тогда не угасал в нем деятельный дух полемиста.

И не потому ли все или почти все выходившие из-под пера писателя произведения — будь то критические и литературоведческие или еще бесчисленные эпистолярно-мемуарные — имели столь поразительное сходство со своим темпераментным автором. В них, помимо полемического задора, нетрудно читателю обнаружить между строк поистине мукановскую прямолинейность и категоричность, что, конечно, не могло не сказаться на характере и тоне изложения и со своей стороны в значительной степени определяло тенденциозность иных его суждений. Тем более неистовая непоколебимость, принципиальность и горячий темперамент красноречиво свидетельствовали о его оригинальной биографии, о пройденном им большом пути бойца революции, коммуниста октябрьского призыва, о его неподдельной партийности и гражданственности. Верный делу своего народа, партии и своей эпохи, Сабит Муканов ни в чем не умел и не хотел кривить душой, везде и всюду говоря свое твердое мукановское слово, с завидной настойчивостью отстаивал свою позицию. Кровь от крови, плоть от плоти народа, писатель был активным сторонником всего нового и настоящим гражданином своего народа. Мукановская гражданственность не имела ничего общего с фрондерством, трибунным пижонством иных деляг от литературы. На каждой строке мукановской поэзии, прозы, критических статей лежит отпечаток не только его неповторимой, яркой индивидуальности, но и жарких классовых битв его бурной эпохи. Ему было доверено возглавлять писательскую организацию в годы становления и возмужания молодой казахской литературы. Не только его самобытный писательский талант, но и отличные бойцовские качества в значительной степени способствовали интенсивной профессионализации и идейной закалке национальной литературы.

Итак, в те годы, кому доводилось на литературных диспутах видеть и слышать Муканова, этого поистине выдающегося писателя, который, еще не достигнув сорока лет, стал признанным классиком и по праву считался одним из немногих зачинателей казахской советской литературы, запомнили его наверняка таким, резким и запальчивым. К тому же обладал он железной логикой, цепкой памятью и огромной силой воображения, и, в своих действиях всегда и во всем руководствуясь незыблемой позицией классовой борьбы под де-

визом актуальности темы, увлекая своих единомышленников, решительно вступал в полемику, и в такие напряженные минуты, в наивысшей точке накала, иной раз казалось, что сжигал он за собой все мосты, сознательно не оставляя своим оппонентам надежду на компромисс. В самом деле было так, или воображение литературной молодежи рисовало его таким, но как бы там ни было, однажды, незадолго до кончины писателя, в присутствии Тахави Ахтанова, вспоминая бурные годы своей литературной жизни, которые теперь отошли и сделались историей и достоянием народной памяти, он как-то сказал тоном сожаления, что категоричность не всегда есть проявление принципиальности.

Мы недоумевали: когда он это говорил, он больше походил на обыкновенного человека, по его же выражению, созданного как все, из костей да мяса. Кстати, в этих по-мукановски простых и доходчивых выражениях заключена глубокая мысль, которая, на мой взгляд, убедительно перекликается со ставшим ныне крылатым излюбленным изречением нашей планеты, это, помните, когда Карл Маркс, отвечая на вопросы дочерей, процитировал известное латинское выражение: «Ничто человеческое и мне не чуждо».

Да, в минуты душевного порыва он бывал способен на поразительное откровение. Итак, в его вышеупомянутом заявлении мы с Ахтановым почувствовали не слабость, а скорее силу, силу его духа. Как убеждает нас жизненный опыт, только сильные духом и еще наделенные недюжинным талантом люди способны на возвышенное, героическое. Посудите сами: быть человеком, который считал себя полемистом, и являлся таковым, и гордился этим своим призванием не менее, чем, скажем, призванием писателя, более того, в литературных диспутах изо дня в день упорно и настойчиво выковавшего в себе железный характер бойца-полемиста, и вдруг, к концу жизни, в непринужденной беседе пуститься на такое откровение, где он вроде бы засомневался в своем былом и излюбленном методе ведения борьбы, — для этого в самом деле надобно быть сильным и мужественным. Только натуры героические, да еще с широкой душой, в минуты неукротимого порыва способны обретать крылья, подобно поэту во власти вдохновения, чтобы подняться над всем пошлым и низменным, затем чтобы с Олимпа справедливости беспристрастно судить о содеянном, на что маленькие лю-

ди вовсе не способны. Чем мельче человек, тем его самолюбие сильнее и уязвимее. А чем непомернее самолюбие у такого рода людей, тем и чувство самосохранения, именуемое слепым инстинктом, действует безотказнее, точнее и потому без промаха. И потому эти самовлюбленные мелкие эгоисты во всех жизненных ситуациях, малых или больших, лишены какой-либо способности вырваться из тисков своего тесного и душного мирка. Попробуй, окажись рядом с ним, как сразу, утратив все и вся, утратив свое изначальное высокое назначение, мир станет тесен, люди невыносимы.

А душа жаждет простора. А в мыслях зреет подвиг, и где-то рядом скачет лихая удаль. Взоры ищут в надежде увидеть что-то огромное, еле умещающееся в воображении. И тогда-то люди ощущают в себе неодолимое желание, непреходящую тягу к крупным личностям, что, конечно, считается вполне естественным и закономерным состоянием каждого из нас. Душа каждого из нас, покуда не утратила способности совершенствоваться, тянется к ним, к этим личностям, как к свету, как к источнику добра и благородства, что естественно и закономерно. Чтобы как-то понять и объяснить причины подобного рода потребностей наших душ, давайте-ка перенесемся мысленно в степь, где со дня сотворения не было ничего заметного, выдающегося, могущего хоть как-то обратить на себя внимание, а просто-напросто тянется бесконечная, серая тягучая степь, усиливая горечь тоски и одиночества. И если на этой однообразной равнине вдруг утомленный взор обнаружит высоту и она, высота, поманит, зазывая и радуя своим величием и благородством, скажите на милость, не встрепенется разве душа, словно птица, просящаяся в полет. И как синяя даль неба нужна для полета птицы, так высота нужна для души человека. И потому она, эта высота, где бы мы ее ни находили, на лоне ли природы, в обществе ли людей, имела всегда и постоянно будет иметь притягательную, чуть ли не магическую силу, могущую не только воодушевлять, но, прежде всего, давать нам ощущения собственного значения и достоинства и тем самым поддерживать в нас неугасающее стремление к вершинам.

И в этой связи хочу остановиться на одной общеизвестной истине: существует два вида определения, которыми мы даем оценку достижений во всех сферах человеческой деятельности, а именно количественное и

качественное. Но при этом мы забываем, что оба эти понятия по духу как бы ни были родственными, однако по закону диалектики где-то на каком-то месте могут взаимно друг друга исключать. Ибо, как известно, количественный рост не может собой олицетворять даже самую малую высоту потенциальной возможности нашего развития. Тем более если эта высота касалась духовного развития, то она измерялась и в будущем будет измеряться только взлетами, только вызванными в жизнь звездными часами самых выдающихся личностей. Такими взлетами история духовной жизни нашего народа не однажды отмечалась. Всмотритесь в даль веков, разве из развалин некогда цветущего древнего города казахов не поднимается непомерно могучая фигура гениального сына нашего народа, впоследствии не вмещавшегося в свой родной край и обретшего гражданство мира и ставшего гордостью всего Востока? Я не стану упоминать поэтов скорбного века, проникновенная поэзия которых, отмеченная безысходностью и тоской, все еще не потускнела в сознании народа; в начале минувшего века призывная, героическая поэзия Махамбета перед самым рождением и утверждением казахской письменной литературы, словно обнаженная сабля, блеснула так нежданно и кратковременно. Но благодаря героическому духу огненные строки поэзии вождя народного восстания при малейшем соприкосновении все еще продолжают волновать и горячить кровь. Вслед за Махамбетом казахская литература отмечалась сразу двумя мощными взлетами. Если Джамбул каскадом импровизаций как бы усиливал и без того необузданный поток устного народного творчества, поражая воображение слушателей буйством чувств, красок, дерзостью мысли, то Абай сам стоял у истока письменной литературы. Благодаря гению Абая рядом с бурлящим потоком полноводной устной народной поэзии в истории духовной культуры нашего народа впервые зажурчал чистый родник письменной литературы. К счастью, после великого Абая, если не считать той, нам всем памятной, небольшой паузы, молодая письменная литература продолжала неуклонно развиваться. Духовная сила пробужденного Октябрем народа, получив мощный импульс, вдруг так неожиданно и щедро подарила казахской литературе и искусству целую плеяду поистине великих артистов и писателей. Кто из нас с благодарностью не вспоминает сейчас

славные имена Сейфуллина, Майлина, Джансугурова, Ауэзова, Муканова, которые еще в первые годы Советской власти за столь короткое время перед взором изумленного мира подняли нашу литературу на высокий профессиональный уровень, предопределяя тем самым на много и много лет вперед самую счастливую высоту нравственных притязаний национального сознания. Они были новаторами, и от них, по существу, и началась новая эпоха возрожденной казахской литературы. Должен сказать, что они, решительно введя до них отсутствовавшие литературные жанры, не просто обогатили их новыми формами, стилевыми особенностями, а, самое главное и основное, сумели создать свои художественные миры. Благодаря им вот уже более полувека прочно живут в нашем сознании целые царства, щедро наделенные яркими и колоритными образами, интересными типами литературные мифы Сейфуллина, Майлина, Джансугурова, литературные миры Ауэзова и Муканова.

Ауэзов и Муканов жили и работали до конца своих дней, находясь как бы под одной крышей. Чего скрывать, при их жизни вся непомерная тяжелая ноша и основная забота, связанная с развитием литературы, легла на могучие плечи этих двух титанов, и они вдвоем достойно несли честь и славу всей казахской литературы. Если Ауэзов воссоздавал нарастающую напряженную духовность через сплетения мысли и чувства, то Муканов сумел создать это же напряжение во всех своих произведениях через мудрость и щедрость своего поистине народного таланта, точнее говоря, путем неослабевающего напряжения, сплетением исключительно острых ситуаций, нагнетанием нарастающего драматического сюжета.

Следя за развитием казахской литературы последних лет, я, к своему неудовольствию, нет-нет да и стал замечать какие-то любомудрые книги; к чести их авторов, они с завидной прилежностью старательных учеников лихо освоили всю технологию и весь шик современного модернового письма, но тем больше вызывает сожаление, когда видишь, с каким трудом одолевают читатели, скажем прямо, не согревающие души вялые страницы. А Сабит Муканов одну из главных особенностей и достоинств художественного произведения видел прежде всего в его читабельности и увлекательности.

Каждая эпоха имеет свою проблему, для решения которой непременно выдвигает своих героев. Скажем, для нас освоение космоса, космический корабль, космонавт Гагарин не просто престиж страны, не просто дело чести и доблести, — оно имело и имеет первостепенное значение и считается одной из глобальных проблем конца XX века, в котором сосредоточены все узловые вопросы, а именно: морально-политические, научно-экологические и оборонные. В то далекое теперь от нас довоенное время точно такое же престижное и практическое значение имели для наших отцов освоение Северного Ледовитого океана, ледокол «Челюскин», перелет Чкалова. И потому все народы земного шара, правительства и пресса пристально следили шаг за шагом, ловили каждое мгновение чудо-подвига богатырей страны Советов на Крайнем Севере. И в это время Сабит Муканов одним из первых откликнулся на героические подвиги покорителей Северного полюса, написав поэму «Белый медведь». Поэма эта для литературы тех лет была по форме и содержанию подлинно новаторской, более того, явилась неожиданным, новым словом, вызвавшим бурную реакцию как в критике, так и у широкой читательской общественности. Сабит Муканов в казахской поэзии вообще был новатором и экспериментатором. В своих лучших стихотворениях он вслед за Майлиным смело и широко ввел простую разговорную интонацию взамен ранее единолично господствовавшего в казахской поэзии песенно-поэтического стиля.

В один из предъюбилейных дней писателя, на встрече со студентами университета, Абдильда Тажибаев, произнося о своем учителе короткую, взволнованную речь, сказал, что до появления поэмы «Абдулла» Касыма Аманжолова в этом почетном жанре поэзия Сабита Муканова определяла его счастливую вершину. Думаю, что до появления эпопеи «Абай» Ауэзова в казахской литературе романы, созданные Мукановым, не имели себе равных. Как известно, к этому времени Мукановым был уже создан «Адаскандар». Эта поэма в прозе о трагической судьбе чистой и светлой любви, чем-то напоминающая ранний степной цветок, прихваченный морозом, с первого дня появления никого из читателей не оставила равнодушным. Затем последовала повесть «Балуан-Шолак», с романтических страниц которой дерзко вставал героический образ степного бар-

да, помимо блестящего таланта поэта, певца еще и в самом деле отличавшегося личной храбростью. Муканов любит и идеализирует своего героя. Он настолько восторгается сказочными подвигами и рыцарской удалью Балуан-Шолака, что, читая роман, нам не удается определить, чему, собственно, автор отдает предпочтение — таланту или физической силе, ибо той и другой стороне незаурядного героя в одинаковой мере воздается дань восхищения. Живо в нашей памяти, что задолго до появления «Ботагоз» был писателем написан и опубликован роман «Темиртас». У нас также в памяти, что литературная общественность воспринимала этот роман не иначе как пробу сил, как некий литературный эксперимент перед предстоящей ему более серьезной и ответственной работой в освоении для тех времен весьма сложной историко-революционной темы. Посудите сами, только что рухнул старый общественный строй, взамен которому пришел новый. Не просто происходила быстрая смена одной социальной системы другою, а, к ужасу вчерашних всесильных и всемогущих, вместе со сменой строя, не давая опомниться, в мгновение ока менялся сам уклад жизни, безжалостно рушились вековые, привычные патриархально-родовые нравы; менялась психология, обычаи, отношения к жизни, к людям, к миру. Умирающий класс в этой постигшей его после бури Октября страшной, чуть ли не апокалиптической катастрофе чувствовал растерянность, но однако не сложил и не собирался складывать оружия. Уроки революции стали подлинной наукой и во всем учили народы еще вчера отсталой окраины царской России. Мало того, социальная действительность убедила наших отцов в том, что без ликвидации эксплуатации человека человеком не может быть никакой свободы, а без свободы не может быть полноценного счастья; свобода нуждается не только в декларировании, но и в гарантированной защите. И в этой ситуации, когда не улеглись еще страсти классовой борьбы, писателю Муканову, обратившемуся впервые к историко-революционной теме, предстояла нелегкая задача: во-первых, пропуская огромные события через себя, правильно ориентироваться в социально-политическом значении всего происходившего; во-вторых, по-марксистски правильно обобщить и оценить исторический опыт, проделанный нашими отцами в минувшей схватке. И еще, третий, не менее сложный вопрос, не-

минуемо стоявший перед писателем, — показать неизбежность прихода в революцию вчерашних кочевников-скотоводов и проследить пробуждение классового самосознания в психологии этих людей. Сабит Муканов, создав роман «Ботагоз», думаю, блестяще справился со стоявшей перед ним сложной задачей как художественного, так и политического порядка. Мало того, накопленный им художественный опыт вот уже около полувека оказывал и поныне продолжает оказывать практически полезную помощь казахским литераторам, которые не перестают обращаться к историко-революционной тематике. Появление в те годы романов Сабита Муканова сделалось событием и подлинным праздником национальной культуры. Давайте вспомним, кто из нас, довоенных лет воспитанников детдомов и интернатов, позабыв решительно обо всем на свете, о еде, о сне, об учебе, не читал, не вчитывался в произведения этого популярнейшего тогда писателя. Думаю, что тут уместно задаться вопросом, как и каким путем достигал он такого внушительного успеха? Мастерством стиля? Изяществом слога? Вряд ли. Язык его произведений, за исключением разве некоторых, таких, как «Сулушаш», «Адаскандар» и еще по преимуществу относящихся к раннему периоду лирических стихотворений, в основном прост, доступен и обыден. Создается впечатление, что он нарочито упрощал свой и без того простой язык, придавая ему сходство с устной, неподдельной народной речью. И он этого добивался всю жизнь. И этого он достигал от произведения к произведению, усиливая элементы простоты и естественности. Среди казахских писателей Сабит Муканов обладал каким-то особым, обостренным слухом к подлинной народной речи. И всем, кто знал Сабита Муканова, известно, что он как писатель был близок к истокам народного творчества, а как человек обладал неподдельной народной простотой. Быть может, он даже был не связан, а просто-напросто сросся со своим народом, навеки скрепленный едиными с ним корнями. И не потому ли он напоминал нам эдакую мощную жизнестойкую ветвь какого-нибудь огромного кряжистого дерева — дуба, и непременно с ветреной стороны, непременно открытой всем бурям и стихиям. И у нее, у этой ветви, со своим деревом единая, неделимая судьба, ибо под ними общая земля. Сабит Муканов, бывало, гордился такой своей писательской судьбой. И он во весь

по-мукановски мощный голос провозглашал памятную всем нам, знаменитую поэтическую декларацию, где со свойственной ему откровенностью исповедовался своему классу, как сын своему отцу, от строфы к строфе клялся, присягал служить честно, преданно только ему одному, его идеалам и интересам. Одним из главных качеств Сабита Муканова как гражданина и активного общественного деятеля было его умение радоваться успехам своего народа, своей республики.

Кто из нас не знал Сабита Муканова, который даже на склоне дней, несмотря на свою грузность и преклонный возраст, отличался легкостью в движениях, бодростью духа, порывистостью и оживленностью характера. И еще, активный и деятельный, он любил общение, контакт, поездки в аул, в отдаленные уголки, искал связь с миром, с людьми и свое существование вне мира, вне его вечного движения вперед не представлял. Находясь среди народа, он не испытывал необходимости подлаживаться под народ. Ибо он сам был подлинным воплощением простоты и естественности, что, конечно, помогало ему при встрече с народом без особого усилия быстро и незаметно раствориться в своей родной стихии. И народ шел к нему всегда охотно, с полным доверием. Чем больше приближался он к старости, казалось бы, к естественной и неотвратимой физической немощи, тем с большим азартом, увлечением, неистовее работал он, поражая и восхищая всех нас жизнелюбием, работоспособностью, приступая одновременно сразу к нескольким вещам. И если современный придирчивый, с возросшим вкусом читатель найдет недостатки в созданных им в последние годы жизни произведениях, то, по-моему, они объясняются тем, что, чувствуя приближение того неотвратимого рокового часа, когда из рук выпадет перо, Муканов торопился, спешил во что бы то ни стало успеть, осуществить многочисленные свои планы, замыслы и идеи. Старый писатель, как старый солдат на поле брани, не хотел и не собирался бросить свое боевое оружие, наоборот, находясь в бодром состоянии в гуще бурлящей жизни, умел с завидным оптимизмом вслушиваться в ее ритм и дыхание, владея чутким слухом и тонким чутьем. Писатель постоянно находился среди тружеников, в самой горячей точке всенародного движения, и сам горел желанием во что бы то ни стало откликнуться первым и непременно крупным произведением, романом или по-

вестью, поэмой или пьесой, по крайней мере очерком, или очередным отзывом об Ибрае Жахаеве, о Нурмулде Алдабергенове. К тому же Муканов был признанным знатоком многосложной алгебры древнего родословия казахов, быта народа, обычаев, ритуалов, обрядов, истории предков, будничной жизни современников, и во всех своих произведениях, независимо от их жанра, от близости или дальности эпохи давал колоссальные сведения, информацию одну интереснее, забавнее и анекдотичнее другой, нередко с намеренно допущенными элементами фантастики, и в результате у читателя складывалось впечатление, что в совокупности своей все это довлеет над материалом, не умещаясь в обычно довольно объемистые произведения писателя.

Пожелай такой писатель, как Сабит Муканов, наделенный колоссальным воображением и неиссякаемой богатой фантазией, он мог бы стать одним из лучших фантастов нашей литературы. Но он не захотел, зато и эта особая черта писательского таланта так или иначе отразилась в созданных им произведениях. Не говоря о вымышленных героях, нередко даже в поступках исторических персонажей читатель обнаруживает в неумеренной дозе явное домысливание, когда он вольно или невольно преувеличивает, будто не довольствуясь имеющимися под руками достоверными сведениями, доподлинными фактами, имевшими место в жизни того или другого литературного героя. И он нередко преувеличивал события и ситуации, преднамеренно уводя своего читателя в сферу легенды, сказки, и, не дав разобраться в своих собственных ощущениях, то и дело, опять-таки по воле своей, резко приземлял повествование до обыденности, и тогда заурядный, будничный быт, лишенный сколько-нибудь поэтической приподнятости и пафоса, выглядел бледно в своем фотографическом, черно-белом рисунке. Такая большей частью неоправданная смена вероятного и невероятного, обыденного и фантастического в сюжетной линии, особенно в «Промелькнувшем метеоре», не могла не обернуться некоторыми досадными промахами. Но зато во всех других произведениях Муканова, написанных, как говорится, по горячим следам современной действительности, читатель своевременно узнавал трудовые подвиги рисоводов Сырдарьи, хлеборобов Сарыарки и чабанов далекого Мангышлака. Если в каких-то произведениях не хватало, допустим, обстоятельной художествен-

ной разработки, то всегда она с лихвой компенсировалась достоверностью фактов, подлинностью событий, живым трепетом актуальных тем, жизненностью поднятых проблем. И еще присущая письму Муканова особая доверительность и живость самого рассказчика, публицистическая взволнованность и увлекательность острого сюжета, удачно и органически переплетаясь с дыханием трудовой жизни, создавали реалистическую картину нашей действительности.

Всякая ноша, тем более если она составляет смысл жизни такого большого писателя, каким был Сабит Муканов, бесспорно, тяжка и тяжела. Но, как бы ни была тяжка и тяжела ноша писателя, если он, писатель, прожив со своим народом семьдесят три года, сумел после себя оставить потомству такие шедевры казахской литературы, как, скажем, «Ботагоз», «Балуан-Шолак», «Адаскандар», «Сулушаш», «Школа жизни», «Таков колхозный аул», «Салют маю»,— значит, стоило жить, значит, стоило творить, не ведая покоя, отдыха, не щадя себя, постоянно преодолевая с годами все более растущие недуги старости, как альпинист, по пути восхождения преодолевающий по вершку препятствия. Ибо на какой бы каторжный, нечеловеческий труд ни обрекал себя писатель, однако в нем, в этом труде, заключается главный смысл его жизни. Творили они и продолжают творить не столько себя ради. Взвалив на себя тяжелую ношу глашатая истины, всегда шли самозабвенно и яростно эти поистине сильные и мужественные духом люди, видимо, для того только, чтобы еще и еще раз доказать, на какие возвышенные подвиги способна их нация!

ГАБИТ МУСРЕПОВ

Пока человек творит, жизнь его в движении. К тому же если человек обессмертил свое имя в глазах вот уже стольких поколений казахов делами, достойными внимания и почитания, делами, которые по дерзости духа, осмелюсь сказать, сродни, скорее, доблести или подвигу, то, естественно, такая жизнь была всегда на виду и она служила объектом для подражания.

Действительно, были годы, когда он для литературной молодежи Казахстана был кумиром, был объектом

восхищения, редко кто из нас стороной обошел его творческое влияние или личное обаяние. Помню, мое поколение, после окончания войны долгие годы не снимавшее с себя серые шинели, во всем старалось подражать ему, хоть в чем-то походить на него. Он тогда был молод, красив. В те послевоенные годы среди бедно одетых людей нас особенно поражала безукоризненность его костюмов, сорочек. Внешнему великолепию соответствовала еще и его всегда чуть-чуть замедленная реакция, манера держаться корректно, не позволяя ни при каких обстоятельствах переходить границу нормы поведения, и, наконец, по-мусреповски неторопливо-царственное движение, редкий, но всегда точно рассчитанный жест, который, кстати, венчал спокойный бархатный голос.

Помню, как однажды Кенен Азербаев, видимо, не менее восхищенный, чем литературная молодежь тех лет, никогда не покидавшей Мусрепова поразительной гармонией его внешнего и внутреннего облика, в экстазе импровизации назвал его не иначе как князем. Я допускаю, что в те годы мы, возможно, со свойственной молодежи восторженностью могли где-то преувеличивать его величие, попадая, безусловно, под влияние той симпатии, которую испытывали к нему как к писателю и человеку. Но вряд ли будет уместно допускать сомнения по отношению к этому многоопытному старцу, патриарху устного народного творчества. Когда Кенен Азербаев, сам являясь подлинным воплощением всего красивого, я имею в виду телесного и духовного, наделенный тонким чутьем и отменным вкусом, обожествляя свой поэтический объект, искал сравнения, столь непривычные для восприятия казахского уха, он, разумеется, не вкладывал в это понятие социальный оттенок, а исходил, исходил наверняка из желания выразить по-особому чувство своего высшего восторга. А Мусрепов был всегда достоин восторга!

Думая о начале жизненного пути писателя, я оглядываюсь назад, стараясь мысленным взором охватить минувшие дни сравнительно недавнего прошлого родной литературы. Имя Мусрепова неразрывно связано с историей создания, утверждения и развития казахской советской литературы, у истока которой стояли незабвенные Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров и Беимбет Майлин. После великого Абая, поистине Пушкина казахской литературы, без всякого сомнения, роль и

значение вышеупомянутой великолепной тройки в деле дальнейшего развития литературы, уже в советский период, неоценимо велики. Едва перевалив рубеж в сорок лет, ставший роковым для всех троих, они завершили свою земную жизнь. К счастью для казахской литературы, вслед за ними почти стремя в стремя шла следующая тройка — Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, вслед за ними вошел в литературу и Габит Мусрепов.

Названные трое, словно своеобразный триумвират нашей национальной гордости, несмотря на то что были они детьми одного поколения, одной определенной социальной эпохи и пришли в литературу, как говорится, след в след, по природе таланта и мироощущению были разными. Если по уровню культуры письма уже тогда стоявший в одном ряду с передовыми европейскими писателями Мухтар Ауэзов поражал современников глубиной постижения психологии человека и широтой охвата и осмысления отображаемой действительности и современная казахская литература благодаря его гению достигла высочайшего своего уровня, то Сабит Муканов был кровное дитя крутого времени. Он обладал колоссальным темпераментом полемиста и привнес в без того накаленный литературный климат того времени острую классовую принципиальность, крупно и размашисто выразил в своем творчестве неуемный дух пробужденного народа. Следует отдать должное: он до конца своих дней переворачивал своим неутомимым пером писателя-бойца, писателя-борца нетронутые глыбы эпохи. В своем благородном нетерпении и постоянной спешке, подгоняемый желанием как можно больше охватить и быстрее осуществить свои неисчерпаемые творческие замыслы, ему, быть может, не всегда удавалось выплавить, как сказал Маяковский, из тысячи тонн словесной руды золотые слитки.

А Габит Мусрепов в литературу пришел не с разбегу, как его именитые предшественники, а вступил степенно, спокойно, без шума, без триумфа. Я уверен, многим из вас известно, что Сабит Муканов и Габит Мусрепов, будущие классики казахской литературы, росли на одном клочке земли, почти в одном ауле, зная друг друга с детства. Один из них был с детства беспокойным, все порывался, клокотал, как молодой орел, горя желанием быстрее взлететь из родного гнезда, подчиняясь властному зову души, будто чувствуя интуицией, что полет его будет далеким и высоким. А вто-

рой вслед за ним тоже взлетел, его также манили просторы неведомой дали, но он и в полете не спешил, не торопился, уверенный, видимо, в том, что во что бы то ни стало достигнет своей желанной и заветной высоты. И достиг. Достиг опять-таки, верный своему принципу, спокойно, не спеша и не суетясь. Тем не менее в поступи молодого писателя читатели тех лет и литературная общественность сразу, с первого же шага заметили ни на чью не похожую уверенность его почерка. Заметили еще, что в его уверенности нет ничего общего с самоуверенностью, кичливостью и чванливостью иных пижонствующих поэтов и писателей. После появления рассказа «Кос шалкар», особенно миниатюрного рассказа «Талпак Танау» многим стала ясна основная черта, свойственная таланту писателя. Молодой Мусрепов вступил в литературу как поклонник и приверженец красоты. Его поклонение, я бы сказал, рыцарское поклонение и преклонение, и беззаветное служение красоте, ей, преимущественно ей одной, во всех ее проявлениях, предопределяло на всю жизнь суть и сущность его творческой деятельности.

В двух вышеназванных рассказах молодой Мусрепов правдиво изображал самый трудный переходный период в истории кочевого народа, во время которого ломались, рушились вековые, казавшиеся незыблемыми патриархальные родовые устои, ломалась и трудно перестраивалась психология людей. Именно в этих своих рассказах сумел он подняться до передового уровня новеллистики тех лет. Следует особо подчеркнуть мусреповский теплый юмор, согревающий текст и освещающий его светом. И этот юмор, как один из главных характерных черт его манеры письма, остался потом верным спутником его творчества.

В близком общении с Мусреповым не многим более тридцати лет мне стали известны помимо его главного и основного призвания и другие увлечения. Так, например, что он до недавнего времени увлекался бильярдом и охотой. Все видящий и все замечающий зоркий глаз художника за письменным столом, говорят, не давал промаха и на охоте. Его способность находить эстетическое удовольствие во всем, в малом или большом, в не меньшей мере сказалась и в этом его увлечении. Его не столько интересовал бессмысленный азарт, к сожалению, как эпидемия, повально охвативший теперь всех, кто с многозарядным ружьем на быстроходных

машинах рыскает повсюду, сколько романтика самой охоты. Умение во всяком деле добиваться только оптимального результата и во что бы то ни стало достигать наивысшего искусства — вот главное жизненное кредо, которым он всю жизнь неизменно руководствуется. И он, говорят, получал истинное наслаждение опять-таки для души лишь тогда и в том только случае, когда на охоте стрелял на лету, вдогонку быстро удаляющейся цели.

В моем понимании и представлении Мусрепов как человек и писатель (относится это к частной его жизни или к главному ее смыслу — творчеству) стремился только к красоте, только к изяществу.

Согласимся, однако, что красота — понятие многомерное. Красиво и одухотворенно, красиво и действенно — вот основные направления его жизнедеятельности и творчества. И не потому ли он писал только в редкие счастливые часы вдохновения?

Мухтар Ауэзов и Габит Мусрепов по праву считаются основоположниками казахской национальной драматургии. Если пальма первенства в создании этого прежде неведомого казахской литературе жанра безраздельно принадлежала Ауэзову, то вслед за ним пришел в драматургию Мусрепов. Человеку, сколько-нибудь посвященному в историю казахской литературы, ведомо, что первая пьеса была написана задолго до создания у нас театра. И этот первенец не только содействовал зарождению театра, но способствовал пробуждению прежде всего народного искусства, став тем необходимым запалом, благодаря чему оно взорвалось наконец так мощно и ослепительно, блеснув щедрой россыпью самобытных, глубоко народных талантов. Вспомним то созвездие талантов. Вспомним ту Куляш, того Калибека, того Канабека, Курманбека, тех же незабвенных Сер-аган и Ел-аган.

И тут первенец национальной драматургии, как это часто случается с творениями настоящего искусства, когда за него берется гений, едва обретя жизнь, сразу шагнул в разряд классики. После Ауэзова всегда бывало трудно нашему брату взяться за перо. Так и здесь, после появления счастливого первенца казахской драматургии, пробовать свои силы в этом жанре, скажем прямо, не хватило многим духа. Для того чтобы пробовать силу, необходимо было обладать поистине недюжинным талантом. Мусрепов обладал таким та-

лантом. И он не только отважился, проявив личное мужество, и, следует отдать ему должное, он, как мы знаем, подарив казахскому зрителю «Қыз-Жибек» и «Козы-Корпеш и Баян-су», сделал качественно новый шаг в развитии казахской драматургии. Судьбы молодых влюбленных печальны: гибнут Қыз-Жибек — Тулеген. Гибнут Қозы—Баян. Они пали жертвой жестокого века и насилия, которые в то далекое теперь от нас время были намного их сильнее. Но вместе с тем и они своей гибелью доказали непобедимость и непокорность чувства любви. Когда чистое и возвышенное чувство становилось высшим смыслом жизни, оно, стремясь к свободе, выходило из повиновения. Как мы знаем, в фольклор, в это далекое детство современной литературы, народ всегда вкладывал все лучшее, свою мечту о добре, красоте и любви. В превосходных сценических воплощениях Мусрепова колоритный народный сюжет засверкал неожиданными гранями, обогащая и насыщая его идейную сущность новым смыслом и содержанием. Благодаря драмам Мусрепова мы сумели приблизить к себе, к своему восприятию из мира далекого, умолкнувшего прошлого трагическую судьбу влюбленных.

На мой взгляд, в ряду этих творений особо стоит трагедия «Ахан-серэ — Актокты». Она одна из немногих шедевров нашей драматургии. Трагическая участь Ахана-серэ сродни судьбе других великих сынов казахского народа — Абая и Чокана, которые тоже были обречены на гордое одиночество. Но в трагедии о поэте присутствует высочайший подъем и взлет непокорного человеческого духа, вместе с тем извечная борьба личности, наделенной благородными помыслами и незаурядным талантом, со слепой силой невежества и мрака. Если бы Мусрепов, написав только эту драму, не создал бы ничего другого, я уверен, он наверняка обессмертил бы себя.

Размышляя о жизненном пути писателя, я вспомнил один примечательный случай тридцатилетней давности. В том году появился роман «Пробужденный край». Помню его воздействие на умы и сердца читателей. С Зейнуллой Кабдуловым мы, тогда студенты университета, читали роман Мусрепова вместе, вслух. Читали залпом. Не успев прийти в себя от нахлынувшего вдруг прилива чувств, возбужденные и радостные, вышли мы почему-то на улицу. Еще не отдавая себе отчета в своих поступках, почему-то оказались рядом с домом писа-

теля, почему-то кружили и ходили, однако не смея в решительный момент войти в дом, в окне которого в это время горел уже свет. А на дворе стояла поздняя осень. Промозглый холодный ветер пробирал до костей. Но мы, не в меру возбужденные, говорили, перебивая друг друга, о взбудоражившем наши души романе, об авторе, о его писательской культуре, его требовательности, предъявляемой прежде всего к себе, тщательности и безупречности отделки слога, изысканности стиля и, наконец, тонкости и точности психологических наблюдений. Помню: тогда, что бы мы ни говорили касательно только что появившегося произведения Мусрепова, наши мысли как завороженные вновь и вновь вращались вокруг изящества его исполнения. Нас особенно восхищал выхваченный писателем из прошлого тот огромный мир, который, благодаря волшебной силе чародея слова, обрел жизнь и заговорил вновь. На страницах довольно объемистого романа кипели и накалялись человеческие страсти, разыгравшиеся в том краю, которому предстояло пробудиться, который в недалеком будущем станет ареной смертельных схваток двух непримиримых классов. Кого из нас не поражали крупно и объемно выписанные образы? Особенно Иглика, который попирал землю, словно он был вылит из чугуна. В его невзначай брошенных словах чувствовалась неумолимая сила власти, непреклонность и решительность поступков. Он от начала и до конца родное дитя жестокого индустриального века, который бесцеремонно ввалился тогда в казахскую степь. По сравнению с ним, наоборот, главный герой романа Буланбай показался нам куда пассивнее и потому бледнее. Долго дремавший в нем инстинкт классовой борьбы просыпается вдруг неожиданно, под воздействием не столько опять-таки осознанной необходимости борьбы, сколько, скорее, ущемленного, уязвленного самолюбия степного рыцаря. Если пробуждение его самосознания, подобно пробуждению края, тянулось долго, то его вспышка гнева была неожиданной, молниеносной.

Нас, читателей тех лет, не меньше поразила простота самого открытия карагандинского угля. Посудите сами. Не разожги в тот памятный теперь для всех нас один из летних дней 1847 года простодушный по характеру, но сметливый казах по имени Байжан в степи огонь рядом с норкой полевого суслика, не состоялось бы, пожалуй, открытия карагандинского угля. Допус-

тим, что этот добродушный казах, наделенный, однако, как все степняки, повышенным любопытством и наблюдательностью, находился в степи, допустим, что он развел огонь, но не проявил любопытства, не обратил внимания на что-то неведомое, черное, которое валялось комочками прямо у норки, по всей вероятности извлеченное сусликом из недр земли, и — самое главное — не бросил бы опять-таки ради того же любопытства это нечто черное в потухающий огонь, где никак не закипало молоко в жестяной банке, и это что-то, непонятное черное, немало, видимо, занимавшее простодушного степняка, попадая в огонь, не взгорело бы быстро и сильно, вряд ли кто-нибудь догадался бы еще во второй половине минувшего века о небывалых по запасу залежах карагандинского бассейна. Так что открытие богатейших залежей, которые впоследствии станут третьей по значению кочегаркой страны и преобразуют экономический и культурный облик огромного края, было до смешного простым, даже анекдотичным.

Признанного мастера прозы казахской литературы, по моему личному наблюдению, не столько заботила тщательная разработка психологии, неожиданные ее проявления, сколько неизменное стремление виртуозного стилиста вложить всего себя в пластику, поражая при этом отточенностью слога, точностью и меткостью выражения, образностью ткани всего текста. Еще одна особенность прозы Мусрепова, обратившая сразу внимание критиков и искушенных читателей,— это лапидарность, лаконичность его письма. Стиль его безукоризненно опрятен, как он сам. Каждый раз, соприкасаясь с лучшими образцами его прозы, на ум невольно приходит высказывание Сент-Бёва: «Самое лучшее в самых скупых словах».

Итак, меткость и предельная точность — вот девиз писателя Мусрепова, его безоговорочное творческое кредо на всем его жизненном пути. С тех пор как появилась первая книга «Пробужденного края», взбудоражившая, повторяю, наши умы и сердца, прошло чуть более трех десятилетий. Прошли годы — сменились поколения. А со сменой поколений меняется и сама жизнь, меняются вкусы, взгляды и отношения к прежним ценностям. Особенно в наш век, век технического прогресса, происходит в ошеломляюще быстром темпе едва ли не тотальная переоценка всего без исключения, в том числе и произведений литературы и искусства.

Иные кумиры, еще вчера покорявшие наши сердца, нередко, кое-как продержавшись один-два сезона, уже на третий на наших глазах смущенно сходят со сцены, навсегда прощаясь с еще вчера шумно рукоплескавшей им публикой. Почему? В самом деле, почему в наших чувствах нет былого постоянства? Почему чувство восторга, возникавшее порой как взрыв, как фейерверк, не задерживаясь сколько-нибудь в нашем сознании, тут же угасает, рассыпаясь радужными осколками и растворяясь в зыбком мареве времени? Почему?

Не будем здесь тревожить тени многих памятных нам произведений, но признаемся, что у нынешней молодежи спал вроде былой энтузиазм и начинает появляться нечто похожее на равнодушие к иным творениям. Не ощущаем ли мы вышеназванное отнюдь не добродетельное чувство в отношении, скажем, к легендарному Павке Корчагину, тому самому, который, помните, снился некогда нам и нашим отцам, олицетворяя собою лучшие черты нового поколения? Почему? Этот тревожащий душу вопрос возникает каждый раз во мне, когда я не всегда замечаю былой трепет и неподдельный восторг, какие мы с Зейнуллой Кабдуловым и все наше поколение в то время испытывали при появлении «Пробужденного края». Отчасти я склонен объяснять это тем, что мы до сих пор не имеем русского Мусрепова, как не имеем, к нашей беде, и достойного оригиналу Абая на русском языке. И тут, кстати, я публично выражу свое недоумение по поводу прохладного, скажу больше, равнодушного отношения такого требовательного обычно к своему оригиналу мастера к переводам своих произведений на русский язык. Может, это невольное смирение мастера с неизбежным в подавляющем большинстве случаев конечным результатом, когда перевод, по выражению Белинского, оказывается «прежде всего искажением». С другой стороны, видимо, будет несправедливо искать вину собственно в книгах. Как у моря бывают приливы и отливы, так, должно быть, неизбежны и даже закономерны свои подъемы и спады читательского интереса. И будем надеяться, что к нетленным произведениям искусства возродится и вернется былая восторженная читательская любовь.

Когда писатель, не желая отстать от бешеного темпа, навязанного ему веяниями современной эпохи, стремится затронуть все и вся в своем творчестве, тогда не может быть и речи о качестве литературы. Стремле-

ние преуспеть, откликнуться первым, откликнуться как можно быстрее на злобу дня, на сиюминутные потребности, мелькать одновременно во всех литературных жанрах, как известно, часто преподносило нежелательные сюрпризы. Всевозрастающий темп серого и безликого чтива вряд ли оставит равнодушными тех, кого интересует судьба родной литературы. Суетность и спешка, прикрываемые так называемой активностью и оперативностью, решительно противопоказаны тому, что, помните, Пушкин еще называл «священной жертвой», имея в виду, конечно же, и ту кропотливую и тщательную отделку, без чего не могло бы вообще именоваться изящным искусство. Чувствуя свое бессилие против напора и наплыва мутного потока, иной раз с тоской и горечью подумаешь, что даже уроки истинных мастеров пошли не впрок, и они оказались не в состоянии усовестить, удержать натиск современных бойких перовладельцев.

Труд самозабвенный и кропотливый, фанатическая преданность своему делу во имя достижения высшей цели, неутолимая жажда совершенства — вот что всегда отличало писателя Мусрепова и вознесло его на гребень подлинного мастерства. Талант его, закаленный жизнью, вобрал в себя весь нелегкий опыт своего народа, того самого народа, с которым живет, трудясь, борясь и деля радости победы, горечи поражения. Он — писатель национальный. Национальный не только потому, что кровь от крови, плоть от плоти сын своего народа, что пишет и думает на том языке, который впитал вместе с материнским молоком, а главным образом потому, что он как никто другой знает душу казахов, что он знает всю прелесть природы бескрайней шири казахской степи. В его творчестве душа и история казахского народа нашли свое наиболее полное, наиболее верное и яркое, вместе с тем притягательное, вдохновенное выражение.

РАЗМЫШЛЯЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ

Когда размышляю об исторической тематике в литературе, каждый раз вспоминаю слова знаменитого русского историка В. О. Ключевского. Он писал: «Идя по тротуару, ты видишь, что встречный обходит тебя слева, и ты норовишь посторониться вправо; извозчик предлагает тебе свои ус-

луги, и ты, имея чем ему выплатить, садишься. Он едет рысью, нахально кричит «берегись» переходящим дорогу мужчинам и женщинам, и вдруг без окрика осаживает лошадь. «Что случилось?» — думаешь ты. Ничего, через дорогу плетется ребенок! Ты думаешь, что все это так просто и естественно, что это искони бывало и всегда быть должно, что мир создался с правилом держаться правой стороны и не давить ребенка. Нет, это не природа, а история. Это не сотворилось, а выработалось, стоило много трудов, ошибок, вдохновенных замыслов и разочарований».

Задача художника, обратившегося к исторической теме, заключается в оживлении именно этих бесчисленных «трудов, ошибок, вдохновенных замыслов и разочарований» предков для их сегодняшнего и будущих поколений. Ибо наше трудное время неоднократно сталкивает художника с опасным явлением: когда перед нахально скачущей тройкой появляется беспомощный ребенок. А способен ли крик души художника остановить эту тройку? Ибо мы и наше искусство призваны служить тому, что человеческий род всегда придерживался правила держаться правой стороны, чтобы не мешать поступательному движению жизни. Меня не пугает то явление, что в последние годы в советской литературе, особенно в национальных литературах, писатели стали часто обращаться к исторической тематике. Этот факт сам по себе говорит о все большем росте национального самосознания советских народов и народностей, и этому росту способствовали высокие достижения нашего общества в экономике, культуре и политике.

Были времена, когда наши народы были главным образом известны остальному миру лишь по дошедшим до нас случайным записям путешественников, купцов и миссионеров, в лучшем случае ученых-ориенталистов. Но эти времена ушли. Теперь наши народы сами открывают себя, и просвещенные читатели получают информацию из первых рук. Отрадно, что во главе этого движения стоят именно советские народы, и они глубоким освещением своей истории доказывают не превосходство свое над другими, а утверждают свое национальное достоинство, причастность и своего народа к бесчисленным «трудам, ошибкам, вдохновенным замыслам и разочарованиям» прошлого, благодаря которым человеческое общество достигло своего сегодняшнего уровня.

И это закономерно. Наши народы, веками находив-

шиеся на отшибе исторического развития, вышли теперь на столбовую дорогу новой истории человеческого общества. Именно она доказала, что социальная несправедливость может вытеснить народы на время с авансцены истории, лишить — опять-таки временно — благ человеческой цивилизации, но лишить их исторического сознания, затупить их историческую память ей никогда не удастся. Нет в истории ни одного народа, который хотя бы на день, на час перестал бороться за свое счастье, за свою свободу и равенство или запамятовал бы настигшие его несчастья или одержанные им победы. Эпохи уходят, как и люди, но так же, как и о людях, об эпохе остается память. А историческая память народа, историческое сознание нации были всегда побудителями его вечной борьбы за лучшую жизнь, и именно они выковали волю народа-борца, мудрость народа-творца, тем самым ему помогали в приобретении необходимой жизнестойкости.

Жажда самовыражения, присущая литераторам наших народов, чье приобщение к современной человеческой цивилизации произошло в советское время, по существу, тоже принадлежит к их октябрьским завоеваниям. Этим можно объяснить то дружное обращение наших писателей к истории своего народа, к их многовековому духовному опыту. И это является ярким выражением того гуманистического стремления каждой нации глубоко и объективно познать других и помогать им так же глубоко и объективно познать их самих, тем самым превратить многовековой духовный опыт своего народа в общее достояние всех народов. Такой подход к истории народов никого не ущемляет, не игнорирует никого, не унизителен никому, наоборот, каждый народ, каждая нация будут горды тем, что и они причастны к богатому духовному опыту всего человечества, и они внесли в поступательное движение человеческого общества свою лепту. Такой подход к истории своего народа, к ее воплощению в литературе способствует систематическому совершенствованию сложного и чуткого инструмента самого справедливого и гуманного отношения между народами, между людьми, каким является бескорыстная дружба.

Меня поражает прозорливость и мудрость основоположников казахской советской литературы Мухтара Ауэзова, Сакена Сейфуллина, Ильяса Джансугурова, которые и были зачинателями исторической тематики

в современной казахской литературе: еще в первое десятилетие Советской власти в своих произведениях удивительно точно нашли самый верный подход к исторической теме. И уже в первых набросках романа-эпопеи «Путь Абая» и в поэмах «Кокшетау», «Кулагер», «Кюйши» наши классики верно и точно уловили те основополагающие узлы, где прошлое нашего народа тесно соприкасалось и перекликалось с думами и чаяниями сегодняшнего нашего многонационального общества, и тем самым они убеждали своих читателей в правомерности и исторической оправданности новой жизни в степи и глубоко художественно и социально достоверно раскрывали ее объективную закономерность.

Безусловно, глубокая историчность, исследовательский пафос и художественная прозорливость, высота гражданственности обеспечили мировой успех самому лучшему произведению казахской советской литературы — эпопее «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Умение найти в отдельном конкретном событии и судьбе исторической личности поступательный ход самой истории, его глубокую связь с сегодняшним днем присуще многим историческим произведениям казахских писателей последних лет.

Отрадно и то, что в последнее время казахская литература чаще стала обращаться к более отдаленным от нас эпохам. История казахского народа имеет очень много белых пятен, провалов памяти и потому требует от исторических писателей восстановления именно таких многократно разорванных ее цепей. Эта жажда читателей вызвала некоторую спекуляцию исторической тематикой. Один за другим стали появляться так называемые «исторические романы». К сожалению, многие из них невозможно отнести к категориям литературных произведений. Ибо они не выдерживают никакой критики в плане художественном. Так же их невозможно отнести к категориям исторических трудов, ибо там нет подлинной истории. В них больше преданий, вымысла, сомнительных легенд, чем достоверных исторических фактов. Разумеется, разрозненные сведения из разных источников, подлинность которых еще не установлена, достаточно глубоко не осмысленные художническим сознанием, несмотря на благие намерения их авторов, не могут представлять собою ничего, кроме досужих упражнений на ходовую тему.

Есть и другая тенденция — это попытка приукра-

сить историю. Принарядить исторические личности и навести на них косметику. В этих целях им приписывается знание чуть ли не всех восточных языков, которыми они в действительности не владели, знакомство со многими знаменитостями своего времени, которых они попросту не знали, участие в знаменитых, но отдаленных от них событиях, в которых они не участвовали. Такое, я бы сказал, нелепое приукрашивание действительности приводит к совершенно отрицательным результатам в плане художественности. Так герой теряет свою индивидуальность, черты национального характера. Так могучие и неповторимые исторические фигуры нашей истории возводятся в ранг худосочного, безликого типа газетных очерков. Как человек создавал бога по своему образу и подобию, так и писатели, видимо, создают своих героев. Невольно рождается подозрение: не низводили ли иногда могучих колоритных исторических личностей до своих скромных персон. А ведь Мухтар Ауэзов, когда создавал великий образ Абая, не извращал ни одного исторического факта, был далек от мысли навести глянец на своего героя. А как сумел раскрыть великую нравственную силу и могучий интеллект своего бессмертного героя!

Историческая тема — ни меньше и ни больше — социальная тема. А социология — обобщенная человеческая психология. Люди, посвященные в историю, знают: как сейчас, так и раньше, на любом историческом этапе развития общественной жизни, не было случая, чтобы не велась между народами борьба и не скрещивались шпаги прогрессивного и реакционного. Человеческая жизнь всегда была ареной непримиримой борьбы этих двух начал. Писатель-гуманист непременно находит в истории своего народа только передовое, общечеловеческое, интернациональное, то есть все то, что сближает народы, объединяет их, а не то, что разъединяет. При этом исторического писателя привлекает не столько достоверность фактов, ситуации и события, а скрытый человеческий дух. Кроме ученического старания, необходимо иметь еще слух и чутье к истории. На историю нельзя смотреть как на какой-то свод знаменательных событий и знаменитых личностей, имевших место в многовековой жизни того или иного народа. Следует постигать его духовный опыт, социальную практику, серьезные нравственные уроки, вынесенные народом в исторических испытаниях, в муке поражений и заблуж-

дений, выпавших на его горькую долю. Сегодняшний художник должен уделить свое внимание прежде всего этой стороне истории своего народа. Историческое произведение создается прежде всего совестью автора. Только тогда можно избежать противопоставления своей нации остальным, только тогда можно избежать слепой поэтизации прошлого, только тогда можно извлечь из нее много поучительных уроков. И тысячу раз прав В. О. Ключевский, когда он в назидание своим потомкам утверждает: «Не ищите в нашем прошедшем своих идей, в наших предках — самих себя. Они жили не вашими идеями. Но эти дедовские нужды, привычки и похоти судите не дедовским судом, прилагайте к ним свою собственную, современную вам нравственную оценку, ибо только такой меркой измерите вы культурное растение, отделяющее вас от предков, увидите, ушли ли вы от них вперед или попятились назад». Сверять сегодняшнюю жизнь с историей, чтобы избегать ошибок прошлого, чтобы правильнее ориентироваться в будущем, — вот, на мой взгляд, сверхзадача произведений на историческую тему. В этом отношении мне глубоко симпатичны творческие искания прозаиков Абиша Кекильбаева, Дукенбая Досжанова, Сатимжана Санбаева, за творчеством которых давно внимательно слежу. В материалах истории они прежде всего ищут нравственные уроки прошлого. Нравственные поиски предков — вот что составляет основную тему их повестей: они зачастую прибегают к историческим народным легендам. Ибо у кочевых народов, которые не располагали музеями и письменной историей, легенды имели и имеют не только эстетическую, но и познавательную, еще точнее, историческую ценность. Народ из своей богатой событиями истории бережно сохранил в своей памяти только те события, из которых будущее поколение может извлекать конкретные социальные, нравственные уроки. Найти исторические корни этих легенд, очищать социальное зерно от мифической шелухи — переосмыслить основное философское, социальное содержание их и «прилагать к ним свою собственную современную оценку» отлично удается писателям в своих исторических повестях. Они по проблематике, по форме, по манере исполнения остросовременны. Драматический накал в современных произведениях измеряется не сложностью сюжета и «закрученностью» ситуации, в которую попадает герой, а глубиной его нравственных

переживаний. На мой взгляд, чем нравственно выше и чище герой, через восприятия и переживания которого отображается ситуация, тем драматичнее, острее и произведение.

Итак, пристальное внимание к судьбе и характеру людей с высоких позиций гражданской совести позволяет реалистической литературе с особенной зоркостью и глубиной проникнуть в самые сложные, таинственные пласты сознания. Это придает психологизму, важнейшему компоненту реалистической литературы, большую гражданскую насыщенность, социальный подтекст и политическую остроту. Позиция совести в литературе позволяет художнику еще глубже проникать в доселе неведомые читателям тайники человеческой души и при этом не оставаться в плену безрассудного субъективизма, псевдопсихологизма, граничащего со слепой фиксацией потока сознания, а смело подняться на новые высоты социального анализа сложного человеческого бытия, тем самым открывать новые жизненно важные нравственные потенциалы человеческой сущности.

Талантливых казахских прозаиков — Абиша Кекильбаева, Дукенбая Досжанова, Сатимжана Санбаева—привлекают не сомнительные исторические штрихи и личности, а нравственные поиски предков, их трудный и сложный путь от мракобесия к справедливости, от невежества к просвещению, от национальной узости и ограниченности к смелому приобщению ко всему передовому.

Именно такой разборчивый подход к родной истории делает их произведения и современными, и интернациональными, и высокохудожественными. Ибо они служат не изолированию, а приобщению, не самовосхвалению, а самопознанию.

Только благодаря такому подходу историческое произведение может гармонично сочетать историческую память с историческим глазомером, без которого немыслимо поступательное историческое развитие человеческого общества.

МЫСЛИ О СУДЬБАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Тема социализма и судеб национальных культур, как одна из главных нравственных проблем века, ставится не сегодня, не вчера,— она зародилась на стыке двух эпох, еще в те

грозные октябрьские дни, которые потрясли мир. С тех пор прошло шестьдесят лет, и с тех пор проблема социализма и национальных культур ни на мгновение не была снята с повестки дня, она как и у нас в стране, так и за ее пределами стала предметом горячего обсуждения, не оставляя никого равнодушным.

Многовековой социальный опыт народов не знает случая, когда все новое не встречало бы сопротивления, не вызывало бы сомнений. Диалектически вполне закономерно, что историческое развитие наших народов в минувшее шестидесятилетие прошло сквозь эти сомнения и неодобрения наших недругов, которые порою выражались то скрытно и тайно, из-за угла, то нагло, открыто, как объявление войны.

Таким образом, многонациональная литература неразрывно развивалась в этой нелегкой борьбе наших народов. У некоторых из них литература зародилась в своей истории совсем недавно, где-то после войны, и приятно сейчас видеть: кое-кто из основоположников здесь, с нами, за нашим круглым столом. Пусть это ныне широко известный Рытхэу, Шесталов или еще совсем молодой Санги — читая их, я не перестаю удивляться, когда в их зрелых произведениях не обнаруживаю промахов, присущих обычно первому шагу начинающей, не окрепшей еще литературы.

Тут следует сказать, что характерное своеобразие общественного развития так называемых малых народов, благодаря Октябрьской революции сделавших качественный скачок от патриархально-феодального строя в социализм, минуя целую формацию, видимо, не могло не оказать существенного воздействия и на особенности развития младописьменной литературы. Когда свершается подобный скачок в общественном строе, минуя, казалось бы, при естественном своем развитии неизбежную стадию, то вполне закономерен такой же качественный скачок и в сфере интеллектуального развития.

И тут мне невольно приходит в голову такая странная мысль: насколько обогатит этот преждевременный и как бы искусственно ускоренный путь историю литературы этих младописьменных народов? Тем более если учесть, что эти основоположники младописьменной литературы создают свои произведения не на родном языке. Не отразится ли в какой-то мере, как мне иногда кажется, неизбежный при таком скачке, так сказать, «провал памяти», явный обрыв в полосе истории, отсут-

ствие, быть может, необходимого звена в цепи естественного развития? Звена, скажем, всегда связывавшего естественным мостиком фольклор и современную зрелую литературу?.. А если отразится, то как? В какой степени?

Наш народ пережил не одно суровое испытание. В том числе и самое жестокое — испытание войной, от которой, к нашей гордости, отделяет нас теперь более сорока лет мирной жизни. За это время раны, нанесенные войной, залечены. И давно восстановлена экономика страны. На месте дотла разрушенных городов выросли теперь прекрасные города. Там, где торчали искореженные снарядами, обуглившиеся в огне пожарищ леса, шумят теперь зеленые массивы. За это время сровнялись с землей и окопы, обильно залитые кровью солдат. Как видите, внешние приметы войны давно исчезли. И, казалось бы, люди имеют вроде бы основание предать забвению все горькое прошлое, пережитое и великодушно простить все зло. Во все времена человеческая натура отличалась такой странностью. Боль, бывало, проходила. Рана заживала. Обида забывалась. И даже, случалось, со временем инвалид учился не замечать свой протез, привыкая к нему по горькой, повседневной необходимости. Но был ли в истории случай, чтобы притуплялась сама память человечества и забывались муки и страдания народов?

Нет, этого никто не забудет, и мы не забудем, покуда в наших глазах еще не померк свет.

Было время, когда люди, побуждаемые чисто гуманными чувствами, старались направлять усилия общества на защиту уцелевших редких птиц и зверей от неудержимого азарта истребления. Безусловно, это было и является благородным делом для всех нас. Теперь встала гораздо более серьезная проблема, проблема, которая стоит нынче перед миром, перед людьми, независимо от различия их идеологий, рас и религий. И в этой борьбе не должны мы ни на минуту забывать, что впереди этого людского благородного устремления должны идти писатели.

Разумеется, у писателей в руках нет власти, нет армии. Но зато «наше чернильное племя», как окрестил нас Л. М. Леонов, располагает не менее реальной силой «глаголом жечь сердца людей», и мы должны, не колеблясь, посвятить весь жар своей души и талант общей борьбе всего прогрессивного человечества. То

есть — оказывать постоянное, авторитетное воздействие на сознание и разум людей в деле сохранения всеобщего покоя, прочного и гарантированного мира на земле. Для достижения нашей великой цели надо уметь пробуждать чувства добрые, неизменные у людей. Известно, в истории человечества не было ни одного дня, ни одного мгновения, когда бы не велась непримиримая борьба с всякого рода злом, злом большим и малым. Не преувеличение, что сама история состоит из опыта жестокой борьбы добра со злом. Зло как явление вроде однолико и однозначно, но его проявления...

Да, на этом стоит как раз остановиться более подробно. Зло, как и добро, является проявлением, связанным с психикой самого человека. И в этой связи мне хочется задать самому себе один вопрос: бывает ли сугубо национальное проявление зла, со свойско-национальным оттенком или какой-нибудь чертой, характерной только для той или другой нации? Может ли быть так, что национальная особенность психики может отразиться на характере самого зла?

И вот, к примеру, в разгар минувшей войны с заклятым врагом прогресса — фашизмом — в далеком киргизском ауле какие-то темные личности угнали четырех лошадей, с таким трудом ухоженных и откормленных малолетними школьниками для весенней вспашки. Вслед за ними подкрадывается волк и грозит жизни безоружного мальчика возле трупа убитой бандитом лошади. По масштабу эти три вида зла разные: фашисты, воры и волки. Но по сути своей они одинаковые, а следовательно, нет зла маленького, нет зла большого, так же как нет и не бывает зла узконационального, продиктованного психическими и этническими особенностями, а есть зло многоликое, многогранное, разномасштабное, всегда страшное, во всех своих проявлениях коварное, приносящее собой людям страдания и причиняющее боль. Но зло не всегда выступает в своем отпугивающем чудовищном обличье. Изначально оно рождается где-то в глубине темного тайника, тщательно скрытого от человеческих глаз, робко, боязно, зреет медленно, быть может, долго. И поэтому чуткий и прозорливый художник не должен равнодушно и сонно взирать на любое, пусть даже изначально безобидное, незначительное проявление зла, будь оно в быту человеческом или в организме общества. Талант писателя, подобно лучу прожектора, направленного во тьму, дол-

жен проникать в эти коварные тайники нечистой силы и учуять и усмотреть раньше других опасность еще в самом зародыше, высветляя и выставляя ее перед карающим судом народа, не позволяя разрастись в страшное чудище.

Таким образом, своевременно увидеть зло, разоблачить его, предупредить о нем человечество — вот одна из едва ли не главных обязанностей художника-гуманиста, художника-гражданина. Процесс этот сложный, глубинный, требующий от каждого из нас психологического проникновения в самую суть происходящего драматического события. Независимо от характера эпохи, социального строя, экономического уклада жизни, люди во все времена в своих лучших мечтах, идеалах и устремлениях, бесспорно, были такими же, как и мы,— беспокойными, ищущими и озабоченными судьбами мира, прилагавшими все силы и умение к тому, чтобы усовершенствовать, улучшить саму жизнь. Стремления к совершенствованию заложены в природе самого человека. Испокон веков у человека были две среды, всегда и во все времена объективно воздействовавшие на его личностное формирование и развитие его деятельности. Это, во-первых, социальный строй, во-вторых, окружение природы. Свои как умственные, так и физические усилия человек направлял на весьма благородные дела и идеалы, одним из главных являлось желание преобразить природу и усовершенствовать общественный строй. В этой древней мечте человека заложено высокое стремление гуманизма. И вообще все его сознательные поступки подчинены этим двум извечным устремлениям.

Мечта о хорошей доле и счастье во все века была неистребимым источником вдохновения. Но менялась политика. Менялась сообразно ей и жизнь. Ибо политика в основе своей определяла не только социальный облик общества, но и поведение и поступки людей. Политика, как олицетворение и высшее выражение власти, подчинила волю масс и мысли народа. Во всей истории человечества народы мира сознательно, а порой и бессознательно, слепо служили воле политики, как солдат подчиняется воле своего командира. А нынче наступила такая пора, когда люди в унисон гуманному призыву своей интеллектуальной эпохи, как принято теперь называть эпоху НТР, безраздельно должны посвящать лучшие свои порывы и стремления сохранению мира на земле. На мой взгляд, это и есть

высшее проявление морально-эстетических свойств современных людей, рожденных новыми социальными условиями нашего общества. Вполне закономерно, что именно к этим свойствам проявляет пристальное внимание с первых же своих шагов советская литература, унаследовавшая лучшие традиции мировой культуры. Пафос морального максимализма, так ярко выраженный в произведениях лучших наших мастеров, является вовсе не «привилегией» каких-то отдельных писателей или какой-то определенной школы, а отличительной чертой, характерной для всей многонациональной советской литературы.

Традиционный вопрос — кто виноват? — в свое время очень волновавший общество и искусство, в социальных условиях нашего общества трансформировался в вопрос точный, придирчивый и беспощадный — кто в какой степени виноват? И вопрос этот не праздный, он ставится не для того, чтобы погладить по голове того, кто почти совсем ни в чем не виноват, а для того, чтобы каждый требовал с себя по самой высокой нравственной шкале. Пафос морального максимализма в искусстве и литературе — по сути, яркий свидетель нравственного здоровья общества. Ибо наш век знает и небывалые в истории потрясения — следствие того, что человеческое сознание оказалось порой не в состоянии управлять плодами и достижениями им же созданной цивилизации. Подобные катаклизмы, которые не в силах были вообразить величайшие художники прошлого, перед которыми бледнеют самые жуткие мифические представления, стали в наше время конкретным историческим фактом грандиозного масштаба. В таких условиях бесконечно возрастает социальное и нравственное значение не только жизни отдельного человека, но и каждого его поступка. Современный художник перед опасностью войны неслыханного масштаба обязан более чем когда-либо чутко и четко относиться к гармоничности, социальной значимости и нравственной оправданности каждого поступка личности. А если исходить из этого, то взаимосвязь между жизненным конфликтом и его отражением в искусстве должна сама собой строиться на новых закономерностях.

Читатель ищет в художественной литературе не только правдивое и точное изображение жизненных, реальных фактов, но и абсолютно верное и глубокое осмысление их. При этом доминирующее место принад-

лежит личностному отношению к изображаемой ситуации и отображаемой человеческой жизни или поступка — вот что в основном определяет драматический конфликт и социальную наполненность литературного произведения. На мой взгляд, чем нравственно выше и чище герой, через восприятия и переживания которого отображается ситуация,— тем драматичнее, острее и произведение. Мне кажется, что драматический накал в современных произведениях измеряется не сложностью и закрученностью ситуаций, в которые попадает герой, а глубиной его нравственных переживаний. Редко кто из художников с такой точностью и глубиной, как Симонов, Быков, Бондарев, Бек и Бауржан Момыш-Улы, раскрывает антигуманистическую сущность фашизма — самого страшного социального преступления XX века. А между тем произведения многих этих писателей не отличаются сложностью изображаемых событий, а все же они неизменно добиваются истинного драматического накала, высокой внутренней страсти.

В наше многотрудное и многосложное время, время безмерной социальной активности и опасности новой войны, совесть стала не голой абстракцией, а реальной категорией этики, точным мерилом действий и поступков личности. Возьмите, к примеру, произведения Айтматова, Быкова и Распутина — ныне широко известных и любимых писателей. Почти все герои повестей этих писателей — люди чистой совести. Чистота и чуткость их героев завораживает читателя, заставляет сопереживать, сочувствовать, живо откликаться на малейшие колебания, движения, мимолетные ощущения души, становясь, таким образом, духовным и, если хотите,— социальным фактором, задевающим тончайший нерв человеческого сознания. Таким образом, творчество этих писателей, проникшее во все закоулки морального опыта одного человека, пусть он мальчик или старик, старуха или воин, кто бы ни был,— благодаря необыкновенной чуткости, честности и совестливости своих героев, а это значит, небывалому подъему личного гражданского поступка, стали объективным документом огромной впечатляющей силы.

Пристальное внимание к судьбам и характерам людей с высоких позиций гражданской совести позволяет реалистической литературе с особенной зоркостью и глубиной проникнуть в самые сложные, таинственные пласты сознания. Это придает психологическому, важ-

нейшему компоненту реалистической литературы большую гражданскую насыщенность, социальный подтекст и политическую остроту. Позиция совести в литературе позволяет художнику еще глубже проникать в доселе неведомые читателям тайники человеческой души и при этом не оставаться в плену безрассудного субъективизма, псевдопсихологизма, граничащего со слепой фиксацией потока сознания, а смело подняться на новые высоты социального анализа сложного человеческого бытия, тем самым открывать новые, жизненно важные нравственные потенциалы человеческой сущности.

Такой углубленный показ внутреннего мира человека раскрывает перед художником новые нравственные конфликты, правильное решение которых способствует совершенствованию не только отдельной личности, но и общества в целом.

Я лично склонен считать, что особенно заметное в последние годы углубленное внимание к духовному миру и опыту людей, тяготение к морально-этическим темам, свойственное советской литературе, вовсе не означает бегство, уход от больших социальных проблем нашего беспокойного времени, а наоборот — я вижу в этом как раз похвальное стремление к разрешению сложных вопросов многогранной человеческой борьбы за счастье в нравственном аспекте. Тот серьезный разговор, который сейчас идет в нашей литературе,— о нравственной цене человеческого счастья — призван прежде всего усовершенствовать такой важный инструмент справедливости в общественном бытии, каким является человеческая совесть. Только человек с чуткой совестью может воспринимать чужую боль как свою, чужое горе как свое. Только он способен сострадать другим.

Чем нравственно чище и выше станут люди, тем меньше останется шансов пробиться в наши ряды разного рода мерзости, злу, лжи, фальши и насилию. Жизнь есть вечное преодоление самых различных и разнообразных проблем, противоречий, трудностей. Значит, она сопряжена со всякого рода конфликтами, разобраться в которых людям может и должна помочь и литература. Смысл человеческой жизни — вот извечная проблема, над которой бились все передовые писатели всех времен. Теперь об этом размышляет едва ли не каждый человек на земле.

Следовательно, активное участие в нравственном

процессе, все заметнее охватывающем современное общество, стремление помочь людям находить верные ответы на волнующие их нравственные проблемы, неустанно взывать к справедливости, чести, совести и счастью — является теперь сверхзадачей современной художественной мысли.

Именно в этом заключается гуманная миссия честного писательского слова в нашей всенародной, ежеминутной борьбе за спокойную, гарантированную жизнь на земле, жизнь без войны.

О МОЕМ НАРОДЕ

Сюжет заключает в себе, по существу, одно определенное понятие, однако понимание его и толкование многолико. Если смотреть на сюжет исключительно как на голое действие или, конкретнее,— цепь событий, то, думается мне, положение многих современных писателей достойно сожаления. Окинем мысленным взором мир художественной литературы. Из пережитых человечеством событий много ли осталось скрытым от зоркого взора писателя? Порою не кажется ли нам, что все более или менее значительные события запечатлены на бумаге и чувства исчерпаны? И все-таки писатели продолжают писать книги, а читатели с таким же упоением продолжают читать. Чем объясняется подобный перманентный процесс? Где найдет литература неиссякаемый живой родник сюжета? Много ли осталось этих нетронутых родников? А не подстерегает ли со временем нас довольно унылая перспектива, когда мы, писатели, вынуждены будем волей-неволей повторять друг друга, идти по исхоженной уже, проторенной тропинке наших с вами более счастливых предшественников? Вопросы эти не такие уж праздные. Однако я считаю, что современного писателя зовет к письменному столу вовсе не какое-нибудь сногсшибательное событие, никем доселе не описанное, а, скорее всего, очень важная, осенившая его вдруг, взволновавшая душу художественно-социальная проблема. То, что литература, как вообще всякое искусство, ищет и находит сюжет только в общественно-социальном опыте человечества,— аксиома, не требующая доказательств. Известно, что и социальный опыт общества — не постоянное, раз и навсегда определившееся, а, наоборот,

вечно меняющееся, развивающееся, обновляющееся, вечно молодое явление. Возьмем различные события, сопутствующие человеку всю его жизнь, ну, хотя бы детство, юность, старость, любовь, ненависть, горе и радость, взлет или падение — все они, как вечный психологический процесс, оставались в той или иной степени неизменными, одинаково неизбежными, неотвратимыми во все эпохи и века. И только сугубо социальные причины, взбудораживавшие вдруг души людей и вызывавшие определенные активные психологические изменения у индивидуума, были каждый раз, в разные времена, иными. Каждое поколение человечества имело свой социальный опыт, свою, только ему свойственную духовную биографию, отличавшуюся как от предшествовавших, так и от последующих поколений.

Разве мое поколение не отличалось от предшествующего поколения? А с нынешним молодым поколением, несмотря на то что живем под одним небом, ходим по одной земле, сколько случаев, когда расходятся наши вкусы, понимания, порою и взгляды. Тут не приходится обижаться: законы жизни неумолимы, они не ведают ни жалости, ни пощады.

Кстати, как раз мое поколение, юные души которого успели опалиться пламенем войны, выдвинуло из среды разных народов и литератур немало летописцев и писателей. Война — это самое большое социальное событие для всех нас. И многие из нас сразу взялись за перо. И хотя герои этой войны, находясь в горниле страшной битвы, испытывали и страх, и смерть, мужество и трусость, горечь поражения и радость победы, то есть переживали в точности так, как и герои предшествующей войны, переживали в одинаковой мере все ситуации и всю гамму самых разнообразных и острых чувств, однако ставить между этими героями знак равенства невозможно. Повторяю: при всей схожести внешней обстановки, схожести психологических условий в том и другом случае сохранять одно — особенность духовной атмосферы. И фактор, определяющий особенность духовной атмосферы, и есть тот самый социальный опыт, который непременно накладывает свой отпечаток на то или иное поколение.

Каждое поколение человечества дает как бы отчет следующему поколению о своем социальном опыте. Оно испытывает потребность поделиться своими сокровенными порывами и раздумьями. И это понятно. Ибо

нет ничего вечного под луной, человек, каким бы хозяином ни чувствовал себя, в конечном итоге знает, что он всего-навсего гость, и как только кончается отмеренный ему куцый вершок жизни, рано или поздно покидает этот бренный мир. В ком не заглохло гражданское чувство, тот непременно задумывается и о будущем. Скажу более конкретно: если бы у художника не было жгучей потребности поделиться своим социальным опытом, своей духовной сущностью с грядущим поколением, то, вероятно, человечество давно и безвозвратно потеряло бы всякий интерес к художественной литературе.

Как известно, было время, когда эстетическое влияние художественного произведения имело власть и замыкалось лишь в пределах какого-нибудь одного языка и одного народа. Поэт общался со своими читателями лишь на своем родном языке. Тогда и книга выглядела вроде как своеобразным завещанием одного поколения другому. В наше время связь между нациями и народами невероятно обогатилась и приобретает разнообразие форм. Книга стала многоязычным, общительным и интересным собеседником, живым посредником, связывающим народы, страны, даже далекие континенты. Благодаря книге сейчас мы в состоянии без особого труда познать историю, быт, обычаи, нравы, политику, духовный склад ранее неведомых нам народов.

Явление это отрадное, неоценимое, особенно для тех литераторов, которые долгие годы оставались вне поля зрения мирового читателя. К примеру, мой народ, трудная жизнь и долголетняя история которого веками протекала в продымленной юрте кочевника, ныне, благодаря прославленной эпопее Мухтара Ауэзова, прорубил себе окно в большой оживленный мир.

Я допускаю, что для литераторов иных национальностей, быть может, поиск сюжета стал серьезной проблемой. А для нас, казахских писателей, такой проблемы пока не существует. Более того, в ближайшем будущем она вроде бы даже не предвидится. Многовековой социальный опыт нашего народа, его необъятный духовный мир — почти не тронутая целина. Народ с необыкновенным упорством и мужеством не однажды вынес самые тягчайшие удары судьбы, не раз стоял он прямо на грани катастрофы, и мы, теперешнее поколение казахов, с гордостью и радостью осознаем:

маленький народ, стойко выдержав испытания, сумел все-таки сохранить свое национальное единство.

Наверное, не совсем справедливо было бы выделять из единой многотрудной истории народа какой-нибудь один из ее этапов. И все же последние пятьдесят лет имеют для нас совершенно особое значение. Ведь совсем еще недавно наши деды, гонимые нуждой, как перекати-поле злым ветром, кочевали по степи в поисках пастбища и воды для своего скота и вовсе не думали, не предполагали даже, что помимо заботы о скоте может быть какая-то иная жизнь, иные радости и более высокие цели, идеалы. Теперь, пожалуйста, обратите более внимательные взоры на нашу степь, на дела и помыслы обитающих там жителей. Я не говорю, что у нас нет больше трудностей и препятствий, которые следует преодолеть.

На мой взгляд, вот те главные темы, которые ждут активного творческого проникновения, осмысления и правдивого отображения.

Я уже говорил о том, что каждое поколение имеет, точнее говоря, приобретает свой социальный опыт. Однако этот опыт накапливается не только из событий и явлений, пережитых данным поколением. В конечном итоге оно имеет свое время, своего героя, свое мироощущение и свою систему взглядов. И в опыт поколения входят также его отношение к истории и его размышления, раздумья, волненья. Иначе говоря, тот поэтический объект, который писатель ищет для сюжета, вовсе не ограничивается какими-нибудь десятилетиями его жизни. Дыхание того морозного холода, пробиравшееся сквозь дырявые юрты нашего предка в ту далекую осеннюю ночь, не пронизывает разве и наши тела? Не потому ли мы иной раз ворочаемся всю ночь не смыкая глаз в своем уютном столичном доме? То есть нас не может в равной мере не волновать как прошлое, так и настоящее своего народа.

Хочу поделиться некоторым личным опытом из своей собственной практики. Скажу о том, как писалась книга, вернее, что послужило внутренним толчком, побудившим меня написать не другую, а именно эту книгу — «Кровь и пот».

Итак, представьте перед своим мысленным взором 1947 год, лето, выжженную палящим солнцем полынную степь Казахстана где-то на берегу Аральского моря. И еще представьте двадцатитрехлетнего молодого

паренька. На недавней войне у него погибли отец и три родных брата отца. И этот молодой человек только недавно вернулся из армии. Он видел родной аул, обремененную нуждой мачеху и сестренку свою. Он видел овдовевших жен, и осиротевших детей, и не успевшие еще оправиться от войны рыболовецкие колхозы. Везде и всюду измученные люди, в основном старики, старухи, женщины и дети. И еще калеки войны. Что и говорить, было тяжело... Тоскливо. Однажды этот молодой паренек выехал в районный центр. Возница был стар и угрюм. Телега тарахтела, тряслась по неровной, в кочках и ямах пыльной дороге. Ехали молча час, другой, третий. Время от времени паренек слезал с телеги, снимал ботинки и по горячей пыли шел босиком за телегой. Куда ни кинешь взор, всюду простиралась безмолвная, побуревшая от зноя полынная степь. «Да-а,— думал он,— она, эта земля, всегда была вот такой невзрачной, скудной, безмолвной, но всегда бесконечно дорогой и милой тебе. А как стара и многострадальна она! По этой дороге прошли неведомые караваны человеческих поколений. Сколько кровопролитных войн, стремительных набегов самых свирепых полчищ — калмыков, монголов, джунгар, даже железных легионов Македонского перевидала и пережила она на своем веку. Эта земля пресыщена человеческим горем. Ведь на этой, именно на этой земле родились наши отцы, наши деды, прадеды. Вместе с ними рождались их мечты, вместе с ними и умирали. Они жили в нужде. Тоже пасли скот, ловили рыбу, женились, любили, ненавидели, боролись. Сколько слез матерей и вдов пролито на этой вот выжженной солнцем земле с момента сотворения мира. Сколько пота и крови пролито здесь твоими храбрыми предками. Кровь и пот,— думал паренек, невольно повторяя потрескавшимися губами про себя эти обжегшие вдруг душу его слова».

Вот тут-то впервые и пришла ему в голову мысль, что он должен когда-нибудь, если сможет, написать книгу о пролитой крови и поте своих предков. И эта книга теперь — хорошо ли, плохо ли — написана. Но не это сейчас главное. В данном случае меня интересовали не столько столкновения героев, кто кого когда-то искусно обманул или подло убил, то есть не последовательная цепь событий, сколько *характеры и судьбы* наших отцов и дедов. Что и говорить, нелегко писателю придумывать оригинальные, интригую-

щие события. На мой взгляд, гораздо труднее и сложнее бывает вначале, еще в стадии обдумывания, когда писателю необходимо нащупать, уловить суть и сущность самого характера, этого живого двигателя всех событий. Чтобы создавать значительные произведения, недостаточно, конечно, успокоиться находкой оригинального характера, а надобно еще художнику уметь видеть социальную значимость этого характера. Только определенные социальные явления, отраженные в человеческом сознании и проявленные в характере, могут быть объектом произведения искусства. И потому для раскрытия сущности социальных явлений данного общества приобретает особую важность характер самого человека, точнее, правда и логика характера. Поможему, именно эта правда и логика характера приводят писателя к истинному сюжету. Так Пушкин, прежде чем раскрыть «онегинщину» в русском обществе, открыл вначале для себя самого Онегина.

Не скрою, иногда приходит в голову довольно странная мысль: что важнее, что главнее в процессе создания книги — первое чувство, первая вспышка, озарившая вдруг мысль писателя, или тонкое кружево — художественная деталь? В самом деле, что главнее: «земля наша, возникшая из хаоса, стихии, или та первая жизнелюбивая былинка, которая чудом пробивалась сквозь толщу твердыни»?

ЗА ЛЮБОВЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНУЮ, ЧЕСТНУЮ

По складу своего характера, пожалуй, я отношусь к категории спокойных людей. Но какой бы выдержкой или самообладанием ни был наделен человек, в жизни бывают моменты, когда он, обычно умеренный, спокойный, выходит из своих привычных «берегов». Мы живем в слишком бурное время, чтобы оставаться всегда спокойными. Жизнь — вообще отрицание спокойствия, а жизнь литераторов — в особенности. Конечно, здесь есть внешние симптомы, которые могут успокоить нас. Они-то и дают нам основание полагать, что писатели нынче не хуже пишут, чем прежде, а издатели не хуже издают их. И мы во всех удобных случаях заявляем не без гордости и радости, что стало больше выходить в свет книжной

продукции по сравнению с таким-то годом. Если судить по издательской статистике, то в самом деле есть все основания гордиться тиражами, говорить о них с высокой трибуны, с экрана телевизора, со страниц газет. И действительно, тиражи журналов и книг достигают нынче баснословных цифр.

Но хочется задать один вопрос: все ли книги — книги? Все ли произведения, хваленные критикой, в самом деле хороши? Наши взгляды, не скрою, вот тут-то и не всегда сходятся. Иная книга, вопреки благожелательным отзывам прессы, не вызывает у читателей особого энтузиазма. У такой книги весь жизненный путь складывается примерно так: появляется она из типографии на полках книжных магазинов нередко в нарядной обложке, в хорошем оформлении какого-нибудь старательного художника, потом лежит один, два, три дня, несколько дней подряд. Потом пойдут длинные вереницы месяцев, затем годы...

За это время многие ее собратья, тоненькие и толстые, нарядные или простенькие, недолго пробыв рядом с ней на прилавках, давно разошлись, определили свою судьбу, обрели, как говорится, крышу над головой.

А та лежит, запыленная, пожелтевшая, никому не нужная, и сердитый продавец давно смотрит на нее враждебно, думая, как от нее избавиться. И смотришь, она уже попала под нож, в макулатуру.

В этом печальном деле немалая доля вины издателя и критика. Первый из них неразборчив, а второй нетребователен.

Иной раз диву даешься, когда критик берет под свою защиту и старается преподнести читателям как лучший эталон современной литературы неоспоримо слабую вещь. Пора, однако бы, знать, что в наш век не так-то легко обмануть читателя — просвещенного и взыскательного.

Когда в статье, кроме мнимой доброты самого критика, нет ни мысли, ни страсти, ни азарта полемиста, одним словом — божьей искры, она не способна увлечь и захватить читателя, а разве что только лишний раз потешить самолюбие какого-нибудь легковерного и наивного автора. Пусть критик уверяет нас, проявляет редкостное искусство «логических» доказательств, его потуги будут напрасны, доводы неубедительны, а читатель останется равнодушным и глухим к его словам.

Когда о той или иной книге возникают у критика

и читателя два полярных, исключающих одно другое мнения, пусть будет сказано не в обиду критикам — писатель предпочитает ориентироваться на мнение читателя. Пусть поймут меня правильно — я отнюдь не хочу противопоставить двух главных ценителей художественного произведения.

Каким бы широким умом, образованием, профессиональными навыками ни был наделен критик, все равно окончательное слово всегда остается за народом — высшим ценителем искусства. Следует сказать, что в литературе временами бывают свои переоценки или недооценки. Мнение же народа, как правило, безошибочно.

Из всего сказанного не следует, однако, делать вывод, что профессиональная критика в загоне и не пользуется авторитетом. Наоборот, я, как один из многих писателей, никогда не умалял и не умаляю благотворного значения критики для творчества писателя. Быть может, иной раз мы так строго судим критику потому, что слишком хорошо понимаем, насколько серьезна ее роль в формировании и развитии всей литературы.

Во всяком случае, я не разделяю обывательского мнения, бытующего в нашей среде. По мнению обывателя, который постоянно ищет острых ощущений, писатель — не писатель, критик — не критик, а нечто вроде враждующих между собой родов, этаких Капулетти и Монтекки. Но по своему простодушию и наивности обыватель склонен к преувеличениям.

В самом же деле все обстоит далеко не так. Каждому должно быть понятно, сколь необходима обоюдная поддержка и помощь писателю и критику. Писатель ищет в критике и, к счастью своему, нередко находит умного, объективного в суждениях толкователя своего произведения. Писатель ищет помощи у критика, особенно когда ему становится трудно. Скажем, вдруг писатель застрял на каком-то проклятом месте своей новой вещи. Хоть убей, но работа не идет дальше. И опустошенная душа писателя как ограбленный дом — она пуста, нет ни желания, ни стремления продолжать работу. Именно в это время, когда средь бела дня он вроде бы потерял самого себя и ищет, хочет найти себя, свое место в этой тоскливой пустоте, тогда-то писатель непременно обращается к критике. В критике, как в зеркале, он хочет видеть самого себя, свои ошибки и просчеты, свое место в жизни. Одним словом,

ищет свою творческую сущность. Писатель в литературном критике хочет видеть не просто ценителя, как иногда у нас говорят, а с тайной надеждой в душе обращается к критику, видя в нем сострадателя своей вещи. И здесь-то должна быть соблюдена мера объективности, чтобы сострадание и сопереживание не толкали на излишнюю чувствительность, наоборот, способствовали пробуждению в критике самого мудрого и справедливого чувства. Оставаясь на незыблемом постаменте справедливости, критик со своей стороны также должен требовать от писателя правдивости, мужества и умения смотреть правде в глаза, хотя бы она несла с собой немалое страдание автору. Лишь только тогда каждая новая статья критика будет, несомненно, полезной. Такая статья — не только единственно правильное прочтение произведения, она, кроме всего, обогащает вкус читателя. Однако, оглядываясь назад, мы видим, что в истории нашей литературы было время, когда критика сдавала свои позиции.

Еще свежи в нашей памяти огульные охаивания талантливых произведений и приклеивания автору всевозможных ярлыков. К счастью, теперь все позади. Мы давно уже живем под лозунгом творческой солидарности литературных сил. И не напрасны наши усилия. Наблюдается тенденция лояльности, диктуемая чисто рациональными соображениями во что бы то ни стало создать творческую обстановку честности и чистоты в отношениях между писателями. В этом направлении работает и критика. Но в этом хорошем деле я вижу какие-то явные промахи. Проявление лояльности идет, как мне кажется, за счет потери в значительной степени честности в отношениях. Я не скажу, что совсем не «удается» нам честность в литературной критике, она вроде бы тоже «получается», но нередко это выглядит так, как принято говорить в иной среде: «Честность — понятие растяжимое».

Древнее понятие — честность имеет точное и единственное значение. Но человеческая корысть всегда норовит внести что-то свое в это понятие. Особенно если кто-нибудь из нас, литераторов, ищет для себя какую-то выгоду, он непременно старается чуть-чуть, хотя бы в малой толике видоизменить это понятие в свою пользу. Честность и чистоту в литературе ни в коем случае нельзя понимать как известную проповедь —

непротивление злу насилием. Честность, скорее,— здоровый дух в здоровом теле.

Одним словом, взаимоотношения литераторов должны строиться на принципиальных позициях.

Либерализм убивает мысль. Проявление малейшего признака либерализма в критике порождает в свою очередь разноликих угодников. Как правило, критики-угодники дезориентируют общественное мнение. Творчество требует творческой обстановки, требовательности, честности и чистоты в отношениях; принципиальности, честности, острой проблематичности мыслей, публицистической взволнованности, радости за удачи, боли за поражение родной литературы и, наконец, большой страстности истинного ценителя произведения искусства — все это обязательные качества для настоящего критика.

Плохо, когда в ценителе изящного преобладает излишняя чувствительность и жалостливость. Надо любить произведение. А у нас зачастую получается наоборот: сперва любят творца, потом уже через свою любовь судят о его творении. В таких случаях, конечно, ползет по страницам рецензий, статей, эссе личное отношение, а отсюда и снисхождение. В таких статьях, как правило, не видно критика, облика его, нет и в помине требований, предъявляемых произведениям, но зато есть налицо его любовь к автору.

Мы тоже за то, чтобы критик любил писателя, умел понимать причины его слабостей, умел опекать и оберегать его от ложного пути, но и за то, чтобы, когда дело коснется разбора произведений, критик принимал облик строгого судьи, объективного, независимого. Точнее говоря, умел бы любить и ценить писателя, как любит и ценит друг друга, предъявляя к нему самые строгие требования, ко всем произведениям без исключения, то есть применяя «требовательную любовь», чего в свое время настойчиво добивался от критиков Луначарский.

Итак, за требовательную любовь в критике!

ПОЕДИНОК ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО?

Как бы мы ни клеймили и ни ругали на все лады подстрочник, мы все в глубине души понимаем, что благодаря ему, презрен-

ному, все-таки доходит все лучшее в национальных литературах до всесоюзного читателя. Какими бы сомнительными ни были его достоинства, все же для переводчика, не знающего языка оригинала, он иногда является единственным источником связи с оригиналом. А если подстрочник сравнительно с переводом беден, неряшлив, дурен собой, то в том нет вины изготовителей подстрочников, вина лежит на нас, авторах, вина в том, что мы равнодушны, что самоотверженный труд переводчиков-подстрочникистов не поощряется ни морально, ни материально. Прояви мы хоть малую чуткость и понимание, заинтересуй людей, я уверен, мы не только подняли бы качество подстрочного перевода, но и помогли бы выявлению талантливых переводчиков. Могу сослаться на свою работу с Герольдом Бельгером. Когда судьба свела нас с ним, он был аспирантом, заканчивал диссертацию. Свободно владея казахским языком, он с молодым жаром предался переводческим страстям. С тех пор мы неразлучны, работаем бок о бок. Сейчас он обладает немалым опытом и искусен в переводческом деле. Некоторые рассказы, повести и романы Абиша Кекильбаева, Оразбека Сарсенбаева, Дукенбая Досжанова и других Г. Бельгер перевел самостоятельно. Он является сопереводчиком многих казахских произведений, в том числе моего нового романа «Долг». А начал он с того, что делал подстрочники, за которые издательство платило ему по двадцать рублей за лист, а я считал, что он заслуживал уже тогда получать столько же, сколько выплачивают обычно у нас за художественный перевод с русского языка на казахский.

Должен сказать, что подстрочники Бельгера уже тогда отличались от того, что среди переводчиков с оттенком брезгливости именуется «глиной». Мне известна природа подобных поделок, у которых нет и не бывает ничего общего с творчеством. Ершов в своей статье «Только арифметика», опубликованной в «Литературной газете», пишет о них: «На десятках страниц подстрочного перевода не угадывался даже смысл происходящего». Да, я понимаю: это типичнейший пример законченной халтуры, той самой «глины». Только непонятно, почему Ершов берется переводить по подстрочнику, в котором, не говоря уже о стилевых особенностях, на десятках страниц даже не угадывается, о чем вообще идет речь? В таком случае, как быть с высказыванием великого Добролюбова, считавшего, что

для перевода мало сохранить смысл и соблюсти правильность и чистоту языка, для него нужна жизнь, которой проникнут подлинник?

В художественном переводе на одном из первых мест стоит вопрос, как донести сложную человеческую жизнь оригинала.

Но как быть, если и в оригинале не угадывается смысл происходящего? Ждать палочки-выручалочки? Или надеяться на «властный» метод Ершова, который на страницах «Литературной газеты» гордо перечислял все свои насильственные благодеяния? По ходу работы над переводом, уверяет он нас, то есть переписывая, в корне переделывая оригинал (как он уверен, в сторону улучшения), он, однако, орудует «не топором, не косой, не метлой, а тонким резцом или мягкой кистью». Вряд ли. Не было еще случая, чтобы даже талантливый переводчик делал из средней вещи шедевры. А ремесленник — тот и вовсе низводит любую незаурядную вещь до уровня проходного штампа. Но человеку, душой болеющему за свое дело, отнюдь не все равно, лачугу ли сляпать или дворец возвести. В тот день, когда мастер обнаруживает равнодушие к своему делу, считай, наступает смерть и его искусства. С этого часа он уже не мастер, он в лучшем случае ремесленник, более того, шабашник, которому топор или колун более по руке, чем перо или кисть. Столь деликатными инструментами сможет разве кропотливый умелец, любовно, с самозабвением шлифующий каждое словечко, за полтора месяца из шестидесяти печатных листов романа оттяпать две трети? Тут, как бы ни уверял нас почтенный Ершов, без топора не обойтись.

В сложившейся ситуации виноваты мы сами, авторы. Во-первых, мы беспечны. Иные из нас руководствуются принципом тех родителей, которые в стародавние времена, отдавая своих детей мулле и заискивая перед ним, лепетали: «Кость моего чада принадлежит мне, а мясо — твое»,— то есть, поступай с ним как хочешь, расправляйся как можешь, лишь бы вернул его потом, после прохождения учебы, полуживым или полумертвым. Во-вторых, мы совсем не интересуемся подстрочником. А ведь настоящая расправа с оригиналом, искажение его начинается с подстрочника. Нам невдомек, что перевод наших произведений — сложный, двухступенчатый процесс. Чтобы вывести их на большую, всесоюзную орбиту, должна сработать без помех вначале

первая, стартовая ступень — она оторвет корабль от земли, потом его должна подхватить вторая, которая выведет на орбиту.

Нельзя пренебрегать подстрочником, по которому будет судить о нас переводчик. Каким бы многоопытным и виртуозным мастером своего дела ни был фотограф, однако не может он, минуя рабочий негатив, получить сразу позитив, точно и верно воспроизводящий живой и достоверный образ. Писатель — заинтересованное лицо, он должен еще «в стадии негатива», на стадии подстрочного перевода биться за каждое слово, за каждый свой оборот. По мере своих сил и разумения. Только тогда может подстрочник вырваться из прозябания и обрести подобающий ему приличный вид, стать лучше и краше, вместить помимо «информации об оригинале» еще и краски его.

Вы можете возразить мне: так это уже будет не подстрочник, это будет самый настоящий полнокровный и крепкий художественный перевод! Нет, отвечу, это еще не художественный перевод. При всех своих несомненных достоинствах это все-таки подстрочник, только очень приближенный к оригиналу. И ратую я только за улучшение его качества. Такой подстрочник, уверяю вас, куда лучше и полезнее «глины», ибо, не притязая на законченность, он в то же время не искажает оригинал, честно и правдиво доносит все его достоинства. Он, как уже было сказано, соблюдает и сохраняет весь поэтический строй, все краски живой плоти произведения, внутреннюю ритмику, интонационные особенности его, следовательно, не побоюсь сказать, дух и душу его. Авторы подобных работ имеют право претендовать на положение сопереводчиков.

В этой связи не могу не сказать, как поразил меня однажды благородный поступок Василия Белова. Это было несколько лет тому назад. Мы пришли в редакцию журнала «Дружба народов». Я знал, что в отделе прозы находится подстрочник «Хатынгольской баллады» Абиша Кекильбаева, и я предложил Белову ее перевести. Вначале Василий Иванович наотрез отказался, сославшись на занятость, потом согласился прочитать, а прочитав, через месяц, прислал письмо Кекильбаеву, где, в частности, писал: «...честно признаюсь, что, если бы не Нурпеисов, вовлекший меня в редакцию, я бы вряд ли узнал вашу великолепную повесть. Начал читать и решил попробовать». И он не только по-

пробовал, но вскоре представил в редакцию повесть Абиша Кекильбаева в великолепном переводе, и знаете, тут мы были изумлены, став свидетелями небывалого прежде в практике перевода феноменального случая: Василий Белов рядом со своей поставил фамилию Герольда Бельгера, сделавшего подстрочный перевод и ни на что иное, так сказать, не претендовавшего. Белов, однако, понял, чего стоил этот труд. На такой благородный поступок мог пойти, конечно, лишь большой писатель и большой души человек. При наличии предельно близкого к оригиналу подстрочника блестящему мастеру оставалось сделать «лишь» то магическое «чуть-чуть», без которого не оживает искусство. Усилия Белова как переводчика сводились в основном к работе над словом. И он блестяще доказал любителям «порезвиться» и осуществить «властный» метод перевода, что серьезный художественный перевод — это не простое, как они изволили думать, механическое перелопачивание с одного языка на другой, а подлинно творческая работа и переводчик, как всякий творец, призван добывать свой единственный, бесконечно весомый грамм золота из тех самых знакомых нам тысяч тонн словесной руды. По утверждению Ильи Эренбурга, степень мастерства зависит прежде всего от облика слова. То есть облик слова определяет облик произведения. Говоря об облике слова, Илья Эренбург, смею полагать, имел в виду не столько внешний лоск его, сколько душу. А у переводчика, так же как у писателя, в руках лишь одно средство — с л о в о, и с помощью слова он оживляет текст, вдыхает в него жизнь. Таким образом, при переводе нужна от переводчика не «властность», а способность донести до читателя неповторимый облик национального писателя, сохранить в неприкосновенности его с а м о б ы т н ы е и н д и в и д у а л ь н ы е черты. А по мнению Николая Ершова и Евгения Сергеева, у нас, писателей, вроде бы и не бывает самобытных и индивидуальных черт в творчестве. Они об этом говорят не намеками, а открыто, во весь голос. «По сути, переводное произведение — это, конечно же, нечто, созданное переводчиком...» — заявляет Сергеев. Развивая свою мысль, он далее поясняет довольно просто: «Переводчику вещь с чужого плеча может оказаться не впору, и он ее на свой рост и вкус перекроит и перекрасит. Греха в том нет».

И «греха» нет! Вот до чего договариваемся... Ну,

если бы так думал один Е. Сергеев, я бы, наверное, столь остро не реагировал. Но как-то один «спец», пишущий внутренние рецензии для одного из издательств, заметил, что, оценивая переводной роман, «не совсем ясно понимаешь, что именно оцениваешь и к кому обращаешься: к автору или к переводчику...». Выходит, настоящим автором перевода является чуть ли не один переводчик. Что тут скажешь! Ремесленники, паразитирующие на национальных литературах, придут в восторг, если такое амикошонское представление о процессе и состоянии переводческого искусства станет законом. По их логике, мы, грешные, читая, скажем, переводы произведений Мухтара Ауэзова, Вилиса Лациса, Берды Кербабаева, Расула Гамзатова, Мустая Карима, Кайсына Кулиева, Айбека и многих других писателей, составляющих славу многонациональной советской литературы, на самом деле не можем судить об их подлинном творчестве, а судим лишь о том, что сотворили на свой вкус и манер переводчики. Они находят какие-то странные «портновские» толкования, вроде того, что переводчик — не переводчик, а обыкновенный закройщик с ножницами в руках, и если вещь с чужого плеча не по вкусу ему, закройщику, то он волен поступать так, как велит его портновская профессия: ножницами чик-чик, иголкой раз-раз, по своему вкусу перекроил, подштопал, подлатал, примеряясь на свой собственный рост. Предлагая художественному переводу портновский подход, вы, однако, подумали ли о том, что автор может ведь оказаться ростом с великана? Хуже того, если окажется так, что хозяин материала наделен отличным вкусом и тонким чутьем, а к тому же обладает и скверным характером, несговорчивым и независимым, как быть тогда?

Меня удивляет поразительная категоричность в суждениях, когда говорят о переводе произведений писателей из национальных республик: ни для кого-де не секрет, что в наше время перевод зачастую имеет с оригиналом разве только «общий сюжет», все остальное принадлежит собственному творчеству переводчика...

Какое высокомерие! Говорящих так критиков и рецензентов совсем не интересует то обстоятельство, что последние два года я, например, вместе со своими переводчиками бился над каждым словом своей книги. Ну посудите сами, будучи в здравом уме и трезвой памяти, как можно согласиться с тем, чтобы книгу, которую я, как ребенка, вынашивал и выхаживал, ко-

торую каждым нервом своим прочувствовал и, наконец, как слепец, осторожно и бережно прощупал пальцами каждое слово, кто-нибудь, другой — пусть даже он искуснее меня как художник — мог бы так вот взять и перекроить по своему разумению, бесцеремонно или еще как там, «властно», что ли, по методу, предложенному Ершовым, вырезать все то, что ему не приглянулось, и еще что-то за тебя дописать и заменить! Посудите, дорогие товарищи, ведь плохо ли, хорошо ли, но каждая строчка в моей книге при своем рождении вначале прозвучала в моей душе, каждый образ зачал и носил под сердцем не кто другой, а я, носил в своей душе, испытывал радость и счастье, и нет там сцены, детали, вплоть до отдельных слов, которые появлялись бы просто так, легко, как пузырьки на воде, чтобы также легко и бесследно потом исчезнуть. Если бы вы, дорогие переводчики-закройщики, работая над своим собственным произведением, хоть раз испытали то, о чем я говорю, тогда, я надеюсь, не трудно было бы вам представить, что я испытывал, читая ваши безапелляционные заявления, где сводится решительно на нет нелегкий писательский труд. Переводчик должен питать уважение к автору. Он должен проникнуться уважением к оригиналу. Тогда, только тогда не будет между ними разлада. В самом деле, когда переводчик в своей работе руководствуется «властным» методом, разве может быть там уважение к автору и его детищу?

Слов нет, в проблематике художественного перевода много неясного. Одна из сложных и запутанных проблем — авторизация. Создается впечатление, что чем больше мы дискутируем, выдвигая новые соображения, тем больше запутываемся в простых вещах. Ведь не секрет, что этика художественного перевода определена задолго до нас, еще первыми энтузиастами-переводчиками. Переводя в основном исторические хроники и жития, эти давние предтечи современных переводчиков не только сталкивались со всеми нынешними проблемами, но и находили ответы. Переводить, не допуская искажения текста, доступным народу живым языком; переводить как можно точнее, «не по счету», а «по весу» — так они определяли суть этического и эстетического подхода к делу. С тех пор миновало не одно столетие, нынешним наследникам тех скромных тружеников, добровольно обрекавших себя на заточение в четырех стенах сырой полуслепой кельи какого-нибудь

монастыря, созданы самые идеальные условия, необходимые для плодотворной работы. Переводческое дело наравне с писательским трудом стало почетной и признанной профессией. Художественный перевод сейчас, казалось бы, в самой поре расцвета, и его основные принципы определены, упорядочены и систематизированы. Так откуда столь странные разноречия по элементарному, азбучному, казалось бы, вопросу авторизации перевода?

Я не теоретик художественного перевода, я практик, иногда практик поневоле, не столкни меня с этой проблемой сама жизнь, я так бы и оставался в счастливом неведении, занимаясь своими сугубо писательскими делами. И потому сошлюсь не на литературоведческую теорию, а на практику — на примере Мухтара Ауэзова. Как известно, этого мастера отличала высокая культура и глубина эрудиции. В какую бы страну он ни ездил, в Европе или Америке, всюду его называли не иначе как «мудрец Востока». Питомец Ленинградского университета, он свободно владел русским языком, постигая, как мне казалось, самую стихию этого языка; я помню, как кропотливо он работал над подстрочниками своих произведений. Нам казалось, что он сам мог бы блестяще переводить свои творения на русский язык. Однажды во время встречи с железнодорожниками Алма-Аты кто-то из читателей намекнул ему на это. Он неодобрительно нахмурился, чуть подумал и ответил, как всегда, образно и метко: «Для того чтобы переводить на русский язык свое произведение самому, недостаточно хорошо уметь говорить, а надобно даже сны видеть на этом языке». И этот взыскательный, в высшей мере строгий художник слова при осуществлении перевода своего главного произведения «Путь Абая» согласился поставить под фамилией Леонида Соболева слова «авторизованный перевод».

Я уверен, кто-кто, а уж Ауэзов вряд ли имел в виду то абсурдное представление об авторизации, которое встречается в иных статьях и призвано прикрыть «властность» беспардонных переводчиков. Нет, Мухтар Ауэзов, авторизуя перевод, заверял своих читателей, что в любом аспекте перевода, будь то передача сложного ритмического строя предложения, колорита и красок языка или богатой гаммы чувств и мыслей,— во всем переводчик неукоснительно придерживался оригинала, не позволяя себе вольного, или, как это... «властного»,

с ним обращения. Без одобрения, без согласия автора в тексте перевода не может быть сделано ничего. Это и есть, по-моему, единственное разумное понимание авторизации. Авторизация — не нудная слежка и не поминутное одергивание переводчика, она, напротив, обоюдно необходимая и нужная совместная работа автора с переводчиком. Со стороны автора она сводится к терпеливому, деликатному и все же настойчивому посвящению переводчика в таинство неведомой и чужой ему жизни и стиля произведения. Со стороны переводчика — к стремлению понять автора...

Я рад, что Е. Сергеев все-таки не отрицает, что у нас теперь большинство национальных писателей владеют двумя, а то и тремя языками, что они в состоянии контролировать переводы своих произведений и судить об их качестве. Мало того, нередки случаи, когда они выправляют перевод. Ничего удивительного: русский язык прочно вошел в наш обиход. Благодаря ему мы все приобщаемся к всемирной культуре, мы живем в государстве, где русский язык стал языком межнационального общения, для нас он стал вторым родным языком, и мы настолько с ним сжились, что уже как-то даже наловчились сами, без переводчиков писать статьи для московских журналов и газет. И еще вроде бы мы тоже наделены от природы писательским слухом и пониманием. Так скажите, неужели же нам не дано уловить, где переводчик попал в лад с тобою, угадал скрытую суть или нерв твоего переживания, выражений в музыке слова, а где сбился? А поскольку переводчик, языка не знающий, не в состоянии постичь все особенности стиля переводимого автора, то активное вмешательство автора в перевод на всех стадиях его работы совершенно необходимо. Каждый уважающий себя писатель должен знать, кому он доверяет судьбу своего произведения, следует самому подбирать переводчика из числа близких себе по духу писателей. Общность духа рождает общность стиля и интонации. Если ты сумел найти близкого тебе писателя, то, уверяю вас, как бы ни стремился русский собрат перетянуть тебя в свою стилевую стихию, однако ты сумеешь отстоять свой собственный почерк от каких-либо посягательств.

Конечно, не будем закрывать глаза на четкий и ясный водораздел: в любой национальной литературе существуют наряду с подлинной литературой и поделки.

Есть переводчики, которые всю жизнь имеют дело с халтурой и всю свою жизнь стремятся из нее сляпать что-то. Можно им сочувствовать, но понять их — нет. Одно ясно: проявив «властный» метод переводчиков, с усердием «обрабатывая», «дописывая», «доделывая», «доводя» откровенно никчемные подстрочники, мы пускаем пыль в глаза, мы творим зло. Так неужели же не лучше заняться переводчикам настоящим делом — переводить сто́ящую литературу, а не вышивать сомнительные узоры по недостойной канве?

Перевод никогда не был легким делом. Он всегда требовал вдохновения и самопожертвования. Перевод — это смертельный поединок, в результате которого терпит окончательное поражение или тот, кто переводит, или тот, кого переводят, говорил некогда Август Шлегель. Прав немецкий переводчик Шекспира в первом случае, когда он сравнивает процесс художественного перевода с творческим поединком, но, думаю, не прав он в своем скептическом выводе. В своем единоборстве переводчик должен стремиться к тому, чтобы выиграли обе стороны — и автор, и переводчик, то есть и оригинал, и перевод.

Тогда выиграет и третья сторона — читатель.

ИСТОКИ ДРУЖБЫ

Истоки нашей дружбы своими корнями уходят в далекое прошлое. Еще в те времена передовые люди русской интеллигенции проложили первые тропинки дружбы в нашу степь.

Начиная со ссыльного петрашевца Достоевского до ссыльных марксистов в разное время, в разных обстоятельствах, пусть даже скорбных, из России беспрерывно приходили к нам в степь больные, обессилевшие люди в кандалах.

Человеческий гуманизм доходчив и быстро находит отклик в сердцах людей. Наши предки не чуждались этих людей в кандалах. Простые казахи-скотоводы Приаралья называли Шевченко «акын таразы» — «поэт справедливости», очевидно, за его человеколюбие и высокий гуманизм. И мне, родившемуся на берегу Аральского моря, сейчас особенно приятно вспоминать об этом. Маленький островок, где томился долгие годы невольник-поэт, остался в памяти народа. Там каждый камень и каждый утес и поныне напоминают нам оди-

нокого узника, властелина скорбных дум, загнанного «всей России притеснителем».

С тех пор прошла длинная вереница годов. За это время сменилось не одно поколение на нашей земле. Но дружбу с поэтом у нас никто не забыл. Имя поэта стало символом взаимной любви двух народов.

Каким бы тяжелым ни был удел колониальной жизни, присоединение Казахстана к России было объективно прогрессивным явлением и для казахского народа, и для самой России. По существу, с момента насильственного переселения украинских и русских крестьян в Казахстан началось братание простых людей, зародилась подлинная дружба казаха-скотовода с русским землепашцем. И потом в дни революции наши народы плечом к плечу пошли на царя, на Керенского, на Колчака. Как видите, небольшая тропинка дружбы, проложенная когда-то великими сынами России в нашу степь, ныне превратилась в большую дорогу вечной дружбы между нашими народами. Особенно тесно сливались судьбы наших народов в грозные годы Великой Отечественной войны. В этой священной войне народов за советскую землю немало было пролито крови лучших сыновей казахского народа. Ровно четверть века назад знаменитая 28-я гвардейская дивизия, сформированная в Казахстане, насмерть стояла под Москвой.

Северный и Центральный Казахстан издревле носили красивое название — «Сарыарка», что означает «золотистая степь». Я не берусь судить, насколько раньше оправдывало себя это поэтическое название. Но одно несомненно: пустынная и полупустынная полоса на севере Казахстана отныне и навеки стала действительно золотой. Признаться, в этом немалая заслуга русских сыновей и дочерей. Как видите, во все времена, когда требовалась мобилизация сил, когда требовались коллективные усилия народов, мы с вами оказывались всегда рядом, бок о бок. Неподдельная дружба наших народов выдержала суровые испытания временем.

Казалось бы, нечего нам теперь взаимно напоминать о нашей исконной дружбе. Тем не менее мы часто употребляем слово «дружба». Говорим мы о дружбе в своих докладах, выступлениях и даже в беседе за семейным столом. Между тем мы знаем, что в истории человечества было столько завидно поучительных примеров, когда великие люди дружили всю жизнь, ни разу не упоминая об этом. Разве нам, потомкам Лени-

на и Горького, не известна благородная дружба этих двух великих людей? Прошу только не делать из этого моего рассуждения поспешные выводы, что якобы я сторонник какой-то безмолвной и немой дружбы. Нет! Я понимаю, что дружба народов не тайное свидание молодых влюбленных, а высшее проявление человеческого гуманизма. Мы гордимся спаянным единством наших народов. Мы должны беречь наше единство как зеницу ока. И меня только коробит, когда я вижу, как вольно иногда мы обращаемся с этим словом, как с какой-то своей будничной личной вещью.

Мне кажется, зачастую мы говорим о дружбе по инерции, по привычке, не вдаваясь в полной мере в сущность этого священного акта.

Писатели раньше воспевали только свой народ, свою родную землю. Сейчас между национальностями нет прежнего недоверия, отчужденности, вражды, внушаемой религиозными предрассудками.

По-моему, писателю сейчас просто неудобно замыкаться в своей скорлупе, сдерживать себя и ограничиваться рамками психологии только своего народа. Необходимо сейчас как можно шире раздвинуть горизонты темы. Правда, это нелегко. Чтобы, например, написать писателю о казахе или узбеке, недостаточно съездить к нему, побывать в гостях в его доме. Для этого надо вникнуть в душу народа с другим укладом жизни, характером, миропониманием и, наконец, психикой. Самое главное, надо любить этот народ не ради приличия, такта, а проникновенно, искренне, понимая и глубоко разбираясь в его многовековой истории, культуре, быте, этнографии, словом, так, как превосходно сделали это Алекторов, Милеранский, Радлов, Потанин, Даль, Затаевич. Они не были просто любителями или ревнителями, они посвятили себя, всю свою прекрасную жизнь культуре казахского народа. Наш народ помнит их благородный, гуманный и человечный поступок.

Благодаря только одному Затаевичу богатое музыкальное наследие казахов вдруг ожило, приободрилось и приобрело просвещенную и интеллектуальную аудиторию Москвы, Ленинграда и Парижа. Благодаря Затаевичу, его двум уникальным сборникам песен и кюев казахского народа, наша музыкальная культура перешагнула границы многих стран мира, в первую очередь Европы, и вызвала восхищение даже таких строгих знатоков, как Ромен Роллан и Максим Горький.

Имя Затаевича дорого нам, нашему народу, ибо он совершил прекрасный подвиг во имя гуманизма. Наш народ в долгу перед памятью этого чудесного человека. И если мы издаем, переиздаем его творческое наследие, то это не только дань уважения, признательности, а доказательство нашей беспредельной любви к нему.

Он не история, не прошлое, а настоящее нашей дружбы. То, что совершил он, совершается у нас каждодневно, с той же отдачей сил, таланта, с той же любовью, с тем же уважением.

К ГЛАВНОМУ ПЕРЕВАЛУ

Помнится, лет тринадцать назад в казахскую литературу пришла вдруг довольно большая группа начинающих писателей. Робко входили они в редакцию единственного тогда в республике литературного журнала «Жулдыз», но вскоре, освоившись, почувствовали себя в редакции как в родном доме. Одни приходили со стихами, другие — с первым рассказом, а третьи — с критической статьей. Все они как один были начитанные, эрудированные, и была еще в них свойственная молодости самоуверенность и задиристость! Постоянно оживленные, они со всеми охотно вступали в споры о тенденциях и состоянии развития родной литературы.

Новое редко кого оставляет равнодушным. Оно всегда волнует. Писательская общественность стала приглядываться к этим молодым людям с любопытством и надеждой. Хотелось как можно быстрее понять их, хотелось предугадать, какими они станут завтра. Кто придет на смену писателям старшего поколения, кто подхватит карандаш, выпавший из ослабевших рук *в роковой час,* — вопрос во все века не праздный. Собственно говоря, судьба литературы всегда зависела от него, от «племени младого, незнакомого».

Среди этих задорных молодых людей тех лет выделялся высокий, худой, смуглый юноша, только что окончивший университет. Он был как-то не по возрасту степенен, в движениях неторопliв, на слова скуп. Был он родом с далекого Мангышлакского полуострова, еще в недавнее время считавшегося отсталой окраиной безбрежной казахской земли. Несмотря на это, он и

тогда отличался всесторонними глубокими знаниями. В нем не было застенчивости и робости, свойственной аульному юноше,— наоборот, он держался перед любой аудиторией раскованно, свободно. Это завидное, редкое качество бывает у тех молодых людей, которые верят в собственные силы и потенциальные способности.

Прошли годы. И далеко не все из его сверстников, шумно заявивших о себе вначале, закрепились в литературе. К сожалению, многие так и остались авторами одного стихотворения, одного рассказа, одной лишь статьи. Нечто похожее случается с малолетними скакунами. На короткие расстояния, влекомые неистовым порывом, под одобрительный гул восторженной толпы они с ходу бросаются в карьер и до первого круга держатся вместе, бок о бок, стремя в стремя; только потом, когда скачка, разгораясь, набирает темп, многие из них безнадежно отстают, а другие и вовсе плетутся где-то в хвосте, и только настоящие скакуны вырываются вперед. Лишь немногие из его сверстников тех лет успешно трудятся ныне в казахской литературе. Было бы неуместно выделять кого-нибудь из них, отдавать кому-либо предпочтение. Все они работают в настоящее время честно и упорно, вкладывая в каждое произведение всего себя. Но по складу характера, по манере письма, по тематике и темпераменту они — писатели разные. Каждый из них значителен и оригинален в своей теме. Но поскольку я пишу предисловие к книге Абиша Кекильбаева, долг обязывает меня говорить только об этом писателе.

Литературная судьба Кекильбаева сложилась довольно удачно. Он, бесспорно, талантлив. И мне легко и приятно писать о нем, о прозаике, за творчеством которого слежу вот уже столько лет.

Кекильбаев начал как поэт. Уже первый небольшой сборник его стихов говорил о том, что в казахскую литературу пришел молодой талант с самобытным поэтическим голосом, своеобразной манерой и определенной социальной тематикой. Однако очень скоро Кекильбаев перестал писать стихи и начал работать сразу в двух жанрах: прозе и критике. Его глубоко аргументированные критические статьи, посвященные вопросам традиции, новаторства и идейно-художественных поисков в современной казахской литературе, были встречены с живым интересом. В последующие годы, кроме сборника литературно-критических работ, Абиш Кекильбаев

выпустил еще три книги рассказов и повестей: «Клочок тучи», «Степные баллады», «Горсть земли». Теперь читатель окончательно убедился в том, что его первоначальное мнение о Кекильбаеве, как о поэте, было несколько поспешным. В самом деле, при повторном чтении первого сборника его стихов люди теперь без особого труда стали отмечать про себя основные черты и свойства художественной натуры Кекильбаева: присущую ему не столько мгновенную поэтическую вспышку, быструю смену чувств, легкую возбудимость, сколько склонность к размеренному эпическому началу и философскому размышлению. Даже в тех его стихотворных строках, зачастую разрушавших традиционные каноны, смутно ощущалась неведомая сила, которая настойчиво рвалась на более широкий свободный простор.

Да, Кекильбаев — прежде всего писатель мыслящий. Даже в те годы, когда он еще ходил в красной ситцевой рубахе студенческих лет, приятно удивляли многих из нас его всегда аргументированные, меткие суждения о литературе, жизни, которые он неизменно излагал образно, с истинно восточным красноречием. Вообще у него богатый язык. Правда, порой по неопытности он оказывался не в состоянии совладать с этим напором языковой стихии, и тогда начиналось упоение буйством красок, непомерное любование словом в ущерб точности и ясности иной картины или мысли.

Кекильбаев еще молод. Для всесоюзного читателя он в какой-то мере начинающий, ибо до этого сборника два года назад на русском языке была опубликована его повесть «Баллада забытых лет» в переводе Кардина, в популярном ныне журнале «Дружба народов». Хотя эта небольшая повесть и удостоилась внимания некоторых критиков и упоминалась в статьях, однако для широкого читателя она осталась незамеченной. Теперь «Баллада забытых лет» с тремя другими повестями составляет настоящий сборник, и молодой казахский писатель, таким образом, получает отличный шанс предстать перед самым взыскательным всесоюзным читателем со своей *первой* книгой. Чтобы она имела успех, необходим, помимо талантливого оригинала, хороший, качественный перевод. По-моему, Абишу Кекильбаеву повезло. Переводчики Валентина Панкина, Василий Белов и Герольд Бельгер бережно сохранили и воссоздали на русском языке все оттенки,

все тонкости, нюансы, что составляют индивидуальные особенности стиля молодого казахского прозаика.

В чем же заключается своеобразие писателя Кекильбаева? Последние два его сборника рассказов и повестей посвящены исторической теме. Автора привлекает седая древность. В основе его повестей лежит малоизвестный и почти не изученный исторический факт, густо замешенный на «преданьях старины глубокой», поэтических легендах, многие века бережно передающихся из поколения в поколение. Пытливая мысль и острое воображение писателя глубоко проникают в толщу веков, точно прожектором выхватывая и высвечивая из далеких далей историю наших предков. Стремясь показать как можно крупнее человеческие судьбы, столкновения характеров и страстей, Кекильбаев счастливо минует в своих исторических повестях мелкие бытовые подробности описываемой эпохи, не увлекается бескрылым изображением этнографических и всевозможных экзотических обычаев и обрядов. Замысел его исторических повестей полностью подчинен сквозной большой социальной идее. Не скрою, творческие искания молодого писателя мне глубоко симпатичны. Он не щеголяет в своих произведениях славными историческими именами. Он далек от несерьезной тенденции приукрасить или, наоборот, принизить прошлое народа. Когда я читаю эти повести, их автор напоминает мне все видящего, все слышащего мудрого сказителя. Склонность к исповедальному, углубленно-психологическому анализу делает его повести особенно искренними и правдивыми. Искать истоки жизнестойкости вековой народной мудрости в его социальном и философском проявлении, находить некую взаимосвязь между теми истоками и нравственными, духовными поисками современности — вот, на мой взгляд, основная задача всякого художника, пишущего на историческую тему, и именно эти мотивы наиболее ярко и широко выражены в творчестве выдающихся представителей литературы XX века японца Акутагавы, француза Камю и русского Платонова. Их примеру успешно последовал молодой казахский прозаик, сумев богатый нравственный опыт своего народа, несколько веков находившегося на отшибе мировой цивилизации, переосмыслить с высоты духовных завоеваний нового времени. Кекильбаев не увлекается лишь позитивными моментами родной истории — он не оставляет без внимания и ее не-

гативные стороны. В материалах истории он прежде всего ищет нравственные уроки прошлого. Нравственные поиски предков — вот что составляет основную тему его исторических повестей.

Итак, Абиш Кекильбаев написал своеобразный цикл исторических баллад, построенных главным образом на материале легенд, притч и народных сказаний. И это явилось как бы первым этапом его творческого пути. Он, по существу, успешно преодолел первый перевал.

На мой взгляд, он уже сложившийся, возмужавший писатель, который должен теперь идти ко второму, главному перевалу своего художественного дарования.

Можно не сомневаться, что он придет к удаче на этом многотрудном, сложном, но почетном пути.

СУДЬБА РОМАНА — СУДЬБА НАРОДА

Удивительная вещь — человеческая память. Она напоминает старушку: болтлива она, но не надоедлива. Ее не надо вызывать, как духа, заклинаниями, она не требует усилия и напряжения ума, и эта старушка память всегда рядом с тобой, живет душа в душу, готова поделиться с тобой, услужливо напомнить об ушедшем, далеком, давно забытом.

Вот и сейчас, когда я сел за стол, взял бумагу и карандаш, намереваясь ответить на вопросы уважаемого журнала, как всегда, старушка память подкралась незаметно и, опережая медленный ход мысли, стала вдруг нашептывать мне, напоминая опять о далеком, о прошлом, о нашем ауле и об одном коне-феномене удивительной судьбы.

Да-а, в самом деле, удивительная была судьба у этого коня! И я, охваченный неожиданным приливом противоречивых чувств — умиления и жалости,— в одно мгновение все вспомнил. Вспомнил и то, как мы, тогда босоногие мальчишки, издевались над этим бедным животным. Перебирая подробности наших проказ, я потом вспомнил не без горечи и сожаления, как забавы ради, бывало, мы били его чем попало, отгоняя

от дома, когда он в жаркие дни, гонимый роем мух и слепней, искал тени у какого-нибудь жилища. Или, случалось, резвясь и озоруя, садились на него гурьбой, злясь каждый раз на его дремлющий, мирный норов и понукая, пиная, как можно больнее, пятками.

С тех пор много воды утекло. Многое изменилось в этом переменчивом мире. Но — что странно — когда сейчас сквозь пелену далекой дали стараешься оживить прошлое, тот вороной конь почему-то напоминает мне тихого, забитого человека, умевшего терпеливо сносить все издевки судьбы без обиды и злобы. Я помню, в те годы этому коню в нашем ауле давали самые унизительные прозвища, называя его то вислобрюхим вороным или, того хуже, «койши кара» — «чабанской клячей». В те годы эта кляча соответствовала любой срамной кличке. Она намного позже удостоилась громкой чести и славы. Стали называть ее не иначе как «Вороным досточтимого Алия». А став вороным досточтимого Алия, этот конь для всех жителей прибрежья вдруг сделался священным животным. И отношение людей к нему стало иным. Одни на вороного смотрели с восхищением. Другие — с удивлением, не зная, верить или не верить неожиданно, в одночасье происшедшему чуду с этой клячей. А третьи смотрели с затаенной завистью.

Но об этом потом. А тогда, когда он еще был чабанской клячей, — у всех без исключения вызывал пренебрежение. И вот однажды на наш аул напали конокрады. Их было трое. Видно, опытные были и смелые. Чтобы не выдать себя, повязали лица белыми платками до самых глаз. И среди бела дня угнали косяк коней недавно организованного колхоза. Дерзкий набег обнаглевших конокрадов озлил народ, и самых храбрых джигитов душили злоба и ярость. Не осталось ни одной лошаденки в ауле, чтобы пуститься в погоню. Только вислоухий вороной лениво пощипывал траву, подремывал возле пасущихся малолеток-верблюжат.

Я помню, как один верзила — рыбак, находившийся среди подавленных людей, сделал вдруг решительный шаг в сторону вороного. Его угрюмое рябое лицо, маленькие змеиные глаза и спрятанный в длинный рукав доир запомнились мне на всю жизнь. Его в нашем ауле побаивались. Когда-то он сам был конокрадом. Позже, работая над романом «Кровь и пот», я взял его прототипом конокрада Калена и старался как можно

точнее передать сохранившиеся от тех лет детские впечатления об этом незаурядном человеке.

В то мгновение, когда рябой рыбак спешно оседлал вислобрюхого вороного, он, конечно, был далек от мысли настичь конокрадов. Как опытный следопыт, он только намеревался немного проехаться и определить направление угнанных лошадей. Однако не привыкшая к скачке чабанская кляча, как ни пинал и ни бил ее в злобе седок, не ускоряла бег, шла все время трудным собачьим скоком, тяжко вздыхая, екала, роняя кругляшки. Одолели овечий угон, перевалили черный бугор за аулом, и рябой рыбак с удовлетворением заметил, что кляча подобрала брюхо, за ушами ее выступил пот и наладился ее бег. И встречный ветер, веселя душу, резче стал бить в лицо. И конь — вот диво! — войдя в неведомый ему прежде азарт, вдруг стрелой вытянулся в скачке, упрямо прижал уши, по-лебединому вытянул шею. У рябого радостно забилось сердце.

Кляча давно уже шла наметом, и вскоре рябой увидел впереди клубок пыли. Конокрады погнали косяк вперед, попридержали разгоряченных лошадей и спокойно поджидали одинокого преследователя. Но рябой был не из робкого десятка. Вспомнив былую удаль, он ловко увернулся от нападения конокрадов, когда те трое с ходу одновременно хотели ошеломить смельчака, взяв в окружение. Рябой, заманивая их все дальше и дальше, уходил в степь, по одному сбивал настигавших с седел своим испытанным коротким и убойным ударом.

Все еще и сейчас вижу, как пригнал он косяк в аул. Воспрянули духом только что убитые горем люди. Как всегда при удаче, тут же нашелся хозяин вороного. Где-то отыскали серебром отделанную сбрую. А как преобразился сам вороной! Я уверен: восторги и радости ликующих людей передались и вороному и не менее их взволновали его. Кто знает, может, разгоряченный недавней скачкой конь смутно испытывал неведомую доселе торжественную радость. Лоснилась потом покрытая шерсть. Он горячился, пофыркивал на привязи, зверем косил пылающими глазами и возбужденно перебирал ногами. Быть может, мудрый инстинкт подсказывал ему, что с этого часа ожидает его другая жизнь. Он наверняка чувствовал, что отныне не будет плестись за овцами в сонной степи, что удел его, предначертанный судьбой, — быть великим скакуном. И он стал им.

И во всех скачках — больших и малых — неизменно приходил первым, неизменно завоевывал первые призы. Таким образом, со вчерашним чабанским одром произошло чудо, отныне и навсегда он стал легендарный судьбой,— быть великим скакуном. И он стал им. «Вороным досточтимого Алия».

Итак, прежде чем открыть в себе редчайший дар природы, вороному так же, как нашему народу, пришлось пройти через неимоверные страдания и муки, долгое время влача жалкое существование чабанской клячи. Но, познав однажды великую радость призвания, он обрел высокое и прекрасное сознание собственного достоинства. Познание в себе неведомого ранее нового вдохновенного источника силы, скажем прямо, силы не для серого, нудного и буднично-однообразного труда клячи, а для священного порыва расковавшейся вдруг души, определяемого на языке искусства словом «творчество», вдохновляло Вороного на свершение изо дня в день великих подвигов.

Признаться, я уже испытываю некоторую неловкость: вместо делового разговора о существенной стороне современного литературного процесса, я, видимо, злоупотребляю вниманием терпеливого читателя, пространно рассказывая о судьбе некоего Вороного. Однако представляется мне, что проблема, поднятая журналом «Вопросы литературы», в чем-то явственно перекликается с той прекрасной историей Вороного, о которой я только что поведал. В самом деле, стоит нам, проявив терпение, немного вникнуть в суть дела, чтобы увидеть, как в основе двух судеб — вороного коня и нашего народа — лежит нечто роднящее, нечто общее и значительное. Лежит простая, но великая правда. Капризная судьба долгое время не благоволила ни к талантливому народу, ни к легконогому скакуну. Так уж получилось, что на долю славного коня выпала изначально жалкая участь клячи, которая так долго, понуро, изо дня в день, из года в год тенью брела за отарой овец. Так уже получилось, что долгие века все помыслы кочевого народа кружились вокруг бесчисленных родовых тяжб и дрязг. Хуже того, экстенсивный метод отсталого хозяйства изнурял народ, подтачивал, истощал силы, что, конечно, в свою очередь обручем сковало его духовные силы. Душевные порывы наших предков, в сущности, не выходили дальше привычных занятий: выпасов, летовок и зимовок, вследствие чего им пришлось во все времена

оставаться в стороне от больших общечеловеческих проблем и стремлений. Узость интересов, отсталость и ограниченность патриархально-родового общества еще больше обостряли межродовые распри, усугубляя давно наступивший нравственно-духовный кризис. И в течение долгих веков происходившие в мире огромные исторические явления и социальные потрясения прошли как-то мимо нашего народа. К счастью, физическое и духовное насилие не могли убить жизнелюбия и жизнестойкости нашего народа, и он в многовековом своем стремлении к творчеству душевно не был надломлен. Затянувшиеся неблагоприятные социальные условия только задерживали это гордое и неумолимое стремление, приносящее подлинную свободу духа, который, как мы позже убедились, все-таки жил, бодрствовал, но как бы остановился, застыл где-то на своей изначально низшей ступени развития.

Тяжка была жизнь народа. Особенно тяжка была судьба его искусства. Однако вопреки всему это искусство в течение долгих веков подспудно, но упорно и настойчиво оттачивало свое высокое призвание. Поразительный расцвет его все назревал. Искусство народа жило внутри, своей невидимой жизнью, зрело под сердцем народа, откладывалось по крупице, по зернышку, накапливая все самое лучшее и ценное, что имелось в самом народе, тем самым набирая и наращивая огромные силы для мощного духовного взрыва в будущем. Наш народ, как тот вороной конь, терпеливо ждал своего звездного часа. Для Вороного этот звездный час наступил в самый критический момент — великий природный дар скакуна проявился в нем тогда, когда надо было во что бы то ни стало настичь и наказать обидчиков народа. А для нашего народа, особенно для взрыва и взлета его потенциальной духовной мощи, безусловно, послужила зарядом раскрепощающая сила Великого Октября.

Должно быть, в жизни как отдельной личности, так и общества в целом случаются такие часы высвобождения веками накопившейся энергии. И тогда-то, видимо, появляется у людей ненасытная жажда взять от жизни все необходимое и неуемная потребность отдать всего себя до капли. Такая жажда к жизни и такая страстная, доходящая до самопожертвования щедрость души пришли к нашему народу вместе со свободой. Благодаря ей вчерашний кочевой народ, еще отягощенный обы-

чаями, привычками и предрассудками патриархально-родового строя, легко, безболезненно миновав целую общественную формацию, решительно повел свое пестрое кочевье к неведомым горизонтам нового социалистического строительства. Такой крутой поворот истории невольно всколыхнул степь, привел в движение застывшую в ней жизнь. Свобода, став достоянием народа, осознанной необходимостью, пробудила вдруг заглохшие источники его безграничной силы, энергии и многогранных возможностей. И этот расцвет оказал благотворное воздействие прежде всего на искусство народа, в особенности на его литературу. Сейчас, спустя шесть десятилетий, когда мысленно оглядываешься назад, нельзя не поразиться тому, что казахская литература, даже после поистине новаторской поэзии Абая, продолжавшая по-прежнему питаться живительными соками беспредельно богатого устного народного творчества, вошедшего в плоть и кровь кочевников, сумела, однако, очень скоро вырваться из привычных, но уже тесных рамок старой традиции. В ней зародилась неведомая прежде ей проза. Благодаря такому невиданному преобразованию, происходившему на земле казахов, в его социальной глубине родился великий художник. Родилось и его гениальное произведение. В эпопее «Путь Абая» Мухтар Ауэзов сумел впервые в казахской прозе проникновенно и масштабно воссоздать правдивую картину сложного многовекового исторического пути своего народа. Появление на свет многотомной эпопеи не только подняло родную литературу, в особенности ее молодой жанр, на самый высокий уровень современного художественного прогресса, но и определило магистральное направление всего ее дальнейшего развития. Поразителен в ауэзовской эпопее подлинный историзм, раскрывающий и отображающий мир и явления в их многогранном развитии, в их становлении. Отличия зрелой ауэзовской прозы от опыта ее немногочисленных предшественников сразу бросались в глаза. Большой художник показал главного героя своего романа — великого Абая и весь его напряженный духовный мир в органической взаимосвязи со сложным укладом патриархально-родового строя, в единстве с конкретными историческими условиями. Подходя к прошлому и настоящему не с узкоэтнических и узкоэтнографических, а с сугубо интернациональных позиций, он умел находить глубинные связи исторического и ду-

ховного бытия своего народа с человечеством и современностью. И это обеспечило казахскому роману почти на заре его зарождения столь широкое признание всесоюзного и мирового читателя. Он, роман, оказался созвучен диалектике нового национального развития казахов при социализме. Так же созвучен он был повышенному и обостренному вниманию народа к своему прошлому, к его ускоряющейся самоориентации в современном и будущем мире.

Думаю, глубоко и закономерно и то, что казахскому роману, как «Вороному досточтимого Алия», в одночасье ошеломившему всех, выпала великая честь и слава. Несмотря на ощутимое запоздание на старте, он уверенно наверстал упущенное, внося ощутимый вклад в умножение достоинств родной и многонациональной советской литературы. По моему глубокому убеждению, после знаменитой ауэзовской эпопеи казахской литературе и в будущем будут сопутствовать самые яркие удачи именно в этом жанре. Это вполне закономерно: наиболее талантливые представители казахской литературы, особенно послевоенное поколение, с большим энтузиазмом и самоотверженностью изучают и перенимают творческий опыт Ауэзова, опыт отечественной и мировой романистики. Смею заметить, что уровень духовного развития любой нации, прежде всего — зрелость ее литературы, чаще всего определялись жанром романа. Как убеждают нас история и опыт литературы разных эпох, вся накопившаяся в течение многих веков безмерная психологическая, нравственная, драматическая и социальная нагрузка в бесконечной борьбе и вечной устремленности человека к познанию и постижению тайн мира под силу только романному жанру, этому, я бы сказал, универсальному рупору истории человечества. Потому молодое поколение казахской литературы воспринимает жанр романа как главный плацдарм для успешного художественного освоения многопластовой, насыщенной историческими событиями современной действительности. Молодые талантливые романисты (к сожалению, их у нас пока мало) пробуют свои силы не только в жанре романа, но — что особенно важно — ведут интенсивные и небезуспешные поиски, упорно и настойчиво стремясь к тому, чтобы возрастающий исследовательский пафос интеллектуализма и социальная направленность романа естественно вырастали из пластической картины эмоционально воспри-

нимаемой действительности. Так, роман способствует гармонизации сложной духовной жизни современника, углублению его гуманистических чувств. Не сомневаюсь в том, что столь серьезные поиски молодых в будущем не однажды увенчаются успехом.

Реальная практика литератур, освобождающихся от векового гнета и бесправия континентов — стран Азии, Африки и Латинской Америки, практика нашей многонациональной советской литературы убеждают в том, что жанр романа на данном этапе отнюдь не переживает ни социального, ни художественного кризиса. Наоборот, как свидетельствует развитие этого жанра во всех развивающихся странах, роман обнаруживает свои неисчерпаемые возможности в осмыслении собственного достоинства и исторической значимости свободных людей и народов, активно вовлеченных в духовный акт созидания. А что касается тех коренных изменений, которые претерпевает на наших глазах сегодняшний роман, то они продиктованы политической и нравственной атмосферой нынешнего мира.

История человечества всегда была историей непримиримой борьбы добра и зла. Но никогда эта борьба не знала столь глобального размаха и ожесточенного накала, как ныне. Человечество, как нам известно, не раз находилось на грани войны, не раз переходило эту грань. Но ныне война чревата всемирной катастрофой. И это придает всем социальным и нравственным поискам сегодняшнего дня особое значение и остроту. Какая же роль принадлежит роману в этих мучительных исканиях современного человечества? Вот о чем следует поразмыслить, когда мы ведем откровенный разговор о романе.

И опять старушка память неназойливо подсказывает мне наше не столь уж давнее прошлое. Извечный размеренный ритм степи укачивал седока на горбах верблюда, настраивая на беспечный лад жизнь неведомых теперешнему поколению наших далеких предков, и сами они тоже не особенно старались ускорять раз и навсегда, казалось бы, заданный темп кочевой жизни, и так же, как их предшественники, ложились рано, вставали поздно. Даже разбойничий набег на близлежащий аул не всегда тревожил соседа. Самая страшная беда и та, случалось, обходила стороной, минуя если не одно, так другое зимовье кочевника. Таким образом, в беспредельной степи в любых критических

ситуациях удавалось кое-кому уцелеть, притаившись в спасительном укрытии какого-нибудь оврага или холмика. Подобные случайные шансы на спасение аула или рода, видимо, немало способствовали тому, что за многие века выработалась особая психология у степняка-скотовода — спокойно-благодушная, созерцательная, с упованием на волю всевышнего. Должно быть, суть этого психологического склада выразилась в речении предков: «Бог смилостивится — и в пожаре камыш уцелеет». Движимые заботой о благополучии лишь своего очага, лишь своего отчего крова, даже самые отважные джигиты в своих крылатых мечтах, порывах души и думах редко выходили за пределы идеалов предков, подобно стреноженному коню, упорно кружась из года в год, из поколения в поколение по старой протоптанной стезе вокруг своего аула, вокруг мелких интересов сородичей, соплеменников, родных и близких, невольно замыкаясь в узком мирке собственного покоя и мнимого благополучия и при этом всегда рассчитывая на случайный шанс, на слепую судьбу, на привычный казахский «тауекел», собрата русского «авось», — словно тот камыш, пусть опаленный, но все же уцелевший во всепожирающем пожаре. Если даже большое горе — война или мор — обрушивалось вдруг на родной край, всполошив всех и вся вокруг, многотерпеливый степняк и тогда искал и находил успокоение, утешая себя извечной дедовской мудростью о якобы безмерной шири под божьими небесами, где при желании всегда можно находить укромный уголок в этом неспокойном мире. И степняк спешно седлал коня, навьючивал скудный свой скарб на горбы верблюдов и отправлялся на поиски спокойной жизни. Так складывалась психология кочевника при старом мире.

А ныне... ныне, в эпоху научно-технической революции, когда расстояния перестали быть помехой для общения, когда народы всего света пришли в движение, все в этом мире вдруг перемешалось, как перемешиваются реки, впадая в море, сливаясь в единый могучий поток. В век космических кораблей и современных реактивных самолетов, опережающих скорость звука, наш земной шар, утратив в понятиях людей прежнюю беспредельность, разве не сузился до величины школьного глобуса?

Итак, научно-техническая революция удесятерила темп жизни. Довела огромный мир до привычных раз-

меров родного очага. Сблизила людей с разных концов планеты. Сблизила их судьбы. Если еще недавно можно было, подобно нашим предкам, ограничиваться думами и заботами о благополучии и покое лишь своего национального очага, то ныне, как убеждает нас сама действительность, сердца людей в разных уголках земного шара, озабоченные глобальным вопросом эпохи, все чаще бьются в унисон, ибо все надежды и тревоги, радости и горести будущего становятся все более общими и неделимыми.

Итак, стремления народов всех континентов сейчас сосредоточились на одной главной жизненной цели, которая настоятельно предполагает дружбу, единство и мир во всем мире. Ни один здравомыслящий человек, если дорога ему жизнь на земле, в наш век, в век опасности ядерной войны, не вправе отгородиться от остального мира глухой стеной, надеясь тепличным способом взлелеять свое крохотное счастье. Ныне, когда опасность такой ужасной войны нависает над миром и всеобщая катастрофа не является больше отвлеченным понятием, неким мифом, современный человек, начиная новый день, не может беспечно радоваться тому, что сегодня он жив, что возле его жилища не рвутся снаряды. При наличии такого смертоносного оружия ни у кого, ни у одного живого существа не будет шансов уцелеть по милости божьей, подобно тому сохранившемуся на пепелище камышу. Всеобщая опасность, стягивая судьбы всех людей в один тугой узел, ставит сейчас перед человечеством во всей его наготе неумолимый вопрос о самом его существовании. И в этой ситуации каждый честный художник, исполненный гражданского долга, обязан стремиться стать, как того требовал Абай, не сыном своего отца, а сыном всего человечества. Только тогда, только в этом случае каждого из нас будут волновать не просто мимолетные увлечения, не сиюминутные страсти, а судьбы человечества во всем его неохватном объеме. И только с этой позиции, с позиции гражданского долга, судьба отдельной личности, взволновавшая нас как писателей, предстанет в неразрывной, диалектической связи с судьбой всех людей под единым небом, и потому за мечтой и стремлением одного человека так живо и явственно будут угадываться мечты и стремления целого человечества. И тогда независимо от того, какую тему избрал художник, он сможет взволнованно поведать о великом порыве,

высоких побуждениях и благородстве души человека. Такова, на мой взгляд, идейно-социальная направленность романа в современном мире.

С тех пор как появился на свет жанр романа, многое в этом мире изменилось, многое претерпело в своем закономерном и естественном развитии качественное обновление. Сколько исторических событий, сменяя друг друга, кануло в небытие! Не говоря уже о многом другом, за это время подверглась немалому изменению сама природа, изменилось и общество, начиная с его социального строя, изменились соответственно взгляды самих людей на окружающий мир, на жизнь, вплоть до взглядов на моду. И это понятно, поскольку стремление к совершенствованию заложено в природе самого человека. Испокон веков у человека были две среды, объективно воздействовавшие на формирование его личности. Это, во-первых, социальный строй и, во-вторых, окружающая природа. Как свои физические, так и умственные усилия и способности человек неустанно направлял на весьма благородные цели и идеалы, и главным образом на преобразование природы и усовершенствование общественного строя. В этой древней мечте человека заложены высокие идеи гуманизма. И все сознательные и подсознательные человеческие поступки подчинены в основном и прежде всего этим двум извечным и основополагающим стремлениям.

Благодаря такому усилию человечества, длившемуся не одно столетие, с момента возникновения жанра романа в материальном мире не осталось, пожалуй, ни одной былинки, которая не претерпела бы изменения. Во все времена люди становятся свидетелями того, как все вокруг нас, порой независимо от людской воли, меняется, обновляется, берется под сомнение, подвергается переоценке и переосмысливанию, и что удивительно — в этой неустанной борьбе, где одно утверждается, другое отрицается, где жизнь и смерть, как свет и тьма, постоянно сменяют друг друга, этот старый и добрый жанр — жанр романа, пережив почти всех своих сверстников, пришедших в мир вместе с ним (кое-кто из них предан забвению на пыльных полках истории), продолжает развиваться и процветать. Нет слов: в жизнестойкость романного жанра много силы и таланта вкладывали и сами романисты. Ни для кого не секрет: современные прогрессивные писатели разных континентов давно уже находятся в поисках новых форм и

новых способов романной выразительности. К их чести, во многих аспектах своего поистине неутомимого поиска они достигли внушительных успехов, которые могут стать ценнейшим вкладом в усовершенствование этого старого литературного жанра. И они в этом благородном увлечении не только достигли определенного успеха, но и начали предопределять как новые пути, так и дальнейшие безграничные возможности в развитии романа будущего. Если попытаться проследить путь романа от его зарождения до нынешней его поры возмужания, то нетрудно заметить, что его судьба на всем протяжении была неотделима от диалектического развития общества и человека.

Мысленно обозревая долгий путь развития романа, мы каждый раз убеждаемся в том, что все великие социальные потрясения и смены общественных формаций, пережитые человечеством с момента сотворения мира, неизменно способствовали формированию не только сознания, не только миропонимания человека в той или иной среде, в тех или иных исторических обстоятельствах, но и непосредственно влияли на становление самого романа, который по праву является мерилом, показателем духовного уровня эпохи. Общественный прогресс, как известно, активно влияя на сферу бытия, властно ведет за собой человеческое сознание к новым высотам и при этом содействует дальнейшему духовному совершенствованию. И потому жанр романа, искони идущий в ногу с общественным прогрессом, и в современную эпоху, знаменующую собой фантастические достижения научно-технической революции, продолжает пребывать в ладу и согласии с небывалым темпом столь бурного и разностороннего развития. И соблюдение полного единства и согласия со всевозрастающими насущными потребностями высокоразвитой эпохи придает современному роману удивительный динамизм и гармонию его внутреннего содержания и внешней формы. В этом, думается мне, заключается гибкость и жизнестойкость данного жанра, которому, как известно, еще в пору его раннего детства судьба предначертала нести на себе огромный морально-этический и духовно-нравственный груз эпохи. Надо отдать должное: жанру романа все было по плечу. И он, и поныне свято следуя предначертаниям своей судьбы, сохраняет жизненную необходимость двуединства самого сложного проявления человеческой души и общественного бытия.

В эти дни, размышляя над вопросами, заданными журналом, я думал между прочим: а ведь дело, друзья, вовсе не в жанре. Уж коли на то пошло, не столь важен литературный жанр, сколько сама литература, ее тенденция, ее развитие, ее идейная направленность.

Теперь все понимают свою святую ответственность перед миром, перед настоящими и будущими поколениями, ибо наступила как никогда ответственная пора, когда человечество в унисон гуманному призыву эпохи должно безраздельно посвящать лучшие свои порывы и стремления сохранению мира на земле. В этом выражается высшее проявление морально-этических свойств современных людей, рожденных новыми социальными условиями нашего общества. Мы помним, как еще со времен титанов русской и мировой литературы XIX века со всей серьезностью ставилась проблема защиты человеческих прав, эмоциональный заряд которой и в наши дни не утратил своего социального и морального значения, а наоборот, становится предметом серьезного разговора эпохи. Я убежден, что гармония научно-технического и нравственного прогресса самым тесным образом связана с ростом ответственности людей за свою жизнь и поступки перед обществом. Сохранить, сберечь по возможности в чистоте и ясности эмоции людей — значит повысить требования к совести, чести человека, противостоять серой и безликой стандартизации и инфляции чувств. По своей природе хрупкое и трепетное человеческое чувство не должно стать жертвой научно-технического прогресса, автоматизации и пресыщенного комфорта. Человек не должен стать сухим, бездушным рационалистом, всюду и во всем преследующим чисто меркантильный интерес и экономический эффект. Наоборот, безбрежные возможности научно-технической революции должны максимально развить и повысить моральную ответственность человека перед обществом.

«КРАЙ, ГДЕ РАДОСТНОЙ ПЕСНИ НЕ СПЕТЬ Я НЕ МОГ...»

I

Представьте себе обычную сутолоку на перроне перед отходом поезда. Только что объявили отправление. И, как по сигналу, катится

вокзалом волна прощальной суеты. Отъезжающие и провожающие торопливо обнимаются, наскоро проговаривают то, что обычно говорится в таких случаях и что, впрочем, не задевает ничьего сознания. Вроде бы простились, вроде бы предостаточно сказали слов в напутствие и даже разжали объятия, но снова кидаются друг к другу. Снова торопливо, невпопад прощаются. Вокруг гомон, суета, кто-то в этой суматохе ищет кого-то, окликает, находит и тут же вновь теряет.

Вон запоздавшие путники с чемоданами, свертками, баулами в руках бегут, не помня себя, запарившиеся, будто из пекла вырвались, ищут свои вагоны. Следует признаться, среди этих незадачливых, ошалело бегущих к своему вагону пассажиров оказался и я. Что поделаешь, таким уж, видно, создал меня бог — всегда и всюду опаздывать. Пот льет с меня градом. Сердце подскочило к самому горлу. Друзья, вызвавшиеся провожать меня, вижу, взвинчены тоже. Кое-кто совсем не по-дружески честит меня. В суматохе не помню даже, как прощался с ними. Еле успел протянуть жене маленькую дочурку, прильнувшую ко мне, и уже на ходу прыгнул в вагон. В спину чье-то сердитое: «А ну его! Вечно вот так». Увы, слышу такое уже не впервые. И, смиренно улыбаясь, иду в свое купе. Поезд набрал скорость, и вот за окнами замелькали привокзальные домишки, будки, тополя.

— Ладно... чего уж там... — буркнул кто-то за спиной. Это мой попутчик. Закадычный мой друг. Писатель. На днях мы с ним надумали съездить к Аральскому морю, к рыбакам. Был у нас еще меж собой уговор — побывать в заповеднике на острове. Накануне отъезда както поделился я своим намерением с одним ревностным почитателем журнала «Вокруг света» и тотчас пожалел об этом. Стоило ему услышать о Барса-Кельмесе, он сразу пришел в ужас. Должно быть, затея наша показалась ему чем-то вроде невероятных приключений древних мореплавателей. «Да вы в уме ли?! Остров кишмя кишит змеями! Там, говорят, даже драконы есть. Года два или три назад была, помнится, статья крупного путешественника-ученого. Он писал, будто на острове на вершине какой-то скалы, нависающей прямо над морем, нашли яйцо птицезавра, которое пролежало там миллионы лет. Нет-нет, ты, пожалуйста, не смейся. Скажем, перед тем, как вылупиться, птенец вдруг уснул летаргическим сном. Понимаешь ли, очень даже возможно...» И сей по-

клонник «Вокруг света» пустился в ученые рассуждения...

С улыбкой вспомнил я тот разговор, устраиваясь на своем месте. Видимо, в любом городе есть записные всезнайки, убежденные в том, что, кроме них, никто ничего ни в одном деле не смыслит и потому святой их долг неустанно просвещать простофиль вроде меня. В их представлении остров Барса-Кельмес не что иное, как случайно уцелевший осколок древности или же, скажем, экзотика Папуасии. Лет пять тому назад довелось мне прочитать любопытную статью в молодежной газете. Видимо, автор статьи принадлежал к той же породе всезнаек, что не обретут успокоения, пока не раздуют самое обыденное до невероятных размеров. «Стоит вам оказаться на Барса-Кельмесе, как непременно навстречу вам выйдет кто-нибудь из островитян и предупредит: «Будьте осторожны, тут много ядовитых змей», — и в самом деле, там змеи подстерегают на каждом шагу».

Остров невелик. Мы пробыли там три дня и, излазив его вдоль и поперек, на третий день только увидели наконец безобидную медянку, которая поспешно уползла в кусты. Что поделаешь, разве любители сенсаций унимались когда-нибудь, покуда не подашь им живых драконов или чудовищных птиц-самуруков.

Повернулся я к другу, желая поделиться своим возмущением. Но, вижу, он уже деловито расположился. Снял костюм, расстегнул ворот рубашки, заложил ногу за ногу, откинулся на подушку и курит. По натуре он добродушен. Порой совсем уж прост и открыт, что называется, душа нараспашку. И тогда напоминает он мне неприбранный дом хозяйки-неряхи, дом, где нет ни запретов, ни секретов — все у всех на виду. Правда, бывает и так: вдруг уйдет в себя, погруженный в невеселую, изнурительную для души думу, и тогда замкнется, угрюмый, мрачнее тучи, замолкает. И лицо его в такие минуты сереет, застывает. На широком лбу его залегают тяжелые, глубокие складки. И сейчас я уже вижу, чувствую, как он внутренне ощетинился, сжался весь. В такие минуты лучше его не трогать: думы его далеки, и не обрадуется он, если вернуть его к действительности.

Так до самого Аральска и не выбрался он из своей глубокой отрешенности. Мне показалось поначалу, что, сгоряча согласившись на эту сомнительную поездку, те-

перь он, похоже, уже сожалеет. Желая развлечь его, я пригласил его в ресторан. Едва открыли дверь, нас сразу обдало запахами кухни. Народу набилось много. Было душно. Вижу, не нравится другу еда ресторанная. «Ничего, потерпи еще немного. Вот приедем в Аральск, тогда уж и наедимся свежей рыбы»,— сказал я, пытаясь развеять его дурное настроение. Однако особого энтузиазма я с его стороны не заметил, лишь кивнул он снисходительно головой, продолжая по-прежнему курить папиросу за папиросой. С соседнего столика кто-то сделал ему замечание, но друг мой оставил его без внимания и как ни в чем не бывало попыхивал, пуская густые клубы дыма.

Проехали Туркестан. Нещадно палило южное солнце, в купе становилось невыносимо от духоты. Окно и дверь, однако, боялись открыть: чуть приоткроешь, тугой, горячий ветер врывается в вагон, обжигает руки, лицо. Дышать уж нечем. Глаза заливает липкий пот. Я изнываю, места себе не нахожу. А спутник мой откинулся на спинку и сидит себе все с тем же сумрачно-отрешенным видом. Между тем вижу, на складках лба и на шее у него тоже поблескивает пот, выходит, и он не меньше меня изнывает от зноя.

— Ничего... впереди ждет нас море. Будем купаться, наслаждаться. Вот увидишь: вода Арала прозрачная, синяя-синяя. А дно чистое, ровное, ни камней, ни ила. Идешь себе по воде, а белый серебряный песок хрустит под ногами...— восторженно начал было я, предвкушая ожидающие нас соблазны, но тут мой товарищ поморщился, и не успел я насторожиться, как он откровенно усмехнулся. Я осекся. Не стал больше гордецу этому несносному рассказывать о прелестях дорогого моему сердцу Арала. Не могу сказать даже, как обидели меня его гримаса и презрительная ухмылка.

Бывают люди, которые всячески скрывают от посторонних глаз свои недостатки. Не знаю, чем это объясняется: щепетильность ли то, излишняя ли стыдливость, самолюбие, быть может, или мнительность, но, как бы там ни было, они болезненно скрывают то, что как правило, давно известно всем. Унылый вид родного края такой человек ощущает, видимо, как свой собственный физический недостаток. И, в душе ничуть не меньше страдая оттого, ты все же склонен всячески скрывать скудость родного края от посторонних глаз. Край этот также дорог тебе и свят, как родная мать.

Он твоя радость, твоя гордость, он и твоя любовь, и потому тебе страстно хочется, чтобы и другие люди не менее тебя самого полюбили эту, пусть невзрачную, голую, опаленную знойными ветрами выжженную степь, чтобы в глазах других она не уступала ничем синим горам Кокче или лугам и озерам Каркара. Доброе слово о твоем крае одобряет, наполняя грудь великой гордостью. Оно дороже и приятнее всех земных наград и похвал. А как же, не на другой какой, а на этой ведь земле ты родился. На нее упала первая капля крови с твоей пуповины и окропила ее. И вырос ты на этой самой земле. Босоногим мальчишкой, вздымая пыль, бегал по ней за ягнятами, не раз сажал здесь себе в ногу занозу... Помнишь, как, бывало, знойным летом приморский песок к полудню накалялся так, что жег тебе ступни, словно уголья из очага, и ты, сморщив рожицу, попеременно поднимал то одну, то другую ногу, остужая таким образом ступни на ветру, а потом точно угорелый снова несся бог весть куда по своим бесконечным мальчишьим делам. Помнишь? Помню. Да, помню! Еще как помню! Пепельно-серый песок веревкой вскручивался, вился из-под ног, оставляя позади отчетливые следы. Среди своих сверстников я отличался широкими ступнями. Потому и прозвали меня «Майтабан бала» — «толстопятым». Дети постарше, дразнясь, спрашивали: «Хочешь, покажем твой след?» И тут же наскребут, бывало, эти черти кучу песка, шлепнут по ней сверху ладонью, и действительно ко всеобщей потехе получаются точные отпечатки моих ног. Помню, обижался я тогда, плакал, а теперь смешно. Лежу вот на верхней полке и блаженно улыбаюсь. Но тут взгляд мой невзначай падает на сумрачного спутника, и безмятежная улыбка тотчас исчезает. Человек, должно быть, с годами становится злопамятен. А в детстве мы были больше честолюбивы. И вообще в детстве мы все бесшабашны, живем без оглядки, сплошь и рядом совершаем опрометчивые поступки. Все как-то недосуг нам предаваться серьезным размышлениям. В молодости все мы чем-то похожи на того озорного мальчишку, что очертя голову скачет на горячем коне. Пустив коня диким наметом, пьянея от воли и собственной удали, разве думаешь о чем-нибудь? Способен ли вообще думать?

Позади осталось детство. И ты уж теперь не беззаботный юнец. Но и не глубокий старик, испытавший

все горести и печали жизни и разучившийся уже изумляться. Ты теперь уже сам себе строгий судья. И тебе как никому другому отлично ведомы собственные изъяны. Да-а, теперь ты сдержан и суров к себе. Порой и к друзьям своим бываешь беспощаден. И все же... там, где заходит речь о родном крае, о достоинствах и недостатках его, от твоей привычной придирчивости не остается и следа. Ослепленный безоглядной своей любовью, ты попросту не видишь, не способен вовсе увидеть хоть малейший изъян в том, что любишь и лелеешь в глубине своего сердца. Для тебя этих изъянов попросту не существует. Обычно унылая земля Приаралья с ее серой полынью и пылью, с ее песком разве не кажется тебе необыкновенной? И разве сам этот раскаленный, как из жаровни, ветер не чудится тебе удивительно нежным и ласковым, будто это любимая девушка шелковым платком невзначай коснулась твоего лица?

Чего уж там... скажите, случалось ли бывать вам в предгорьях Алатау летом? Вот уж где воистину земной рай. Склоны гор до самых снежных вершин покрыты пышной зеленью, могучие ели свечкой устремлены ввысь. А внизу, у подножия, соловьи, одуревшие от счастья, разливаются, не помня себя, и ты сидишь в прохладе тени под сосной, опустив по щиколотку ноги в холодный, хрустально-искристый поток говорливой горной речки, и блаженствуешь. И скажи, только честно, можешь ли ты в такие минуты думать о какой-либо другой земле? Вспоминается ли тебе при этом другой край? Ну, конечно же, да, тысячу раз да! За других не скажу, не знаю, а вот я, где бы ни находился, где бы, в каком сказочном краю ни бывал, я никогда, ни на минуту не забывал свой рыбацкий аул, свое Аральское море, свою приаральскую степь с ее серой полынью и чахлыми кустиками. Клянусь, я нисколько не преувеличиваю! «Да брось ты,— может упрекнуть меня тот же ревностный читатель «Вокруг света»,— вот эту, что ли, унылую и невзрачную пыльную степь?!» — «Да, да,— повторяю я снова, — ее, только ее!» Но сейчас я не стану рассказывать вам о весенней поре моего края. Весна ведь красна везде и всюду. Весною земля расцветает, наряжается и прихорашивается, точно девушка, ждущая встречи с любимым. А вот приходилось ли тебе уже на исходе лета, когда степь уже совсем опаленная, вся поблекшая и убитая, отправиться в путь

верхом на коне? Ты обвязал рот белым платком. Конь, не чувствуя ездока, легко несется по рыжей степи, а ты, как опытный степняк, отыскав глазами какую-то точку вдали, вглядываешься в нее. Долго, бесконечно долго мчишься ты ей навстречу. Быть может, половину пути осилил, но ты уже устал, совсем вымотался, обессилел от жары. И в это самое время вдруг неожиданно оказываешься перед глубоким оврагом, пусть это будет хотя бы Укули-сай или, быть может, Торангул-сай. Здешних трав не коснулось палящее июльское солнце. Рослая, по пояс полынь плотной стеной вымахала вдоль оврага, задыхаясь от собственной густоты. Воздух пропитан ее терпким запахом, бьет в ноздри, дурманит голову. Конь под тобою нетерпеливо и радостно всхрапывает. А ну, натяни поводья, переходи на шаг, а как доберешься до середины оврага, останови коня, спешься и оглянись вокруг, позабудь о всякой экзотике. И повремени, подожди немного, заляг, заройся весь, от макушки до пят в эти пьянящие прохладные заросли полыни, всей грудью вольно и радостно вдохни свежий овражий дух, настоянный на душистом разнотравье, и тут, уверяю, не нужны тебе будут никакие горные речушки, ни луга, ни даже сыростью отдающая тень вечнозеленых елей у подножия Заилийского Алатау. Через несколько минут ты позабудешь о всякой усталости, бодрый и свежий, будто заново родился, вскакиваешь, чувствуя легкость во всем теле. И тут тебе непременно захочется петь! Да, если уж петь, так чтобы во весь голос. На всю эту беспредельную степь... Я помню, помню, что ты не пропускаешь ни одного номера «Вокруг света», но, скажи, случалось ли тебе когда-либо петь в степи? Кругом нет никого, ни одной живой души, ты один в огромном пустынном мире. Известен ли тебе удивительный закон, по которому даже безголосый человек в степи становится вдохновенным певцом? Я знаю, ты опять скажешь: «Да брось... Все это чепуха, чушь... А вот, скажем, лет десять тому назад в одном номере «Вокруг света»...» Ладно! Хватит! Нам не понять друг друга. Очевидно, мы с тобой поем разные песни.

Увы, такое же случается и в пути, в поезде. Вот стоял я сейчас у окна вагона, с замиранием сердца смотрел на лик родной земли, столь знакомый каждой своей складкой, и так и подмывало поделиться своей радостью, своей гордостью с кем-нибудь, и тут-то вдруг услышал за спиной чье-то небрежное, снисходительно-

изумленное: «Господи, да как тут люди живут?! Ни деревьев, ни кустика вокруг. А печет, печет-то как...»

Будто обухом по голове хватили. В одно мгновение вспыхнули в душе и гнев, и протест. Да как у них только язык поворачивается говорить такое, не побывав здесь и дня, не встретившись ни с одним жителем этих мест? Да что они, собственно, знают об этом крае? Что могут они увидеть из окна проносящегося мимо всех и всего поезда?

Человек иногда преувеличивает невольно. И зачастую не оттого вовсе, что склонен присочинять, нет, просто от избытка чувств, от настроения, от чрезмерной доброты и любви к кровному, близкому, к чему просто не можешь быть равнодушным. Несколько лет тому назад перед отъездом в Аральск я забежал проведать тяжелобольного писателя Мукана Иманжанова — человек строгих правил, всю жизнь неукоснительно соблюдавший диету, был он при этом большим любителем рыбы.

— Едешь, значит? — спросил он.

— Да, Мукан, еду...

— Завидую. Значит, вдоволь поешь там свежей рыбы?

— Да уж, чего-чего, а рыбы там будет предостаточно.

— Скажи-ка... а сазаны у вас там бывают?

— Да какие еще! Где еще быть сазану-то, как не у нас?!

— Арал, должно быть, славное море. А вот скажи, самый большой сазан у вас какой бывает?

— Самый боль-шой? — я на мгновение запнулся. Покойный Мукан был строг и резок, не терпел преувеличений и требовал от всех предельной точности. Зная эту его черту, я старался быть как можно сдержанней и достоверней в своем ответе. Я оглянулся вокруг: с чем бы сравнить, чтоб нагляднее было. На кухне за столом сидели два мальчика, сыновья Мукана. Старший, десятилетний, был похож на отца, тонкий и высокий. При виде его я обрадовался:

— На Арале бывают сазаны с вашего Максута.

На изнуренном долгой и тяжелой болезнью лице Мукана мелькнула слабая улыбка.

— Ну, дорогой... это уж ты явно загнул.

Вдруг мне и самому показалось, что я загнул. Оправившись от смущения, я кивком головы показал на меньшего, смуглолицего, коренастого мальчика.

— Ну, если не как Максут, то уж, во всяком случае, как ваш Рустем, сазаны у нас наверняка есть.

Улыбка на лице Мукана стала заметней.

— Может, дорогой, еще немного поубавишь?

— Нет, нет, тут уж я не уступлю,— заупрямился я. И правильно сделал. В этом убедился, когда приехал на родной Арал. Особенно когда увидел, как рыбаки выбирали из сетей желтобрюхих, мордастых сазанов не только с Максута или Рустема, а таких, что и со взрослого человека, пожалуй, будут. Тут я понял, что напрасно тогда смущался. Но собственными глазами не увидевши, разве поверишь чему? Уверяю вас, осетры весом более центнера не такая уж редкость в нашем славном море. На специальные крючки, бывало, попадались такие чудища-сомы, что, положишь такого поперек верблюда, с одной стороны будет по земле волочиться хвост, с другой — голова. Что и говорить, море наше рыбой богато необычайно. Рыболовство, так же как и охота, имеет свои радости да и заботы тоже. Весной под скалистым берегом Изенды начинается сезон рыбы-шемая[1]. Путина эта коротка, как пора цветения тюльпанов. Огромная, как зáмок, и такая же мрачная скала высится в середине моря. Ее называют Шулыган — Ревущая. Какое, однако, меткое и точное название! Даже в царстве полного штиля, когда могучее море во всю свою ширь блаженно замирает, залитое лучами солнца, и тогда вокруг этой скалы, дерзко, как вызов, возвышающейся посередине моря, ревут и пенятся, разбиваясь с грохотом об нее, волны. Весной к скале Шулыган собирается на свой великий праздник — праздник продолжения рода — царская рыба, шемая. И тогда со всех уголков моря стекаются сюда и рыбаки. Более месяца царит у скалы Шулыган небывалое, под стать празднику веселье: путина сливается с людской радостью. Поют артисты, состязаются акыны, кино сменяют концерты — весь Шулыган превращается в это время в красочное, многолюдное действо. Улов за один лишь месяц достигал таких масштабов, что в иные годы рыбозаводы и комбинаты не успевали его перерабатывать, и тогда от этих мест долго несло тухлой рыбой. Лучше все это хоть раз увидеть, чем сотни раз слышать. Мы тоже, сойдя с поезда, пересели на катер и поплыли первым делом к восточному берегу моря. Было

[1] Шемая (по-персидски «шах мая») — рыба царей.

у нас намерение посетить Бугун, Кара-Шалан, Кара-Терен — места, наиболее густо населенные. В этих местах Сырдарья впадает в море, и потому здесь изобилие пресной воды. Жители этих мест не только промышляли рыбой, а занимались и овцеводством, развивали бахчи, осенью буквально заваливали близлежащие города, станции, разъезды и аулы арбузами, дынями. Несколько лет тому назад, помню, приехав в Бугун, я был поражен арбузом-рекордсменом: он весил почти полцентнера. Будучи студентом в Москве, я не раз ходил в казахский павильон на Выставке, и там чаще всего можно было увидеть какие-то полузеленые арбузы, так, с головку ребенка. Да, искусству подавать товар лицом мы не обучены.

— Что там, впереди... вон те горы?

— А-а... Это и есть Уш-Шокы.

— Как?!

— Три бугра. Видишь, какое скромное название.

— Ничего себе, бугры. Это же настоящие горы с тремя пиками-пирамидами! — воскликнул мой спутник, словно недовольный излишней трезвостью наших предков. Но, немного подумав, добавил: — Рыбаки, видно, народ сдержанный...

— Приедешь — увидишь...

— Да-а, увижу.

Утром море рябило, но чуть погодя ветерок с моря спал, потом совсем утих, и вокруг простиралась идеально ровная гладь. Там, высоко в небе, плыли кучки белесых туч, словно льдинки, затерявшиеся в море. Солнце застряло в самом зените и начало печь. С моря, однако, веяло прохладой. Во время плавания все словно задалось целью поддакивать нашему приподнятому настроению: и отменная, будто на заказ, погода, и атласная гладь огромного моря, и синее-синее небо с белыми барашками, и даже сам катер, неутомимый трудяга моря, что, не меняя скорости, с утра упрямо несся и несся. Острый, как лезвие, нос вспарывал белую гладь воды, точно нож застывший мягкий жир.

— Ах, как хорошо! Ну, просто благодать,— вырвалось у моего спутника.

Хм... то-то же! Отходит, значит, Ледок, значит, начал таять. Но я не могу забыть вчерашний презрительный смешок этого несносного гордеца. Вспомнился вдруг ни с того ни с сего и тот длинноволосый всезнайка, которому небось и во сне снится «Вокруг света». Внешне

я вполне спокоен, но чую, обида глухо сидит во мне, проходить не собирается. Меня всегда раздражали, выводили из себя люди, которые выхватывают из журналов, со страниц книг обрывки, лоскутки чужих мыслей, высказываний, норовя где надо и не надо выдавать их за плоды собственного ума.

Вот бы показать Аральское море всем этим самоуверенным, самонадеянным гордецам, так лихо рассуждающим о нем, не ведая и не видя его. Один из них, презрительно морщившийся при одном лишь упоминании об Аральске, стоит сейчас на палубе рядом со мной. Вчера он знакомился с городом. Побывал на рыбкомбинате, потом в государственном пароходстве, теплоходы, современные комфортабельные лайнеры которого бороздят море между Каракалпакией и Казахстаном. Сегодня вот плывем по морю. А завтра с озера Кара-Шалан мы отправимся на лодке сквозь глухие заросли камышей Жармы к реке Сырдарья, и тогда пусть он сам воочию убедится в первозданной, нетронутой с самого, пожалуй, сотворения мира красоте аральской природы. Хоть я дитя Арала, родился и вырос на его берегу, но таких вот гигантских зарослей камыша, как в Жарме, нигде не встречал. И убежден, что не встречу. Не берусь судить о бамбуковых лесах Японии, видеть не довелось. Но вот жуткие камышовые чащобы, описанные Фенимором Купером, бледнеют, как мне кажется, перед буйным величием камыша в Жарме. Стоит он плотной стеной, толщиной с человеческую руку, точно лес дремучий. Снизу смотришь — верхушек не видать. На остроносой, напоминающей гондолу лодке с трудом пробиваешься сквозь эти джунгли. Жарма — буквально п р о р е з а ю щ и й, как тропинка, узенькой, извивающейся ленточкой ведет тебя все дальше и дальше, маня, увлекая в жуткую страну сказок, и, чем дальше продвигаешься, тем больше и лодка, и люди в ней начинают казаться вдруг маленькими, как гномики. Ты знаешь, что здесь нет, не водится чудовищ. Знаешь также, что никто не готовится напасть на тебя из засады, но дремучие камыши, обступая со всех сторон, закрывая небо, заслоняя собой весь мир, нагоняют на тебя такого страху, что малейший шорох настораживает. И чудится тебе, что даже самый опытный проводник собьется тут с пути, заблудится и вовеки не выбраться тебе из этого первозданного буйства камы-

шей. Да-а, что там ни говори, а Жарма — одно из удивительных царств аральской природы.

И вообще, скажу я вам, родимый мой Арал — край чудес. Одно из них стоит перед нами: капитан, молодая хрупкая женщина, воле и мановению рук которой послушен наш быстроходный катер. По рассказам, в минувшей войне он служил десантникам. Называя женщину мастерицей, кудесницей, мы имеем в виду, в основном, ее непревзойденное искусство стряпать, вышивать. Но мастерство нашего капитана совсем иного рода. В том мы убедились чуть позже. Бухты Авань в тот раз мы достигли в сумерках. Провести судно по узкому проливу, где находится рыбозавод Авань, всегда было трудно. Даже самые опытные капитаны, прозванные морскими волками, не на шутку побаиваются такого испытания. А эта хрупкая женщина, к нашему удивлению, в кромешную южную ночь ловко и уверенно провела судно по мелкой и узкой, как адов мост, горловине. Спутник мой был поражен.

— Ну, ну! Ай да женщина! Сознайся, твоя жена небось ночью в собственном доме на все углы натыкается.

Вижу, другу моему все больше нравится Аральск. Он и не скрывал этого, в первый же день приезда с восхищением рассматривал красивые дома, особенно те, что построены в последние годы. «Вижу, и наш народ научился строить. Если бы дворы озеленить, деревья посадить». Сказать-то сказал, но, видимо вспомнив, что сам давно не бывал в родных местах, насупился, притих, точно разобиженный мальчишка. Что ж, мне понятна и знакома его внезапная грусть. Разве сам ты, наезжая в родные края, не ощущаешь в душе трепет и волнение? Как, однако, быстро летит время! Как неузнаваемо меняются люди! Юноши, еще не так давно безусые, глядишь, в следующий твой приезд превращаются в самых настоящих мужчин. И держатся перед тобой солидно, степенно. А как преображается земля! Там, где когда-то босоногим мальчишкой играл ты в асыки, бегал со сверстниками наперегонки, смотри, стоят теперь дома, под крышами которых влюбляется молодежь, женится, рожает детей, продлевая и продолжая жизнь на земле. Сложное, противоречивое чувство овладевает тобой. Ну-ка, признавайся, радуешься ты или печалишься? Рад ли, что здесь, на бывшем пустыре, вырос дом, кипит неведомая тебе жизнь? Или грызет

печаль оттого, что исчезают, стираются следы твоего далекого детства?

Многолика сейчас жизнь моего края. Как много в ней появилось нового, интересного! Сколько новых земель освоено! Основательно растревожили покой еще недавно сонной, девственно нетронутой степи. И это тебя, несомненно, радует. И ты уже иными глазами всматриваешься в родные места. С другой высоты видишь горизонты родного Приаралья. Обо всем, однако, так просто не расскажешь. Но об одной такой перемене все же скажу. Повдоль западного побережья моря простиралась безлюдная, безводная степь, плато, прозванное Устюртом. Некогда по Устюрту пролегала караванная дорога, по которой прибрежные аулы рыбаков, снарядив самых выносливых верблюдов, посылали храбрых джигитов за хлебом в Кунград и еще дальше — в Чимбай. В те годы по Устюрту рыскали звери да промышляли вооруженные воры и разбойники. А теперь по всему плато проходит трасса будущего газопровода и в безлюдной еще совсем недавно степи появились поселки, рядом — аулы газовиков. В степь пришла вода, и с нею жизнь. Человек вмешался в извечный распорядок, заведенный на земле, вдохнул в мертвую пустыню какую-никакую жизнь. Радуюсь ли я этому? Безусловно. Кто не станет радоваться рождению ребенка? Разве радость не охватывает тебя, когда люди не разрушают, а созидают? Как не радоваться тому бесспорному сдвигу, что и кочевники, проводившие всю свою жизнь на горбах верблюдов, нынче, как видите, научились строить дома ничуть не хуже, чем оседлый люд?

Сказать по правде, казахи Приаралья, промышлявшие из поколения в поколение рыбой, лепили себе на скорую руку какую-нибудь лачужку, времянку, а то и вовсе землянку. В вопросе собственного жилища жители побережья проявляли просто какое-то царственное равнодушие. Равнодушно отмахивались от упреков, уговоров, мол, наши предки и в землянках жили не хуже других. Да и начальство в те годы, стоило появиться приличному дому среди сплошных мазанок и хибарок, косо, а то и подозрительно смотрело на такую попытку выделиться. Помню, после войны едва один мой среднего достатка родственник огородил свой дом высоким забором и поставил резные ворота, как тут же скорым людским судом дом этот окрестили «аральским кре-

лем», а самого хозяина чуть было не привлекли к ответственности. Слава богу, сейчас, напротив, ругают, когда строишь небрежно, плохо.

Вообще, не изменив коренным образом сознания людей, немыслимо надеяться внедрить какое-либо новшество. Если что еще не вошло, как закон, непреложно в жизненный уклад аральских казахов, так это озеленение города. Причина тут двоякая: то нет пресной воды, то простого желания. А как было бы хорошо, если бы город, периодически подвергаемый песчаным бурям, превратился в город-сад. И я уверен, недалек тот день! Уже сейчас вода Сырдарьи достигла черты города. В следующем году в каждом доме будет пресная вода, и тогда, надеюсь, мои земляки-аральцы сумеют, проявив усердие, затопить голые, пыльные сейчас улицы зеленью.

— Что это... не Бугун?

— Где?

— Да во-он... те белые дома...

— Да, это Бугун...

II

В своем путешествии мы с товарищем посетили немало мест. Сойдя с катера, садились на коней, мчались по суше. И пешком сколько дорог исходили, пробиваясь все время сквозь камыши и прибрежные заросли, мучаясь и отбиваясь от комаров и слепней. Можно сказать, что за неделю исходили всю восточную часть Аральского побережья. Устали чертовски. Вижу, товарищ мой почернел, оброс. Начал поговаривать об отдыхе. И вот наконец мы снова сели на катер. Вскоре вышли в открытое море. Волны здесь — тяжкие громады, таящие в себе угрозу. И жуткая зияет там глубина.

Ну вот, слава богу, мой товарищ выходит понемногу из состояния подавленности. Во весь день так ни разу и не зашел он в каюту. Не тянуло его ни к разговорам, ни к еде. Поставив на палубу катера скамейку, он дотемна просидел там, не замечая вокруг никого, молчаливый, задумчивый, окутанный жидковатым дымком папиросы. К востоку простиралось синее-синее море. А по западу, угрюмо нависнув над морем, тянулись, точно неприступная крепость, цепи обрывистых скал. Смутно угадывались очертания гор и пиков, возникая из синеватой, туманной завесы. Должно быть, стоят они так со дня сотворения мира, застыв, замерев в своей

тяжелой дреме, далекие, отрешенные, тщательно оберегая недосягаемую для нас тайну. Я покосился на товарища. Интересно, о чем он думает сейчас? Что донимает его? Он не заметил моего взгляда, видать, даже забыл давно потухшую папиросу, не отрываясь, смотрел на насупленные скалы. Был он задумчив и потом на берегу. И с людьми, встретившими нас, перекинулся лишь несколькими скупыми словами. Солнце жгло нещадно. Раскаленный песок обжигал даже через ботинки. Собаки и те молчали, измученные великим пеклом. Лишь мордастый черный пес из крайнего дома, заметив незнакомых, пытался было, по обыкновению, вскинуться, но раздумал, а скорее, настолько его разморило, что сил не было, и он лишь, обнажив зубы, недружелюбно уставился на нас.

Нынешнее лето выдалось на редкость засушливое. Вся земля Приаралья высохла, почернела. Под безжалостным солнцем такыры всюду растрескались. Мой товарищ, вижу, с болью глядит на страдающую землю. Да, похоже, ему просто нравится изводить, терзать себя собственными думами. Бог знает, какого ответа ждет он на них от этой исхлестанной ветрами и солнцем, замученной земли? А может, он снова ушел в себя, в свои мысли о древней, куда древнее, чем история человечества, земле, стойко переносившей самые страшные катаклизмы и, как само человечество, обновляющейся и дряхлеющей беспрестанно?

Мне, признаться, всего милее именно такие люди, которых неотступно точат какие-то затаенные вечные думы. Их иссеченные тяжелыми складками лица притягательны особой духовной красотой не в пример иным нагловато-холеным лицам, всегда дышащим самодовольством.

Думы, думы... Порой мне кажется, что мы живем слишком беззаботно, словно не осталось уже на этом свете о чем и подумать. Не от этой ли бездумности иной раз с поразительной легкостью мы за одну лишь метельную зиму опустошаем наши кошары? Что греха таить, многие из нас еще очень падки на шумиху, склонны к пустой трескотне. В безудержной суете сколько народу тащится попусту по инерции за великим кочевьем времени.

По-моему, вовсе не о такой жизни мечтает молодежь. Наше будущее не только сытость, нет, я все же верю, что будущее за обществом ищущих и творящих

нило в груди. Пошатываясь, поднялся на палубу. Полбеды, если ветер дует точно спереди или сзади. Но сейчас он налетал сбоку. Море кипело. Небольшое судно выдерживало удары волн, но вода окатывала палубу, и, ложась попеременно то на один, то на другой бок среди белогривых, ревущих волн, оно, словно побитый пес, вихляло, моталось из стороны в сторону.

Я подошел к режиссеру. Голова кружилась. Но не хотелось перед ним показывать свою слабость. Из последних уж сил бодрился.

— Ну, как дела?

Он молчал. Вижу: и он ничем меня не лучше. Лицо его, рыжеватое, покрытое веснушками, побледнело, стало пепельно-серым. Кончики лихо вскрученных, цвета меди усов, которыми в другое время он мог бы пугать малых детей, сейчас сникли, пообвисли. И все же из последних сил старается держаться молодцом.

— Да-а! — протянул он, затравленно глядя на ревущее море.

— Тебе, наверное, плохо? Может, назад вернемся?

Он не возражал. Так в тот раз мы и не попали с ним на Барса-Кельмес. Вот так иной раз озорует море. И, видать, не каждому по нраву его озорство.

Однажды, притомленные дорогой, мы с другом остановились на ночлег в одинокой рыбачьей лачуге на берегу моря. Старик со старухой одни коротали там свой век. Был у них один-единственный сын, да не вернулся с войны. Но старик говорить об этом не любил. По своей природе сдержанный, он вообще никому не жаловался, не сетовал на судьбу, не делил ни с кем свое горе, лишь изредка, и то, когда бывал на море, оставаясь наедине со своим кормильцем, скупыми старческими слезами облегчал душу. Мы узнали об этом позже, от других людей. А в тот вечер, поев свежей ухи, в лачуге старого рыбака мы думали совсем о другом.

Старик жил бедно. Стены летней лачуги-времянки местами облупились, и там и сям вылезал сухой плетеный камыш. В середине комнаты подмигивала подслеповатая лампа без пузыря. Она сильно чадила, и испуганно мельтешил, трепетал над нею слабый, желтоватый язычок пламени. С улицы через открытую дверь влетела ночная бабочка. Бедняжку некая сила вечно влечет, тянет к огню. Говорят, самец пчелы, едва сходясь на лету со своей парой-подругой, тут же падает замертво, расплачиваясь жизнью за свою страсть. И

все же во имя будущего потомства пчела-самец смело идет на свою гибель. Таков заложенный в нем от природы инстинкт. Так повелевает долг. В бабочке тоже есть что-то от этой жертвенности, великого безумия пчел. Она готова опалить себе крылышки, готова принять мгновенную гибель, но любовь к огню в ней так же сильна, как и зов жизни. И этой бедняжке грозила та же участь. Но хозяин лачуги, явно не одобряя ее безрассудного порыва, отогнал ее от огня.

Товарищ мой улыбнулся. Может быть, вспомнил свое далекое теперь детство. А скорее вспомнил огромного роста балагура казака, вспомнил, как тот в ином веке, в ином краю на ночной охоте своими толстыми пальцами пытался аккуратно поймать бабочку, оберегая ее от пламени. Как, однако, удивительно повторяются в жизни схожие ситуации, как созвучны бывают поступки людей, вообще порывы душ, и не преграда для них ни эпоха, ни язык, ни вера.

Тогда в лачуге старого рыбака охватило меня волнение странное, томящее, и я подумал о себе. Подумал я, вот ты прожил последние десять—пятнадцать лет в столице, вдали от родного края, но, видать, все же так и не смог оторваться от своего аула. В какую бы даль ни занесла тебя судьба, а все же хоть какой-нибудь сокровенный уголок родной земли да живет в тебе. Бывает и так: живешь себе в полное удовольствие в своем доме, где все сверкает, блестит, начиная с полировки мебели, подвесок люстры и никеля ванной комнаты. Ты уже сжился со всем этим, комфорт и уют городской жизни держат тебя прочно, и иной жизни ты теперь для себя не представляешь, но, сознайся, иногда в тихие вечерние часы, всецело отдаваясь затягивающему чувству семейного уюта и благополучия, вдруг с удивлением обнаруживаешь, что напала на тебя беспричинно сосущая тоска... тоска по рыбачьему твоему аулу. И в эту минуту словно враз исчез, улетучился весь опыт, весь лоск бывалого горожанина, и дороже всех благ земных тебе сейчас маленькая, пропахшая рыбьим духом лачуга в Приаралье. А сколько таких лачуг в казахской степи! И сколько тружеников на ее просторах, безымянных чабанов, рыбаков и дехкан, чьи сильные мозолистые руки всю жизнь не выпускали черенка лопаты или кетменя.

Утомленные грузом каждодневных тяжких трудов, они лишь вечерами отдыхают. Лица их загорелые, со

следами непроходящей усталости. И говорят они голосами тихими, хриплыми. Но в такую минуту стоит прибежать с улицы чернявому карапузу, который, шмыгая носом, забирается на отцовы колени, и тут вы бы видели, как всю усталость вдруг словно рукой снимет и морщинистые лица, сразу смягчаясь, засветятся изнутри от нахлынувшего прилива нежных чувств. Я, собственно, не знаю, кто он, как зовут его, откуда родом. Возможно, он чабан, табунщик, верблюжатник, весь день промаявшийся под палящим зноем со скотом. Возможно, он пахарь, щедро орошающий землю своим потом в извечной надежде и вере, что и ему воздастся. А может, рыбак, до нитки промокший на волнах не не всегда ласкового моря. Не знаю. Но, кто бы он ни был, он наш с вами отец. Отец современной, преуспевающей казахской молодежи. Иногда думается: собственно, не из-за таких ли стариков и тянет нас в аул? Вот улетели мы далеко, свили себе и своему потомству гнездо в другом краю, но все равно никто из нас не в силах порвать связь с родной землей, навек срослись с нею пуповины. Да-а, она, земля твоих предков, и твоя колыбель. И не то что человек, даже деревце, некогда распустившееся в родной почве под открытым небом, навсегда, наверное, запомнит и сияние неба, и вольные забавы ветерка, покойно и безмятежно расцветая ныне в кадке нарядной оранжереи.

Признаться, такие вот невеселые мысли посещают порою меня в минуты слабости и тоски по родному краю.

По существу, эта тоска и связывает меня накрепко с Аралом. Иначе что же еще... Родился ты уже при Советской власти. Учился в советской школе. Был октябренком, потом пионером. Воспитывался в комсомоле. Жизнь предков, прошедшая на горбах верблюдов, тебе разве что во сне могла присниться.

И все же порой ох как нахлынет на тебя тихая радость, когда думаешь о том, что, как бы ни старалась безжалостная эпоха унифицировать, постричь всех нас под одну гребенку, обряжая то в одинаковые, заглаженные, в обтяжку брюки, то, опять-таки в угоду моде, скрывая наши лица буйной растительностью или под роговыми очками с дымчатыми стеклами, все же вопреки и наперекор этому катку, что зовется веянием времени и на самые невероятные лады утюжит твою податливую оболочку, в жилах твоих по-прежнему течет все та же кровь твоих предков. Да, предков!

Вот один из них сидит рядом со мной. Вернее, это я нахожусь у него в гостях, в его лачуге. Он очень стар. Согнулся весь под тяжестью долголетней нелегкой рыбацкой жизни. Голова, усы и борода его белы. Ресницы, брови — тоже. Сидит с нами у очага, подбрасывает в тлеющий огонь сухой хворост, не забывая при этом то и дело отгонять тяжелыми, бессильно повисшими руками налетавших на огонь бабочек.

Весь вечер он молчал. О чем он думал? Не знаю. Молчал и мой товарищ. В ту ночь он так и не сомкнул глаз. Вероятно, как и я, он думал о старом рыбаке, об этом очень старом человеке, который, видимо, так много пережил и перевидал на этом свете и напоминал нам еще не перевернутую, неведомо как уцелевшую страницу истории былых славных дней жителей побережья родного Арала.

Не спалось нам в эту ночь. О чем только не передумали. Невольно задумался я и о нашей современной молодежи. Странная, нелепая мысль лезла мне в голову. Допустим, думал я, шел бы себе по улице какой-нибудь казах из аула, такой же, как и наш хозяин, старик, и набрел на молодую пару, которая средь бела дня на виду прохожих вызывающе целуется, обручем сжимая объятия. Он бы, конечно, подошел к ним и, по обыкновению пожилых казахов вольно обращаться с младшим по возрасту, бесцеремонно ткнув парня посохом в грудь, сказал напрямик: «Ну-ка, отпусти бедняжку, пока не задушил. А теперь скажи: откуда ты, чей ты родом и чей сын?»

Интересно, думалось мне, как бы тут повел себя наш парень и что бы он сказал на это? Быть может, под прицелом в упор уставившихся строгих глаз сердитого старца опомнился бы и вмиг улетучилась вся его бравада, развязность, которой нахватался он в городе. Может, с тем тычком вернулась бы к нему снова затерянная бог знает в каком из закоулков большого города совесть и, быть может, зарделись, заполыхали бы вдруг со стыда его щеки? И, не найдя, что ответить, только отводил бы он глаза, раздирая губы в нелепой, растерянной улыбке. А может, вернувшись домой, вспомнил бы странную выходку степняка и, как бывает в таких случаях, вначале посмеялся бы над ним и над собой, а потом... потом, кто знает, мало-помалу начал бы все-таки терзаться проснувшейся вдруг совестью, потом уже стал бы думать о родной стороне, о детстве сво-

ем, обо всем, что напрочь вылетело из головы в городской сутолоке. И, конечно, об отце и матери. И тогда вспомнил бы он наверняка, как, бывало, зимой и в предзимние холода, прибежав с улицы, насквозь продрогший, нырял под кожушок старого отца, прижимался к нему и успокаивался сознанием своей защищенности, и вдыхал родной, знакомый запах пота.

Да, все мы вырастали, согретые теплом отцовской шубы. И если на что-то способны, если в нас обнаружилась со временем хоть крупица таланта, сознайся, дорогой, ведь это отнюдь не божья милость, ни тем более благодеяние священных духов-аруахов, а прежде всего то бесценное отцово свойство, по крови его переданное тебе, мне, всем нам безвозмездно в дар.

Разве плохо это? Нет, пожалуй, даже похвально, если, скажем, сквозь твою насквозь модернизированную оболочку проглядывает исконное происхождение степняка. Лишь бы ты, отягощенный инертностью предков, не поспевая, не тащился волоком в хвосте великого кочевья, словно хромой стригунок в косяке. К слову сказать, я, как и мой народ, духовно рос медленно, долгое время разделял незавидную участь хромого стригунка. На второй год войны, окончив десять классов, восемнадцатилетним юношей ушел на фронт, к стыду своему, не прочитав хотя бы десяти страниц русской литературы. Не дальше ушли от меня и мои сверстники по классу. Спрашивается, чему, собственно, учились мы тогда целых десять лет? Чтобы мало-мальски овладеть грамотой, недостаточно разве и десяти месяцев? Допустим, так вышло с нами. Интересно, а какова в этом смысле современная казахская молодежь? Проучившись десять лет, не остаются ли они, как некогда и мы, малограмотными? От своей малограмотности, вынесенной из школы, я не могу избавиться и по сей день, к своим зрелым годам. Не знаю, было ли то поспешным решением незрелого юноши или случайностью, но после войны, уволившись в запас, взялся я писать роман. И написал его. Роман увидел свет, и только после этого я поступил в институт. Как-никак считаюсь автором романа. Денег целый ворох. А вот уровню воспитанности молодого романиста... вернее, просто его невоспитанности не было предела. В те дни, к примеру, я не знал, даже предполагать не мог, что на день рождения девушки приглашенные парни приходят хотя бы с цветами. Потому как, видите ли, такими церемониями предки наши себя

не обременяли... Но опять-таки то были мы, а мы все же — хотя бы на один шаг — стоим ближе к предкам. Ну, а каковы теперешние питомцы сельских школ? В какой степени они приобщены к культуре? Или они тоже, как я когда-то, краснеют перед девушкой, придя с пустыми руками на день рождения?

Конечно, важно, чтобы молодой человек, окончив среднюю школу, хотя бы на среднем уровне был приобщен к нормам поведения культурного человека. И так в жизни немало приходится краснеть. Краснеешь, когда не выучил урока. Краснеешь перед любимой девушкой. Краснеешь перед родителями. Потом, уже встав даже на ноги, сколько приходится нам краснеть на работе. Но, думаю, все это еще не самое страшное. Самое страшное, когда приходится краснеть из-за своего невежества.

Лет семь тому назад я познакомился с молодым человеком, который, окончив университет, приехал в Челкар — небольшой городишко — и вел там в средней школе уроки по одиннадцати предметам. Специалист по казахскому языку и литературе, он лихо, однако, взялся преподавать и астрономию, и физику, и химию... и черчение. Вскоре прозвали его «учителем-универсалом». А этот «учитель-универсал» нахватал столько предметов вовсе не потому, что был классически образован и разносторонне одарен, о, нет, а с единственной целью— нахапать как можно больше денег. При этом ни «универсал» — урокодатель, ни тем более районо не подумали о главном — о том, как, набивая карманы хапуге-учителю, иссушили, обокрали столько юных умов! Жители Челкара сейчас забыли об этом горе-учителе. Но кличка «универсал», как клеймо невежества, осталась и поныне в сознании людей...

— Ну, вставайте! Старуха чай приготовила.

Старик ходил по лачуге, осторожно ступая на ногу, за ночь отекшую, еще в молодые годы застуженную. Что ж, вставать так вставать! Пора...

III

Еще с недельку пробыли мы у рыбаков. По желанию товарища все эти дни выходили в море вместе с рыбаками. А накануне отъезда пробыли на море весь день и лишь поздно вечером вернулись. Ближе к берегу молодой рыбак выключил мотор, и лодка, летевшая с за-

дранным носом, по инерции выскочила на песок и, проскорготав по нему дном, остановилась. Мы спрыгнули с лодки. Не успели оглянуться, словно из-под земли вырос вдруг рядом с нами почтальон, худой рыжий парень.

— Слышали? Арал, говорят, обмелеет.

— Что-о?!

— Значит, не слышали. Не знаете. Нате, читайте! — протянул он газету. — Пишут, будто исчезнет совсем.

И смеется, будто усыхание Арала было его желанной мечтой.

— Чему радуешься?

— Да так. Нате, читайте!

Мой товарищ развернул газету, бегло пробежал. Отдал мне. В большой статье некий титулованный ученый доказывал, что-де лет эдак через двадцать Арал усохнет и исчезнет с лица земли. При этом, однако, он не обмолвился ни единым словом о возможных последствиях усыхания моря для окружающей среды. Но зато вывод его был категоричным: в начале грядущего века юные жители планеты на занятиях по географии больше уже не станут искать на картах Арала, ибо на них не будет обозначено это синее-синее море среди песков и пустыни.

Вернув газету, мы с товарищем пошли по берегу. Шли молча. Не хотелось говорить. Оба сразу почувствовали, как вымотались за день. Нам не верилось, что не станет Арала. Как может море усохнуть? Ведь само понятие моря в сознании людей служило и служит символом неисчерпаемости, вечности. Нет. Арал вечен! Вечен! Хотелось кричать. И закричал бы, если не заметил бы вдруг почтальона, который догонял нас все с той же, не сошедшей с лица глупой улыбкой. Да, бездумному горе неведомо. И, видать, таким куда легче и лучше живется. Успокаивал я себя тем, что не все ведь мои земляки столь беспечны. Судьба многих разбросала в разные края. Случается, с одним встречаешься, а других и след простыл. Но, уверяю вас, где бы они ни находились, их любви к родному краю и сыновнего долга перед ним ничуть не стало меньше. Будь их воля, я уверен, они, не задумываясь, перетаскали бы на себе все лучшее и отменное со всех концов света в свои родные края. Они страстно желают, чтобы как можно скорее пришла в Аральск пресная вода, зацвели садами дворы их земляков, покрылись асфальтом пыльные ули-

цы. Ох, как они хотят, чтоб хотя бы в следующем году была достроена новая школа, в которой преподавали бы самые лучшие учителя, а не хапуги вроде того горе-«универсала», и, наконец, чтобы осенила руководителей района мысль о том, что необходимо немного позаботиться и о здоровье аральчан, построить им приличную больницу, соответствующую требованиям элементарной санитарии. О каких только благах для своего родного края не приходится мечтать и думать бедным сынам и дочерям Арала, разлетевшимся в разное время по разным обстоятельствам из родного гнезда.

Нет, не хотят они исчезновения родного Арала. Как может исчезнуть это уникальное море? Мне, например, известно, что по насыщенности кислородом Аральское море занимает в мире одно из первых мест. Не потому ли в нем превосходно размножается любая морская тварь. А знаменитой балтийской салаке пришелся особенно по душе благодатный климат теплого моря, и она за короткий срок не только сумела прижиться и расплодиться, но, к удивлению всех, набрала такой вес, что стала в два, три раза крупнее своих прародителей.

Да, богат и прекрасен Арал! Но, с другой стороны, понятно мне и недовольство проектировщиков и хозяйственников с их не ведающей жалости и сострадания логикой, обоснованной неумолимым законом экономической выгоды. Аральское море всегда казалось им ненасытным чудовищем, со дня своего сотворения пожирающим бесценное богатство — всю воду двух величайших рек Средней Азии и Казахстана. Против прожорливого моря (особенно в последнее время) замышлялись разные планы, один заманчивее и коварнее другого. Послушать их авторов, проникнуться их доводами, так вот-вот незамедлительно воцарился рай, настоящий рай в необъятной голодной степи, исхлестанной палящим зноем и измученной вековой жаждой.

Весь день мы с другом не могли забыть той чудовищной статьи. Будущее Арала, всего края внезапно показалось нам страшным. Тревога наша сменялась надеждой, надежда — снова тревогой, не обретала душа успокоения, потеряв вдруг опору.

А наутро, проснувшись чуть свет, отправились мы в путь... Больше месяца пробыли на Арале. Загорели. Обросли. Соскучились по дому. Но оба чувствовали себя бодрыми. И потому радость возвращения пьянила нас. Хотелось обнимать всех встречных. В предвкушении того, что

счастливая минута встречи с детьми и женами, с друзьями не за горами, уже нетерпеливо бились наши сердца, и друг мой и я только улыбались, не отходили от окна, смотрели в поле, считали про себя телеграфные столбы, станции. Ну, еще сто километров. Пятьдесят... сорок. Осталось вроде совсем мало.

Счастье, радость в глазах людей. От радости бешено бьется сердце. Эх-х, что и говорить, край, где ты живешь, где свил себе гнездо, ничуть не меньше дорог, чем тот, где ты родился.

С тех пор как была совершена эта поездка и были написаны эти строки, минуло четверть века. За это время многое изменилось в этом мире и в нашей жизни. И вот спустя, если быть абсолютно точным, двадцать семь лет я прочитал недавно те свои записи и стало тяжело на сердце. Живо предстал перед моими глазами тот рыжий, костлявый почтальон нашего аула, который ходил по песчаному берегу моря и кричал, тряся головой, будто принес людям великую радость: «Эй, слышали? Через двадцать лет Арал исчезнет...»

Увы, как гласит народная пословица: «Сбываются не слова мудреца, а бред глупца». Да, сбылось. Как еще сбылось. И кажутся мне теперь неуместной и даже злой, горькой, а потому нелепой насмешкой те мои восторженные, двадцатисемилетней давности слова о родном крае. Но ведь когда-то так было. Было же! Было. И ныне у меня не поднимается рука выкинуть хоть единое слово из той моей песни. И она, вечная моя песня-любовь, песня-скорбь, песня-память, льется-кружится над тем, что исчезло или исчезает навеки, безвозвратно, навсегда. Приезжая в свой родной край, я не узнаю его, ибо Арал стал другим. До неузнаваемости другим. И о нем уже другой сказ. И о том, быть может, поведаю тоже при случае. Мой Арал, терзаемый какой уже год неизлечимым недугом, сейчас на грани гибели. Его надо бы немедленно реанимировать, оказать хотя бы первую помощь! Бывает, в минуты отчаяния думаешь, вот, Байкал... конечно, он несравненное чудо природы, гордость и краса отечества! Но, согласитесь, и наше синее-синее море среди песков и пустынь ведь тоже не меньшее чудо — дитя природы, дитя планеты. И, когда думаю об этом и осознаю все это в полной мере, знаете, чувствую вдруг себя чем-то обделенным, становится

горько и обидно. И в такие тяжкие минуты перебираю в памяти наших именитых гуманистов-писателей, ученых, в решительный момент грудью вставших на защиту Байкала и отстоявших его, и, не скрою, недоумение охватывает меня вдруг, почему они, эти гуманисты, когда на их глазах и глазах всего человечества погибает в тяжкой муке Аральское море, почему они, сомкнув губы, молчат? Ведь, если разобраться по совести, сейчас Аралу ничуть не меньше, чем Байкалу, требуется могучая поддержка сынов и дочерей нашего Отечества. Убежден: куда разумнее было бы объединить усилия тех, кто по-настоящему болеет за судьбу не только «собственного» очага, но за судьбу всей нашей родины, ибо все взаимосвязано — и судьба природы, и судьба всех живущих на земле, и тех, кто придет после нас.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОЛГ. Роман. *Авторизованный перевод Г. Бельгера и П. Краснова* 5
Слово об учителе 309
Ощущение близости 334
Слово о Достоевском 336
Слово о Тургеневе 347
Слово о Горьком 355
«В назиданье чутким сердцем и душой» 366
«Дорогой Юрий...» 367
Все в нем пело 383
Горение 395
О природе таланта 398
Габит Мусрепов 409
Размышляя об исторической тематике 418
Мысли о судьбах национальных культур 424
О моем народе 432
За любовь требовательную, честную 437
Поединок или сотрудничество? 441
Истоки дружбы 450
К главному перевалу 453
Судьба романа — судьба народа 457
«Край, где радостной песни не спеть я не мог...» . . 469

Абдижамил Каримович НУРПЕИСОВ
ДОЛГ

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» **Г. Метченко**
Редактор **И. Юшкова**
Художественный редактор **И. Смирнов**
Технические редакторы **Л. Пуршева, В. Калачева**
Корректор **Г. Матвеева**

ИБ № 1256

Сдано в набор 04.04.88. Подписано в печать 3.08.88. Переиздание. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Печ. л. 15,5. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 28,07. Тираж 260 000 экз. (2-й завод: 100 001—200 000 экз.) Заказ 44.
Цена 2 руб. 20 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР» 103798, ГСП, Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в типографии издательства «Таврида» Крымского обкома Компартии Украины. 333700, ГСП-10, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.